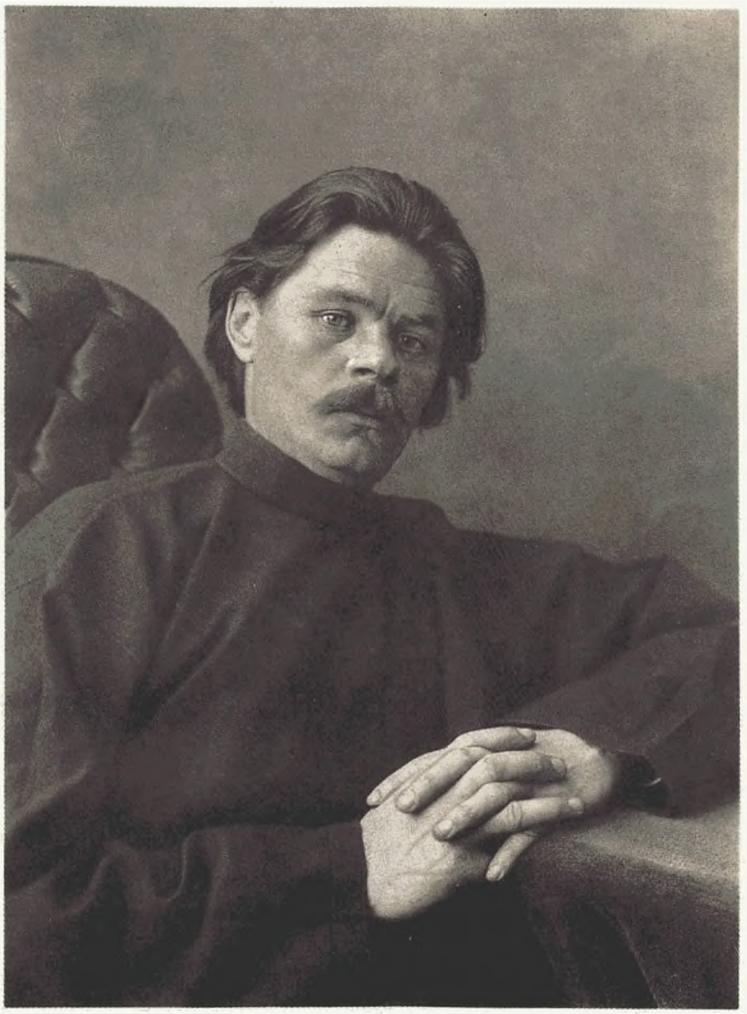
М. ГОРЬКИЙ

М. Горький

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

6



А. М. ГОРЬКИЙ

Нижний Новгород, 1901—1902 г.

Фото М. Дмитриева.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, НАБРОСКИ, СТИХОТВОРЕНИЯ

1901—1907

МОСКВА · 1970

7-3-1
Подписное

I

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,— стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,— им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,— гордый, черный демон бури,— и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,— чуткий демон,— он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,— нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

ЗЛОДЕИ

I

Однажды за обедом мать сказала Ванюшке Кузину:

— Шел бы ты, Ваня, в город!

Ванюшка промолчал. Он чистил горячий картофель, шумно дул на пальцы, сложив губы трубой, и сердито двигал бровями.

Мать посмотрела на его круглое юношеское лицо, вздохнула и повторила потише:

— Шел бы, право...

— Пошто? — спросил Ванюшка, перекидывая картофель с руки на руку.

— Возьми топор и поди...

— Много там нашего брата с топорами-то!

— Ну, лопату возьми... Теперь вот скоро погреба набивать станут. Инде дров поколешь, инде что другое... Глядишь, и прокормился бы как-нибудь. Иди-ка, Ваня?

Ванюшке хотелось идти в город, но он не ответил старухе ни слова. В две недели, истекшие со смерти отца, Ванька почувствовал себя человеком вполне самостоятельным. На поминках по отце он впервые безнаказанно пил водку, а теперь уже ходил по деревне, выпячивая грудь вперед, озабоченно сдвинув брови, и с матерью разговаривал кратко, отрывисто, подражая в этом отцу...

После обеда старуха занялась починкой своей шубы, а Ванюшка влез на печь и, пролежав с полчаса, спросил мать:

— Денег-то у тебя сколько?
— Рубль шесть гривен...
— Шесть гривен мне дай.
— На что тебе?
— На дорогу.
— Идешь?!
— Стало быть — иду...
— Ну, вот! Иди-ка, сынок!.. Когда думаешь?
— Завтра.

На рассвете мать благословила его медным образом Николая Угодника, Ванюшка туго подпоясался, сунул за пояс топор, нахлобучил шапку на уши и, хлопнув руками в рукавицах по бедрам, сказал:

— Пошел. Прощай!

— С богом, Ваня! Городских-то людей опасайся,— осторожно веди себя с ними — они хитрые! Вино не пей — гляди!

— Ладно,— сказал Ванюшка и, молодцевато заломив шапку, вышел на улицу.

Было еще темно. Он отошел не более десяти шагов от своей избы, а когда обернулся на голос матери, стоявшей у ворот, то уже не видел ее во тьме и только слышал слова ее, тревожно звучавшие в тишине:

— Бабенок городских... Хворь дурная...

— Прощай! — крикнул Ванюшка.

И тут ему вдруг стало жалко мать, деревню, свою старенькую избу. Он остановился, прислушался... Но было уже тихо — мать ушла. Вздохнув, пошел и он навстречу неподвижной, безмолвной тьме, еще не тронутой рассветом...

Шагая полем, он думал о том, что, может быть, ему удастся в городе хорошо заработать и, воротясь домой к весне, он женится на Василисе Шамовой. И ему представлялась Василиса — полная, крепкая, чистоплотная. А может быть, он найдет себе место дворника у хорошего богатого купца и женится уже не на Василисе, а на какой-нибудь городской девушке. Он шел, а сзади его тихо загорался рассвет, вокруг невидимо исчезали ночные тени, и на снег ложились бледно-желтые лучи зимнего солнца. Снег под ногами захрустел веселее и громче, Ванюшка запел песню. Три двугривенных звя-

кали в кармане его штанов, а в голове, под звуки песни, медленно плыли думы и догадки о будущем.

Идти было хорошо, легко, нога не вязла на укатанном снегу дороги, морозный воздух глубоко вливался в грудь и наполнял ее бодрым чувством, а синяя даль была ласково красива и манила к себе. Иней опушил едва заметные Ванюшкины усы, парень, оттопыривая верхнюю губу, с удовольствием смотрел на нее — усы казались ему длинными и красивыми... Большой, черный, как головня, ворон тяжело ходил по снегу в стороне от дороги. Ванюшка свистнул. Но мрачная птица взглянула на него одним глазом и, переваливаясь с ноги на ногу, подошла еще ближе к дороге. Тогда Иван хлопнул рукавицами, точно выстрелил, но и это не испугало птицу...

— У, дьявол,— пробормотал Кузин и пошел вперед скорее.

Около полудня, когда уже было пройдено более половины дороги до города, в поле заиграла метель. То там, то здесь с бугров срывались легкие, прозрачные тучки снега, летели куда-то и белой холодной пылью осыпали лицо. Порою прямо из-под ног Ивана вздымалась стая снежинок, точно желая помешать парню идти, а ветер толкал его в спину, как бы торопя вперед. Даль скрылась в мутных тучах, ветер взвизгивал, касаясь земли, заметал следы и выл протяжно, грустно. Встречные люди и лошади появлялись пред глазами и исчезали, точно камни в воде. Ванюшка закрывал глаза и шел, качаясь, средь шороха и грустных песен вьюги; в бедрах у него ломило, ступни отяжелели, он сердито думал о матери:

«Сидит там, а я вот — иди!»

А потом так устал, что ему уже и не думалось ни о чем, только хотелось скорее прийти в город, отдохнуть в тепле, попить чаю. Согнувши спину, наклонив голову, он шел, не замечая ничего вокруг себя до поры, пока не услыхал в шуме вьюги унылый рев фабричного гудка. Он остановился и, выпрямившись, глубоко вздохнул. А потом вытащил из кармана деньги, три двугривенника, сунул их в рот, за щеку, чтобы они звоном своим не соблазняли городских людей.

Сквозь серый полог снега город был похож на тяжелую тучу, осевшую к земле. Ванюшка снял шапку, перекрестился и сказал про себя:

«Вот и дошел!»

II

Когда он вошел в трактир,— густой, влажный воздух коснулся его лица и, точно теплая сырая тряпка, стер со щек колющее ощущение холода. Сизый едкий дым колыхался под низким сводчатым потолком и щипал глаза; запах водки, табаку и горелого масла щипал в носу; шум и гул в трактире был какой-то мутный, матовый, и от этого голова у Ванюшки приятно закружилась. Медленно пробираясь между столов, он искал себе местечка и не находил. Всюду сидели краснорожие извозчики, испитые, полуголые мастеровые; золоторотцы, одетые в лохмотья, пытливо и угрюмо оглядывали Ивана воровскими глазами. Один из них, высокий, худой, с рыжими усами, подмигнул Ивану и сказал, протягивая руку:

— Здорово, пентюх! Иди сюда!

Ванюшка откачнулся от него и задел плечом какую-то маленькую круглую девицу. Лицо у нее было ярко румяное и черные брови велики, как усы.

— Тише ты, облом! — крикнула она сиплым голосом.

В переднем углу трактира, под лампадкой, горевшей у образа, за столом сидел только один человек, Ванюшка подошел к нему.

— Можно присесть?

— Валяй!

Кузин уселся на стул, расстегнул ворот кафтана и сказал:

— А-яй, много народу!

— Эдакое место не бывает пусто. Из деревни?

— Да...

— Работать?

— Надо бы...

— Плохи тут дела!

— Ну?

— Верно. Третью неделю живу...

— Нет работы?

— То есть — хоть помирай.

Мимо стола быстро мелькнул половой.

— Чайку бы мне? — крикнул ему Ванюшка и стал рассматривать своего собеседника.

Это был парень лет двадцати пяти, одетый в засаленную, рваную женскую кофту на вате. Высокий и худой, он низко нагнулся над столом, точно прятал от людей свое лицо, глубоко изрытое оспой, без усов и без бровей. Порою, быстрым и сильным движением шеи, он вскидывал стриженую голову и беспокойно, как бы догадываясь о чем-то, смотрел на Кузина большими серыми глазами. А когда он заметил, что и Ванюшка упорно рассматривает его, то улыбнулся тонкими губами и вполголоса сказал:

— Пальто было — проел, шапку — проел! Вот сапоги остались...

Он высунул из-под стола длинную ногу в крепком кожаном сапоге и добавил:

— Тоже скоро продам,— променяю!

Ванюшке стало жалко его и больно за себя.

— А может, как-нибудь...— сказал он.

— Где там! Тут нашего брата — как желтых листьев осенью. Гляди — сколько народу! И все есть хотят.

— Попьем чайку вместе? — предложил ему Ванюшка.

— Спасибо! Покорно благодарим... Я напился! А... вот кабы по стаканчику?

И он тяжело вздохнул.

Ванюшка пощупал языком деньги во рту, подумал, поманил пальцем полового и важно приказал ему:

— Собери-ка полбутылочки — на двоих!

Рябой радостно улыбнулся, но не сказал ни слова.

— Где ночуешь? — спросил Ванюшка.

— Тут, недалеко,— по три копейки. А ты?

— Да я только сейчас пришел.

— Чего же — будем вместе ночевать!

— Айда!

— Вот и ладно. Тебя как звать-то?

— Иваном... Кузин.

— А меня — Салакин, Еремей...

Они замолчали и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. А когда половой принес водку и Ванюшка налил рюмку Салакину, тот привстал, взял рюмку и, протягивая ее Кузину, сказал:

— Ну, выпьем, в знак сошествия нашей дружбы!

Ванюшке очень понравились эти слова. Он молодецки опрокинул рюмку в рот, крякнул и радостно проговорил:

— Вдвоем-то лучше!

— Ка-ак можно!

— Я всего первый раз в город работать вышел. Так, по делам,— бывал, а жить — первый раз,— говорил Ванюшка, наливая по второй.

— Я тоже. До этого всё в поместьях работал. Да вот с приказчиком поругался, он меня и турнул. Собака рыжая!

— А у меня отец умер недавно. Теперь я — сам большой!..

Рядом с ними за столом сидели два ломовых извозчика, оба выпачканные чем-то белым. Они громко спорили, причем один из них — огромный и старый,— ударяя по столу кулаком, кричал:

— Так, значит, его и надо!

— За что? — спрашивал другой, чернобородый, со шрамом на лбу.

— А за то,— он понимай! Какой он работник был? Работники — они, значит, тесто, хлеб богу! А прочие, которые, значит, неспособные к делу,— они, например, осевки, отруби! Скотам на корм,— одно, значит, ихнее назначение...

— Все одинаково жалости достойны,— сказал чернобородый.

Салакин прислушался к спору и сказал:

— Неверно.

— Насчет чего?

— Жалости. Взять хоть бы меня: приказчик Матвей Иваныч — враг мой! Он меня за что рассчитал? Я два года работал,— всё как быть надо! Вдруг он взъелся на меня, будто я стряпуху Марью... и всё такое. И будто вожжи — тоже я... Вожжи — они пропали! Ищи! Вдруг

он меня — ступай! Как так? Я ему не нужен, а самому себе я очень даже нужен! Мне жить надо! И вот,— могу я его жалеть, приказчика?

Салакин помолчал и с глубоким убеждением выговорил:

— Я могу только себя жалеть и больше — никого!

— Конечно-о,— сказал Ванюшка.

После третьей рюмки они оба облокотились на стол — лицо к лицу, возбужденные водкой и шумом. И Салакин длинно, бессвязно и горячо начал рассказывать Ванюшке о своей жизни.

— Я — подкидыш! — говорил он.— Терплю мою жизнь за грех матери...

Ванюшка смотрел на рябое возбужденное лицо друга, утвердительно кивал ему головой, и от этого голова у него сильно кружилась.

— Ваня! Требуй еще полбутылочки! Всё едино! — крикнул Салакин, отчаянно махнув рукой.

Ванюшка ответил:

— М-могу...

III

Когда Ванюшка проснулся, он увидал себя лежащим на нарах в полутемном подвале со сводчатым потолком, так же изрытым ямами, как лицо Салакина. Он пошевелил языком во рту — денег не было, а была только жгучая, горькая слюна. Ванюшка глубоко вздохнул и оглянулся.

Весь подвал был уставлен низенькими нарами, и на них лежали, точно кучи грязи, оборванные, темные люди. Одни из них проснулись и, тяжело двигаясь, сползали на кирпичный пол, другие еще спали. Негромкий, но густой говор сливался с храпом спящих; где-то плескали водой. Растрепанные фигуры людей в сером сумраке раннего утра были похожи на обрывки осенних туч.

— Проснулся?

Рядом с Ванюшкой стоял Салакин. Лицо у него было красное, должно быть, он только что умылся холодной водой. Он держал в руках какую-то коробочку из меди,

со многими колесиками внутри нее, и, как-то одним глазом рассматривая колесики, а другим, улыбаясь, смотрел на Ванюшку.

— Здорово мы вчера! — сказал Кузин, с упреком глядя на приятеля.

— Как следует кишки спрыснули! — довольным голосом отозвался тот.

— Все денежки свои ухнул я!

— Ничего. Проживем!

— Да-а, хорошо тебе...

— Ты — не беспокойся! У меня есть 17 копеек, а потом я сапоги продам. Проживем!

— Разве эдак-то,— недоверчиво глядя в лицо приятеля, сказал Ванюшка и, видя, что Салакин молчит, добавил: — Ты теперь должен помогать мне, как я с тобой свои деньги пропил,— стало быть, ты должен...

— Да ладно! Чего там? Слезы вместе, смех пополам. Мы — не богатые, в дележе не поругаемся. Делить-то не много!

Его глаза и голос успокоили Ванюшку, и тогда он спросил:

— Что это у тебя в руках-то?

— Угадай!

Кузин оглянулся вокруг и вполголоса спросил:

— Для фальшивой монеты, что ли?

— Чудак! — смеясь, воскликнул Салакин.— Вот выдумал. И откуда ты знаешь про монету?

— Знаю. В семи верстах от нашей деревни мужик один занимался этим...

— Ну?

— В Сибирь его.

Салакин задумался, помолчал и, повертев в руках медную коробочку, со вздохом сказал:

— Да, ссылают за это...

— Значит, оно самое? — тихо спросил Ванюшка, кивнув головой на коробочку.

— Не-ет! Просто это — внутренность часов... Вставай, пойдем чай пить...

Ванюшка слез с нар, пригладил волосы руками и сказал:

— Идем.

Но медяшка возбудила его любопытство и вызывала в нем что-то, похожее на страх пред ней. И, видя, что Салакин прячет ее за пазуху, он спросил его:

— Где ты это взял?

— На базаре купил, когда пальто продавал. Семь гривен дал...

— А на что ее тебе? — допрашивал Ванюшка.

— Видишь ли,— наклоняясь к его уху, таинственно заговорил Салакин,— давно я хочу уразуметь, почему часы время знают? Полдень — сейчас они бьют двенадцать! Как так? Медь простая и эдак устроена, что понимает, когда какое время? Человек может по солнцу догадаться, скотина — живая. А тут — колесики,— медь?

У Ванюшки болела голова. Он шел рядом с приятелем, слушал его непонятную речь и тяжело соображал — как поступит Салакин, когда продаст сапоги? Возвратит он хоть половину пропитых денег или нет? И, заглянув в глаза Салакина, спросил его:

— Ты когда пойдешь сапоги-то продавать?

— А вот напьемся чаю и пойдем. Я, брат, насчет часов давно соображаю. Многих спрашивал — умных людей. Один говорит— так, другой — эдак. Невозможно понять!

— Да на что тебе это знать? — с любопытством спросил Ванюшка.

— А — интересно! Как так? Человек ходит — он живой, ему это просто!

Салакин говорил о тайне часов так много и горячо, что Ванюшка невольно поддался воодушевлению товарища и сам тоже начал догадываться — почему часы знают время? И пока приятели пили чай, они упорно и настойчиво рассуждали о часах.

Потом пошли продавать сапоги и продали их за два рубля сорок копеек. Салакин был огорчен низкой оценкой сапог. Тут же на базаре он пригласил Ванюшку в харчевню и с горя истратил сразу целый рубль. А поздно ночью, когда они оба, пошатываясь и громко разговаривая, шли в ночлежку, в кармане Салакина звякали только четыре медных пятака. Ванюшка держал его под руку, толкал плечом и радостно говорил:

— Брат! Люблю я тебя, как родного! Ей-богу! Душа ты... То есть бери меня всего! Вот как! Ей-богу! Хошь, садись на меня верхом? Я те повезу...

— Дур-рашка,— бормотал Салакин.— Ничего. Проживем! Завтра пойдем — внутренность продадим... всю мошну. Ну ее к лешему! А?

— Больше никаких! — махнув рукой, крикнул Ванюшка и тонким голосом запел:

Не-е-красива я, бед-дна...

Салакин остановился и подхватил:

Плох-хо я од-дета-а...

И, плотно прижавшись друг к другу, они вместе дикими голосами завыли:

Н-ни-и-кто-о за-амуж не берет
Дев-вочку з-за это-о!

— А Матвейка, рыжий дьявол,— он меня узнает! — неожиданно заключил Салакин и, высоко подняв руку, грозно помахал в воздухе кулаком.

IV

Прошло с неделю.

Однажды ночью друзья, голодные и злые, лежали рядом на нарах ночлежки, и Ванюшка тихо укорял Салакина:

— Всё ты виноват! Кабы не ты, я бы теперь работал где-нибудь...

— Подь к чёрту,— кратко посоветовал приятелю Салакин.

— Не лай! Я правду говорю. Чего теперь делать? С голоду помирать...

— Ступай, женись на купчихе, вот и будешь сыт... Мякиш!

— Ряба форма, шитый нос...

Уже не первый раз они разговаривали так.

Днем,— полуодетые, синие от холода,— они шатались по улицам, но очень редко им удавалось заработать что-нибудь. Они брались колоть дрова, скалывать на

дворах грязный лед и, получив за это по двугривенному, тотчас же проедали деньги. Иногда на базаре какая-нибудь барыня давала Ванюшке свою корзинку и платила ему пятак за то, что он в продолжение часа таскал за ней по базару эту корзину, тяжело нагруженную мясом и овощами. И всегда в таких случаях Ванюшка, голодный до боли в животе, чувствовал, что ненавидит барыню, но, боясь обнаружить как-либо это чувство, притворялся почтительным к ней и равнодушным ко всему, что лежало в ее корзинке, раздражая его голод.

Порою, тихонько от полиции, Ванюшка выпрашивал милостыню, а Салакин умел украсть кусок мяса, кружок масла, кочан капусты, гирю. Ванюшка в этих случаях дрожал от страха и говорил товарищу:

— Погубишь ты меня! Упекут нас в тюрьму...

— В тюрьме будем и сыты и одеты,— резонно возражал Салакин.— Али я виноват, что украсть легче, чем работу найти?

В этот день они едва собрали шесть копеек на ночлег; Салакин стащил где-то французский хлеб да небольшой пучок моркови, и больше ничего не пришлось им съесть в этот день. Голод жег внутренности и, не позволяя уснуть, озлоблял.

— Я сколько потратил на тебя? — укоризненно спрашивал Салакин Ванюшку.— У тебя всего-навсего имения было кафтан да топор...

— А шесть гривен? Забыл!

Они ворчали друг на друга, словно две злые собаки, и уже Ванюшка, как будто не нарочно, однажды толкнул Салакина локтем в бок. Но ему не хотелось открыто ссориться с товарищем: за это время он привык к нему и понимал, что без Салакина ему жилось бы еще хуже.

Одному жить в городе — страшно. А возвращаться в деревню оборванному, полуголому — стыдно и пред матерью и пред девками, пред всеми. Да и Салакин насмехался над ним каждый раз, когда Ванюшка говорил о возвращении в деревню.

— Иди, иди! — говорил он, оскаливая зубы.— Порадуй мать-то: заработал хорошо, оделся барином!

Помимо этого, Ванюшку не пускала в деревню смутная надежда на удачу. То ему казалось, что какой-ни-

будь богатый человек пожалеет его и возьмет в работники, то он думал, что Салакин найдет какой-нибудь выход из этой тягостной, голодной жизни. Надежда на ловкость товарища поддерживалась и самим Салакиным, который часто говорил:

— Ничего! Проживем, ты погоди. Выбьемся!..

Говорил он это с большой верой и смотрел на Ванюшку как-то особенно зорко. Тогда Ванюшке казалось, что товарищ знает средство, как выбиться.

И все-таки в эту ночь он, лежа бок о бок с товарищем, думал, что, если бы из потолка над ними вывалился кирпич на голову Салакина, это было бы хорошо. И вспомнил, как недавно, среди ночи, раздался дикий крик, напугавший всех, и вспомнил залитое темной кровью лицо человека, расплющенное кирпичом, упавшим из свода ночлежки.

— Велика сумма — твои шесть гривен,— бормотал Салакин,— а вот кабы ты...

— Что я?

— Кабы ты посмелее был...

— Ну?

— Ну и ничего...

Ванюшка подумал и сказал:

— Ничего ты не можешь — зря только языком болтаешь...

— Я-то?

— Ты.

— Эх! Сказал бы я...

— Ну, что? Ну, осмелел я, скажем... А потом что делать?

— Потом?

— Ну да!

— Я скажу!

— Говори.

— И скажу, только...

— Сказать нечего,— решительно пробормотал Ванюшка.

Салакин беспокойно завозился на нарах. А Ванюшка повернулся спиной к нему и, безнадежно, с тоской, вздохнув, прошептал:

— О господи, хоть бы корку какую...

Несколько минут они оба лежали молча. Потом Салакин приподнялся, наклонил голову над Ванюшкой и, почти касаясь губами его уха, едва слышно сказал:

— Иван! Слушай, пойдем со мной!

— Куда? — тоже чуть слышно спросил Ванюшка.

— В Борисово...

— Пошто?

— Дорогой скажу!

— Сейчас говори...

— Ну, пойдем! Я скажу... Придем мы и... Матвей Иванова обокрадем,— ей-богу!

— Подь ты к чёрту,— со страхом и досадой сказал Ванюшка..

Но Салакин тяжело навалился на него и начал шептать ему в ухо:

— Ты слушай,— просто ведь! Придем, сделаем что надо, и — назад сюда! Кто на нас подумает? Я там всё знаю, все ходы-выходы,— и где лежат деньги знаю,— и есть серебро: ложки, стаканчики в горке, за стеклом...

Горячее дыхание Салакина грело щеку Ванюшки, и страх его таял. Но всё же он тихо повторил:

— Поди, говорю, прочь, дьявол!

— Нет, ты подожди-ка... Ведь как бы мы зажили,— подумай! Раз — и сыты, обуты, одеты... а?

Ванюшка лежал молча, а Салакин всё вдувал в ухо ему и в мозг горячие, убежденные слова.

И наконец Ванюшка спросил его:

— А много денег-то?

V

Через два дня, ранним утром, они шли по большой дороге, плечо к плечу друг с другом, и Салакин воодушевленно говорил товарищу, заглядывая ему в глаза:

— Понимаешь: перво-наперво мы сарай подожжем! И как, значит, загорится, все побегут на пожар, и он тоже — Матвей-то! Он побежит, а мы — к нему! И очистим его, как яичко...

— А поймают? — задумчиво спросил Ванюшка.

— Никак нельзя! — сказал Салакин.— Кому ловить?

И строгим голосом он добавил:

— Пожар тушить надо, а не воров ловить! Понял?

Ванюшка утвердительно кивнул головой.

Это было в начале марта. Мягкий, пухлый снег тяжелыми хлопьями лениво падал с невидимого неба и быстро залеплял следы людей, шагавших по дороге, между двух рядов старых берез с обломанными сучьями.

— Эх, кабы удалось! — сказал Ванюшка, тяжело вздыхая.

— Погляди, как удастся! — уверенно обещал Салакин.

— Дай бог! То есть ежели бы удалось,— господи! Никогда бы больше не пошел на эдакое дело...

Товарищи шли быстро, потому что были очень плохо одеты,— Салакин в свою бабью кофту, украшенную бесчисленным количеством дыр, из которых смотрела грязная вата, на ногах у него хлябали валяные калоши, а на голову он натянул серую от старости шапку. Ванюшка приобрел себе вместо кафтана коричневый драповый пиджак, но правый рукав пиджака был почему-то черный. В лаптях, в картузе с изломанным козырьком, подпоясанный веревкой, Ванюшка стал похож на пропившегося мастерового, а не на крестьянина.

Накануне того дня, когда они решили идти на дело, Салакин ухитрился стянуть где-то медную кастрюлю и утюг, продал их за восемь гривен торговцу старым железом, и теперь у него в кармане лежал полтинник.

— Ежели бы попался нам по дороге кто-нибудь на лошади да подвез бы нас,— сказал Салакин.— А то мы к ночи не поспеем,— сорок верст с лишком тут! Можно бы даже по пятаку с рыла дать, кабы подвез...

Снег валился на головы им, падал на щеки, залепил глаза, лег на плечи белыми эполетами, приставал к ногам. Вокруг них и над ними безмолвно кипела белая каша, и они ничего не видели впереди себя. Ванюшка шел, молча понурив голову, как старая, больная лошадь, которую ведут на живодерню, а живой, словоохотливый Салакин оглядывался вокруг и болтал, не умолкая.

— Сколько прошли! А что впереди — не разберешь! Экий снег... Оно, положим, снег нам на руку,— следов

не будет... Ежели бы он так всё и валил! Только при нем поджигать неловко! Ничего, видно, на свете такого не бывает, которое со всех сторон — и так и эдак — хорошо было бы...

Хлопья снега становились мельче, суше и уже падали на землю не прямо и медленно, а стали кружиться в воздухе тревожно, суетливо и еще более густо. Вдруг из них выступило тяжелой темной кучей покосившееся набок здание, точно вдавленное в землю тяжелыми сугробами на его крыше.

— Это Фокины дворики,— сказал Салакин.— Мы давай в кабак зайдем, выпьем по стаканчику...

— Надо,— согласился Ванюшка, вздрагивая всем телом.

У кабака неподвижно стояли две лошади, запряженные в дровни. Маленькие, лохматые, они уныло смотрели кроткими глазами, смахивая снег с ресниц. Некрашеные дуги были пропитаны какой-то черной пылью.

— Ага, угольщик! — сказал Салакин.— Вот кабы по пути нам...

И на самом деле, в кабаке за столиком у окна сидел молодой парень и пил пиво. Ванюшке бросился в глаза длинный смешной нос на худом лице, покрытом черными пятнами. Угольщик сидел на стуле важно, развалившись, широко расставив ноги, и пил из стакана медленными глотками, а когда выпил, то закашлялся, затрясся весь и сразу потерял всю важность своей осанки.

Ванюшка подошел к стойке, проглотил стакан пахучей горькой водки и мигнул Салакину на угольщика.

— В город едешь, молодец? — спросил Салакин, подходя к угольщику.

Тот посмотрел на него и глухим голосом ответил:

— Мы в город порожнём не ездим.

— Стало быть, из города!

— А тебе что?

— Мне-то? А вот мы с товарищем идем в Борисово,— на маслобойку порядились. Подвези немного, коли по пути!

Парень осмотрел Салакина, потом Ванюшку, налил себе пива и, вылавливая пальцем кусочек пробки из стакана, кратко ответил:

— Нам не рука.

— Подвези, будь другом! Мы тебе по пятачку бы...

— Мы не нуждаемся,— сказал парень, не глядя на Салакина.

— Ну, Христа ради подвези! — попросил Ванюшка тихо и робко.

Парень взглянул на него, нахмурил брови и отрицательно потряс головой.

— Экой ты какой! — воскликнул Салакин.— Не всё тебе равно? Идти нам далеко, мы устали, одежа вон какая...

— Теплей бы одевались,— сказал угольщик с усмешкой.

— Да ежели не на что! — убедительно молвил Ванюшка.— Видишь — бедные мы...

— А зачем бедные? — равнодушно спросил угольщик и стал пить пиво.

Ванюшка переглянулся с товарищем, оба замолчали, стоя без шапок перед угольщиком.

Тогда заговорила старуха-кабатчица:

— Ты бы не ломался, Николай, подвез бы их. Чего там? Даром лошадь бежит,— а они вон по пятаку, слышь, дают! Ты спроси деньги вперед, да и пускай сядут.

Угольщик вновь осмотрел обоих товарищей поочередно. Потом вздохнул и сказал:

— По гривеннику.

— Ну, ладно! — крикнул Салакин, взмахнув рукой.— Бери — на, пользуйся!

— Погляди деньги-то,— посоветовала старуха.

Угольщик бросил двугривенный Салакина на стол, прислушался к его звону, потом покусал его зубами и, подойдя к стойке, вновь бросил монету, сказав старухе:

— Получи за пиво.

— Ну и пес! — шепнул Салакин Ванюшке.

— Ты садись на порожнюю,— сказал угольщик Ванюшке, получив со старухи сдачу,— а ты — со мной...

— Ладно! — согласился Салакин.— А— что не вместе мы?

— А зачем вам вместе? — подозрительно спросил угольщик.

— Теплее нам бы...

— Ишь,— усмехнулся угольщик.— Нет, ты делай, как я велю. Потому, ежели товарищ-то твой захочет лошадь у меня угнать,— так я тебя гирькой по башке оглушу, свяжу да и...

Не кончив свою речь, он засмеялся, потом стал кашлять долго, трудно...

VI

Отъехали верст пять от кабака, когда угольщик заговорил наконец со своим седоком:

— Ты кто таков?

— Человек,— сквозь зубы сказал Салакин.

Ехать было холодно. Салакин весь дрожал мелкой дрожью. Вьюга почти перестала, но дул резкий ветер. Уже дважды Салакин соскакивал из дровней и бежал рядом с ними по дороге в надежде согреться. Но бежать по глубокому, рыхлому снегу было тяжело, он быстро уставал, валился снова в дровни, а после этого еще сильнее зяб. И всякий раз, когда он выскакивал из дровней, угольщик, одетый в крепкий полушубок и чапан, высовывал из рукава чапана коротенькую толстую палку с цепью на конце ее и фунтовой гирей на конце цепи. Салакин знал, что этот инструмент называется кистенем, и чувствовал, что злоба, такая же острая, как холод, сжимает ему сердце.

— Все люди! — сказал угольщик.— А я спрашиваю про то, чей ты таков?

— Я — ничей. Безродный я,— ответил Салакин и крикнул вперед: — Ваня, жив?

— Жив,— ответил Ванюшка негромко.

— Озяб?

— Да...

— Погляжу я на вас,— ворчливо заговорил угольщик,— несчастные вы. Оборванцы оба... Так, какие-то... лентяи, видно...

Салакин сидел съежившись и молчал, заботясь о том, чтобы не стучали зубы.

Он смотрел назад, видел там, сквозь редкие теперь пушинки снега, пустынную синеватую равнину. Она дышала холодом, тоской в его лицо. И ничего не было в ней такого, на чем мог бы остановиться глаз.

— А вот мы — Семакины, нас три брата. Жжем мы, значит, уголь. возим его в город, на винный завод, да... Живем дружно. Сыты, одеты, обуты... всё как надо быть, слава богу! Кто работать умеет, не ленится, не шалберничает — тот завсегда хорошо живет... Старшие братаны — женаты, и я вот после праздника женюсь... Вот оно как! Кто работать может, тому жить просто...

Лошадь едва бежала, тяжело вваливаясь в хомут. Сани дергало, и Салакин качался в них, как орех на ладони.

Скучные, тупые, тяжелые слова угольщика ложились ему в душу, точно холодные кирпичи, сжимали ее, и ему было больно, обидно слушать глухой голос этого человека.

— Ванюшка! — крикнул он.

— А?

— Ты бы побежал маленько...

— На што? — слабым голосом спросил Кузин.

— Не замерзни!

— Ничего...

Угольщик вздохнул. Потом усмехнулся, утер нос рукавом и вновь заговорил:

— Эки люди, эки люди! И что живете? Холодно, голодно... несуразно! Али так подобает жить людям? Жить надо хорошо...

— Ты вот поделись со мной деньгами, я и заживу хорошо,— злобно сказал Салакин.

— Чего?

— Поделись, говорю...

— Я те поделюсь! Это видал?

Перед лицом Салакина качалась гиря на цепочке, он видел оскаленное усмешкой, черное, как у дьявола, лицо угольщика. И вдруг Салакина точно огнем охватило, точно сердце в груди его разорвалось, извергло пламя,

а пламя это хлынуло в голову и окрасило всё пред глазами в кроваво-красный цвет. Он сильно, как мог, размахнулся правой рукой наотмашь и ударом локтя по лицу опрокинул угольщика на спину. В то же время гиря упала на него, между лопатками, в тело впилась острая боль и стеснила ему дыхание.

— Караул, убивают! — отрывисто вскрикнул угольщик.

Но Салакин, всею тяжестью своей, навалился на него, охватил пальцами шею угольщика и, крепко сжимая, тискал коленями живот угольщика:

— Ну, говори, кричи, говори...

Угольщик хрипел, кусал зубами одежду на плече Салакина, извивался под ним, как рыба под ножом, и тоже искал руками его шею. Кистень выпал из его пальцев, но висел на ремне у кисти руки. Он то и дело касался тела Салакина, и каждое его прикосновение, не вызывая боли, рождало страх.

— Ванюшка! Помогай! — диким голосом закричал Салакин.

Ванюшка, стиснутый холодом, лежал в дровнях, зарывшись в кули из-под углей, и, когда услыхал крик угольщика, его охватил страх. Он сразу, инстинктом, догадался, в чем дело, и еще глубже сунул голову в кулье...

«Скажу,— я спал,— я не слыхал»,— быстро сообразил он.

Но когда раздался зов товарища на помощь, он весь вздрогнул и выскочил из саней, словно ком снега из-под копыта лошади. В его мозгу искрой мелькнула мысль, что, если угольщик одолеет Салакина, он убьет и его, Ванюшку. А когда он очутился около двух человеческих тел, скрутившихся в один огромный узел, увидал облитое кровью, но все-таки черное лицо угольщика и кистень, который болтался на правой руке, судорожно искавшей его черными пальцами,— Ванюшка схватил эту руку и стал ломать, коверкать, вертеть ее...

Маленькая, мохнатая лошадка с печальными глазами, качая головой, тихо шагала по дороге, увозя куда-то в холодную и мертвую даль троих людей, которые,

хрипя и скрежеща зубами, бессмысленно возились в дровнях, а другая лошадь, боясь, что ноги этих людей ударят ее по морде, начала потихоньку отставать.

VII

Когда Ванюшка, усталый, вспотевший, очнулся от борьбы, он со страхом в глазах вполголоса сказал Салакину:

— Гляди,— где лошадь-то? Ушла!

— Она не скажет,— пробормотал Салакин, вытирая кровь с разбитого лица.

Спокойный голос товарища уменьшил страх Ванюшки.

— Н-ну, наделали делов! — искоса глядя на угольщика, сказал он.

— Лучше нам его убить, чем ему нас,— так же спокойно проговорил Салакин и тотчас же деловито добавил: — Ну-ка, давай его раздевать! Тебе — полушубок, мне — чапан. Надо скорее, а то встретит кто-нибудь или нагонит...

Ванюшка, молча, начал перевертывать угольщика, снимая с него одежду, и всё посматривал на товарища. Он подумал:

«Неужто не боится?»

Спокойное, деловое отношение товарища к убитому вызывало у Ванюшки удивление и робость пред товарищем. И еще более удивляло его рябое, исцарапанное лицо Салакина,— оно всё вздрагивало, кривилось, точно от безмолвного смеха, и глаза на нем блестели как-то особенно, точно он в меру выпил вина или чему-то сильно обрадовался. В борьбе Ванюшка потерял картуз, Салакин взял шапку угольщика, сунул ее Ванюшке и сказал:

— Надень,— озябнешь так-то! Да и нехорошо... Человек, и вдруг — без шапки. Почему такое?

Он начал выворачивать карманы штанов убитого и делал это так быстро и ловко, точно всю жизнь только тем и занимался, что убивал и грабил людей.

— Надо всё соображать,— говорил он, развязывая

кисет угольщика.— Никто без шапок не ходит. Ишь ты,— золотой, пять целковых,— нет, семь с полтиной...

— Ты,— робко заговорил Ванюшка, глядя на монету загоревшимися глазами.

— Чего? — быстро окинув его взглядом, спросил Салакин. И пренебрежительно проворчал: — Ужо этого добра у нас будет довольно! Н-но, шагай, малышка! Вези скорей...

И Салакин ударил ладонью по крупу лошади.

— Я не про деньги,— сказал Ванюшка.— Я хотел спросить...

— Чего?

— Ты — первый раз это? — Ванюшка показал глазами на раздетое тело угольщика.

— Дурак! — усмехаясь, воскликнул Салакин.— Что я, разбойник, что ли?

— Я потому, что больно скоро ты его раздел...

— Живых — раздевают, а мертвого — не велика мудрость.

И вдруг Салакин, стоявший на коленях, покачнулся и тяжело упал на ноги Ванюшки, тот вздрогнул, точно всё тело его вдруг окунулось в холодную воду, закричал, стал отталкивать от себя товарища, а лошадь от крика пустилась вскачь.

— Ничего, ничего,— бормотал Салакин, хватаясь за Ванюшку. Лицо у него стало синее, глаза тупые, тусклые.

— Между крыльцев он меня ударил. Сердце схватило... пройдет...

— Еремей,— дрожащим голосом заговорил Ванюшка.— Воротимся, Христа ради!

— Куда?

— В город! Я боюсь...

— В город — нельзя! Нет, мы поедем, продадим лошадь,— потом туда — к Матвею...

— Я боюсь,— уныло сказал Ванюшка.

— Чего?

— Пропадем мы, брат! Чего теперь будет? Али мы за этим шли с тобой?

— Подь ты к чёрту! — громко крикнул Салакин, и глаза его злобно сверкнули.— «Пропадем!» Что зна-

чит — пропадем? Одни мы с тобой, что ли, человеков убиваем? Первый раз, что ли, на земле это случилось?

— Ты не сердись,— плачевным голосом попросил Ванюшка, видя, что лицо товарища снова стало каким-то отчаянным и точно пьяным.

— Как тут не сердиться! — с негодованием воскликнул Салакин.— Вышло эдакое...

— Ты погоди,— что мы делаем? — убедительно заговорил Ванюшка, вздрагивая всем телом и боязливо оглядываясь вокруг.— Куда мы его везем? Ведь сейчас Вишенки должны быть,— а мы с тобой чего везем?

— Тпрру, чёрт! — крикнул Салакин на лошадь и быстро, легко, как мяч, выскочил из дровней на дорогу.

— Верно, брат! — забормотал он, хватая угольщика за руку.— Бери его, тащи! Бери за ноги, ну! Тащи!

Ванюшка, стараясь не видеть лицо трупа, приподнял его ноги и все-таки увидал что-то синее, круглое, страшное на месте лица угольщика.

— Рой яму! — командовал Салакин и прыгал в рыхлом снегу, разгребая его сильными торопливыми движениями ног в обе стороны. Он делал это так странно, что Ванюшка, опустив тело угольщика на рыхлый снег, встал над ним и смотрел на товарища, не помогая ему.

— Зарывай, зарывай,— говорил Салакин, усердно и быстро засыпая снегом грудь и голову убитого. Товарищи возились в двух шагах от дровней, а лошадь, скосив шею, одним глазом смотрела на них и стояла неподвижно, точно замерзла.

— Едем, готово,— сказал Салакин.

— Мало! — возразил Ванюшка.

— Чего мало?

— Заметно,— бугор...

— Всё одно!

Они сели в дровни и поехали дальше, плотно прижавшись друг к другу. Ванюшка смотрел назад по дороге, и ему казалось, что они едут страшно тихо, потому что бугор снега над телом убитого не скрывался из глаз.

— Гони лошадь,— попросил он Салакина, плотно закрыл глаза и долго не открывал их. А когда открыл, то все-таки увидал вдали, влево от дороги, небольшое возвышение на гладком снегу.

— Эх, пропадем мы, Ерема,— почти шёпотом сказал Ванюшка.

— Ничего,— глухо ответил Салакин.— Продадим лошадь, потом — опять в город... Ищи нас! Вот они, Вишенки-то...

Дорога опускалась под гору, в неглубокую снежную долину. Черные голые деревья задвигались по бокам дороги. Крикнула галка. Товарищи вздрогнули, молча взглянули в лица друг другу...

— Ты — осторожнее,— шепнул Ванюшка Салакину.

VIII

В кабак они вошли развязно, шумно.

— Ну-ка, добрый человек,— сказал Салакин кабатчику,— нацеди нам по стакашку!

— Можно,— ответил высокий черный мужик с лысиной, вставая за стойкой. И он посмотрел на Ванюшку так приветливо и просто, что Кузин остановился посреди кабака и виновато улыбнулся.

— В нашем этом месте такой порядок,— заговорил кабатчик, ставя пред Салакиным водку,— что люди, когда куда входят, так говорят: «Здорово!» или там «Здравствуй!» Дальние будете?

— Мы-то! Нет, мы... мы тут не больно далеко... верст тридцать,— объяснил Салакин.

— В котору сторону?

— В эту,— и Салакин указал на дверь кабака.

— Из-под города, значит? — спросил кабатчик.

— Вот... Иди, Ваня, пей!

— Брат, Ваня-то?

— Нет,— быстро ответил Ванюшка.— Какие мы братья!

В углу кабака, около двери, сидел маленький мужик, с острым птичьим носом и серыми зоркими глазами. Он встал с места, медленно подошел к стойке и в упор, бесцеремонно оглядел товарищей.

— Ты чего? — спросил кабатчик.

— Так,— скрипучим голосом сказал мужик.— Думал — может, знакомые какие...

— Посидим немножко мы, погреемся,— сказал Салакин, отходя от стойки, и дернул Ванюшку за рукав.

Они отошли в сторону, сели за стол, мужик с птичьим носом остался у стойки и что-то негромко сказал кабатчику.

— Поедем,— шепнул Ванюшка Салакину.

— Погоди,— громко ответил Салакин.

Ванюшка укоризненно поглядел на товарища и покачал головой. Ему казалось, что теперь громко говорить при людях опасно, нехорошо, неловко.

— Налей-ка нам еще по одной,— предложил Салакин.

Дверь кабака завизжала, и вошли еще двое: один — старик, с большой седой бородой; другой — коренастый, большеголовый, в коротеньком, по колено, полушубке.

— Доброго здоровья,— сказал старик.

— Добро пожаловать,— ответил кабатчик и поглядел на Салакина.

— Чья лошадь? — кивая на дверь головой, спросил коренастый.

— Вот этих людей,— указывая пальцем на Салакина, медленно выговорил остроносый мужик.

— Наша,— подтвердил Салакин.

А Ванюшка слушал голоса, и у него замирало сердце от тревоги. Ему казалось, что здесь все люди говорят как-то особенно, слишком просто, как будто они всё знают, ничему не удивляются и чего-то ждут.

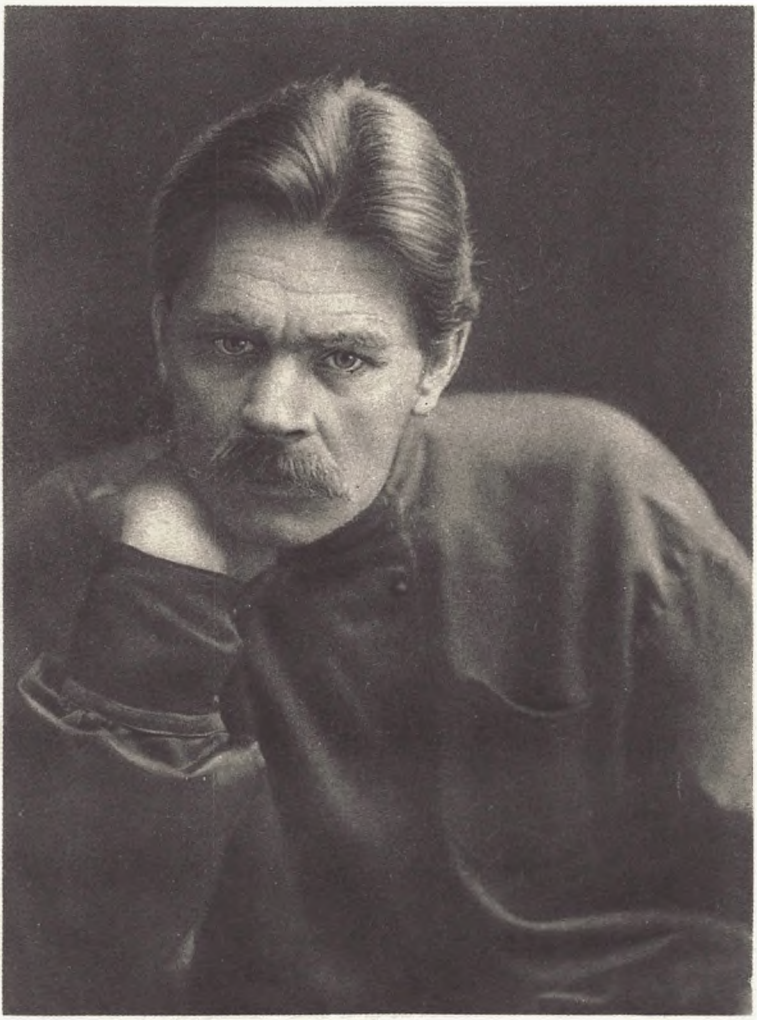
— Уедем,— шепнул он товарищу.

— А вы кто такие? — спросил Салакина коренастый.

— Мы? Мясники,— неожиданно ответил Салакин и улыбнулся.

— Ну — чего ты? — беспокойно, но негромко воскликнул Ванюшка.

Однако все четверо мужиков услыхали его восклицание и все, медленно поворотив головы, уставились на него любопытными глазами. Салакин рассматривал их спокойно, только плотно сжатые губы его вздрагивали, а Ванюшка опустил голову над столом и ждал, чувствуя, что не может дышать. Тяжелое, как туча, молчание продолжалось недолго...



А. М. ГОРЬКИЙ

Филадельфия, 1906 г.

Фото Э. Гольденской

— То-то, гляжу я,— заговорил коренастый мужик,— передок-то дровней в крови...

— Чего? — дерзким голосом сказал Салакин.

— А я,— сказал старик,— не заметил крови,— разве кровь? Я на дровни взглянул,— всё черное, значит, мол,— угольщики! Налей мне, Иван Петрович...

Кабатчик налил стакан водки и медленно, как сытый кот, пошел к двери. Мужик с птичьим носом подождал, когда он поравнялся с ним, и тоже вышел из кабака.

— Ну,— сказал Салакин, вставая со стула,— ну, Ваня,— надо ехать! Куда хозяин пошел? Деньги-то...

— Сейчас придет,— сказал коренастый мужик, отвернувшись от Салакина, и стал свертывать папироску. Ванюшка тоже встал, но тотчас же снова опустился на стул, ноги у него стали дряблые, мягкие и не держали тела его. Он тупо взглянул в лицо товарища и, видя, что губы Салакина дрожат, тихо зарычал от тоски и страха.

Кабатчик вернулся один. Он так же медленно и спокойно, как вышел, возвратился за стойку и, облокотясь на нее, сказал старику:

— А опять теплеет...

— К тому время идет, к теплу...

— Ну, мы едем! — громко сказал Салакин, подходя к стойке.— Получай.

— Погоди,— лениво, улыбаясь, сказал кабатчик.

— Нам некогда,— тише произнес Салакин, опуская глаза.

— Ну, погоди,— повторил кабатчик.

— Чего годить?

— А вот я за старостой послал...

Ванюшка быстро встал на ноги и снова сел.

— Мне староста ни к чему,— заявил Салакин, передергивая плечами, и зачем-то надел шапку.

— А ему тебя надо,— лениво проговорил кабатчик, отодвигаясь от Салакина.

Старик и коренастый мужичок заинтересовались непонятным для них разговором и подвинулись к стойке.

— Хочет он тебя спросить, как это выходит — торгуешь ты мясом, а везешь кулье из-под углей?

— А-а-а? — протянул старик, отходя от Салакина.

— Вот оно что! — воскликнул коренастый.— Лошадку угнали?

— Нет! — тонким голосом воскликнул Ванюшка.

Салакин махнул рукой и, оборотившись к нему, сказал с кривой усмешкой:

— Приехали — готово!

В дверь кабака с шумом, торопливо вошло еще человек пять мужиков. Один из них, высокий, рыжий, держал в руках длинную палку. Ванюшка смотрел на них широко раскрытыми глазами, ему казалось, что все они, как пьяные, качаются на ногах и раскачивают кабак.

— Здорово, молодчики! — сказал мужик с палкой.— Нуте-ка, скажите-ка нам, вы кто такие? И отколе? Вот я, примерно, староста,— а вы?

Салакин взглянул на старосту и засмеялся смехом, похожим на лай собаки. А лицо у него побледнело.

— Ты смеяться? — сурово сказал один из мужиков и стал засучивать рукава.

— Погоди, Корней,— остановил его староста.— Всему своя очередь. Они и так... Вы, ребята, тово,— вы прямо вчистую говорите — где лошадь взяли? Во!

Ванюшка тяжело и медленно, как подтаявший снег с крыши, съехал со стула на пол и, стоя на коленях, начал бормотать, заикаясь:

— Православные,— не я! Он! Мы лошадь не угнали — мы угольщика убили... Он тут,— недалеко,— в снегу зарыт. Мы не угоняли лошадь,— мы ехали только, ей-богу! Это всё — не я! Она сама отстала, лошадь; она придет! Мы не хотели убить,— он сам начал — кистенем! А мы в Борисово шли,— мы хотели приказчика ограбить,— поджечь сначала,— а лошадей мы не трогали! Это всё он меня, вот этот...

— Вали-и! — громко крикнул Салакин. Он сорвал с головы шапку и бросил ее к ногам мужиков, стоявших пред ним молчаливой, плотной, темной стеной.

— Сыпь, Ванька, хорони!

Ванюшка замолчал, опустил голову на грудь, руки у него повисли вдоль тела.

Мужики долго смотрели на них угрюмо и молча. Наконец один — тот, с птичьим носом и скрипучим голосом,— вздохнул и громко, с досадой сказал:

— Эки ведь злодеи, дураки,— а!

ЧЕЛОВЕК

I

...В часы усталости духа,— когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом, когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед,— в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека.

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — выше! — трагически прекрасный Человек!

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья — творит богов, в эпохи бодрости — их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — зачем он существует? — он мужественно движется — вперед! и — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта — науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами,— он движется всё — выше! и — вперед! звездою путеводной для земли...

Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно спокойна, точно меч,— идет

свободный, гордый Человек далёко впереди людей и выше жизни, один — среди загадок бытия, один — среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким гнетом на сердце гордое его, и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его — их уничтожить.

Идет! В груди его ревут инстинкты; противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки; привязанностей цепкие волокна опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их... Все чувства овладеть желают им; всё жаждет власти над его душою.

А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути.

И как планеты окружают солнце,— так Человека тесно окружают созданья его творческого духа: его — всегда голодная — Любовь; вдали, за ним, прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятья...

Он знает всех в своей печальной свите — уродливы, несовершенны, слабы созданья его творческого духа!

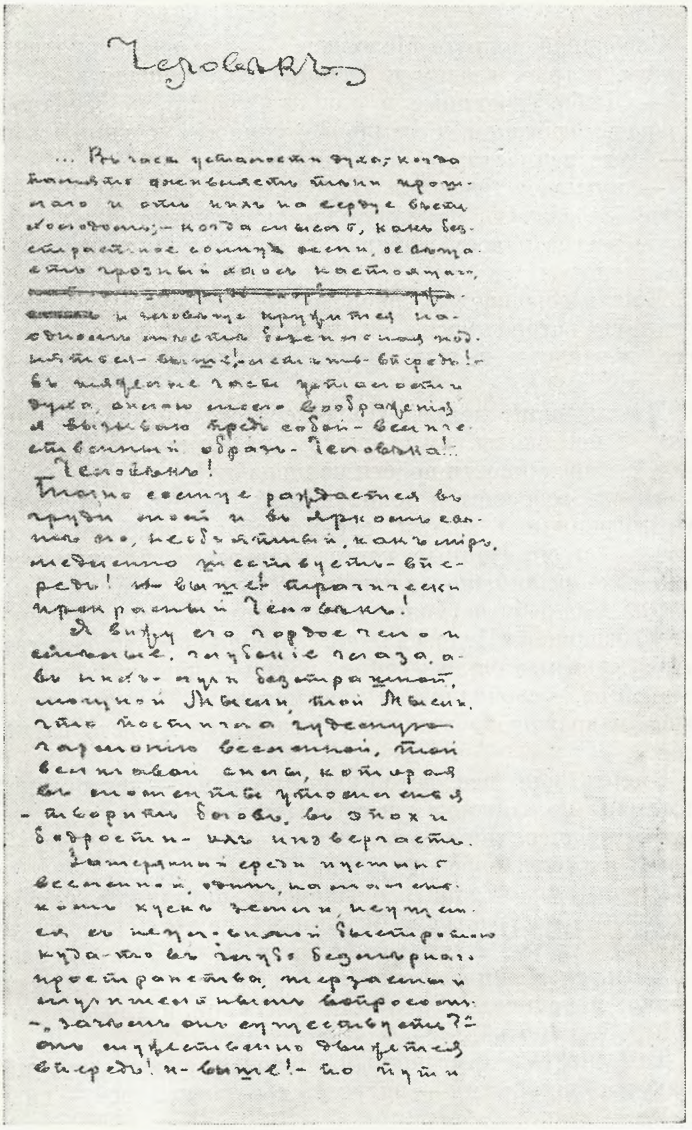
Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут, и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя.

И тут же — вечный спутник Человека, немая и таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.

Он знает всех в своей бессмертной свите, и, наконец, еще одно он знает — Безумие...

Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец...

И только Мысль — подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него.



«ЧЕЛОВЕК».
Страница белового автографа первой редакции поэмы.

Свободная подруга Человека, Мысль всюду смотрит зорким, острым глазом и беспощадно освещает всё:

— Любви коварные и пошлые уловки, ее желанье овладеть любимым, стремленье унижать и унижаться и — Чувственности грязный лик за ней;

— пугливое бессилие Надежды и Ложь за ней,— сестру ее родную, нарядную, раскрашенную Ложь, готовую всегда и всех утешить и — обмануть своим красивым словом.

Мысль освещает в дряблом сердце Дружбы ее расчетливую осторожность, ее жестокое, пустое любопытство, и зависти гнилые пятна, и клеветы зародыши на них.

Мысль видит черной Ненависти силу и знает: если снять с нее оковы, тогда она всё на земле разрушит и даже справедливости побеги не пощадит!

Мысль освещает в неподвижной Вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее тяжелых крылий, и — слепоту пустых ее очей.

Она в борьбу вступает и со Смертью: ей, из животного создавшей Человека, ей, сотворившей множества богов, системы философские, науки — ключи к загадкам мира,— свободной и бессмертной Мысли — противна и враждебна эта сила, бесплодная и часто глупо злая.

Смерть для нее ветошнице подобна — ветошнице, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою — ворует нагло здоровое и крепкое.

Пропитанная запахом гниенья, окутанная ужаса покровом, бесстрастная, безличная, немая, суровою и черною загадкой всегда стоит пред Человеком Смерть, а Мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертья...

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и — выше! всё — вперед! и — выше!

II

Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце ищет Веры и громко просит нежных ласк Любви.

И Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаянье, Тоска,— три черные, уродливые птицы — зловеще реют над его душою, и все поют ему угрюмо песнь о том, что он — ничтожная букашка, что ограничено его сознанье, бессильна Мысль, смешна святая Гордость, и — что бы он ни делал,— он умрет!

Дрожит его истерзанное сердце под эту песнь и лживую и злую; сомнений иглы колют мозг его, и на глазах блестит слеза обиды...

И если Гордость в нем не возмутится, страх Смерти властно гонит Человека в темницу Веры, Любовь, победно улыбаясь, влечет его в свои объятья, скрывая в громких обещаньях счастья печальное бессилье быть свободной и жадный деспотизм инстинкта...

В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее.

И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной Лжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим собою.

Но Мысль горда, и Человек ей дорог,— она вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы — сердце Человека.

Как враг, она преследует его; как червь, неутомимо точит мозг; как засуха, опустошает грудь; и, как палач, пытает Человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом тоски по правде, суровой мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий огненный цветок, рожденный Мыслью.

Но если Человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и грустно верит, что на земле нет счастья выше полноты

желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль и — дремлет, оставляя Человека во власти его сердца.

И, облаку заразному подобна, гнилая Пошлость, подлой Скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека, окутывая едкой серой пылью и мозг его, и сердце, и глаза.

И Человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своею в животное без Гордости и Мысли...

Но если возмущенье вспыхнет в нем, оно разбудит Мысль, и — вновь идет он дальше, один сквозь терния своих ошибок, один средь жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин!

Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи Правде и говорит сомнениям своим:

«— Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу, я чувствую — оно во мне растет! Я постигаю рост сознанья моего моих страданий силой, и — знаю — если б не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде...

— Но с каждым шагом я всё большего хочу, всё больше чувствую, всё больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознанья моего! Теперь оно во мне подобно искре — ну что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожною болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы,— всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!

— Я призван для того,— чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!

— Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать всё старое, всё тесное и грязное, всё злое,— и новое создать на выкованных Мыслью

незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!

— Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!

— Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь, уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа!

— Да будут прокляты все предрассудки, предубежденья и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей,— я их разрушу!

— Мое оружье — Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы!

— Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений; я вижу, что всё ярче он горит, всё глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной Мысли, вослед за ней, всё — выше! и — вперед!

— Для Мысли нет твердынь несокрушимых и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Всё создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить всё, что может помешать свободе ее роста.

— Спокойно сознаю, что предрассудки — обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся над жизнью, все созданы из пепла старых правд, сожженных пламенем всё той же Мысли, что некогда их сотворила.

— И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы...

— Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!

— Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награда.

— Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — предрассудок, возникший из неуме-

ния людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться.

— Сомнения! Вы — только искры Мысли, не более. Сама себя собою испытуя, она родит вас от избытка сил и кормит вас — своей же силой!

— Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души всё темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!

— Всё — в Человеке, всё — для Человека!»

Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его.

Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку нет конца пути!

Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! всё — вперед! и — выше!

А. П. ЧЕХОВ

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно всё знать, батенька, всё!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы

он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ,— вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, б з книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности,— глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно всё это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете — когда я вижу учителя,— мне делается неловко перед ним и за его робость и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите,— целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте — чаю дам за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену

мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю всё дряхлые слова... значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат,— у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький,— тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему,— хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей пеловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь: в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова,— слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку,— сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите,— негромко и ласково спросил Чехов,— кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь,— продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь,— разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — неудивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — 20 рублей... а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству,— с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который всё понимает. Великое это дело — всё понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди,— чёрт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; всё пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона

Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы,— разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво простой, он любил всё простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно,— миром...

— Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется,— победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованны...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания,— чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей,— серьезно сказал Антон Павлович,— я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не дозрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович,— вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник,— вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И всё у них карикатурно выходит, мертво... А фотографиею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на... сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость,— искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям,— совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы,— сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь,— ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте.— Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да... очень. Приятный человек,— покашливая, соглашается Антон Павлович.— Всё знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей,— убежденно посоветовал Антон Павлович.— Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем всё это нужно читателю,— никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Всё так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович.— Это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю,— говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой.— Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него

беспокойный и заявить о себе хочется,— мол, тоже на земле живу! Вот видите,— могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды.— В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони,— об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно

две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет...

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И когда он говорил так,— я не видел на его лице брезгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека своим серым туманом, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «Да будьте же вы... порядочнее!» — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя всё пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внеш-

ностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, всё устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание всё той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Всё так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскли-

вым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка»,— милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая,— паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно́ говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него всё разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что́ им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит

в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наваждении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой белой лошади. Всё это и

еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любуется энергией, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например, Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя,— о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И, лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные

им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церквы бы строил да сады всё садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова,—
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя.— Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно, хочется сказать — целомудренно, и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Тол-

стом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете,— напишу об учительнице, она атеистка,— обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку»,— косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь,— есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей,— говорил он.— Литература в нашем быту всё еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно,— уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая в даль, в море, неожиданно сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при

новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится всё сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и всё более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся,— какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на всё. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

— Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку.

Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить значит — всё уметь...»

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим,— убеждал он Сулержицкого,— Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево.

Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал

«Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

ТЮРЬМА

I

Над городом неподвижно стояли серые тучи; на грязную землю лениво падал мелкий дождь, окутывая улицы тусклой дрожащей тканью...

Окруженная плотной цепью полицейских, по мокрому тротуару, прижимаясь к сырым стенам домов, медленно шла густая толпа мужчин и женщин, а над нею колебался глухой, неясный шум.

Серые, сумрачные лица, крепко сжатые челюсти, угрюмо опущенные глаза. Кое-кто растерянно улыбается и развязно шутит, стараясь скрыть обидное, тяжелое сознание бессилия. Порою раздается сдавленный крик возмущения, но он звучит тускло и неуверенно, как будто человек еще не решил: пора возмущаться или уже — поздно?

Усталые лица полицейских озабочены, озлоблены. Капли дождя тускло блестят на шапках и усах. И на людей,— побежденных без боя,— вместе с дождем лениво падают крупные липкие хлопья снега — опускается угрюмая печаль.

— Загоняй во двор! — крикнул кто-то осипшим голосом.

Началась давка, люди, как овцы, тесно прижимаясь друг к другу, темным потоком вливались во двор. Их негодующие крики зазвучали громче, нервнее, послышались резкие возгласы озлобления, высокие голоса женщин зазвенели слезами...

Веселый, добродушный здоровяк, студент первого курса Миша Малинин шел в середине толпы и наивными голубыми глазами жалостно осматривал бледные, злые,

растерянные лица вокруг себя. Крики женщин, нервный смех, глухой ропот волновали его; задыхаясь в тесноте, полный тяжелым чувством стыда, готовый плакать от негодования, расталкивая окружающих, он старался скорее пройти во двор, чтобы спрятаться там, отделить себя от всех, остаться одному.

...Чьи-то маленькие цепкие руки крепко схватили его за рукав пальто — он увидел пред собой бледное лицо с огромными влажными глазами. Это лицо, мокрое от слез или дождя, поднялось к его лицу, и ярко-красные, судорожно перекошенные губы, вздрагивая, горячо зашептали:

— Я — не пойду!.. я не могу, не хочу! Он толкнул меня... он не смеет... Скажите ему...

Девушка задыхалась, трясла головой, и черные кудри мятежно осыпали ее мокрые щеки и белый высокий лоб.

— Не смеет! — вдруг закричала она, покрывая своим голосом весь шум, взмахнула рукой, выпрямилась, и глаза ее вспыхнули.

Тогда и в груди Миши тоже вспыхнул огонь, жгучими струйками разлился по жилам, выжег стыд, наполнил грудь юношеской отвагой. Миша рванулся вперед,— черная масса расступилась под его напором, как грязь от камня, упавшего в нее... Он увидал пред собой высокого человека в серой шинели и звенящим голосом закричал на него:

— Вы не смеете бить!

— Да — э! Кто ж бьет? — раздраженно отмахнувшись рукой, возразил серый человек. Его утомленное лицо с рыжими усами исказилось пренебрежительной гримасой, и, положив руку на плечо Миши, он сказал:

— Ну, прошу вас,— идите же!

Миша видел его гримасу и почувствовал в сердце острый укол обиды.

— Я — не пойду! — свирепо закричал он.— Мы не пойдем... мы не стадо! Довольно насилий!

Все красивые, сильные слова, какие он слышал о свободе, о человеческом достоинстве, хлынули из его груди горячим ручьем и засверкали над людьми, зажигая у одних гнев, у других — страх. Опьяненный звуками своего голоса, оглушенный пестрым вихрем криков, он за-

кружился в толпе, точно искра в черной туче дыма, и не заметил, как его схватили, вырвали из толпы,— очнулся только на извозчике.

Широко открыв глаза, он жадно глотал воздух и вздрагивал, полный здорового, радостного возбуждения, еще не отдавая себе отчета в том, что произошло. Рядом с ним, обнимая его за талию, сидел околоточный надзиратель, молодой человек с черными усами и со шрамом на правой щеке. Лицо у него было угрюмое; крепко сжав губы, он прищуренными глазами смотрел вперед и всё дотрагивался до щеки левой рукой.

— Вы меня... куда? — добродушно спросил Миша.

— Ввв — часть...— сквозь зубы ответил околоточный, и лицо у него болезненно вздрогнуло.

— Вас — ударили? — сочувственно осведомился Миша.

— З-зуб болит... чёрт! — промычал околоточный, ткнул извозчика кулаком в спину и злым, истерическим голосом заныл: — Да поезжай ты скорее... будь проклят!

Извозчик — седой маленький старик — повернул к нему лицо и, ласково моргая красными слезящимися глазами, утешительно сказал:

— По-спеем, ваша благородия... в тюрьму не в церкву, никогда не опоздаешь...

— Поговори у меня! — прошипел околоточный.

Извозчик пугливо задергал вожжами и забормотал на лошадь:

— Эх ты... н-ну...

По улице в густом, липком тумане суетливо мелькали темные фигуры прохожих — казалось, что они сбились с дороги в этой серой влажной мгле и беззвучно, тоскливо мечутся, не зная, куда идти. С глухим шумом и воем проносились вагоны трамвая, под колесами у них вспыхивали злые синие искры, а внутри вагонов сидели черные люди. Непрерывно звучал усталый лязг подков по камням мостовой, появлялись желтые огни фонарей, растерянно вздрагивали и, ничего не освещая, исчезали, проглоченные туманом. Резиновые шины пролетки торопливо подпрыгивали по неровной мостовой, и в груди

Миши тоже что-то начало дрожать мелкой, неприятной дрожью.

У ворот полицейской части кто-то низенький, толстый и серый, как туман, сказал сиплым равнодушным голосом:

— Эге! Ще одного привезли? А местов — вже нема!.. Их благородие казали — нехай возют прямо у тюрьму...

— Чтобы черти побрали...— застонал околоточный и вдруг, повернув к Мише страдальчески сморщенное лицо, укоризненно заговорил:

— Вот, господин студент... да-с! Говорите тоже — мы за народ!.. а... а больной человек должен возить вас... несмотря ни на что!

И, резко отвернувшись, он крикнул извозчику:

— Ты! Ну... в губернскую!..

Мише хотелось рассмеяться, но, не желая обижать больного человека, он сдержался, помолчал и потом ласково заметил:

— Вы бы — креозотом...

Околоточный не отозвался. И уже только у стены тюрьмы, слезая с пролетки, он уныло проговорил:

— Пробовал и креозотом... не помогает!.. Пожалуйте!

II

В тюрьме тоже не оказалось свободных мест, Мишу посадили в небольшую камеру для уголовных. Седой высокий надзиратель, с длинным лицом, острой бородкой и бесцветными неподвижными глазами, с громом запер толстую грязную дверь и, наклонясь к прорезанному в ней круглому окошечку, сказал, точно в рупор, глухим ровным голосом:

— Ежели что занадобится — позовите...

Юноша осматривал камеру. У двери, с левой стороны, тяжелым треугольником выступала печь, к ней плотно примыкали покатые грязные нары на четверых; они тянулись по всей длине стены до окна, заделанного толстой железной решеткой. Между нарами и правой стеной оставалось свободное пространство, шириною аршина в полтора, кроме нар в этой грязной, угрюмой комнате —

ничего не было. Иссеченный трещинами каменный свод изгибался тяжелой аркой, опускаясь у левой стены почти до уровня нар. В самой высокой точке свода горела покрытая пылью электрическая лампочка, освещая стены, покрытые пятнами от раздавленных клопов и какими-то надписями.

Над нарами около печи были начертаны, должно быть гвоздем, столбцы цифр — кто-то слагал, делил и множил их, заполняя этим пустоту дней, проведенных здесь. На темном пятне высохшей плесени крупными буквами было написано:

Мы из Вязьмы два громилы
Вместе по миру ходили,
С-за угла копейку срубим,
На нее краюшку купим
И — хряпаем.

Миша улыбнулся, думая, что значит — «хряпаем»?

«Должно быть — жадно едим!» — решил он, всматриваясь в нестройные ряды букв, весело рассыпанных по стене. «Два громилы» представились ему отчаянными весельчаками. Миша прочитал стихи еще раз и засмеялся...

За дверью камеры раздались шаркающие шаги, глухой голос сердито спросил:

— Вы — что?

Миша вздрогнул, обернулся — из квадрата, прорезанного в двери, на него смотрел холодный неподвижный глаз...

— Вы — звали?

— Нет. Я — смеялся.

Глаз подпрыгнул куда-то кверху, долетел тусклый и как будто обиженный голос:

— Здесь не смеются...

Пред Мишей мелькнуло худое, длинное лицо надзирателя, его круглые, бесцветные глаза, седые мохнатые брови, высоко поднятые над ними, широкий лоб, обтянутый желтой морщинистой кожей...

Студент вздохнул и стал читать надписи. На потолке, там, где, лежа на нарах, легко было достать до него

рукой, кто-то очень тщательно, печатными буквами написал:

«Сдесь сидел Якоф Игнатив Усоф. По убийству жены и Сашки Грызлова за подлость иху. Винваре это было. 1900. Выпустил им кишки».

Миша снова вздрогнул. Его поразило содержание надписи и еще больше — тщательность, в которой чувствовалось, что Усов твердо верит в свое право убивать людей.

Он хотел представить себе Усова и не нашел для него человеческого образа,— этот спокойный убийца рисовался в его воображении бесформенным грозным пятном, и в центре этого пятна ровным светом горел тусклый кроваво-красный огонь.

За дверью раздались тяжелые шаги и громкий возглас:

— Смирно!

Потом загремело железо, дверь отворилась, в камеру вошли двое надзирателей и младший помощник начальника тюрьмы — маленький человек с темной острой мордочкой и пугливыми мышиными глазками. Он искоса окинул взглядом фигуру студента и молча отвернулся от него. Один из надзирателей — рыжий, толстый, с большим животом — подошел к окну и потрогал рукой решетку; другой, знакомый Мише высокий старик, неподвижно стоял у косяка двери и смотрел в лицо юноши мертвыми глазами. Скользнув около его ног, в камеру влетела — точно облако холодного воздуха зимой — серая фигура уголовного арестанта; он быстро швырнул под нары деревянную шайку, густо вымазанную смолой, и исчез. Ушло и начальство, громко ступая ногами. Взвизгнул тяжелый засов, потом дверь шумно заперли замком и пошли дальше по коридору, унося с собой холодный твердый лязг ключей.

— Смирно-о! — донеслось в камеру Миши подавленное воск..ицание.

Где-то протяжно завизжал блок, хлопнула дверь, воздух вздрогнул от звука, похожего на выстрел, вновь раздался тяжелый скрежет железа, отчетливо прозвучали мерные твердые шаги, еще раз Миша услыхал суровый окрик:

— Смирно-о!..

И — стало тихо, точно всю тюрьму сразу окутали мягкой, непроницаемой для звуков темной тканью...

Малинин почувствовал, что у него точно зуб заболел, но тотчас же устыдился тихо поющей боли, встряхнул головой, сунул руки глубоко в карманы брюк и, громко насвистывая, зашагал по камере.

В окошке явился мертвый глаз надзирателя, и его сухой старческий голос спокойно произнес:

— Свистеть — нельзя!

— Нельзя? — остановясь, повторил Миша.

— Ну да...

— Хорошо... не буду! — усмехаясь, сказал Миша, пожав плечами.

Несколько секунд глаз тускло поблестел и потом медленно всплыл вверх. За дверью прозвучали, удаляясь, мягкие шаги. В соседней камере у каторжан гудел темный, однообразный шум... Кто-то, должно быть, молился или рассказывал сказку... Миша подошел к окну, встал на подоконник и, прислонясь лбом к холодному железу решетки, стал смотреть во тьму ночи... А ночь была так густо темна, что казалось — если за окно высунуть руку,— рука покроется сырым, черным, как сажа, налетом...

III

В тишине, точно подстерегавшей звуки и готовой резко обнаружить их, Миша почувствовал, что в нем снова растет гордость собою.

...Среди сотни людей только он один нашел в себе мужество смело спорить против насилия!.. Ему вспомнились влажные глаза девушки. Может быть, теперь, сидя в своей маленькой комнатке, она рассказывает подругам о том, как высокий студент говорил речь, призывая на борьбу с насилием.

Высоко в черном небе трепетно горели маленькие, страшно далекие звезды — сквозь грязное стекло окна плохо было видно их.

Миша, не мигая, смотрел в высоту, и его думы кружились в медленном хороводе, сменяя одна другую...

«Приятно будет рассказывать о тюрьме, когда выйдешь на свободу!..» — думалось ему. Он крепко закрыл глаза, подумал и через минуту взволнованно шептал:

Сквозь железные решетки
С неба в окна смотрят звезды...
Ах! В России даже звезды
Смотрят с неба сквозь решетки...

Четверостишие показалось ему красивым и остроумным. Обрадованный этим, он соскочил с окна и, расхаживая по камере, вслух стал декламировать, возбужденно улыбаясь:

Ах! В России даже звезды
Сквозь решетки смотрят с неба!

— Говорить — нельзя! — раздался тревожный громкий шёпот.

Миша остановился и несколько секунд молча смотрел в глаз надзирателя, блестевший среди двери.

— Почему же нельзя? — спросил он наконец, невольно понижая голос.

— Запрещено!

Мише показалось, что теперь глаз точно ожил и в нем сверкает испуг.

— Но — почему? — тихо спросил Миша, подходя к двери.— Ведь кроме вас — никто не слышит... а вам разве я мешаю?

Он наклонился к двери, и вместе с теплым дыханием лица его коснулись странные, строгие слова:

— Чего вы смеетесь, господин студент? Разве для смеху вас сюда посадили?

— Да скажите вы...— начал Миша.

Но глаз надзирателя исчез, за дверью притаилась тишина.

— Смирно! — глухо раздался за окном сиплый голос.

Звякнуло ружье, составленное к ноге. Во тьме часовой торопливо и негромко бормотал:

— Двенадцать окошков... дыве будки...

— Ты, чуваш! Ежели увидишь башка из окна высунется, або рука — не стреляй!..

— Слушаю!

— То-то! А то — бухнешь, как намедни... Быков, объясни ему подробно!..

В тишине каждое слово сверкает, как искра во тьме.

— Ежели увидишь — в окно смотрят — не стреляй! Понял?

— Тах точино...

Слова, сказанные ломаным языком, звучат боязливо и грустно.

— Ну, а ежели кто полезет из окна, а то побежит тут вот, али там — видишь?

— Тах точино...

— Сейчас ты кричи — кто идеть? И раз кричи, и два... а третий — стреляй, ну, только — вверх, для тревоги... И тогда — бегущего этого — тоже стреляй... али бей прикладом, али штыком... Как тебе сподручно, понял?

— Тах точино...

— Ну, ходи теперь вот отсюда дотудова... и гляди в окна... Да — дрыхнуть не вздумай!

— Никак нету...

— То-то — идол! А ну, объясни — когда ты должен стрелять?

— Кохда полезит на мине...

— А ежели он прямо через стенку?

Слышно, как ноги нетерпеливо топают о сырую землю.

— Н-ну, чёрт!

— Тохда — бить...— раздается робкий, тихий голос.

— А ежели — голова в окне,— тогда что?

Молчание. Брякает ружье. Озлобленно плюют...

— Н-ну, дубовая башка!..

Громко звучит нецензурное ругательство и — противный звук, точно ударили ладонью по тесту...

— Тохда — ничего...— как вздох, доносится едва слышный ответ.

— Врешь! — рычит бас.— Тогда должен сказать — убери прочь голову... Понял? У, жабья морда... Марш!..

...Миша плотно прильнул к решетке, стараясь увидеть часового, который говорит так грустно и робко. Узкое пространство между стеной тюрьмы и высокой

каменной оградой было наполнено густой тьмой, и в ней медленно, почти бесшумно двигалась небольшая серая фигурка, высоко подняв голову. Тонкая полоска штыка, поблескивая во мраке, была похожа на рыбу в воде.

— Вубери башка! — прозвучал торопливый, испуганный возглас.

Миша тихо слез с подоконника, осмотрелся вокруг. В камере было душно... На глаза ему попало циничное ругательство, крупно выведенное карандашом на сером фоне стены... Он прочитал его, помолчал и вдруг громко повторил вслух... Потом взглянул на дверь, лег на нары и закрыл глаза...

Тотчас же в двери тускло заблестел рыбий глаз...

IV

Миша крепко спал, раскинувшись на нарах, и ему снилось, что он бежит по узкой темной улице, а за ним гонится кто-то невидимый, хватает его за плечи и кричит непонятные, строгие слова:

— Поверка!..

Он открыл глаза, приподнял голову — около нар стоял рыжий толстый надзиратель и дергал его за полу тужурки, а высокий сутулый помощник начальника тюрьмы насмешливо смотрел на него серыми глазами и говорил:

— Извольте вставать вовремя, здесь не у маменьки!

— Сейчас...— безобидно улыбаясь, сказал Миша, быстро соскочив с нар.

Помощник начальника взглянул ему в лицо, отвернулся к двери и уже мягче заметил:

— Вы бы спросили бумаги и написали домой... насчет постели... и прочее...

Потом Миша ходил умываться в конец коридора, где над широким и длинным железным корытом из стены торчал ряд медных кранов, а из них текла круглой толстой струей холодная вода... По коридору бегали серые арестанты с жестяными чайниками в руках, и время от времени раздавался крик:

— За кипятком... эй!

Гремя кандалами, навстречу Мише прошел высокий, стройный каторжник с бледным лицом, в густой русой бороде; он взглянул на студента, подмигнул ему, и, улыбаясь, сказал:

— Что, барчук, накрыли?

Рыжий надзиратель принес Мише кружку теплого жидкого чая и большой кусок черного хлеба.

Тюрьма гудела, как гнездо ос. Раздавался смех, ругань, обрывки песен, резкие окрики надзирателей, в коридоре мягко шуршали швабры, хлюпала вода, и Миша, полный острого интереса к жизни и людям, запертым в этом старом здании из камня и грязи, напряженно вслушивался в гулкий шум...

Он мало читал и еще меньше видел; до университета его жизнь скучно текла в строгом доме сестры и ее мужа, и он чувствовал себя неловко среди тех студентов, которые свободно и горячо говорили мудреным, книжным языком о разных общественных вопросах. Общая волна недовольства жизнью уже успела коснуться его души, возбуждая в ней смутное, но здоровое желание протеста, но он еще не успел понять, куда, на что именно следует обратить этот протест. Теперь, чувствуя себя героем, он с жадностью юноши поглощал новые впечатления, наполняя ими огромную емкость молодой души...

Выпив чай, он влез на подоконник. По тропинке, у высокой стены, окружавшей тюрьму, быстрыми шагами ходил, заложив руки за спину, широкоплечий черный человек в картузе и коротком толстом пиджаке. Порою он сильным движением вскидывал голову и, не останавливаясь, быстрым взглядом осматривал окна. Несколько раз Миша чувствовал, как этот наблюдательный взгляд ярких глаз скользил по его лицу. Ему захотелось что-то сказать этому человеку, назвать свою фамилию, спросить, за что он сидит, и, когда человек поравнялся с окном, Миша негромко крикнул:

— Послушайте!..

Откуда-то из-под окна явился часовой и, грозя пальцем, сурово сказал:

— Эй... нельзя!

Человек в картузе пожал плечами и, улыбнувшись Мише, прошел далее. Миша спрыгнул на пол.

Около полудня в камеру вошел молодой и тонкий, как тростинка, надзиратель, с лицом, безобразно изрытым оспой. Он встал в двери и, не глядя на арестованного, тихо сказал:

— Пожалуйте на прогулку...

На дворе тюрьмы, в ямках между камнями, блестела отстоявшаяся вода; трое арестантов ходили по двору с метлами и лениво сгоняли воду к воротам, а она, уже мутная, густо насыщенная грязью, вновь медленно расползалась между камнями...

Надзиратель привел Мишу за угол тюрьмы и негромко проговорил:

— Гуляйте вот тут, от угла до стены,— разговаривать с арестантами — нельзя!

Здесь, под голубым, безгранично высоким небом, слово «нельзя» точно впервые коснулось сердца Миши, и теперь в звуках его он почувствовал нечто унижающее. Нахмурив брови, он взглянул в лицо надзирателя, неподвижное, как маска, поросшее на скулах и подбородке кустиками светлых волос; глаза на этом лице показались ему лишними, чужими; темные, овальные, прикрытые длинными ресницами, они смотрели ласково, и в них светилось что-то робко-недоумевающее...

— Ходите! — сказал надзиратель.— Останавливаться — нельзя...

Миша медленно пошел, а надзиратель, оглядываясь, следовал за ним немного в стороне.

— Чего вы всё бунтуете? — тихо говорил он, глядя в землю.— Учились бы себе... потом вышли бы товарищем прокурора — только и всего! А вы — бунтуете... такой молодой, красавец... Чай, мамаша есть?..

Миша был тронут его словами, и он остановился, засмеялся и, приложив руку к груди, тоже хотел сказать что-то простое, ласковое... но надзиратель испуганно отскочил, оглянулся вокруг и быстро зашептал:

— Идите, идите! Увидят — оштрафуют меня за разговор...

Он скрылся за углом тюрьмы, а юноша, полный сме-

шанным чувством печали и любопытства, начал медленно ходить вдоль высокой тюремной ограды...

Над приземистым, грязно-серым зданием тюрьмы, с четырьмя башнями по углам, безмолвно распростерлось бледно-голубое небо, вымытое осенними дождями, полинявшее...

«Сколько времени просижу я здесь?» — подумал Миша, оглядываясь вокруг. Ему казалось, что уже и теперь он мог бы рассказать о тюрьме довольно много интересного, если б его выпустили.

Он не заметил, как быстро прошло время прогулки, и когда рябой надзиратель, подойдя к нему, сказал: «Пожалуйте в камеру...» — он удивленно воскликнул:

— Уже?

Надзиратель утвердительно кивнул головой. В коридоре он тихо сообщил Мише:

— А у меня мамаша в богадельне...

И виновато опустил голову.

— Ага!.. Ну — ничего! — улыбаясь, сказал Миша, не найдя более удачных слов. Снова закрылась тяжелая дверь камеры, резко и зло загремело железо засова и замка...

Так и потекла его жизнь день за днем, однообразно правильная, одноцветная...

V

...Поверка давно кончилась, и тюрьма спит тяжелым сном. Сквозь глазок в двери из коридора доносятся порою какие-то странные звуки... Кто-то шепчет во сне, кто-то бредит, должно быть. Тихо шаркают за дверью шаги надзирателя — сегодня дежурит старик с неподвижными глазами. Он медленно ходит по коридору и бормочет, а Миша лежит на нарах и, чутко прислушиваясь, думает.

Сегодня, во время прогулки, рябой досказал ему свою историю. Он — сын какого-то офицера, который соблазнил его мать, швейку, и — бросил ее, оставив на память о себе свою фотографическую карточку и ребенка. Молодая женщина четырнадцать лет нянчила сына и всё работала без отдыха, не имея в жизни ничего, кроме сына.

Она отдала его в приходскую школу, потом в городское училище, но там однажды учитель дернул мальчика за волосы, и мать, никогда не сказавшая сыну своему даже грубого слова, взяла его домой. Потом она нашла ему место писца у судебного следователя, а сама всё шила, делала цветы, вязала чулки, всё работала. Сына взяли в солдаты, и там он, воспитанный любовью матери и влюбленный в нее, не стерпев насмешек над нею со стороны унтер-офицера, ударил начальника во время ученья. За это его отдали на три года в дисциплинарный батальон, без зачета службы, а мать его всё работала и плакала над жизнью своего сына. Прослужив в солдатах семь лет, измученный, запуганный, он воротился домой и нашел мать почти ослепшей,— она уже не могла работать, а ходила на паперти церквей собирать милостыню. Но и тогда она подарила ему шарф, связанный ею,— последнюю работу дряхлых пальцев и полуслепых глаз, последнее воплощение своих сил, безропотно отданных сыну. Он несколько месяцев не мог найти себе дела и жил милостыней, собранной матерью. А потом она совсем ослепла; он наконец получил место в тюрьме; кто-то поместил слепую старуху в богадельню, и там она теперь вяжет чулки сыну своему...

«Какая женщина! — думал Миша.— Сколько любви... сколько простой трогательной красоты!»

Он вспомнил пугливые, недоумевающие глаза рябого, его тихий голос...

— Какой же смысл в ее труде, если сын все-таки...

— Господин Малинин! — послышался громкий шёпот.

Миша вскочил с нар,— в окошечке двери беспокойно светился глаз надзирателя.

— Вы чего говорите? — спрашивал старик.

— Я? Я — не говорю...— удивленно ответил Миша.

— Ведь я слышал!

— Это, должно быть, так...

— То-то... А вы удержите себя...

Глаз надзирателя на минуту скрылся, потом снова явился, и старик заговорил предупреждающим шёпотом:

— Вот так же всё разговаривал с самим собой... один тут... сказать правду — племянник он мне...

— Ну? — быстро спросил Миша.

— Ну, и свезли его в сумасшедший дом...

— Племянник ваш?

Глаз странно прыгал,— должно быть, надзиратель утвердительно кивал головой.

— И — сидел здесь? — тихо спросил Миша.

— В девятом номере...

— И вы его... вы — тоже были здесь? — не сразу сказал Миша.

— Я здесь — семнадцать лет,— спокойно ответил старик.

Миша, глядя на тусклый глаз старика, на его длинный хрящеватый нос, хотел спросить его:

«Неужели и племянника своего вы так же вот караулили, как меня?»

Но, боясь обидеть старика, он не спросил об этом, а только сказал:

— Давно вы здесь...

— Подождите-ка, я стул принесу себе,— подмигнув, зашептал старик,— а то — трудно мне нагибаться... спина болит.

Он ушел. Миша стоял перед дверью, слушая шарканье его ног, и думал:

«Если у человека есть душа — у этого она должна быть такая же темная, сморщенная и сухая, как его лицо...»

Старик воротился, бесшумно приставил к двери стул, и снова в круглом отверстии явился его глаз и мохнатая седая бровь, высоко поднятая над ним.

— Вот так-то лучше,— заговорил он.— Спать я не могу — косточки болят... И вы не спите... вот мы и поговорим... Ночью это можно... днем — нельзя, а ночью — кто узнает? Днем-то я притворяюсь, будто строгий с вами... нельзя иначе, начальство требует! А ночью и с вами можно поговорить... К тому же — какой вы преступник? Эхе-хе! Жалко мне вас... Смеетесь вы, радуетесь, будто вам чин дали... молодость! Повинились бы вы начальству-то...

Мише стало неприятно слушать. Он нервно наклонился к двери и спросил старика:

— Ваш племянник чем занимался?

Снова зашуршал в камере сухой, бесцветный голос:

— Слесарь... Инженера он застрелил... Про него даже в газетах писали... как же! Он сам мне газету читал... случаем она попала, а в ней как раз про него и напечатано... Читал он — и смеялся... вот как вы... Резкий парень был... Мать-то его — сестра моя — ревела, ревела... Однако — слезой кровь не смоешь... Бывало, я скажу ему — ну что, Федор, какова она, тюрьма-то? А он только фыркнет... Сначала — всё молчал он здесь, сердитый был. А потом — разговаривать начал... да и заговорился...

— Что же он говорил? — тихо осведомился Миша.

— А так — разное... кто же его знает? Вы не калужский сами-то?

— Да...

— То-то... фамилия знакомая. Почтмейстер в Калуге был, Малинин...

— Отец мой...

— Ну-ну... ведь и я калужский... да! Умер отец-то?

— Умер...

— Та-ак... все умрем!

Говорили они оба шёпотом, и голоса их шуршали в тишине, как сухие листья осени. За окном, как бы отмеряя уходящие минуты, глухо топали по земле мерные шаги часового.

— Скучно вам здесь? — спросил Миша.

— Старикам везде скушно...— ответил ему из-за двери шёпот.

— А... племянника жалко было... когда он здесь сидел?

— Что же его жалеть, коли он человека убил... Сестру жалко... А кто человека убил...

Старик вдруг замолчал, и лицо его исчезло, точно упало вниз. Миша смотрел в окошечко и ждал.

Лицо старика поравнялось с его лицом, и, медленно двигая тонкими губами большого рта, окруженного клочьями седых волос, старик, кивая головой и как будто усмехаясь, сказал:

— Соврал я... жалко мне Федьку... тоже молодой был... хороший парень...

Вдруг по коридору, всколыхнув тишину, точно порыв

ветра темную воду уснувшего пруда, пронесся дикий, потрясающий вой:

— Не бей... голубчики... помилуйте!

— Что это? Что? — вздрогнув, крикнул Миша.

— Ш-шш! — зашипел старик.— Ничего... Это он во сне... они часто кричат... Тоже ведь у всякого своя совесть есть... Нуте-ка, спите... Ложитесь-ка с богом... Уж двенадцать било...

Он встал и пошел прочь, и ноги его так шаркали, точно по полу тащили что-то большое, мягкое и очень тяжелое.

Миша подошел к нарам, лег и уставился печальными глазами в каменный грязный свод, молча нависший над его головой.

VI

Миша как бы откачнулся куда-то в сторону от своего маленького прошлого, и самое яркое в этом — его «подвиг» уже не так часто вспоминался ему. В странной жизни тюрьмы он чувствовал отдаленный намек на что-то, пока еще недоступное его сознанию.

Тюремное начальство относилось к нему снисходительно, с усмешкой — должно быть, располагало в пользу Миши его открытое лицо, румянец щек, голубые наивные глаза, добрая усмешка крепких, красных губ, красивый грудной голос и сильная, немного неуклюжая фигура.

— Н-ну-с, господин Малинин, как вам нравится у нас? — спросил однажды во время поверки старший помощник начальника.

— Интересно, знаете ли! — ответил Миша, улыбаясь.

Тот хмуро засмеялся, потом изрезанная глубокими морщинами кожа его лба опустилась на глаза, и он сказал:

— Эх вы,— скромный наблюдатель! Прогулка вам увеличена на полчаса...

— Спасибо! — сказал Миша.

— Не на чем-с! — почему-то сухо ответил начальник, уходя из камеры.

Рябой надзиратель, Офицеров, рассказал Мише об этом человеке такую историю. Однажды он заподозрил свою горничную в краже кольца у его жены и, чтобы заставить ее сознаться в краже, целый день и ночь истязал девушку. Он позвал двух арестантов, которые чем-то досадили ему, велел им раздеть горничную и, привязав голую к столу, заставил арестантов щекотать ее. Когда девушка впадала в беспамятство, он приказывал давать ей воду и снова мучить. Кончилось это тем, что один из арестантов не вынес пытки, помешался в уме и в диком порыве голодной страсти хотел тут же при начальнике и товарище изнасиловать девушку. Он был избит, посажен в карцер, а когда следы побоев исчезли — его отправили в лечебницу для душевнобольных.

— Только и всего! — тихо добавил Офицеров, когда кончил рассказ, и пугливо оглянулся вокруг, спрятав под ресницами свои робкие глаза. Слушая, Миша чувствовал отвращение к мучителю, но когда — в тот же день — увидал его в своей камере, то с удивлением заметил, что в его душе нет иного чувства к этому человеку, кроме острого любопытства и легкой брезгливости...

Из окна Миша видел, что, кроме черного человека в толстом пиджаке, на прогулку выходят еще человек шесть политических. Очевидно, это были рабочие — коренастые, крепкие, плохо одетые,— они смотрели на всё сурово, исподлобья. Когда их глаза останавливались на лице Миши, он почему-то чувствовал себя неловко под этим взглядом, и ему хотелось спрыгнуть с подоконника. На худых, голодных лицах этих людей точно вырезано было выражение твердой непреклонности. Некоторые из них улыбались ему, делали какие-то знаки. Миша тоже отвечал им улыбками и жестами. Он чувствовал к этим людям интерес, уважение и замечал, что с таким же интересом к ним присматриваются уголовные арестанты. Иногда, пользуясь невниманием часового, серые фигуры уголовных подбегали к политическим и выпрашивали папиросу или вступали с ними в быстрый, тихий разговор.

...Иногда после обеда уголовные, сидя в столовой

под камерой Миши, запевали песню, и сквозь пол камера наполнялась глухими, матовыми звуками. В их густой волне Миша не мог уловить слов, и только однажды он разобрал, как кто-то высоким тоскующим тенором пел и жаловался:

Море синее,
Море бурное...
Ветер воющий,
Неприветливый...

Но чаще арестанты пели какие-то веселые, бесшабашные песни с присвистом, с гиканьем; эти песни наполняли стены тюрьмы дерзкими звуками буйной силы. Тогда Мише казалось, что тюрьма дрожит, негодуя, на камнях ее стен являются новые трещины, тяжелая злоба тревожно и невидимо льется из них на людей... Отовсюду бежали надзиратели и быстро гасили этот взрыв веселья, рожденного тоской... Миша видел, что надзиратели относятся к уголовным неодинаково: людей ничтожных, которые легко поддавались порабощению,— они презирали и порабощали, а к людям смелым, умевшим отстоять свое человеческое достоинство,— почти всё начальство относилось осторожно, даже, порою, дружелюбно, и только редкие позволяли себе открыто и враждебно проявлять свою власть над ними. А на «политиков» надзиратели смотрели — как это казалось Мише — с подстерегающим, затаенным интересом, и в нем чувствовалось недоверие, усталое ожидание чего-то особенного, необычного...

Однажды Офицеров, провожая Мишу на прогулку, шепнул ему:

— Ночью еще троих ваших привезли...

— Студентов?

— Мастеровые...

— Скажите, Офицеров, вы знаете, за что их сажают в тюрьму? — спросил Миша.

Надзиратель подумал, оглянулся и, широко открыв глаза, сказал, подавленно вздыхая:

— Всяк по-своему жить хочет... и выходит распря!

Но, помолчав, он таинственно добавил:

— Не согласны они...
— С чем?
— Вообще не согласны... со всем!..

VII

Почти каждую ночь в свое дежурство старый надзиратель — его звали Корней Данилович — подходил к двери камеры и, вставляя свое темное лицо в круглую рамку окошечка, с болтливостью старика начинал рассказывать Мише какие-то бессвязные истории. Корней много видел, много пережил, но все впечатления жизни перепутались в памяти его в огромный клубок несчастий, бессмысленного труда, унижений и каких-то безотчетных поступков. Иногда эти поступки казались Мише хорошими, трогали его, чаще — они были нелепы и дурны и всегда — необъяснимы, случайны, как будто человек не своей волей делал их, а только безропотно и бездумно исполнял повеления неведомой и непонятной ему воли, извне управлявшей им...

— Было это... лет пятнадцать тому назад,— шептал он, неподвижно остановив рыбий глаз на лице Миши,— вижу я — стал он у меня задумываться... сын-то, Алексей-то... В церковь — не ходит, в трактиры — не ходит... Присмотрел я за ним... а он со штундой связался... н-да... Поругал его, первым делом — смотри, говорю, я те задам! А он не прекращает... Тут пожаловался я на него священнику... ну, пришел он от священника... замечаю — злой такой... Я смеюсь ему — что, мол, задал тебе батюшка-то перцу? Тут он, на грех, как ругнет его, батюшку-то... Я говорю — ах ты, такой-сякой! Как смеешь? А он и меня... Ну, я разозлился да горшком с кашей в морду ему и запалил... Разбил морду-то... Он и ушел... Так с той поры и нет о нем ни слуху ни духу... так и нет... Вот вы какие строптивцы, молодые-то... н-да!

— Жалеете теперь о нем? — тихо спросил Миша.

Старик не сразу ответил. Он помолчал, крякнул, несколько секунд бормотал что-то под нос себе и уж потом спокойно сказал:

— Когда и жалко... Всех жалко... Бывает даже убийцев и то жалко... Тоже — не всякий зря убивает... когда и за дело... Может, некоторых убийцев благодарить надо... Палач, примерно... Он ведь не зря, а для общей пользы убивает... Злодея и убить — не грех, а вы думаете, палачу-то сладко?

Миша быстро наклонился к отверстию в двери — он хотел видеть, что теперь выражает лицо этого человека, который неизвестно зачем отбросил от себя родного сына и способен пожалеть палача. Но лицо, как всегда, было подобно камню, покрытому трещинами, и глаза на нем блестели, точно два куска мутного стекла...

— Что смотрите? — спросил старик.

— Так... ничего...— тихо ответил Миша.— Скажите, почему вам не понравилось, что сын со штундистами познакомился?

— А про нее говорили, что она вредная... штунда! Однако года три назад сидело здесь четверо их... ничего, степенные мужики! Грамотеи всё, смирные... худого за ними здесь не было замечено! Хорошие арестанты... Спрашивал я их про Алексея — не знаем, сказали. Нас, говорят, много. Пожалуй, это и верно — часто они здесь сидят...

Помолчав, он продолжал:

— Теперь преступников всё больше пошло... Раньше были одни воры, грабители, убийцы... а теперь вот начались студенты, рабочие, политические, штунда и еще всякие... Развал пошел!

— Это вы — неверно! — горячо и торопливо заговорил Миша.— Люди хотят исправить жизнь, сделать ее лучше для всех...

Из-за двери раздался негромкий сухой смех, и потом старик, покашливая, сказал:

— Слышал я это... да! Многие говорили так-то...

Он поднялся и ушел, как будто недовольный и рассерженный.

А однажды он рассказал такую историю.

— Я ведь жалостлив... я могу людей понять! Сидел в моем коридоре беглый каторжник — здоровенный такой парень, красавец, обходительный... Мужик был, а улыбался, как хороший барин... бывало — улыбается и

ни в чем ему не откажешь. Скажет: «Данилыч! достань табачку!» Достану... Ну, и скрал он где-то себе ножик, сделал из него пилку, добыл сала — и давай решетку у окна обрабатывать... А я это тотчас и заметил... и так мне его жалко стало! Эх, думаю, брат, не удастся тебе это дело! Однако — не мешаю ему, пускай, думаю, тешится, всё не столь парню скучно жить... Долго он старался — поди-ка, недели три... А я слежу... Утешайся, мол...

Корней Данилыч ласково засмеялся.

— Ну, а когда работа у него до конца дошла — тут уж я и заявил начальнику...

— Зачем же? — воскликнул Миша.

— А как иначе? — спросил старик.

— Да вы бы этому, каторжнику-то, ему бы сказали!

— Чудак вы,— усмехнулся Корней.— А как же решетка-то? Ежели она перепилена.

— Да ведь можно было тогда сказать, когда он только начал пилить!

— Н-да... так разве? Можно было эдак... это верно... Ну, а как я сделал — оно лучше — все-таки занял себя человек...

— Но ведь его наказали за это?

— А как же? Нельзя без того...

— И — очень?

— Н-не помню... В карцере месяц сидел, однако... потом, кажись, на суде еще что-то дали... уж не помню я...

— Какая нелепость! — возмущенно воскликнул Миша.

Темное лицо старика странно закачалось в окошке, и он, вздохнув или позевывая, медленно проговорил:

— Н-да... неисправимая жизнь!

...В таких разговорах старик и юноша проводили часы, один — равнодушный и холодный, другой — полный бессильного негодования и недоумения. Между ними крепко стояла окованная изъеденным ржавчиной железом толстая дверь, и сквозь маленькое отверстие в ней бессонный и болтливый тюремный житель заваливал душу юноши угрюмым хламом своих воспоминаний.

Миша начинал чувствовать зарождение чего-то тяжелого и темного внутри себя.

Однажды он спросил Офицерова:

— Послушайте — неужели вам здесь нравится?

— Ежели бы не дрались — ничего бы...— ответил рябой своим тихим, мягким голосом.

— Вас — бьют? Кто?

— Меня — редко бьют... Я говорю вообще, про всех!.. Арестанты дерутся... Страшно. И надзиратели их бьют... не всех... не всякого можно ударить! Но — которых можно бить — тех уж без жалости!

Он пугливо передернул плечами, оглянулся и, широко открыв красивые глаза, продолжал:

— А я — не могу этого видеть...

Стояли они за углом тюремной башни, около кучи сора, щебня и каких-то обломков дерева. Над ними медленно и важно двигались темные тучи, дул ветер и приносил откуда-то из города разбитые, разрозненные звуки...

— Извините меня,— тревожным шёпотом заговорил Офицеров, часто мигая глазами, точно он видел пред собой что-то ослепительно яркое,— извините, может, это— моя большая глупость...

— В чем дело? — понижая голос и волнуясь, быстро спросил юноша.

Офицеров подвинулся к нему и дрожащим голосом сказал:

— Это — пасчет бога... Вы — веруете?

Миша опустил голову и, не сразу, тихо ответил:

— Н-не знаю...

— И я тоже не знаю! — торопливо подхватил тюремный надзиратель.— Я очень думаю об нем... Ведь если он, действительно... зачем же такой ужас везде?.. И жестокость? Вы — человек ученый... Зачем же ужас и жестокость?

На глазах его явились крупные тусклые слезы, движением головы он стряхнул их и — поспешно, не оглядываясь, ушел прочь.

VIII

Миша возбужденно ходил по камере, а в полумраке вокруг него, вливаясь тонкой струйкой в форточку окна, звучала тихая, жалобная песня — некрасивая песня, похожая на отдаленный вой голодного волка:

— А-а-а! о-о-ой! э-ой...

И всё, что пережил юноша за последнее время, точно воскрешаемое этим однообразным стоном, вставало в памяти его последовательно, настойчиво и упрямо, как бы требуя от него объяснения.

Его «подвиг» представлялся ему теперь чем-то тусклым, мало понятным, как старая, покрытая пылью и копотью картина, а себя он видел смешным студентом, безалаберно размахивающим руками среди толпы людей, сконфуженных своим бессилием, устыженных той легкостью, с которой их победила тупая, механическая, но организованная сила. Усталые, злые, равнодушные лица полицейских, пренебрежительная гримаса офицера, которому Миша кричал свою речь, околоточный надзиратель с больным зубом — всё это всплывало в памяти юноши кошмаром, который давил его мозг...

«Вероятно, им было стыдно за наше бессилие...» — думал Миша и тотчас же понимал, что эти угрюмые усатые солдаты, приученные и привыкшие обращаться с людьми, как со скотом, ничего не могут стыдиться и ничего не умеют чувствовать, кроме физической боли и страха пред той силой, которая поработила их и двигает ими, как хочет. Ему вспомнился извозчик — как он пугливо задергал вожжами, когда околоточный крикнул на него... Прозвучал голос равнодушного человека у ворот части,— человека, который говорил о людях, как о бревнах или кирпичах... Он вспомнил мать Офицерова, которая не протестовала, когда сыну ее дали фамилию по профессии его отца, а ведь она должна была знать, что эта фамилия будет причиной злых и обидных насмешек над сыном... Может быть, только из-за этого Офицеров провел три года на каторге дисциплинарного батальона... Вспомнилась горничная начальника тюрьмы, простившая издевательство над нею за десять рублей... Офицеров, на всю жизнь испуганный жестокостью лю-

дей... Бессмысленная жалость старика Корнея, который, безропотно подчиняясь чужой воле, восемнадцать лет твердит людям всё одно и то же тупое слово: «нельзя!» — и никогда не спросил себя — почему же нельзя?

Даже во сне люди видят и чувствуют, что их бьют, и, охваченные ужасом, они кричат во сне дикими голосами:

— Не бей! Пощади...

Миша остановился среди камеры — отвратительное чувство какой-то липкой тоски наполнило его грудь. За окном уныло колебалась песня:

— А-а-о-й...

Мише стало казаться, что это в нем, в его груди дрожит и стонет тоска, боль и горький стыд за людей...

— Послушайте...— раздался в камере тихий шёпот. Миша почти с радостью пошел к двери; в отверстии посреди ее ласково блестели красивые глаза Офицерова.

— Что вы? — спросил Миша.

— Не спите?

— Нет...

— В тюрьме очень многие плохо спят... Прослушайте стихи... если любопытно...

— Пожалуйста... говорите!

— Только, я думаю — они запрещенные... Это во втором этаже было написано... в башне, карандашом на стенке...

Глаза Офицерова на минуту исчезли из кружка в двери, потом он вставил в него свои губы, и камеру наполнил тихий, таинственный шёпот, весь пропитанный теплой грустью и страхом:

Жил когда-то человек...
Только правде был он другом,
И за эту дружбу с правдой
Не любил никто его...

Говорили все о нем
С ненавистью и со страхом.
И нигде себе приюта
Человек не находил...

Одинокий, всем чужой,
Тихо умер он в темнице,
И никто не провожал
Его гроба до могилы...

Неизвестно, где зарыт
Верный друг гонимой правды,
Только сердце мое знает
Эту тайну... и — молчит...

В круглом отверстии старой, туго связанной железом двери шевелилось что-то темное, мягкое, живое, рождая тихие, грустно дрожащие слова. Миша, широко открыв глаза, стоял, наклонив голову к окошку, слушал, и ему казалось, что это само дерево двери, насыщенное тяжелыми вздохами людей, поглотившее множество тоски и одиноких дум, превратило человеческое страдание в печальную легенду и теперь таинственно рассказывает ее. И этой легенде, чуть слышно вздыхая во тьме за окном, вторит бесконечная песня-стон.

В окошечке что-то передвинулось, потом теплыми огоньками заблестели, улыбаясь, глаза Офицерова.

— Понравилось вам? — прошептал он.

В горле Миши было сухо, в груди его не хватило воздуха. Он пристально смотрел в красивые глаза, и вдруг ему показалось, что тюремный надзиратель должен был сам сочинить эти стихи, непременно сам! Не сразу и тихо он ответил:

— Понравилось... Почему вы думаете, что это запрещенные стихи?

— Как же — ведь о правде!

— Вы сами... не сочиняете стихов?

— Я? — удивленно спросил Офицеров.— Нет... куда же? Только когда еще в солдатах был, так составил себе одну молитву...

— Какую? Скажите!

Несколько секунд тишины — и снова по камере пронесся шелест простых, задушевно сказанных слов:

— Господи боже мой! Почему так много в людях жестокости и злобы? Господи — почему?

Этот вопрос мягко, но сильно толкнул Мишу в грудь,

охватил и смял его. Он бесшумно шагнул назад, присел на край нар и, крепко упираясь спиной в угол печи, неподвижно уставился на дверь и — ждал чего-то...

А Офицеров спокойно говорил:

— Она была длинная... теперь уж я забыл ее... Знаете — очень я люблю стихи... они совсем не похожи на то, что люди говорят...

Миша видел, что глаза надзирателя внимательно смотрят на него; он слышал шорох за дверью и однообразно унылые звуки песни за окном... От печки спина его нагревалась, но в груди было тесно и холодно.

— Вам нездоровится? —спросил надзиратель.— Такая погода тяжелая...

— Нет, ничего...— глухо ответил Миша.

Ему казалось, что в камере душно, воздух в ней какой-то странно густой, насыщенный тяжелым, теплым шёпотом и трудно дышать этим воздухом.

— Вы — лягте,— посоветовал Офицеров.— Спать пора.

И неожиданно он добавил:

— Еще одного рядом с вами посадили...

Миша промолчал. Глаза Офицерова сверкнули и исчезли.

Теперь на месте их осталось только маленькое круглое отверстие посредине двери, и сквозь него был виден мертвый, серый кружок стены, освещенный ровным, неподвижным светом. Болезненно наморщив лоб, Миша смотрел на него и читал про себя:

И нигде себе приюта
Человек не находил...

За окном едва слышно вилась и дрожала песня, точно плутая во тьме... Как будто тот, кто начал петь ее, уже не мог остановиться, безвольно отдался во власть ей и надрывал себе грудь в этой однотонной жалобе...

Потом слуха Миши коснулся непонятный дробный стук... точно где-то упало несколько капель дождя...

IX

Малинин вскочил на подоконник, прислонился головой к железу решетки и, тихо постукивая пальцами по стене, задумался, полный тяжелой тревоги.

Извне к стеклам окна плотно прильнула густая тьма ночи, молча рассматривая бледное, осунувшееся лицо юноши. Редкие сухие снежинки, на миг вырываясь из мрака, грустно шуршали о стекла и исчезали, проглоченные тьмою...

В памяти Миши ясно прозвучала робкая жалоба:

«Господи, боже мой! Почему так много в людях жестокости и злобы? Господи — почему?»

Весело усмехаясь, пред ним встали «два громилы» из Вязьмы; он вспомнил твердо уверенного в своем праве убивать Якова Усова...

И откуда-то, как огни во мраке ночи, одиноко, мужественно являются суровые, крепкие люди. Они ходят вдоль тюремной стены и, «несогласные со всем», сосредоточенно думают большую, всю жизнь обнимающую думу.

Миша тяжело спрыгнул с подоконника и забегал по камере.

За дверью, в неподвижной тишине коридора, медленно плавал странный звук, напоминавший кипение воды. Миша остановился, прислушался... В камере напротив его кто-то бредил, кто-то торопливо бормотал неясные слова, захлебываясь ими, и в этих словах тоже слышалась жалоба... В конце коридора тихо разговаривали надзиратели.

— Только и всего! — услыхал Миша задумчивое восклицание Офицерова.

Снова в камере раздался какой-то странный стук — несколько быстрых ударов, разделенных неправильными паузами. Миша сумрачно оглянулся,— по полу бесшумно пробежал мышонок — точно прокатился маленький клубок шерсти — и исчез под нарами. И еще раз настойчиво прозвучал этот нервный стук. Миша догадался, вздрогнув, зачем-то крепко прижал к стене ладонь своей руки и стал гладить ею по шероховатой штукатурке, как бы желая поймать этот стук.

Ему показалось, что звуки рождаются вот в этой точке стены,— тогда он встал на колени, зачем-то нахмурился, поднял руку... с досадой опустил ее, снова поднял и бестолково забарабанил ногтями в стену... Потом прислушался — было тихо.

Он вскочил, бросился к двери и, приложив губы к окошку, тревожно, умоляюще, но негромко воскликнул:

— Офицеров! Надзиратель!

И, когда Офицеров явился у двери, Миша торопливо, нервно зашептал:

— Послушайте... голубчик! Он стучит...

— Сосед?

— Скажите... шепните ему — я не умею!

— Боюсь я...

— Ничего! Мы — осторожно...

— Если узнают... так меня...

— Да нет же! Скажите, чтобы азбуку... Я не знаю...

Офицеров откачнулся от двери, и из коридора прилетел его покорный шёпот:

— Хорошо... я скажу.

И он ушел... А потом снова явился, блеснули его грустные глаза, и раздался шёпот:

— Слушайте...

Не сказав ему ни слова, Миша подбежал к стене, остановился пред ней напряженно и, улыбаясь, замер, весь охваченный трепетным желанием говорить, говорить!

Полуоткрыв рот, он стоял пред серой тяжелой стеной и, готовый раскланяться с ней, смотрел на нее жадно горящими глазами...

Из стены раздельно и внятно летели один за другим негромкие, но твердые удары, упрямые, сухие звуки камня, и пальцы правой руки Миши, невольно вздрагивая, послушно повторяли их...

...Спустя несколько дней Миша, закутанный в одеяло, стоял на подоконнике, плотно прижимаясь плечом к косяку, и, нахмурив брови, рассматривал причудливые рисунки мороза на стеклах окна.

За тюремной степой на холодное зимнее небо поднималось невидимое солнце, серые, скучные тучи становились светлей и прозрачнее. Выпал снег; он лежал на земле тонким слоем, темная, мерзлая грязь, разрывая его белизну, сумрачно смотрела в небо...

Вздрагивая от холода, Миша вспоминал сухие, твердые звуки, которые передала ему в эту ночь изрезанная трещинами старая стена его камеры, вспоминал и— претворял их в слова и мысли...

«Жизнь — жестка и беспощадна... Жизнь — борьба рабов за свободу и господ за власть, и она не может быть мягкой и спокойной, она не будет доброй и красивой, пока есть господа и рабы!..»

«Какой у него голос?» — подумал Миша о своем соседе. Он вспомнил худое, тонкое тело и решил, что голос, вероятно, высокий, резкий, неприятный, совершенно лишенный тех сочных, грудных нот, какие звучат в голосах людей добрых и мягких. И Миша недружелюбно покосился на стену, за которой теперь, должно быть, уже спал этот человек, похожий на ярко горящую свечу в грязном фонаре.

В памяти юноши всё вставали мерными, суровыми рядами мужественные, твердые, холодные, точно куски льда, слова, складываясь в крепкие, круглые мысли:

«Жизнь не будет справедливой и прекрасной, пока ее владыки развращаются властью своей, а рабы — подчинением... Жизнь будет полна ужаса и жестокости до той поры, пока люди не поймут, что одинаково вредно и позорно быть и рабом и господином...»

Холод утра крепко обнимал тело Миши жестким объятием. Часто мигая красными от бессонной ночи глазами, Миша рассматривал рисунки мороза и порою оглядывался на стену с недобрым чувством, которое он не желал бы замечать в себе, но невольно замечал. За эти несколько ночей стена наполнила душу его неисчерпаемой массой быстрых, нервных, твердых стуков, и теперь, превращая их в мысли, он чувствовал, что сердце его покрывается таким же холодным рисунком, как рисунок мороза на стекле окна.

Но вместе с этим где-то глубоко внутри его тихо разгоралась теплая, согревающая мысль:

«Произвольно и несправедливо всё это... Разве можно делить людей только на два лагеря?.. А например — я? Ведь, в сущности, я — не господин и не раб!»

Мелькнув в его душе, как искра, эта маленькая, хитрая мысль тотчас же уступила место большим, суровым, твердым мыслям. Они ставили пред юношей железное требование работы, долгой, трудной, незаметной,— великой работы, полной непоколебимого мужества, спокойного примирения с простой, скромной ролью чернорабочего, который очищает жизнь огнем своего ума и сердца от гнилого, ветхого, уродливого хлама предрассудков и предубеждений, авторитетов и привычек...

«Могу ли я делать это?» — внутренно вздрогнув, спросил себя Миша.

И тотчас же со стыдом понял, что он, из страха пред чем-то, нарочно спросил себя не так, как было нужно.

Тогда он поставил вопрос правдивее:

«Хочу ли я этого?»

...Наступал холодный, хмурый зимний день. Тюрьма просыпалась: в коридоре гулко гремело железо замков, скрипели и ныли ржавые петли дверей, строго звучали резкие окрики начальства, были слышны то глухие и робкие, то смелые и раздраженные голоса арестантов.

В памяти Миши воскресали гордые слова соседа, переданные им сквозь старые камни тюремной стены:

«Кто освободил свой ум из темницы предрассудков, для того тюрьма не существует, ибо вот мы заставляем говорить камни,— и камни говорят за нас!..»

...За окном, вдоль тюремной ограды, крепко топая ногами в мерзлую землю, задумчиво ходил часовой, а на стене сидела ворона и, склонив голову набок, любопытно следила за ним круглым черным глазом...

ДЕВОЧКА

Однажды вечером, усталый от работы, я лежал на земле у стены большого каменного дома — печального, старого здания; красные лучи заходящего солнца обнажали глубокие трещины и наросты грязи на стене его.

Внутри дома день и ночь — точно крысы в темном погребе — суетились голодные, грязные люди, их тела всегда были полуодеты в лохмотья, а темные души — наги и так же грязны, как тела.

Из окон дома медленно и густо, как серый дым пожара, летел однообразный гул жизни, горевшей в нем. Я слушал этот давно знакомый мне тревожный и унылый шум и дремал, не ожидая услышать, хотя бы краткий, новый звук.

Но где-то близко от меня, из груды пустых бочек и поломанных ящиков, вдруг раздался тихий, нежный голос:

Спи, милая! Спи детеночка!...
Баю-баюшки-баю,
Баю девочку мою...

Раньше я не слыхал, чтобы в этом доме матери баюкали детей такими любящими голосами. Я тихо встал, посмотрел за бочки и увидел: в одном из ящиков сидела маленькая девочка. Низко наклонив русую кудрявую головку, она тихо покачивалась и задумчиво напевала:

Уж ты спи, ты усни,
Угомон тебя возьми...

В маленьких грязных ручонках она держала черенок деревянной ложки, окутанный в красную тряпку, и смотрела на него большими грустными глазками.

Красивые глазки были у нее, ясные, мягкие и — не по-детски печальные. Заметив их выражение, я уже не видел грязи на лице и руках девочки.

Над нею, в воздухе, как тучи сажи и пепла, носились крики, ругань, пьяный смех и плач, вокруг нее на грязной земле всё было изломано, исковеркано, и лучи вечернего солнца, окрашивая обломки разбитых ящиков и бочек в красный цвет, придавали им зловещее и странное сходство с остатками какого-то большого организма, разрушенного тяжелой и суровой рукой нищеты.

Нечаянно я пошевелился — девочка вздрогнула, увидела меня, ее глаза подозрительно сузились, и вся она боязливо съежилась, точно мышонок перед кошкой.

Улыбаясь, я смотрел на ее чумазое, печальное и робкое лицо; губы она крепко сжала, и тонкие брови ее вздрагивали.

Вот она встала на ноги, деловито отряхнула свое рваное, когда-то розовое платье, сунула в карман свою куклу и звенящим, ясным голосом спросила меня:

— Чего глядишь?

Было ей лет одиннадцать; тоненькая, худая, она внимательно осматривала меня, а брови ее всё дрожали.

— Ну? — продолжала она, помолчав.— Чего надо?

— Ничего, играй себе, я уйду...— сказал я.

Тогда она шагнула ко мне, ее лицо брезгливо сморщилось, и громко, ясно она сказала:

— Пойдем со мной за питялтынный...

Я не сразу понял ее, только, помню, вздрогнул в предчувствии чего-то ужасного.

А она подошла вплоть ко мне, прижалась плечом к моему боку и, отвернув лицо свое в сторону от моего взгляда, продолжала говорить тусклым и скучным голосом:

— Ну, идем, что ли... Неохота мне на улице гостя искать... Да и выйти-то не в чем — мамкин любовник и мое платье пропил... Ну, идем...

Молча и тихо я стал отталкивать ее от себя, а она взглянула мне в глаза подозрительно-недоумевающим

взглядом, губы у нее странно искривились, она подняла голову и, глядя куда-то вверх широко открытыми, ясными, печальными глазами, негромко и скучно проговорила:

— Ты что кобенишься? Думаешь — я маленькая, так кричать буду? Не бойся, это я прежде кричала... а теперь...

И, не окончив свою речь, она равнодушно плюнула...

Я ушел от нее, унося в своем сердце тяжелый ужас и печальный взгляд ясных детских глаз.

РАССКАЗ ФИЛИППА ВАСИЛЬЕВИЧА

...Я сидел в городском саду на скамье под деревьями, ветер сердито встряхивал черные мокрые ветви над моей головой и, срывая последние листья, уносил их под гору, к широкой мутной реке, а река дышала в небо сырым холодом.

За рекой, в желтом бархате поблекшей травы, блестело маленькое озеро, вода печально отражала тусклое небо осени; в небе таял бледный диск луны. Солнце давно опустилось в темный омут леса, и багровая полоса зари, среди сизых туч, казалась огненным потоком в теснинах гор.

— Послушайте...— тихо сказал высокий, плохо одетый молодой человек; шум деревьев заглушил его шаги, и я не слышал, когда он подошел.— Дайте мне на хлеб!

Голова его наклонилась, он отступил на шаг, но шляпы не снял. Я молча сунул руку в карман.

— Не много! — быстро предупредил он и гордо поднял голову.— Вы думаете — попрошайка? Нет,— просто без работы... Очень голоден... Верите?

— Верю,— сказал я.

Лицо у него скуластое, глаза большие, мягко-серые, глубоко ушедшие под высокий лоб.

— Спасибо! — угрюмо буркнул он, принимая деньги длинной рукой, дрожащей от холода или стыда.

Я встал и пошел рядом с ним. Он возбуждал мое любопытство, я спросил его:

— Не могу ли я быть более полезным для вас?

— Найдите работу! — быстро воскликнул он.— Можете?

— Попробую...

— Мне тяжело и стыдно просить... я хочу работать!

— Как вас зовут?

— Платон Багров... Я, видите ли, крестьянин, кончил сельскую школу, хорошо учился, и учительница очень любила меня... Ей удалось уговорить старушку-помещицу отдать меня в гимназию...

Под глазами у него были большие темные пятна. Его нос, хрящеватый, с горбинкой, покраснел от холода. Юноша засунул руки в карманы брюк, согнул спину и зябко передергивал широкими плечами. Тонкий пиджак, застегнутый до горла, высокие стоптанные сапоги и старая, измятая шляпа делали его похожим на шарманщика. Говорил он спокойно, без грусти, без жалобы в голосе и так, точно он сам внимательно вслушивался в свою речь, проверяя ее мысленно.

— В гимназии я был четыре года; когда я сидел во втором классе, умерла мать — заплуталась в поле и замерзла; отец умер еще раньше; а когда перешел в четвертый, умерла эта помещица... Наследники ее уже не захотели платить за меня, и пришлось уйти из гимназии... На этом мое образование кончилось...

Какая-то дама, обогнав, толкнула его — он быстро вскинул голову, посмотрел на нее, поднял руку к шляпе и глухо сказал:

— Извините!

Дама, не оглянувшись на него, прошла. Он плотно сжал губы и потом, улыбаясь, сказал:

— Как люди привыкли толкать друг друга... как будто толкнуть — это ничего не значит...

Мы пришли в трактир, заняли столик в углу маленькой комнатки, прокопченной табаком, я спросил себе пива, а он, ожидая, когда ему принесут есть, вполголоса рассказывал мне, осматриваясь вокруг:

— Первое время я жил у одного из сторожей гимназии, потом он устроил меня в бакалейную лавочку мальчиком, но мой хозяин оказался драчуном — я ушел от него...

Половой поставил на стол тарелку с хлебом. Платон тотчас же взял кусок, но рука у него странно дрогнула, он быстро взглянул на меня, положил хлеб обратно и продолжал, опустив голову:

— Тогда мне было четырнадцать лет, теперь — девятнадцать, через два года надо идти в солдаты. За пять лет я очень много видел, жил в разных городах, работал у водопроводчика, садовника, был рассыльным в редакции одной южной газеты, ловил рыбу в Азовском море, был и на Каспии — много испытал! Смотрел, думал... и — знаете — плохо устроена жизнь!

Половой принес миску чего-то мутного и крепко пахучего. Платон глубоко и жадно потянул носом воздух, подвинул обеими руками миску к себе и, не прерывая речь, стал наливать суп в тарелку.

— Я очень люблю читать, у меня правило — треть заработка тратить на книги... Прочитав, я, конечно, продаю книгу... Это всегда жалко, но ведь не таскать же их с собой... Я не люблю жить на одном месте долго... хочется видеть как можно больше, хочется быть образованным...

— Быть образованным — прекрасное желание, но, мне кажется, для этого надо долго сидеть на одном месте. Однако — вы кушайте! — сказал я, видя, как раздуваются его ноздри, обоняя запах пищи... Он улыбнулся и начал есть, безуспешно стараясь скрыть от меня голодную жадность.

Было несколько странно слышать его простую речь, в которой звучал какой-то неуловимый ритм и глубокая серьезность, казалось бы, несвойственная годам юноши. Он немного рисовался своей гладкой речью, и было заметно, что он торопится убедить меня в своей интеллигентности... Теперь, видя, с какой острой жадностью он ест, я старался не смотреть на него, чтобы не смутить, и осматривал комнату.

В другом ее углу сидел, сдвинув фуражку на затылок, какой-то телеграфист. Он тяжело навалился грудью на стол и угрюмо рассматривал стоявшую пред ним полубутылку водки. Над ним летали большие черные мухи, наполняя воздух недовольным и тревожным жужжаньем, они путались в пыльных листьях цветов на окнах и с разлета тупо бились в стекла. В комнате стоял душный запах табаку, кислой капусты, герани и водки...

Вошел какой-то высокий угреватый человек, сел за столик против телеграфиста, молча налил рюмку,

выпил, тщательно обсосал свои рыжие усы и басом спросил:

— Как живешь?

Телеграфист откинулся на спинку стула, шлепнул ладонью по столу и ответил:

— У меня такое настроение — чтобы стекла бить!

— Жалуйся! — посоветовал рыжий, наливая еще водки.

— К чёрту! Все жалуются... а кто слушает?

Платон, усмехнувшись, взглянул на меня и тихо заговорил:

— Я — не пью, но очень люблю спдеть в трактирах,— интересно! Всегда подслушаешь какие-то особенные слова...

— Всё это уродливо и грязно,— заметил я.— Если вы любите читать — читайте больше, ведь в книгах вы найдете нечто более ценное, чем в трактирах!

— Д-да, конечно! — почему-то не сразу согласился он и, помолчав, добавил: — Хотя, знаете, иногда подумаешь и под уродливыми словами увидишь ту самую мысль, которую вычитал в книге... Тогда и книге больше веришь, и люди кажутся лучше... умнее...

— У вас были знакомые интеллигенты? — спросил я.

— Когда я служил в редакции — были... Сотрудники очень хорошо относились ко мне, давали книги... И еще был у меня в Ростове один знакомый — он столяр, но очень образованный человек, у него была целая библиотека,— медленно сказал Платон.

Он немного опьянел от сытости, и, видимо, ему хотелось спать; глаза его помутнели. Я поднялся, дал ему свой адрес, сказал, чтобы он завтра же пришел ко мне, и протянул ему руку. Он крепко пожал ее и, кивнув головой, просто сказал:

— Спасибо!

Я не заметил, чтобы он был тронут моим отношением к нему, и хотя, разумеется, не ждал благодарности, однако эта его сухость — или что-то другое — не очень понравилась мне. Мы все обязаны ценить взаимные услуги друг другу, это необходимо в общежитии...

Когда я вышел на улицу, было уже темно. Длинная вереница фонарей, сверкая, тянулась во тьму; дул ветер, огоньки вздрагивали...

«А ему, должно быть, холодно в легком пиджаке»,— подумал я о Платоне Багрове...

Мне удалось найти для Платона место дворника в доме моего знакомого, профессора, очень милого старика,— несколько лет тому назад он отказался от чтения лекций в университете и теперь скромно жил на покое, занятый исследованием о каком-то паразите пшеницы.

Домик у него был маленький, славный; он стоял на окраине города и летом, окруженный со всех сторон старыми липами, окутанный густыми волнами акации и сирени, смотрел из моря зелени гостеприимным, тихим островом.

У профессора была дочь — маленькая девица с голубыми глазками и звонким смехом, веселая, балованная и беспечная. Она недурно играла на рояле, рисовала, читала изящную литературу и всегда носила белые платья,— они шли к ней, как идет к березе ее кора. Она всегда была окружена подругами, такими же изящными, как и сама, у нее часто бывали студенты. Почти каждый вечер было шумно, иногда — весело; играли, спорили, читали стихи, танцевали, а старый профессор сидел где-нибудь в углу и, поглаживая седую бороду, усмехался веселью молодежи.

Я часто бывал в этом доме и видел Платона. Теперь лицо у него пополнело, круги под глазами исчезли, он носил толстую черную фуфайку, черные шаровары и высокие сапоги. Этим не совсем обычным костюмом он, должно быть, хотел подчеркнуть себя в глазах людей. Высокий и костлявый, он был угловат в движениях. Его темные короткие волосы немного вились, глаза смотрели вдумчиво, спокойно, и в скуластом лице было что-то значительное.

Он молча кланялся мне,— он был настолько тактичен, что никогда не заговаривал со мной при хозяевах, должно быть, чувствуя, что этим он поставил бы меня,

да и себя, в неловкое положение. Но, встречая его на дворе, один на один, я подавал ему руку, и мы вступали в беседу.

— Ну, как вам нравится здесь, Платон?

— Ничего! — добродушно отвечал он.— Свободного времени немного, но все-таки я могу читать... Видеть, чувствовать, работать, думать — вот жизнь! Верно?

— Да, да! — одобрительно говорил я, любуясь его оживлением.— И, главное, читайте побольше хороших книг... Ну, а как вам нравятся хозяева?

— Славные, должно быть, люди... не грубы с прислугой. Редко это встретишь... Барышня забавная! Бегает, визжит, делает гримаски,— всегда чистенькая, точно холеный поросенок!

Мне не понравился этот отзыв о Лидии Алексеевне, — отрицательное отношение прислуги к хозяевам вполне понятно, но Платон — человек полуинтеллигентный и должен бы понимать, что таким отношением к своей хозяйке он опускается до психологии судомоек. Я ничего не сказал ему по этому поводу, а он, улыбаясь, продолжал:

— Она — славная! Добрая, и хотя капризничает, но к людям относится хорошо... Иногда кричит на горничную, но не обидно, по-детски...

— Она только на год моложе вас,— заметил я.

— Ничего не значит! — спокойно возразил он.— Годы бывают разные,— время надо измерять количеством и качеством впечатлений... Что она видела и знает?

Он любил хвастнуть своим житейским опытом, это надоедало мне. И я имел основание не верить ему, я несколько раз замечал, что, когда Лидия Алексеевна проходила мимо дворника, его рука подозрительно торопливо взлетала к шапке; голова покорно склонялась пред нею, и весь он смешно и угловато сгибался, точно боясь испугать девушку своей длинной фигурой,— он был чудовищно нескладен и велик в сравнении со своей хозяйкой. Я не понимал значения этих поклонов, но Лидочка заметила их преувеличенную почтительность. Это естественно: глаза врага всегда прекрасно видят; смешное в мужчине всего скорее доступно зрению женщины...

Веселая девушка ласково улыбалась ему, иногда дарила его парой незначительных слов, а однажды, когда он колол дрова, даже спросила его — не устал ли он? Этого не следовало делать.

Я предупредил ее:

— Он слишком самонадеян... считает себя исключительной личностью и способен забрать себе в голову бог знает что!

Она не обратила внимания на мои слова...

— Чудак он,— сказала она, задумчиво улыбаясь.— Такой смешной, длинный... и всё философствует там в кухне... а над ним смеются за это...

Она рассказала мне, что прислуга дома считает Платона глупым за то, что он не ухаживает за горничными, не сидит у ворот, истребляя семена подсолнухов, и читает книжки. Его поведение в глазах кухарки и горничных было не свойственно дворнику, говорил он много, непонятно,— всё это раздражало людей кухни.

— Нужно посоветовать ему сдать экзамен на учителя, и пусть он отправится в деревню,— сказал я.

— Да,— согласилась Лидия Алексеевна,— это лучше для него...

Должно быть, с этого момента она усилила свое внимание к Платону — не потому, конечно, что думала открыть в нем переодетого принца сказки, а просто ей было любопытно узнать, как чувствует и рассуждает человек, который метет двор ее дома...

Наступала весна. Прилетели грачи. В старых липах, над крышей дома, целыми днями, не умолкая, раздавался громкий крик хлопотливых птиц.

Я заметил, что глаза Платона смотрят как-то странно, дальше того, что было перед ними, как будто они упорно ищут нечто необходимое ему, не находят и, удивленно расширяясь, улыбаются невеселой улыбкой. Он стал молчалив, и в движениях его явилась какая-то растерянность... Однажды, в тихий апрельский вечер, запирая за мной ворота, он негромко спросил:

— Можно мне прийти к вам завтра?

— Пожалуйста, — сказал я. — Между пятью и шестью вечера... До свидания! Между пятью и шестью...

Он пришел аккуратно в это время, пришел одетый, как всегда, в свою фуфайку, смущенно улыбнулся мне и тяжело сел к столу.

Я заговорил о прочитанных им книгах, но это, видимо, не интересовало его; он отвечал рассеянно, неохотно и смотрел печальными глазами куда-то через мою голову или сквозь мое лицо. Печаль не шла к его скуластой физиономии.

Вдруг он объявил:

— Я... стихи писать начал!

Он сконфуженно взглянул на меня и спросил негромко:

— Вам это смешно?

— Нет, нисколько! — успокоил я его.— Прочитайте мне стихи,— можно?

Он улыбнулся невеселыми глазами, положил локти на стол, опустил на них свою лохматую голову и глухим голосом отрывисто заговорил:

Ночь пришла. Сижу я у окна,
Сад уснул. В нем — тьма и тишина.
Я смотрю в немую ночи тьму,
И душа моя кричит невольно:
Почему мне тяжело и больно?
Почему?

От его стихов пахло махоркой, от сапог — дегтем, фуфайка на локтях была протерта, у ворота она не имела пуговиц, и я видел, как тяжело и сильно бились жилы на шее Платона. Он, глядя в стол, читал:

Нет нигде душе моей ответа...
Душной тьмою всё кругом одето...
Спит земля, и влажный воздух нем...
Только мое сердце громко бьется —
О, зачем она всегда смеется?
О, зачем?

Он замолчал, поднял голову, и брови его вопросительно поднялись.

— Ну, что?

Я хотел обратить его лирику в шутку.

— Нехорошо! — сказал я, усмехаясь. — Нужно,

чтоб или оба смеялись, или — оба плакали... Есть у вас еще стихи?

— Есть,— тихо сказал он и, снова опустив голову, медленно начал читать:

Прощай! Душа — тоской полна...
Я вновь, как прежде, одинок,
И снова жизнь моя темна.
Прощай, мой ясный огонек!..
Прощай!

Прощай. Я поднял паруса,
Стою печально. у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —
Всё, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

Глухой голос его звучал однотонно, напоминая о чтении псалтыря над усопшим. Он помолчал, взглянул на меня и, вздохнув, продолжал:

Даль моря мне грозит бедой,
И червь тоски мне душу гложет,
И грозно воет вал седой...
Но — море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может!..
Прощай!

Он замолчал, сидя неподвижно. Мне было неловко, я не знал, как помочь ему. Подумав, я решил действовать, как хирург,— сразу отсечь ненужное. Я спросил:

— Вы — влюбились?

— Ну да,— тихо сказал он.

— Кто она? Горничная Феклуша?

Он удивленно поднял брови и ответил:

— Лидия Алексеевна...

Разумеется, я знал это, но не ожидал, что он скажет так прямо, и мне не хотелось слышать об этом из его уст. Мне было немного неприятно и очень смешно.

— Послушайте, голубчик,— заговорил я как мог серьезно и ласково,— поймите, что ведь это же — забавно!

— Забавно? — тихо вскричал он, и глаза его удивленно расширились.

— Ну да! — сказал я.— Мне прямо-таки трудно говорить с вами серьезно...

— Почему? — повторил он сдавленный крик.

— Да вы подумайте: вам девятнадцать лет... ну, вы там кое-что видели, кое-что знаете, но — разве вы пара ей? Она — девушка образованная, с тонкими вкусами... ей органически враждебно всё грубое,— да не в этом дело, наконец! — а в полной невозможности такого сочетания, как она и вы... Человек неглупый, вы сами должны чувствовать эту невозможность...

— А я — не чувствую...— тихо, но упрямо сказал он и тем же тоном спросил: — Разве я не человек, как все?

Я пожал плечами и снова начал говорить ему, а он смотрел на меня серыми глазами, и я видел, что мои слова не действуют на него.

— И, наконец,— сказал я, отходя в сторону от Платона,— Лидия Алексеевна любит меня...

Он медленно встал со стула, плотно сжал губы, сгорбился и, забыв подать мне руку, ушел...

Я посмотрел вслед ему и почувствовал, что мне надо серьезно вмешаться в эту забавную, но неприятную историю...

На другой же день, вечером, я пришел к Лидии Алексеевне и осторожно, чтобы не очень насмешить ее, но в то же время достаточно внушительно сказал ей, что, пожалуй, будет лучше, если она перестанет обращать внимание на своего дворника.

— Почему? — удивленно спросила она.— С ним очень интересно говорить... Иногда его рассказы, несмотря на их грубость, так трогательны... и так ярко рисуют жизнь простых людей... Почему же, деспот, я не должна разговаривать с ним?

Тогда я сказал прямо, что Платон влюбился в нее и что первая любовь,— какова бы она ни была,— на всю жизнь формирует сердце мужчины... Она брезгливо вздрогнула, ее глазки сделались круглыми от изумления,

щечки ярко вспыхнули, и она взволнованно забегала по комнате, обиженная и смущенная.

— Как он смеет! — растерянно восклицала она.— Он? У него потные руки... и такие красные... и уши тоже красные... Но — как я сама не догадалась? Вот... смешной! Мне и жалко его... и это так нехорошо... Вы говорите — сочинил стихи?

— Даже, кажется, недурные,— заметил я.

— Нет, как же это я сама не заметила? Право, это интересно... влюбленный демократ... роман! Ах, боже мой! Но что же теперь с ним делать, Филипп Васильевич? Необходимо отказать ему от места, да?

— Отнюдь — не сейчас! — посоветовал я.— Зачем же оскорблять человека, когда можно обойтись без этого? Отказать ему от места, конечно, необходимо, но нужно сделать это осторожно... не вдруг...

— Я бы хотела все-таки посмотреть его стихи,— задумчиво сказала она...

Вскоре я искренно и горько раскаялся в том, что дал такой совет, упустив из вида ребяческое легкомыслие Лидочки.

На другой же день я уехал из города, а через два-три дня уже все в доме знали, что дворник влюблен в барышню. Происходили,— как я потом узнал,— веселые и, надо сказать правду, злые сценки.

— Платон! — звала Лидочка.

Он являлся.

— Вы любите меня? — ласково спрашивала она.

— Да! — твердо говорил дворник.

— Очень?

— Да,— повторял он.

— И, если бы я попросила вас о чем-нибудь,— мечтательно рассматривая его скуластое лицо, таинственно и тихо говорила Лидочка,— ведь вы всё сделаете для меня, Платон?

— Всё! — с непоколебимой уверенностью отвечал дворник.

— Ну, если так,— восторженно улыбаясь, продолжала она,— если так, дорогой мой Платон...

Лицо ее становилось печальным, и, глубоко вздыхая, она заканчивала:

— Поставьте самовар...

Он шел и ставил самовар, а скулы у него становились острее, и глаза всё глубже уходили под лоб.

Иногда Лидочка, расспросив Платона о силе его любви, заставляла его вымыть ее грязные галоши или посылала его с запиской к подруге, и во всем, о чем она его просила, она всегда задевала его любовь.

Вечером, когда собирались гости, она звала Платона, заставляла его читать стихи, и он читал, низко опустив голову, не глядя ни на кого. Его хвалили, он кланялся, а лицо у него было каменное. Лидочка при нем же говорила гостям:

— Ведь недурно, не правда ли? Иногда печатаются стихи хуже этих. Эти — неловки, но искренни... мне известно, что поэт действительно влюблен и — безнадежно! На пути к его счастью стоят сословные предрассудки и холодное сердце той, которую он воспевает...

Я нахожу, что она обращалась с юношей неосторожно и незаслуженно зло... Мне кажется, что его любовь — оскорбляла ее самолюбие и она немножко мстила за это бедняку... Впрочем — и все другие относились к нему не лучше. Старик-профессор был очень добрый человек, он любил любовью мудреца всех насекомых, но и он находил удовольствие в шутках над юношей.

— Послушайте, поэт! — говорил он.— Убедительно прошу вас, не навалпвайте вы так много навоза на грядки для спаржи! Я не однажды говорил вам это, а вы всё забываете... и я останусь без спаржи, если дело пойдет так плохо... Я, впрочем, не сержусь, я понимаю ваше положение... Вас влечет в Аркадию... Что ж? Законно: в детстве человек болеет корью и скарлатиной, в юности он влюбляется, пишет стихи и мечтает о подвигах... трата времени не очень полезная для жизни... но всё же это лучше, чем благоразумие старости!

Профессор всегда говорил длинно, красноречие его было скучновато, но ему оно нравилось.

Шутила и прислуга — она, конечно, шутила проще и грубее. И, очевидно, все шутки попадали в цель метко, ибо цель была достаточно велика. Но изобретательнее всех была Лидочка,— я не могу скрыть этого и не одобряю, конечно.

Вечерами, при луне, она красиво и задумчиво садилась у открытого окна и громко говорила подругам о том, что любовь — не знает преград, что для нее — нет дворян, нет крестьян, а есть только мужчина, человек, любимый. Платон слышал это.

Потом она звала его, смотрела холодно и сухо в его лицо и заставляла что-нибудь сделать для нее.

Она играла меланхолические пьесы, нежно трогавшие душу влюбленного мягкими и ласковыми аккордами, она пела нежные, тихие песенки, в которых звучало ожидание ласки и тоска о милом, и всё это она делала так, чтобы дворник видел, слышал, чувствовал...

Однажды он подошел к ней в саду и сказал:

— Зачем вы смеетесь надо мной? Что смешного в том, что я люблю вас? Скоро я уйду из города... мне хочется помнить вас ласковой, доброй... Не мучайте меня!

Говорил он тихо и стоял неподвижно, но Лидочка чего-то испугалась в нем и убежала, ни слова не сказав ему.

Но на другой день она не могла отказать себе в удовольствии еще немножко помучить его,— призвала в комнаты и заставила читать стихи перед двумя ее подругами. В стихах шла речь о молодом, крепком дубе,— одна из его веток коснулась лица королевы, и королева приказала срубить дуб. Стихи были неуклюжие; барышни, слушая их, улыбались...

Кончилось это тем, что однажды утром я получил записку от Лидочки:

«Немедленно приезжайте Платоном несчастие Лида».

Она встретила меня растерянная, бледная, полубольная.

— Вы знаете — он застрелился!

— Неужели? — воскликнул я, тяжело пораженный.

— Да, да! Вот вам! — нервозно бегая по комнате, говорила она.— И в этом виноваты вы, вы!

— Я?

— Конечно! Надо было тогда же, сразу отказать ему от места, а вы сказали — нельзя! Вот теперь... Бедный! Мне его жалко...

На глазах у нее сверкали слезы, видно было, что плохо спала ночь и много плакала...

— Если бы я знала, что он... серьезно... я бы не позволяла себе шутить,— говорила она, приложив платок к лицу и вздрагивая.— Говорят, он еще жив... поезжайте к нему! Я не могу... я потом... Папа так расстроен... и всем его жалко... он был такой оригинальный!

Дитя! Она и тут говорила о нем, как о сломанной игрушке...

Я тотчас же поехал в больницу и по дороге печально думал о Платоне. Он казался таким крепким, твердым — и вот, при первом же столкновении с жизнью, опрокинут и разбит. Этой неустойчивости, вполне понятной в культурном человеке, живущем нервной жизнью, я не понимал в Платоне...

Он лежал вверх лицом, желтый, бескровный, с морщинами на лице; глаза у него потемнели, стали огромными, и в них застыла тоска и боль. Его длинная жилистая рука бессильно свесилась с койки, почти касаясь пальцами пола. Он долго смотрел мне в лицо тяжелым взглядом и молчал... Наконец, сквозь зубы, скрипящим голосом, задыхаясь от слабости, он с усилием сказал мне:

— Спросите их... Вот я — работал на них... чтобы им жилось удобнее и чище... за что же они изувечили меня?

Глаза его закрылись. Я поднял его руку, положил ее на койку и ласково заговорил:

— Мой друг, не надо судить людей так строго... Вот — выздоровеете вы, и — всё это разъяснится... Ведь вы же знаете — они хорошие люди...

Не открывая глаз, он сказал:

— Там у меня... остались книги... пошлите их в Ростов... столяру Евсею Скрябину... не забудьте!

— Хорошо, я пошлю!

Выпув записную книжку, я занес в нее адрес столяра, а он всё лежал неподвижно. В груди его глухо хрипело, и огромные темные пятна на месте глаз делали его лицо мертвым.

Я смотрел на него, молчал, и мне было неловко оставаться, неловко уйти.

Наконец он открыл глаза и прошептал:

— Уходите!

— До свидания! — сказал я.

Он ответил мне движением руки.

Медленно, с неприятным, едким чувством в груди, я пошел из палаты и когда вышел в коридор, то услыхал хриплый голос Платона:

— Сиделка... не пускайте ко мне... никого...

Очевидно, он думал, что придет Лидочка.

Ночью он умер.

...Исполняя его поручение, я послал в Ростов книги, оставленные им,— тетрадки со стихами он сжег в печи, сказала мне прислуга,— но среди книг мне попался перечеркнутый листок почтовой бумаги, и на нем торопливо были написаны вот эти строки:

«Медленно и долго поднимался я с низу жизни к вам, на вершину ее, и на всё в пути моем я смотрел жадными глазами соглядатая, идущего в землю обетованную...»

Я взял листок себе на память о Платоне; недавно, роясь в столе, нашел его и вспомнил о юноше... и — вот рассказал о нем.

БУКОЁМОВ, КАРП ИВАНОВИЧ

В душный сумрак камеры сквозь мутные стекла окна падает солнечный луч,— Букоёмов лежит на нарах кверху лицом, смотрит, как в золоте луча тихо кружится пыль, лениво летают мухи, и, может быть, думает о быстрых полетах ласточек и стрижей в голубой бездне небес...

Махин и Шишов сидят на корточках около старика и молча играют в шашки, сделанные из мякиша черного хлеба, а Хромой, сидя у окна, чинит рубашку и вполголоса гнусаво поет:

Просидела день без дела,
Капитал свой весь проела...

В такт своей однообразной песне он тихо постукивает в пол тяжелой и грубой деревяшкой, заменяющей ему левую ногу, отрезанную у колена.

— Не можешь ты играть, Махин! — с презрением говорит Букоёмов.— Ходи налево, Шишов!

— Я знаю,— наклоняясь к шашкам, отвечает Шишов сиплым голосом.

Мил дерется, коль не сыт,
Сытый милый только спит...

— грустно тянет Хромой.

— Тьфу! — плюется Букоёмов. Песня надоела ему; она, точно скрип шилы, неприятно сверлит уши.

Старик недружелюбно повертывается в сторону Хромого и молча смотрит в его лицо — бледное, чистое, овальной формы. Небольшая окладистая бородка, вместе с длинными волосами темного цвета, делает Хромого похожим на молодого священника. Его черные

глаза смотрят всегда сосредоточенно и спокойно, говорит он мало и почти никогда не смеется. Сосланный в Сибирь на вечное поселение за поджог, он трижды уходил с места ссылки в Россию. Второй раз он дошел только до Перми, поступил там в сторожа на железной дороге и спокойно служил более полугода. Но однажды почью на станцию пришли воры, ударили его кистенем, он свалился и, лежа без памяти, отморозил себе ногу. В больнице узнали, что он беглый, приделали ему деревяшку на место отрезанной ноги и возвратили в ссылку. Хромой ушел в Россию снова,— теперь его поймали уже в Калуге.

Много измерил земли этот человек, много, должно быть, он видел и слышал, но — не нашел он на земле песни, более приятной ему, чем эта песня:

Я бы бросила его,
Да нет на свете никого...

От его небольшой красивой фигуры веет затвердевшим упрямством, в глазах застыл какой-то холодный блеск. У старика Букоёмова пропадает желание помешать ему петь, он медленно поворачивает голову, смотрит в потолок и сквозь зубы говорит:

— Однако скушно с вами, анафемы...

Крепкий, румяный красавец Махин напряженно сморщил лоб, прикусил нижнюю губу и, не отрывая карих глаз от шашек, угловатыми, судорожными движениями руки молча двигает их по нарисованным на нарах квадратам. Шишов играет осторожно, он долго думает над каждым ходом, сильно трет лысину, двигает рыжими бровями, сделав ход, облегченно сопит и с достоинством гладит спутанную бороду. Он толстый, круглый, и лицо у него тоже толстое, красное...

— Оба вы плохо играете! — решительно заявляет Букоёмов и тщательно крутит папиросу.

Я пошла бы к свому краю,
Да родилась где — не знаю!

— тихонько выводит Хромой.

— А этот всё скулит, как голодный пес на цепи,— угрюмо двигая седыми бровями, говорит Букоёмов.

Ему не отвечают.

В коридоре — смутный гул,— он всё ближе подвигается к двери камеры. Это — староста разносит подаяние — калачи, баранки, яйца.

Кто-то визгливо сквернословит, и слышен хриплый голос:

— Пара, две, три...

— Ты! Куда суешь руку? Мало тебе, сволочь?

Букоёмов курит, смотрит острыми глазками на конец папиросы, и его угловатое, точно железное, лицо — темно и неподвижно. Серые и голубые струйки дыма путаются в седой бороде, вползают на голову, сливаются с жесткими волосами сивого цвета — старик весь серый, точно большой обломок скалы. Ему уже за шестьдесят лет. Но у него целы все зубы, волосы его густы, движения сильны, голос тверд и ясен. Ловко носит свою одежду, кандалы не стесняют его: на ходу они у него звенят как-то особенно — негромко и легко. Он солиден, любит чистоту, порядок, в нем много старческой красоты и чувства собственного достоинства.

По его словам, первый раз он был приговорен на каторгу двадцати шести лет за двойное убийство и грабеж. С дороги он бежал и три года с лишком занимался разбоем; был пойман и осужден на Сахалин без срока. Отбыв девять лет, он снова бежал и снова занимался «своим делом» почти пять лет. Его поймали во второй раз, но в Сибири он «сменился», с год прожил в Тобольской губернии как поселенец, потом пришел в Россию, а теперь — после целого ряда убийств и грабежей — он снова возвращался на Сахалин, где его ждала бессрочная каторга и кнут...

— Хромой! Ступай, прими подаяние,— говорит он тоном старшего.

Хромой поднимает голову, смотрит на него, кладет рубашку на подоконник и шагает к двери, покачиваясь с боку на бок. Тупо стучит его деревяшка, и вздрагивают волосы на голове.

— Готово! — довольным голосом кричит Шишов, потирая свои пухлые руки, поросшие красной шерстью. Махин виновато улыбается, бережно собирает шашки и высоким тенором, который не идет к его сильной, строй-

ной фигуре и вьющимся черным, как у негра, волосам, говорит Шишову:

— Ты больно долго думаешь, а я не думаю! Я сразу играю...

— Дурак! — кратко говорит Букоёмов.— Хорошие, однако, люди... у одного — нога деревянная, у другого — башка...

Шишов тяжело слезает с нар на пол и хохочет жирным смехом. Его большой живот противно колышется, он щурит свои масленые глазки, точно сытый кот. Кандалы на его коротких ногах тяжело звенят, путаются, мешают ему; он весь какой-то расстегнутый и мокрый, как будто тает в духоте. Кажется, что, если сильно встряхнуть его, он весь развалится и расплывется по полу киселем.

Букоёмов аккуратно тушит папиросу, смотрит на Шишова, и его тонкие, сухие губы складываются в презрительную усмешку.

— Труха! — говорит он, сплевывая.— Умрешь ты скоро... Зальет тебе сердце жиром — и умрешь ты, как навозный жук...

Шишов подобострастно смеется, берет из рук Хромого калач, осматривает его со всех сторон сладко прищуренными глазами и открывает рот, полный мелких белых зубов, похожий на щучью пасть...

— Постой! — говорит Букоёмов.— Ведь ты жрать не хочешь?

— Нет — чего же? Я могу,— смущенно хихикая, возражает Шишов. Он стоит перед стариком и обеими руками держит калач у подбородка.

— Мо-огу! — передразнивает старик сиплый голос Шишова.— Тебе же нельзя жрать: издохнешь! Тебе голодать надо... Накопил жиру, как скупой деньжищ, и задыхаешься вот... дура дряблая!

Он отворачивается от Шишова; тот робко мигает глазами, смотрит на калач, потом вваливается на нары, тяжело ползет в угол и там начинает медленно и внимательно есть, стараясь не чавкать громко...

Славное море — широкий Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка...

— тихо запевает Махин, стоя у окна...

— Не видав — хвалишь,— угрюмо усмехаясь, говорит Букоёмов.

К окну подходит Хромой, молча, движением руки, отстраняет Махина, садится и снова чинит рубаху.

Букоёмов оглядывает всех по очереди и опускает голову, сумрачно двигая бровями. Грустно вьется песня, шуршат нитки, громко чавкает увлекшийся Шишов. Старик вскидывает голову и смотрит на него холодными глазами; Шишов перестает есть и, не закрывая рта, с куском калача пред лицом, сидит неподвижно и ждет.

Букоёмов смеется. Смех у него негромкий и странный, точно в горле старика пересыпаются осколки битого стекла.

— Лавошник ты, рыжая скотина,— насмешливо говорит он,— и поступок твой поганый, лавошников... Купил девочку-подростка,— как, скажем, бараньи тушки покупал, и задавил девочку... Сволочь ты!

Шишов тяжело вздыхает и снова ест. Теперь смеется Махин веселым, юношеским смехом. Хромой сосредоточенно шьет.

— Живу я между вами,— продолжает суровый старик,— и надоели вы мне, как бельма на глазах... Скушно мне тут... хоть всего две недели с вами я...

— Расскажи чего-нибудь, Карп Иванович! — просит Махин, подходя и усаживаясь на нарах рядом со стариком.

— Вот, Хромой,— говорит Букоёмов, не взглянув на юношу,— ты всё говоришь: все люди одинаковы по Евангелию... А ты по правде скажи,— разве они двое — люди, однако? И разве я — похож на них?.. Не похож я... и ты не похож... Ты хоть без ноги, а с характером... в тебе сопротивление есть... Тебе приказывают — живи в Сибири!.. а ты — не хочешь, ты вот уходишь... это хорошо! Даже на одной поге ушел... очень хорошо, да! А вот Махин — что он такое? Зачем он вообще? Зарезал толстого трактирщика, облился весь кровью, нанял извозчика и — поехал... Куда же, однако, поехал? Неизвестно... Потом со страху — бац извозчика ножом по горлу... зачем опо? Тоже — не понять...

— Я не со страху,— конфузливо улыбаясь, отвечает Махин, и его темные воловьи глаза смущенно мигают.

— Ну, а для чего?

— Он всё оглядывался,— виновато говорит Махин,— едет, едет да и оглянется... ну, и...

— Болван! — спокойно и холодно определяет Букоёмов, снова свертывая папироску.

— Всё надо делать умеючи...— продолжал он, закуривая.— Ежели толстого резать — для этого случая надо раздеться догола... В нем, в толстом, всегда кровищи много... брызнет она, обольет тебя,— вот и улика против... А голый — ты хоть и попачкаешься — сейчас взял сырую тряпку, вытерся весь и — чист пред людьми...

— А перед богом? — негромко говорит Хромой. Он не пошевелился, не поднял головы, и в голосе его не звучит ни упрека, ни любопытства...

— Чего? — помолчав, спрашивает Букоёмов.

— Я говорю — перед богом как? — повторяет Хромой, продолжая работать.

Старик смотрит на него, поводит своим хрящеватым носом и поучительно говорит:

— Нет, Хромой, люди — разны... Иному кандалы-то ноги спутают, а душу освободят, а у другого — душа железками скована... это, однако, надо понять!..

— Карп Иваныч! — спрашивает Махин тихо и с жутким любопытством.

— Ну?

— Много ты убил людей?

— Много ли? — Холодные глазки старика тяжело упираются в лицо Махина, и юноше неловко под этим взглядом. Он передергивает плечами, точно от холода, и, полуоткрыв рот, ожидает слов старика, заглядывая сбоку в его лицо. Из угла, с нар, доносится короткое, тяжелое дыхание Шишова.

Старик властно кладет на плечо Махина свою большую руку, пальцы ее сильны и гибки, как стальные пружины, он постукивает ими по телу юноши и говорит:

— Много. А сколько много — не помню... Зачем тебе это?

— Так... интересно...— глупо улыбаясь, поясняет Махин.

Старик легонько отталкивает его от себя.

— Эх ты... кутепок!..

— А лица помнишь? — вдруг спрашивает Хромой.

— Какие лица?

— Которых ты убил...

— И лиц не помню... ведь больше — почью приходилось...— спокойно говорит старик.

— А не верю я тебе... не верю, чтобы ты людей убивал...— покачивая головой, тихо замечает Хромой.

Букоёмов смотрит на него и беззвучно усмехается.

— Вот кабы следователи да прокуроры не верили мне, ну, это было бы лестно... а если ты не веришь — не велика мне от этого прибыль... Однако — недаром я почти пятнадцать годов кандалами брякаю,— как ты смекаешь?

В коридоре раздался шум, смех и визг — это малолетних пригнали со двора.

— Не орать, дьяволы! — раздался крик надзирателя.

Громко хлопает дверь, скрипит железо засова и замка, бойкий шум молодых голосов становится глуше.

— И не жалко тебе было убивать людей? — раздается сиплый голос Шишова. Он сидит в углу пар, вытянув шею вперед, и его глазки, заплывшие жиром, блестят боязливо.

— А кто кого жалеет? — спокойно отвечает Букоёмов.

— Это — верно! — негромко отзывается Хромой.— Никто никого.

— Напрасно ты об этой твоей жалости говоришь... врешь ты, собака...— говорит старик.

— Разве нет жалости? — спрашивает Махин и смотрит на всех поочередно, ожидая ответа.

— Подаяние, примерно,— ворчит Шишов.

Хромой вскидывает голову и с упреком в голосе отвечает:

— Подаяние — не для тебя, а для бога...

— Дают — чего не жалко,— подтверждает Букоёмов.

В камере малолетних налаживается песня,— звучный альт бойко затягивает:

Пóгпб я, мальчишка,
Пóгпб навсегда...

Солнечный луч поднялся с пола, теперь он, красноватый и дрожащий, полого висит в густом воздухе камеры и упирается в низ двери. И всё так же лениво в нем кружится пыль, тяжело и бестолково летают мухи. Звонкий альт, захлебываясь от возбуждения и не договаривая слов, ярко выкрикивает песню, всё учащая ее темп; мальчишки считают особенным удальством петь эту песню на плясовой мотив.

Отца я зарезал,
Маму удушил...
Эх! Малую сестренку
В Волге утопил!

— Их! — подхватывает хор с присвистом и топотом ног.

— Цыц, щенки! — орет надзиратель и стучит в дверь камеры кулаком.

— Люблю я тебе говорить, Хромой,— медленно разбирая пальцами жесткие волосы своей серой острой бороды, говорит Букоёмов,— умеешь ты слушать... А когда ты сам говоришь — не люблю я этого... Серый ты человек... и напрасно себе глаза замазываешь. Гляди на всё прямо — вот тебе закон! Тут вся премудрость... Гляди на всё прямо — только и всего... А ты говоришь — люди... то и се... надо жалеть!

Речь старика течет ровно и плавно, в голосе его звучит холодная энергия, и под мохнатыми бровями сверкают острые, как гвозди, серые глаза.

— Зачем я буду жалеть, ежели ни в ком нет жалости? И ненужно мне это и невыгодно... Ты погляди: я докажу тебе всё это...

Старик вытягивает руку и загибает один палец на ней.

— Первое, это я с детства помню, лежим, стало быть, мы с матерью на печи, говорит она мне сказку, и приходит отец... Сгреб он мать за волосья и сдернул ее на пол, вроде как тулуп сбросил... Бил, бил ее — устал... «Ставь, говорит, ужинать, шкура...» — а она вся кровью залита и на ногах стоять не может...

— За что это он? — с большим интересом спрашивает Махин.

— Один раз, помню,— говорит Букоёмов, не отвечая Махину,— устал он ее бить, сел на лавку, отдыхает... Встала мать на коленки пред ним и просит: «Убей, Христа ради, сразу, не мучь!» А он ей: «Нет, ты погоди, зачем сразу?» Мне тогда годов шесть было, а то — семь... Так и забил он ее насмерть...

Махин прищурил глаза и с каким-то восторгом торопливо рассказывает:

— У меня брат жену свою, бывало, бил... ух! только косточки хрустят! Он — гусар, пришел со службы, а у нее — дите... Как он ее хрястнет по роже!

— Бьют в деревнях лошадей, бьют собак...— мерно и упрямо продолжает старый Букоёмов,— ну, однако, баб сильнее бьют... За бабу деньги не плочены, а жизнь — трудная, народ — злой... А часто так себе... для забавы людей мучают... Расскажу тебе, Хромой, был я извозчиком и, пьяный, попал в часть... Привезли туда девку пьяную, бросили ее на пол ничком, и лежит она, спит, как мертвая... Ну... пришли двое полицейских, принесли сургучу, заголили ее, зажгли сургуч и — капают на голое тело... Сургуч горит на коже у нее... запах скверный идет, она — мычит, а они — хохочут... На что им это нужно было? Н-да... Испугался я тогда, дрожу весь... думал — и меня палить будут...

— А еще — сидел я в тюрьме екатеринославской... был в ту пору рабочий бунт... и привели на двор одного рабочего,— арестовали, значит... Смотрю я в окно и вижу: околоточный офицеру — солдаты на дворе были и офицер с ними — предлагает: «Хотите, говорит, господин поручик, я этому рабочему перепонку в ухе разорву с одного удара, и на всю жизнь он оглохнет?» — «А ну-ка»,— говорит офицер-то. Околоточ-

ный — р-раз! И — верно, разорвал перепонку... Я потом узнал — оглох парень-то...

В углу вдруг засопел и завозился Шишов, дремавший под мерные звуки голоса Букоёмова.

— Это — можно! — раздался его сиплый голос.— Надо ладонью ударить, чтобы воздуху туда больше нагнать, в ухо-то... воздух и прорвет перепонку...

Он засмеялся. И старик тоже усмехнулся.

— Не видал я, брат, Хромой, жалости в людях... и сам жалеть их не умею... негде было научиться этому... Шел я как-то с партией, политики были в ней, а между ними — жиденок один, Венькой звали... Вениамином, значит. Маленький такой, кудрявый, глазенки веселые, складный весь... и такой утешный парнишка был... Все устанут, бывало, жарко, пыльно, а он — ничего, поет песни, шутки шутит, ласковый со всеми... Есть эдакие ребятки — с него хоть кожу сдирай, ему весело, а глядя на него, и другой тоже улыбнется да легче вздохнет... Любили его все в партии... а начальник конвоя — невзлюбил... за что — неведомо, ну, однако, так упрямо, как иной раз баба мужа не любит... Орет на него совсем зря... и всё — жиденок, жиденок! А чего там? Тюрьма всех в одну веру крестит... Всяко он над Венькой измывался... Разбередил его всё же, освирепел Венька и скажи: «Вы, говорит, мерзавец!» Как тот его ручкой шашки двинет промеж крылец... у мальчишки кровь горлом... Так он его и свел с земли... совсем зря...

— Жалко? — тихо спрашивает Хромой.

— Чего?

— Жалко, мол, тебе жиденка-то? — повторяет Хромой.

— Про жалость ты мне не говори! — строго возражает Букоёмов.— Какую там я могу иметь в себе жалость, ежели на моих глазах всегда людей били... и вижу я, что человек дешевле скота ценится? То-то... Коли я тебе только про себя расскажу, сколько раз меня били... и то ты сыт будешь... Про жалость — врешь ты! Я почти на двадцать годов старше тебя, я всю Россию обошел, объездил, оглядел — врешь ты!

Старик говорит «врешь» так тяжело и твердо, точно бьет по черепу Хромого своим сухим и жестким кулаком.

— Жутко жить,— раздается шёпот Хромого.

— Чего? — сурово спрашивает старик.

— Говорю — жить жутко...

— А ты говори внятно!..— строго советует Букоёмов.

Махин задумчиво прищурил глаза и, поводя широкими плечами, медленно и негромко вспоминает:

— Парнишкой торговал я огурцами... и взяли меня в полицию... Ка-ак били! И за волосья... и по бокам... господи Исусе!

Букоёмов смотрит на Хромого и с важностью, со спокойным торжеством победителя, снова начинает:

— Я человек серьезный, правильный, я всё на земле видел, и всё я знаю... А когда ты про жалость говоришь — беспокойно мне,— неужели я ошибся? Хорошее-то проглядел? Ну, только врешь ты, Хромой... зря меня мутишь... Люди друг друга не жалеют, и мне жалеть их не за что... Доброго от них не видал я... одни разве калачи да баранки... Ну, калачом меня в обман не вманишь... Ты мне то самое дай, чего тебе наибольше жалко... дорогое твое отдай! Не можешь? Ну, и не ври... собака! И — опять же, что такое люди? ежели их можно мучить, как базарных крыс... а они только бегут да прячутся...

Снова в разговор вступает Шишов; он смеется жирным негромким смехом, и сквозь смех слышны отдельные слова:

— Бывало, у нас... в мясном ряду... обольют крысу керосином, да и... зажгут... а она — трещит... мечется...

Махин смотрит на него и тоже весело смеется...

Хромой медленно поднимает голову, оглядывает всех, потом говорит:

— А... сказано: «Всякое дыхание да хвалит господа...»

Старик косится на него исподлобья и сердито возражает:

— Мало ли что сказано... ты гляди, что сделано.

Солнечный луч медленно ползет по двери кверху и

становится всё краснее. Букоёмов сидит на краю нар, смотрит в окно и качает головой.

— Иной раз — тошно бывает мне, Хромой... Пошел бы я тогда на улицу, встал бы посередине и сказал: «Я — убивец, верно! а вы все — подлецы! И это хуже... Может, оттого я и убивец ваш... что вы мне это позволяете... да! Что вы против моего характера придумали? Железки?»

Он громко трясет кандалами.

— Кто тебе поверит? — тихо спрашивает Хромой. И сам себе отвечает: — Никто тебе не поверит...

— И — наплевать...— угрюмо говорит Букоёмов.— Пускай будут железки... неизвестно, кому от них хуже... мне али им... это — неизвестно...

С минуту в камере все молчат. Тает солнечный луч...

Махин встает и, оглядывая камеру растерянным взглядом, бестолково топчется на месте.

— Шишов, давай сыграем, а? — просительно говорит он. Шишов тяжело возится на нарах и сопит...

— Давай... я те покажу!

Карп Иванович Букоёмов смотрит в пол, двигая бровями, ноги у него болтаются, кандалы тихо позванивают, и под их звон старик угрюмо и медленно говорит:

— Совсем ты, Махин, на кутенка похож... Как жил я, после смены, на поселенье, был в ту пору кутенок у меня... рыжая такая животная, с белыми пятнами... Веселая скотина была! Бывало, прыгает около меня туда-сюда... идти невозможно! Спал со мной, шельма ярославская... заберется на постелю и спит... а блохи его кусают меня... Отшвырнешь его — зарычит, опять лезет ко мне и одеяло зубами дергает... Так я и не могу его прогнать... Поутру проснусь, а он смотрит на меня, зубы оскалены и хвостом виляет,— дескать, что, взял?

Букоёмов улыбается и молчит, неподвижно глядя в пол. Хромой перестает шить, пристально смотрит на него и — ждет.

— Ну?

— Чего?

— Что же кутенок?

— Околел... кто-то хребет ему перешиб...

— Жалко? — тихо спрашивает Хромой, и на его губах дрожит усмешка.

Старик медленно поворачивает к нему лицо и с презрением говорит:

— Пошел ты к дьяволу... Тоже! Захотел поймать ежа зубами...

Хромой смотрит ему в глаза, губы его всё вздрагивают, и он, позевывая, возражает:

— Ежели не жалко,— зачем помнишь? Людей, которых убивал, не помнишь, а кутенка — помнишь? Сам ты всё врешь... вот что!

— Дерево! — скучно и лениво говорит старый каторжник.— Он ко мне ласков был...

Он опрокидывается спиной на нары и лежит, закинув руки за голову.

Шишов и Махин молча двигают шашки.

В окно смотрит клочок неба — оно золотое и розовое, высоко в нем кружится стая голубей. Больше ничего нет в небе. А земли — не видно из окна.

В камере тихо.

Хромой кончил шить. Он распялил рубаху пред лицом, наклонил голову набок и, любуясь заплатами, тихо поет:

Я туда, сюда ходила,
И везде мне плохо было...

Карп Иванович Букоёмов глубоко вздыхает и, плюнув в потолок, медленно говорит:

— А однако скушно с вами,— черти лиловые...

ТОВАРИЩ!

СКАЗКА

I

В этом городе всё было странно, всё непонятно. Множество церквей поднимало в небо пестрые, яркие главы свои, но стены и трубы фабрик были выше колоколен, и храмы, задавленные тяжелыми фасадами торговых зданий, терялись в мертвых сетях каменных стен, как причудливые цветы в пыли и мусоре развалин. И когда колокола церквей призывали к молитве — их медные крики, вползая на железо крыш, бессильно опускались к земле, бессильно исчезали в тесных щелях между домов.

Дома были огромны и часто красивы, люди уродливы и всегда ничтожны, с утра до ночи они суетливо, как серые мыши, бегали по узким, кривым улицам города и жадными глазами искали одни — хлеба, другие — развлечений, третьи,— стоя на перекрестках, враждебно и зорко следили, чтобы слабые безропотно подчинялись сильным. Сильными называли богатых, все верили, что только деньги дают человеку власть и свободу. Все хотели власти, ибо все были рабами, роскошь богатых рождала зависть и ненависть бедных, никто не знал музыки лучшей, чем звон золота, и поэтому каждый был врагом другого, а владыкой всех — жестокость.

Над городом порой сияло солнце, но жизнь всегда была темна, и люди — как тени. Ночью они зажигали много веселых огней, но тогда на улицы выходили голодные женщины продавать за деньги ласки свои, отовсюду бил в ноздри жирный запах разной пищи, и везде, молча и жадно, сверкали злые глаза голодных,

а над городом тихо плавал подавленный стон несчастия, и оно не имело силы громко крикпуть о себе.

Всем жилось скучно и тревожно, все были враги и виновные, только редкие чувствовали себя правыми, но они были грубы, как животные,— это были наиболее жестокие...

Все хотели жить, и никто не умел, никто не мог свободно идти по путям желаний своих, и каждый шаг в будущее невольно заставлял обернуться к настоящему, а оно властными и крепкими руками жадного чудовища останавливало человека на пути его и всасывало в липкие объятия свои.

Человек в тоске и недоумении бессильно останавливался перед уродливо искаженным лицом жизни. Тысячами беспомощно грустных глаз она смотрела в сердце ему и просила о чем-то — и тогда умирали в душе светлые образы будущего и стон бессилия человека тонул в нестройном хоре стонов и воплей замученных жизнью, несчастных, жалких людей.

Всегда было скучно, всегда тревожно, порою страшно, а вокруг людей, как тюрьма, неподвижно стоял, отражая живые лучи солнца, этот угрюмый, темный город, противно правильные груды камня, поглотившие храмы.

И музыка жизни была подавленным воплем боли и злобы, тихим шёпотом скрытой ненависти, грозным лаем жестокости, сладострастным визгом насилия...

II

Среди мрачной суеты горя и несчастия, в судорожной схватке жадности и нужды, в тине жалкого себялюбия, по подвалам домов, где жила беднота, создававшая богатство города, невидимо ходили одинокие мечтатели, полные веры в человека, всем чужие и далекие, проповедники возмущения, мятежные искры далекого огня правды. Они тайно приносили с собой в подвалы всегда плодотворные маленькие семена простого и великого учения и то сурово, с холодным блеском в глазах, то мягко и любовно сеяли эту ясную, жгучую

правду в темных сердцах людей-рабов — людей, обращенных силою жадных, волею жестоких в слепые и немые орудия наживы.

И эти темные, загнанные люди недоверчиво прислушивались к музыке новых слов — музыке, которую давно и смутно ждало их больное сердце, понемногу поднимали свои головы, разрывая петли хитрой лжи, которой опутали их властные и жадные насильники.

В их жизнь, полную глухой, подавленной злобы, в сердца, отравленные многими обидами, в сознание, засоренное пестрой ложью мудрости сильных,— в эту трудную, печальную жизнь, пропитанную горечью унижений,— было брошено простое, светлое слово:

— Товарищ!

Оно не было новым для них, они слышали и сами произносили его, оно звучало до этой поры таким же пустым и тупым звуком, как все знакомые, стертые слова, которые можно забыть и — ничего не потеряешь.

Но теперь оно, ясное и крепкое, звучало иным звуком, в нем пела другая душа, и что-то твердое, сверкающее и многогранное, как алмаз, было в нем. Они приняли его и стали произносить осторожно, бережливо, мягко колыхая его в сердце своем, как мать новорожденного колышет в люльке, любуясь им.

И чем глубже смотрели в светлую душу сло́ва, тем светлее, значительнее и ярче казалось им оно.

— Товарищ! — говорили они.

И чувствовали, что это слово пришло объединить весь мир, поднять всех людей его на высоту свободы и связать их новыми узами, крепкими узами уважения друг к другу, уважения к свободе человека, ради свободы его.

Когда это слово вросло в сердца рабов — они перестали быть рабами и однажды заявили городу и всем силам его великое человеческое слово:

— Не хочу!

Тогда остановилась жизнь, ибо это они были силой, дающей ей движение, они и никто больше. Остановилось течение воды, угас огонь, город погрузился в мрак, и сильные стали как дети.

Страх обнял души насильников, и, задыхаясь в запахе извержений своих, они подавили злобу на мятежников, в недоумении и ужасе перед силой их.

Призрак голода встал перед ними, и дети их жалобно плакали во тьме.

Дома и храмы, объятые мраком, слились в бездушный хаос камня и железа, зловещее молчание залило улицы мертвой влагой своей, остановилась жизнь, ибо сила, рождающая ее, созпала себя, и раб-человек нашел магическое, необоримое слово выражения воли своей — освободился от гнета и увидал воочию власть свою — власть творца.

Дни были днями тоски сильных, тех, которые считали себя владыками жизпи, ночи — каждая была как бы тысячью ночей, так густ был мрак, так нищенски скупо и робко сияли огни в мертвом городе, и тогда он, созданный столетиями, чудовище, питавшееся кровью людей, встал перед ними в уродстве ничтожества своего жалкой грудой камня и дерева. Холодно и мрачно смотрели на улицы слепые окна домов, а по улицам бодро ходили истинпые хозяева жизни. Они тоже были голодны, и более других, но это было знакомо им, и страдания тела их не достигали остроты страданий хозяев жизни, пе угашали огня их душ. Они горели сознанием силы своей, предчувствие победы сверкало в их глазах.

Они ходили по улицам города, мрачной и тесной тюрьмы своей, где их обливали презрением, где наполняли души их обидами, и видели великое значение труда своего, и это возводило их на высоту сознания священного права быть хозяевами жизни, законодателями и творцами ее. И тогда с новой силой, с ослепительной ясностью встало перед ними животворящее, объединяющее слово:

— Товарищ!

Оно звучало среди лживых слов настоящего как радостная весть о будущем, о новой жизни, которая открыта равно для всех впереди — далеко или близко? Они чувствовали, что это в их воле, они приближаются к свободе и они сами отдаляют пришествие ее.

III

Проститутка, еще вчера полуголодное животное, тоскливо ожидавшее на грязной улице, когда кто-либо придет к ней и грубо купит подневольные ласки за мелкую монету,— и проститутка слышала слово это, но, смущенно улыбаясь, не решалась сама повторить его. К ней подходил человек, каких она не встречала до этого дня, он клал руку на плечо ее и говорил ей языком близкого:

— Товарищ!

И она смеялась тихо и застенчиво, чтобы не заплакать от радости, впервые испытанной заплеванным сердцем. На глазах ее, вчера нагло и голодно смотревших на мир тупым взглядом животного, блестели слезы первой чистой радости. Эта радость приобщения отверженных к великой семье трудящихся всего мира сверкала всюду на улицах города, и тусклые очи его домов наблюдали за нею всё более зловеще и холодно.

Нищий, которому вчера, чтобы отвязаться от него, бросали жалкую копейку, цену сострадания сытых,— он тоже слышал это слово, и оно было для него первой милостыней, вызвавшей благодарный трепет изъеденного нищетой, жалкого сердца.

Извозчик, смешной парень, которого седоки толкали в шею, чтобы он передал этот удар своей голодной усталой лошади,— этот много раз битый человек, отупевший от грохота колес по камню мостовой, он тоже, широко улыбаясь, сказал прохожему:

— Довезти, что ли? Товарищ!

Сказал и испугался. Подобрал вожжи, готовый быстро уехать, и смотрел на прохожего, не умея стереть с широкого красного лица своего радостной улыбки.

Прохожий взглянул добрыми глазами и ответил, кивнув головой:

— Спасибо, товарищ! Я дойду, недалеко.

— Эх ты, мать честная! — воодушевленно воскликнул извозчик, завертелся на козлах, широко и радостно мигая глазами, и куда-то поехал с треском и криком.

Люди ходили тесными группами по тротуарам, и,

как искра, между ними всё чаще вспыхивало великое слово, призванное объединить мир:

— Товарищ!

Полицейский, усатый, важный и угрюмый, подошел к толпе, тесно окружившей на углу улицы старика-оратора, и, послушав его речь, не торопясь, проговорил:

— Собираться не дозволено... расходитесь, господа...

И, помолчав секунду, опустил глаза в землю и тише добавил:

— Товарищи...

На лицах тех, которые вы́носили это слово в сердцах своих, вложили в него плоть и кровь и медный, гулкий звук призыва к единению,— на их лицах сверкало гордое чувство юных творцов, и было ясно, что та сила, которую они так щедро влагают в это живое слово,— непстребима, непобедима, неиссякаема.

Уже где-то против них собирались серые, слепые толпы вооруженных людей и безмолвно строились в ровные линии,— это злоба насильников готовилась отразить волну справедливости.

А в тесных, узких улицах огромного города, среди его безмолвных холодных стен, созданных руками неведомых творцов, всё росла и зрела великая вера людей в братство всех со всеми.

— Товарищ!

То там, то тут вспыхивал огонек, призванный разгореться в пламя, которое объемлет землю ярким чувством родства всех людей ее. Объемлет всю землю и сожжет и испепелит злобу, ненависть и жестокость, искажающие нас, объемлет все сердца и сольет их в единое сердце мира,— сердце правдивых, благородных людей, в неразрывно-дружную семью свободных работников.

На улицах мертвого города, созданного рабами,— на улицах города, в котором царила жестокость, росла и крепла вера в человека, в победу его над собой и злом мира.

И в смутном хаосе тревожной, безрадостной жизни яркой, веселой звездой, путеводным огнем в будущее, сверкало простое, ёмкое, как сердце, слово:

— Товарищ!

СОЛДАТЫ

ПАТРУЛЬ

Над городом угрюмо висит холодная, немая тьма и тишина. Звезд нет, и не видно неба, бездонный мрак насторожился и как будто чутко ждет чего-то... Легкие, сухие снежинки медленно кружатся в воздухе, точно боясь упасть на темные камни пустынных улиц.

Ночь полна затаенного страха; в тишине и мраке, пропитанном холодом, напряглось, беззвучно дрожит нечто угрюмое и щекочет сердце ледяными иглами...

Придавленные тьмой дома осели в землю, стали ниже; в их тусклых окнах не видно света. Кажется, что там, внутри, за каменными стенами, неподвижно притаились люди, объятые холодом и темным страхом. Они смотрят перед собой, не мигая, широко открытыми глазами и, с трудом сдерживая трепет ужаса в сердце, безнадежно прислушиваются, молча ждут света, звука...

А с темных улиц слепым оком смотрит в окна жадный черный зверь....

Целый день в городе гудели пушки, сухо и зло трещали ружья, на улицах валялись трупы, смерть жадно упивалась стонами раненых.

Посредине маленькой площади, где скрещиваются две улицы, горит костер... Четыре солдата неподвижно, точно серые камни, стоят вокруг него; отблески пламени трепетно ползают по их шинелям, играют на лицах, кажется, что все четыре фигуры судорожно дрожат и странными гримасами что-то сказывают друг другу. Сверкая на штыках, пламя течет по металлу, точно кровь; острые полоски стали извиваются, стремятся кверху белыми и розовыми струйками...

На огонь и солдат отовсюду давит тьма...

Один из них, низенький, рябой, с широким носом и маленькими глазами без бровей, поправил штыком головни в костре, рой красных искр пугливо взлетел во тьму и исчез. Рябой солдат стал вытирать штык полой шинели. Высокий, тонкий человек, без усов на круглом лице, сунул ружье под мышку и, вложив руки в рукава шинели, медленно пошел прочь от костра. Солдат с большими рыжими усами, коренастый, краснощекий, отмахнул руками дым от лица и хрипящим голосом заметил:

— А вот ежели накалить штык да в брюхо, какому-нибудь...

— И холодный — хорошо! — негромко отозвался рябой. Голова его покачнулась.

Пожирая дерево, огонь ласково свистит, его разноцветные языки летят кверху и, сплетаясь друг с другом, гибко наклоняются к земле. Белые снежинки падают в костер. Рыжий солдат сильно дышит через нос, сдувая снег с усов. Четвертый, худой и скуластый, не отрываясь, смотрит в огонь круглыми темными глазами.

— Ну и много положили сегодня народу! — вдруг тихо восклицает рябой, раздвигая губы в широкую улыбку. И, еще тише, он медленно тянет: — А-а-яй...

Уныло шипит сырая головня. Где-то очень далеко родился странный, стонущий звук. Рыжий и рябой насторожились, глядя во тьму, огонь играл на их лицах, и уши опасливо вздрагивали, ожидая еще звука. Скуластый солдат не двигался, упорно глядя в огонь.

— Да-а...— сказал рыжий густо и громко.

Рябой вздрогнул, быстро оглянулся. И скуластый вдруг вскинул голову, вопросительно глядя в лицо рыжего. Потом вполголоса спросил у него:

— Ты — что?

Рыжий помедлил и ответил:

— Так...

Тогда скуластый солдат мигнул сразу обоими глазами и заговорил негромко и быстро:

— Вчера пензенский солдатик нашей роты земляка видел... Земляк говорит ему: «У нас, говорит, теперь бунтуют. Мужики, говорит, жгут помещиков... Будто

говорят: ладно, будет вам, попили нашей крови, теперь — уходите... Да. Земля не ваша, она богова, землято. Она, значит, для тех, кто может сам на ней работать, для мужиков она... Уходите, говорят, а то всех пожгем». Вот...

— Этого нельзя! — хрипло сказал рыжий, шевеля усами.— Этого начальство не позволит...

— Конечно-о! — протянул рябой и, позевывая, открыл глубокий, темный рот с мелкими плотными зубами.

— Что делается? — снова опустив голову, спросил скуластый и, глядя в огонь, сам себе ответил: — Ломается жизнь...

Во тьме мелькает фигура четвертого солдата. Он ходит вокруг костра бесшумно, широкими кругами, точно ястреб. Приклад его ружья зажат под мышкой, штык опустился к земле; покачиваясь, он холодно блестит, будто ищет, нюхает между камнями мостовой. Солдат крепко уперся подбородком в грудь и тоже смотрит в землю, как бы следя за колебаниями тонкой полоски стали.

Рыжий зорко оглянулся, кашлянул, угрюмо наморщил лоб и, сильно понизив свой хриплый голос, заговорил:

— Мужик — разве он собака или кто? Он с голоду издыхает, и это ему — обидно...

— Известно! — сказал рябой солдат.

Рыжий сурово взглянул на него и наставительно продолжал:

— Можно было терпеть — он жил смирно. Но ежели помощи нет? И человек освирепел... Мужика я понимаю...

— Ну, конечно! — вполголоса воскликнул рябой, лицо его радостно расплылось.— Все говорят: один работник есть на земле — мужик... И которые бунтуют — тоже так говорят...

Рябой широко обвел вокруг себя рукой и, таинственно наклонясь к рыжему, тихо вскричал:

— Нету никуда ходу мужику.

— В солдаты гонят! — пробормотал скуластый солдат.

Рыжий стукнул прикладом ружья по земле и строго спросил:

— А зачем городские бунтуют?

— Избаловались, конечно! — сказал рябой.— Сколько нашему брату муки из-за них. Голоду, холоду...

— Греха тоже...— тихо перебил скуластый солдат речь рыжего. А он, постукивая прикладом в такт своим словам, настойчиво и жестко говорил:

— Этих всех уничтожить,— батальонный правильно говорил. Которых перебить, которых в Сибирь. На, живи, сукин сын, вот тебе — снег! Больше ничего...

Взбросил ружье на плечо и твердыми шагами пошел вокруг костра.

Скуластый солдат снова поднял голову и, задумчиво улыбаясь, сказал:

— Ежели бы господ всех... как-нибудь эдак... Всех...

Сказал, вздрогнул, зябко пожал плечами, оглянулся вокруг и тоскливо продолжал, странно пониженным голосом:

— Снаружи жгет, а внутри холодно мне... Сердце дрожит даже...

— Ходи! — сказал рыжий, топая ногами.— Вон, Яковлев — ходит.

Движением головы он указал на фигуру солдата, мелькавшую во тьме.

Скуластый солдат посмотрел на Яковлева и, вздохнув, тихо заметил:

— Тошно ему...

— Из-за лавочника? — спросил рябой.

— Ну да,— тихо ответил скуластый.— Земляки они, одной волости. Письма Яковлеву из села на лавочника шли. И племянница у него... Яковлев говорил: «Кончу службу — посватаюсь...»

— Ничего не поделаешь! — сурово сказал рыжий.

А рябой зевнул, повел плечами и подтвердил громко, высоким голосом:

— Солдат обязан убивать врагов, присягу положил на себя в этом.

Яковлев неустанно кружился во мраке, то приближаясь к огню костра, то снова исчезая. Когда раздались

резкие и острые слова рябого, звуки шагов вдруг исчезли.

— Слаб ты сердцем, Семен! — заметил рябой солдат.

— Ежели бы лавочник бунтовал...— возразил Семен и хотел, должно быть, еще что-то сказать — взмахнул рукой,— но рыжий подошел к нему вплоть и раздраженно, хрипло заговорил:

— А как понять — кто бунтует? Все бунтуют!.. У меня дядя в дворниках живет, денег имеет сот пять, был степенный мужик...

Вдруг где-то близко раздался сухой и краткий звук, подобный выстрелу, солдаты вскинули ружья, крепко сжимая пальцами холодные стволы. Вытянув шеи, они смотрели во тьму, как насторожившиеся собаки, усы рыжего выжидающе шевелились, рябой поднял плечи. Во тьме мерно застучали шаги Яковлева, он, не торопясь, подошел к огню, окинул всех быстрым взглядом и пробормотал:

— Дверь хлопнула... а то — вывеска...

Губы у него плотно сжаты. На остром лице сухо сверкают овальные серые глаза и вздрагивают тонкие ноздри. Поправив ногой догоравшие головни, он сел на корточки перед огнем.

— Малов! — сказал рыжий тоном приказания,— ступай за дровами... Там вон,— он ткнул рукой во тьму,— ящики сложены у лавочки...

Рябой солдат вскинул ружье на плечо и пошел.

— Оставь ружье-то... мешать будет,— заметил рыжий.

— Без ружья боязно! — отозвался солдат, исчезая во тьме.

Над костром всё кружатся, летают снежинки, их уже много упало на землю, темные камни мостовой стали серыми. Сумрачно смотрят во тьму слепые окна домов, тонут в мраке высокие стены. Костер догорает, печально шипят головни. Трое солдат долго и безмолвно смотрят на уголья.

— Теперь, должно быть, часа три,— угрюмо говорит рыжий.— Долго еще нам торчать...

И снова молчание.

— О господи! — громко шепчет Семен и, вздохнув, спрашивает тихо и участливо: — Что, Яковлев, тошно?

Яковлев молчит, не двигаясь.

Семен зябко повел плечами и с жалкой улыбкой в глазах, глядя в лицо рыжего солдата, монотонно заговорил, точно рассказывая сказку:

— Гляжу я — лежит она у фонаря, рукой за фонарь схватилась, обняла его, щеки белые-белые, а глаза — открыты...

— Ну, завел волынку! — угрюмо бормочет рыжий.

Семен смотрит на уголья, прищурив глаза, и продолжает:

— И лет ей будет... с двадцать, видно...

— Говорил ты про это! — укоризненно воскликнул рыжий.— Ну, чего язву ковырять?

Семен смотрит в лицо ему и виновато усмехается.

— Жалко мне бабочку, видишь ты... Молодая такая, веселая, видно, была, по глазам-то... Думаю себе — эх, ты, милёна! Была бы ты жива, познакомились бы мы с тобой, и ходил бы я к тебе по праздникам на квартиру, и целовал бы я твои...

— Будет! — сказал Яковлев, искоса и снизу вверх глядя на рассказчика острым, колющим взглядом.

Семен виновато согнул спину и, помолчав, снова начал:

— Жалко, братцы... Лежит она, как спит, ни крови, ничего! Может, она просто — шла...

— А — не ходи! — сурово крикнул рыжий и матерно выругался.

— Может, ее господа послали? — как бы упрашивая его, сказал Семен.

— Нас тоже господа посылают! Мы виноваты? — раздраженно захрипел рыжий.— Иди, как ты принял присягу...—Он снова скверно выругался.— Все посылают народ друг на дружку...

И еще одно ругательство прозвучало в воздухе. Яковлев поднял глаза, усмехаясь взглянул в лицо рыжего и вдруг отчетливо, раздельно спросил:

— Что есть солдат?

Во тьме раздался громкий треск, скрипящий стон. Семен вздрогнул.

— Малов старается, сволочь! — сказал рыжий, шевеля усами.— Хороший солдат. Прикажет ему ротный живого младенца сожрать — он сожрет...

— А ты? — спросил Яковлев.

— Его послали ящик взять,— продолжал рыжий,— а он там крушит чего-то. Видно, ларь ломает, животная.

— А ты — сожрешь? — повторил Яковлев.

Рыжий взглянул на него и, переступив с ноги на ногу, угрюмо ответил:

— Я, брат, в августе срок кончаю...

— Это всё равно! — сказал Яковлев, оскалив зубы.— Ротный заставит — и ты сожрешь младенца, да еще собственного... Что есть солдат?

Он сухо засмеялся. Рыжий взглянул на него, стукнул о камни прикладом ружья и, круто повернув шею, крикнул во тьму:

— Малов! Скорей...

— Озорник он, Малов! — вполголоса заговорил Семен.— Давеча, когда стреляли в бунтующих, он всё в брюхо норовил... Я говорю — Малов, зачем же безобразить? Ты бей в ноги. А он говорит — я в студентов всё катаю...

Семен вздохнул и так же монотонно, бесцветно продолжал:

— А я так думаю — студенты хороший народ. У нас в деревне двое на даче жили, так они — куда угодно с мужиками. И выпить согласны, и объяснят всё... книжки давали читать... Веселые люди, ей-богу. Потом приехал к ним какой-то штатский, а за ним, в ту ночь, жандармы из города... Увезли их всех трех... Мужики даже очень жалели...

Яковлев вдруг поднялся на ноги и, глядя в лицо рыжего солдата неподвижным взглядом — побелевшими глазами,— тяжело заговорил:

— Солдат есть зверь...

Рыжий опустил усы и брови, глядя на Яковлева.

— Солдат есть уничтожитель,— продолжал Яковлев сквозь зубы и тоже выругался крепким, матерным словом.

— Это зачем же ты так? — строго спросил рыжий.

— Мы, Михаил Евсеич, не слыхали никаких этих слов! — просительно сказал Семен.— Это ты, Яковлев, с тоски... так уж...

Яковлев выпрямился и твердо стоял против товарищей, снова плотно сжав губы. Только ноздри у него дрожали.

— Ежели Малов узнает про твои речи, он донесет ротному, пропадешь ты, Яковлев, да! — внушительно сказал рыжий.

— А ты не донесешь? — спросил Яковлев, снова оскалив зубы.

Рыжий переступил с ноги на ногу, взглянул вверх и повторил:

— За такие слова не помилуют... брат!

— Ты — донесешь! — твердо заявил Яковлев, упрямый и злой.

— Мне дела нет ни до чего,— угрюмо сказал рыжий.— Я, значит, обязанность исполнил, а летом в запас...

— Мы все пропали! — вполголоса, но сильно крикнул Яковлев.— Тебе что дядя твой сказал?

— Отстань, Яковлев! — попросил Семен.

— Не твое дело... Хотя бы и дядя...

— Убийца ты, сказал он...

— А ты? — спросил рыжий и еще раз обругался. Спор принял острый, прыгающий характер. Они точно плевали в лицо друг другу кипящими злобой плевками кратких слов. Семен беспомощно вертел головой и с сожалением чмокал губами.

— И я! — сказал Яковлев.

— Так ты — тоже сволочь...

— Губитель человеческий...

— А ты?

— Братцы, будет! — просил Семен.

— И я! Ну?

— Ага! Так как же ты можешь...

— Не надо, братцы!

Сопровождая каждое слово матерной руганью, солдаты наступали друг на друга, один — болезненно бледный — весь дрожал, другой грозно ощетинил усы и, надувая толстые красные щеки, гневно пыхтел.

— Малов бежит! — сказал Семен с испугом.— Перестаньте, ради Христа...

И в то же время из тьмы раздался пугливый крик Малова:

— Михаил Евсеич! Они форточки открывают...

— Стой! — сказал рыжий.— Смирно!

И он заорал во всю грудь:

— Закрыть форточки, эй! Стрелять будем...

Из мрака выбежал, согнувшись и держа ружье наперевес, Малов и, задыхаясь, быстро заговорил:

— Я там,— это,— делаю, а они... открывают окно, слышу. Это — чтобы стрелять меня...

— Имеют право! — глухо сказал Яковлев.

— Ах вы, мать...

Малов быстро вскинул ружье к плечу, раздался сухой треск — раз, два. Лицо солдата было бледно, ружье в его руках дрожало, и штык рыл воздух. Рыжий солдат тоже приложился и, прислушиваясь, замер.

— Э, сволочь! — тихо сказал Яковлев, подбивая ствол ударом руки кверху. Раздался еще выстрел. Рыжий быстро опустил ружье и тряхнул Малова, схватив его за плечо.

— Перестань, ты...

Малов закачался на ногах и, видя, что все товарищи спокойны, смущенно заговорил:

— Ну и паро-од! Православного человека, солдата престолу-отечеству,— из окошка стрелять, а?

— Трус! Почудилось тебе,— раздраженно сказал рыжий.

Малов завертелся, махая рукой.

— Ничего не почудилось! И не трус. Кому же охота помирать? — забормотал он, ковыряя пальцем замок ружья.

— Сами себя боитесь,— усмехаясь, молвил Яковлев.

Замолчали. И все четверо неподвижно смотрели на груду красных углей у своих ног.

— Ну? — сказал рыжий.— Не самому же мне идти за дровами. Яковлев, ступай...

Яковлев молча сунул ружье Семену и, не торопясь, пошел. Малов взглянул вслед ему, погладил ствол ружья левой рукой, потом поправил фуражку и сказал:

— Один он не снесет всего, сколько я паломал, конечно!

И тоже шагнул прочь от костра, держа ружье на плече. Но сейчас же обернулся и радостно объявил:

— Я там целую лавочку расковырял, ей-богу!

У костра остались две свинцовые фигуры и следили, как уголья одевались серым пеплом. Семен погладил рукавом шинели ствол ружья, тихонько кашлянул и спросил:

— Михаил Евсеич! Видит всё это бог?

Рыжий солдат долго шевелил усами, прежде чем глухо и уверенно ответил:

— Бог — должен всё видеть, такая есть его обязанность...

Потом он потер подбородок и, тряхнув головой, продолжал с упреком:

— А Яковлев — напрасно это! Обижать меня не за что! Али я хуже других, а?

Они снова замолчали. Там, во тьме, скрипели и хлопали о землю доски. Семен поднял голову, посмотрел в небо, черное, холодное, всё во власти тьмы...

Солдат вздохнул и грустно, тихо сказал:

— А может, и нет бога...

Рыжий солдат, тяжело подняв на него глаза, грубо крикнул:

— Не ври!

И начал сгребать уголья в кучу сапогом. Но скоро оставил это, не окончив, оглянулся вокруг и, шевеля усами, хрипло проговорил:

— Надо понять — человек я или нет? Это надо понять, а потом уж...

Он замолчал, закусил усы и снова крепко потер подбородок.

Семен взглянул на него, опустил глаза и осторожно, тихонько, но упрямо заявил:

— Однако другие говорят — нет его...

Рыжий не ответил.

Становилось всё холоднее. Снег перестал падать, и, должно быть, от этого тьма стала неподвижнее и гуще.

Вдали дрожал какой-то странный звук, неуловимый, точно тень...

ИЗ ПОВЕСТИ

I

...Вера вышла на опушку леса — узкая тропа потерялась, незаметно сползая по крутому обрыву в круглую котловину.

Омут, в золотых лучах заката, был подобен чаше, полной темно-красного вина. Молодые сосны — точно медные струны исполинской арфы; их крепкий запах сытно напоил воздух и ощущался в нем ясно, как звук. В стройной неподвижности стволов, в живом блеске янтарных капель смолы на красноватой коре чувствовалось тугое напряжение роста; сочно-зеленые лапы ветвей тихо качались, их отражения гладили зеркало омута; был слышен дремотный шорох хвои, стучал дятел, в кустах у плотины пели малиновки, и где-то звенел ручей.

Над черным хаосом обугленных развалин мельницы курился прозрачный синий дым, разбросанно торчали бревна, доски, на грудах кирпича и угля сверкали куски стекол, и что-то удивленное мелькало в их разноцветном блеске. Щедро облитая горячим солнцем, ласково окутанная сизыми дымами, мельница жила тихо угасавшею жизнью, печальной и странно красивой. И всё вокруг мягко краснело, одетое в парчовые тени, в огненные пятна тусклого золота, всё было насыщено задумчивой, спокойной песнью весны и жизни,— вечер был красив, как влюбленный юноша.

На плотине, свесив ноги, сдвинув фуражку на затылок, сидел солдат в белой рубахе, с удилищем в руках; он наклонился над водой, точно готовясь прыгнуть в нее. Длинный гибкий прут ежеминутно рассекал воздух, взлетая кверху, солдат смешно размахивал руками, пятки его глухо стучали по сырым бревнам плотины,— резко белый и суетливый, он был лишним в тихой гармонии красок вечера.

Неприязненно сдвинув брови, Вера напомнила себе: «Бил мужиков».

Но это не вызвало в ней того чувства, которое она должна была бы испытывать к солдату.

«Если подойти к нему, он, наверное, скажет дер-

зость»,— лениво подумала девушка и, сорвав бархатный лист буковицы, погладила им щеку. В следующую минуту она спускалась вниз, черпая ботинками мелкий песок.

— Вот так караси, барышня! — крикнул солдат навстречу ей.— Глядите-ка!

Поднял левой рукой ведро и протянул Вере.

В мутной воде бились толстые золотые рыбы с глупыми мордами, мелькали удивленные круглые глаза. Вера, улыбаясь, наклонилась над ведром, рыба метнулась и обрызгала ей лицо и грудь водою, а солдат засмеялся.

— Здоровенные звери!

Снова закинул удочку, наклонился над омутом, поднял левую руку вверх и замер, полуоткрыв рот. Лицо у него было пухлое, круглое, карие глаза светились добродушно, весело, верхняя губа — вздернута, и светлые усы на ней росли неровными пучками. Над головой его толклись комары, они садились на шею, на щеки, на нос — солдат мотал головою, как лошадь, кривил губы, старался согнать комаров сильной струей свистящего дыхания, а левую руку всё время неподвижно держал в воздухе.

— Эк! — крикнул он, дернув удилище; тело его подалось вперед.

Вера вздрогнула и быстро сказала:

— Вы упадете в воду...

— Сорвался, окаянный! — с досадой и сожалением сказал солдат. Потом, надевая червяка на крюк, заговорил, качая головой:

— Упаду, сказали? Никак! А и упаду — разве беда? Я — с Волги, казанский, на воде родился, плаваю вроде щуки, мне бы во флот надо, а не в пехоту...

Говорил он быстро, охотно, звонким теноровым голосом и неотрывно смотрел в воду подстерегающим взглядом охотника.

Вера почувствовала, что ей грустно и обидно думать, что он сек мужиков розгами.

— Вы из экономии? — спросила она негромко.

— Из нее! — отозвался солдат.— Двадцать три человека пригнали нас, пехоты... Чай, скоро назад погонят,

в лагери — чего тут делать? Всё уже кончилось, смирно стало. А жить здесь не больно весело — мужики глядят волками и бабы тоже... Ничего не дают и продавать не хотят. Обиделись!

Он громко вздохнул.

— Послушайте,— печально спросила Вера,— неужели и вы тоже били их?

Солдат взглянул на нее, покачал головой и невесело ответил:

— Я? Нет... Я — не бил. Я — за ноги держал. Одного — старого, старик древний! Начальство говорит — он самый главный заводчик всему этому делу...

Он отвернулся к воде и задумчиво, но рассудительно добавил, как бы говоря сам себе:

— Чай, поди-ка, это ошибка — что же он может, этакий старичок?

— Вам его жалко? — резко спросила Вера. Добродушие солдата возмущало ее, в ней росло острое желание придавить этого человека сознанием его вины перед людьми.

— А как же? — пробормотал солдат.— И собаку жалко, не токмо человека. Одного когда пороли, плакал он — не виноват, говорит, простите, не буду — плакал! А другой — только зубом скрипит, молчит, не охнул,— ну, его и забили! Встать с земли не мог, подняли на ноги, а изо рта у него кровь — губу, что ли, прикусил он, или так, с натуги это? Даже не понять — отчего кровь изо рта? По зубам его не били...

Теперь солдат говорил тихо, раздумчиво и дергал головой снизу вверх. В его словах Вера не слышала сожаления. Она молча, острым взглядом неприязненно прищуренных глаз, рассматривала солдата, тихонько покусывая губы, искала какое-то сильное слово, чтобы ударить в сердце ему и надолго поселить в нем жгучую боль.

— А рыба-то перестала клевать! — озабоченно и негромко воскликнул он.— Она не любит разговоров, рыба! А может — уж поздно!

Он поднял голову, взглянул на небо и улыбнулся, продолжая:

— Хорош вечерок! Ну-ка еще?

Забросил крючок в омут, посмотрел на Веру и сообщил ей:

— Привычек здешней рыбы не знаю — первый раз ловлю. А у нее разные привычки — тут она так, там — иначе живет. А вот солдату везде одинаково трудно, особливо же пехоте!

— А крестьянам разве не трудно? — сухо спросила Вера.

— Кто говорит — не трудно! — воскликнул солдат, пожав плечами, и со смешной напыщенностью поучительно добавил: — Ну, начали они дерзко поступать, например — усадьбу поджигали, сено спалили, мельницу — это зачем? Авдеев говорит — дикость это, потому как всё есть человеческая работа и надо ее жалеть. Работу, говорит, надо цепить без обиды, а не истреблять зря...

Он пристально взглянул в лицо Веры и строго спросил:

— А вы кто здесь будете?

— Я? Подруга учительницы.

— М-м...

— А что?

— Так. Во время пожара здесь были?

— Нет.

Солдат отвернулся и стал следить за поплавком. Вера почувствовала себя задетой его вопросами, в них явно звучало подозрение. Она решительно опустилась на бревно сзади солдата и выше его и негромко, мягко, но строго заговорила:

— Вы понимаете то, что вас заставляют делать?

Девушка несколько недель агитировала среди рабочих в городе, считала себя опытной, но ей впервые приходилось говорить солдату, ее щекотал острый холодок опасности, это возбуждало.

В начале ее речи солдат молча и удивленно посмотрел на нее и певнятно буркнул что-то, потом он отвернулся к спокойному лицу омута и согнул шею, а спустя минуту громко засопел, обиженно заметив:

— Разве я один?

И взмахнул удилищем слишком резко.

Вера убежденно и горячо говорила о преступной, циничной силе, которая, хитро и расчетливо защищая свою власть, ставит людей друг против друга врагами, будит в них звериные чувства и пользуется ими, точно камнями, для избиения простой и ясной правды жизни, так жадно нужной людям,— правды, о которой тоскует вся тяжкая, больная от усталости и злобы человеческая жизнь.

Солдат бесшумно, не торопясь, положил удилище на черную, засыпанную углями землю плотины и долго сидел неподвижно, глядя вдаль по течению реки, уходившей в лес.

— Авдеев тоже так говорит! — вдруг заметил он и встал на ноги; лицо у него было озабоченное, а глаза суетливо и радостно бегали по сторонам.

— То же самое, как есть! — торопливо повторил он.— Вы подождите! Он сюда придет — за рыбой, вы при нем скажите, а?

Беспокойно оглядываясь, он прижал обе руки к груди, болезненно сморщил лицо и громко чмокнул губами, качая головой.

— Али не чувствуешь? Ах ты, господи! Как же нет? А что делать? Приказывают! Идут на усмирение солдаты, и каждый понимает, куда и для чего. И все злятся, нарочно даже разжигают злость, чтобы забыть себя. Ругают дорогой мужиков — дескать, из-за них, сволочей, шагаем по жаре, от них нам беспокойство. Надо быть злым — приказано!

«Какой ничтожный он!» — невольно подумала девушка, разглядывая солдата недобрыми глазами, и легкость победы была неприятна ей.

— И, конечно, бывает, верно вы сказали, ты идешь усмирять бунт, а дома у тебя — свои бунтуют! У нас в третьей роте саратовский солдатик чуть не помешался в уме — он человека заколол во время бунта, а дома у него старшего брата в каторгу заслали, а младшего засекли, умер, тоже за бунт,— вот вам! Ты бьешь здесь, а твоих — дома, и везде — солдаты! Казаки тоже, ну, казак — он чужой, не русский, дома у него бунта нет, он — другой жизни. А нашему брату каково? Сечешь человека, а думаешь — может, отца твоего теперь тоже секут?

Чай, и мы люди, барышня, а вы вините нас, дескать — звери,— ну, господи же! Уж какой закон, если русский русского бьет насмерть! За это в тюрьму садят. Конечно, народ озлился, помещиков жгет, и это непорядок, а — однако земли-то мужику надобно!?

Слова сыпались из его рта торопливо, он мигал глазами, точно ослепленный, оглядывался по сторонам, махая правой рукой, и топтался на месте, похожий на пойманную рыбу.

— Вот приду я домой,— говорил он,— а к чему приду? Земли у нас с братом три с половиной — как обернешься с ней? У брата двое ребят. Да, скажем, я женюсь, тоже и дети — чего будет?

Всё, что он говорил, казалось Вере эгоизмом мужика и глупостью солдата, она слушала холодно, искала в его словах звуки искренней скорби человека, не находила их, и в ней росло чувство недовольства собой.

«Ну — разбудила я в нем крестьянина, какой же в этом смысл?» — с досадой спросила она себя.

А солдат всё говорил, быстро перескакивая с одного на другое, и было трудно следить за его бессвязною речью.

В лесу родился протяжный, печальный звук.

— Кто-то идет,— сказала Вера, вставая. Солдат замолчал, поднял голову и, глядя в небо, стал слушать.

Лес был наполнен тенями ночи, они смотрели на плотину и воду омута сквозь ветви сосен, уже черные, но еще боялись выйти на открытое пространство.

— Это Авдеев поет,— сказал солдат тихонько. Мягкий голос выбивался из леса и задумчиво плыл в тишине.

— Хорошая песня,— молвил солдат,— Авдеев у нас в роте первый по голосу, только он невеселый. Вот вы ему скажите — он понимает...

Вере хотелось уйти, но она почувствовала, что это будет неловко, и села снова на бревно, усталая и недовольная собой.

Э-эх, да по но-очам она...

Солдат снова вскинул голову, закрыл глаза, неожиданно, вполголоса подхватил замиравшие звуки песни:

Ма-атушка моя родная-а...

И, улыбаясь, заметил:

— И я тоже люблю песни петь...

А из лесу ему ответили грустно и безпадежно:

В поле выходила, ждала-ожидала...

Покачивая головой, солдат одним дыханием протяжно вывел:

Эх, да ожидала сына беглого домой...

На гладкой воде омута появился чуть заметный белый серп луны и гордо засверкала большая звезда.

С конца плотины крикнули:

— Эй, Шамов!

— Эй! — отозвался солдат.

Засунув руки в карманы, медленно шел высокий серый человек. Вера, не видя его лица, чувствовала чужой взгляд, догадывалась о первой мысли идущего при виде ее, и эта мысль была обидна ей.

— Много наловил?

— Много...

— А кто это с тобой?

— Учительша. Вот, браток...

— Здравствуйте! — сказал Авдеев, прикладывая руку к фуражке.

Вера кивнула головой,— мягкий голос прозвучал небрежно и неласково.

Плотная стена сосен медленно подвигалась на плотину, уступая напору теней, а сзади, с другого берега, веяло холодом. Вместе с тьмою сгущалась и тишина, теплый воздух становился влажным, затруднял дыхание, сердце билось тяжело, жуткая неловкость обнимала тело. Быстро, негромко и точно жалуясь товарищу, Шамов говорил, указывая рукой на Веру:

— Вот, видишь ты, подошла она ко мне и попрекает: вы, говорит, зачем людей бьете...

— Угу,— неопределенно буркнул Авдеев, присел на корточки и, засучив рукав рубахи, сунул руку в ведро с рыбой.

— Али, говорит, не видите,— обманывают вас, солдат-пехоту? — обиженно рассказывал Шамов. Голос его

жужжал всё тише и опутывал девушку предчувствием опасности.

— Речи — известные,— хмуро сказал Авдеев, выпрямился, осмотрел Веру с ног до головы, вытирая мокрые руки о свои шаровары так, точно готовился драться.

Она почувствовала, что в голове у нее всё спуталось и она не может понять, как нужно говорить с этим человеком. В его темном лице без усов, с большим носом и резко очерченными скулами, было что-то птичье и хищное. Высокий, с маленькой головой на тонкой шее и большим лбом, из-под которого холодно смотрели синие недобрые глаза,— этот солдат казался стариком.

— Речи известные,— повторил он, и Вера видела усмешку на его лице. Он закашлялся, вздохнул.

— Вот так, брат Шамов, нас, дураков, и обрабатывают...

— Что вы хотите сказать? — спросила Вера. Она ждала, что вопрос ее прозвучит вызывающе и строго, но это не вышло у нее. Почему-то задрожали поги, девушка едва сдержала желание уйти прочь от солдат.

Авдеев опустил голову, харкнул и плюнул под ноги себе.

— Это я не вам говорю, а вот ему, товарищу,— ответил он, не взглянув на Веру, и продолжал: — Наговорят солдату обидного, заденут за сердце, намутят голову, и человек погибнет, сделавшись как пьяный. Крови дать чужим речам он не может, дружбы им не находит, грызут они ему сердце, бередят немую душу,— коли он только запьет, забуянит с этого, то — ладно! Кончается дело карцером или переводом в штрафные. А бывает, что с таких речей начнет человек сам говорить с товарищами что-то,— тут уж его засадят на суд, а то и без суда — в дисциплинарный. Значит, погибнет человек за чужое слово. И даже — ты знаешь — расстреливали нашего брата за бунты, а кто к бунту подбивал — где они? Они — бегают, прячутся...

Солдат говорил негромко, на его лице всё время дрожала хмурая улыбка, она была противна Вере. В ее памяти ярко вспыхнули образы людей, которых она уважала всей силой юного сердца, полного пламенной веры в их скромное мужество, в их готовность на все

муки ради торжества разума и правды. Солдат оскорблял этих людей и ее вместе с ними — в груди ее закипело возмущение.

«Они меня схватят и отведут к начальству»,— мелькнула острая мысль.

На секунду тоска и страх сжали сердце, но раздражающее лицо Авдеева, насмешливый упрек его речи вызвали острое желание проучить человека, который смел издеваться над тем, чего не знал.

— Вы лжете! — с грубостью, несвойственной ей, и неожиданной для себя силой сказала она, мельком взглянув на Шамова, который смущенно почесывал искусанную комарами шею и переминался с ноги на ногу. — Никто не бегает и не прячется, если это нужно для успеха дела. Тех, которые погибли, говоря вам о правде, больше, чем вас... чем людей, которые слышат правду и не верят, не могут понять ее, рабы!

Торопясь сказать возможно больше и сильнее, она почти не видела солдат, в глазах ее поплыл красноватый туман, сердцу не хватало крови, а в груди тихо рос, путая мысли, темный страх.

«Они будут меня бить...»

И за этой мыслью, без слов, голо стояла другая, еще более страшная и обессиливающая. Напрягаясь, чтобы заглушить предчувствия, разрушавшие ее возбуждение, она говорила всё громче, почти кричала и ждала, что в следующую минуту голос ее порвется, слов не хватит и она не устоит на ногах против солдат, немых и неясных, как два серые облака.

— Я сказал, что было,— вдруг прервал Авдеев ее речь,— приходили люди, смущали человека и скрывались — это почему? Я могу думать — значит, когда им тесно жить,— идут они к нам, темным людям, и говорят: вам тоже тесно, давайте вместе дружно разработаем дорогу, чтобы свободно было всем идти. Говорят — всем, а думают — нам! И покуда человек работает с ними — брат, а добились они своего — он им враг... Не человеческое это у вас.

В темноту вечера ворвался тревожный металлический крик, солдат замолчал, и несколько секунд молчания показались Вере невыносимо долгими.

— Идем,— тихо сказал Шамов,— горнист играет...

Авдеев не ответил, он стоял, опустив голову и глубоко сунув в карманы руки. Вера невольно следила за ними, ожидая враждебного движения.

— Это неправда! — сказала она.

— Я так думаю! — возразил солдат, дернув плечами.— Я могу думать так, есть причина...

И, снова усмехаясь, он взглянул на Веру холодным взглядом синих глаз.

— Если вы приносите правду — говорите ее всем, а не одному, не двум,— вот придите да всем нам и скажите сразу — нуте-ка?!

Этот вызов, насмешливый и лишенный веры в честь людей, снова оскорбил Веру. Она выпрямилась.

— Хорошо, я приду!

Шамов громко засопел и быстро сказал:

— Никак нельзя...

Его товарищ вынул одну руку из кармана, поправил фуражку.

— Идем, Шамов. Прощайте, барышня...

Вера шагнула к нему и звенящим голосом крикнула:

— Вы не смеете теперь отказываться! Вы оскорбили людей...

Солдаты двинулись друг к другу. Шамов успокоительно молвил:

— Он пошутил,— господи, что вы?

Но Вера настойчиво и дерзко крикнула:

— Нет, вы должны собраться все вместе, и я приду — слышите?

— Все не такие, как мы,— усмехаясь, заметил Авдеев.

— Мне всё равно! — сказала девушка.

— Идем! — прошептал Шамов.

— Завтра в это время я буду здесь,— продолжала Вера настойчиво и строго.

Она повернулась спиной к солдатам и пошла в лес, оттуда смотрела ночь глубокими и грустными глазами. Девушку снова обнял страх; остановясь, она сказала более ласково и мягко:

— Вы должны прийти, ведь вам хочется верить в хороших людей?

Солдаты шептались о чем-то. Во тьме раздался голос Авдеева:

— Это опасно для вас.

Ей показалось, что он всё еще усмехается своей неверующей усмешкой. И, не найдя, что ответить ему, она негромко повторила:

— Мне всё равно.

Не ответив, солдаты зашагали по плотине, был слышен тревожный шёпот Шамова, потом раздался голос Авдеева:

— Форсит!

Ей захотелось крикнуть: «Негодяй!»

— Не придет...

Поняв, что он нарочно дразнит ее, издевается над нею, она крикнула, почти угрожая:

— Я — приду!

Белое пятно скрылось, проглоченное лесом. Стало тихо и жутко.

Вера поднималась по обрыву, песок под ногами осыпался и сердито шуршал, мешая идти, она хваталась руками за ветви и стволы деревьев, сползала вниз и снова торопливо лезла, не оглядываясь назад, до боли возмущенная и полная жуткого трепета. На верху обрыва она села на песок и, поправляя растрепавшиеся волосы, подумала печально и обиженно:

«Какая я неловкая, глупая. И — боюсь».

По ее щекам потекли слезы, она замерла в тяжелой думе о себе, маленькой и бессильной, о великой правде, которая жила в ее душе, о солдате, издевавшемся над нею.

«Я не могла его зажечь. Не умела, жалкая. А он — понимает что-то... Они не схватили меня — почему?»

Она долго смотрела на черную воду омута, на звезды, ярко отраженные в ней, и сквозь слезы ей казалось, что вокруг нее трепещут странные, бледные искры большого и яркого, повсюду рассеянного огня.

От развалин мельницы пахло дымом. В лесу гулко крикнула сова. По небу тихо плыли облака, белые, пышные, подобные крылатым коням. Ночь склеила

сосны в плотную массу, лес стал похож на гору, и всё вокруг казалось полным напряженною думою о дне и солнце.

II

Вечер был такой же цветистый и ласковый, как вчера, так же краснела тихая вода омута и курили сосны теплым благовонием смол,— только больше дымились развалины мельницы, да в глубине леса кто-то стучал топором, и воздух, принимая удары, гулко ухал. Над водою мелькали голубые стрекозы, плескалась рыба, однозвучно разливался серебряный звон ручья.

Сидя на бугре в душной тени сосен, Вера сумрачно и беспокойно ожидала солдат; песок, нагретый солнцем, излучал теплоту, девушке было жарко, но сойти вниз на плотину не хотелось и не хотелось смотреть туда.

Она плохо спала ночь, целый день думала о солдатах и теперь ощущала нехорошую усталость мозга, тревожную неуверенность в своей силе. Напрягая непослушную мысль, она старалась сложить в уме простую речь солдатам, подбирала сильные, образные слова, но их строй всё время разрывали, вторгаясь в него, посторонние задаче думы и, раздражая, еще более обессиливали.

«Я покажусь им глупой и ничтожной»,— хмуря брови, думала она. Невольно всё ее тело вздрогнуло при мысли о возможности грубого насилия над нею.

«Может быть, они не придут?» — спросила она себя и тотчас же упрекнула за малодушие. Но это не помогло ей — она чувствовала, что темная мысль готова превратиться в уверенность и раздавить ее душу.

— Скорее бы! — тоскливо воскликнула она, боясь, что уйдет, не дождавшись солдат.

Вызывая на помощь остатки самолюбия, еще не совсем убитого страхом, она хотела убедить себя:

«Если я боюсь — значит, не верю...»

И неожиданно для себя закончила свою мысль:

«Тогда, конечно, лучше уйти...»

И встала, уступая силе инстинкта, с которым разум уже не мог бороться.

На плотине появилось двое солдат. Вера поняла, что это вчерашние, они шли быстро, а увидав светлое пятно ее платья на желтом фоне песка, пошли еще быстрее.

Вере показалось, что лицо Авдеева победно усмехается, это укололо ее.

«Не посмели пригласить других... А если придут еще — я скажу им — вот я одна перед вами, меня защищает только правда, которую вы должны знать...»

— Здравствуйте, барышня! — невесело поздоровался Шамов, его товарищ молча приложил руку к фуражке и не взглянул на Веру.

— А еще — придут? — спросила она громче, чем было нужно.

— Придут! — повторил Шамов, вздыхая.

Все трое помолчали, не глядя друг на друга, потом Шамов неровно и беспокойно сказал:

— Пятеро придут, только, видите ли, барышня...

— Оставь, Григорий,— сухо посоветовал Авдеев.

— Нет, я желаю сказать честно! Видите ли, барышня, народ — дикий, то есть солдаты, например... Некоторые даже совсем злой народ! И к тому же голодные мужчины, значит...

— Она это без тебя понимает,— заметил Авдеев и отвернулся в сторону, кашляя.

Вера понимала, но сегодня костлявый солдат раздражал ее еще более, чем вчера, он будил острое желание спорить с ним и победить его, сознание опасности исчезало, сгорая во враждебном чувстве к этому человеку.

— К тому же начальство внушает нам, чтобы хватать,— тихо говорил Шамов.

Вере хотелось сказать:

«Я — не боюсь!»

Но она удержала неверные слова, и это внушило ей доверие к себе, на миг приятно взволновало.

— Когда я скажу вам всё, что надо, вы можете отвести меня к начальству,— сказала она тихо, но внятно.

— Ах, господи! — воскликнул Шамов. — Я не про то...

Вере показалось, что Авдеев искоса взглянул на нее и в его холодных глазах сверкнуло что-то новое.

А Шамов, суетясь, тревожно говорил:

— Только бы, значит, всё обошлось тихо. Я сяду позади вас, барышня, за спину к вам, значит, на всякий случай...

— Какой случай? — строго спросила Вера.

— Ерунду говоришь, Григорий,— заметил ему товарищ.— Зачем зря пугать человека?

И усмехнулся.

— Я ничего не боюсь! — сказала Вера, и теперь это было правдой.

Авдеев кивнул головой.

— Эх,— воскликнул Шамов,— идут уж...

Из леса вышло трое солдат, а за ними еще один — в такт шагу он громко хлестал прутом по голенищу сапога. Все шли не торопясь, казалось, что они крадутся, как большие белые собаки, окружая гнездо зверя. Разговаривали о чем-то, и голоса их звучали негромко, секретно; смеялись, и этот смех подозрительно, тихими прыжками приближался к Вере. Она чувствовала, что бледнеет, ноги в коленях охватила судорога, и на минуту замерло сердце. Но Авдеев смотрел на нее подстерегающим взглядом.

— Это все? — спросила она, чтобы услышать свой голос.

— Должен быть еще один,— ответил Шамов.

Солдаты подошли, остановились,— на всех лицах Вера видела одинаково непрпятно-слащавую улыбку. Толсторожий солдат с короткими черными усами басом сказал:

— Здравия желаем, мамзель!

Вера молча наклонила голову, а он оскалил большие белые зубы.

— Где же мы расположимся? — торопливо спросил Шамов.

Толсторожий жирно засмеялся, его товарищи переглянулись улыбаясь, один из них, рыжеватый, хитро подмигнул Шамову.

Девушка чувствовала себя среди врагов, ее внимание обострялось, она замечала все жесты, взгляды, понимала мысли этих людей и напряженно ждала чего-то от Авдеева, незаметно следя за ним. Он по очереди осмотрел каждого и деловито сказал:

— Идемте под обрыв,— в кустах нас не видно будет.

— Ах, чудак! — крикнул солдат с черными усами. Он, как и Авдеев, тоже всё время держал руки в карманах,— это возбуждало у Веры острое отвращение к нему. Глаза у него были круглые, темные и матовые, он смотрел прямо в лицо неподвижным, мертвым взглядом и всё улыбался какой-то странно снисходительной, поганой улыбкой. Незаметно появился еще солдат, угрюмый, неуклюжий, в серой от грязи рубахе. Он остановился в стороне и смотрел оттуда на Веру исподлобья, заложив руки за спину.

У нее кружилась голова, страстное желание скорее начать и кончить затеянное быстро толкало ее вперед, в густую тень ивняка, на песчаную отмель речки. Рядом с нею шел Шамов, низко наклоня голову.

Пришли, тяжело опустились на землю. Авдеев молча сел рядом с Верой, Шамов сзади и немного сбоку. Его горячее, тревожное дыхание шевелило волосы за ухом девушки, и близость этого человека была приятна ей.

— Ну-с, какими ж делами займемся? —осведомился черноусый, негромко и лениво.

— Погоди, Исаев! — попросил его Шамов.— Сейчас всё это... как следует!

Вера вздохнула. Перед нею плотным полукругом сидели крепкие фигуры мужчин, от них шел запах луку, пота, она видела себя беззащитной, как заяц. По ее телу медленно, как два большие жука, ползали тяжелые глаза Исаева, рыжий солдат что-то шептал в ухо ему, а тот, который пришел последним, чесал себе плечо, громко чмокал и тоже смотрел на нее тусклыми глазами, точно ждал милостыни, но не надеялся, что ее дадут. Другие солдаты зачем-то оглядывались по сторонам, подозрительно прислушиваясь к тишине.

Понимая чувство, которое владело их голодными телами, оскорбленная и униженная этим чувством, Вера

с отчаянием в душе, но громко и горячо начала, не отдавая себе отчета в словах и не веря, что она заставит их слушать себя:

— Солдаты, вы та сила, на которой держится всё зло жизни...

— То есть, как это? — строго спросил Исаев.

Поняв цель его вопроса, она не ответила ему.

— Вы люди, обманутые страшнее других,— обманут весь народ, но вас обманывают хуже...

— Кто это? — спросил рыжий солдат, подмигивая Исаеву.

Тот сказал грубо и громко:

— Объясните, требуем!

А солдат в грязной рубахе встал на колени и, полуоткрыв рот, уставился в лицо девушки взглядом, в котором теперь загорелось что-то жадное.

— Не перебивайте, братцы! — взмахнув руками, попросил Шамов.

— Я объясню вам всё, что знаю,— дрогнувшим голосом сказала Вера.

— А много знаете? — спросил рыжий.

Кто-то противно хихикнул.

Авдеев, нахмурив брови и медленно двигая тонкой шеей, снова по очереди осмотрел солдат.

Несколько секунд все молчали — темная стена взаимного непонимания росла всё выше, готовая каждый миг обрушиться на людей и погасить в них слабые проблески человеческого. Исаев, не торопясь, взял пальцами рукав Вериной кофточки и потянул его к себе, спрашивая:

— Почем ситчик брали, мамзель?

Вздрогнув, она рванула рукой, ее глаза скользнули по тупому и жадному лицу, и страх железным обручем сжал мускулы ее ног. Ей захотелось сделаться маленькой, как мышь, и выскользнуть из кольца враждебных людей; от усилия сдавить себя в крепкий ком необоримо твердых мускулов она почувствовала в теле ноющую боль.

— Не смейте меня трогать! — сказала она неожиданно для себя спокойно и твердо, сознавая, что это спо-

койствие рождено отчаянием.— Когда я скажу вам то, что вы должны знать...

Она не могла договорить — кто-то страшно замычал, засопел, все беспокойно задвигались, она видела, как откровенно обнимают ее голодные глаза. Поняв инстинктом, что ее беспомощность еще более раздражает сладострастие животных, вдруг встала, выпрямилась и громко, нервно заговорила.

Они покачнулись все сразу, подняли головы — ей показалось, что солдаты удивлены смелостью ее, и, внутренно поднимаясь всё выше над ними, чувствуя возможность спасения, Вера осыпала их резкими словами порицания, желая внушить им внимание к ней.

Она говорила каким-то пророческим голосом, неестественно и не похоже на себя, понимала, что так она не овладеет ими, безуспешно напрягала свою волю, но не могла забыть о себе и со страхом слышала, что слова ее звучат холодно и пусто.

Кто-то забормотал:

— Исаев, вот это и значит — против присяги...

— Братцы, разве не верно? — крикнул Шамов, робко спрашивая.

Черный солдат хрипло отозвался:

— Как же верно, если это — к бунту? Ребята, это склонение нас!

— Не допустим! — твердо сказал рыжий, поднимаясь на ноги.

Грязный солдат тоже встал, угрюмо крикнув:

— Подождите, черти!

Вера замолчала, покачнулась, но Шамов поддержал ее, и она услышала его свистящий шёпот:

— Говорил я вам — эх, господи! Авдеев — пропали мы с тобой, ей-богу! Ах, барышня...

Спокойно и вразумительно заговорил Авдеев:

— Не бесись, ребята...

Он встал впереди Веры, закрыл ее своим длинным телом и продолжал:

— Вы поглядите на это дело просто, по-человечески...

— Ты зубы не заговаривай! — крикнул рыжий.

Исаев угрюмо поддержал его:

— Ты, Авдеев, всегда хочешь ролю играть, а сам вроде как сумасшедший...

— Штунда! — насмешливо добавил рыжий.

— Девица, почти ребенок,— ровно и уверенно продолжал Авдеев,— позвала нас и предлагает слушать правду. Нас — шестеро, и каждый в десять раз сильнее ее, а она не боится и даже обещала, когда, говорит, я вам всё, что надо, скажу — заарестуйте и отведите меня к начальству, мне это всё равно!

— Когда она это сказала? — недоверчиво спросил грязный солдат.

— Вчера, мне и Шамову. Поэтому — потому, что не боится она,— надо думать, что и вправду известно ей важное для нас, которое ей дороже, чем ее воля, жизнь. Ведь за такие слова она в тюрьму должна идти, а то и в каторгу, это ей известно, но все-таки и этого не боится. Вот — нападает на нас, вы, говорит, звери — это, конечно, она напрасно, но ведь в глаза говорит, и мы можем доказать ей, что она врет... Но, наверно, не затем она позвала нас, чтобы упрекать, и потому надо прослушать ее до конца концов — пускай говорит, что хочет, мы всё прослушаем и тогда увидим, как надо с ней поступить... Когда нам поп или офицер проповеди свои внушают, поносят нас всяко — мы молчим, хотя их словам цена нам хорошо известна, а она, может, имеет что-нибудь человеческое для нас, и, справедливости ради, давайте слушать, что нам однажды скажет чужой человек, а не начальство...

Его речь, негромкая, холодная и ровная, вызвала у девушки спутанное чувство благодарности и недоверия к солдату, почему-то сконфузила ее и как будто возвратила ей часть утраченной надежды на победу. Его неожиданная помощь немного задела самолюбие и приподняла подавленную страхом веру в людей и в себя.

Из-за плеча Авдеева она видела недовольные, хмурые лица солдат. Исаев широко расставил ноги, его густые брови сошлись над переносицей, губы были плотно сжаты, и пальцы правой руки, сунутой за пояс, нерешительно шевелились.

— Что она может знать? — спросил он угрюмо.

Авдеев сказал:

— А вот — послушаем.

Отодвинулся в сторону и сухо предложил Вере:

— Говорите...

Она оглянула солдат и заговорила мягче, стараясь сказать свои мысли просто, поняв, что нужно поставить себя на одну плоскость с этими людьми и тогда, может быть, они отдадутся доверчиво и полно ее воле. Говорила, постепенно сама поддаваясь влиянию печали и горечи, которыми пропитана жизнь людей, влиянию обид и унижений, которыми, с такой жестокой щедростью, люди награждают друг друга. Теперь, когда она сама была испугана и обижена, люди стали как будто понятнее, менее страшны, и она внутренно подходила к ним, принося с собою уже не гнев и отвращение, а сознание общности несчастия, равенства горя для всех — и для нее среди них,— горя, одинаково позорного и тяжелого.

«Надо всё сказать, что знаю! — грустно посоветовала она себе.— Наверное — последний раз говорю...»

Но скоро посторонние мысли оставили ее, она вся погрузилась в созерцание картин печальной жизни, ей казалось, что она быстро стареет под тяжестью их,— сама впервые, с такой полнотой, почувствовала унизительное положение людей и ясную необходимость для всех вырваться из плена разрушающих душу и тело тугих петель огромной сети жадности, животной злобы и лжи.

— Насчет деревни — верно! — пробормотал кто-то. Вера узнала угрюмый голос грязного солдата.

Были минуты, когда она забывала о слушателях, говоря как бы для себя самой, спрашивая себя и отвечая, проверяла то, что видела, тем, что читала в книгах, и порою останавливалась, пораженная оскорбительными противоречиями жизни с простейшими требованиями справедливости, и снова говорила, страстно протестуя, опровергая, доказывая, вся охваченная чувством гнева, обиды и тоски.

В одну из таких минут невольного молчания она взглянула на солдат — все они смотрели в разные стороны и показались ей теперь более людьми, чем раньше. Видимо, каждый из них грустно думал о чем-то своем, только Шамов упорно следил за нею широко открыты-

ми глазами. Как сквозь мелкий дождь осени или густой туман, она видела перед собою тела людей, брошенные на землю,— они все стали меньше, казалось Вере. Исаев, слушая, качал головой, точно вол в ярме; он смотрел на свою руку, шевеля пальцами, и порою густо и неразумно мычал:

— Конечно... Это так!

А рыжий солдат лег на бок, положил руку под голову, срывая губами листья с ветки ивы, жевал их, морщился и вдруг быстро изменял позу, точно обожженный или испуганный, вскидываясь всем телом.

— Не возись ты, Михайло! — заметил ему Шамов.

— Ступай к чертям! — тихонько пробормотал рыжий.

Кто-то глубоко и тяжело охнул, а в глазах Авдеева разгорался темный огонь, и лицо его еще более похудело.

Вера чувствовала общее внимание к ней, но теперь это не обрадовало ее. И она снова надолго потеряла солдат, перестала их видеть каждого отдельно — перед нею стояло чье-то одно темное, задумчивое, недоумевающее лицо, оно молча слушало и не спорило с волей, подчинявшей его. Она пьянела от возбуждения, ей было теперь одинаково чуждо всё, кроме жаркого желания исчерпать до конца впечатления жизни, возмущение ими, сказать всю правду, известную ей, посеять ее глубоко, навсегда, для вечного роста. Никогда еще мысли ее не были для нее так велики, ценны и красивы, как в этот момент, теперь она любила их с необычайной страстью, и это чувство с одинаковой силой насыщало ее душу и тело горячими волнами гордого сознания своей человеческой ценности — сознания силы противостоять растлевающему влиянию мертвых и уже гниющих форм жизни и способности строить новое, живое, радостное.

Народ встал перед нею, как бесконечная энергия, как первоначальный хаос, и ей казалось, что она, одухотворяя его, создает новый мир разума и красоты.

— В народе — все начала, в его силе все возможности, его трудом кормится вся жизнь, и ему принадлежит право распределять труд свой по справедливости! И мы

до той поры будем несчастны, пока народ не почувствует свое право быть владыкою труда своего...

— Верно! — глухо сказал Авдеев, вдруг вскакивая на ноги.— Разве не верно это, братцы? Умертвляют нас, губят и душу и тело... Учат — убивай людей храбро! За что? За несогласие с порядками жизни. Вредной силе служим мы — верно! Не за ту силу должны мы храбро стоять, которая одолела всех и питается живым мясом человеческим,— за свободную жизнь на свободной земле надо нам бороться! Пришло время, которое требует — вставай, человек, чтобы оказались на земле все, как один,— добрые люди, а не звери друг против друга!

Его лицо потемнело, он так странно качался на ногах, точно его толкало изнутри, голос у него охрип, и солдат вдруг глухо закашлял, широко раскрыв горящие глаза.

Тревожное, но приятное чувство, близкое к радости, постепенно овладевало Верой, от усталости у нее кружилась голова.

— Погоди, Авдеев,— попросил грязный солдат,— пускай она еще поговорит...

Вера улыбнулась ему.

— Я всё сказала!

— Всё! — повторил солдат и вздохнул.— Насчет деревни — хорошо. И всё — хорошо! Так я и думал, всё — верно...

— Вроде сказки! — пробормотал рыжий.— Эх, дьяволы, дьяволы...

— Что с людьми сделано, братцы, а? — спросил Шамов звонко и тоскливо.

Густо легли на землю, выйдя из леса, тени ночи, в черной массе мельницы сверкали огни.

— Смотрите, опять разгорается! — неожиданно для себя и радостно крикнула Вера.

Солдаты посмотрели, кто-то угрюмо сказал:

— Пускай горит, пес с ней! Она третий день курится.

У ног девушки, согнувшись и обняв колена, сидел Исаев, улыбался большой, неумной, доброй улыбкой и бормотал:

— Чисто разделано!

Авдеев молча растирал себе грудь длинными руками, и все остальные тоже молчали. Вере становилось неловко, говорить она уже не могла и не хотела.

— Надо бы еще раз собраться? — вопросительно и невнятно пробормотал Шамов.

— Надо...

Запел рожок горниста — резкий, медный звук беспокойно метался в лесу, точно искал солдат.

— Айда, ребята?! — грустно предложил чей-то голос.

Трое солдат встали с земли, один спросил:

— Когда же?

— Завтра! — ответил Авдеев.

Вера взглянула на него, одобрительно кивнув головой.

Солдаты быстро пошли, разговаривая.

— Это надо слушать скорее...

— Али забыть боишься?

И голоса утопули в темноте.

— До свидания, барышня! —сказал рыжий солдат, уходя.

— Желаю вам всего доброго! — ответила Вера,— ей хотелось сказать много ласковых слов каждому из них.

Солдат быстро обернулся.

— Покорнейше благодарю!

И веселым голосом спросил:

— Исаев, ты что же?

— Сейчас...

Тяжело двигая свое большое тело, он поднялся на ноги и недоуменно сказал:

— А смелая вы, барышня, ей-богу, право!

Шамов тихо засмеялся.

— Чего смеешься? Али — не смелая?

— Как же нет?

— А — смеешься!

— Так я — с радости...

— Вас как зовут?

— Вера.

— А по батюшке?

— Дмитриевна.

— До свидания, значит, Вера Дмитриевна, до завтра

вечером! Смелая вы, ей-богу! И — такая молодая, а уж всё объясняете.

Он протянул ей руку и засмеялся.

— А я думал, что, мол, так это она, с жиру,— для баловства с мужчинами...

— Ну, ладно, ты иди! — тихо сказал Авдеев.— Мы с Шамовым проводим ее до дороги.

— До свидания! — повторил Исаев, повернулся к лесу и крикнул: — Эй! Подождите меня!

Шамов, улыбаясь, заметил:

— Он лешего боится, Исаев-то!

— И боюсь! — сказал тот, широко шагая.— А ты — нет? Эй, ребята!

— Идите и вы! — предложил Авдеев Вере.

Ей показалось, что на щеках у него выступили красные пятна.

«Болен?» — утомленно подумала девушка.

Шамов шел сзади нее и радостно говорил:

— А и боялся я — господи! Главное тут — мужчины они — дикие...

Горячая волна крови хлынула в лицо Веры, она строго спросила:

— Вы защитили бы меня?

— Конечно! — быстро согласился Шамов.— Это конечно...

Но он так сказал это, что девушка не поверила ему. Авдеев же, идя рядом с нею, молчал.

— Вы защитили бы меня? — требовательно повторила Вера, заглядывая ему в лицо.

Он ответил не сразу и спокойно:

— Не знаю этого.

Девушка оглянулась — уже ночь пришла, и маленькие огни в развалинах мельницы горели всё веселее.

— Почему не знаете?

— Почему? — повторил Авдеев.

Остановился у обрыва и заявил:

— Дальше мы не пойдем.

— До свидания! — тихонько сказала Вера.

— Завтра! — улыбаясь, отозвался Шамов.

— Дело это я всё понимаю, до самой глубины его! — вдруг и громко заговорил Авдеев.— Оно должно расти

прямо, без страха. А если кто подался в сторону — кончено! Цены ему нет, и надобности в нем — никакой!

Шамов высунулся вперед и, смеясь, сказал:

— Он — сурьезный у нас...

— Это так! — согласилась Вера, улыбаясь Авдееву.

— Я, может, обидно скажу,— продолжал он,— только я думаю, что слабого человека лучше замучить, чем чтобы он жил. Жизнь его — на соблазн другим, а смерть — на поучение. Людей убивают, чуть они что начнут. Людям нужны примеры, чтобы им не бояться горькой гибели прежде время, не сдавать в силе, чтобы они делали свое дело упрямо. Верующий нужен, неверующий — нет, так уж пускай после него рассказ останется, погиб, дескать, за веру свою; он от слабости своей погиб, а вид такой будет, что за веру.

Вере было жутко видеть зеленый, холодный блеск его глаз, ее пугал фанатизм солдата, и она не находила в себе желания спорить с ним. Авдеев искоса взглянул на нее и сказал мягче, тише:

— Я говорю не только про вас, а так, вообще, потому что так я думаю. Вашу речь не первую слышу — ну, а человеческого не слыхал. Все — внушают, все заставляют — верь не верь, а поступай по-нашему. Каждый внутри себя — начальство для другого, что бы он ни говорил! А тут не внушать надо, надо объяснить так, чтоб уж я сам видел, что для меня нет другого пути, как против всего в жизни — совершенно против всего, как всё против меня в ней поставлено! Вы тоже начали упрекать нас, дескать, звери. Это легко сказать о всяком человеке... Но если мы и звери — почему? И хуже ли других? И можно ли нам, без разума, быть лучше? Всё это надо рассказать людям просто,— для того и слово дано вам, чтобы говорить просто, по-человеческому. У всякого свое сердце, и во всяком сердце человеческое найдется, но только когда все кругом виноваты — каждый хочет оправдаться и потому — врет! Сам свою правду скрывает, сам себя душит — так я думаю...

Он договорил свою речь медленно, задумчиво и протянул Вере руку — сухую и горячую.

— До завтра, значит!

— Прощайте! — сказала она, вздрагивая.

Шамов с улыбкой кивнул ей головой.

— Идем скорее!

И оба быстро пошли по плотине, гулко топая ногами.

Стоя у крутого подъема в гору, Вера провожала глазами две белые фигуры до поры, пока они не скрылись в черноте леса.

На развалинах мельницы торопливо трещал огонь и что-то шипело, как бы уговаривая его — тише, тише... Хитрые языки пламени осторожно ползали по грудам сырого дерева, являясь то там, то тут, и на черной воде омута бегали маленькие красные пятна. Над вершинами сосен поднялась луна, серп ее косо смотрел в омут, и его тусклое отражение тихонько скользило по воде туда, где играл огонь...

МОИ ИНТЕРВЬЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда автор делает предисловие к своей книге, он очень похож на молодого человека, который, входя в церковь, рядом со своей невестой, предупредительно извещает публику:

— Я женюсь для того, чтобы у меня родился рыжий мальчик с голубыми глазами и не менее двенадцати фунтов весу.

Такого рода заявления всегда казались мне несколько самонадеянными. Я — скромен и не скажу ничего подобного. Мне просто захотелось написать веселую, для всех приятную книгу. Я чувствую, что до сего времени немножко мешал людям жить спокойно и счастливо. Останавливая внимание человека на темных сторонах жизни, я запятнал его чистое сердце брызгами жизненной грязи, но теперь сознаю свою ошибку.

И это сознание заставляет меня попробовать — не могу ли я омыть грязное сердце читателя в ручье безобидного смеха?

Вот скромная цель моей книги.

КОРОЛЬ, КОТОРЫЙ ВЫСОКО ДЕРЖИТ СВОЕ ЗНАМЯ

...Слуга, вооруженный длинной саблей и украшенный множеством пестрых орденов, провел меня в кабинет его величества и встал у двери рядом со мной, не спуская глаз с моих рук.

Король отсутствовал, и я принялся внимательно осматривать лабораторию, в которой великий человек тво-

рил дела свои, удивлявшие весь мир. Кабинет его величества представлял собою комнату длиною футов в двести и шириною не менее ста футов.

Потолок был сделан из стекла. У левой стены находился огромный бассейн, в котором плавали модели военных судов. По стене тянулись полки, и на них симметрично стояли маленькие фигурки солдат, одетые в разнообразные формы. Правая стена была сплошь занята мольбертами, на которых стояли начатые картины, а перед ними в пол были вделаны большие куски черного дерева и слоновой кости, расположенные в порядке клавиатуры рояля.

Всё остальное тоже было величественно.

— Послушайте, мой друг,— обратился я к лакею.

Но он громыхнул саблей и возразил:

— Я — церемониймейстер...

— Очень рад,— сказал я,— но объясните мне...

— Когда его величество выйдет и поздоровается с вами,— что вы ему скажете? — спросил он, прерывая меня.

— «Здравствуйте!» — ответил я.

— Это будет дерзко! — внушительно предупредил он меня и стал учить, как нужно отвечать королю.

Его величество вошло крепкими шагами существа, уверенного, что дворец его построен прочно. Величию осанки его величества очень способствует то, что оно не сгибает ног и, держа руки по швам, не двигает ни одним членом. Глаза его тоже неподвижны, какими и должны быть глаза существа прямолинейного и привыкшего смотреть в будущее.

Я поклонился ему, мой спутник отдал честь, его величество милостиво пошевелило усами.

— Чем я могу осчастливить вас? — спросило оно торжественным голосом.

— Я пришел, чтобы испить несколько капель бессмертной влаги из океана вашей мудрости, ваше величество! — ответил я, как меня научили.

— Надеюсь, я не стану после этого глупее? — остроумно заметил король.

— Это невозможно для вас, ваше величество! — почтительно поддержал я его тонкую шутку.

— Так будем говорить! — сказал он.— С Королями следует говорить стоя, но вы можете сесть... если это вас не стесняет...

Я быстро привыкаю к новым положениям и потому — сел. Его величество молча подняло плечи и опустило их. Когда король говорит, я заметил, что язык у него двигается, всё же остальное хранит величавую неподвижность. Оно сделало два шага одинаковой меры в сторону от меня и продолжало, стоя среди комнаты подобно монументу:

— Итак — вы видите пред собой Короля, т. е. Меня. Не каждый может сказать о себе — я видел Короля! Что вы хотите знать?

— Как вам нравится ваше ремесло? — спросил я.

— Быть Королем — не ремесло, а призвание! — внушительно сказало оно.— Бог и Король — два существа, бытие которых непостижимо умом.

Оно подняло руку вверх, вытянув ее вертикально, в одну линию с туловищем, и, указывая пальцем в стекло потолка, продолжало:

— Это сделано для того, чтобы Бог всегда видел, что делает Король. Только Бог понимает Короля, только он может контролировать Его... Король и Бог — творцы. Раз! Два! И Бог создал мир!.. Р-раз! Два! Три! И мой дед создает Германию. А я — совершенствую ее. Я и верноподданный моих предков, некто Гёте,— мы, пожалуй, больше всех сделали для немцев. Может быть, я даже немного более, чем Гёте. Во всяком случае, я несомненно разнообразнее его. Его Фауст, в конце концов, просто человек сомнительной нравственности. Я показал миру бронированного Фауста. Это было понято всеми и сразу, чего нельзя сказать о второй части книги Гёте. Да...

— Вы много времени посвящаете искусству, ваше величество? — спросил я.

— Всю жизнь! — сказал он.— Всю жизнь. Управлять народом — труднейшее из искусств. Чтобы постичь его в совершенстве, нужно знать всё. Я — всё знаю! Поэзия — стихия Королей. Нужно видеть меня на параде, чтобы понять, как я влюблен во всё прекрасное и стройное. Истинная поэзия, скажу вам, это поэзия дисципли-

ны. Ее можно понять только на параде и в стихах. Полк солдат — вот поэма! Слово в строке стиха и солдат в строю — это одно и то же... Сонет — это взвод слов, имеющий целью атаку вашего сердца. В штыки! И в сердце вам вонзается ряд красивых созвучий. П-ли! И ваш ум прострелен десятком метких слов... Стихи и солдаты — это одно и то же, говорю вам. Король — первый солдат страны, Он ее божественное слово, Он же и первый поэт ее... Вот почему я так прекрасно маршируя и легко владею стихом... Смотрите. Ма-ррш!

Его левая нога немедленно поднялась кверху, и вслед за нею правая рука взлетела на уровень плеча.

— Смирррно! — скомандовал король. Нога и рука моментально заняли свои места. Он продолжал:

— Это называется — свободной дисциплиной членов. Она действует независимо от сознания. Взмах ноги уже сам поднимает руку — раз! Мозг здесь не играет никакой роли. Это почти чудесно. Вот почему лучший солдат тот, у которого мозг совершенно не действует. Солдата приводит в движение не сознание, а звук команды... Марррш! Он идет в рай, в ад, куда угодно. В штыки! Он колет своего отца,— если его отец социалист,— мать, брата... это всё равно! Он действует, пока не услышит — стой! Изумительно величественны эти действия без мысли!..

Он вздохнул и продолжал всё тем же ровным и крепким голосом:

— Может быть, я создам идеальное государство... Я или один из моих потомков. Для этого нужно только, чтобы все люди в стране почувствовали красоту дисциплины. Когда человек совершенно перестанет думать, Короли будут велики и народы счастливы. Денег! — командует Король. Все верноподданные выстраиваются в ряд. Раз! — Сорок миллионов рук молча опускаются в карманы. Два! — Сорок миллионов рук протягивают Королю по десяти марок каждая. Три! — Сорок миллионов рук отдают Королю честь, и затем люди молча идут к своим трудам. Разве это не прекрасно? Вы видите — для счастья людей не нужно мозга: за них думает Король. Король способен охватить всю жизнь... К этому я и стремлюсь... Но — пока я один понимаю роль Короля так

глубоко... Не все Короли ведут себя достойно сану. Родные по крови, они не всегда братья по духу. Они должны объединиться все в одну силу. Это очень легко сделать именно сейчас. Следует обратить больше внимания на социализм: в нем есть нечто полезное для Королей. Красный призрак социализма наводит ужас на всех порядочных людей земли. Он хочет пожрать душу культурного общества — его собственность. Короли объединяют всех и всё для борьбы с этим чудовищем и становятся во главе, как древние вожди. Нужно способствовать развитию страха перед социализмом. И когда общество обезумеет — Короли встанут во весь рост. Прошло время, когда Короли давали конституции,— пора уже брать их назад!

Он перевел дух и продолжал; я слушал его и задыхался... от наслаждения мудростью.

— Вот программа всякого Короля наших дней! И когда мой военный флот будет достаточен для того, чтобы предложить эту программу всем Королям Европы, я уверен, они примут ее... А пока я занимаюсь мирным, культурным трудом, совершенствую мой добрый народ. Я овладел всеми искусствами и поставил их на караул к идее божественного происхождения власти Короля. Вы видели мою «Аллею Победы»? В ней муза скульптуры показывает немцам, как много было на земле Габсбургов и Гогенцоллернов. Человек, который дважды пройдет по этому месту взад и вперед — раз-два! раз-два! — уже знает, что все мои предки были великие люди. Это пробуждает в нем гордость Королями своей страны и незаметно делает из него искреннего поклонника королевской власти. Со временем я поставлю статуи предков на всех улицах моих городов. Человек увидит, как много было Королей в прошлом, и тогда признает, что и в будущем ему не обойтись без этого. Скульптура полезна людям, но я первый показал это с такой силой!

— Ваше величество,— спросил я,— почему у большинства ваших предков кривые ноги?

— Их всех делали в одной и той же мастерской надгробных памятников. Но это никому не мешает видеть величие их духа. А вы слышали мою музыку? Нет? Я покажу вам, как я ее делаю.

Он величаво сложил свое прямолинейное тело в форму штыка, сел на стул и, протянув ногу, сказал слуге, который ввел меня:

— Граф! Помогите мне снять сапоги. Так... И носки... Благодарю! Хотя Король не обязан благодарить подданных за услуги... это делается им из вежливости!

Завернув брюки до колен, он согнул шею под углом в сорок пять градусов и внимательно осмотрел свои ноги.

— Я прикажу отлить их из бронзы еще при жизни моей! — сказал он.— Пусть отольют несколько десятков экземпляров для будущих статуй. Ноги Короля должны быть прямы, это верно. Кривые, они могут внушить мысль о несовершенстве Короля.

Он подошел к правой стене, взял в руки кисть и, сделав пол-оборота налево, продолжал:

— Музыкой и живописью я занимаюсь в одно время. Смотрите — в пол вделаны клавиши, а инструмент под полом. Ноты записывает механический аппарат, тоже скрытый под полом. Я рисую картину — раз!

Он провел кистью по полотну одного из мольбертов.

— И топаю ногой по клавишам — два!

Раздался очень сильный звук.

— Вот и всё! — сказал он.— Это очень просто и сохраняет время, которого у Королей всегда мало. Бог должен бы удваивать годы земной жизни вождей народа. Мы все так искренно преданы работе для счастья наших подданных, что вовсе не спешим променять это дело на радости жизни вечной... Но Я всё отвлекаюсь. Мысли Королей текут неустанно, как воды рек. Король обязан думать за всех подданных, и, кроме него, никто не должен делать это... Если ему не приказано властью... Теперь я познакомлю вас с новой пьесой... Я только вчера натопал ее...

Он взял лист нотной бумаги и, водя по нем пальцем, рассказывал:

— Вот шеренга нот среднего регистра... Видите, в каком строгом порядке стоят они? Тра-та-там. Тра-та-там. На следующей линейке они идут в гору, как бы на приступ!.. Идут быстро, рассыпанной цепью... Ра-та-та-та-та! Это очень эффектно. Напоминает о коликах в желудке, потом вы узнаете — почему. Далее — они снова вы-

равниваются в строго прямую линию по команде этой ноты — бумм! Нечто вроде сигнального выстрела... или внезапной спазмы в животе. Здесь они разбились на отдельные группы... десятки ударов! треск костей!.. Эта нота звучит всё время непрерывно, как боль вывиха. И наконец — все ноты дружным натиском в одно место —рррам! ррататам! Бум! Здесь полный беспорядок в нотах, но это так нужно. Это — финал, картина всеобщего ликования...

— Как называется эта штука? — спросил я, сильно заинтересованный описанием.

— Эта пьеса,— сказал король,— эта пьеса называется: «Рождение Короля». Мой первый опыт проповеди абсолютизма посредством музыки... Неглупо? А?

Он, видимо, был доволен собой. Его усы шевелились очень энергично.

— Среди моих подданных было несколько недурных музыкантов и до меня, но теперь Я решил сам заняться этим делом, чтобы все плясали только под мою музыку.

Он пошевелил усами, очевидно, с намерением улыбнуться и, сделав пол-оборота направо, продолжал:

— Теперь смотрите сюда... Как вы думаете, что это такое?

На огромном полотне ярко-красной краской было написано чудовище без головы и со множеством рук. В каждой из них были пучки молниевидного огня. На одном пучке черными буквами было написано: «Анархия», на другом: «Атеизм», третий носил название: «Гибель частной собственности», четвертый: «Зверство»... Чудовище шагало по городам и селам, всюду разбрасывая огненные молнии и зажигая пожары. Маленькие черные люди в смятении и ужасе бежали прочь от него, а сзади чудовища шли ликующей толпой красные люди. Они были без глаз и с ног до головы обросли огненно-рыжей шерстью, подобно гориллам. Художник не пожалел красной краски. Картина поражала глаза своей величиной.

— Ужасно? — спросил король.

— Ужасно! — согласился я.

— Это как раз то, что нужно,— сказал он, и его глаза сделали полный оборот справа налево.— Вы, конечно, поняли мою идею? Ну да,— это социализм. Ви-

дите, у него нет головы, он сеет пороки, распространяет анархию и делает людей животными. Ясно, что это социализм. Вот что значит — работать энергично! В то время как нижняя половина моего тела утверждает идею власти Короля, верхняя занята борьбой с главным врагом этой власти. Никогда еще искусство не исполняло своего долга так ревностно, как в мое царствование!

— Но ценят ли подданные тяжелые труды вашего величества? — спросил я.

— Ценят ли они Меня? — переспросил он, и в голосе его мне послышалась усталость.— Должны бы. Я создал им десятки броненосцев, застроил целые улицы скульптурой, делаю музыку и картины, служу литургии... Но... Иногда Мне приходит в голову грешная мысль... Мне кажется, что подданные, которые любят Меня,— глупы, а умные — все социалисты. Есть еще либералы. Но, как всегда, либералы слишком многого хотят для себя и слишком мало оставляют Королю, хотя тоже ничего не дают народу. Вообще, они только мешают. Лишь абсолютная власть Короля может спасти народ от социализма. Но, кажется, никто не понимает этого...

Он сложился в двух местах правильными углами и сел. Его глаза задумчиво перекатывались в орбитах слева направо, и по всей фигуре разлилась меланхолия. Видя, что он утомился, я поставил ему мой последний вопрос:

— Что еще скажете вы, ваше величество, по вопросу о божественном происхождении королевской власти?

— Всё, что угодно! — быстро отозвался он.— Прежде всего — она непоколебима, и только она одна истинна, ибо она — чудесна! После того, как миллионы народов на протяжении тысяч лет признавали над собой неограниченную власть одного человека,— только одни идиоты могут отрицать ее... это ясно. Я — Король, да, но — Я человек, и если Я вижу, что люди подчиняются моей воле, Я должен признать это чудом... не правда ли? Не могу же Я предположить, что именно эти миллионы — сплошь состоят из идиотов! Щадя их самолюбие, Я хочу думать, что они-то и есть умные люди. Я был бы плохим Коро-

лем, если бы думал так дурно о моих подданных. И так как только Бог может творить чудеса, ясно, что Я избран им для доказательства его силы и моих достоинств. Что можно против этого возразить? Именно здесь скрыта истина, и она тверда, подобно алмазу, потому что за нее большинство...

В его глазах появился влажный блеск удовольствия, но он быстро погас, и его величество вздохнуло, подобно машине военного корабля, выпускающего отработанный пар.

— Не смею задерживать более ваше величество! — сказал я, поднимаясь со стула.

— Хорошо! — милостиво сказал мне вождь великого народа.— Прощайте. Желаю вам... чего бы пожелать вам наиболее приятного? Н-но, желаю вам еще раз в жизни видеть Короля!

Он величаво опустил нижнюю губу и милостиво поднял усы. Я принял это за его поклон и отправился в Зоологический сад посмотреть на умных животных...

Иногда, после беседы с человеком, так страстно хочется дружески приласкать собаку, улыбнуться обезьяне, почтительно снять шляпу перед слоном...

ПРЕКРАСНАЯ ФРАНЦИЯ

...Я долго ходил по улицам Парижа, прежде чем нашел ее. Все, кого я спрашивал — где она живет? — не могли ответить мне определенно.

Один старик, должно быть, шутя, но почему-то со вздохом — сказал мне, пожав плечами:

— Кто это знает? Когда-то она жила во всей Европе...

— В улице банкиров! — грубо сказал рабочий.

— Идите направо! — говорили другие.

Вокруг меня было шумно и немного неудобно. Всюду на площадях — пушки и солдаты, везде на улицах — рабочие. По обыкновению, принятому за последнее время во всех странах, солдаты стреляли вдоль улиц из ружей, конница, размахивая обнаженными саблями, наезжала на людей, рабочие бросали в солдат камнями. В душном

воздухе седого города нервно дрожала злобная брань, разносились резкие слова команды. Кое-где мостовая была выпачкана кровью; люди с пробитыми черепами, сжимая в бессильной ярости свои кулаки, уходили домой; те, которые уже не могли идти, падали на мостовую, и полицейские гуманно тащили их прочь из-под ног лошадей и солдат. На панелях стояли зрители, перекидываясь замечаниями по поводу деталей этой обычной картины жизни христианского города...

Наконец кто-то сказал мне:

— Франция? Направо, у моста Александра III.

Полицейский участок, в котором она жила, представлял собою довольно старое здание, не поражавшее глаза ни роскошью, ни красотой. У двери, в которую я вошел, стояли два солдата в штанах, сшитых из красного знамени Свободы. Над дверью уцелели куски какой-то надписи, можно было прочитать только «Сво... ра... б... а...». Это напоминало о своре банкиров, опозоривших страну Беранже и Жорж Занд. Кругом носился запах плесени, гниения и разврата...

Сердце мое сильно билось. Ведь и я, как все революционеры, во дни моей юности любил эту женщину, которая сама умела любить искренно и много, и так красиво могла делать революции...

Любезно улыбаясь, какой-то человек, весь в черном, напоминая своими манерами маркиза из дорогих сутенеров, провел меня в небольшой полутемный склеп, где я мог любоваться изяществом стиля модерн современной Франции.

Стены этой комнаты были оклеены разноцветными бумагами русских займов; на полу лежали кожи туземцев из колоний, а на них была артистически вытиснена «Декларация прав человека». Мебель, сделанная из костей народа, погибшего на баррикадах Парижа в битвах за свободу Франции, была обита темной материей с вышитым по ней договором о союзе с русским царем. На стенах висели, инкрустированные железом по живому мясу людей, гербы европейских государств: бронированный кулак Германии, петля и нагайка России, нищенская сума Италии, испанский герб — черная сутана католического попа и две его костлявые руки, жадно вце-

пившиеся в горло испанца. Тут же был и герб Франции — жирный желудок буржуа с изжеванной фригийской шапкой внутри его...

Плафон на потолке изображал открытый рот короля Германии, его шестьдесят четыре зуба и грозные усы... На окнах висели тяжелые гардины. Было темно, как всегда бывает в гостиных женщин бальзаковского возраста, еще не потерявших надежду пленять мужчин. Густой смешанный запах фальшивой деликатности и духовного разврата кружил голову и стеснял дыхание.

Она вошла и сквозь ресницы взглянула на мою фигуру глазами знатока мужчин.

— Вы говорите по-французски? — спросила она, отвечая на мой поклон жестом актрисы, которая давно уже перестала играть роли королев.

— Нет, сударыня, я говорю только правду! — ответил я.

— Кому это нужно? — спросила она, пожимая плечами.— Кто это слышит? Правда — даже в красивых стихах — никому не приятна...

Подойдя к окну, она приоткрыла гардину и тотчас же отошла прочь.

— Они всё еще шумят там, на улице? — сказала она недовольно.— Вот дети! Чего им нужно? Не понимаю! У них есть республика и кабинет министров, какого нет нигде. Один министр был даже социалистом,— разве этого мало для счастья народа?

И, капризно закинув голову назад, она добавила:

— Не правда ли?.. Впрочем, вы пришли говорить...

Она подошла, села рядом со мной и, с фальшивой лаской взглянув в мои глаза, спросила:

— О чем мы будем говорить? О любви? О поэзии? Ах, мой Альфред Мюссэ!.. И мой Леконт де Лиль!.. Ростан!..

Глаза ее закатились под лоб, но, встретив зубы немца над головой, она тотчас же опустила их.

Я не мешал ей красиво болтать о поэтах, молча ожидая момента, когда она заговорит о банкирах. Я смотрел на эту женщину, образ которой все рыцари мира еще недавно носили в сердцах. Ее лицо теперь было нездоро-

вым лицом женщины, которая много любила, его живые краски поблекли, стерлись под тысячами поцелуев. Искусно подведенные глаза беспокойно бегали с предмета на предмет, ресницы устало опускались, прикрывая опухшие веки. Морщины на висках и на шее безмолвно говорили о бурях сердца, а зоб и толстый подбородок — об ожирении его. Она обрюзгла, растолстела, и было ясно, что этой женщине теперь гораздо ближе поэзия желудка, а не великая поэзия души, что грубый зов своей утробы она яснее слышит, чем голос духа правды и свободы, гремевший некогда из уст ее по всей земле. От прежней грации и силы ее движений осталась только привычная развязность бойкой бабы, торговки на всемирном рынке. И обаяние великой героини на поле битв за счастие людей она теперь противно заменяла кокетством старой дамы — героини бесчисленных амурных приключений.

Она была одета в тяжелое темное платье, украшенное кружевами, которые напоминали мне об окиси на статуе Свободы в Нью-Йорке и о клочках симпатий, разорванных изменой Духу Правды.

Ее голос звучал устало, и мне казалось, что говорит она только для того, чтобы позабыть о чем-то важном, честном, что иногда еще колет острою иглой воспоминаний ее холодное, изношенное сердце, в котором ныне нет больше места для бескорыстных чувств.

Я смотрел на нее и молчал, с трудом удерживая в горле тоскливый крик безумной муки при виде этой жалкой агонии духа.

Я думал:

«Да разве это Франция? Та героиня мира, которую мое воображение всегда рисовало мне одетой в пламя ярких мыслей, великих слов о равенстве, о братстве, о свободе?»

— Вы невеселый собеседник! — сказала она мне и утомленно улыбнулась.

— Сударыня! — ответил я.— Всем честным русским людям теперь невесело в гостях у Франции.

— Но почему же? — фальшиво улыбаясь и удивленно подняв ресницы, спросила она.— В моем Париже все веселятся... все и всегда!

— Я это видел сейчас на улицах... Так веселятся и у нас в России. Кровавая игра солдат с народом — любимый спорт царя России, вашего друга...

— Вы — мрачный человек! — заметила она с гримасой.— Когда народы требуют всего, что имеет король,— король не должен им отдать и то, что может... Так рассуждали короли всегда. Почему они будут думать иначе теперь? Нужно проще относиться к жизни. Вы не старик еще — к чему уныние? Когда человек способен любить — жизнь прекрасна. Конечно, Николай II — он... как это сказать? Он очень поддается влиянию дурных людей, но — право, это добрый малый... Ведь вот он дал же вам свободу?..

— Мы взяли у него ее ценою тысяч жизней... И даже после того, как она была вырвана из его рук,— он требует в уплату за нее еще и еще крови. Он хочет, чтобы мы отдали назад эту милостыню, которую он подал под угрозой. И вот теперь вы дали ему денег, чтобы он отнял ее...

— Ах, нет! — возразила она.— Он не отнимет, поверьте мне!.. Он ведь — рыцарь и умеет держать слово. Я это знаю...

— Вы понимаете, что дали деньги на убийства? — спросил я.

Она откинула голову в тень, так, чтобы не было видно лица ее. Потом спокойно сказала:

— Я не могла не дать. Он, этот Николай, единственный, кто может мне помочь, когда вот этот рот захочет откусить мою голову.

Улыбаясь, она указала на потолок, где декоративно блестели зубы немца.

— Эта жадная пасть, говоря правду, немножко развращает меня. Но — что же делать? И, наконец, в разврате не всё противно...

— Вам не противно опираться на эту руку, всегда по плечо покрытую кровью народа?

— Но — если нет другой руки? Ведь трудно найти руки короля, чистые от крови народа. Сегодня они таковы — а что будет завтра? Я женщина, мне нужен друг. Республика и азиатский деспот, дружески идущие рядом по земле... конечно, это не красиво, хотя — оригинально,

не так ли? Но вы не понимаете политики, как все поэты... и революционеры... Где политика, там уже нет красоты... Там только желудок и ум, который послушно работает для желудка...

— А вам не кажется, что золотом, которое вы дали этому царю, вы задавили честную славу Франции?

Она посмотрела на меня широко открытыми глазами, усмехнулась и облизнула накрашенные губы кончиком острого языка.

— Вы только поэт! Это — старо, мой друг! Мы живем в суровое время, когда хотя и можно писать стихи, но быть во всем поэтом — по меньшей мере непрактично!

И она засмеялась смехом превосходства.

— Мои Шейлоки сделали, мне кажется, порядочное дело! Они содрали с вашего царя процент, который равен трети его кожи!

— Но ведь, чтоб уплатить такой процент, царь должен будет содрать с народа всю кожу!

— Конечно... то есть — вероятно! Но как же иначе? — спросила она, пожав плечами.— Правительства делают политику, народы платят за это своим трудом и кровью — так было всегда! К тому же я — республика и не могу мешать моим банкирам делать то, что им нравится. Только одни социалисты не в состоянии понять, что это нормально. И всё так просто... Зачем портить себе кровь, восставая против здравого смысла? Мои Шейлоки дали много и должны дать еще, чтобы получить обратно хоть что-нибудь... В сущности, они в опасном положении... если победит... не царь...

Она побоялась сказать то слово, которое сделало ее славу...

— Они могут остаться нищими... И даже если он победит... я думаю, они не скоро получат свои проценты. А ведь они — мои дети, не правда ли? Богатые люди — самые твердые камни в здании государства... они его фундамент. Поэты — это орнамент, маленькие украшения фасада... и можно обойтись без них... Они ведь не увеличивают прочность постройки... Народ только почва, на которой стоит дом, революционеры — просто сумасшедшие... и — продолжая сравнения — можно сказать,

что армия — свора собак, охраняющих имущество и покой жильцов дома...

— А в нем живут Шейлоки? — спросил я.

— Они и все другие люди, которые считают помещение удобным для себя. Но — бросим это! Когда политика невыгодна — она скучна!

Я встал и молча поклонился.

— Уходите? — безразлично спросила она.

— Мне нечего здесь делать! — сказал я и ушел от этой сводни царя с банкирами.

Я не увидел той, которую желал увидеть, я видел только трусливую, циничную кокотку, которая за деньги, неискренно и хладнокровно, отдается ворам и палачам.

Я шел по улицам великого Парижа, который в этот день наемные солдаты — собаки старой жадной бабы — держали в плену своих штыков и пушек, я видел, как французы, за углами улиц, подобно верным псам правды и свободы, молча считали силы своих врагов, готовые смыть своей кровью постыдную грязь с лица республики... Я чувствовал, что в их сердцах рождается, растет и крепнет дух старой Франции, великой матери Вольтера и Гюго, дух Франции, посеявшей цветы свободы всюду, куда достигли крики ее детей — поэтов и борцов!

Я шел по улицам Парижа, и сердце мое пело гимн Франции, с которой я беседовал в темном склепе.

Кто не любил тебя всем сердцем на утре дней своих?

В годы юности, когда душа человека преклоняет колена пред богинями Красоты и Свободы,— светлым храмом этих богинь сердцу казалась лишь ты, о великая Франция!

Франция! Это милое слово звучало для всех, кто честен и смел, как родное имя страстно любимой невесты. Сколько великих дней в прошлом твоем! Твои битвы — лучшие праздники народов, и страдания твои — великие уроки для них.

Сколько красоты и силы было в твоих поисках справедливости, сколько честной крови пролито тобою в битвах ради торжества свободы! Неужели навсегда иссякла эта кровь?

Франция! Ты была колокольней мира, с высоты кото-

рой по всей земле разнеслись однажды три удара колокола справедливости, раздались три крика, разбудившие вековой сон народов — Свобода, Равенство, Братство!

Твой сын Вольтер, человек с лицом дьявола, всю жизнь, как титан, боролся с пошлостью. Крепок был яд его мудрого смеха! Даже попы, которые сожрали тысячи книг, не портя своего желудка, отравлялись насмерть одной страницей Вольтера, даже королей, защитников лжи, он заставлял уважать правду. Велика была сила и смелость его ударов по лицу лжи! Франция! Ты должна пожалеть, что его уже нет: он теперь дал бы тебе пощечину. Не обижайся! Пощечина такого великого сына, как он,— это честь для такой продажной матери, как ты...

Твой сын Гюго — один из крупнейших алмазов венца твоей славы. Трибун и поэт, он гремел над миром подобно урагану, возбуждая к жизни всё, что есть прекрасного в душе человека. Он всюду создавал героев и создавал их своими книгами не менее, чем ты сама, за всё то время, когда ты, Франция, шла впереди народов со знаменем свободы в руке, с веселой улыбкой на прекрасном лице, с надеждой на победу правды и добра в честных глазах. Он учил всех людей любить жизнь, красоту, правду и Францию. Хорошо для тебя, что он мертв теперь,— живой, он не простил бы подлости даже Франции, которую любил, как юноша, даже тогда, когда его волосы стали белыми...

Флобер — жрец красоты, эллин девятнадцатого века, научивший писателей всех стран уважать силу пера, понимать красоту его, он, волшебник слова, объективный, как солнце, освещавший грязь улицы и дорогие кружева одинаково ярким светом,— даже Флобер, для которого правда была в красоте и красота в правде, не простил бы тебе твоей жадности, отвернулся бы от тебя с презрением!

И все лучшие дети твои — не с тобой. Со стыдом за тебя, содержанка банкиров, опустили они честные глаза свои, чтобы не видеть жирного лица твоего. Ты стала противной торговкой. Те, которые учились у тебя умирать за честь и свободу,— теперь не поймут тебя и с болью в душе отвернутся от тебя.

Франция! Жадность к золоту опозорила тебя, связь с банкирами развратила честную душу твою, залила грязью и пошлостью огонь ее.

И вот ты, мать Свободы, ты, Жанна д'Арк, дала силу животным для того, чтобы они еще раз попытались раздавить людей.

Великая Франция, когда-то бывшая культурным вождем мира, понимаешь ли ты всю гнусность своего деяния?

Твоя продажная рука на время закрыла путь к свободе и культуре для целой страны. И если даже это время будет только одним днем — твое преступление не станет от этого меньше. Но ты остановила движение к свободе не на один день. Твоим золотом — прольется снова кровь русского народа.

Пусть эта кровь окрасит в красный цвет вечного стыда истасканные щеки твоего лживого лица.

Возлюбленная моя!

Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои!

РУССКИЙ ЦАРЬ

...В Царском Селе принимают не очень ласково, но оригинально.

Как только я вошел — меня окружила толпа жандармов, и руки их тотчас же с настойчивой пытливостью начали путешествовать по пустыням моих карманов.

— Господа! — любезно сказал я им,— я знал, куда иду, и не взял с собой ни копейки!..

Но они не обратили на эти слова ни малейшего внимания, продолжая ощупывать мое платье, обувь, волосы, заглядывая мне в рот и всюду, куда может достигнуть глаз человеческий. Приемная, в которой происходило это исследование, была убрана просто, но со вкусом: у каждого окна стоял пулемет, дулом на улицу, перед дверью — скорострельная пушка, у стен — стойки с ружьями. Обыскивали артистически, видно было, что люди занимаются делом не только знакомым, но и любимым. Я вертелся в их руках, как мяч. Наконец один из

них отступил от меня шага на три в сторону, окинул мою фигуру взглядом и скомандовал мне:

— Раздевайтесь!

— То есть — как? — спросил я.

— Совершенно! — категорически заявил он.

— Благодарю вас! — сказал я.— Если вы хотите меня мыть — это лишнее, я брал сегодня ванну...

— Без шуток! — повторил он, прицеливаясь мне в голову из револьвера. Это нисколько не удивило его товарищей, напротив — они тотчас же бросились на меня и в один миг сняли с моего тела платье, точно кожу с апельсина. Начальник их снова молча и тщательно осмотрел мое тело, и когда, наконец, все убедились, что со мной нет бомбы и я обладаю шеей, вполне удобной для того, чтобы повесить меня,— сказали мне:

— Идите!

— А... одеться можно?..

— Не нужно!

— Но, позвольте...

— Не рассуждать! Марш!

Двое из них, обнажив сабли, встали у меня с боков, третий пошел сзади, держа револьвер на уровне моего затылка. И мы молча пошли по залам дворца.

В каждом из них сидели и стояли люди, вооруженные от пяток до зубов. Картина моего шествия была, видимо, привычной для них,— только один, облизывая губы, спросил у моих спутников:

— Пороть или вешать?

— Журналист! — ответили ему.

— А... значит вешать! — решил он.

Меня провели в большую комнату без окон и с одной дверью, той, в которую я вошел. В потолке горела матовая лампа, обливая комнату ровным, мутным светом. Под лампой стояла небольшая пушка, и, кроме нее, в комнате не было ничего. Эта скромная обстановка на месте роскоши, которую я ожидал встретить, не понравилась мне. В ней было что-то унылое, что-то отягчало душу мою невеселыми предчувствиями.

— Нечего здесь рассматривать! — заметил мне конвойный с револьвером.

— Я вижу...— ответил я.

Мои конвоиры крепко привязали меня животом к дулу пушки, но руки оставили свободными. Затем один из них прицепил к замку пушки шнурок электрического провода с сонеткой на конце, отнес его к стене комнаты впереди меня и там положил на пол. Его товарищи ощупали веревки, соединявшие меня с дулом.

— Руки вверх! — скомандовали мне.

Я поднял руки. Все трое обошли вокруг меня и исчезли. Заскрипела дверь сзади меня. Кто-то спокойно сказал:

— Готово!

Наступила тишина. Я чувствовал, как на голове у меня растут волосы. Сталь пушки, упираясь мне в живот, распространяла по всему телу дрожь холода. Голые стены с трех сторон угрюмо смотрели на меня. Я думал:

«Неужели это последнее мое интервью?»

И мне становилось скучно при этой мысли. Мне захотелось опустить руку и погладить сталь пушки, как гладят собак...

Но в это время, под полом, впереди меня, раздался странный шум — как будто кто-то вздыхал глубоким вздохом усталости. Один из квадратов пола вдруг исчез, в отверстии явилась небольшая рука и быстро схватила сонетку. И вслед за нею передо мною выскочил из-под пола, как пробка из бутылки, сам русский царь со всеми своими титулами и весь в железе.

От неожиданности я вздрогнул, и руки мои опустились.

— Руки вверх! — раздался тревожный голос царя.

Я увидел, что палец его готов нажать кнопку сонетки, и мои руки взлетели к потолку, подобно крыльям мельницы под ударом вихря.

— Вот так! — сказал царь, и на лице его отразилось нечто подобное улыбке.— Когда Мы видим руки подданного около карманов, Нам кажется, что он хочет бросить в Нас бомбу, даже тогда, когда он намерен дать Нам рубль...

— Ваше величество! — сказал я,— со мной нет карманов...

— Да, да! Мы видим,— ответил он,— но всё же дер-

жите руки вверх... Люди стали изобретательны, как и злы...

— О да, ваше величество! — искренно согласился я.

— Вас не очень стесняют эти маленькие предосторожности, принятые для охранения Нашей жизни? — спросил он.

— Нет! Не беспокойтесь, пожалуйста!.. Я привык...— отвечал я ему, не сводя глаз с его пальца, лежавшего на кнопке сонетки. Ничтожное движение одного сустава — и мне в желудок высыплется из жерла пушки штук триста картечи. Ожидая каждый миг такого угощения — невольно делаешься галантным.

— Как видите — Нам самим не очень удобно, но Наш долг перед Богом приказывает Нам страдать! — сказал он, грустно качая головой.

Весь с головы до ног закованный в броню, подобно древнему рыцарю, он, как все властители народа в наши дни, сидел на троне из штыков. Но костюм его был слишком тяжел, и трон не казался прочным. При неосторожных движениях царя штыки колебались, угрожая развалиться, и он неловко балансировал на них.

— Мы читали ваше интервью с Василием Федоровичем, королем Германии и братом Нашим,— заговорил царь, мечтательно полузакрыв глаза.— Вот король! Он король даже тогда, когда у него расстроен желудок... А Мы не можем сказать это про себя! — вздохнув, прибавил он и поднял наличник шлема тщательно вымытой левой рукой, потом достал откуда-то из-под брони бумажку и, бегая по ней глазами,— заговорил:

— Ум человеческий — убийца богов и королей — имеет в короле Германии непобедимого соперника... Да, это король! Он твердо знает, что верною подругой вождей народа всегда была богиня Глупости...

— И лжи, ваше величество! — добавил я.

Он взглянул на меня и сухо произнес:

— Речь Царя не должно прерывать!.. Да, вы хорошо, правдиво написали о короле Василии Федоровиче... Однако это не дает вам права перебивать Наши речи... Всякий должен знать свое место!.. Царь — на троне, подданный — у его ног. Но — не смущайтесь этим замечанием — Мы понимаем, что вы не можете припасть к На-

шим ногам... И знаем Мы,— прибавил он, вздохнув,— что прошло то время, когда подданные бросали к ногам королей свои сердца... как рассказывают об этом придворные историки... Но придворные историки стали непопулярны в народе... вот где ясно виден вред грамотности!.. Подданные швыряют в ноги Царей всякую дрянь... Это называется прогресс техники!.. Сколько силы воли и мудрости должны иметь Цари, чтобы задерживать течение времени, чтобы вводить поток мыслей в русло почтения и страха пред Богом и Царем...— Он вздохнул, тревожным жестом поднял руки к лицу и, прищурив глаза, внимательно осмотрел их, двигая пальцами. Ноздри его нервно вздрагивали, точно обоняли какой-то острый, колющий запах.

Лицо царя совсем не поражало величием. Это было лицо человека прежде всего болезненно трусливого, а потом уже злого и неумного...

Его руки бессильно упали, обе сразу, на его колена — железо налокотников задело о броню, наполнив комнату холодным, резким звуком. Царь вздрогнул, оглянулся и продолжал, скользя глазами по бумажке:

— Вот, говорят, что руки у Царя всегда в крови народа... Какая ложь! Как это можно видеть? Ведь Мы не сами льем эту кровь?.. К тому же Мы каждый день, раз по пяти — а иногда и больше — моем руки в воде, горячей и с духами, чтобы даже запах крови был не слышен... да! О! Как бы Мы хотели, чтоб кто-нибудь поведал миру правду о Нас. Благодаря дурацкой болтовне газет, Европа к Нам относится предубежденно и несправедливо... Никто не знает, как искренно тревожит Нас судьба народа Нашего... как жжет Нам сердце мысль, что он, народ, самим Богом отданный во власть Нам,— ныне восстает против Бога, отрицая власть Царя.

— Я могу правдиво повторить всё, что вы скажете, ваше величество,— предложил я.

Он внимательно посмотрел на меня и красноречиво указал глазами на сонетку в своей руке.

— Да, вы поставлены в такое положение, в котором можно говорить только правду!

И, вынув из-под брони бумажку, стал читать по ней:

«В газетах пишут, что Мы убиваем невинных десят-

ками и сотнями,— неправда это, как всё, что напечатано в газетах и десять лет тому назад, вчера, сегодня и даже завтра и через год в них напечатают, всё это ложь и будет ложью, если не послужит во славу доброты и мудрости Царя России. Европа Нас считает деспотом, тираном, злым гением России, чудовищем, которое сосет ее живую кровь и гложет мясо русского народа»...

Он замолчал, читая про себя, потом пожал плечами и вполголоса заметил:

— Зачем он это написал? Дурак!.. Гм... да, вот где начало...

«...Разумным людям всем известно, что всякий честный Государь, власть над народом получивший с неба из рук Владыки мира,— обязан сохранять свой Божий дар во что бы то ни стало. А для сего Царям необходимо и убивать и вешать всех, кто дерзновенно отрицает святое право Царской власти над жизнью и имуществом людей. Царь, как наместник Бога на земле, есть верный пастырь своего народа. Источник мудрости, дарованной от Бога,— Он должен охранять сердца людей от вредных мыслей, которые в них сеет дьявол. Для всякого Царя необходимо, чтобы народ его был целомудренно наивен и всё, что вытекает из смысла Царской власти, он принимал как милость, ниспосланную с неба,— молитвенно, покорно и безмолвно»...

Царь прервал чтение, закрыл глаза и, улыбаясь довольною улыбкой, с минуту помолчал. Потом вздохнул с наслаждением и воскликнул:

— Как хорошо написал, бестия! Большой талант — чужие мысли излагает так, как будто бы он с ними родился!.. Да, недаром из полка его прогнали за шулерство... каналью!..

— Могу я узнать, ваше величество, кто автор этой поэмы? — спросил я у царя.

— Один жандармский офицер... большой прохвост... как, впрочем, все жандармы из поэтов... Мы хотели прочитать эту речь перед Думой, как Нашу тронную... но Нам сказали, что поэзии в политике — не место. Притом же эти члены Думы — народ покуда еще дикий, неприрученный... глядят, как волки, и, видимо, совсем не по-

нпмают, что значит — Царь! Все они — ребята, довольно прилично одетые, но не имеют орденов и потому — неблаговоспитанны. Со временем Мы, может быть, дадим им ордена... если это поможет им исправить свои недостатки. Мы все-таки сказали им речь, написанную кратко и доступно для их ума одним лакеем Нашим... Лакеи — самый верноподданный народ; воруют — много, но престолу служат — как лакеи. Потом хотели Мы их разогнать из Думы, но Нам министры отсоветовали,— рано, говорят... Наш Трепов, как искренний радикал, рекомендует расстрелять их... но с этим можно не торопиться, Мы думаем... Теперь Мы через вас пускаем эту речь в печать, чтобы весь мир знал правду о вожде русского народа. Будем продолжать... Где Мы остановились... «молитвенно, покорно и безмолвно»... ага! Попробуем читать на память...

Он закрыл глаза и продолжал:

«Мы повелели убивать» — не то! Забыл... «Мы убивали народ без счета» — нет, не так! Речь без бумажки трудно говорить!.. К тому же Нам теперь необходимо говорить ритмической прозой — она лучше затемняет смысл речи и придает ей величие... А научиться этому трудно. Ну... продолжаем:

«Доверенный Владыки неба по управлению народом на земле, Царь должен быть и строг и грозен, но — справедлпв. Молва о том, что будто Нами, Царем России, какие-то „невинные“ убиты,— конечно, клевета. Мы лично никого не убиваем, Нам некогда заняться этим делом... Рука Царя не обладает ни временем, ни силой для истребления народных масс. Крестьяне и рабочие в России убиты солдатами и казаками. Солдаты и казаки, Мы полагаем, прекрасно видят, кто прав, кто виноват: убитые — их братья и отцы. По долгу службы избивая своих родных, они, наверно, знают, кто должен быть убит, кто изувечен, кто — только разорен... И, наконец,— невинно убиенный, он — в рай идет! Зачем же тут кричать о зверствах, преступленьях... и прочее? Не всякий может в рай попасть так дешево и быстро, как верноподданный Царя России, наместника Христова на земле и сына православной церкви... И — далее: что значит для страны с таким огромным населением

хотя бы миллион убитых? А Мы за целый год трудов по укрощению народной воли убили меньше полумиллиона... И все-таки газеты всей Европы кричат, что Мы — тиран, Мы — изверг... Нас в Италию социалисты не пустили, предполагая освистать... Свистать Царю! Да разве это плохой актер? Вы позабыли, как недурно Мы играли роль доброго Царя и Миротворца почти пять лет? И вся Европа — верила, что Мы действительно „добрый малый"...»

Здесь царь остановился, подумал и сказал, нахмурив брови:

— Ну, это лишнее... Как смеет он, Наш подданный, оправдывать деяния своего владыки? Осел!.. И почему он тут поставил многоточие? Поэт, а знаки препинанья неверно ставит... идиот!.. Дальше...

«Армяне на Кавказе перебиты руками верноподданных татар? Но этому событию был придан вид вражды национальной, и — нужно было верить, что так оно и есть, что это — правда. Но как могло случиться, что армяне и татары, века проживши вместе, как друзья, вдруг сделались непримиримыми врагами? Что ж тут мудреного? Ведь и землетрясенья бывают тоже вдруг... Когда султан турецкий заставил курдов и своих солдат уничтожать армян — их уничтожили десятки тысяч, а шуму было меньше... Подумайте,— ну где тут справедливость? Евреев перебили? Но — ведь не всех же! И потом: причина избиенья евреев лежит в прогрессе христианства. Сознавшие себя детьми Христа и православной церкви — немедленно же начинают истреблять евреев за то, что не хотят они признать за истину учение Христово о милосердии и о любви ко всем. Это ясно для каждого, кто не социалист. Идею христианства годами долгими в народе развивали чиновники, шпионы и попы, и вот — идея эта дает свои плоды... Причем тут Мы? Еще писаки дерзкие Нам ставят в вину кровавый день... Девятого января»...

Царь замолчал и, прочитав про себя несколько строк, недовольно заметил:

— Он снова не выдержал ритма... какая небрежность! Это надо заметить. У вас нет карандаша? — обратился он ко мне, но тотчас же вскричал:

— Не надо! Не надо! Руки... не двигайте руками!

Он отметил неправильность ритма речи ногтем на бумажке и продолжал:

«Но обвинять Царя за это»... гм!.. болван! «за это дело — разумный человек не должен. Мы — Царь. И если Мы велели стрелять в народ, то, значит, у Нас причины были — стрелять. А если бы Мы пожелали беседовать с народом, то Мы бы стали беседовать. Надеемся, что это ясно! Народ не должен забывать, что в руки Царские Господь вложил не только скипетр и державу, но также меч, то есть штыки и пушки».

Царь остановился и сказал:

— Здесь он забыл о пулеметах... вот бестия рассеянная! Штыки, и пушки, и пулеметы... да...

«Употреблять сии орудия войны и мира Царь может, как Он хочет, а потому Девятым января колоть глаза Нам незачем. Мы правы всегда. Мы, может быть, и Сами не понимаем, зачем перестреляли в этот день так много верноподданных... но то, чего не понимает Царь,— понятно Богу. Царь лишь орудие в его святых руках, как человек — орудие в руках земного Бога, то есть Царя. И всё, что недоступно порою разуму Царя, должно быть признано внушеньем Бога, а то, чего не понимают люди, понятно только разуму Царя»...

Николай II поднял голову, увенчанную тяжелым шлемом, тщательно осмотрел руку, вытер пот со лба и сказал, щелкнув пальцем по бумаге:

— Вы подумайте над этим! Гора мудрости! Мы даже Сами не можем уловить здесь смысла... но чувствуем, что это превосходно! Каналья, написавшая такую речь, будет министром внутренних дел, вы увидите. Он еще молод теперь, но уже состоит на содержании у двух старых графинь и одной балерины, близкой к Нашему двору... Но — вы не вздумайте сообщать газетам и эти интимные подробности!.. Это Наше частное дело... слышите?

— Ваше величество,— сказал я,— у меня опускаются руки!

— А вы можете двигать ими?

— Не могу...

— Опустите их... Однако если хоть одна рука у вас пошевелится,— заранее прошу Нас извинить! — но Мы лишим вас живота! Жизнь Наша нужна русскому народу, он так дорого платит за нее!.. Кончим речь... Где Мы остановились? Да, вот...

«Вот краткий список Наших скромных дел, которые газетчики раздули до размеров преступлений Ивана Грозного и прочих государей, несчастие которых было в том, что подданные их не признавали всей необъятной власти, ниспосланной от Господа царям. Всё остальное, что Мы совершили, ничтожно, и не стоит вспоминать о тех деяниях, без коих власть Царская не может быть крепка, народы счастливы и мирны... Так, например, от время и до время необходимо расстрелять рабочих, дабы убить их подлые мечты о главенстве рабочего народа над обеспеченным и праздным людом, опорой государства. Крестьяне требуют, чтоб их порою секли или стреляли в них из ружей. Это должно их убедить, что Государь не забывает и о них, что пред Его лицом — все равны! Купцы, дворяне, духовенство, рабочие и мужики в Моей демократической стране — все равные права имеют пред законом на штык и петлю. А мы имеем право гордиться этим. Мы Нашу речь закончим напоминанием о том, что только Бог, помазавший Царя на царство, имеет власть судить Его дела»... Вот и всё! Кратко, сильно, всем понятно... Вы запомнили?

— Да,— ответил я.

Николай II поднял палец кверху и продолжал:

— Но, после всего сказанного, Мы все-таки конституционалист...

Он вздохнул.

— Потому что абсолютному монарху теперь никто не дает денег... Вот Мы завели у себя парламент... Н-да! С этим можно помириться... если члены парламента будут, как Мы им приказали, ревностно служить отечеству и немедленно же увеличат налоги... Но они, кажется, не понимают своих ролей...

Он вытащил откуда-то еще бумажку и сообщил по ней:

«В чем смысл истинной конституции? В том, что между Царем и народом встают несколько десятков людей и вся тяжесть ответственности за управление народом, которая падала на голову монарха, отныне падает на головы этих господ». Это должны быть твердые головы... и эластичные спины. Ибо, когда бьют по голове,— нужно быстро наклониться... Мы это знаем...

— Вы о японской шишке вспомнили, ваше величество? — спросил я.

— Япония? — сказал он гордо.— Будь у Нас деньги, хорошая армия и талантливый полководец — Мы отплатили бы Японии за эту опухоль на Нашей голове... Да, так вот... Дума... Если она намеревается вести себя и впредь так дерзко, как начала... от нее не будет пользы отечеству!.. Мы разгоним ее штыками Нашей доброй гвардии...

— Но, ваше величество, народ...— начал я.

Он перебил меня, подняв палец кверху, и вытащил еще бумажку из-под шлема. Он был набит бумажками, как поросенок кашей.

«Народ есть воск в руках Царя — и только! Против народа, который дерзнет встать на защиту Думы,— у Нас есть верноподданные, которые покажут Нам преданность свою Царю... Татары уже испорчены влиянием враждебных Нам веяний... но у Нас есть калмыки, башкиры и киргизы... Стоит им позволить, и они начнут и жечь, и грабить, и убивать не хуже казаков. Всё это примет вид внезапно вспыхнувшей вражды племен и даст Нам право сказать Европе: «Когда Мы были неограниченным монархом — Мы своею сильною рукой умели сдерживать инстинкты дикие, а конституция ослабила узду — и вот, смотрите, к чему ведет свобода, которой жаждут всегда и всюду одни бунтовщики! Отсюда — простой и ясный вывод: Россия слишком некультурна и дика для европейских форм правленья, она может благоденствовать только под скипетром Царя, в руках которого — сосредоточена вся власть... Покуда существует вера в Бога — абсолютизм Царя всегда докажешь, покуда существуют дикари — Царь власть свою сумеет и поддержать и доказать»...

Он замолчал, кротко улыбнулся мне и сказал:

— Мамаша и Победоносцев — они Нас прекрасно обучили думать по-царски!.. К тому же Нам помогут... великие князья, придворные... а сколько губернаторов, чиновников, воров, убийц, шпионов при конституции останутся без дела! Они ведь понимают, что для них законность и порядок — петля. И разве можно ожидать, что эти люди пойдут с народом против Царя? Нет, Мы еще поцарствуем немножко.

Он даже развеселился, но это не сделало его лица красивее и не прогнало тревогу из беспокойных глаз.

— Но, ваше величество, а где же вы возьмете денег?

— Деньги? Деньги достанет Дума. Под это учреждение дают в Европе по восемьдесят восемь за сто, хотя оно не стоит и десяти, Нам кажется...

— А если Думу вы разгоните?

— Тогда продам Василью Федоровичу — Польшу... Быть может, Францию ему Мы продадим, когда она не станет давать Нам денег... Зачем она тогда, не правда ли? Кавказ продать полезно... Он очень много Нам стоит, но ничего не дает, всё только беспокойства, восстания, бунты... Сибирь — американцы купят,— ссылать людей в Архангельск можно, там очень много места для этого. Прохладно и пустынно... Россию можно округлить, подобно яблоку, и так зажать ее в кулак, что она наконец успокоится...

Он замолчал, задумался. Его бледные губы вздрагивали, пальцы рук шевелились, как ножки паука, а глаза всё бегали по стенам, и уши двигались, как уши кролика.

— Быть может, Мы уступим для начала... Да, может быть! Нам многие советуют, чтобы Мы дали им немного из того, что они просят... И когда они начнут делить подачку — тогда Мы нападем на них врасплох... и руки Наших верноподданных сумеют вырвать языки из глоток этих дерзких болтунов, которые считают, что воля безграмотного и голодного народа превыше воли Самодержца, Помазанника божия... и прочее, и прочее...

Он немножко взволновался, его бескровное лицо вновь вспотело... Успокоясь и отерев его дрожащими руками, он закончил:

— Ну, достаточно, однако! Мы всё поведали для мира, всё, что Нам написали на бумажке... и даже несколько лишнего... Но лишнего из уст Царя никто не слышит! Вы слышали лишь только то, что Нами прочитано было с бумажки... Ступайте благовестить миру о мудрости и доброте сердца того, кто наградил вас счастьем беседы с Ним наедине. Идите!

Он бросил в сторону сонетку и, прежде чем я мог пожелать ему счастливого пути, провалился под пол вместе с троном.

Но передо мною в полутьме этой комнаты всё еще блестели его тщательно вымытые руки и беспокойно бегали глаза. Сквозь них был виден мрак его души, сморщенной тревогами жизни, как печеное яблоко. Какой-то серый тепленький кисель наполнял эту душу. В нем медленно копошились маленькие червячки честолюбия и, как испуганная ящерица, метался страх за жизнь.

Душа ничтожная, душа презренная, опившаяся кровью голодного народа, больная страхом, маленькая, жадная душа — коптела предо мной подобно огарку свечи, наполняя страну мою смрадом духовного разврата и преступлений...

ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

...Стальные, керосиновые и все другие короли Соединенных Штатов всегда смущали мое воображение. Людей, у которых так много денег, я не мог себе представить обыкновенными людьми.

Мне казалось, что у каждого из них по крайней мере три желудка и полтораста штук зубов во рту. Я был уверен, что миллионер каждый день с шести часов утра и до двенадцати ночи всё время, без отдыха — ест. Он истребляет самую дорогую пищу: гусей, индеек, поросят, редиску с маслом, пудинги, кэки и прочие вкусные вещи. К вечеру он так устает работать челюстями, что приказывает жевать пищу неграм, а сам уж только проглатывает ее. Наконец он совершенно теряет энергию, и, облитого потом, задыхающегося, негры уносят его спать. А наутро, с шести часов, он снова начинает свою мучительную жизнь.

Однако и такое напряжение сил не позволяет ему проесть даже половину процентов с капитала.

Разумеется, такая жизнь тяжела. Но — что же делать? Какой смысл быть миллионером, если ты не можешь съесть больше, чем обыкновенный человек?

Мне казалось, он должен носить белье из парчи, каблуки его сапог подбиты золотыми гвоздями, а на голове, вместо шляпы, что-нибудь из бриллиантов. Его сюртук сшит из самого дорогого бархата, имеет не менее пятидесяти футов длины и украшен золотыми пуговицами в количестве не меньше трехсот штук. По праздникам он надевает сразу восемь сюртуков и шесть пар брюк. Конечно, это и неудобно и стесняет... Но, будучи таким богатым, нельзя же одеваться, как все...

Карман миллионера я понимал как яму, куда свободно можно спрятать церковь, здание сената и всё, что нужно... Однако, представляя емкость живота такого джентльмена подобной трюму хорошего морского парохода,— я не мог вообразить длину ноги и брюк этого существа. Но я думал, что одеяло, под которым оно спит, должно быть не меньше квадратной мили. И если он жует табак, то, разумеется, самый лучший и фунта по два сразу. А если нюхает, так не меньше фунта на один прием. Деньги требуют, чтобы их тратили...

Пальцы его рук обладают удивительным чутьем и волшебной силой удлиняться по желанию: если он, сидя в Нью-Йорке, почувствует, что где-то в Сибири вырос доллар,— он протягивает руку через Берингов пролив и срывает любимое растение, не сходя с места.

Странно, что при всем этом я не мог представить — какой вид имеет голова чудовища. Более того, голова казалась мне совершенно лишней при этой массе мускулов и кости, одушевленной влечением выжимать изо всего золото. Вообще мое представление о миллионере не имело законченной формы. В кратких словах, это были прежде всего длинные эластичные руки. Они охватили весь земной шар, приблизили его к большой, темной пасти, и эта пасть сосет, грызет и жует нашу планету, обливая ее жадной слюной, как горячую печеную картофелину...

Можете вообразить мое изумление, когда я, встретив

миллионера, увидал, что это самый обыкновенный человек.

Передо мной сидел в глубоком кресле длинный сухой старик, спокойно сложив на животе нормального размера коричневые сморщенные руки, обычной человеческой величины. Дряблая кожа его лица была тщательно выбрита, устало опущенная нижняя губа открывала хорошо сделанные челюсти, они были усажены золотыми зубами. Верхняя губа — бритая, бескровная и тонкая — плотно прилипла к его жевательной машинке, и когда старик говорил, она почти не двигалась. Его бесцветные глаза не имели бровей, матовый череп был лишен волос. Казалось, что этому лицу немного не хватало кожи, и всё оно — красноватое, неподвижное и гладкое — напоминало о лице новорожденного ребенка. Трудно было определить — начинает это существо свою жизнь или уже подошло к ее концу...

Одет он был тоже как простой смертный. Перстень, часы и зубы — это всё золото, какое было на нем. Взятое вместе, оно весило, вероятно, менее полуфунта. В общем этот человек напоминал собой старого слугу из аристократического дома Европы...

Обстановка комнаты, в которой он принял меня, не поражала роскошью, не восхищала красотой. Мебель была солидная, вот всё, что можно сказать о ней.

«Вероятно, в этот дом иногда заходят слоны...» — вот какую мысль вызывала мебель.

— Это вы... миллионер? — спросил я, не веря своим глазам.

— О да! — ответил он, убежденно кивая головой.

Я сделал вид, что верю ему, и решил сразу вывести его на чистую воду.

— Сколько вы можете съесть мяса за завтраком? — поставил я ему вопрос.

— Я не ем мяса! — объявил он.— Ломтик апельсина, яйцо, маленькая чашка чая — вот всё...

Его невинные глаза младенца тускло блестели передо мной, как две большие капли мутной воды, и я не видел в них ни одной искры лжи.

— Хорошо...— сказал я в недоумении.— Но будьте

искренны, скажите мне откровенно — сколько раз в день едите вы?

— Два! — спокойно ответил он.— Завтрак и обед — это вполне достаточно для меня. На обед тарелка супу, белое мясо и что-нибудь сладкое. Фрукты. Чашка кофе. Сигара...

Мое изумление росло с быстротой тыквы. Он смотрел на меня глазами святого. Я перевел дух и сказал:

— Но если это правда,— что же вы делаете с вашими деньгами?

Тогда он немного приподнял плечи, его глаза пошевелились в орбитах, и он ответил:

— Я делаю ими еще деньги.

— Зачем?

— Чтобы сделать еще деньги...

— Зачем? — повторил я.

Он наклонился ко мне, упираясь локтями в ручки кресла, и, с оттенком некоторого любопытства, спросил:

— Вы — сумасшедший?

— А вы? — ответил я вопросом.

Старик наклонил голову и сквозь золото зубов протянул:

— Забавный малый... Я, может быть, первый раз вижу такого...

После этого он поднял голову и, растянув рот далеко к ушам, стал молча рассматривать меня. Судя по спокойствию его лица, он, видимо, считал себя вполне нормальным человеком. В его галстухе я заметил булавку с небольшим бриллиантом. Имей этот камень величину каблука, я еще понял бы что-нибудь.

— Чем же вы занимаетесь? — спросил я.

— Делаю деньги! — кратко сказал он, подняв плечи.

— Фальшивый монетчик? — с радостью воскликнул я; мне показалось, что я приближаюсь к открытию тайны. Но тут он начал негромко икать. Всё его тело вздрагивало, как будто невидимая рука щекотала его под мышками. Его глаза часто мигали.

— Это весело! — сказал он, успокоясь и обливая мое лицо влагой довольного взгляда.— Спросите еще что-нибудь! — предложил он и зачем-то надул щеки.

Я подумал и твердо поставил ему вопрос:

— Как вы делаете деньги?

— А! Понимаю! — сказал он, кивая головой.— Это очень просто. У меня железные дороги. Фермеры производят товар. Я его доставляю на рынки. Рассчитываешь, сколько нужно оставить фермеру денег, чтобы он не умер с голоду и мог работать дальше, а всё остальное берешь себе как тариф за провоз. Очень просто.

— Фермеры — довольны этим?

— Не все, я думаю! — сказал он с детской простотой.— Но, говорят, все люди ничем и никогда не могут быть довольны. Всегда есть чудаки, которые ворчат...

— Правительство не мешает вам? — скромно спросил я.

— Правительство? — повторил он и задумался, потирая пальцами лоб. Потом, как бы вспомнив что-то, кивнул головой.— Ага... Это те... в Вашингтоне. Нет, они не мешают. Это очень добрые ребята... Среди них есть кое-кто из моего клуба. Но их редко видишь... Поэтому иногда забываешь о них. Нет, они не мешают,— повторил он и тотчас же с любопытством спросил:

— А разве есть правительства, которые мешают людям делать деньги?

Я почувствовал себя смущенным моей наивностью и его мудростью.

— Нет,— тихо сказал я,— я не о том... Я, видите ли, думал, что иногда правительство должно бы запрещать явный грабеж...

— Н-но! — возразил он.— Это идеализм. Здесь это не принято. Правительство не имеет права вмешиваться в частные дела...

Моя скромность увеличивалась перед этой спокойной мудростью ребенка.

— Но разве разорение одним человеком многих — частное дело? — вежливо осведомился я.

— Разорение? — повторил он, широко открыв глаза.— Разорение — это когда дороги рабочие руки. И когда стачка. Но у нас есть эмигранты. Они всегда понижают плату рабочим и охотно замещают стачечников. Когда их наберется в страну достаточно для того, чтобы они дешево работали и много покупали,— всё будет хорошо.

Он несколько оживился и стал менее похож на старика и младенца, смешанных в одном лице. Его тонкие темные пальцы зашевелились, и сухой голос быстрее затрещал в моих ушах.

— Правительство? Это, пожалуй, интересный вопрос, да. Хорошее правительство необходимо. Оно разрешает такие задачи: в стране должно быть столько народа, сколько мне нужно для того, чтобы он купил у меня всё, что я хочу продать. Рабочих должно быть столько, чтобы я в них не нуждался. Но — ни одного лишнего! Тогда — не будет социалистов. И стачек. Правительство не должно брать высоких налогов. Всё, что может дать народ,— я сам возьму. Вот что я называю — хорошее правительство.

«Он обнаруживает глупость — это несомненный признак сознания своего величия,— подумал я.— Пожалуй, он действительно король...»

— Мне нужно,— продолжал он уверенным и твердым тоном,— чтобы в стране был порядок. Правительство нанимает за небольшую плату разных философов, которые не менее восьми часов каждое воскресенье учат народ уважать законы. Если для этого недостаточно философов — пускайте в дело солдат. Здесь важны не приемы, а только результаты. Потребитель и рабочий обязаны уважать законы. Вот и всё! — закончил он, играя пальцами.

«Нет, он не глуп, едва ли он король!» — подумал я и спросил: — Вы довольны современным правительством?

Он ответил не сразу.

— Оно делает меньше, чем может. Я говорю: эмигрантов нужно пока пускать в страну. Но у нас есть политическая свобода, которой они пользуются, за это нужно заплатить. Пусть же каждый из них привозит с собой хотя бы пятьсот долларов. Человек, у которого есть пятьсот долларов, в десять раз лучше тех, которые имеют только пятьдесят... Дурные люди — бродяги, нищие, больные и прочие лентяи — нигде не нужны...

— Но ведь это сократит приток эмигрантов...— сказал я.

Старик утвердительно кивнул головой.

— Со временем я предложу совершенно закрыть для них двери в страну. А пока пусть каждый привезет немного золота... Это полезно для страны. Потом, необходимо увеличить срок для получения гражданских прав. Впоследствии его придется вовсе уничтожить. Пусть те, которые желают работать для американцев,— работают, но совсем не следует давать им права американских граждан. Американцев уже довольно сделано. Каждый из них сам способен позаботиться о том, чтобы население страны увеличивалось. Всё это — дело правительства. Его необходимо поставить иначе. Члены правительства все должны быть акционерами в промышленных предприятиях — тогда они скорее и легче поймут интересы страны. Теперь мне нужно покупать сенаторов, чтобы убедить их в необходимости для меня... разных мелочей. Тогда это будет лишнее...

Он вздохнул, дрыгнул ногой и добавил:

— Жизнь видишь правильно только с высоты горы золота.

Теперь, когда его политические взгляды были достаточно ясны, я спросил его:

— А как вы думаете о религии?

— О! — воскликнул он, ударив себя по колену и энергично двигая бровями.— Очень хорошо думаю! Религия — это необходимо народу. Я искренно верю в это. И даже сам по воскресеньям говорю проповеди в церкви... да, как же!

— А что вы говорите? — спросил я.

— Всё, что может сказать в церкви истинный христианин, всё! — убежденно сказал он.— Я проповедую, конечно, в бедном приходе — бедняки всегда нуждаются в добром слове и отеческом поучении... Я говорю им...

Лицо его на минуту приняло младенческое выражение, но вслед за тем он плотно сжал губы и поднял глаза к потолку, где амуры стыдливо закрывали обнаженное тело толстой женщины с розовой кожей йоркширской свиньи. Бесцветные глаза его отразили в своей глубине пестроту красок на потолке и заблестели разноцветными искрами. Он тихо начал:

— Братья и сестры во Христе! Не поддавайтесь внушениям хитрого Дьявола зависти, гоните прочь от

себя всё земное. Жизнь на земле кратковременна: человек только до сорока лет хороший работник, после сорока его уже не принимают на фабрики. Жизнь — непрочна. Вы работаете,— неверное движение руки — и машина дробит вам кости; солнечный удар — и готово. Вас везде стерегут болезни, всюду несчастия. Бедный человек подобен слепому на крыше высокого дома,— куда бы он ни пошел, он упадет и разобьется, как говорит апостол Иаков, брат апостола Иуды. Братья! Вы не должны ценить земную жизнь, она — создание Дьявола, похитителя душ. Царство ваше, о милые дети Христа, не от мира сего, как и царство Отца вашего,— оно на небесах. И если вы терпеливо, без жалоб, без ропота, тихо окончите ваш земной путь, Он примет вас в селениях рая и наградит вас за труды на земле — вечным блаженством. Эта жизнь — только чистилище для ваших душ, и чем больше вы страдаете здесь, тем большее блаженство ждет вас там,— как сказал сам апостол Иуда.

Он указал рукою в потолок, подумал и продолжал, холодно и твердо:

— Да, дорогие братья и сестры! Вся эта жизнь пуста и ничтожна, если мы не приносим ее в жертву любви к ближнему, кто бы он ни был. Не отдавайте сердца во власть бесам зависти! Чему вы можете завидовать? Земные блага — это призраки, это игрушки Дьявола. Мы все умрем — богатые и бедные, цари и углекопы, банкиры и чистильщики улиц. В прохладных садах рая, быть может, углекопы станут царями, а царь будет сметать метлой с дорожек сада опавшие листья и бумажки от конфет, которыми вы будете питаться каждый день. Братья! Чего желать на земле, в этом темном лесу греха, где душа плутает, как ребенок? Идите в рай путем любви и кротости, терпите молча всё, что выпадет вам на долю. Любите всех и даже унижающих вас...

Он вновь закрыл глаза и, покачиваясь в кресле, продолжал:

— Не слушайте людей, которые возбуждают в сердцах ваших греховное чувство зависти, указывая вам на бедность одних и богатство других. Эти люди — по-

сланники Дьявола, Господь запрещает завидовать ближнему. И богатые бедны, они бедны любовью к ним. «Возлюбите богатого, ибо он есть избранник Божий!» — воскликнул Иуда, брат Господень, первосвященник храма. Не внимайте проповеди равенства и других измышлений Дьявола. Что значит равенство здесь, на земле? Стремитесь только сравняться друг с другом в чистоте души пред лицом Бога вашего. Несите терпеливо крест ваш, и покорность облегчит вам эту ношу. С вами Бог, дети мои, и больше вам ничего не нужно!

Старик замолчал, расширив рот, и, блестя золотом зубов, с торжеством посмотрел на меня.

— Вы хорошо пользуетесь религией! — заметил я.

— О да! Я знаю цену ей,— сказал он.— Повторяю вам — религия необходима для бедных. Мне она нравится. На земле всё принадлежит Дьяволу, говорит она. О человек, если хочешь спасти душу, не желай и ничего не трогай здесь, на земле! Ты насладишься жизнью после смерти — на небе всё для тебя! Когда люди верят в это — с ними легко иметь дело. Да. Религия — масло. Чем обильнее мы будем смазывать ею машину жизни, тем меньше будет трения частей, тем легче задача машиниста...

«Да, он король!» — решил я и почтительно спросил у этого недавнего потомка свинопаса:

— А вы себя считаете христианином?

— О да, конечно! — воскликнул он с полным убеждением.— Но,— он поднял руку кверху и внушительно сказал: — я в то же время американец, и, как таковой, я строгий моралист...

Его лицо приняло выражение драматическое: он оттопырил губы и подвинул уши к носу.

— Что вы хотите сказать?..— понизив голос, осведомился я.

— Пусть это будет между нами! — тихо предупредил он.— Для американца невозможно признать Христа!

— Невозможно? — шёпотом спросил я после паузы.

— Конечно, нет! — подтвердил он тоже шёпотом.

— А почему? — спросил я, помолчав.

— Он — незаконнорожденный! — Старик подмигнул мне глазом и оглянулся вокруг.— Вы понимаете? Незаконнорожденный в Америке не может быть не только богом, но даже чиновником. Его нигде не принимают в приличном обществе. За него не выйдет замуж ни одна девушка. О, мы очень строги! А если бы мы признали Христа — нам пришлось бы признавать всех незаконнорожденных порядочными людьми... даже если это дети негра и белой. Подумайте, как это ужасно! А?

Должно быть, это было действительно ужасно — глаза старика позеленели и стали круглыми, как у совы. Он с усилием подтянул нижнюю губу кверху и плотно приклеил ее к зубам. Вероятно, он полагал, что эта гримаса сделает его лицо внушительным и строгим.

— А негра вы никак не можете признать за человека? — осведомился я, подавленный моралью демократической страны.

— Вот наивный малый! — воскликнул он с сожалением...— Да ведь они же черные! И от них пахнет. Мы линчуем негра, лишь только узнаем, что он жил с белой, как с женой. Сейчас его за шею веревкой и на дерево... без проволочек! Мы очень строги, если дело касается морали...

Он внушал мне теперь то почтение, с которым невольно относишься к несвежему трупу. Но я взялся за дело и должен исполнить его до конца. Я продолжал ставить вопросы, желая ускорить процесс истязания правды, свободы, разума и всего светлого, во что я верю.

— Как вы относитесь к социалистам?

— Они-то и есть слуги Дьявола! — быстро отозвался он, ударив себя ладонью по колену.— Социалисты — песок в машине жизни, песок, который, проникая всюду, расстраивает правильную работу механизма. У хорошего правительства не должно быть социалистов. В Америке они родятся. Значит — люди в Вашингтоне не вполне ясно понимают свои задачи. Они должны лишать социалистов гражданских прав. Это уже кое-что. Я говорю — правительство должно стоять ближе к жизни. Для этого все его члены должны быть набираемы в среде миллионеров. Так!

— Вы очень цельный человек! — сказал я.

— О да! — согласился он, утвердительно кивая головой. Теперь с его лица совершенно исчезло всё детское, и на щеках явились глубокие морщины.

Мне захотелось спросить его об искусстве.

— Как вы относитесь...— начал я, но он поднял палец и заговорил сам:

— В голове социалиста — атеизм, в животе у него — анархизм. Его душа окрылена Дьяволом крыльями безумия и злобы... Для борьбы с социалистом необходимо иметь больше религии и солдат. Религия — против атеизма, солдаты — для анархии. Сначала — насыпьте в голову социалиста свинца церковных проповедей. Если это не вылечит его — пусть солдаты набросают ему свинца в живот!..

Он убежденно кивнул головой и твердо сказал:

— Велика сила Дьявола!

— О да! — охотно согласился я.

Впервые наблюдал я силу влияния Желтого Дьявола — Золота в такой яркой форме. Сухие, просверленные подагрой и ревматизмом кости старика, его слабое, истощенное тело в мешке старой кожи, вся эта небольшая куча ветхого хлама была теперь воодушевлена холодной и жесткой волей Желтого Отца лжи и духовного разврата. Глаза старика сверкали, как две новые монеты, и весь он стал крепче и суше. Теперь он еще больше походил на слугу, но я уже знал, кто его господин.

— Что вы думаете об искусстве? — спросил я.

Он взглянул на меня, провел рукой по своему лицу и стер с него выражение жесткой злобы. Снова что-то младенческое явилось на этом лице.

— Как вы сказали? — спросил он.

— Что вы думаете об искусстве?

— О! — спокойно отозвался он.— Я не думаю о нем, я просто покупаю его...

— Мне это известно. Но, может быть, у вас есть свои взгляды и требования к нему?

— А! Конечно, я имею требования... Оно должно быть забавно, это искусство,— вот чего я требую. Нужно, чтобы я смеялся. В моем деле мало смешного.

Необходимо вспрыснуть мозг иногда чем-нибудь успокаивающим... а иногда возбуждающим энергию тела. Когда искусство делают на потолке или на стенах, оно должно возбуждать аппетит... Рекламы следует писать самыми лучшими, яркими красками. Нужно, чтобы реклама схватила вас за нос издали, еще за милю от нее, и сразу привела, куда она зовет. Тогда она оправдает деньги. Статуи или вазы — всегда лучше из бронзы, чем из мрамора или фарфора. Прислуга не так часто сломает бронзу, как фарфор. Очень хорошо — бои петухов и травля крыс. Это я видел в Лондоне... очень хорошо! Бокс — тоже хорошо, но не следует допускать убийства... Музыка должна быть патриотична. Марш — это всегда хорошо, но лучший марш — американский. Америка — лучшая страна мира,— вот почему американская музыка лучше всех на земле. Хорошая музыка всегда там, где хорошие люди. Американцы — лучшие люди земли. У них больше всего денег. Никто не имеет столько денег, как мы. Поэтому к нам скоро приедет весь мир...

Я слушал, как самодовольно болтал этот больной ребенок, и с благодарностью думал о дикарях Тасмании. Говорят, и они тоже людоеды, но у них все-таки развито эстетическое чувство.

— Вы бываете в театре? — спросил я старого раба Желтого Дьявола, чтобы остановить его хвастовство страной, которую он осквернил своей жизнью.

— Театр? О да! Я знаю, это тоже искусство! — уверенно сказал он.

— А что вам нравится в театре?

— Хорошо, когда много молодых дам декольте, а вы сидите выше их! — ответил он, подумав.

— Что вы любите больше всего в театре? — спросил я, приходя в отчаяние.

— О! — воскликнул он, раздвинув рот во всю ширину щек.— Конечно, артисток, как все люди... Если артистки красивы и молоды — они всегда искусны. Но трудно угадать сразу, которая действительно молода. Они все так хорошо притворяются. Я понимаю, это их ремесло. Но иногда думаешь — ага, вот это девушка! Потом оказывается, что ей пятьдесят лет и

она имела не менее двухсот любовников. Это уже неприятно... Артистки цирка лучше артисток театра. Они почти всегда моложе и более гибки...

Он, видимо, был хорошим знатоком в этой области. Даже я, закоренелый грешник, всю жизнь утопавший в пороках, многое узнал от него только впервые.

— А как вам нравятся стихи? — спросил я его.

— Стихи? — переспросил он, опуская глаза к сапогам и наморщив лоб. Подумал и, вскинув голову, показал мне все зубы сразу.— Стихи? О да! Мне очень нравятся стихи. Жизнь будет очень весела, когда все начнут печатать рекламы в стихах.

— Кто ваш любимый поэт? — поспешил я поставить другой вопрос.

Старик взглянул на меня в недоумении и медленно спросил:

— Как вы сказали?

Я повторил вопрос.

— Гм... вы очень забавный малый! — сказал он, с сомнением качая головой.— За что же буду я любить поэта? И зачем нужно любить его?

— Извините меня! — произнес я, отирая пот со лба.— Я хотел спросить вас, какая ваша любимая книга? Я исключаю книжку чеков...

— О! Это другое дело! — согласился он.— Я люблю две книги — Библию и Главную бухгалтерскую. Они обе одинаково вдохновляют ум. Уже когда берешь их в руки,— чувствуешь, что в них сила, которая дает тебе всё, что нужно.

«Он издевается надо мной!» — подумал я и внимательно взглянул в его лицо. Нет. Его глаза убивали всякое сомнение в искренности этого младенца. Он сидел в кресле, как высохшее ядро ореха в своей скорлупе, и было видно, что он уверен в истине своих слов.

— Да,— продолжал он, рассматривая ногти,— это вполне хорошие книги! Одну написали пророки, другую создал я сам. В моей книге мало слов. В ней цифры. Они рассказывают о том, что может сделать человек, если захочет работать честно и усердно. После моей смерти правительство должно бы опубликовать

мою книгу. Пусть люди видят, как нужно идти, чтобы подняться на эту высоту.

И торжественным жестом победителя он обвел вокруг себя.

Я чувствовал, что пора прекратить беседу. Не всякая голова способна относиться безразлично, когда по ней топают ногами.

— Может быть, вы скажете что-нибудь о науке? — тихо спросил я.

— Наука? — он поднял палец, глаза и посмотрел в потолок. Затем вынул часы, взглянул, который час, закрыл крышку и, намотав цепочку на палец, покачал часами в воздухе. После всего этого он вздохнул и заговорил:

— Наука... да, я знаю! Это — книги. Если в них хорошо пишут об Америке — книги полезны. Но в книгах редко пишут правду. Эти... поэты, которые делают книги,— мало зарабатывают, я думаю. В стране, где каждый занят делом, некому читать книги... Да, поэты злы, потому что у них не покупают книг. Правительство должно хорошо платить писателям книг. Сытый человек всегда добр и весел. Если вообще нужны книги об Америке, следует нанять хороших поэтов, и тогда будут сделаны все книги, какие нужны для Америки... Вот и всё.

— Вы несколько узко определяете науку! — заметил я.

Он опустил веки и задумался. Потом вновь открыл глаза и уверенно продолжал:

— Ну да, учителя, философы... это тоже наука. Профессора, акушерки, дантисты, я знаю. Адвокаты, доктора, инженеры. All right. Это необходимо. Хорошие науки... не должны учить дурному... Но — учитель дочери моей сказал мне однажды, что существуют социальные науки... Этого я не понимаю. Я думаю, это вредно. Хорошая наука не может быть сделана социалистом. Социалисты вовсе не должны делать науку. Науку, которая полезна или забавна, делает Эдисон, да. Фонограф, синематограф — это полезно. А когда много книг с науками — это лишнее. Людям не следует читать книг, которые могут возбудить в уме... разные

сомнения. Всё на земле идет как нужно... и вовсе незачем путать книги в дела...

Я встал.

— О! вы уходите? — спросил он.

— Да! — сказал я.— Быть может, теперь, когда я ухожу, вы, наконец, все-таки объясните мне — какой смысл быть миллионером?

Он начал икать и дрыгать ногами вместо ответа. Может быть, такова была его манера смеяться?

— Это привычка! — воскликнул он, переводя дух.

— Что привычка? — спросил я.

— Быть миллионером... это привычка!

Я подумал и поставил ему мой последний вопрос:

— Вы думаете, что бродяги, курильщики опиума и миллионеры — явления одного порядка?

Это, должно быть, обидело его. Он сделал круглые глаза, окрасил их желчью в зеленый цвет и сухо ответил:

— Я думаю, что вы плохо воспитаны.

— До свиданья! — сказал я.

Он любезно проводил меня до крыльца и остался стоять на верхней ступеньке лестницы, внимательно рассматривая носки своих сапог. Перед его домом лежала площадка, поросшая густою, ровно подстриженной травой. Я шагал по ней и наслаждался мыслию о том, что больше уже не увижу этого человека.

— Галло! — услышал я сзади себя.

Обернулся. Он стоял там, на крыльце, и смотрел на меня.

— А что, у вас в Европе есть лишние короли? — медленно спросил он.

— Мне кажется, они все лишние! — ответил я.

Он сплюнул направо и сказал:

— Я думаю нанять для себя пару хороших королей, а?

— Зачем это вам?

— Забавно, знаете. Я приказал бы им боксировать вот здесь...

Он указал на площадку перед домом и добавил тоном вопроса:

— От часа до половины второго, каждый день, а?

После завтрака приятно отдать полчаса искусству... хорошо?

Он говорил серьезно, и было видно, что он приложит все усилия, чтобы осуществить свое желание.

— Зачем вам нужны короли для этой цели? — осведомился я.

— Этого здесь еще ни у кого нет! — кратко объяснил он.

— Но ведь короли дерутся только чужими руками! — сказал я и пошел.

— Галло! — позвал он в другой раз.

Я снова остановился. Он всё еще стоял на старом месте, сунув руки в карманы. На лице его выражалось что-то мечтательное.

— Вы что? — спросил я.

Он пожевал губами и медленно сказал:

— А как вы думаете, сколько это будет стоить — два короля для бокса, каждый день полчаса, в течение трех месяцев, э?

ЖРЕЦ МОРАЛИ

...Он пришел ко мне поздно вечером и, подозрительно оглянув мою комнату, негромко спросил:

— Могу я поговорить с вами полчаса наедине?

В тоне его голоса и во всей сутуловатой, худой фигуре было что-то таинственное и тревожное. Он сел на стул так осторожно, точно боялся, что мебель не сдержит его длинных и острых костей.

— Вы можете опустить штору на окне? — тихо спросил он.

— Пожалуйста! — сказал я и тотчас исполнил его желание.

Благодарно кивнув мне головой, он подмигнул в сторону окна и еще тише заметил:

— Всегда следят!

— Кто?

— Репортеры, разумеется!

Я внимательно посмотрел на него. Одетый очень прилично, даже щеголевато, он все-таки производил впечатление бедняка. Его лысый угловатый череп бле-

стел скромно и корректно. Чисто выбритое, очень худое лицо, серые, виновато улыбающиеся глаза, полуприкрытые светлыми ресницами. Когда он поднимал ресницы и смотрел прямо в лицо мне, я чувствовал себя перед какой-то туманной неглубокой пустотой. Сидел он, подогнув ноги под стул, положив ладонь правой руки на колено, а левую, с котелком в ней, опустил к полу. Длинные пальцы рук немного дрожали, углы плотно сжатых губ были устало опущены — признак, что этот человек дорого заплатил за свой костюм.

— Позвольте вам представиться,— вздохнув и покосившись на окно, начал он,— я, так сказать, профессиональный грешник...

Я сделал вид, что не расслышал его слов, и наружно спокойно спросил:

— Как?

— Я — профессиональный грешник,— повторил он буква в букву и добавил: — Моя специальность — преступления против общественной морали...

В тоне этой фразы звучала только скромность, я не уловил даже тени раскаяния в словах и на лице.

— Вы... не хотите ли стакан воды? — предложил я ему.

— Нет, благодарю вас! — отказался он, и виноватые глаза его с улыбкой остановились на моей фигуре.— Вы, кажется, не вполне ясно понимаете меня?

— Нет, почему же! — возразил я, скрывая, по примеру европейских журналистов, невежество под маской развязности. Но он мне, очевидно, не поверил. Покачивая котелком в воздухе и скромно улыбаясь, он заговорил:

— Я приведу вам несколько фактов из моей деятельности, чтобы вам было понятно, кто я...

Здесь он вздохнул и опустил голову. И снова я был удивлен тем, что в этом вздохе было только утомление.

— Помните,— начал он, тихо покачивая шляпой,— в газетах писали о человеке... то есть о пьянице? Скандал в театре?

— Это господин из первого ряда, который во время патетической сцены встал, надел шляпу и начал кричать извозчика? — спросил я.

— Да! — подтвердил он и любезно добавил: — Это — я. Заметка под заголовком «Зверь, истязатель детей» — тоже мною вызвана, как и другая — «Муж, продающий свою жену»... Человек, преследовавший на улице даму нескромными предложениями,— это тоже я... Вообще обо мне пишут не менее одного раза в неделю и всякий раз, когда требуется доказать испорченность нравов...

Всё это он сказал негромко, очень внятно, но без хвастовства. Я ничего не понимал, но мне не хотелось показать ему это. Как все писатели, я тоже делаю всегда вид, будто знаю жизнь и людей, точно свои пять пальцев.

— Гм! — сказал я тоном философа.— Что же, вам доставляет удовольствие этот род занятий?

— Когда я был молод — это забавляло меня, не скрою,— ответил он.— Но теперь мне уже сорок пять лет, я женат, имею двух дочерей... В таком положении очень неудобно, когда вас раза два-три в неделю изображают в газетах как источник порока и разврата. Постоянно следят за вами репортеры, чтобы вы точно и вовремя выполнили свои обязанности...

Я закашлялся, чтобы скрыть недоумение. Потом тоном сострадания спросил:

— Это у вас болезнь?

Он отрицательно качнул головой, помахал себе в лицо шляпой, как веером, и ответил:

— Нет, профессия. Я уже сказал вам, что моя специальность — мелкие скандалы на улицах и в публичных местах... Другие товарищи в нашем бюро занимаются более ответственными и крупными делами, например — оскорбление религиозного чувства, совращение женщин и девиц, кражи на сумму не выше тысячи долларов...

Он вздохнул, оглянулся вокруг и пояснил:

— И прочие поступки против нравственности... а я делаю только мелкие скандалы...

Он говорил, как ремесленник о своем ремесле. Это меня начинало раздражать, и я саркастически спросил:

— Вас не удовлетворяет это?

— Нет! — просто ответил он.

Его простота обезоруживала и возбуждала острое любопытство. Помолчав, я поставил ему вопрос:

— Сидели в тюрьме?

— Три раза. А вообще я действую в размерах штрафа. Но штрафы платит, конечно, бюро...— объяснил он.

— Бюро! — невольно повторил я.

— О да! Согласитесь, что мне самому невозможно платить штрафы! — с улыбкою сказал он.— Пятьдесят долларов в неделю — это очень немного для семьи в четыре человека...

— Дайте мне подумать об этом,— сказал я, встав со стула.

— Пожалуйста! — согласился он.

Я начал ходить по комнате взад и вперед мимо него, напряженно вспоминая все формы психических заболеваний. Мне хотелось определить характер его болезни, но я не мог. Было ясно одно — это не мания величия. Он следил за мной с любезной улыбкой на худом, истощенном лице и терпеливо ждал.

— Итак — бюро? — спросил я, останавливаясь против него.

— Да,— сказал он.

— Много служащих?

— В этом городе — сто двадцать пять мужчин и семьдесят пять женщин...

— В этом городе? Значит... и в других городах — тоже бюро?

— Во всей стране, конечно! — сказал он, покровительственно улыбаясь.

Мне стало жалко себя...

— Но... что же они...— нерешительно спросил я,— чем же они занимаются, эти бюро?

— Нарушают законы нравственности! — скромно ответил он, встал со стула, сел в кресло, потянулся и с откровенным любопытством стал рассматривать мое лицо. Очевидно, я казался ему дикарем, и он переставал стесняться.

«Чёрт побери! — подумалось мне.— Не надо показывать, что я ничего не понимаю...» — И, потирая руки,

я оживленно сказал: — Это интересно! Очень интересно!.. Только... зачем это?

— Что? — улыбаясь, спросил он.

— Да эти бюро для нарушения законов морали?

Он засмеялся добродушным смехом взрослого над глупостью ребенка. Я посмотрел на него и подумал, что, действительно, источником всех неприятностей в жизни является невежество.

— Как вы полагаете, надо жить, а? — спросил он.

— Конечно!

— И надо жить приятно?

— О, разумеется!

Этот человек встал, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.

— А разве можно наслаждаться жизнью, не нарушая законов морали, а?

Он отступил от меня, подмигнул мне, снова развалился в кресле, как вареная рыба на блюде, вынул сигару и закурил ее, не спросив моего разрешения. Потом продолжал:

— Кому приятно кушать землянику с карболовой кислотой?

И он бросил горящую спичку на пол.

Уж это всегда так,— сознав свое преимущество над ближним, человек сразу становится свиньей по отношению к нему.

— Мне трудно понять вас! — сознался я, глядя в его лицо.

Он улыбнулся и сказал:

— Я был лучшего мнения о ваших способностях...

Становясь всё свободнее в своих манерах, он сбросил пепел сигары прямо на пол, полузакрыл глаза и, следя сквозь ресницы за струями дыма своей сигары, заговорил тоном знатока дела:

— Вы мало знакомы с моралью — вот что я вижу...

— Нет, я иногда сталкивался с нею,— скромно возразил я.

Он выпул сигару изо рта, посмотрел на конец ее и философски заметил:

— Удариться лбом об стену — это еще не значит изучить стену.

— Да, я согласен с этим. Но почему-то я всегда отскакиваю от морали, как мяч от стены...

— Здесь виден недостаток воспитания! — сказал он резонерски.

— Очень может быть,— согласился я.— Самым отчаянным моралистом, которого я знал, был мой дед. Он ведал все пути в рай и постоянно толкал на них каждого, кто попадался ему под руку. Истина была известна только ему одному, и он усердно вколачивал ее чем попало в головы членов своего семейства. Он прекрасно знал всё, чего хочет бог от человека, и даже собак и кошек учил, как надо вести себя, чтобы достигнуть вечного блаженства. При всем этом он был жаден, зол, постоянно лгал, занимался ростовщичеством и, обладая жестокостью труса,— особенность души всех моралистов и каждого,— в свободное и удобное время бил своих домашних чем мог и как хотел... Я пробовал влиять на деда, желая сделать его мягче,— однажды выбросил старика из окна, другой раз ударил его зеркалом. Окно и зеркало разбились, но дед не стал от этого лучше. Он так и умер моралистом.

А мне с той поры мораль кажется несколько противной... Может быть, вы скажете что-нибудь такое, что может помирить меня с нею? — предложил я ему.

Он вынул часы, посмотрел на них и сказал:

— У меня нет времени читать вам лекцию!.. Но, если я пришел к вам, всё равно. Начатое — нужно кончать. Может быть, вы сумеете что-нибудь сделать для меня... Я буду краток...

Он снова полузакрыл глаза и начал говорить внушительным тоном:

— Мораль необходима для вас — это нужно помнить! Почему она необходима? Потому что она ограждает ваш личный покой, ваши права и ваше имущество — иначе сказать, она защищает интересы «ближнего»... «Ближний» — это всегда вы и более никто, понимаете? Если у вас есть красивая жена, вы говорите всем окружающим вас: «Не пожелай жены ближнего твоего». Если у человека есть деньги, волы, рабы, ослы и сам он не идиот — он моралист. Мораль выгодна для вас, когда вы имеете всё, что вам нужно,

и желаете сохранить это для себя одного; она невыгодна, если у вас нет ничего лишнего, кроме волос на голове.

Он погладил рукой свой голый череп и продолжал:

— Мораль — это страж ваших интересов, вы стараетесь поставить его в души людей, окружающих вас. На улицах вы ставите полицейских и сыщиков, внутрь человека вы всовываете целый ряд принципов, которые должны врасти в его мозг и связать в нем, задушить, уничтожить все враждебные вам мысли, все угрожающие вашим правам желания. Мораль всего строже там, где экономические противоречия нагляднее. Чем больше у меня денег, тем более я строгий моралист. Вот почему в Америке, где так много богатых,— ими исповедуется мораль во сто лошадиных сил. Понятно?

— Да,— сказал я,— но зачем же бюро?

— Подождите! — возразил он, внушительно подняв руку.— Итак, мораль имеет целью внушить всем людям, чтобы они оставили вас в покое. Но если у вас много денег — у вас множество желаний и полная возможность осуществить их,— так? Однако большинство желаний ваших нельзя осуществить, не нарушая принципов морали... Как же быть? Нельзя проповедовать людям то, что отрицаешь сам: это и неловко да и люди могут не поверить. Ведь они не все глупы... Например: вы сидите в ресторане, пьете шампанское и целуете очень красивую женщину, хотя она не жена вам... С той точки зрения, которую вы считаете обязательной для всех,— подобные занятия являются безнравственными. Но лично для вас — такая трата времени необходима, это ваша милая привычка, она дает вам массу наслаждений. И пред вами встает вопрос: как примирить проповедь воздержания от сладких пороков с вашей любовью к ним? Другой пример: вы говорите всем — не укради! Ибо вам крайне будет неприятно, если вас начнут обкрадывать,— не так ли? Но в то же время, хотя у вас и есть деньги,— вам нестерпимо хочется украсть еще немного. Третий: вы строго исповедуете принцип — не убий! Потому что жизнь вам дорога, она приятна, полна наслаждений. Вдруг в ваших угольных копях рабочие требуют увеличения

платы. Вы невольно вызываете солдат, и — трах! — несколько десятков рабочих убито. Или: вам некуда сбывать товар. Вы указываете на этот факт вашему правительству и убеждаете его открыть для вас новый рынок. Правительство любезно посылает небольшую армию куда-нибудь в Азию, Африку и исполняет ваше желание, перебив несколько сотен или тысяч туземцев... Всё это плохо гармонирует с вашей проповедью человеколюбия, воздержания и целомудрия. Но, избивая рабочих или туземцев, вы можете оправдать себя указанием на интересы государства, которое не может существовать, если люди не станут подчиняться вашим интересам. Государство — это вы, если вы богатый человек, разумеется. Вам гораздо труднее в мелочах — в разврате, воровстве и прочем. Вообще, позиция богатого человека — трагическая позиция. Ему положительно необходимо, чтобы все любили его, все воздерживались от покушений на целость его имущества, чтобы никто не нарушал его привычек и все относились целомудренно к его жене, сестре, дочерям. В то же время для него не только нет необходимости любить людей, воздерживаться от воровства, целомудренно относиться к женщинам и так далее — напротив! Всё это только стесняет его личную деятельность и безусловно вредно для успеха его работ. Обычно вся его жизнь — сплошное воровство, он грабит тысячи людей, целую страну, это необходимо для роста капитала, то есть для прогресса страны,— вы понимаете? Он развращает женщин десятками — это очень приятное развлечение для праздного человека. И кого ему любить? Все люди делятся для него на две группы — одну он обворовывает, другая конкурирует с ним в этом занятии.

Довольный своим знанием вопроса, оратор улыбнулся и, бросив окурок сигары в угол комнаты, продолжал:

— Итак: мораль полезна богатому и вредна всем людям, но, в то же время, она не нужна ему и необходима для всех. Вот почему моралисты стараются вколотить принципы морали внутрь людей, а сами всегда носят их снаружи, как галстухи и перчатки. Далее: как убедить людей в необходимости для них подчинения

законам морали? Никому не выгодно быть честным среди жуликов. Но если невозможно убедить, гипнотизируйте! Это всегда удается...

Он утвердительно кивнул головой и, подмигнув мне, повторил:

— Невозможно убедить — гипнотизируйте.

Затем он положил свою руку на колено мне, заглянул в лицо мое и, понизив голос, продолжал:

— Дальнейшее — между нами, хорошо?

Я кивнул головой.

— Бюро, в котором я служу, занимается гипнозом общественного мнения. Это одно из оригинальнейших учреждений Америки — прошу заметить! — с гордостью сказал он.

Я еще раз наклонил голову.

— Вы знаете, что наша страна,— говорил он,— живет только одним стремлением — делать деньги. Здесь все хотят быть богатыми, и человек для человека только материал, из которого всегда можно выжать несколько крупинок золота. И вся жизнь есть процесс выжимания золота из мяса и крови человека. Народ в этой стране — как и везде, я слышал — руда, из которой добывают желтый металл, прогресс — это концентрация физической энергии масс, то есть кристаллизация мяса, костей и нервов человека в золото. Жизнь построена очень просто...

— Это ваш личный взгляд? — спросил я.

— Это? Конечно, нет! — сказал он с гордостью.— Это просто чья-то фантазия... Я не помню, как она попала в мою голову... Я пользуюсь ею, только когда говорю с людьми... ненормальными... Продолжаю. Народу здесь некогда заниматься пороками — для этого не остается свободного времени. Часы напряженной работы так истощают человека, что он уже не имеет ни сил, ни желания согрешить в час отдыха. Людям некогда думать, у них нет силы желать, они живут только работой, для работы, и это делает их жизнь очень нравственной. Разве иногда в праздник несколько ребят повесят пару негров, но это — не против морали, потому что негр — не белый, к тому же их здесь много, этих негров. Все ведут себя более или менее прилично,

и на общем сером фоне этой неподвижной жизни, забитой в тесные рамки старой пуританской морали, всякое нарушение ее принципов выступает резко, как пятно сажи. Это — хорошо, но это — дурно. Высшие классы общества могут гордиться поведением низших, но в то же время такое поведение стесняет свободу действий богатых. Они имеют деньги — значит, они имеют право жить как хотят, не считаясь с моралью. Богатые — жадны, сытые — чувственны, праздные — порочны. Бурьян растет на жирной почве, разврат — на почве пресыщения. Что же делать? Отрицать мораль? Это — невозможно, ибо это — глупо. Если тебе выгодно, чтобы люди были нравственны,— умей скрывать свои пороки... Вот и всё! В этом не много нового...

Он оглянулся и еще понизил голос.

— И вот, представители высшего общества в Нью-Йорке напали на одну удивительно счастливую мысль. Они решили учредить в стране тайное общество для явного нарушения законов морали. Был собран, путем вкладов, солидный капитал, и в разных городах страны открыты — негласно, разумеется — бюро для гипноза общественного мнения. Наняли разных людей, вроде вашего покорного слуги, и возложили на них обязанность совершать преступления против нравственности. Во главе каждого бюро стоит надежный и опытный человек, руководящий действиями служащих и распределяющий занятия... обыкновенно он редактор какой-нибудь газеты.

— Я не понимаю целей бюро! — тоскливо сказал я.

— Очень просто! — отозвался он. И вдруг его лицо приняло выражение тревоги и нервозного ожидания чего-то. Он встал и, заложив руки за спину, начал медленно ходить по комнате.

— Очень просто! — повторил он.— Я уже сказал вам, что низшие классы, по недостатку времени, мало грешат. А ведь необходимо, чтобы нравственность нарушалась — нельзя же оставлять ее бесплодной старой девой! Нужно, чтобы всегда кричали о нравственности, это оглушает общество, не позволяя ему слышать правду. Если в реку набросать массу мелких щеп, среди них может незаметно для вашего глаза проплыть

большое бревно. Или если вы неосторожно вытащите бумажник из кармана вашего соседа, по своевременно обратите внимание публики на мальчишку, который украл горсть орехов,— это может спасти вас от скандала. Только кричите громче — вор! Наше бюро занимается тем, чтобы создавать массу мелких скандалов для прикрытия крупных преступлений.

Он вздохнул, остановился среди комнаты и помолчал.

— Например, в городе разносится слух о том, что одно уважаемое и почтенное лицо бьет свою жену. Бюро немедленно поручает мне и нескольким товарищам побить наших жен. Мы бьем. Жены, конечно, посвящены в дело и кричат очень громко. Об этом пишут все газеты, и шум, поднятый ими, заставляет забыть о слухах по поводу отношений почтенного лица к его жене. Какое значение имеют слухи, когда налицо факты? Или: начинают говорить о подкупе сенаторов. Бюро немедленно организует ряд подкупов полицейских чинов и разоблачает их продажность перед публикой. Снова слухи исчезают перед фактами. Некто из высшего общества оскорбил женщину. Тотчас же в ресторанах, на улицах — создается ряд оскорблений женщин. Поступок представителя высшего света совершенно исчезает в ряду однородных поступков. И так всегда, во всем. Крупная кража засыпается кучей мелких краж, и вообще все крупные преступления подавляются грудами мелочей. Вот — деятельность бюро.

Он подошел к окну, осторожно взглянул на улицу и снова сел на стул, продолжая тихим голосом:

— Бюро ограждает высший класс американского общества от суда народа и, в то же время, постоянными криками о нарушении законов морали забивает народу голову мелкими скандалами, организованными для прикрытия порочности богатых. Народ находится всегда в состоянии гипноза, ему нет времени думать самостоятельно, и он только слушает газеты. Газеты принадлежат миллионерам, бюро организовано ими же... Вы понимаете? Это очень оригинально...

Он замолчал, задумался, низко наклонив голову.

— Благодарю вас! — сказал я ему.— Вы сообщили мне очень много интересного.

Он поднял голову и уныло взглянул на меня.

— Д-да, это интересно, конечно! — медленно и задумчиво произнес он.— Но — меня это уже утомляет. Я семейный человек, три года тому назад я построил себе дом... мне хочется немного отдохнуть. Это трудное дело — моя служба. Поддерживать в обществе уважение к законам морали — о! это, право, нелегко! Вы подумайте, мне вреден алкоголь, но я должен напиваться, я люблю жену и тихую жизнь в семье — и должен ходить по ресторанам, скандалить... и постоянно видеть себя в газетах... хотя под чужим именем, конечно, но все-таки... Однажды откроется мое собственное имя, и тогда... придется уехать из города... Я нуждаюсь в совете... Я пришел к вам узнать ваше мнение по моему делу... очень запутанное дело!

— Говорите! — предложил я.

— Видите ли что,— начал он,— за последнее время среди представителей высших классов общества в южных штатах заводят любовниц — негритянских девушек... По две и по три сразу. Об этом начали говорить. Жены недовольны поведением мужей. В некоторых газетах получены письма женщин с разоблачением деятельности их мужей. Возможен громкий скандал. Бюро немедленно же принялось за организацию ряда «контр-фактов», как это у нас называется. Тринадцать агентов — и в их числе я — немедленно должны завести любовниц-негритянок. По две и даже по три сразу...

Он нервно вскочил со стула и, приложив руку к карману сюртука, заявил:

— Я не могу сделать это! Я люблю жену... и она мне не позволит, вот что главное! Наконец — если бы одна!

— Откажитесь! — посоветовал я.

Он посмотрел на меня с сожалением.

— А кто же мне уплатит пятьдесят долларов за неделю? И награду в случае успеха? Нет, этот совет вы оставьте для себя... Американец не отказывается от денег даже на другой день после своей смерти. Посоветуйте что-нибудь другое.

— Мне трудно! — сказал я.

— Гм! Почему трудно? Вы, европейцы, очень легкомысленны в вопросах нравственности... ваша развращенность нам известна.

Он сказал это с твердой уверенностью в правде своих слов.

— Вот что,— продолжал он, наклонясь ко мне,— вероятно, у вас есть знакомые европейцы? Я уверен, что есть...

— Зачем вам? — спросил я.

— Зачем? — Он отступил от меня на шаг и встал в драматическую позу.— Я положительно не могу взять на себя дело с негритянками. Судите сами: жена мне не позволит, и я ее люблю. Нет, я не могу...

Он энергично потряс головой, провел рукой по своей лысине и вкрадчиво продолжал:

— Может быть, вы могли бы мне рекомендовать на это дело европейца? Они отрицают нравственность, им всё равно! Кого-нибудь из бедных эмигрантов, а? Я плачу десять долларов в неделю, хорошо? Я буду сам ходить по улицам с негритянками... вообще я всё сделаю сам, он должен позаботиться только о том, чтобы родились дети... Вопрос нужно решить сегодня же вечером... Вы подумайте, какой скандал может разгореться, если это дело в южных штатах не завалить своевременно разным хламом! В интересах торжества нравственности — необходимо торопиться...

...Когда он убежал из комнаты, я подошел к окну и приложил ушибленную о его череп руку к стеклу, чтобы охладить ее.

Он стоял под окном и делал мне какие-то знаки.

— Что вам угодно? — спросил я, открывая раму.

— Я забыл взять шляпу! — сказал он скромно.

Подняв с полу котелок, я выбросил его на улицу. И, закрывая окно, услыхал деловой вопрос:

— А если я дам пятнадцать долларов в неделю? Это хорошая плата!

— Пойдем со мной к источникам истины! — смеясь, сказал мне Дьявол и привел меня на кладбище.

И когда мы медленно кружились с ним по узким дорожкам среди старых камней и чугунных плит над могилами, он говорил утомленным голосом старого профессора, которому надоела бесплодная проповедь его мудрости.

— Под ногами твоими,— говорил он мне,— лежат творцы законов, которые руководят тобой, ты попираешь подошвой сапога прах плотников и кузнецов, которые построили клетку для зверя внутри тебя.

Он смеялся при этом острым смехом презрения к людям, обливая траву могил и плесень памятников зеленоватым блеском холодного взгляда тоскливых глаз. Жирная земля мертвых приставала к ногам моим тяжелыми комьями, и было трудно идти по тропинкам, среди памятников над могилами житейской мудрости.

— Что же ты, человек, не поклонишься благодарно праху тех, которые создали душу твою? — спрашивал Дьявол голосом, подобным сырому дуновенью ветра осени, и голос его вызывал дрожь в теле моем и в сердце моем, полном тоскливого возбуждения. Тихо качались печальные ветви деревьев над старыми могилами людей, прикасаясь, холодные и влажные, к моему лицу.

— Воздай должное фальшивомонетчикам! Это они наплодили тучи маленьких, серых мыслей — мелкую монету твоего ума, они создали привычки твои, предрассудки и всё, чем ты живешь. Благодари их — у тебя огромное наследство после мертвецов!

Желтые листья медленно падали на голову мою и опускались под ноги. Земля кладбища жадно чмокала, поглощая свежую пищу — мертвые листья осенних дней.

— Вот здесь лежит портной, одевавший души людей в тяжелые, серые ризы предубеждений,— хочешь посмотреть на него?

Я молча наклонил голову — Дьявол ударил ногой в старую, изъеденную ржавчиной плиту над одной из могил, ударил и сказал:

— Эй, книжник! Вставай...

Плита поднялась, и, вздыхая густым вздохом потревоженной грязи, открылась неглубокая могила, точно сгнившее портмоне. В сыром мраке ее раздался брюзгливый голос:

— Кто же будит мертвецов после двенадцати?

— Видишь? — усмехаясь, спросил Дьявол.— Творцы законов жизни верны себе, даже когда они сгнили.

— А, это вы, Хозяин! — сказал скелет, садясь на край могилы, и он независимо кивнул Дьяволу пустым черепом.

— Да, это я! — ответил Дьявол.— Вот я привел к тебе одного из друзей моих... Он поглупел среди людей, которых ты научил мудрости, и теперь пришел к первоисточнику ее, чтобы вылечиться от заразы...

Я смотрел на мудреца с должным почтением. На костях его черепа уже не было мяса, но выражение самодовольства еще не успело сгнить на его лице. Каждая кость тускло светилась сознанием своей принадлежности к системе костей исключительно совершенной, единственной в своем роде...

— Что ты сделал на земле, расскажи нам! — предложил Дьявол.

Мертвец внушительно и гордо оправил костями рук темные лохмотья савана и мяса, нищенски висевшие на его ребрах. Потом он гордо поднял кости правой руки на уровень плеча и, указывая голым суставом пальца во тьму кладбища, заговорил бесстрастно и ровно:

— Я написал десять больших книг, которые внушили людям великую идею преимущества белой расы над цветной...

— В переводе на язык правды,— сказал Дьявол,— это звучит так: я, бесплодная старая дева, всю жизнь вязала тупой иглой моего ума из ветхих шерстинок поношенных идей дурацкие колпаки для тех, кто любит держать свой череп в покое и тепле...

— Вы не боитесь обидеть его? — тихонько спросил я Дьявола.

— О! — воскликнул он.— Мудрецы и при жизни плохо слышат правду!

— Только белая раса,— продолжал мудрец,— могла

создать такую сложную цивилизацию и выработать столь строгие принципы нравственности, этим она обязана цвету своей кожи, химическому составу крови, что я и доказал...

— Он это доказал! — повторил Дьявол, утвердительно кивая головой.— Нет варвара, более убежденного в своем праве быть жестоким, чем европеец...

— Христианство и гуманизм созданы белыми,— продолжал мертвец.

— Расой ангелов, которой должна принадлежать вся земля,— перебил его Дьявол.— Вот почему они так усердно окрашивают ее в свой любимый цвет — красный цвет крови...

— Они создали богатейшую литературу, изумительную технику,— считал мертвец, двигая костями пальцев...

— Три десятка хороших книг и бесчисленное количество орудий для истребления людей...— пояснил Дьявол, смеясь.— Где жизнь раздроблена более, чем среди этой расы, и где человек низведен так низко, как среди белых?

— Быть может, Дьявол не всегда прав? — спросил я.

— Искусство европейцев достигло неизмеримой высоты,— бормотал скелет сухо и скучно.

— Быть может, Дьявол хотел бы ошибиться! — воскликнул мой спутник.— Ведь это скучно — всегда быть правым. Но люди живут только для того, чтобы питать презрение мое... Посевы зерен пошлости и лжи дают самый богатый урожай на земле. Вот он, сеятель, перед вами. Как все они — он не родил что-либо новое, он только воскрешал трупы старых предрассудков, одевая их в одежды новых слов... Что сделано на земле? Выстроены дворцы для немногих, церкви и фабрики для множества. В церквах убивают души, на фабриках — тела, это для того, чтобы дворцы стояли незыблемо... Посылают людей глубоко в землю за углем и золотом — и оплачивают позорный труд куском хлеба, с приправой свинца и железа.

— Вы — социалист? — спросил я Дьявола.

— Я хочу гармонии! — ответил он.— Мне противно, когда человека, существо по природе своей цельное, дро-

бят на ничтожные куски, делают из него орудие для жадной руки другого. Я не хочу раба, рабство противно духу моему... И за это меня сбросили с неба. Где есть авторитеты, там неизбежно духовное рабство, там всегда будет пышно цвести плесень лжи... Пусть земля — вся живет! Пусть она вся горит весь день, хотя бы к ночи только пепел остался от нее. Необходимо, чтобы однажды все люди влюбились... Любовь, как чудесный сон, снится только один раз, но в этом однажды — весь смысл бытия...

Скелет стоял, прислонясь к черному камню, и ветер тихо пыл в пустой клетке его ребер.

— Ему, должно быть, холодно и неудобно,— сказал я Дьяволу.

— Мне приятно посмотреть на ученого, который освободился от всего лишнего. Его скелет — скелет его идеи... Я вижу, как она была оригинальна... Рядом с ним лежат остатки другого сеятеля истины. Разбудим и его. При жизни все они любят покой и трудятся ради создания норм для мыслей, для чувства, для жизни — искажают новорожденные идеи и делают уютные гробики для них. Но — умирая, они хотят, чтобы о них не забывали... Компрачикос — вставайте! Вот я привел вам человека, которому нужен гроб для его мысли.

И снова предо мной явился из земли пустой и голый череп, беззубый, желтый, но все-таки лоснящийся самодовольством. Должно быть, он уже давно лежал в земле — его кости были свободны от мяса. Он встал у камня над своей могилой, и ребра его рисовались на черном камне, как нашивки на мундире камергера.

— Где он хранит свои идеи? — спросил я.

— В костях, мой друг, в костях! У них идеи — вроде ревматизма и подагры — глубоко проникают в ребра.

— Как идет моя книга, Хозяин? — глухо спросил скелет.

— Она еще лежит, профессор! — ответил Дьявол.

— Что ж, разве люди разучились читать? — сказал профессор, подумав.

— Нет, глупости они читают по-прежнему — вполне охотно... но глупость скучная — иногда долго ждет их

внимания... Профессор,— обратился Дьявол ко мне,— всю жизнь измерял черепа женщин, чтобы доказать, что женщина не человек. Он измерял сотни черепов, считал зубы, измерял уши, взвешивал мертвые мозги. Работа с мертвым мозгом была любимейшей работой профессора, об этом свидетельствуют все его книги. Вы их читали?

— Я не хожу в храмы через кабаки,— ответил я.— И я не умею изучать человека по книгам — люди в них всегда дроби, а я плохо знаю арифметику. Но я думаю, что человек без бороды и в юбке — не лучше и не хуже человека с бородою, в брюках и с усами...

— Да,— сказал Дьявол,— пошлость и глупость вторгаются в мозги независимо от костюма и количества волос на голове. Но всё же вопрос о женщине — интересно поставлен.

И Дьявол по обыкновению засмеялся. Он всегда смеется — вот почему с ним приятно беседовать. Кто умеет и может смеяться на кладбище, тот — поверьте! — любит и жизнь и людей...

— Одни, которым женщина необходима лишь как жена и рабыня, утверждают, что она — не человек! — продолжал он.— Другие, не отказываясь пользоваться ею как женщиной, хотели бы широко эксплуатировать ее рабочую энергию и утверждают, что она вполне пригодна для того, чтобы работать всюду наравне с мужчиной, то есть для него. Конечно, и те и другие, изнасиловав девушку, не пускают ее в свое общество — они убеждены, что после их прикосновения к ней она становится навсегда грязной... Нет, женский вопрос очень забавен! Я люблю, когда люди наивно лгут,— они тогда похожи на детей, и есть надежда, что со временем они вырастут...

По лицу Дьявола было видно, что он не хочет сказать нечто лестное о людях в будущем. Но я сам могу сказать о них много нелестного в настоящем, и, не желая, чтобы Чёрт конкурировал со мной в этом приятном и легком занятии,— я прервал его речь:

— Говорят — куда чёрт сам не поспеет, туда женщину пошлет,— это правда?

Он пожал плечами и ответил:

— Случается... если под рукой нет достаточно умного и подлого мужчины...

— Мне почему-то кажется, что вы разлюбили зло? — спросил я.

— Зла больше нет! — ответил он, вздыхая.— Есть только пошлость! Когда-то зло было красивой силой. А теперь... даже если убивают людей — это делают пошло,— им сначала связывают руки. Злодеев нет — остались палачи. Палач — всегда раб. Это рука и топор, приводимые в движение силой страха, толчками опасений... Ведь убивают тех, кого боятся...

Два скелета стояли рядом над своими могилами, и на кости их тихо падали осенние листья. Ветер уныло играл на струнах их ребер и гудел в пустоте черепов. Тьма, сырая и пахучая, смотрела из глубоких впадин глаз. Оба они вздрагивали. Мне было жалко их.

— Пусть они уйдут на свое место! — сказал я Дьяволу.

— А ты гуманист даже на кладбище! — воскликнул он.— Так. Гуманизм более уместен среди трупов — здесь он никого не обижает. На фабриках, на площадях и улицах городов, в тюрьмах и шахтах, среди живых людей — гуманизм смешон и даже может возбудить злобу. Здесь некому над ним смеяться — мертвецы всегда серьезны. И я уверен, что им приятно слышать о гуманизме — ведь это их мертворожденное дитя... А все-таки не идиоты были те, которые хотели поставить на сцену жизни эту красивую кулису, чтобы скрыть за нею мрачный ужас истязания людей, холодную жестокость кучки сильных... силою глупости всех...

И Дьявол хохотал резким смехом зловещей правды.

В темном небе вздрагивали звезды, неподвижно стояли черные камни над могилами прошлого. Но его гнилой запах просачивался сквозь землю, и ветер уносил дыхание мертвецов в сонные улицы города, объятого тишиною ночи.

— Здесь не мало лежит гуманистов,— продолжал Дьявол, широким жестом указав на могилы вокруг себя.— Некоторые из них были даже искренны... в жизни множество забавных недоразумений, и, может быть, не это самое смешное... А рядом с ними, дружески и

мирно, лежат учителя жизни другого типа — те, которые пытались подвести солидный фундамент под старое здание лжи, так кропотливо, с таким трудом воздвигнутое тысячами тысяч мертвецов...

Откуда-то издалека донеслись звуки песни... Два-три веселых крика, вздрагивая, проплыли над кладбищем. Должно быть, какой-то гуляка беззаботно шел во тьме к своей могиле.

— Вот под этим тяжелым камнем гордо гниет прах мудреца, который учил, что общество есть организм, подобный... обезьяне или свинье, не помню. Это хорошо для людей, которые хотят считать себя мозгами организма! Почти все политики и предводители воровских шаек — сторонники этой теории. Если я мозг, я двигаю руками, как хочу, я всегда сумею подавить инстинктивное сопротивление мускулов моей царственной власти — да! А здесь лежит прах человека, который звал людей назад, ко времени, когда они ходили на четвереньках и пожирали червей. «Это были самые счастливые дни жизни»,— усердно доказывал он. Ходить на двух ногах, в хорошем сюртуке, и советовать людям: обрастайте снова шерстью,— это ли не оригинально? Читать стихи, слушать музыку, бывать в музеях, переноситься в день за сотни верст и проповедовать для всех простую жизнь в лесах, на четырех лапах — право, недурно! А этот успокаивал людей и оправдывал их жизнь тем, что доказывал — преступники не люди, они — больная воля, особый, антисоциальный тип. Они — враги законов и морали по природе, значит, с ними не стоит церемониться. От преступлений лечит только смерть. Это — умно! Возложить на одного преступления всех, заранее признав его естественным вместилищем порока и органическим носителем злой воли,— разве это глупо? Всегда есть в жизни некто, оправдывающий уродливое строение жизни, искажающее душу. Мудрые и сморкаются не без смысла. Да, кладбища богаты идеями для лучшего устройства жизни городов...

Дьявол оглянулся вокруг. Белая церковь, как палец скелета-колосса, молча поднималась из тучной нивы мертвых к темному небу, безмолвной ниве звезд. Густая толпа камней над источниками мудрости, одетая в ризы

плесени, окружала эту трубу, разносившую по пустыням вселенной едкий дым человеческих жалоб и молитв. Ветер, напоенный жирным запахом тления, тихо качал ветвями деревьев, срывая умершие листья. И они бесшумно падали на жилища творцов жизни...

— Мы устроим теперь небольшой парад мертвецов, репетицию Страшного суда! — говорил Дьявол, шагая впереди меня по змеиной тропе, среди холмов и камней.— Ты знаешь, Страшный суд будет! Он будет на земле, и день его — лучший день ее! Он наступит, этот день, когда люди сознают все преступления, совершенные против них учителями и законодателями жизни, теми, которые разорвали человека на ничтожные куски бессмысленного мяса и костей. Всё, что живет теперь под именем людей,— это части, цельный человек еще не создан. Он возникнет из пепла опыта, пережитого миром, и, поглотив опыт мира, как море лучи солнца, он загорится над землей, как еще солнце. Я это увижу! Ибо я создаю человека, я создам его!

Старик немного хвастался и впадал в несвойственный для Чёрта лиризм. Я извинил ему это. Что поделаешь? Жизнь искажает даже Дьявола, окисляя своими ядами крепко скованную душу его. К тому же у всех голова кругла, а мысли угловаты, и каждый, глядя в зеркало, видит красавца.

Остановясь среди могил, Дьявол крикнул голосом владыки:

— Кто здесь мудрый и честный человек?..

Был момент молчания, потом — вдруг — земля всколыхнулась под ногами моими, и точно сугробы грязного снега покрыли холмы кладбища. Как будто тысячи молний взрыли ее изнутри, или в недрах ее судорожно повернулось некое чудовище-гигант. Всё вокруг зацвело желтовато-грязным цветом, всюду, точно стебли сухих трав под ветром, закачались скелеты, наполняя тишину трением костей и сухими толчками суставов друг о друга и плиты могил. Толкая друг друга, скелеты вылезали на камни, всюду мелькали черепа, похожие на одуванчики, плотная сеть ребер тесной клеткой окружала меня, напряженно вздрагивали голени под тяжестью уродливо

разверстых костей таза, и всё вокруг кипело в безмолвной суете...

Холодный смех Дьявола покрыл безличные звуки.

— Смотри — они все вылезли, все до одного! — сказал он.— И даже городские дурачки — среди них! Стошнило землю, и вот она изрыгнула из недр своих мертвую мудрость людей...

Влажный шум быстро рос — казалось, чья-то невидимая рука жадно роется в сыром мусоре, сметенном дворником в углу двора.

— Вот как много было в жизни честных и мудрых людей! — воскликнул Дьявол, широко простирая свои крылья над тысячами обломков, теснивших его со всех сторон.

— Кто из вас больше всех сделал людям добра? — громко спросил он.

Всё вокруг зашипело, подобно грибам, когда их жарят в сметане на большой сковороде.

— Позвольте мне пройти вперед! — тоскливо закричал кто-то.

— Это я, Хозяин, я здесь! Это я доказал, что единица — ноль в сумме общества!

— Я пошел дальше его! — возражали откуда-то издали.— Я учил, что всё общество — сумма нолей и потому массы должны подчиняться воле групп.

— А во главе групп стоит единица — и это я! — торжественно крикнул некто.

— Почему — вы? — раздалось несколько тревожных голосов.

— Мой дядя был король!

— Ах, это дядюшке вашего высочества преждевременно отрубили голову?

— Короли теряют головы всегда вовремя! — гордо ответили кости потомка костей, когда-то сидевших на троне.

— Ого-о! — раздался довольный шёпот.— Среди нас есть король! Это встретишь не на всяком кладбище...

Влажные шёпоты и трение костей сливались в один клубок, становясь всё гуще, тяжелее.

— Посмотрите — правда ли, что кости королей голубого цвета? — торопливо спросил маленький скелет с кривым позвоночником.

— Позвольте вам сказать...— внушительно начал какой-то скелет, сидевший верхом на памятнике.

— Лучший пластырь для мозолей — мой! — крикнул кто-то сзади него.

— Я тот самый архитектор...

Но широкий и низенький скелет, расталкивая всех короткими костями рук, кричал, заглушая шелест мертвых голосов:

— Братие во Христе! Не я ли это врач ваш духовный, не я ли лечил пластырем кроткого утешения мозоли ваших душ, натертые печалями вашей жизни?

— Страданий нет! — заявил кто-то раздраженно.— Всё существует только в представлении.

— Тот архитектор, который изобрел низкие двери...

— А я — бумагу для истребления мух!..

— ...для того, чтобы люди, входя в дом, невольно склоняли голову перед хозяином его...— раздавался назойливый голос.

— Не мне ли принадлежит первенство, братие? Это я поил души ваши, алкавшие забвения печалей, млеком и медом размышлений моих о тщете всего земного!

— Всё, что есть,— установлено раз навсегда! — прожужжал чей-то глухой голос.

Скелет с одной ногой, сидевший на сером камне, поднял голень, вытянул ее и почему-то крикнул:

— Разумеется, так!

Кладбище превратилось в рынок, где каждый выхвалял свой товар. В темную пустыню ночной тишины вливалась мутная река подавленных криков, поток грязного хвастовства, душного самолюбия. Как будто туча комаров кружилась над гнилым болотом и пела, ныла и жужжала, наполняя воздух всеми отравами, всеми ядами могил. Все толпились вокруг Дьявола, остановив на лице его темные впадины глаз и стиснутые зубы свои,— точно он был покупателем старья. Воскресали одна за другой мертвые мысли и кружились в воздухе, как жалкие осенние листья.

Дьявол смотрел на это кипение зелеными глазами, и его взгляд изливал на груды костей фосфорически мерцающий, холодный свет.

Скелет, сидевший на земле у ног его, говорил, подняв кости руки выше черепа и плавно качая ими в воздухе:

— Каждая женщина должна принадлежать одному мужчине...

Но в его шёпот вплетался другой звук, слова его речи странно обнимались с другими словами.

— Только мертвому ведома истина!..

И кружились медленно еще слова:

— Отец, говорил я, подобен пауку...

— Жизнь наша на земле — хаос заблуждений и тьма кромешная!

— Я трижды был женат, и все три раза — законно...

— Всю жизнь он неустанно ткет паутину благополучия семьи...

— И каждый раз на одной женщине...

И вдруг откуда-то явился скелет, пронзительно скрипевший своими желтыми и ноздреватыми костями. Он поднял к глазам Дьявола свое полуразрушенное лицо и заявил:

— Я умер от сифилиса, да! Но я все-таки уважал мораль! Когда жена моя изменила мне — я сам предал гнусный поступок ее на суд закона и общества...

Но его оттолкнули, затерли костями, и снова, как тихий вой ветра в трубе, раздались смешанные голоса:

— Я изобрел электрический стул! Он убивает людей без страданий.

— За гробом, утешал я людей, вас ждет блаженство вечное...

— Отец дает детям жизнь и пищу... человек становится таковым после того, как он стал отцом, а до этого времени — он только член семьи...

Череп, формой похожий на яйцо, с кусками мяса на лице, говорил через головы других:

— Я доказал, что искусство должно подчиняться комплексу мнений и взглядов, привычек и потребностей общества...

Другой скелет, сидя верхом на памятнике, изображавшем сломанное дерево, возражал:

— Свобода может существовать только как анархия!

— Искусство — это приятное лекарство для души, усталой от жизни и труда...

— Это я утверждал, что жизнь есть труд! — доносилось издали.

— Пусть книга будет красива, как те коробочки с пилюлями, которые дают в аптеках...

— Все люди должны работать, некоторые обязаны наблюдать за работой... ее плодами пользуется всякий, предназначенный для этого достоинствами своими и заслугами...

— Красиво и человеколюбиво должно быть искусство... Когда я устаю, оно поет мне песни отдыха...

— А я люблю,— заговорил Дьявол,— свободное искусство, которое не служит иному богу, кроме богини красоты. Особенно люблю его, когда оно, как целомудренный юноша, мечтая о бессмертной красоте, весь полный жажды насладиться ею, срывает пестрые одежды с тела жизни... и она является пред ним, как старая распутница, вся в морщинах и язвах на истрепанной коже. Безумный гнев, тоску о красоте и ненависть к стоячему болоту жизни — это я люблю в искусстве... Друзья хорошего поэта — женщина и чёрт...

С колокольни сорвался стонущий крик меди и поплыл над городом мертвых, невидимо и плавно качаясь во тьме, точно большая птица с прозрачными крыльями... Должно быть, сонный сторож неверной и вялою рукой лениво дернул веревку колокола. Медный звук плавился в воздухе и умирал. Но раньше чем погас его последний трепет, раздался новый резкий звук разбуженного колокола ночи. Тихо колебался душный воздух, и сквозь печальный гул дрожащей меди просачивался шорох костей, шелест сухих голосов.

И снова я слышал скучные речи назойливой глупости, клейкие слова мертвой пошлости, пахальный говор торжествующей лжи, раздраженный ропот самомнения. Ожили все мысли, которыми живут люди в городах, но не было ни одной из тех, которыми они могут гордиться.

Звенели все ржавые цепи, которыми окована душа жизни, но не вспыхнула ни одна из молний, гордо освещающих мрак души человека.

— Где же герои? — спросил я Дьявола.

— Они — скромны, и могилы их забыты. При жизни душили их, и на кладбище они задавлены мертвыми костями! — ответил он, качая крыльями, чтобы разогнать жирный запах гниения, окружавший нас темной тучей, в которой рылись, как черви, однотонные, серые голоса мертвецов.

Сапожник говорил, что он первый из всех людей своего цеха имеет право на благодарность потомства — это он изобрел сапоги с узкими носками. Ученый, описавший в своей книге тысячу разных пауков, утверждал, что он величайший ученый. Изобретатель искусственного молока раздраженно ныл, отталкивая от себя изобретателя скорострельной пушки, который упорно толковал всем вокруг пользу своей работы для мира. Тысячи тонких и влажных бечевок стягивали мозг, впиваясь в него, как змеи. И все мертвые, о чем бы они ни говорили,— говорили, как строгие моралисты, как тюремщики жизни, влюбленные в свое дело.

— Довольно! — сказал Дьявол.— Мне надоело это... Мне надоело всё и на кладбищах мертвых и в городах, кладбищах для живых... Вы, стражи истины! В могилы!..

Он крикнул железным голосом владыки, которому противна его власть.

Тогда пепельно-серая и желтая масса праха вдруг зашипела, закружилась и вскипела, как пыль под ударом вихря. Земля раскрыла тысячи темных пастей и, чмокая, лениво, как сытая свинья, снова проглотила извергнутую пищу свою, чтобы переваривать ее далее... Всё вдруг исчезло, камни пошатнулись и твердо встали вновь на свои места. Остался только душный запах, хвативший за горло тяжелой и влажной рукой.

Дьявол сел на одну из могил и, поставив локти на свои колена, обнял голову длинными пальцами черных рук. Его глаза неподвижно остановились в темной дали, в толпе камней и могил... Над головой его горели звезды, в посветлевшем небе тихо плавали медные звуки колокола и будили ночь.

— Ты видел? — сказал он мне.— На зыбкой, на ядовитой, но цепкой почве всей этой глупой плесени, нехитрой лжи и липкой пошлости — построено тесное и темное здание законов жизни, клетка, в которую вы все загнаны покойниками, как овцы... Лень и трусость думать скрепляет гибкими обручами вашу тюрьму. Истинные хозяева жизни вашей — всегда мертвецы, и хотя тобой правят живые люди, но вдохновляют их — покойники. Источниками мудрости житейской являются могилы. Я говорю: ваш здравый смысл — цветок, вспоенный соками трупов. Быстро сгнивая в земле, покойник хочет вечно жить в душе живого человека. Тонкий и сухой прах мертвых мыслей свободно проникает в мозг живых, и вот почему ваши проповедники мудрости — всегда проповедники смерти духа!

Дьявол поднял голову свою, и зеленые глаза его остановились на моем лице двумя холодными звездами.

— Что проповедуют на земле громче всего, что хотят утвердить на ней незыблемо? Раздробление жизни. Законность разнообразия положений для людей и необходимость единства душ для них. Квадратное однообразие всех душ, чтобы можно было удобно укладывать людей, как кирпичи, во все геометрические фигуры, удобные для нескольких владельцев жизни. Эта лицемерная проповедь примирения горького чувства порабощенных с жестокой и лживой волей ума поработителей — вызвана гнусным желанием умертвить творческий дух протеста, эта проповедь — только подлое стремление построить из камней лжи склеп для свободы духа...

Светало. И на небе, побледневшем в ожидании солнца, тихо меркли звезды. Но всё ярче разгорались глаза Дьявола.

— Что нужно проповедовать людям для жизни красивой и целостной? Однообразие положений для всех людей и различие всех душ. Тогда жизнь будет кустом цветов, объединенных на корне уважения всех к свободе каждого, тогда она будет костром, горящим на почве общего всем чувства дружбы и общего стремления подняться выше... Тогда будут бороться мысли, но люди останутся товарищами. Это невозможно? Это должно быть, потому что этого еще не было!

— Вот наступает день! — продолжал Дьявол, посмотрев на восток.— Но кому солнце принесет радость, если ночь спит в самом сердце человека? Людям нет времени воспринять солнце, большинство хочет только хлеба, одни заняты тем, чтобы дать его возможно меньше, другие одиноко ходят в суете жизни и всё ищут свободы, и не могут найти ее среди неустанной борьбы за хлеб. И в отчаянии, несчастные, озлобленные одиночеством, они начинают примирять непримиримое. И так тонут лучшие люди в тине грубой лжи, сначала искренно не замечая своей измены самим себе, затем сознательно изменяя своей вере, своим исканиям...

Он встал и мощно расправил крылья.

— Пойду и я по дороге моих ожиданий навстречу прекрасных возможностей...

И, сопровождаемый унылым пеньем колокола,— умирающими звуками меди,— он полетел на запад...

Когда я рассказал этот сон одному американцу, более других похожему на человека, он сначала задумался, а потом воскликнул, улыбаясь:

— А, понимаю! Дьявол был агентом фирмы кремационных печей! Конечно, так! Всё, что он говорил,— доказывает необходимость сжигать трупы... Но, знаете, какой прекрасный агент! Чтобы служить своей фирме — он даже во сне является людям...

В АМЕРИКЕ

ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА

...Над океаном и землею висел туман, густо смешанный с дымом, мелкий дождь лениво падал на темные здания города и мутную воду рейда.

У бортов парохода собрались эмигранты, молча глядя на всё вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости.

— Это кто? — тихо спросила девушка-полька, изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил:

— Американский бог...

Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой окисью. Холодное лицо слепо смотрит сквозь туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза. Под ногами Свободы — мало земли, она кажется поднявшейся из океана, пьедестал ее — как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе гордое величие и красоту. Кажется — вот факел в крепко сжатых пальцах ярко вспыхнет, разгонит серый дым и щедро обольет всё кругом горячим, радостным светом.

А кругом ничтожного куска земли, на котором она стоит, скользят по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера. Ревут сирены, подобно голосам сказочных гигантов, раздаются сердитые свистки, гремят цепи якорей, сурово плещут волны океана.

Всё вокруг бежит, стремится, вздрагивает напряженно. Винты и колеса пароходов торопливо бьют воду — она покрыта желтой пеной, изрезана морщинами.

И кажется, что всё — железо, камни, вода, дерево — полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья, в плену тяжелого труда. Всё стонет, воет, скрежещет, повинуясь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Повсюду на груди воды, изрытой и разорванной железом, запачканной жирными пятнами нефти, засоренной щепами, стружками, соломой и остатками пищи,— работает невидимая глазом холодная и злая сила. Она сурово и однообразно дает толчки всей этой необъятной машине, в ней корабли и доки — только маленькие части, а человек — ничтожный винт, невидимая точка среди уродливых, грязных сплетений железа, дерева, в хаосе судов, лодок и каких-то плоских барок, нагруженных вагонами.

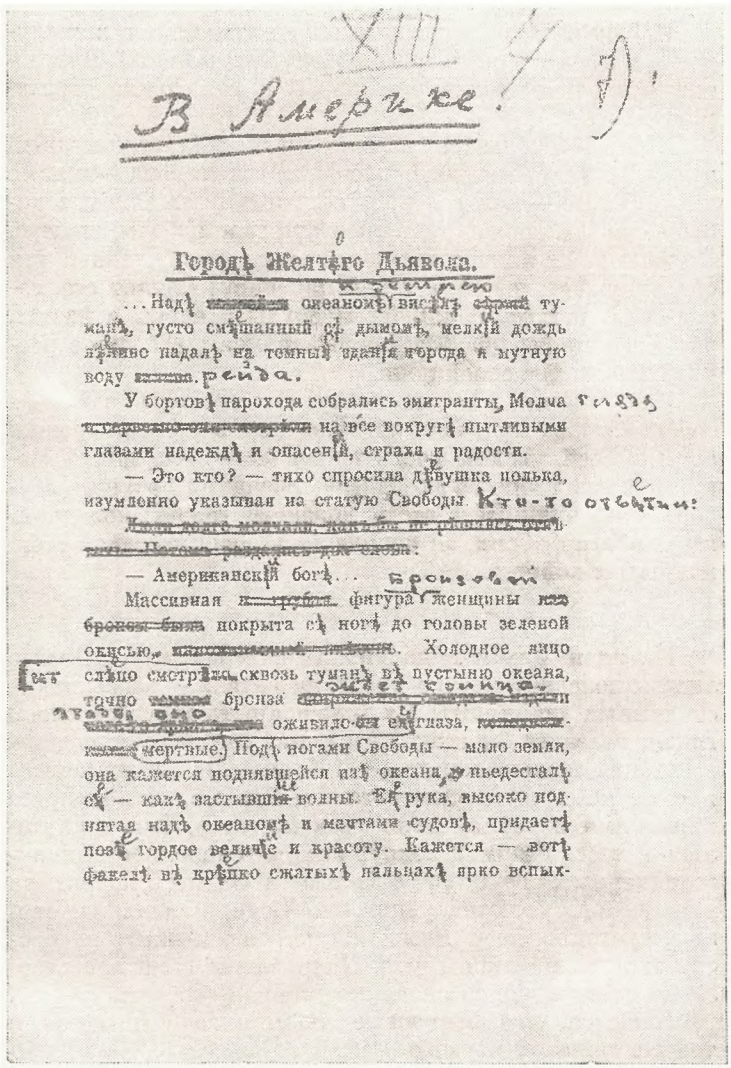
Ошеломленное, оглохшее от шума, задерганное этой пляской мертвой материи двуногое существо, всё в черной копоти и масле, странно смотрит на меня, сунув руки в карманы штанов. Лицо его замазано густым налетом жирной грязи, и не глаза живого человека сверкают на нем, а белая кость зубов.

Медленно ползет судно среди толпы других судов. Лица эмигрантов стали странно серы, отупели, что-то однообразно-овечье покрыло все глаза. Люди стоят у борта и безмолвно смотрят в туман.

А в нем рождается, растет нечто непостижимо огромное, полное гулкого ропота, оно дышит навстречу людям тяжелым, пахучим дыханием, и в шуме его слышно что-то грозное, жадное.

Это — город, это — Нью-Йорк. На берегу стоят двадцатиэтажные дома, безмолвные и темные «скребницы неба». Квадратные, лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх угрюмо и скучно. В каждом доме чувствуется надменная кичливость своею высотой, своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей...

Издали город кажется огромной челюстью, с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением.



XII

В Америке!

Городъ Желтаго Дьявола.

...Надъ океаномъ висѣлъ сѣрый туманъ, густо смѣшанный съ дымомъ, мелкій дождь лѣниво падалъ на темныя зданія города и мутную воду Гудзона.

У бортовъ парохода собрались эмигранты. Молча они смотрѣли на все вокругъ пытливыми глазами надеждъ и опасеній, страха и радости.

— Это кто? — тихо спросила дѣвушка полька, изумленно указывая на статую Свободы.

— Американскій богъ...

Массивная фигура женщины покрыта съ ногъ до головы зеленой окисью. Холодное лицо слѣпо смотритъ сквозь туманъ въ пустыню океана, точно бронза оживило ея глаза, мертвые. Подъ ногами Свободы — мало земли, она кажется поднявшейся изъ океана пьедесталъ ея — какъ застывшія волны. Ея рука, высоко поднятая надъ океаномъ и мачтами судовъ, придаетъ позѣ гордое величіе и красоту. Кажется — вотъ факелъ въ крѣпко сжатыхъ пальцахъ ярко вспых-

«В АМЕРИКЕ»

Первая страница очерка с правкой М. Горького для издания «Книга».

Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа,— в желудок, который проглотил несколько миллионов людей и растирает, перевариваетих.

Улица — скользкое, алчное горло, по нему куда-то вглубь плывут темные куски пищи города — живые люди. Везде — над головой, под ногами и рядом с тобой — живет, грохочет, торжествуя свои победы, железо. Вызванное к жизни силою Золота, одушевленное им, оно окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы и растет, растет, опираясь на безмолвный камень, всё шире раскидывая звенья своей цепи.

Как огромные черви, ползут локомотивы, влача за собою вагоны, крякают, подобно жирным уткам, рожки автомобилей, угрюмо воет электричество — душный воздух напоен, точно губка влагой, тысячами ревущих звуков. Придавленный к этому грязному городу, испачканный дымом фабрик, он неподвижен среди высоких стен, покрытых копотью.

На площадях и в маленьких скверах, где пыльные листья деревьев мертво висят на ветвях,— возвышаются темные монументы. Их лица покрыты толстым слоем грязи, глаза их, когда-то горевшие любовью к родине, засыпаны пылью города. Эти бронзовые люди мертвы и одиноки в сетях многоэтажных домов, они кажутся карликами в черной тени высоких стен, они заплутались в хаосе безумия вокруг них, остановились и, полуослепленные, грустно, с болью в сердце смотрят на жадную суету людей у ног их. Люди, маленькие, черные, суетливо бегут мимо монументов, и никто не бросит взгляда на лицо героя. Ихтиозавры капитала стерли из памяти людей значение творцов свободы.

Кажется, что бронзовые люди охвачены одной и той же тяжелой мыслью:

«Разве такую жизнь хотел я создать?»

Вокруг кипит, как суп на плите, лихорадочная жизнь, бегут, вертятся, исчезают в этом кипении, точно крупинки в бульоне, как щепки в море, маленькие

люди. Город ревет и глотает их одного за другим ненасытной пастью.

Одни из героев опустили руки, другие подняли их, протягивая над головами людей, предостерегая:

— Остановитесь! Это не жизнь, это безумие...

Все они — лишние в хаосе уличной жизни, все не на месте в диком реве жадности, в тесном плену угрюмой фантазии из камня, стекла и железа.

Однажды ночью они все вдруг сойдут с пьедесталов и тяжелыми шагами оскорбленных пройдут по улицам, унося тоску своего одиночества прочь из этого города, в поле, где блестит луна, есть воздух и тихий покой. Когда человек всю жизнь трудился на благо своей родины, он этим несомненно заслужил, чтоб после смерти его оставили в покое.

По тротуарам спешно идут люди туда и сюда, по всем направлениям улиц. Их всасывают глубокие поры каменных стен. Торжествующий гул железа, громкий вой электричества, гремящий шум работ по устройству новой сети металла, новых стен из камня — всё это заглушает голоса людей, как буря в океане — крики птиц.

Лица людей неподвижно спокойны — должно быть, никто из них не чувствует несчастья быть рабом жизни, пищей города-чудовища. В печальном самомнении они считают себя хозяевами своей судьбы — в глазах у них, порою, светится сознание своей независимости, но, видимо, им непонятно, что это только независимость топора в руке плотника, молотка в руке кузнеца, кирпича в руках невидимого каменщика, который, хитро усмехаясь, строит для всех одну огромную, но тесную тюрьму. Есть много энергичных лиц, но на каждом лице прежде всего видишь зубы. Свободы внутренней, свободы духа — не светится в глазах людей. И эта энергия без свободы напоминает холодный блеск ножа, который еще не успели иступить. Это — свобода слепых орудий в руках Желтого Дьявола — Золота.

Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабо-

щены. И в то же время я нигде не встречал их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этом жадном и грязном желудке обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы...

О людях — страшно и больно говорить.

Вагон «воздушной дороги» с воем и грохотом мчится по рельсам, между стен домов узкой улицы, на высоте третьих этажей, однообразно опутанных решетками железных балконов и лестниц. Окна открыты, и почти в каждом из них — фигуры людей. Одни работают, что-то шьют или считают, наклонив головы над конторками, другие просто сидят у окон, лежат грудью на подоконниках и смотрят на вагоны, каждую минуту пробегающие мимо их глаз. Старые, молодые и дети — все одинаково безмолвны, однообразно спокойны. Привыкли к этим стремлениям без цели, привыкли думать, что тут есть цель. В глазах — нет гнева против владычества железа, нет ненависти к его торжеству. Мелькание вагонов сотрясает стены домов, вздрагивают груди женщин, головы мужчин; на решетках балконов валяются тела детей и тоже дрожат, привыкая принимать эту отвратительную жизнь как должное, неизбежное. В мозгах, которые всегда встряхивают, вероятно, невозможно мысли плести свои смелые, красивые кружева, невозможно родить живую, дерзкую мечту.

Вот промелькнуло темное лицо старухи в грязной кофте, расстегнутой на груди. Уступая дорогу вагонам, замученный, отравленный воздух испуганно бросился в окна, седые волосы на голове старухи затрепетали, точно крылья серой птицы. Она закрыла свинцовые, погасшие глаза. Исчезла.

В мутных внутренностях комнат мелькают железные прутья кроватей, покрытых лохмотьями, грязная посуда и объедки пищи на столах. Хочется увидеть цветы на окнах, ищешь человека с книгой в руке. Стены льются мимо глаз, точно расплавленные, они текут грязным потоком навстречу, в быстром беге потока тягостно копошатся безмолвные люди.

Лысый череп тускло блеснул за стеклом, покрытым слоем пыли. Он однообразно качался над каким-то станком. Девушка, рыжеволосая и тонкая, сидит на окне и вяжет чулок, считая темными глазами петли. Ударом воздуха ее качнуло внутрь комнаты,— она не отвела глаз от работы, не поправила платья, развеянного ветром. Два мальчика, лет по пяти, строят на балконе дом из щепок. Он развалился от сотрясения. Дети хватают маленькими лапами тонкие щепы, чтобы они не упали на улицу, сквозь отверстия в решетке балкона. И тоже не смотрят на причину, помешавшую их задаче. Еще и еще лица, одно за другим, мелькают в окнах, точно осколки чего-то одного — большого, но разбитого в ничтожные пылинки, растертого в дресву.

Гонимый бешеным бегом вагонов, воздух развевает платье и волосы людей, бьет им в лицо теплой, душной волной, толкает, вгоняет им в уши тысячи звуков, бросает в глаза мелкую, едкую пыль, слепит, оглушает протяжным, непрерывно воющим звуком...

Живому человеку, который мыслит, создает в своем мозгу мечты, картины, образы, родит желания, тоскует, хочет, отрицает, ждет,— живому человеку этот дикий вой, визг, рев, эта дрожь камня стен, трусливый дребезг стекол в окнах — всё это ему мешало бы. Возмущенный, он вышел бы из дома и сломал, разрушил эту мерзость — «воздушную дорогу»; он заставил бы замолчать нахальный вой железа, он — хозяин жизни, жизнь — для него, и всё, что ему мешает жить,— должно быть уничтожено.

Люди в домах города Желтого Дьявола спокойно переносят всё, что убивает человека.

Внизу, под железной сетью «воздушной дороги», в пыли и грязи мостовых, безмолвно возятся дети,— безмолвно, хотя они смеются и кричат, как дети всего мира, но голоса их тонут в грохоте над ними, точно капли дождя в море. Они кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила из окон домов в грязь улицы. Питая свои тела жирными испарениями города, они бледны и желты, кровь их отравлена, нервы раздраже-

ны зловещим криком ржавого металла, угрюмым воем порабощенных молний.

«Разве из этих детей вырастут здоровые, смелые, гордые люди?» — спрашиваешь себя. В ответ отовсюду скрежет, хохот, злой визг.

Вагоны несутся мимо Ист-Сайда, квартала бедных, компостной ямы города. Глубокие канавы улиц, ведущие людей куда-то в глубины города, где — представляется уму — устроена огромная, бездонная дыра — котел или кастрюля. Туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают золото. Канавы улиц кишат детьми.

Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее зеленое, бескровное, костлявое лицо. Ее глаза, тупые от голода и горящие жадностью, хитрые и мстительные или рабски покорные и всегда нечеловеческие, я всюду видел, но ужас нищеты Ист-Сайда — мрачнее всего, что я знаю.

В этих улицах, набитых людьми, точно мешки крупой, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в едкой пыли и духоте.

Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуждает среди них дикую вражду; охваченные желанием проглотить ее, они дерутся, как маленькие собачонки. Они покрывают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, в два и позднее — они всё еще роются в грязи, жалкие микробы нищеты, живые упреки жадности богатых рабов Желтого Дьявола.

На углах грязных улиц стоят какие-то печи или жаровни, в них что-то варится, пар, вырываясь по тонкой трубке на воздух, свистит в маленький свисток на конце ее. Тонкий, режущий ухо свист прорывает своим дрожащим острием все звуки улиц, он тянется бесконечно, как ослепительно белая, холодная нить, он закручивается вокруг горла, путает мысли в голове, бесит, гонит куда-то и, не смолкая ни на секунду, дрожит в гнилом запахе, пожравшем воздух, дрожит насмешливо, злобно пронизывая эту жизнь в грязи.

Грязь — стихия, она пропитала собою всё: стены домов, стекла окон, одежды людей, поры их тела, мозги, желания, мысли...

В этих улицах темные впадины дверей подобны загнившим ранам в камне стен. Когда, заглянув в них, увидишь грязные ступени лестниц, покрытые мусором, то кажется, что там, внутри, всё разложилось и гнойно, как во чреве трупа. А люди представляются червями...

Высокая женщина с большими темными глазами стоит у двери, на руках у нее ребенок, ее кофта расстегнута, бессильно повисла длинным кошелем ее синяя грудь. Ребенок кричит, царапая пальцами вялое, голодное тело матери, тычется в него лицом, чмокает губами, на минуту умолкает, вновь кричит с большей силой, бьет руками и ногами грудь матери. Она стоит, точно каменная, глаза ее круглы, как у совы,— они смотрят упорно в одну точку перед собой. Чувствуешь, что этот взгляд не может видеть ничего, кроме хлеба. Она плотно сжала губы и дышит носом, ноздри ее вздрагивают, втягивая пахучий, густой воздух улицы; этот человек живет воспоминанием о пище, проглоченной им вчера, мечтой о куске, который он, может быть, съест когда-нибудь. Ребенок кричит, судорожно подергиваясь маленьким желтым тельцем,— она не слышит его криков, не чувствует ударов...

Старик, длинный и худой, с хищным лицом, без шляпы на седой голове, прищурив красные веки больных глаз, осторожно роется в куче мусора, отбирая куски угля. Когда к нему подходят, он неуклюже, точно волк, поворачивает туловище и что-то говорит.

Юноша, очень бледный и худой, опираясь на столб фонаря, смотрит серыми глазами вдоль улицы и по временам встряхивает курчавой головой. Его руки засунуты глубоко в карманы брюк и судорожно шевелят там пальцами...

Здесь, в этих улицах, человек заметен, слышен его голос, озлобленный, раздраженный, мстительный. Здесь у человека есть лицо — голодное, возбужденное, тоскующее. Видно, что люди чувствуют, заметно, что они думают. Они кишат в грязных канавах, трутся друг о друга, точно сор в потоке мутной воды, их кружит и вертит сила голода, оживляет острое желание съесть что-нибудь.

В ожидании пищи, в мечтах о наслаждении быть сытыми, они глотают насыщенный ядами воздух, и в темных глубинах их душ рождаются острые мысли, хитрые чувства, преступные желания.

Они подобны болезнетворным микробам в желудке города, и будет время, когда они его отравят теми же ядами, которыми он так щедро питает их теперь!

Юноша у фонаря время от времени встряхивает головой, крепко стиснув голодные зубы. Мне кажется, я понимаю, о чем он думает, чего он хочет,— иметь огромные руки страшной силы и крылья за спиной он хочет, мне кажется. Это для того, чтобы однажды днем подняться над городом, опустить в него руки, как два стальных рычага, и смешать в нем всё в груду мусора и праха — кирпич и жемчуг, золото и мясо рабов, стекло и миллионеров, грязь, идиотов, храмы, деревья, отравленные грязью, и эти глупые многоэтажные «скребницы неба», всё, весь город — в кучу, в тесто из грязи и крови людей — в скверный хаос. Это страшное желание естественно в мозгу юноши, как нарыв на теле худосочного. Где много работы рабов, там не может быть места для свободной, творческой мысли, там могут цвести только идеи разрушения, ядовитые цветы мести, буйный протест животного. Это понятно — искажая душу человека, люди не должны ждать от него милосердия к ним.

Человек имеет право мести — это право дают ему люди.

В мутном небе, покрытом копотью, гаснет день. Огромные дома становятся еще мрачнее, тяжелее. Кое-где в их темных недрах вспыхивают огни и блестят, точно желтые глаза странных зверей, которые должны всю ночь стеречь мертвое богатство этих гробниц.

Люди кончили работу дня и,— не думая о том, зачем она сделана, нужна ли она для них,— быстро бегут спать. Тротуары залиты темными потоками человеческого тела. Все головы однообразно покрыты круглыми шляпами, и все мозги,— это видно по глазам,— уже уснули. Работа кончена, думать больше не о чем. Все ду-

мают только для хозяина, о себе думать нечего; если есть работа — будет хлеб и дешевые наслаждения жизнью,— кроме этого, ничего не нужно человеку в городе Желтого Дьявола.

Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим мужчинам, и ночью, в душных комнатах, потные и скользкие от пота, будут целоваться, чтобы для города родилась новая, свежая пища...

Идут. Не слышно смеха, нет веселого говора, и не блестят улыбки.

Крякают автомобили, щелкают бичи, густо поют электрические провода, гремят вагоны. Вероятно, где-нибудь играет музыка.

Мальчишки резко выкрикивают названия газет. Подлый звук шарманки и чей-то вопль сливаются в трагикомическом объятии убийцы и балаганного шута. Безвольно идут маленькие люди — точно камни катятся под гору...

Всё больше и больше вспыхивает желтых огней — целые стены сверкают пламенными словами о пиве, о виски, о мыле, новой бритве, шляпах, сигарах, о театрах. Грохот железа, гонимого всюду вдоль улиц жадными толчками Золота, не становится тише. Теперь, когда везде горят огни, этот непрерывный вопль еще значительнее, он приобретает новый смысл, более тяжелую силу.

Со стен домов, с вывесок, из окон ресторанов — льется ослепляющий свет расплавленного Золота. Нахальный, крикливый, он торжествующе трепещет всюду, режет глаза, искажает лица своим холодным блеском. Его хитрое сверкание полно острой жажды вытянуть из карманов людей ничтожные крупицы их заработка,— он слагает свои подмигивания в огненные слова и этими словами молча зовет рабочих к дешевым удовольствиям, предлагает им удобные вещи...

Страшно много огня в этом городе! Сначала это кажется красивым и, возбуждая, веселит. Огонь — свободная стихия, гордое дитя солнца. Когда он буйно расцветает — его цветы трепещут и живут прекрасней всех цветов земли. Он очищает жизнь, он может уничтожить всё ветхое, умершее и грязное.

Но когда в этом городе смотришь на огонь, заключенный в прозрачные темницы из стекла, понимаешь, что здесь — как всё — огонь порабощен. Он служит Золоту, для Золота и враждебно далек от людей...

Как всё — железо, камень, дерево — огонь тоже в заговоре против человека; ослепляя его, он зовет:

— Иди сюда!

И выманивает:

— Отдай твои деньги!..

Люди идут на его зов, покупают ненужную им дрянь и смотрят на зрелища, отупляющие их.

Кажется, что где-то в центре города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком Золота, он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер, ком Золота начинает вертеться в противоположную сторону, образуя холодный огненный вихрь, и втягивает в него людей затем, чтобы они отдали назад золотую пыль, пойманную днем. Они отдают всегда больше того, сколько взяли, и на утро другого дня ком Золота увеличивается в объеме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий вой железа, его раба, грохот всех сил, порабощенных им.

И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь и мозг людей для того, чтобы к вечеру эта кровь, этот мозг обратились в холодный желтый металл. Ком Золота — сердце города. В его биении — вся жизнь, в росте его объема — весь смысл ее.

Для этого люди целыми днями роют землю, куют железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного, больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело.

Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рудой, из которой Он неустанно плавит Золото, свою плоть и кровь.

Из пустыни океана идет ночь и дышит на город прохладным соленым дыханием. Тысячами стрел вонзаются в нее холодные огни — она идет, сострадательно окуты-

вая темными одеждами безобразие домов, мерзость узких улиц, прикрывая грязь лохмотьев нищеты. Дикий вопль жадного безумия несется ей навстречу, разрывая ее тишину,— она идет и медленно гасит нахальный блеск порабощенного огня, закрывая своей мягкой рукой гнойные язвы города.

Но, вступая в сети улиц, она не в силах победить, разогнать своим свежим дыханием ядовитые испарения города. Она трется о камень стен, нагретый солнцем, ползет по ржавому железу крыш, по грязи мостовых, пропитывается ядовитой пылью, глотает запахи и, опуская крылья, бессильно, неподвижно ложится на крыши домов, в канавы улиц. От нее осталась только тьма,— свежесть и прохлада исчезли, проглоченные камнем, железом, деревом, грязными легкими людей. В ней больше нет тишины, нет поэзии...

Город засыпает в духоте, он ворчит, как огромное животное. Оно слишком много пожрало за день разной пищи, ему жарко, неловко и снятся дурные, тяжелые сны.

Вздрагивая, угасает огонь, отслужив свою жалкую службу провокатора, лакея рекламы. Дома всасывают людей, одного за другим, в свои каменные внутренности.

Худой, высокий и сутулый человек стоит на углу улицы и скучно бесцветными глазами смотрит направо и налево, медленно повертывая голову. Куда идти? Все улицы одинаковы, и все дома смотрят друг на друга бельмами тусклых окон одинаково безразлично и мертво...

Душная тоска давит горло теплой рукой, стесняя дыхание. Над крышами домов неподвижно стоит прозрачное облако дневных испарений проклятого, несчастного города. Сквозь эту пелену в недосягаемой высоте небес тускло мерцают тихие звезды.

Человек снял шляпу, поднял голову, смотрит вверх. Высота домов в этом городе оттолкнула небо дальше от земли, чем где-либо. Звезды — мелки, одиноки...

Вдали тревожно звучит медная труба. Длинные ноги человека странно вздрагивают, и он идет в одну из улиц, шагая медленно, наклонив голову и размахивая руками.

Уже поздно, улицы становятся всё более пустынными. Одинокие, маленькие люди исчезают, точно мухи, пропадая во тьме. На углах неподвижно стоят полицейские в серых шляпах с палками в руках. Они жуют табак, медленно двигая челюстями.

Человек идет мимо них, мимо телефонных столбов и множества черных дверей в стенах домов,— черных дверей, сонно разинувших квадратные пасти. Где-то далеко гремит и воет вагон трамвая. Ночь задохнулась в глубоких клетках улиц, ночь умерла.

Человек идет, размеренно передвигая ноги, и качает свой длинный согнутый корпус. В его фигуре есть что-то думающее и хотя нерешительное, но — решающее...

Мне кажется, он — вор.

Приятно видеть человека, который чувствует себя живым в черных сетях города.

Раскрытые окна дышат тошным запахом человеческого пота.

Непонятные, глухие звуки дремотно возятся в душной, тоскливой тьме...

Уснул и сонно бредит мрачный город Желтого Дьявола.

New York, Staten Island.

ЦАРСТВО СКУКИ

Когда приходит ночь — на океане вдруг поднимается к небу призрачный город, весь из огней. Тысячи рдеющих искр раскаленно сверкают во тьме, тонко и четко рисуя на темном фоне неба стройные башни чудесных замков, дворцов и храмов из разноцветного хрусталя. В воздухе трепещет золотая паутина, сплетаясь в прозрачные узоры пламени, и замирает, любуясь своей красотой, отраженной в воде. Сказочно и непонятно это сверкание огня, который горя́ — не уничтожает; невыразимо прекрасен его великолепный, едва заметный для глаза трепет, создающий в пустыне неба и океана волшебную картину огненного города. Над ним колышет-

ся красноватое зарево, и вода отражает его очертания, сливая их в причудливые пятна расплавленного золота...

Игра огня рождает странные мечты: кажется, что там, в залах дворцов, в ярком блеске пламенной радости, тихо и гордо звучит музыка, которой не слыхал никто и никогда. На волне ее стройного течения носятся, точно крылатые звезды, лучшие мысли земли. В священном танце они соприкасаются одна с другой и, ярко вспыхнув в мимолетном объятии, рождают новое пламя, новую мысль.

Кажется, что там, в мягкой тьме, на зыбкой груди океана, качается чудесно сотканная из нитей золота, цветов и звезд большая колыбель,— в ней, ночью, отдыхает солнце.

Солнце ставит человека ближе к правде жизни. Днем на месте огненной сказки видны только белые воздушные здания.

Голубой туман дыхания океана смешан с дымом города, серым и мутным, белые, легкие постройки окутаны прозрачной пеленой, они, подобно мареву, заманчиво дрожат, зовут к себе и обещают что-то прекрасное, утешающее.

Там, сзади, тяжело стоят в тучах дыма и пыли квадратные дома города, и, не смолкая, раздается его ненасытный, голодно-жадный рев. Этот напряженный звук, сотрясающий воздух и душу, немолчный вой железных струн, тоскливый вопль сил жизни, угнетаемых силою Золота, холодный, насмешливый свист Желтого Дьявола,— этот шум гонит прочь от земли, раздавленной и загрязненной вонючим телом города. И люди идут на берег океана, где стоят, обещая им отдых и тишину, красивые белые здания.

Они тесно сомкнулись на длинной песчаной косе, которая, подобно ножу, глубоко и остро вонзилась в темные воды. Песок блестит на солнце теплым желтым блеском, и на его бархате прозрачные здания подобны тонким вышивкам из белого шелка. Как будто некто

пришел на острие косы и погрузился в волны, бросив свои богатые одежды на грудь им.

Хочется пойти и прикоснуться к мягким, ласковым тканям, лечь на их пышные складки и смотреть в пустыню, где бесшумно и быстро мелькают белые птицы, где океан и небо дремотно замерли в знойном блеске солнца.

Это называется — Кони Айланд.

По понедельникам газеты города с торжеством извещают читателя:

«Вчера на Кони Айланд было 300 000 человек. Потеряно 23 ребенка»...

...Нужно долго ехать, в пыли и криках улиц, на трамвае по Бруклину и острову Лонг Айланд, прежде чем перед глазами явится ослепительное великолепие Кони Айланда. И как только человек встанет перед входом в этот город огня — он ослеплен. В глаза ему бросают сотни тысяч холодных белых искр, и он долго ничего не может разобрать в сверкающей пыли, вокруг него — всё слито в буйный вихрь огненной пены, всё кружится, блестит и увлекает. Человека сразу ошеломили, ему раздавили этим блеском сознание, изгнали из него мысль и сделали личность куском толпы. Пьяно и безвольно люди идут куда-то среди сверкания огня. В мозг проникает матово-белый туман, жадное ожидание окутывает душу вязким пологом. Пораженная блеском толпа людей вливается черным потоком в неподвижное озеро света, отовсюду сдавленного темными границами ночи.

Везде сухо и холодно сверкают маленькие лампочки, они прилеплены ко всем столбам и стенам, к наличникам окон, карнизам, они тянутся ровными линиями по высокой трубе электрической станции, горят на всех крышах, царапают глаза людей острыми иглами мертвого блеска — люди прищуриваются и, растерянно улыбаясь, медленно влачатся по земле, как тяжелые звенья запутанной цепи...

Человеку нужно сделать большое усилие, чтобы найти себя среди толпы, подавленной удивлением, в котором нет восторга и радости. И кто находит себя, тот ви-

дит, что эти миллионы огней рождают унылый, всё раздевающий свет и, создавая намеки на возможность красоты, всюду обнажают тупое, скучное безобразие. Прозрачный издали, сказочный город встает теперь, как нелепая путаница прямых линий дерева, поспешная, дешевая постройка для забавы детей, расчетливая работа старого педагога, которого беспокоят детские шалости, и он желает даже игрушками воспитывать в детях покорность и смирение. Десятки белых зданий уродливо разнообразны, и ни в одном из них нет даже тени красоты. Они построены из дерева, намазаны облупившеюся белой краской и все точно страдают однообразной болезнью кожи. Высокие башни и низенькие колоннады вытянулись в две мертвенно ровные линии и безвкусно теснят друг друга. Всё раздето, ограблено бесстрастным блеском огня; он — всюду, и нигде нет теней. Каждое здание стоит, точно удивленный дурак, широко раскрыв рот, а внутри него облако дыма, резкие вопли медных труб, вой органа и темные фигуры людей. Люди едят, пьют, курят.

Но человека — не слышно. В воздухе течет ровной струей шипение огня в фонарях, носятся лохмотья музыки, нищенское пение деревянных дудок, органов и тонкий, непрерывный свист жаровен. Всё это сливается в назойливое гудение какой-то невидимой, толстой, туго натянутой струны, и, если в этот непрерывный звук вторгается человеческий голос, он кажется испуганным шёпотом. Всё вокруг нагло блестит, обнажая свое скучное уродство...

Душу крепко обнимает пламенное желание живого, красного, цветущего огня, чтобы он освободил людей из плена пестрой скуки, сверлящей уши и ослепляющей глаза... Хочется поджечь всю эту прелесть и бешено, весело плясать, кричать и петь в буйной игре разноцветных языков живого пламени, на сладострастном пире уничтожения мертвого великолепия духовной нищеты...

Людей в плену этого города — действительно сотни тысяч. На всей его огромной площади, тесно застроенной белыми клетками, во всех залах зданий они толпят-

ся, как тучи черных мух. Беременные женщины самодовольно несут тяжесть своих животов. Дети идут, молчаливо раскрыв рты, и ослепленными глазами смотрят вокруг так напряженно и серьезно, что их до боли жалко за этот взгляд, питающий их душу уродством, которое они берут за красоту. Бритые лица мужчин, безусые, странно похожие друг на друга,— солидно неподвижны. Большинство их привело сюда жен и детей и чувствует себя благодетелями своих семейств, которым они дают не только хлеб, но и великолепные зрелища. Им самим тоже нравится этот блеск, но они слишком серьезны для того, чтобы выражать свои ощущения, поэтому они однообразно сжали тонкие губы и, прищурив глаза, смотрят исподлобья, как люди, которых ничем не удивишь. Но под этим внешним спокойствием зрелого опыта чувствуется напряженное желание изведать все наслаждения города. И вот солидные люди, пренебрежительно усмехаясь и скрывая довольный блеск светлых глаз, садятся верхом на спины деревянных лошадок и слонов электрической карусели, садятся и, болтая ногами, с трепетом ждут острого удовольствия помчаться по рельсам, ухая взлететь вверх и со свистом опуститься вниз. Совершив это тряское путешествие, все снова туго натягивают кожу на лице и идут к другим наслаждениям...

Удовольствия бесчисленны.

Вот на вершине железной башни медленно качаются два длинные белые крыла, на концах крыльев висят клетки, в клетках — люди. Когда одно из крыльев тяжело взмывает к небу — лица людей в клетках становятся тоскливо серьезны, и все они одинаково напряженно и молчаливо смотрят круглыми глазами на землю, уходящую от них. А в клетке другого крыла, которое в это время осторожно опускается вниз,— лица людей цветут улыбками, и раздаются довольные взвизгивания. Это напоминает радостный визг щенка, когда его опустишь на пол, подержав на воздухе за кожу шеи.

Вокруг вершины другой башни летают в воздухе лодки, третья, вращаясь, двигает какие-то баллоны из железа, четвертая, пятая — все они двигаются, пылают,

зовут безмолвным криком холодного огня. Всё качается, взвизгивает, гремит и кружит головы людей, делая их самодовольно скучными, утомляя их нервы путаницей движений и блеском огня. Светлые глаза становятся еще светлее, как будто мозг бледнеет, теряя кровь в странной суете белого сверкающего дерева. И кажется, что скука, издыхая под гнетом отвращения к себе самой, кружится, кружится в медленной агонии и вовлекает в свой унылый танец десятки тысяч однообразно черных людей, сметая их, как ветер сор улиц, в безвольные кучи и снова разбрасывая, и снова сметая...

Внутри зданий людей ждут тоже наслаждения, но они серьезны, они воспитывают. Здесь людям показывают Ад с его строгими порядками и разнообразием мучений, которые ждут людей, нарушающих святость законов, созданных для них...

Ад сделан из папье-маше, окрашенного в темно-красный цвет, всё в нем пропитано огнеупорным составом и густым, грязным запахом какого-то жира. Ад очень скверно сделан, он способен вызвать отвращение даже у человека весьма нетребовательного. Он представляет собой пещеру, хаотически заваленную камнями и наполненную красноватым сумраком. На одном из камней сидит Сатана в красном трико, искажая разнообразными гримасами свое худое коричневое лицо, и потирает руки, как человек, который сделал выгодное дело. Ему, должно быть, очень неудобно сидеть — бумажный камень трещит и качается, но он будто бы не замечает этого, наблюдая, как внизу, у его кривых ног, черти расправляются с грешниками.

Вот девушка купила новую шляпку и смотрит на себя в зеркало, довольная и веселая. Но сзади к ней подкрадывается пара небольших, видимо, очень голодных чертей, они схватывают ее под мышки, она визжит,— поздно! Черти кладут ее в длинный гладкий жёлоб, который круто опускается в яму среди пещеры, из ямы идет серый пар, поднимаются языки огня, сделанного из красной бумаги, и девушка, вместе с зеркалом и шляпой, съезжает на спине по жёлобу в эту яму.

Молодой парень выпил стакан водки — черти немедленно спускают и его туда же, под пол сцены.

В аду душно, черти мелки и слабосильны, они, видимо, страшно утомлены своей работой, их раздражает ее однообразие и очевидная бесполезность, поэтому они не церемонятся с грешниками, бросая их в жёлоб, точно поленья. Смотришь на них, и хочется крикнуть:

«Довольно глупостей! Бастуй, ребята!..»

Девица вытащила несколько монет из кошелька своего собеседника,— и в тот же миг черти расправляются с ней, к удовольствию Сатаны, который радостно болтает ногами и гнусаво хихикает. Черти сердито косятся на бездельника и озлобленно швыряют в пасть огненной ямы всех, кто случайно — по делу или из любопытства — заходит в ад...

Публика смотрит на эти страсти молча и серьезно. В зале — темно. Какой-то здоровый парень с курчавой головой и в толстом пиджаке густым, угрюмым голосом говорит речь, указывая рукой на сцену.

В своей речи он утверждает, что, если люди не хотят быть жертвами Сатаны в красном трико и с кривыми ногами, они должны знать, что нельзя целовать девушек, не обвенчавшись с ними, потому что от этого девушки могут сделаться проститутками; нельзя целовать молодых людей без разрешения церкви, потому что от этого могут родиться мальчики и девочки; проститутки не должны воровать деньги из карманов своих гостей; все вообще люди не должны пить вино и прочие жидкости, возбуждающие страсти; все они должны посещать не трактиры, а церкви,— это полезнее для души и дешевле стоит...

Говорит он однотонно, скучно и, должно быть, сам не верит, что нужно жить именно так, как ему велели проповедовать.

Невольно восклицаешь по адресу хозяев исправительного увеселения для грешников:

— Господа! Если вы желаете, чтобы мораль действовала на душу человека, хотя бы с силою касторового масла,— проповедникам морали надо больше платить!

В заключение этой страшной истории из угла пещеры является до отвращения красивый ангел. Он подве-

шен на проволоке и двигается в воздухе через всю пещеру, держа в зубах деревянную дудку, оклеенную золотой бумагой. Сатана, увидав его, ныряет, подобно ершу, в яму вслед за грешниками, раздается треск, бумажные камни валятся друг на друга, черти радостно бегут отдохнуть от работы,— занавес опускается. Публика встает и уходит. Некоторые осмеливаются смеяться, большинство людей сосредоточенно. Может быть, они думают:

«Если и в аду так мерзко,— пожалуй, не стоит грешить».

Идут дальше. В следующем здании им показывают «Загробный мир». Это большое учреждение, тоже из папье-маше, оно изображает шахты, в которых без толку шатаются скверно одетые души умерших. Им можно подмигивать, но щипать их нельзя, это — факт. Они, должно быть, очень скучают в сумраке подземного лабиринта, среди шероховатых стен, обливаемые холодной струей сырого воздуха. Некоторые души скверно кашляют, другие молча жуют табак, сплевывая на землю желтую слюну; одна душа, прислонясь в углу к стене, курит сигару...

Когда проходишь мимо них, они смотрят в лицо бесцветными глазами и, плотно сжимая губы, зябко прячут руки в серые складки загробных лохмотьев. Голодны они, эти бедные души, и, видимо, многие из них страдают ревматизмом. Публика молча смотрит на них и, вдыхая сырой воздух, питает душу свою унылой скукой, которая гасит мысль, как мокрая, грязная тряпка, брошенная на уголь, едва тлеющий...

Еще в одном здании охотно показывают «Всемирный потоп», который, как известно, был устроен для наказания людей за грехи...

И все зрелища в этом городе имеют одну цель: показать людям, чем и как они будут вознаграждены за грехи свои после смерти, научить их жить на земле смирно и послушно законам...

Всюду проповедуется одно:

— Нельзя!

Ибо подавляющее большинство публики — рабочий народ...

Но — необходимо наживать деньги, и в укромных уголках светлого города, как везде на земле, разврат презрительно смеется над лицемерием и ложью. Конечно, он прикрыт, и, разумеется,— он скучен, он ведь тоже «для народа». Он организован как выгодное предприятие, как средство вытащить заработок из кармана человека, и, пропитанный страстью к золоту, он трижды гнусен и противен в этом болоте светлой скуки...

Народ питается им...

...Он течет густым потоком между двух линий ярко освещенных домов, и дома глотают его голодными пастями. Направо его застращивают ужасами вечных мук, убеждая:

— Не греши! Опасно!

Налево, в просторном зале для танцев, медленно кружатся женщины, и всё там говорит:

— Согреши! Приятно...

Ослепленный блеском огней, соблазняемый дешевой, но сверкающей роскошью, пьяный от шума, он кружится в медленной пляске томящей скуки и охотно, слепо идет налево — ко греху, направо — в дома, где ему проповедуют святость.

Это безвольное хождение с одинаковой силой отупляет его, одинаково полезно и для торговцев моралью и для продавцов разврата.

Жизнь устроена для того, чтобы народ шесть дней работал, а в седьмой грешил и — платил за грехи свои, исповедовался и платил за исповедь,— вот и всё!

Шипят огни, подобно сотням тысяч раздраженных змей, темными роями мух бессильно, уныло жужжат и медленно ворочаются люди в сетях сверкающей, тонкой паутины зданий. Не торопясь, без улыбок на гладко выбритых лицах, они лениво входят во все двери, стоят подолгу перед клетками зверей, жуют табак, плюются.

В огромной клетке какой-то человек гоняет выстрелами из револьвера и беспощадными ударами тонкого бича бенгальских тигров. Красавцы-звери, обезумев от ужаса, ослепленные огнями, оглушенные музыкой и выстрелами, бешено мечутся среди железных прутьев, ры-

чат, храпят, сверкая зелеными глазами; дрожат их губы, гневно обнажая клыки зубов, и то одна, то другая лапа грозно взмахивает в воздухе. Но человек стреляет им прямо в глаза, и громкий треск холостого патрона, режущая боль ударов бича отталкивают сильное, гибкое тело зверя в угол клетки. Охваченный дрожью возмущения, гневной тоской сильного, задыхаясь в муках унижений, пленный зверь на секунду замирает в углу и безумными глазами смотрит, нервно двигая змеевидным хвостом, смотрит...

Эластичное тело сжимается в твердый ком мускулов, дрожит, готовое взлететь на воздух, вонзить свои когти в мясо человека с бичом, разорвать его, уничтожить...

Вздрагивают, как пружины, задние ноги, вытягивается шея, в зеленых зрачках вспыхивают кроваво-красные искры радости.

И в них вонзаются сотнями тупых уколов бесцветные, холодно ожидающие взгляды однообразно желтых лиц за решеткою клетки, тускло слитых в медное пятно.

Страшное своей мертвой неподвижностью, лицо толпы ждет,— она тоже хочет крови и ждет ее, ждет не из мести, а из любопытства, как давно укрощенный зверь.

Тигр втягивает голову в плечи, тоскливо расширяет глаза и волнисто, мягко подается всем телом назад, точно его кожу, воспламененную жаждой мести, вдруг облили ледяным дождем.

Человек стреляет, щелкает бичом, орет, как безумный,— он прячет в криках свой жуткий страх перед зверем и свое рабское опасение не угодить животному, которое спокойно любуется прыжками человека, напряженно ожидая рокового прыжка зверя. Ожидает — не сознавая, в нем проснулся и дышит древний инстинкт, он требует борьбы, он хочет сладко вздрогнуть, когда два тела обовьются одно с другим, брызнет кровь и на пол клетки полетит, дымясь, разорванное мясо человека, раздастся рев и крик...

Но мозг животного уже пропитан ядами разных запретов и опасений, желая крови — толпа боится, она и хочет и не хочет, и в этой темной борьбе внутри самой себя она испытывает острое наслаждение, она — живет...

Человек напугал всех зверей, тигры мягко убегают куда-то в глубину клетки, а он, потный и довольный тем, что сегодня остался жив, улыбается побелевшими губами, стараясь скрыть их дрожь, и кланяется медному лицу толпы, кланяется ей, как идолу.

Она мычит, хлопает ладонями и разваливается на темные куски, расползается по вязкому болоту скуки вокруг нее...

Насладившись картиной состязания человека со зверями, животные идут искать еще чего-нибудь забавного. Вот — цирк. В центре круглой арены какой-то человек подбрасывает длинными ногами в воздух двух детей. Дети мелькают над ним, точно два белых голубя, у которых сломаны крылья, порой они срываются с его ног, падают на землю и, опасливо взглянув на опрокинутое, налитое кровью лицо отца своего или хозяина, снова вертятся в воздухе. Вокруг арены сложилась толпа. Смотрит. И когда ребенок срывается с ноги артиста — на всех лицах вздрагивает оживление, точно ветер кроет легкой рябью сонную воду грязной лужи.

Хочется увидеть пьяного человека с веселой рожей, который шел бы, толкался, пел, орал, счастливый тем, что вот он — пьян и всем добрым людям искренно желает того же...

Гремит музыка, разрывая воздух в клочья. Оркестр — плох, музыканты устали, звуки труб мечутся бессвязно, как будто они прихрамывают, для них невозможен плавный строй, они бегут изломанной линией, толкая, обгоняя, опрокидывая друг друга. И почему-то каждый отдельный звук рисуется воображению куском жести, которому придано сходство с лицом человека,— прорезан рот, прорезаны глаза, отверстие для носа и приделаны длинные белые уши. Человек, махающий палочкой над головами музыкантов, которые не смотрят на него, берет эти куски за ручки-уши и невидимо бросает их кверху. Они сшибаются друг с другом, воздух свистит в щелях их ртов, и — это делает музыку, от которой даже ко всему привыкшие лошади цирковых наездников — опасливо сторонятся, нервно прядая острыми ушами, точно хотят вытряхнуть из них колкие жестяные звуки...

Странные фантазии рождает музыка нищих для забавы рабов. Хочется вырвать из рук музыканта самую большую медную трубу и дуть в нее всей силой груди, долго, громко, страшно, так, чтобы все разбежались из плена, гонимые ужасом бешеного звука...

Недалеко от оркестра — клетка с медведями; один из них, толстый, бурый, с маленькими хитрыми глазами, стоит среди клетки и размеренно качает головой. Вероятно, он думает:

«Это можно принять как разумное только тогда, если мне докажут, что всё здесь устроено нарочно, чтобы ослепить, оглушить, изуродовать людей. Тогда, конечно, цель оправдывает средства... Но, если люди искренно думают, что всё это — забавно, я не верю больше в их разум!..»

Два другие медведя сидят один против другого, как будто играя в шахматы. Четвертый озабоченно сгребает солому в угол клетки, задевая черными когтями за прутья. Морда у него разочарованно-спокойная. Он, видимо, ничего не ждет от этой жизни и намерен лечь спать...

Звери возбуждают острое внимание — водянистые взгляды людей неотвязно следят за ними, как будто ищут что-то давно позабытое в свободных и сильных движениях красивого тела львов и пантер. Стоя перед клетками, они просовывают палки сквозь решетку и молча, испытующе тыкают зверей в животы, в бока, наблюдают: что будет?

Те звери, которые еще не ознакомились с характером людей — сердятся на них, бьют лапами по прутьям клеток и ревут, открывая гневно дрожащие пасти. Это — нравится. Охраняемые железом от ударов зверя, уверенные в своей безопасности, люди спокойно смотрят в глаза, налитые кровью, и довольно улыбаются. Но большинство зверей не отвечают людям. Получив удар палкой или плевок, они медленно встают и, не глядя на оскорбителя, уходят в дальний угол клетки. Там в темноте лежат сильные, прекрасные тела львов, тигров, пантер и леопардов, и горят во тьме круглые зрачки зеленым огнем презрения к людям...

А люди, взглянув на них еще раз, идут прочь и говорят:

— Это — скучный зверь...

Перед оркестром музыкантов, с отчаянным усердием играющих у полукруглого входа в какую-то темную, широко разинутую пасть, внутри которой спинки стульев торчат подобно рядам зубов,— пред музыкантами поставлен столб, а на столбе, привязанные тонкой цепью, две обезьяны — мать и ребенок. Ребенок тесно прижался к груди матери, скрестив на спине ее свои длинные тонкие руки с крошечными пальцами; мать крепко обняла его одной рукой, ее другая рука сторожко вытянута вперед, и пальцы на ней нервно скрючены, готовые царапнуть, ударить. Глаза матери напряженно расширены, в них ясно видно бессильное отчаяние, острая боль ожидания неустранимой обиды, утомленная злоба и тоска. Ребенок, прильнув щекой к ее груди, искоса, с холодным ужасом в глазах смотрит на людей,— он, видимо, был напоен страхом в первый день жизни, и страх заледенел в нем на все дни ее. Оскалив мелкие белые зубы, его мать, ни на секунду не отрывая руки, обнимающей родное тело, другой рукой всё время непрерывно отбивает протянутые к ней палки и зонтики зрителей ее мук.

Их много. Это белокожие дикари, мужчины и женщины, в котелках и шляпах с перьями, и всем им ужасно забавно видеть, как ловко обезьяна-мать защищает свое дитя от ударов по его маленькому телу...

Обезьяна быстро вертится на круглой плоскости, величиной с тарелку, рискует каждую секунду упасть под ноги зрителей и неутомимо отталкивает всё, что хочет прикоснуться к ее ребенку. Порой она не успевает отбить удар и жалобно взвизгивает. Ее рука, точно плеть, быстро вьется вокруг, но зрителей так много, и каждому так сильно хочется ударить, дернуть обезьяну за хвост, за цепь на шее. Она — не успевает. И глаза ее жалобно моргают, около рта являются лучистые морщины скорби и боли.

Руки ребенка давят ей грудь, он так крепко прижался, что его пальцев почти не видно в тонкой шерсти на

коже матери. Глаза его, не отрываясь, смотрят на желтые пятна лиц, в тусклые глаза людей, которым его ужас перед ними дает маленькое удовольствие...

Порой один из музыкантов наводит медный глупый зев своей трубы на обезьяну и обливает ее трескучим звуком — она сжимается, скалит зубы и смотрит на музыканта острым взглядом...

Публика смеется, одобрительно кивает музыканту головами. Он доволен и спустя минуту повторяет свою выходку.

Среди зрителей есть женщины; вероятно, некоторые из них — матери. Но никто не произносит ни слова против злой забавы. Все довольны ею...

Иная пара глаз, кажется, готова лопнуть от напряжения, с которым она любуется муками матери и диким ужасом ребенка.

Рядом с оркестром клетка слона. Это пожилой господин, с вытертой и лоснящейся кожей на голове. Просунув хобот сквозь прутья клетки, он солидно покачивает им, наблюдая за публикой. И думает, как доброе и разумное животное:

«Конечно, эта сволочь, сметенная сюда грязной метлой скуки, способна издеваться и над пророками своими,— как слышал я от стариков-слонов. Но — все-таки — мне жалко обезьяну... Я слышал также, что люди, как шакалы и гиены, порою разрывают друг друга, но обезьяне-то от этого не легче, нет, не легче!..»

...Смотришь на эту пару глаз, в которой дрожит скорбь матери, бессильной защитить свое дитя, и на глаза ребенка, в которых неподвижно застыл глубокий, холодный ужас перед человеком, смотришь на людей, способных забавляться мучениями живого существа, и, обращаясь к обезьяне, говоришь про себя:

«Животное! Прости им! Со временем они будут лучше...»

Конечно, это смешно и глупо. И бесполезно. Едва ли может быть такая мать, которая могла бы простить мучения своего ребенка; я думаю, даже среди собак нет такой матери...

Разве только свиньи...

Да...

Так вот — когда приходит ночь,— на океане внезапно вспыхивает прозрачный, волшебный город, весь из огней. Он — не сгорая — долго горит на темном фоне неба ночи, отражая свою красоту в широком блеске волн океана.

В блестящей паутине его прозрачных зданий, подобно вшам в лохмотьях нищего, скучно ползают десятки тысяч серых людей с бесцветными глазами.

Жадные и подлые — показывают им отвратительную наготу своей лжи и наивность своей хитрости, лицемерие свое и ненасытную силу жадности своей. Холодный блеск мертвого огня во всем оголяет скудоумие, и оно, торжественно блистая, почиет на всем вокруг людей...

Но люди тщательно ослеплены и с восхищением, молча, пьют дрянной яд, отравляющий им души.

В ленивом танце медленно кружится скука, изнывающая в агонии своего бессилия.

Только одно хорошо в светлом городе — в нем можно на всю жизнь напоить душу свою ненавистью к силе глупости...

«МОВ» [1]

...Окно моей комнаты выходит на площадь, пять улиц целый день высыпают на нее людей, точно картофель из мешков, люди толпятся, бегут, и снова улицы втягивают их в свои пищеводы. Площадь кругла и грязна, как сковорода, на которой долго жарили мясо, но никогда еще не чистили ее. Четыре линии трамвая выбегают на этот тесный круг, почти каждую минуту скользят по рельсам, резко взвизгивая на закруглениях, вагоны, набитые людьми. Они разбрасывают на своем пути тревожно-торопливый грохот железа, над ними и под колесами у них раздраженно гудит электричество. В пыльном воздухе посеяна болезненная дрожь стекол в окнах, визгливый крик трения колес о рельсы. Непрерывно воет проклятая музыка города — дикая схватка грубых звуков, ко-

[1] Толпа, сборище *(англ.)*.

торые режут, душат друг друга и вызывают странную и мрачную фантазию.

...Толпа каких-то бешеных уродов, вооруженная огромными клещами, ножами, пилами и всем, что можно сделать из железа, свилась в клубок червей, в темный вихрь безумия над телом женщины, которую она схватила жадными руками, свалила на землю, в грязь, в пыль и — рвет ей груди, режет мясо, пьет кровь, насилует и слепо, голодно, неустанно дерется над ней и за нее.

Кто эта женщина — не видно, она завалена, покрыта огромной желто-грязной кучей людей, которые впились в нее со всех сторон, припали к ней костлявыми телами, прилепились всюду, где нашлось место для жадных губ, и сосут ее соки из каждой поры тела... Охваченные голодной, неутомимой жадностью, они отбрасывают друг друга прочь от своей добычи, бьют, топчут, дробят кости, уничтожают один другого. Всем хочется как можно больше, и все дрожат в горячке острой боязни остаться без куска. Скрежещут их зубы, стучит железо в их руках, стоны боли, вопли жадности, крики разочарования, рев голодного гнева — всё это сливается в похоронный вой над трупом убитой добычи, разорванной, изнасилованной тысячами насилий, испачканной всей разноцветной грязью земли.

И с этим диким воем сливается в одну волну жалкая скорбь побежденных, которые отброшены в сторону и голодно, противно плачут там о счастье сытости; бороться за него они не могут, трусливые и слабые.

Вот что рисует музыка города.

Воскресенье. Люди не работают.

Поэтому на многих лицах заметно унылое недоумение, почти тревога. Вчерашний день имел простой, определенный смысл — с утра до вечера работали. В обычный час проснулись, пошли на фабрику, в конторы, на улицы. Стояли и сидели на привычных и потому удобных местах. Считали деньги, продавали, рыли землю, рубили дерево, тесали камни, сверлили и ковали — работали руками весь день. Привычно усталые легли спать, а сегодня проснулись, и вот — праздность вопроситель-

но смотрит в глаза, требуя, чтобы пустота ее была чем-то наполнена.

Научив людей работать, их не учили жить, и потому день отдыха является для них трудным днем. Орудия, вполне способные создать машины, храмы, огромные суда и мелкие красивые вещицы из золота, они не чувствуют себя способными наполнить день чем-либо иным, кроме привычной, механической работы. Куски и части — они спокойны и чувствуют себя людьми на фабриках, в конторах, в магазинах, где они слагаются с подобными себе частями в цельный, стройный организм, торопливо творящий ценности из живого сока нервов своих, но — не для себя.

Шесть дней недели жизнь проста, она — огромная машина, все люди — ее части, каждый знает свое место в ней, каждый думает, что ему знакомо и понятно ее слепое, грязное лицо. В седьмой же день — день отдыха и праздности — жизнь встает перед людьми в странном, разобранном виде, у нее ломается лицо,— она его теряет...

Люди разбрелись по улицам, сидят в трактирах, в парке, были в церкви, стоят на углах. Как всегда, есть движение, но кажется, что оно через минуту или через час остановится перед чем-то,— чего-то не хватает в жизни, и что-то новое хочет явиться в ней. Никто не сознает своего ощущения, никто не может выразить его словами, но все тягостно чувствуют нечто непривычное, тревожное. Из жизни вдруг выпали все ее мелкие, понятные смыслы, точно зубы из десен.

Люди ходят по улицам, садятся в вагоны, разговаривают, все они наружно спокойны, обычно понятны друг другу — воскресенье бывает пятьдесят два раза в году, они уже выработали себе привычку проводить его одно, как другое. Но каждый чувствует, что он не тот, каким был вчера, и его товарищ тоже не таков, где-то внутри колышется сосущая пустота, и возможно, что в ней вдруг прозвучит непонятное, беспокойное, может быть, страшное...

Человек чувствует в себе возможность вопроса, и эта возможность вызывает у него инстинктивное желание избежать встречи с ней...

Невольно люди жмутся один к другому, сливаются в группы, молча стоят на углах улиц, смотрят на всё вокруг, к ним подходят еще и еще живые куски, и стремление частей к созданию целого — создает толпу.

...Люди, не спеша, слагаются один с другим — их стягивает в кучу,— точно магнит опилки железа,— общее всем им ощущение тревожной пустоты в груди. Почти не глядя друг на друга, они становятся плечом к плечу, сдвигаются всё теснее, и — в углу площади образовалось плотное черное тело со множеством голов. Угрюмо молчаливое, выжидательно напряженное, оно почти неподвижно. Сложилось тело, и тотчас быстро возникает дух, образуется широкое тусклое лицо, и сотни пустых глаз принимают единое выражение, смотрят одним взглядом — подозрительно ожидающим взглядом, который бессознательно ищет нечто, о чем пугливо доносит инстинкт.

Так рождается страшное животное, которое носит тупое имя «Mob» — толпа.

...Когда по улице проходит некто, чем-либо непохожий на людей, одетый как-то иначе или идущий слишком быстро для обыкновенного человека,— «Mob» следит за ним, повертывая в его сторону сотни своих голов и щупая его всеобнимающим взглядом.

Почему он не одевается, как все? Это подозрительно. И что могло заставить его идти так быстро по этой улице в день, когда все ходят медленно? Это странно...

Идут двое молодых людей и громко смеются. «Mob» напрягает внимание. Над чем смеяться в этой жизни, где всё так непонятно, когда нет работы? Смех вызывает в животном легкое раздражение, враждебное веселью. Несколько голов угрюмо поворачиваются вослед весельчакам, ворчат...

Но «Mob» сама смеется, когда она видит, как на площади торговец газетами мечется среди вагонов трамвая, с трех сторон набегающих на него, грозя раздавить. Испуг человека, которому грозит смерть, понятен ей, а всё, что она понимает в таинственной суете жизни, радует ее...

Вот едет на автомобиле известный всему городу и даже всей стране — хозяин. «Моb» смотрит на него с глубоким интересом, она сливает свои глаза в один луч, освещающий сухое, костлявое и желтое лицо хозяина тусклым блеском уважения к нему. Так смотрят старые, еще в детстве укрощенные медведи на своего укротителя. «Моb» понимает хозяина — это сила. Это великий человек — тысячи работают для того, чтобы он жил, тысячи! В хозяине для «Моb» есть совершенно ясный смысл — хозяин дает работу. Но вот — в вагоне трамвая сидит седой человек, у него суровое лицо и строгие глаза. «Моb» тоже знает, кто он, о нем часто пишут в газетах как о сумасшедшем, который хочет разрушить государство, отнять все фабрики, железные дороги, суда,— всё отнять... Газеты говорят, что это — безумная и смешная затея. Толпа смотрит на старика с укором, с холодным осуждением, с пренебрежительным любопытством. Сумасшедший — это всегда любопытно.

«Моb» только ощущает, она только видит. Она не может претворять своих впечатлений в мысли, душа ее — нема и сердце — слепо.

...Люди идут, идут один за другим, и непонятно, странно, необъяснимо — куда, зачем они идут? Их страшно много, и они разнообразны гораздо более, чем куски железа, дерева, камня, разнообразнее монет, материй и всех орудий, которыми работало вчера животное. Это раздражает «Моb». Она смутно чувствует, что есть другая жизнь, построенная иначе, чем ее, с другими привычками, жизнь, полная чем-то заманчиво неизвестным...

Подозрительное ожидание опасности медленно питается чувством раздражения, оно тонкими иглами царапает слепое сердце животного. Его глаза становятся темнее, плотное бесформенное тело заметно напрягается, вздрагивает, обнимаемое бессознательным волнением...

Мелькают люди, летят вагоны, автомобили... В окнах магазинов дразнят взгляд какие-то блестящие вещи. Их назначение неизвестно, но они тянут к себе внимание, вызывают желание обладать ими...

«Моb» волнуется...

Она смутно чувствует себя одинокой в этой жизни, одинокой и отрицаемой всеми нарядными людьми. Она

замечает, как чисто вымыты их шеи, как тонки и белы руки, лица их лоснятся и блестят спокойной сытостью — невольно представляется пища, которую пожирают эти люди каждый день. Должно быть, это удивительно вкусные вещи, если от них так хорошо блестит кожа и так кругло-красиво вырастают животы...

«Моb» чувствует во чреве своем зависть, которая остро щекочет ей желудок...

В дорогих и легких колясках едут красивые, гибкие женщины. Они вызывающе лежат на подушках, вытянув маленькие ноги, лица их, как звезды, красивые глаза зовут людей улыбнуться.

«Смотрите, как мы прекрасны!» — молча рассказывают женщины.

Толпа внимательно смотрит и сравнивает этих женщин со своими женами. Очень костлявые или слишком толстые, жены всегда жадны и часто хворают. У них особенно часто болят зубы и расстраиваются желудки. И постоянно ругаются они одна с другой.

«Моb» чувственно раздевает женщин в колясках, щупает их груди, ноги. И, представляя нагое, сытое, упругое, сверкающее тело женщин,— «Моb» не может сдержать острое чувство восхищения, она вслух обменивается сама с собой словами, от которых пахнет горячим, жирным потом, словами краткими и сильными, как пощечина тяжелой, грязной руки...

«Моb» хочет женщину. Ее глаза горят, жадно обнимая мелькающие мимо тонкие крепкие тела красавиц.

Сверкают дети, звучит их смех и крики. Чисто одетые, здоровые дети, на прямых и стройных ногах. Розовощекие, веселые...

Дети «Моb» худосочны, желты, ноги у них почему-то кривые. Это очень часто — кривые ноги у детей. Должно быть, тут виноваты матери, они что-нибудь делают не так, когда родят...

Сравнения рождают зависть в темном сердце «Моb».

Теперь к раздражению толпы примешивается враждебность, которая всегда пышно растет на плодородной почве зависти. Черное огромное тело неуклюже двигает своими частями, сотни глаз внимательно и колко встречают всё, что незнакомо и непонятно им.

«Mob» чувствует, что у нее есть враг, хитрый, сильный, рассеянный повсюду и потому неуловимый. Он где-то близко и — нигде. Он забрал себе все вкусные вещи, красивых женщин, розовых детей, коляски, яркие шелковые ткани и раздает всё это кому хочет, но — не «Mob». Ее он презирает, отрицает и не видит, как и она его...

«Mob» ищет, нюхает, следит за всем. Но всё обычно, и хотя в жизни улиц есть много нового, неведомого ей, оно течет, мелькает мимо, не задевая туго натянутых струн ее враждебности, неясного желания поймать кого-то и раздавить.

Посреди площади стоит полицейский в серой шляпе. Его бритое лицо блестит, точно медь. Этот человек непобедимо силен, потому что у него в руках короткая толстая палка, налитая свинцом.

«Mob» искоса поглядывает на эту палку... Она знает палки, она видела их сотни тысяч, и все они — просто дерево или железо.

Но в этой — короткой и тупой — сокрыта дьявольская сила, против которой нельзя идти, невозможно.

«Mob» глухо и слепо враждебна всему, она волнуется, она готова на что-то страшное. И невольно меряет глазами короткую тупую палку...

В темном хламе бессознательного всегда тлеет страх...

Жизнь непрерывно ревет, неустанная в своем движении. Откуда в ней эта энергия, когда «Mob» не работает?

И всё с большей ясностью толпа чувствует свое одиночество, ощущает какой-то обман и, всё более раздражаясь, зорко ищет, на что бы положить свою руку.

Она становится теперь чуткой и восприимчивой — ничто новое для нее не проходит мимо не замеченное ею. Она теперь осмеивает резко и зло, и человек в слишком широкой серой шляпе должен ускорить шаги под насмешливыми уколами ее взглядов и бичами ее восклицаний. Женщина, переходя площадь, чуть-чуть подняла юбки, но, увидав, какими глазами толпа смотрит на ее

ноги, тотчас же, как будто ее ударили по руке, расправила пальцы, державшие материю...

На площадь откуда-то вываливается пьяный. Он идет, опустив голову на грудь, бормочет что-то, и его тело, размытое вином, бессильно качается, готовое каждую секунду упасть, разбиться о мостовую, о рельсы...

Он сунул одну руку в карман, в другой у него измятая, пыльная шляпа, он размахивает ею и ничего не видит.

На площади, попадая в дикий вихрь металлических звуков, он немного приходит в себя, останавливается и смотрит вокруг влажными, туманными глазами. Со всех сторон на него летят вагоны, коляски,— двигается какая-то длинная нить, на которой нанизаны темные бусы. Раздражительно звонят колокольчики вагонов, предупреждая его, цокают подковы лошадей, всё гудит, гремит, лезет на него.

«Mob» чувствует возможность чего-то, что, может быть, немного развлечет ее. Она снова сливает сотни своих взглядов в один луч и следит, ждет...

Кондуктор вагона звонит и орет пьяному, он перегнулся через перила, лицо его красно от крика — пьяный дружески машет ему шляпой и шагает на рельсы под вагон. Откинувшись всем корпусом назад, закрыв глаза, кондуктор с силою поворачивает ручку, вагон весь вздрагивает и с треском останавливается...

Пьяный шагает дальше — он надел шляпу на голову и снова наклонил лицо к земле.

Но из-за первого вагона, не торопясь, выскальзывает другой и подшибает ноги пьяного, он грузно валится сначала в сетку, потом мягко падает с нее на рельсы, и сетка толкает, везет его скомканное тело по земле...

Видно, как хлопают по земле руки и ноги пьяного. Красно и тонко улыбнулась кровь, точно подманивая к себе кого-то...

Раздается резкий визг женщин в вагоне, но все звуки тотчас гаснут в густом, торжествующем вопле «Mob» — точно на них вдруг кинули тяжелое покрывало, влажное и давящее. Тревожный звон колокольчиков, удары копыт, вой электричества — всё сразу задушено ужасом перед черной волной, волной толпы, которая с

животным ревом бросилась вперед, ударилась о вагоны, облила, захлестнула их темными брызгами и начала работать.

Пугливо и кратко вздрагивают разбиваемые стекла в окнах вагона. Ничего не видно, только бьется и трепещет огромное тело «Mob», и ничего не слышно, кроме ее вопля, возбужденного крика, которым она радостно возвещает о себе, о своей силе, о том, что наконец и она тоже нашла свое дело.

В воздухе мелькают сотни больших рук, блестят десятки глаз жадным блеском странного, острого голода.

Кого-то бьет она, черная «Mob», кого-то разрывает, кому-то мстит...

Из бури ее слитных криков всё чаще раздается, сверкает, точно длинный, гибкий нож, шипящее слово:

— Линч!

Оно имеет магическую силу объединять все смутные желания «Mob», оно всё гуще сливает в себе ее крики:

— Линч!

Несколько частей толпы вскинулись на крыши вагонов, и оттуда тоже вьется по воздуху, свистя, как бич, и мягко извиваясь:

— Линч!

Вот в центре ее образовалось плотное ядро, оно поглотило, всосало что-то в себя и двигается, вытекает из толпы. Ее густое тело послушно раздается перед натиском из центра и, постепенно разрываясь, выдвигает из недр своих этот плотный черный ком — свою голову, свою пасть.

В зубах этой пасти качается оборванный, окровавленный человек — он был кондуктором вагона, как это видно по нашивкам на его лохмотьях.

Теперь он — кусок изжеванного мяса,— свежего мяса, вызывающе вкусно облитого яркой кровью.

Черная пасть толпы несет его и продолжает жевать, и руки ее, точно щупальцы спрута, обвивают это тело без лица.

«Mob» воет:

— Линч!

И слагается за головой своей в длинное плотное туловище, готовое проглотить множество свежего мяса.

Но вдруг откуда-то перед нею встает бритый человек с медным лицом. Он надвинул свою серую шляпу на глаза, встал, точно серый камень, на дороге толпы и молча поднял в воздух свою палку.

Голова толпы пошатнулась вправо, влево, желая ускользнуть от этой палки, обойти ее.

Полицейский неподвижен, палка в руке его не вздрагивает, и не мигают его спокойные, твердые глаза.

Эта уверенность в своей силе сразу веет холодом в горячее лицо «Mob».

Если человек один встает на ее дороге, один, против ее желания, тяжелого и сильного, как лава, если он так спокоен — значит, он непобедим!..

Она что-то кричит ему в лицо, размахивает щупальцами, как будто хочет обнять ими широкие плечи полицейского, но уже в ее крике, хотя и раздраженном, звучит нечто жалобное. И когда медное лицо полицейского тускло темнеет, когда его рука еще выше поднимает короткую тупую палку,— рев толпы начинает странно прерываться, и туловище ее постепенно, медленно разваливается, хотя голова «Mob» всё еще спорит, мотается из стороны в сторону, хочет ползти дальше.

Вот идут, не торопясь, еще двое людей с палками. Щупальцы «Mob» бессильно выпускают охваченное ими тело, оно падает на колени, раскидываясь у ног представителей закона, и он простирает над ним короткий и тупой символ своей власти...

Голова «Mob» тоже медленно распадается на части,— туловища у нее уже нет,— по площади устало и подавленно расползаются темные фигуры людей,— точно черные бусы огромного ожерелья рассыпались по ее грязному кругу.

В желоба улиц молча и угрюмо идут разорванные, разрозненные люди...

II

ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ

В саду, за окном моей комнаты, по голым ветвям акаций и берез прыгают воробьи и оживленно разговаривают, а на коньке крыши соседнего дома сидит почтенная ворона и, слушая говор серых птичек, важно покачивает головой. Теплый воздух, пропитанный солнечным светом, приносит мне в комнату каждый звук: я слышу торопливый и негромкий голос ручья, слышу тихий шорох ветвей, понимаю, о чем воркуют голуби на карнизе моего окна,— и вместе с воздухом мне в душу льется музыка весны.

— Чик-чирик! — говорит старый воробей, обращаясь к товарищам.— Вот и снова мы дождались весны... не правда ли? Чирик-чирик!

— Фа-акт, фа-акт! — грациозно вытягивая шею, отзывается ворона.

Я хорошо знаю эту солидную птицу: она всегда выражается кратко и не иначе, как в утвердительном смысле. Будучи от природы глупой, она еще и пуганая, как большинство ворон. Но она занимает в обществе прекрасное положение и каждую зиму устраивает что-нибудь благотворительное для бедных галок и старых голубей.

Я знаю и воробья,— хотя с виду он кажется легкомысленным и даже либералом, но, в сущности, это птица — себе на уме. Он прыгает около вороны с виду почтительно, но в глубине души хорошо знает ей цену и никогда не прочь рассказать о ней две-три пикантных истории.

А на карнизе окна молодой щеголеватый голубь горячо убеждает скромную голубку:

— Я умр-ру, умр-ру от разочарованья, если ты не разделишь со мною любовь мою...

— А знаете, сударыня, чижики прилетели! — сообщает воробей.

— Фа-акт!

— Прилетели и шумят, порхают, щебечут... Ужасно беспокойные птицы... И синицы явились с ними... как всегда, хе-хе-хе! Вчера, знаете, я спросил, в шутку, одного из них: «Что, голубчик, вылетели?» Ответил дерзостью... В этих птицах совершенно нет уважения к чину, званию и общественному положению собеседника... Я, надворный воробей...

Но тут из-за трубы на крыше неожиданно явился молодой ворон и вполголоса отрапортовал:

— Внимательно прислушиваясь по долгу службы к разговорам всех населяющих воздух, воду, землю и недра земли тварей и неукоснительно следя за их поведением, честь имею донести, что означенные чижики громко щебечут о весне и осмеливаются надеяться на якобы скорое обновление всей природы.

— Чик-чирик! — воскликнул воробей, беспокойно оглядываясь на доносителя. А ворона благонамеренно покачала головой.

— Весна уже была, она была не однажды...— сказал старый воробей.— А насчет обновления всей природы — это... конечно, приятно... если происходит с разрешения тех сил, коим сие надлежит ведать...

— Фа-акт! — сказала ворона, окинув собеседника благосклонным оком.

— К вышеизложенному должен добавить,— продолжал ворон,— означенные чижики выражают недовольство по поводу того, что ручьи, из коих они утоляют жажду, якобы — мутны, некоторые же из них дерзают даже мечтать о свободе...

— Ах, это они всегда так! — воскликнул старый воробей.— Это от молодости у них, это ничуть не опасно! Я тоже был молод и тоже мечтал о... о ней. Разумеется — скромно мечтал... Но потом — это прошло, явилась другая «она», более реальная, хе-хе-хе! и, знаете, пожалуй, более приятная, более необходимая воробью... хе-хе...

«ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ».
Обложка одного из гектографированных изданий.

— Э-гм! — раздалось внушительное кряхтенье. На ветвях липы явился действительный статский снигирь, он милостиво раскланялся с птицами и заскрипел:

— Э, н-не за-амечаете ли вы, господа, что в воздухе пахнет чем-то, э..?

— Весенний воздух, ваше-ство! — сказал воробей. А ворона томно склонила голову набок и каркнула звуком нежным, как блеяние овцы.

— Н-да... Вчера за винтом то же самое говорил мне один потомственный почетный филин... «Чем-то, говорит, э, пахнет...» А я ответил: «Понюхаем,— разберем». Резонно, а?

— Так точно, ваше-ство! Вполне резонно! — почтительно согласился старый воробей.— Всегда, ваше-ство, надо подождать... Солидная птица всегда ждет...

На проталину сада опустился с неба жаворонок и, озабоченно бегая по ней, забормотал:

— ...И заря, своей улыбкой, нежно гасит в небе звезды... Ночь бледнеет, ночь трепещет, и — как лед на солнце — тает тьмы ночной покров тяжелый. Как легко и сладко дышит сердце, полное надежды, встречу солнцу, встречу утру, встречу света и свободы!..

— Это что за птица? — спросил снигирь, прищуриваясь.

— Жаворонок, ваше-ство! — строго сказал ворон из-за трубы.

— Поэт, ваше-ство! — снисходительно добавил воробей.

Снигирь искоса посмотрел на поэта и проскрипел:

— Мм... какой серый... прохвост! Он что-то там насчет солнца, свободы прошелся, кажется? а?

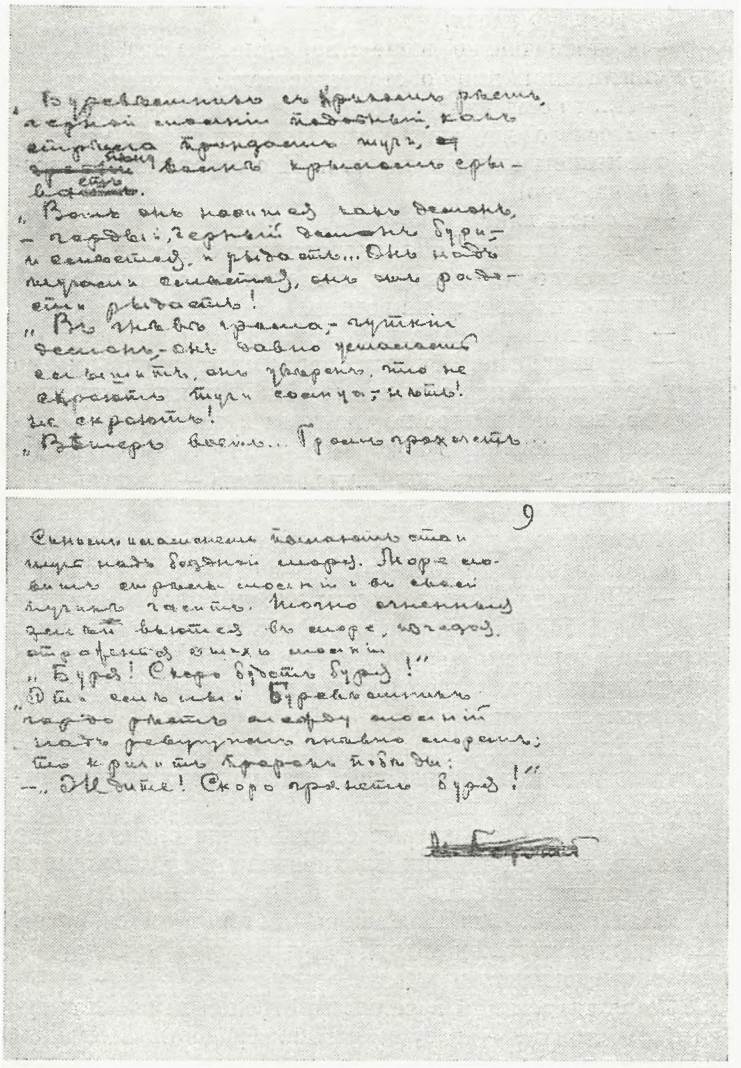
— Так точно, ваше-ство! — подтвердил ворон.— Занимается возбуждением неосновательных надежд в сердцах молодых птенцов, ваше-ство!

— Предосудительно и... глупо!

— Совершенно справедливо, ваше-ство! — отозвался старый воробей.— Глупо-с! Свобода, ваше-ство, суть нечто неопределенное и, так сказать, неуловимое...

— Однако, если не ошибаюсь, кажется, вы сами к ней... взывали?

— Фа-акт! — вдруг каркнула ворона.



«ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ».

Конец восьмой страницы и девятая страница автографа.

Воробей смутился.

— Действительно, ваше-ство, однажды воззвал... но при смягчающих вину обстоятельствах...

— А... то есть как?

— После обеда, ваше-ство! Под влиянием... то есть под давлением винных паров... И с ограничением воззвал, ваше-ство!

— То есть как?

— Тихо сказал: «Да здравствует свобода» и тотчас же громко добавил: «в пределах законности!»

Снигирь посмотрел на ворона.

— Так точно, ваше-ство! — ответил ворон.

— Я, ваше-ство, будучи надворным воробьем, не могу себе позволить серьезного отношения к вопросу о свободе, ибо сей вопрос не значится в числе разрабатываемых ведомством, в котором я имею честь служить.

— Факт! — снова каркнула ворона,— ей ведь всё равно, что ни подтверждать.

А по улице текли ручьи и пели тихую песнь о реке, куда они вольются в конце пути, и о своем будущем:

— Широкие быстрые волны нас примут, обнимут и в море с собой унесут, и снова, быть может, нас в небо поднимут горячего солнца лучи, а с неба мы снова на землю падем прохладной росою в ночи, снежинками или обильным дождем...

Солнце, великолепное, ласковое солнце весны, улыбается в ясном небе улыбкой бога, полного любви, пылающего страстью творчества.

В углу сада, на ветвях старой липы сидит стайка чижиков, и один из них вдохновенно поет товарищам где-то слышанную им песню о Буревестнике.

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То волны крылом касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит,— и тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки — стонут перед бурей; стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,— им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни, гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и плещут волны к высоте навстречу грому.

Гром ревет и море воет. Вот уж тучи охватили стаи волн объятьем крепким и бросают эти волны в дикой злобе на утесы, разбивая в брызги, в пену изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,— гордый, черный демон бури,— и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,— чуткий демон,— он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,— нет! не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро будет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Ждите! Скоро грянет буря!»

ПОГРОМ

Был жаркий день июня месяца. Я с утра работал на берегу реки, осмаливая дощаник, и уже время подвигалось близко к обеду, когда где-то в слободе сзади меня раздался глухой сердитый шум, как будто заревели голодные быки. Я был голоден, хотел скорее кончить работу и сначала не обращал внимания на этот отдаленный гул, а он с каждой секундой всё разрастался, как растет дым в начале пожара.

В горячем воздухе над слободой стояла мутная туча пыли; я смотрел в сторону слободы, и мне казалось — вижу я, как разноголосые звуки насыщают воздух, поднимаясь от земли вместе с пылью. Пыль становилась всё гуще, звуки громче и разнообразнее, воздух вздрагивал, и вместе с ним дрожало сердце в предчувствии чего-то недоброго...

Бросив работу, я поднялся на песчаный берег и увидел: из ворот домов выскакивали люди, они бежали вдоль по улице, куда-то в глубь слободы, за ними бежали собаки и дети, испуганные голуби носились над их головами, а под ногами метались куры. Охваченный общим смятением, я тоже бросился бежать.

— На Елизаветинской дерутся,— крикнул кто-то.

Навстречу бегущим, яростно нахлестывая лошадь вожжами, по немощеной улице мчался ломовик и орал во всю силу груди:

— Наших бьют! Крючники!

Я повернул в узкий переулок и остановился. Толпа людей забила переулок своими телами так плотно, что он был похож на мешок, полный зерна. Впереди, где-то далеко еще, раздавался рев и визг людей, звенели стекла, бухали тяжкие удары, что-то трещало и падало, звуки

покрывали друг друга, как облака осенью, и уже плыли по воздуху тяжелой тучей.

— Жидов бьют! — с удовольствием в голосе сказал какой-то старичок, благообразный и чистенький. Он крепко потер маленькие, сухие ручки и добавил:

— Так их и надо!

Я пробивался вперед на шум, повинуясь его возбуждающей, притягательной силе. Не одного меня он, этот страшный шум, привлекал к себе; всех он всасывал в себя, как трясина. Лица людей, мелькавшие предо мною, все были возбуждены стремительной и тупой злобой, глаза сверкали жадно, вся толпа сплошной тяжелой массой двигалась вперед, готовая опрокинуть стены и заборы, давившие ее, каждый готов был бросить под ноги себе переднего, идти по его телу, давить его.

Я бросился на двор одного из домов переулка, перескочил через забор на другой двор, еще раз, еще, и — вот я снова в тесной толпе людей. Они наполняли собою густо застроенный двор большого каменного дома, облепленного пристройками, и точно кипели на тесном дворе, точно земля под ними содрогалась. Как бесноватые, они орали что-то, подняв головы кверху, лица их были красны, в открытых ртах сверкали зубы, они взмахивали руками и толкали друг друга, лезли на крыши служб, обрывались, падали и снова лезли. И, несмотря на разнообразие движений каждого человека, во всех них было что-то общее, человек стал членом одного огромного тела, одушевленного одной и той же могучей силой.

Высоко над этой плотной массой людей, спаянной озлоблением, на крыше дома, у трубы, стоял худой и длинный еврей. Он отрывал пальцами кирпичи трубы и, швыряя их вниз, что-то кричал голосом резким, подобно крику чайки. Большая седая борода трепетала на его груди, а белые штаны на нем были покрыты красными пятнами...

К нему наверх летели яростные крики:

— Из ружья его!

— Тащи ружье! Камнями лупи!

— Лезь к нему!

В окнах дома мелькали темные фигуры людей. Они выбивали рамы и выбрасывали на двор вещи. Взвизги-

вали и дребезжали стекла. Вот широкорожий кудрявый парень поднес к окну зеркало, высунул его и закричал:

— Эй, берегись!

И, отражая солнечные лучи, зеркало полетело на землю. Парень высунулся из окна вслед за ним. Его широкое лицо было только озабочено и серьезно, но не озлоблено. В другом окне явился чернобородый мужик с подушкой в руках. Он рванул ее — и в воздухе рассеялось густое белое облако перьев.

— Снег пошел, носов не отморозь, ребята! — крикнул мужик, глядя, как белые пушинки опускаются на головы людей.

А на дворе орали:

— Сюда! В кадке жиденят нашел!

— Бей их!

— Башками о стенки!

— Эй, старый жид! Слезай, внуков нашли!

— Лезь с крыши, а то убьем племя...

Пронзительный крик ребенка огласил воздух; это был звук ужасный, в мутном реве толпы он сверкнул ослепительно, как молния в облаках. И шум после него стал как бы тише.

— Не тронь! — заревел кто-то.

— Не тронь ребят!

— Больших бей!

Тут вновь раздался крик ребенка,— тонкий и острый, он резал сердце и оглушал более всех звуков.

— Ах, дьявол! — бешено заорал кто-то, покрывая все звуки.

— По башке?

— Ногу отшиб...

— Ловко, старый чёрт!

— Антип! Лезем жида сшибать!

Двое огромных крючников, расталкивая толпу, подошли к пристройке и полезли на крышу.

А в одном из окон дома снова явился серьезный красноролжий парень. Напрягаясь, он просовывал в окно какой-то шкаф или ящик и кричал вниз:

— Робя, держи посуду...

Ящик не проходил в окно, тогда парень дернул его

назад к себе, на минуту скрылся, вновь встал в окне и завыл протяжно, как волк:

— Бе-реги-и-сь!

Груда тарелок посыпалась из окна, за ними солнцем мелькнул в воздухе самовар. Люди внизу разбегались, прикрывая головы руками, и хохотали во всё горло. Рыжий и толстый парень схватил самовар с земли, поднял высоко над головой, снова бросил на землю и стал топтать его ногами.

На крыше раздался нечеловеческий вопль. Все подняли головы. Железо громыхало... Вдруг на краю крыши появилось что-то большое, оно несколько секунд повисело, содрогаясь, в воздухе, потом завизжало, завыло, оторвалось и полетело вниз. Раздался мягкий, противный шлепок. Я бросился вон со двора, а вслед за мной летел торжествующий дикий рев:

— А-а...

— Ага-а?

— Сшибли-и-и!

На улице люди ломали стулья, столы, разбивали сундуки, со смехом рвали какие-то одежды. В воздухе носились перья, из окон двух домов вниз, к ногам людей, летели подушки, корзины, мебель, тряпье, а толпа, обезумевшая в стремлении разрушать, хватала эти вещи и рвала, ломала, била. Две женщины, растрепанные, потные, с красными рожами, цепко ухватились руками за какой-то ящик и тянули его в разные стороны. Они кричали что-то друг другу, перья и пушинки крутились вокруг их голов, они обе широко открывали рты, но голоса их заглушали треск дерева, вой и рев толпы и визгливые, полные ужаса крики, доносившиеся из окон дома.

Мимо меня прошел огромный мужик, в разорванной рубахе, без шапки. Волосы у него были растрепаны, по грязному лицу текла густая, почти черная кровь. Он размахивал рукой и улыбался, тупо, довольной улыбкой сытого зверя. Вот он подошел к фонарному столбу, обнял его и стал раскачивать, упираясь в дерево широкой грудью. Фонарь затрясся и слетел на землю.

— Ло-оми-и! — крикнул другой мужик, подбегая к столбу фонаря. Он тоже схватил его и, ухая, стал раскачивать.

Откуда-то в толпу, как голубь в тучу дыма, бросилась девушка в изорванном платье, с распущенными волосами. Она бежала, закинув голову кверху, и глаза на бледном лице ее были невероятно велики.

— Бей жидовку! — заревел кто-то. И девушка исчезла в густой массе людей, как крошка сахара под кучей мух. Над нею закипела какая-то темная каша из человеческих тел, в воздухе мелькали кулаки, раздавалось сладострастное кряхтенье, мягкие шлепки. Циничные шутки, ругательства, змеиное шипенье — всё смешивалось в один злобный и злорадный звук.

— Раздайся, народ! Зельман едет!

Это кричала толпа людей, волочившая что-то по мостовой. Тащила она человека или труп человека, полуголое сухое тело, измятое, изорванное, всё покрытое кровью и грязью. Захлестнув ноги Зельмана веревкой, люди везли его по мостовой, а за ним оставалась на дороге широкая полоса крови. Сухие, длинные руки купались в ней, а между рук, в том месте, где они врастали в плечи, бился о камни безобразный, окровавленный, ободранный ком...

Какой-то подросток подбежал к телу, прыгнул на него, ноги погрузились в живот, как в тесто, а подросток замахал руками и упал, возбудив хохот. Зельман был богатый подрядчик. Я часто видал его живым, но то, что видел теперь, не было похоже не только на Зельмана, но и на человека вообще.

Отупевший от всего, что творилось вокруг, задыхаясь от пыли, я вертелся в толпе, как щепа в ручье, и смотрел на всё, как на страшный сон. Вот на водосточной трубе повисла белая юбка, она высоко над землей, и какая-то старуха, вставая на пальцы ног, хочет достать ее, протягивая кверху костлявую темную руку. Рядом с ней бородатый крючник напяливает на свою взлохмаченную голову бархатный картуз. Мальчишки снуют между ног взрослых, подбирая осколки зеркала, а один из них подпрыгивает, желая поймать летающее в воздухе перо.

Размахивая шашкой в ножнах, бежит полицейский, над ним смеются, ему вдогонку кричат:

— Держи его!

— Лови фараона!

Кто-то бросает под ноги бегущего разломанный ящик, и полицейский кувырком летит на землю. Громкий хохот гремит в воздухе.

Взглянув себе под ноги, я увидал кусок окровавленной кожи с клочком волос на ней...

— Нар-род! Сюда иди!

Крик доносится со двора, и толпа льется в ворота густой волной. Люди как-то хрюкают, рычат, ревут.

— Бей! Б-бей! — раздается в воздухе.

Внутри дома, во втором этаже, кто-то работает ломом, разрушая простенок между двумя окнами. На улицу сыплются кирпичи, известь, летит белая пыль. Поднос вылетает из окна, он нерешительно кружится в воздухе и падает на голову какой-то толстой бабы. Взвизгнув, баба присела.

Груда кирпичей падает на тротуар. Простенок выломан,— и тотчас же из безобразной дыры в стене дома тяжело и медленно высовывается огромный шкаф, вздрагивает, как-то нехотя скользит по стене дома, задевает за карниз и, перевернувшись, с грохотом разбивается о камни панели. В воздухе стоит непрерывный гул, как будто в нем невидимо течет бурная река, разрывая почву на своем пути, вся в пене гнева, вся — в диком бешенстве...

Вечером этого дня, проходя по площади слободы, мимо пикета казаков, я слышал, как один из них сказал другому:

— Четырнадцать жидов, чу, разорвали...

А другой курил трубку; он ничего не ответил на слова товарища.

. . . . . .

Это было в июне 1885 г. в слободе Кунавино, на Оке, против Нижнего Новгорода.

<ЛЕГЕНДА О МАРКО>

В лесу над рекой жила фея.
В реке она часто купалась
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.

Ее рыбаки испугались,
Но был с ними юноша Марко,
Схватил он красавицу фею
И стал целовать ее жарко.

А фея, как гибкая ветка,—
В могучих руках извивалась
Да в Марковы очи глядела
И тихо над чем-то смеялась.

Весь день она Марка ласкала;
А как только ночь наступила,
Пропала веселая фея...
У Марка душа загрустила...

И дни ходит Марко и ночи
В лесу, над рекою Дунаем,
Всё ищет, всё стонет: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»

Но он закричал им: «Вы лжете!
Вы сами целуетесь с нею!»
И бросился юноша глупый
В Дунай, чтоб найти свою фею...

Купается фея в Дунае,
Как раньше, до Марка, купалась;
А Марка — уж нету...
Но всё же
От Марка хоть песня осталась.

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!

О СЕРОМ

На земле спорят Красный и Черный.

Неутомимая жажда власти над людьми — вот сила Черного. Жестокий, жадный, злой, он распростер над миром свои тяжелые крылья и окутал всю землю холодными тенями страха пред ним. Он хочет, чтобы все люди служили только ему, и, порабощая мир железом, золотом и ложью, он даже бога призывает только затем, чтобы бог утвердил его черную власть над людьми.

Он холодно говорит:

— Всё — для меня! Я — сила, значит, я душа и разум жизни, и я владыка всех людей. Кто против этого, тот против жизни — он преступник!

Сила Красного — его горячее желание видеть жизнь свободной, разумной, красивой. Его мысль всегда горит трепетно и неустанно, освещая тьму жизни яркими огнями красоты, грозным сиянием правды, тихим светом любви. Его мысль зажгла повсюду могучее пламя свободы, и этот огонь радостно и жарко обнимает нашу темную, слепую землю великой мечтой о счастье для всех.

Он говорит:

— Всё для всех! Все равны, в сердце каждого скрыт целый мир красоты, и нельзя искажать человека, превращая его в тупое орудие бессмысленной силы. Никто не должен подчиняться, никто не имеет права подчинять, власть ради власти преступна.

В этом споре светлого рыцаря правды с черным чудовищем власти — вся жизнь, вся красота ее и муки, ее поэзия и драма.

Между Черным и Красным суетливо и робко мечется однообразный маленький Серый. Он любит только жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь уютную, и ради

этой любви треплет свою душу, как голодная уличная женщина дряблое тело свое. Он готов рабски служить всякой силе, только бы она охраняла его сытость и покой. Вся жизнь для него — зеркало, в котором он видит только себя. Он очень живуч, ибо обладает всеми талантами паразита. Ему всё равно, кто дает ему есть, животное или человек, идиот или гений. Его душа — трон скользкой жабы, которую зовут пошлостью, его сердце — вместилище трусливой осторожности. Он хочет много наслаждаться и боится беспокойства — это делает его раздвоенным и фальшивым.

Если в борьбе за власть побеждает Черный,— Серый осторожно подстрекает Красного:

— Смотри, как растет Реакция!

Если побеждает рыцарь свободы и правды,— Серый доносит Черному:

— Берегись — развивается Анархия!

Его идол всегда один: «Порядок для меня!» Хотя бы ценой духовной смерти всей страны.

Когда он чувствует, что Черный утомлен борьбой, он вмешивается в спор Черного с Красным и всегда обманывает и того и другого. Почтительно и осторожно он говорит Черному:

— Конечно, люди — скоты, и пастух необходим для них, но мне кажется — уже пора расширить пастбище! Если к тому, чего у них нет, дать им еще немножко,— у них будет хотя и меньше того, сколько они желали, но больше, чем они имеют. Это успокоит их и обезопасит Красного,— ведь вся его сила в их недовольстве! Позвольте, я помогу вам устроить это?

Ему позволяют, и он устраивает для себя жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь уютную.

Черный, сливаясь с Серым, становится как будто менее определенно жесток, но более глуп и пошл. Красный разгорается ярче.

Тогда Серый поучительно говорит Красному:

— Разумеется, уже пора приблизить жизнь к идеалу, но сразу невозможно удовлетворить всех! Немножко сегодня, немножко завтра,— в конце концов люди будут иметь всё. Расчет — вот энтузиазм мудрого... Черный

уступит, если повести дело осторожно... Позвольте, я поговорю с ним по душе?

И, позволяют ему или нет, он устраивает для себя жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь уютную.

Красный становится более тусклым, Черный шире распускает крылья своей власти, жизнь темнеет, жизнь дышит медленно. Серый наслаждается счастьем покоя. Он может предать и продать, он способен на всё, но никогда не действует честно и никогда не бывает красивым.

Эта маленькая двоедушная гадина всегда занимает средину между крайностями, мешая им своекорыстной суетой своей развиться до конца, до абсурда, до идеала. Расплываясь в средине, он бездарно смешивает два основных цвета жизни в один тусклый, грязный, скучный...

Серый задерживает смерть отжившего, затрудняет рост живого, он-то и есть вечный враг всего, что ярко и смело...

С НАТУРЫ

В деревню, для успокоения возбужденных умов, явился администратор. Не выходя из коляски, он, окруженный казаками, обратился к мужикам с успокоительной речью. Говорил милостиво и грозно, укоризненно и отечески, говорил долго.

Вдруг из толпы, прерывая речь, раздался вопрос:

— А ён?

— Что? — спросил администратор.

— А как ён?

— То есть кто — он?

— Ну, знаешь...

— Дурак! Что такое — он?

— Конешно... А все-таки — как же ён?

— Да что такое? О чем ты спрашиваешь?

— Насчет его...

— Ну?

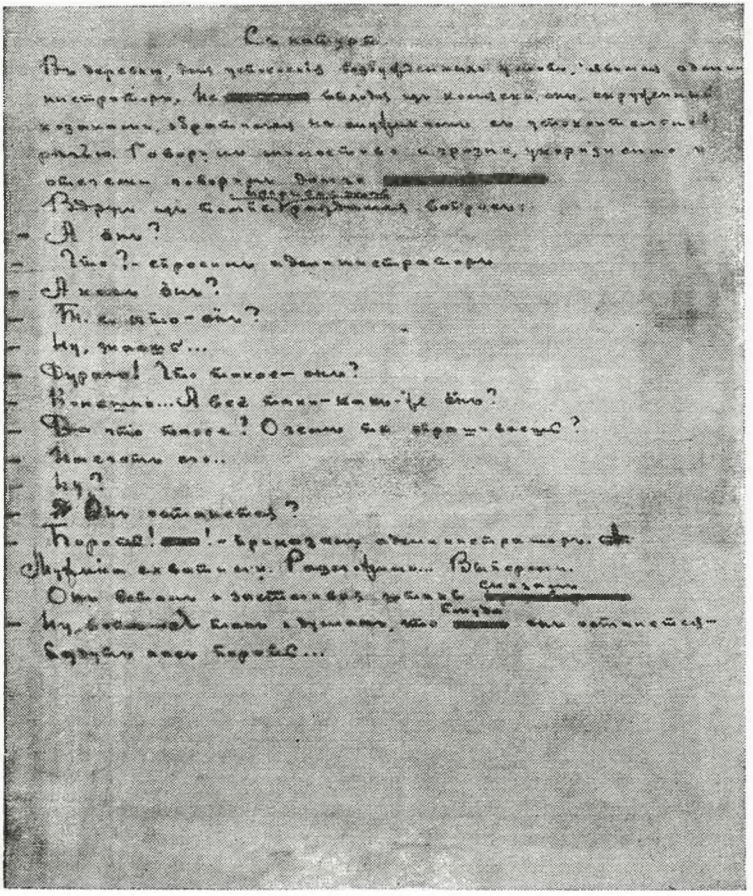
— Ён останется?

— Пороть! — приказал администратор.

Мужика схватили. Разложили... Выпороли.

Он встал и, застегивая штаны, сказал:

— Ну, вот... Я так и думал, что, покуда ён останется,— будут нас пороть...



«С НАТУРЫ».
Автограф.

И ЕЩЕ О ЧЁРТЕ

Приятно утомленный всем, что он видел, слышал и говорил в заседании бюро своей партии, Иван Иванович Иванов, придя домой, лег в кабинете на диван, улыбаясь, сладко потянулся и застыл в истоме отдыха.

За окном дребезжали пролетки извозчиков, в голове еще звучало эхо свободных речей, он вспоминал живую игру слов, красивые фразы, ловкие обороты, возбужденные лица ораторов и — вдруг почувствовал, что он не один.

Невольно сдвинув брови, он поднял голову — на белых кафлях печи в углу кабинета тускло блестело чье-то желтое, квадратное, холодное лицо. Иван Иванович сразу, движением всего тела, поднялся, сел на диване, упираясь руками в колена, и, вытянув шею, прищурил глаза.

— Не узнаете? — раздался негромкий, металлический, взвизгивающий голос.

— Ах... это вы? — сказал Иван Иванович смущенно. — Да, я не сразу вас узнал... теперь так много живого, реального дела, что невольно забываешь о вашем существовании, — извините! К тому же вы несколько изменились...

— Но, изменяясь, я не изменяю... — с усмешкой сказал Чёрт.

— Гм... — произнес Иван Иванович, — я ведь говорю только о вашем лице...

— Ба! Теперь у всех не те лица, что были вчера, — молвил Чёрт беззаботно...

«Кажется, намекает на что-то, бестия!» — подумал Иван Иванович и, беспокойно почесав мизинцем лысину, спросил:

— Вы что же... по делу ко мне?

— Эх, Иван Иванович! — печально вздыхая, сказал Чёрт.— Что делать на земле Чёрту теперь, когда люди превзошли его в творчестве мерзостей? Я стал теперь каким-то заштатным существом... наблюдаю, учусь провоцировать...

— Да,— солидно сказал Иванов,— предрассудки исчезают...

— Как же, как же! — согласился Чёрт.— Я был на вашем съезде и видел, как усердно вы хоронили в потоках слов любовь к родине, интересы трудящихся классов, правду, честь...

— Позвольте! — сухо перебил Иван Иванович.— Я говорю о предрассудках...

— Я тоже! — молвил Чёрт и засмеялся.

«Вот негодяй!» — подумал Иванов.

— Ну, как, Иван Иванович, довольны вы результатом вашей долгой и упорной деятельности? — дружелюбно спросил Чёрт.

— Конечно!.. То есть... позвольте! Что именно считаете вы результатами моей деятельности? — Иванов строго вперил глаза в желтое лицо Чёрта, а оно переливалось улыбками, как расплавленная медь.

— Как что? — воскликнул Чёрт.— А пробужденье всей страны? Этот могучий прибой развитого вашей работой чувства человеческого достоинства, это растущее с волшебной быстротой сознание народом своих прав, сознание, которое вы так долго будили, эту огненную волну стремления к свободе...

— Позвольте-с! — вскричал Иван Иванович, вскочив на ноги.— Прежде всего вы — Чёрт, и вам не следует впадать в высокий стиль, да! И обвинять меня... то есть приписывать мне всё это... эти огненные волны... покорно благодарю!

У Иванова дрожали пальцы, а лысина покрылась мелким потом. Он стоял перед лицом Чёрта и размахивал в воздухе рукой, а Чёрт беззвучно хохотал.

— Пробуждение и прочее... это, конечно, я не отрицаю... нет! Но — вам известно, что у меня сожгли усадьбу? Вы знаете, что перерезали моих овец и лошадям моим хвосты оторвали? Вы в этом видите сознание на-

родом своих прав? Огненные волны... я? Я, было бы вам известно, не разжигал никаких огней...

— Иван Иванович! — звеня и взвизгивая, воскликнул Чёрт.— Не отрицаете ли вы себя? Подумайте, кто издавал журналы и газеты, в которых говорилось о бедствиях голодного, бесправного народа? Разве не вы всю жизнь служили идее свободы? И разве вы не говорили много раз, что эту идею осуществит только революция? Ведь вы сочувствовали революционерам и порою облекали это сочувствие в реальные формы. Разве вы никогда не давали трех рублей в пользу политических и рубля на нелегальную литературу?

— Довольно! — закричал Иван Иванович.— Я знаю-с, я писал в газетах, я читал лекции и вообще... но я всегда доказывал одно: необходимо заменить бесправие порядком! И больше ничего... И я не учил мужиков жечь мой дом... я не учил рабочих оставлять меня по неделям без огня и воды, без лекарств и железных дорог, без почты, телеграфа... я не учил анархии! И на революцию за все шестнадцать лет я дал всего семь рублей сорок пять копеек,— я это помню! И дал не из сочувствия, а... а из сожаления!

— Но, Иван Иванович, право же, вы несколько помогли... Вы внесли в сознание рабочих и крестьян кое-что...— убедительно заговорил Чёрт, и на лице его отразилось что-то похожее на стыд.

— Ничего, что позволяло бы им портить мой скот! И никогда я не занимался пропагандой среди рабочих и крестьян... это ложь! Нет, уж извините, я предпочитаю, чтоб страна не пробуждалась в такой чрезмерной степени, но усадьба моя уцелела...

Иван Иванович проговорил эту фразу и вдруг почувствовал себя голым. Его костюм, солидный и удобный, рассеялся, как облако дыма, и, смущенно прикрывая руками то место, где на статуях помещается фиговый лист, он, в смущении, переминался с ноги на ногу, колыхая животом...

— Иван Иванович! — воскликнул Чёрт.— Что с вами? Это преждевременно... так обнажать себя!

Иванов огорченно осматривал свое тело и молчал.

— Конечно, я... хватил через край, как говорится,— пониженным и грустным тоном начал он.

— Но это было искренно? — подсказал ему Чёрт.

— Вовсе нет! — снова возмущаясь, крикнул Иванов.— У вас отвратительная манера разговаривать. Ведь вы прекрасно знаете, что во всех этих забастовках, беспорядках и прочих ужасах я ни при чем... И если иногда... что-нибудь говорил... немного резко... может быть... так это — среди своих и в состоянии запальчивости и раздражения! А вы мне навязываете роль провокатора...

— Нет! — сказал Чёрт.— Но я думал, что так называемый честный человек...

— Ну да! Честный человек — это человек разумный! — внушительно сказал Иванов, поднимая вверх правую руку.— Вы... просто политически незрелы и не понимаете моей программы... А между тем она ясна, она вполне определенна: идею равенства я признаю, но — солдат должен быть солдатом, почтальон почтальоном, и больше ничего! Вы поняли?

— О да! — сказал Чёрт.— Очень остроумно...

— Равенство людей не должно отрицать порядка, а для порядка необходима армия... и еще многое... Свободу должен регулировать разум, а представитель его — кто?

— Вы? — спросил Чёрт.

Иван Ивановнч скромно потупил глаза и продолжал:

— Женщина равна мужчине, но было бы преждевременно признать ее таковой...

— Разумеется! — сказал Чёрт.

— И если я говорил иногда о революции, то всегда прибавлял: ее необходимо совершить мирным путем... вот! Я никогда не был революционером...

— А на съезде вы себя назвали таким именем! — заметил Чёрт.

— Но — не в смысле аграрных беспорядков! — огорченно возразил Иванов.— Я революционер, но только... не теперь... то есть не здесь... я революционер в области права... но не могу же я отрицать право собственности!

И, тяжело вздохнув, Иванов потер руками бедра.

— Итак,— сказал Чёрт,— это не вы сделали революцию?

— Поймите меня,— страдающим голосом сказал Иванов,— всё, что в ней есть разумного, сознательного,— это моя работа, всё стихийное, бессознательное — работа крайних партий... это так просто!

— Значит, правда,— сказал Чёрт,— что пролетарий сам завоевал свободу?

— У вас совсем нет логики, мой дорогой! — с досадой сказал Иван Иванович.— Как мог сделать это пролетарий? Когда он заикался о свободе, в него стреляли, и он... исчезал. А я... разве я мало ходатайствовал во всех инстанциях, от участка до сената, о необходимости разрешения свободы? Я писал об этом, я говорил, я направлял молодежь на борьбу за свободу... но я всегда ей говорил — борись миролюбиво! Я, наконец, устраивал банкеты — вы помните? — публичные банкеты, на которых я вполне открыто говорил, что пора уже... и прочее! Однако — в меня никогда не стреляли,— значит, я пользовался в глазах правительства престижем и — отсюда ясно — значит, именно мой голос сделал всю эту музыку. Я вел себя всегда корректно и с полным уважением к чужому мнению. В ту пору, когда было не принято пить за конституцию, я скромно поднимал бокал свой «за нее!» —и все понимали, о ком идет речь. Но допустим, что пролетарий тоже... помог делу освобождения страны... допустим! Что же из этого следует? Может ли он воспользоваться дарами свободы? Вот вопрос!

— Вы его решили? — спросил Чёрт.

— Давно! — сказал Иванов, пожав плечами.

— До завоевания?..

Иванов посмотрел на Чёрта и не ответил на вопрос. Осмотрев свое блестящее тело, он любовно погладил его руками и продолжал:

— Пролетарий... конечно, тоже человек, но он не пользуется доверием правительства, потому что он дерзок, некультурен и не умеет уважать чужого мнения. В него по-прежнему готовы стрелять, и вообще с ним неохотно разговаривают. В обществе он... непопулярен... то есть популярен с отрицательной стороны. Он ведет себя некорректно: в то время, как я и моя партия про-

сим только власти, он требует бог знает чего и даже кричит — долой... то и это и всё прочее! Он устроил одну забастовку, она дала вполне осязательные результаты, прекрасно! Их используют в интересах развития общей культуры страны... Чего же он хочет? Зачем еще забастовки и вся эта анархия, вызывающая общую дезорганизацию хозяйства страны? Зачем создавать излишек ревслюции? Революция, государь мой, всегда была только «переходом власти из рук абсолютизма в руки либеральных групп общества, как истинных носителей культуры».

— Это вы уже из «Слова»? — спросил Чёрт.

— Для меня не важно, блондин или брюнет говорит правду! — сухо ответил Иванов.

— Значит, вы играете до 48, не более?

— Не могу же я играть в 89, согласитесь! Или в какую-то еще более крупную игру... я не мальчик! Вы рассуждаете, как социал-демократ, то есть очень несолидно. Пролетарий должен понять, если он разумное существо, что «мы все — дети одной России». «Нужно любить всем что-нибудь одно» — вот великие слова, сказанные недавно одним моим другом на страницах «Русских ведомостей». «Нужно любить всем что-нибудь одно» — вот лозунг времени!

— Волшебное будущее! — воскликнул Чёрт.— Я его вижу: капиталист и рабочий, крестьянин и помещик, солдат и генерал — все «любят что-нибудь одно»!

— Не издевайтесь! — возмущаясь, сказал Иван Иванович.— Поймите — речь идет о благе родины, о спасении культуры... Мы на границе краха: промышленность погибает, фабриканты закрывают фабрики и переводят капиталы за границу. Вы понимаете? Вот что сделал этот пролетарий! Он губит страну!

— Иван Иванович! — ехидно подмигнув, перебил Чёрт.— А что, если пролетарий, ради спасения страны, восстановит промышленность своими средствами?

— Какие у него средства! — презрительно пожав плечами, сказал Иван Иванович.

— А представьте, что он посмотрит на господ капиталистов, которые лишили народ работы и переводят свои деньги за границу в то время, когда страна уми-

рает с голоду, он взглянет на них как на бунтовщиков, идущих против воли народа, а затем конфискует фабрики, объявит их собственностью нации...

— Что-о? — дико закричал Иван Иванович.— Это невозможно-с! Этого никогда не было... Это не будет позволено... И, наконец... кто вы такой? Как вы смеете?

Иван Иванович сжал кулаки, бросился вперед и — проснулся.

В кабинете было тихо и уютно. Он ощупал себя, вытер потное лицо и строго посмотрел в угол кабинета. Там, на белых кафлях печи, тускло блестел медный вентилятор...

СОБАКА

...Сизые сумерки прозрачно окутали поле, от земли, согретой за день солнцем, поднимался душный, теплый запах. Медленно всходила красная угрюмая луна, темная туча, формой подобная рыбе, неподвижно стояла на горизонте, разрезая диск луны, и луна казалась чашей, полной крови.

Я шел полем в маленький сонный город и смотрел, как угасал блеск крестов на церквах; встречу мне мягко плыл странный звук, неуловимый, точно тень, а по темной, пыльной дороге бежала собака. Опустив хвост, высунув язык и качая головой, она, не торопясь, шла прямо на меня; я видел, как она порою встряхивала шерсть, свалявшуюся в клочья. В ее неспешной походке было что-то серьезное, озабоченное, и вся она — жалкая, голодная,— казалось мне, решила что-то твердо и навсегда. Тихо свистнув ей, я позвал ее. Она вздрогнула, села, подняла голову, глаза ее враждебно сверкнули, и, оскалив зубы, она зарычала на меня. А когда я шагнул к ней, она тяжело встала на ноги, сухо сверкая глазами, хрипло залаяла и, круто свернув с дороги в поле, снова пошла, оглядываясь на меня и поводя хвостом, усеянным репьями. Я смотрел вслед ей — она одиноко шла полем в тишину сумеречной дали прямо на холодный и зловещий, красный диск луны.

Дня через два иль три я снова увидал ее. Она лежала под кустом на краю оврага, над нею жадно кружились большие черные мухи, они ползали по ее мертвым глазам, влезали и в открытую пасть, жужжали и бились в ее шерсти. Вытянув шею, она оскалила желтые зубы, и тусклый, сухой глаз ее неподвижно смотрел в сторону города. В небе рассеянно плавали

белые клочья облаков, играя в лучах солнца, по земле скользили мелкие тени, и это было похоже на безмолвную беседу неба и земли. Порою тень покрывала труп собаки, и тогда строгий глаз ее, смотревший в даль, на город, где жили люди, становился темнее...

Я сказал мертвому псу:

— Хвала тебе! Ты жил с людьми и ушел от них, чтобы умереть в одиночестве. Ты не хотел оскорбить людей зрелищем твоего разрушения при жизни, ты был горд и не допустил, чтобы тебя, веселого, доброго пса, они видели старым, больным, трусливым дармоедом, который живет воспоминаниями о прошлом и питается обидной жалостью людей. Хвала тебе за то, что ты не опоганил жизни хриплым лживым лаем старческого самолюбия, глупой воркотней бессильной злобы животного, издыхающего от немощей старчества! Хвала тебе!

Истинно мудрый умирает вовремя... Хвала тебе, собака, ибо ты узнала время смерти своей и молча ушла прочь от жизни. Хвала тебе!

Как хотел бы я сказать эту похвалу множеству полумертвых людей, которые отравляют жизнь нашу циничным запахом гниения своего, как хотел бы я, чтоб они взяли в пример тебя, славная собака!

Они давно уже носят смерть в сердцах своих, но всё еще стонут, всё еще говорят, изливая на головы наши смрадный гной мертвых душ...

Хвала тебе, собака!

АФОРИЗМЫ И МАКСИМЫ

Человек, который считает свою зубную боль несчастием всего мира,— явно склонен преувеличивать события.

Будучи подлецом — не воображай, что это оригинально.

Речи правителей о желаниях народа подобны рассказам глухонемого о музыке.

Пли! И благо ти будет, но долголетен ли будеши на земле — кто скажет?

Если на похоронах играет музыка,— не думай, что покойник был отчаянный весельчак и умер с удовольствием; ты можешь ошибиться.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М. Г. г. редактор!

Сим покорнейше прошу Вас восстановить истину. Мое общественное положение и взгляды мои не позволяют мне допускать преувеличения событий, даже и в том случае, когда эти события неприятно касаются меня лично.

Ваша газета, по обыкновению, усвоенному за последнее время русской прессой, в заметке по поводу осмотра моей квартиры представителями законной власти допустила преувеличения, доходящие до явной карикатурности.

Дело происходило так: действительно, я и мои гости играли в карты, когда явилась власть, но совершенно неверно, будто бы она въехала в гостиную верхами на лошадях и закричала нам: «Сдавайтесь!» Все агенты ее были пешие, и предводитель отряда любезно, хотя и не без строгости, вполне уместной в таких случаях, предложил нам: «Прошу поднять руки кверху!»

Затем приступлено было к осмотру наших карманов, причем факт нахождения в бумажнике одного из гостей двух билетов государственной ренты вызвал на лице начальника экспедиции благосклонную улыбку, и он немедля отдал приказание: «Этого господина донага не раздевать!»

Строгое выполнение служебного долга мне всегда приятно видеть, и я считаю долгом моим заявить, что осмотр квартиры производился в высшей степени тщательно и усердно, но, несмотря на это, в квартире моей решительно ничего явно преступного не было обнаружено и ничего не пропало, если не считать, что нижние

чины отряда, сидя в кухне, выпили там купленное мною для гостей пиво в количестве семи бутылок и бутылку Понте-Кане и съели, очевидно вместе с жестянками, коробку сардин и маринованную кефаль. Подобное проявление некультурности не вызывает у меня каких-либо претензий; зная духовную неразвитость низших классов русского народа и видя крайнюю усталость нижних чинов, истомленных непрерывным исполнением долга, я не могу в данном, совершенно исключительном случае, отнестись к этому нарушению права собственности так строго и нелицеприятно, как вообще следует относиться к подобному нарушению. Пора уже нам научиться приносить интересы личности в жертву интересам государства и безропотно подчиняться всему, что правительство наше предпринимает для укрепления порядка в расшатанной анархией стране.

Сообщенное в вашей газете сведение о том, что будто бы у меня исчезли кальсоны, а у одного из моих гостей шапка,— тоже неверно в отношении кальсон: я сам снял их и спрятал под кресло, где они и остались незамеченными. Сделать это побудило меня обстоятельство, о коем говорить не считаю удобным, но кое с каким-либо неблагонамеренным актом не имеет, однако, ничего общего. Также неверно, будто бы у меня был найден пулемет. Ящик, сначала принятый за это орудие, по рассмотрении оказался аристоном, на коем я, в доказательство его истинного назначения, и сыграл народный наш гимн. Вообще, кроме столовых и кухонных ножей и вилок, каминных щипцов и других домашних орудий, в квартире моей ничего не обнаружено.

Каминные щипцы привлекли особенное внимание начальника отряда, из чего я заключаю, что это, видимо, человек образованный и знакомый с историей последних дней царствования блаженной памяти императора Павла.

Я тотчас же заявил предводителю экспедиции, что особенной нужды в этом инструменте не вижу и могу изъять его из употребления, на что начальник дружески ответил мне: «И благоразумно поступите». Считаю его правым, ибо человеку нужно только необходимое, всё же, что не суть необходимо,— излишне.

Вообще нахожу долгом своим заявить, что поведение представителей закона в квартире моей было вполне корректно, а их серьезное отношение к возложенным на них обязанностям доставило мне искреннее удовольствие. Сообщение же ваше о том, будто я упал в обморок при появлении их, нуждается в поправке: в обморок я упал не от испуга, как это можно понять из Вашей заметки, а просто от неожиданности.

Засим не могу удержаться, чтобы не заявить Вам, М. Г., что общий тон Вашей заметки поразил меня. Вы, например, позволяете себе называть начальника отряда «предводителем полчищ» — считаю это дерзостью, недопустимой в столь серьезном случае и свидетельствующей о крайне легкомысленном, чтобы не сказать — вредном, образе Ваших мыслей. Мы живем в такое смутное время, когда каждый, кто искренно желает блага родине нашей, сам бы должен ежедневно являться в охранное отделение для того, чтобы подвергнуть себя осмотру со стороны благонадежности. Издеваться же над действиями агентов законной власти, столь усердно водворяющих всюду упокоение,— могут только люди, явно враждебные законности.

Статский советник
Антином Исходящий, член п. п. п.

С.-Петербург,
Января 3-го 1906 г.

МУДРЕЦ

Был мудрец.

Он понял печальную тайну жизни, тайна наполнила сердце его темным трепетом ужаса, и во мраке ее грустно погасли улыбки земли, тихо умерли радости. Холодным оком разума своего он смотрел в глубь времен и видел там тьму; будущее было ясно для него — там была тьма.

Он ходил по дорогам родины своей, по улицам городов и по селам ее, он ходил, печально помавая одинокой мудрой головой, и звучала в пестром шуме жизни его проповедь, как печальный звон похоронного колокола.

— Люди! Вы живете между тьмою и тьмой. Из пропасти неведения вышли вы, в тумане неведения трепещет жизнь ваша, ледяная тьма неведения ждет вас впереди...

Люди слушали грустную речь его, понимали горькую правду ее и вздыхали, молча глядя в очи мудреца.

Но, проводив его в одинокий путь мудрого, они шли к работам своим и на пиршества свои, ели хлеб свой, пили веселое вино свое и, со смехом любуясь играми детей, забывали о нуждах своих и о горе, изведанном ими вчера.

Боролись друг с другом за власть и богатства, умиленно слушали проповедь любви, руками в крови ближнего своего ласкали милых сердцу красавиц и устами предателей целовали друзей своих. Воровали

друг у друга имущество и, обогащенные кражами, горячо защищали собственность, бессовестно лгали друг другу, и все говорили, что лишь правда должна быть царицею жизни, а некоторые даже верили в благостную силу правды и страдали за веру свою. Любили они музыку и счастливо плакали под звуки ее, восхищались красотой, а вокруг себя допускали безобразное, совершали отвратительное. Порабощали они друг друга и говорили, что жаждут свободы, презирали подчинявшихся власти их и тайно, трусливо, как хитрые звери, ненавидели владык своих. И всегда, желая лучшего, тревожно искали его вокруг себя, но в себе не умели создать это лучшее, поглощенные мелочными заботами об удобствах жизни своей, истощая свой ум во вражде и во лжи, в грубых хитростях ради торжества ненасытной своей жадности ко благам земли.

Так, подобно грязным свиньям, жили эти забавные чудаки и считали себя падшими ангелами. И была их жизнь как вулкан грязный, вулкан неистощимый, изрыгавший в светлую пустыню небес смрадный пар стонов и воплей, липкий пепел страданий и горя, вонючую грязь вожделений звериных...

Одинокий мудрец, тихо шествуя сквозь суету земли, говорил голосом всеведения:

— Что есть жизнь? Вы не знаете. Что — истина? Вы не скажете. И зачем вы? Неизвестно вам. Вот в чем ваше несчастие!..

И, видя, как влюбленный обнимает возлюбленную свою, говорил им печально:

— Смерть ждет вас и потомство ваше...

И, видя, как люди строили роскошные жилища себе, говорил, укоряя:

— Всё сие — в жертву гибели...

И, видя детей, играющих на лугу среди цветов, подобных им, вздыхал и говорил в сердце своем:

«Жатву смерти видят очи мои...»

И, если некто из мудрецов жизни, чуждых душе познавшего темную мудрость смерти, поучал юношество в храме науки своей чудным тайнам ее, он говорил, усмехаясь:

— Ограниченность — имя мудрости твоей! Ибо погибнет земля, и все храмы ее, и науки ее, и правда и ложь их, и неведом тебе день и час гибели твоей...

Но однажды, на окраине шумного города, в темной, узкой улице грязи и нищеты, в смрадном тумане запахов гниения, мудрец увидел тесную толпу работников; один из них говорил им речь, и удивился мудрец вниманию слушателей,— никогда люди не слушали его проповедь с такой жадностью. И острый укол зависти коснулся сердца мудреца.

— Товарищи! — говорил оратор работникам.— Мы лежим в грязи труда нашего, подобно камням на дне реки, а над нами быстро катятся волны жизни владык наших. Мы для них как ступени, и по нашим телам они поднимаются вверх, на высоту истины, и оттуда обращают силу разума своего против нас, дабы и еще поработить души наши... Они всё знают,— мы — ничего, они — живут, мы — еще не жили, им ведома вся мудрость, нам — только сказки; всё светлое в их руках, в наших — ничего, и даже, даже хлеба мало, чтобы сытыми жили мы. Поработили они нас и пресытились, и вот уже скоро голод наш победит пресыщенных, ибо бессилен дух их, тогда как мы жизнию духа живы и сильны. Мы хотим жить, мы хотим знать, мы хотим быть людьми. Мы хотим насытить алчущий дух наш всею мудростью земли, созданной на твердынях терпения нашего, мы хотим всего, что уже есть, мы хотим создать то, чего нет еще!

— Человек! — сказал мудрец, снисходительно усмехаясь.— Заблуждение — имя слов твоих. Ограничено познание людей, и не будут они знать более, чем могут. И не всё ли равно тебе, как погибнешь ты,— голодный или же пресыщенный, подобно тем, против которых ты направляешь столь слабое жало мудрости твоей? И не всё ли равно, невеждой ляжешь ты в гроб твой или оденешься в холодный саван жалких учений владык твоих? Подумай,— всё на земле и сама земля будет ввергнуто в черную пропасть забвения, в бездонную пучину смерти...

Работники молча смотрели в очи его, недвижно слушая мудрую речь, и чем больше говорил он, тем сильнее одевались лица их суровым холодом. Потом один из них сказал товарищу:

— Матвей! У меня рука болит,— дай ты в шею этой старой обезьяне...

Вот и всё...

...Да, конечно, я согласен, он несколько грубоват, этот рабочий народ, но разве он виноват в этом? Ведь его никто и никогда не учил хорошим манерам.

ПРАВИЛА И ИЗРЕЧЕНИЯ

Если ты пойдешь в Думу Государственную, помни, сидя там, что ты сидишь в кресле, которое стоит пятьдесят семь рублей, а потому — веди себя сообразно особенностям седалища твоего.

Сколь туго ни застегивай штаны твои — всё едино: начальство выпорет тебя, если пожелает того.

ИЗРЕЧЕНИЯ И ПРАВИЛА

Жаждешь свободы? Иди служить в полицию.

Жаждешь абсолютной свободы? Поступи в агенты охранного отделения. Очень просто.

Будь милосерден — не убивай и блоху, раньше чем поймаешь ее.

Не всякий лысый брюнетом был. Это особенно нужно помнить теперь, когда многие считают себя героями только потому, что их казак нагайкой отхлестал.

Хотя у верблюда и длинная шея, однако не решайся утверждать, что верблюд подобен лебедю. Также и о генералах, ныне занятых упокоением страны: некоторые из них человекообразны, но как докажешь ты, что они не суть звери?

Самолюбие твое, подобно мозоли твоей, вызвано давлением извне,— знай это!

Земля — это сердце Вселенной, искусство — сердце земли.

СТАРИК

МИНИАТЮРА

...Люди окружили Жизнь тесною толпою, как грязные нищие богатую купчиху на паперти храма, стонали, жаловались и злобно плакали, прося милостыню внимания к себе, болезненно изрыгали хулу друг на друга и на Жизнь, ползая у ног ее в судорогах жадности своей, в гнусном бешенстве нищенских желаний.

Извиваясь и прыгая, точно скользкие серые жабы и холодные змеи, лишенные яда по слабости своей, они выли воем безумия и, ослепленные мелкою пылью желаний своих, не видели солнечного лица Жизни, а оно, источая радужное сияние, наклонилось над ними с мудрой улыбкой, и молчала Жизнь, терпеливо слушая отвратительную музыку стонов и жалоб.

— Ты однообразна, ты бедна! — скучно злясь, говорил ей пресыщенный.— Я был всюду на земле, всё изведал — видел все развалины прошлого, знаю тревоги и надежды настоящего — что мне будущее? Я думал — неисчислимы дары твои, неисчерпаемо щедра рука твоя, и вот уже нет на земле ничего, что желал бы я видеть, что хотел бы иметь! Дай мне еще желаний, укажи возможности, чтобы я захотел достижений, чтобы вновь ожила душа моя многими жаждами! Укажи мне новое, поведи любопытство мое к неизвестному, если безгранично содержимое твое, как это казалось мне в юности. Но ты вся исчерпана мною. Ты — бедна, ты — нищая!..

Раб умолял ее:

— Сделай так, чтобы сильные не попирали волю мою тяжелыми ногами своими, если ты справедлива!

Я истощен трудом невольника, я не имею хлеба, сколько нужно мне, умирают от голода дети мои, и нет ни у кого жалости ко мне. Внуши сильным чувство жалости к слабому, пощади угнетенного, если ты справедлива!

— Зачем ты существуешь? — спрашивал мудрец.— Какой смысл заключен в пестром хаосе игры твоей? Чего ради мучаются все эти люди? Отвечай, если ты разумпа!

— Ты воплощение не разума, а безумия! — вторил мудрецу поэт.— Как дитя — игрушки, надоевшие ему, ты легкомысленно разрушаешь с трудом созданное людьми, о, жалкая раба времени! Ты грубо издеваешься над лучшим из чувств человека, над любовью, которой обязана ты существованием своим, жалкое создание насмешливого дьявола.

— Ты обманула меня! — обиженно гнусавил беззубый, лысый человек с провалившимся носом на желтом лице.— Я был юн, всеми силами сердца я любил тебя, всю мощь юности посвятил я любви к женщине, лучшему из воплощений твоих! Но на дно чаши наслаждения ты положила гнусный яд болезни и разрушила сильное тело мое, ограбила ты меня, как разбойник прохожего! Отдай мне здоровье, чудовище, исказившее лицо мое!..

— Укажи мне место на лоне твоем! — горестно взывал неудачник.— Я хотел быть пахарем на нивах твоих и не имею сил для этого, я хотел быть проводником разума, но не знаю — где истина и что могу проповедовать, не вводя людей в заблуждение? И хотел я изображать красками многообразное лицо твое, но не имею таланта, хотел вести летопись деяний твоих — и нет во мне способности к этому! О, зачем ты создала меня с короткими пальцами — музыкантом хочу я быть! Что же делать мне? Научи, если ты мудрая!

— Почему я слеп? — спрашивал слепой, судорожно искривив мертвое лицо свое.— Зачем ты слепым создала меня?

И даже глухонемые что-то мычали, быстро двигая пальцами, только дети и пьяные были веселы.

— Гони их прочь! Всех — прочь! — пошатываясь, кричал один пьяный.— Такая дрянь... шумят, шумят... Кто напоит человека вином, если он сам не напьется?

Он засмеялся и ушел.

Женщины, озлобленные горем пола своего, раздраженные несчастиями материнства, разбитые ударами любви своей, женщины голодные — проклинали и плакали в пламенном отчаянии, в диком возбуждении злобы своей.

И множество людей убивали себя: одни — чтобы бросить труп свой на пути тех, кто отказал им в любви, другие — чтобы погасить тление страха пред жизнью в грудях своих, все — потому, что сознали ничтожество свое, и только некоторые — из гордости, но смерть последних проходила не замеченной никем...

Точно стая бесноватых мух, кружились они в пляске злобного раздражения, растравляя боль и раны друг друга едкою горечью жалоб своих. И звучал в хоре стонов истощения, в диких воплях больной жадности беззаботный смех детей, как журчание отдаленного источника, приносившего в жертву Жизни милый смех радостного опьянения силами ее.

Сквозь этот рой одиноко шел старик, направляя медленный шаг свой к солнцу, нисходящему с небес, обливая темные одежды земли багряными потоками прощальных лучей. Он шел спокойно, молча, и шум вокруг не будил его внимания; поглощенный великолепною игрою огненных красок на небе вечера, он смотрел вперед, и глаза его мягко улыбались.

— Старик! — закричали ему.— Скажи и ты твои жалобы...

Он отрицательно качнул головой.

— Не имею я жалоб в сердце моем! — сказал он.— Был я всегда другом Жизни и другом ее ухожу к закату дня моего. Я черпал полными пригоршнями из океана щедрот ее, и душа моя полна любви к ней, доброй подруге дня моего. Красив и богат был день мой, как игра солнца на вершинах снежных гор или звездное небо в теплую ночь лета. Я любил, и не раз, и не однаж-

ды было тяжко ранено сердце мое, но и страданиями — горжусь, ибо искренни и чисты были они, не увеличивал я стонами силу их и злобой на источник боли моей — не уменьшал. Во дни скорби — женщины были сестрами милосердия мне, в годы любви — матерями лучших чувств моих.

Наслаждался я простором степей, и теснота тюрем не мешала свободе духа моего: одиночество — польза человеку, оно укрепляет душу сильного. Был я мятежен, радостно и гневно боролся против злобных, побеждал — и ликовала душа моя, поражен был — и не отчаивался, ибо вера в победу правды крепла во мне и острые зубы несчастий моих не могли сокрушить крепости ее. Я понял, что неверие — только незнание, старался познавать и — нашел в познании неугасимый огонь веры!

Я люблю все цветы и все краски земли, и человек, лучшее ее, во все дни мои был для меня чудеснейшею из загадок, и любоваться им не устал я! О нет, не устал!

Видел я темное в нем — и болела душа моя гневом и горечью, видел светлое — и радовался. Я боролся с ним, видя злое в нем, и негодовал на неразумие его, но — и в гневе не терял уважения к нему! И никогда не искал я внимания людей ко мне, ибо не то ценно, что мне дадут, но только то, что я могу дать, и неважно, что скажут обо мне, но — что я подумаю о человеке. Я жил один, жил внутри себя: то, что всем было нужно от души моей, я всем отдавал искренно; то, что только мне было нужно, я хранил глубоко в сердце моем, не отягощая внимания близких моих неплодотворною скорбью духа моего в часы уныния и усталости.

И не делился я с людьми слезами и стонами, но всегда отдавал им все богатства смеха и радостей моих. Раны сердца моего не болели долго: я не растравлял их, не подавлял разума моего, ибо знаю я — человек рождается с болью и кровью для матери своей, а душа моя была матерью и восприемницею всех явлений жизни.

И еще знаю я: всё, что есть безобразного, издохнет, подобно псу прокаженному, издыхает уже, как бесполезное для людей. Всё более ясна на земле бесполезность

отвратительного, и всем становится видимо излишество безобразного...

Я взял всё, что мог, от Жизни, и еще возьму из щедрот ее, ибо — еще не угас день, хотя круто наклонился к закату путь мой! Но и во тьму забвения, в глубину вечного молчания я сойду с бодрой улыбкой благодарности, как нисходит в ночь светило это, излившее за день на грудь земли все лучи свои, все силы и радости. Я жил прекрасно, я нашел свой путь, и некого мне благодарить за это. Прощайте!

Он спокойно пошел к закату дня своего.

А дети, смеясь и играя, побежали за ним.

САН-ФРАНЦИСКО

Богатый, цветущий город разрушен, горит...

Слепая стихийная сила подземной работы огня пожрала сотни жизней одним ударом, погасила живой блеск тысяч глаз, разрушила десятки зданий, уничтожила долголетний труд людей... Тяжело давят душу эти преступления, в которых нет преступника, а только одни жертвы...

Преклоняюсь пред несчастием Америки...

Каждый раз, когда в мире грозно играют силы природы, разрушая жизнь и труды человека,— скорбная дума давит мне сердце.

— Вот,— думаю я,— люди всё борются друг с другом, в стремлении поработить волю ближнего своего для выгоды своей, вот они идут один против другого и льют кровь на путях своих и ради власти, ради богатства искажают души свои. Но достаточно одного толчка слепой силы природы, и среди огня, среди праха, в грудах камня гибнут сильные и слабые, умирают без борьбы богатые и бедные. Несчастия должны учить нас братству, они должны нам показать, как мы зависимы от природы и тайных сил ее. Несчастия должны соединять нас в одну семью, в семью борцов с природой, врагом человека, в семью упорных исследователей ее тайн. Не о власти друг над другом, не о богатстве должны бы думать мы, а о том, чтобы сделаться владыками всех сил земли и управлять ими в пользу жизни, для счастья человека...

Больше свободы людям, чтобы они могли развивать свой пытливый ум, чтобы они научились предупреждать несчастия, подобные тем, которые поразили Неаполь и

Сан-Франциско! Больше знаний людям, больше труда в развитии наук! Мы, на нашей земле, одиноки в пространстве вселенной, пусть же это одиночество соединит нас всех в одну семью пред лицом загадок жизни!

Жизнь тогда будет прекрасна, когда все люди будут богаты знаниями, человек лишь тогда будет владыкой природы, когда каждый станет равен всем и все будут идти к одной цели — к победе над природой, над силами ее, враждебными нам, уничтожающими нас.

Я верю в разум человека, я верю, что он всё отгадает и всё победит, я уверен, что со временем он заранее будет знать, что творится в темных недрах земли... и он будет в силах предупреждать несчастия, подобные поразившему Сан-Франциско...

Во все тяжелые моменты жизни, во все трудные минуты ее мое сердце пело всегда один гимн:

Да здравствует человек!!!

* * *

Америка богата, она полна сил и энергии, она быстро залечит рану, нанесенную ей рукою злой судьбы, коварным ударом враждебной людям стихии.

В этом преступлении нет злой воли человека, и — право! — такое сознание должно утешать американца. Стране нанесен тяжкий удар, но — не людьми.

А я не могу утешаться таким сознанием. Моя родина содрогается в судорогах страданий по воле людей. В России погибают тысячи по воле людей, которые хотят только власти и больше ничего. Россия страдает от злых и грубых людей, и это наполняет душу мою тоской и ужасом.

Я переброшен на этот берег океана землетрясением, которое вызвала злая и грубая сила людей, а не стихия, которая не знает, что делает она... А люди знают это и сознательно творят зло и преступление, заливая землю родины моей кровью ее народа.

Америка залечит раны Сан-Франциско, она поможет городу и людям перенести горе, постигшее их...

Кто поможет моей родине, которая хочет свободы, имеет право на свободу, не может жить без нее и всё еще не может вступить в бой за свободу?..

Кто поможет родине моей?

ПОСЛАНИЕ В ПРОСТРАНСТВО

...Не унижай сердца твоего ненавистью к тем, которые, когда сила твоя была нужна для них, звали тебя:

— Герой!

А теперь, когда ты оставил их, чтобы идти дальше к свободе твоей, зовут тебя:

— Варвар!

Береги ненависть твою для врага сильного, гнев твой против достойного, брось нищему духом только презрение твое — если хочешь быть великодушен даже к ничтожному.

Что они? Ночь была временем славы их, среди сонного молчания рабов говорили они, рабы поклонились им, и рабы признали их вождями — что тебе до них, если сам ты не раб?

Осторожно звучала их речь о благе свободы, и негромко было слово их против насилия, не от их речей так красна заря возрождения, твоего сердца кровью окрашены великие дни.

Охраняя душный мрак исступленного насилия, черные птицы не пугались голоса их. Разве эти люди были во тьме ночи путеводными звездами? Они мелькали, как огни над болотами, и кто пошел за ними — заблудился в цепкой тине противоречий, и уже погибли все они в грязи жалких вожделений своих.

Они всегда умеют вовремя присосаться к силе, чтобы питать дряблое тело свое живым соком ее,— только это и могут они.

Ты есть сила, созидающая всё на земле! И когда ты не знал этого, но был нужен им, чтобы освободить их из цепей неволи и насилия,— они лицемерно восклицали пред лицом твоим:

— Ты есть сила, созидающая всё!

И толкали тебя вперед на борьбу, веруя, что ты победишь, ты уничтожишь старых, истощенных насильников и тогда дашь им, новым, свободу насиловать тебя и на плечах твоих строить жалкое благополучие свое.

Но, победив однажды, ты захотел бороться до полного освобождения твоего из плена паразитов, и теперь, когда, открыв глаза, ты видишь созданное тобой и требуешь права своего быть хозяином жизни, они злобно кричат тебе:

— Варвар, идущий не созидать, а разрушать!

Им хочется, чтобы ты всегда созидал и созидал только для них,— усмехнись, если хочешь, слепоте паразитов твоих, но сохрани гнев твой для достойного врага.

Они взяли твоей сильной рукой несколько нищенских крох свободы для себя, они взяли ее у тебя, точно воры и нищие, но и того не могут удержать слабые руки их, ибо старые насильники еще имеют звериную силу бороться за первенство подлости своей, первенство насилия над тобой, Человек!

— Иди! Ты есть неиссякаемый источник творчества, неистощимая сила, созидающая всё, тобою рождаются и боги и герои, что тебе, если черви дерзко ползают по голеням твоим? Стряхни их вовремя с тела твоего, дабы не вползли они, жадные и хитрые, на грудь твою...

И даже для того, чтобы плюнуть им презрительно в жадные, трусливые души,— не оглядывайся на них.

Ибо и плевок презрения твоего будет честью и пищей паразитам твоим.

— Иди!

Все храмы на земле созданы твоими руками — иди дальше, чтобы создать храм истины, свободы, справедливости!

— Иди!

ЧАРЛИ МЭН

...В округе появился медведь.

Дети первые заметили его — однажды вечером они играли в мяч около леса, вдруг он явился на опушке среди деревьев, поднял голову и, нюхая воздух, тихо заворчал. Испуганные ребята бросились в деревню, но взрослые не поверили им: это было в начале августа — не время для того, чтобы медведи шлялись около деревни.

Но через несколько дней зверь явился снова, он выскочил из леса как раз в то время, когда почтальон Фёрстер ехал в деревню с почтой. Лошадь Фёрстера испугалась, понесла, и почтальон, выброшенный на землю, сломал себе ногу. Это уже было нечто реальное, но и это не нарушало прямых интересов деревни — почту собрали, ничто не было потеряно, о медведе снова забыли...

И только когда зверь задавил корову Круксов, старший Крукс, рыжий Джек, отправился к Чарли Мэну.

Мэн сидел на крыльце и чинил капкан для лис, когда Джек пришел к нему.

— Добрый день, Чарли Мэн! — сказал Джек, садясь на ступеньку рядом с охотником.

Мэн прищурил глаза, подумал и ответил:

— Добрый день.

— Вы слышали о медведе? — спросил Крукс, приступая прямо к делу.

Чарли Мэн, как всякий серьезный человек, никогда не отвечает не подумав. С минуту он молча скрипел подпилком, очищая ржавчину на железе капкана, потом поднял голову и тоже спросил:

— Вы хотите знать, Джек Крукс, слышал ли я о медведе?

— Именно это хотел бы я знать! — согласился Крукс.

Чарли Мэн отложил подпилок в сторону, подавил пальцами пружину капкана, подул на нее и стал смачивать маслом из маленькой грязной бутылки.

«Он не часто бреется!» — подумал Крукс, рассматривая седую щетину на костлявой щеке Чарли.

— Да, я слышал о нем кое-что! — ответил Мэн, кивая головой.

Его серые глаза снисходительно пошевелились в орбитах, и он добавил медленно:

— Люди — много говорят, и всегда что-нибудь слышишь...

— А как вы думаете об этом, Чарли Мэн? — спросил рыжий Джек. Этот парень не любит терять время даром, он ходит всегда по прямой линии.

Мэн смазал пружину капкана, еще раз подул на нее и, положив машину на колени, спокойно стал смотреть через желтую равнину поля в далекий лес. Наконец он ответил, не двигая мускулами лица:

— В августе — я ничего не думаю о медведях.

— Я уверен, что у вас есть на это хорошие основания! — сказал Крукс.— Но, мне кажется, вы могли бы сделать недурное для вас дело, подстрелив его, э? Я, вы знаете, не охотник, да и нет времени ходить за ним... Кроме вас, никто не может убить зверя... Это все знают.

Чарли Мэн встал и выпрямил свое длинное, сухое тело, крепко связанное упругими жилами. Он повернул опаленную солнцем шею вправо и влево и, сунув руки в карманы, удивленно, кратко спросил:

— Теперь? В августе?

— Да, да! — оживленно сказал Крукс.— Вы видите,— он начинает портить скот...

Чарли Мэн опустил голову, поднял брови и, глядя в лицо Джека с явным изумлением, произнес напоминающим тоном:

— Но ведь у меня нет скота!

Тогда Крукс понял, что так он не убедит Чарли в

необходимости убить медведя. И он решил подействовать на воображение охотника.

— Это так, Чарли Мэн, у вас нет скота! — согласился он и, стараясь придать своему голосу трогательное выражение, продолжал: — Но у вас есть мальчик и девочка, вот в чем дело. А для медведя всё равно — овца или ребенок, не так ли? Он неразборчив, этот зверь... И вот, если вы, Чарли, подумаете о детях...

— Позвольте! — сказал Чарли, вынув руку из кармана и проводя ею по лицу.

Мэн плотно сжал губы, поднял плечи на высоту ушей, опустил их и, глядя на Джека сверху вниз, внушительно спросил:

— Почему вы, Джек Крукс, думаете, что медведь съест именно моих детей прежде других?

Рыжий Джек был поражен простой и ясной правдой вопроса. Он открыл рот, но почти минуту не мог ничего сказать от удивления перед тонким умом охотника. Он даже встал на ноги и замотал головой, точно бык, уколовший ноздри репейником. Потом он воскликнул:

— Ну, у вас ясная голова, мистер Мэн, убей меня молнией, если это неправда! В самом деле — почему именно ваших детей прежде других, э? Вот о чем я не подумал!

— Вы не подумали об этом, дорогой Крукс! — согласился охотник.

Когда рыжий Джек шел к Мэну, ему казалось, что всё будет сделано просто и быстро. Он расскажет Мэну о звере, Мэн возьмет ружье, пойдет в лес и застрелит зверя. Он охотник по профессии, ему выгодно сделать это. Но оказывается, что Чарли Мэн имеет свое отношение к такой простой с виду задаче. Джек почувствовал себя так, как будто он сбился с дороги и не знает, куда нужно повернуть, чтобы снова выйти на прямой и краткий путь.

— Да-а,— задумчиво сказал он,— вы правы, Мэн! Совершенно нет оснований, чтобы ваши дети были съедены первыми...

Мэн утвердительно кивнул головой. Они оба долго молчали, думая каждый о своем и глядя вдаль по одному направлению, туда, к лесу.

Потом Круксу вдруг показалось, что его голову осенила одна хорошая мысль. Он мигнул обоими глазами сразу и медленно, вкрадчиво заговорил:

— Но, Чарли, говоря вообще, все дети очень милы и забавны, когда они играют вне дома и не больны — правда? Ваши, и мои, и Джонстона — они все рискуют встретить зверя... Они бегают всюду и... их так много!

Мэн утвердительно кивнул головой и заметил:

— Да, детей всегда больше, чем медведей...

— Что вы хотите сказать? — помолчав, спросил Крукс.

Чарли Мэн спокойно повернул к нему свое красное лицо и, не двигая глазами, повторил:

— Я говорю — во все времена года детей больше, чем медведей...

Рыжий Джек опустил голову, желая понять тайный смысл этих слов. Через минуту он спросил:

— Значит вы, Чарли, не считаете дело с медведем выгодным для себя, так?

Чарли Мэн, знаменитый охотник в округе, положил на плечо Джека свою длинную, твердую, как железо, руку и, хотя без обиды, но с упреком в голосе, сказал:

— Это нехорошо, Крукс, с вашей стороны, считать меня идиотом! Мне не кажется, чтобы я заслужил такое отношение.

— Меньше всего я хотел бы оскорбить вас, Чарли Мэн! — искренно и торопливо воскликнул Крукс.

Мэн воткнул свои серые глаза в смущенное лицо рыжего Джека и закончил речь так:

— Но, дорогой мой, нужно или самому быть болваном, или считать ослом меня, чтобы предлагать мне убить медведя в августе, когда его шкура ничего не стоит... Гуд-бай, Джек Крукс!

И Чарли Мэн ушел в дом, оставив рыжего Джека измерять глубину своей глупости...

А медведь, после того как он сломал кости старухе Джонстон, собиравшей в лесу ягоды, исчез из округа.

Изумительно тонкий ум Чарли Мэна всего ярче проявился в знаменитой охоте за черно-бурой лисицей. Об этой охоте писали во всех газетах штата, а одна из них даже присылала к Мэну репортера.

Только подробный рассказ об этой борьбе человеческого ума с хитростью зверя может осветить фигуру Чарли Мэна.

Началось с того, что однажды, бродя по лесу, Мэн нашел след лисы и тотчас по следам определил, что это именно черно-бурая лиса. Он не хотел испортить ее дорогой мех и твердо решил поймать зверя капканом.

Раньше всего необходимо было заставить лису не ходить туда, где она привыкла пить воду и охотиться за птицей и где — Мэн это знал — она могла попасть в капкан другого охотника, который тоже следил за ней.

Чарли Мэн несколько дней не выходил из леса, тщательно изучая путь лисы. И когда он знал это, как линии своей ладони, он выкопал из земли молодую ель и посадил ее на тропе зверя, посадил так хорошо, что этого никто не мог бы заметить, кроме лисы. Это дерево, внезапно выросшее на пути, которым зверь еще вчера прошел свободно, сегодня испугало лису предчувствием опасности; для зверя было ясно, что это не природа вдруг вырастила дерево, а какая-то иная сила,— природа ничего не творит сразу даже в Америке.

Лиса изменила свой путь к ручью, чего и хотел Чарли Мэн. Он продолжал следить за ней, как тень ее, как смерть за осужденным. Высокий, тонкий и сухой, он дни и ночи шагал по лесу легкими длинными ногами, не отрывая серых глаз от земли, следя за изгибами каждой былинки, замечая каждую вновь сломанную ветку и каждый след. Он совершенно забыл о всех зверях, кроме лисы, о доме, о жене, о детях, похудел, оборвался и так ходил полуголодный, угрюмый, почти больной от напряжения.

Через две недели он знал место, где лиса переходит ручей. Он взял камень и положил его в воду ручья. Дней через пять он положил другой камень, а первый покрыл тонким слоем моха. Еще пять дней — он положил в воду третий камень, покрыл мохом второй и добавил слой мха на первом...

Так, незаметно, один за другим, он клал в воду ручья камни и одевал их мхом, подражая медленной работе природы. Он положил их пять. И так он создал для своей лисы мост через ручей. Она нашла его, конечно,— лиса не любит мочить в воде свои лапы, она воспользовалась работой Чарли Мэна.

Когда он заметил ее следы на мху своих камней,— он вынул первый из них и поставил на его место капкан, прикрытый мхом.

И наутро, придя к ручью, он с радостью увидел, что великолепный зверь сидит в капкане с перебитой лапой, оскалив зубы от нестерпимой боли в раздробленных костях.

Сунув руки глубоко в карманы, Чарли Мэн с тихой улыбкой встал на берегу, высокий, худой, с красным лицом, густо покрытым седою щетиной. Потускневшие от боли глаза лисы вспыхнули красным и желтым огнем, она рванулась из капкана,— хрустнули кости, на воде ручья засверкали тонкие струйки крови, зверь залаял, взвизгнул и замер...

Тогда Чарли Мэн подошел к нему и умелой рукой сломал лисе позвонки шеи...

Семь недель он упорно трудился, чтобы сделать это!..

Но — недавно старый Чарли Мэн убил свою репутацию умного человека.

...Было так — черный ястреб явился в деревне и стал таскать кур. Его видели не однажды, стреляли в него не раз, но всё неудачно — хищная птица невредимо улетала, спокойно раскинув на воздух широкие крылья и как бы презирая вражду людей.

Но Чарли Мэн — он счастлив, верен его глаз и метко бьет ружье! Чарли Мэн однажды увидал, как ястреб, охватив когтями большую курицу, тяжело взмывает с нею над деревней. Мэн выстрелил, птица, вздрогнув всем телом, упала на землю.

Чарли поднял ястреба, оказалось, что дробь оглушила птицу, но даже не ранила ее. Полузакрыв глаза, ястреб смотрел в лицо охотника, и брови хищника вздрагивали, когти слабо шевелились.

Велика была эта птица, велика и тяжела. Ее полузакрытые глаза смотрели без испуга, порой она вздрагивала всем телом — руки Чарли Мэна ощущали ее теплоту, слышали биение хищного сердца.

Сбежались дети, женщины и ругали гордую птицу, грозя ей кулаками, и каждый хотел нанести ей удар в отмщение за куриц.

Жена рыжего Джека предложила:

— Отдайте этого разбойника детям, Чарли Мэн! Они уж справятся с ним теперь!

— Он может выцарапать им глаза! — испуганно возразила другая.

Старая Клэр, самая религиозная женщина общины, сказала своим голосом, охрипшим от молитв:

— Вы говорите вздор, дорогая Крукс! Дети могут выпустить эту страшную птицу... и она снова начнет похищать наших кур... Следует отнестись серьезнее к ней и сейчас же убить ее...

И так как все очень уважали Клэр, то все согласились с необходимостью — убить...

Мэн снял свои пальцы с шеи ястреба, спокойно и молча посмотрел на шум вокруг себя, он посмотрел не на лица своими серыми глазами, а сквозь людей и через них, поэтому-то я и говорю — он посмотрел на шум. Потом он поднял птицу с земли, взял ее под мышку и понес домой.

Сначала дети шумно бежали за ним, спрашивая, что он думает сделать с ястребом, но он шагал, наклонив голову к земле, по своей привычке, и его неподвижное лицо, его каменное молчание — оттолкнуло детей...

Он был интересный человек для детей, но они не любили его и, предпочитая говорить о нем между собой, редко и неохотно разговаривали с ним.

Когда Мэн пришел домой, птица очнулась. Сильным движением всего тела она попробовала вырваться из рук старого охотника, но он снова схватил шею ястреба железными пальцами и тиснул ее так, что круглые глаза птицы странно повернулись и налились кровью. Чарли Мэн приблизил голову ястреба к своему лицу и сказал ему кратко и просто:

— Убью, дружище...

Ястреб, изогнув шею, вцепился клювом в тыл ладони Чарли Мэна — охотник вздрогнул от неожиданности и боли, сжал зубы и, приподняв птицу над головой, с силою бросил ее на землю.

Хищник упал на бок, но тотчас же повернулся на спину, распластал по ней крылья и вытянул их перед собой.

Его глаза, круглые и горящие, неподвижно остановились на длинной фигуре охотника и на его красном лице, остановились и сверкали, ожидая нападения. Ястреб приподнял голову, напрягая шею, и смятые перья на его шее грозно встали, вздрагивали каждое и все...

Мэн взглянул на разорванное мясо руки, из нее сбильно текла густая, темная кровь. Тогда он снял здоровой рукой ружье из-за плеча и приложил его к щеке...

Птица еще больше вытянула когти, приподняла голову и с дрожью в крыльях, простертых по земле, с огнем в глазах смотрела, ждала...

Чарли Мэн медленно поднял голову и серыми глазами взглянул в небо, такое высокое, обширное в этот ясный день. И опустил ружье к ноге...

Подумал, спокойно рассматривая птицу...

Потом он положил ружье на землю, взял в стороне ящик, подошел к птице, ожидавшей минуту последней для нее борьбы, накрыл ее ящиком и, не спеша, ушел в дом.

Его жены и детей не было дома: они, как всегда летом, уезжали к деду на озеро. Они, как это известно в деревне, не очень любят Чарли...

Минут через десять он вышел снова, рука его была перевязана грубо и наскоро полотенцем, которое уже успело пропитаться кровью, в другой руке он нес тонкую и крепкую веревку.

Сняв ящик с тела птицы, он опустился перед ней на колени и сказал угрюмо:

— Не будем ссориться...

Ослепленная темнотой под ящиком, разбитая ударом о землю, птица лежала всё в той же, готовой к бою позе, но голова ее теперь бессильно опустилась на землю,

только один желтоватый круглый глаз смотрел в лицо Чарли...

И презирал его.

Чарли Мэну удалось накинуть на ногу птицы веревку и туго завязать ее. Ястреб клекотал, точно кровь кипела у него в горле... Но он был слишком обессилен и унижен, чтобы драться.

Другой конец веревки Мэн привязал к дереву, потом посмотрел на птицу, кивнул ей молча головой и, подняв с земли ружье, ушел в дом.

Ястреб повернул свой желтый круглый глаз вслед ему...

Потом приподнял крылья. Но они бессильно опустились...

Тогда птица подобрала одно крыло и, сделав сильное движение всем телом, опрокинулась на бок... встала на ноги...

Опустила крылья, опираясь ими на землю, и низко наклонив голову — точно Чарли Мэн на ходу,— прыгнула раз... два... свалилась на бок.

Заклекотала злобным клекотом, негромко, хрипло, и снова села на землю, упираясь крыльями в пыль ее. Так сидя, измятая, разбитая, она, опустив хищную голову, смотрела круглым глазом на веревку, которая длинной, серой и тонкой змеей тянулась от ее ноги к дереву — изломанные перья дрожали мелкой дрожью.

Чарли Мэн стоял у окна и смотрел на ястреба серыми глазами...

Птица оправилась дня через три, она прыгала по двору, тяжело влача за собой измятое крыло и длинную веревку, прыгала и смотрела на всё желтыми глазами — острым взглядом тонко отточенной, холодной злобы...

Каждый день Чарли Мэн бросал ей куски сырого мяса, но ястреб не дотрагивался до них при охотнике — когда кусок падал около его клюва, птица расправляла здоровое крыло и прыгала прочь от куска, никогда не глядя на него... После куски мяса незаметно исчезали..

Для детей деревни было большим удовольствием забавляться с ястребом Чарли Мэна. Они приходили к его дому каждый день веселой ватагой, кричали на ястреба,

хлопали руками и бросали камни в угрюмую птицу, стараясь попасть ей в этот желтый строгий глаз, почему-то раздражавший их.

Если камень падал близко от ястреба, птица косилась на него, оставаясь неподвижной, если камень попадал ей в тело, она, вздрогнув, отскакивала прочь от удара. И всегда — молчала...

И всегда Чарли Мэн сидел на крыльце своего старого маленького дома, встречая детей и молча следя за игрой с ястребом. Стесняя их веселье, он ничего не говорил им, но все чувствовали на себе его мертвый, охлаждающий взгляд, и каждому он казался лишним здесь... Избегая ударов камнями, по траве перед домом прыгала большая угрюмая и злая птица, на крыльце сидел, положив скулы на ладони, длинный, худой человек и смотрел на ястреба, на детей, смотрел всё время, пока они играли с птицей, стараясь выбить метким ударом камня ее злой глаз.

Чарли Мэн молчал... Но было хуже, когда он неохотно и медленно бросал детям несколько слов, одинаково скучных и, пожалуй, даже глупых:

— Вы, ребята, могли бы, если б захотели, бросить этой птице пару цыплят. Для нее, я думаю, цыплята будут приятнее камней и палок...

В другой раз, когда маленький Джонстон ловко ушиб ногу ястреба, Чарли Мэн поднялся и почему-то заявил детям:

— Я полагаю — с него довольно на сегодня... Вы могли бы уже идти домой, ребята...

— Когда вы убьете дьявола, Мэн? — спрашивали его дети.

— Чтобы убить — не нужно много времени...— ответил он.

Всё это было скучно и охлаждало враждебный пыл детей, ненавидевших вредную птицу со всею силой и искренностью чистых сердец. И было странно, что с той поры, как Мэн привязал ястреба, он сам почти перестал выходить из дому.

Порою дети, раздраженные птицей, бросались на нее, тогда она быстро опрокидывалась на спину, вытягива-

ла когти, открывала клюв и так ждала борьбы — вся взъерошенная и дрожащая, точно живой ком дикой злости...

В такой момент возбуждения Чарли Мэн вставал, вытягивался и, казалось, готовился к чему-то, что сразу отвлекало внимание детей от ястреба. Они смотрели на Чарли Мэна, он на них...

Им становилось холодно и жутко под взглядом серых глаз...

И тогда они уходили прочь от неприятной серой птицы и от чудака...

Однажды после такой сцены они ушли. а Чарли Мэп остался на крыльце. Положив, как всегда, свои скулы на ладони, он пристально смотрел на птицу, утомленную прыжками, она прижалась вплоть к стволу дерева, около которого запуталась ее веревка, и голова ее опустилась к земле, точно на ней невидимо лежало бремя долгой жизни или многих страданий.

Чарли Мэн смотрел на нее, пока стемнело, потом он встал и медленно подошел к дереву. Птица вздрогнула, насторожилась, ее перья злобно встали...

— Это... не то, дружище! — пробормотал Чарли Мэн, отрицательно кивая головой.

И он пошел на птицу так, чтобы она, отступая перед ним, распутала веревку. Сначала ястреб противился, взмахивая крыльями, но когда он понял, что каждый новый круг около дерева, удлиняя веревку, отдаляет его от человека, он запрыгал по земле быстрее, еще быстрее... И вдруг, взмахнув крыльями, поднялся, полетел, крикнул...

Веревка дернула его назад, он почти упал снова на землю, косо махая крыльями. И, когда он сел на траве, его желтый круглый глаз уставился в лицо Мэна, стоявшего в двух шагах.

Чарли Мэн осмотрел птицу, круто повернулся и, не спеша, ушел в дом.

Он вышел оттуда сейчас же и вынес ружье. Так же, не спеша, он подошел к ястребу, приложил ружье к плечу...

Туго натянув веревку, птица сидела неподвижно, и круглый глаз ее блестел во тьме, глядя на Чарли Мэна, в его каменное, как всегда, лицо. Голова ястреба была немного скошена направо. Мэн вдруг усмехнулся, опустил ружье и сказал:

— Это — глупость, дружище... Не нужно это, я знаю...

Он качнул головой, и птица тоже как будто пошевелилась...

Мэн опустил ружье на землю и вынул из кармана нож, потом осторожно взял веревку и потянул ее к себе. Ястреб вздрогнул, взмахнул крыльями, готовый опрокинуться на землю и защищаться...

— Не дури... — тихо сказал Чарли Мэн.— Довольно глупостей... довольно для обоих нас...

Он всё подвигал птицу ближе к себе, осторожно потягивая веревку,— ястреб, не спуская с него взгляда, уступал силе и вытягивал клюв, медленно открывая его, готовый вырвать серый глаз человека.

Но Чарли Мэн коротким, быстрым ударом перерезал веревку у самой ноги птицы и тотчас отскочил. Испуганная его движением, птица взмыла в воздух... Радостно, громко крикнула и снова, как бы не веря свободе, опустилась на землю...

Чарли Мэн, не глядя на нее, поднял ружье и пошел в дом...

Он слышал, как сзади него грузно хлопнули в воздухе крылья — раз, два и три... Потом, во тьме, раздался мягкий шум полета большой, тяжелой птицы...

Человек наклонил голову и, не оглядываясь, скрылся в доме...

...Наутро снова явились дети — но птицы не было, а Чарли Мэн, одетый на охоту, усердно смазывал ружье.

— А где же одноглазый дьявол? — вскричали дети,

Это не относилось к Чарли Мэну, и он молчал.

— Где ваша птица, мистер Мэн? — спросили дети, окружая охотника.

Он поднял свое красное лицо в небо и, не спеша, ответил:

— Улетела птица... Как это было необходимо для нее.

— Вы отпустили ее? — изумленно и разочарованно закричали дети.— Чтобы она опять таскала кур? Теперь, когда у всех — цыплята?.. Ого-го, мистер Мэн!

— Я ей сказал,— странно двигая губами, заговорил Чарли Мэн,— я сказал ей, чтобы она не встречалась со мной еще раз... Но о том, как надо вести себя по отношению к домашней птице... я, кажется, забыл сказать ей?.. Да, я позабыл...

...С той поры знаменитого охотника Чарли Мэна весь округ называет за глаза не иначе как — старым ослом...

GIUSEPPE GARIBALDI

...Questo nome grande e luminoso io lo udii la prima volta quando avevo tredici anni.

Ero allora a servizio nella cucina di un vapore di passaggieri e stavo per delle intere giornate a rigovernare assordato dal rumore delle macchine, soffocato da grassi odori.

Una volta, in un momento di libertà, andai sulla poppa: là erano riuniti i passeggieri di terza classe, contadini ed operai. In piedi e seduti, formando un gruppo compatto, essi ascoltavano un racconto piano e malinconico di uno di essi.

Ascoltai anch'io.

— Lo chiamano Giuseppii, come da noi Ossip, di cognome Garibaldii, ed è un semplice pescatore. Uomo di gran cuore, egli vede la triste vita del popolo, oppresso dai nemici, ed ecco fa un bando nella sua terra: «Fratelli, sia per noi la libertà al disopra della vita! Sorgete per la lotta contro i nemici, e lottiamo fino alla vittoria!» L'hanno ascoltato poichè vedevano che era capace di morire tre volte ma non di cedere. E l'hanno seguìto ed hanno vinto...

Era sera, il sole tramontava, sul Volga; carezzandosi, tremolavano le onde rosee.

Una voce disse piano: Facesse da noi un tal bando qualcuno!

Mi chiamarono e me ne andai, conservando nell'anima, luminosa e grande l'immagine dell'Eroe della libertà.

...Poi lessi molto su Garibaldi, Titano d'Italia, ma il piccolo racconto di uno sconosciuto è più profondo di tutti i libri nel mio cuore.

Eterna, gioiosa, luminosa memoria a tutti coloro che generosamente hanno servito col cuore e con lo spirito il bene del loro popolo.

Che i loro nomi siano sempre con noi come i raggi del sole, che crea la vita per la gioia nella Bellezza e nella Libertà.

Capri, 8 febbraio 1907.

ПЕРЕВОД

ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ

...Это великое и светлое имя я услышал впервые, когда мне было тринадцать лет.

Я тогда служил на кухне пассажирского парохода и целыми днями мыл посуду, оглушенный грохотом машин, задыхаясь от жирных запахов.

Однажды, в свободную минуту, я вышел на палубу; там собрались пассажиры третьего класса — крестьяне и рабочие. Кто сидя, кто стоя, собравшись тесным кружком, они слушали спокойный, задумчивый рассказ одного из них.

Послушал и я.

— Звали его Джузеппе, по-нашему Осип, по фамилии Гарибальди, и был он простой рыбак. Человек большого сердца, он увидел тяжкую жизнь народа, угнетенного врагами, и вот кликнул он клич по своей земле: «Братья! да будет для нас свобода превыше жизни! Поднимайтесь на борьбу с врагами и будем бороться до победы!». Его послушались, потому что видели, что он скорее трижды умрет, но не сдастся. И пошли за ним и победили...

Был вечер, солнце садилось над Волгой; трепетали, лаская друг друга, розовые волны.

Чей-то голос сказал тихо:

— Кликнул бы кто у нас такой клич!

Меня позвали, и я ушел, унося в душе светлый и великий образ героя свободы.

...С тех пор я многое прочел о Гарибальди, титане Италии, но глубже всех книг остался в моем сердце короткий рассказ неизвестного.

Вечная, радостная, светлая память всем тем, кто благородно служил душою и сердцем на благо своего народа.

Да пребудут их имена вечно с нами, словно лучи солнца, творящего жизнь для счастья, в Красоте и Свободе.

Капри, 8 февраля 1907

ЛОНДОН

В имени его я слышу ласковый звон колокола истории, задумчивый возглас из глубины веков, добрый совет старого мудрого опыта:

— Надо больше знать друг друга, люди, больше...

Мне кажется, что чудовищно огромный город, одетый мантией тумана, всегда, днем и ночью, упорно думает о великих драмах своего прошлого, о бесцветных днях настоящего и с тоской, но уверенно ожидает будущего — светлых солнечных дней, полных радости, ожидает пришествия новых людей, полных творческой силы.

Он скучает о тех, которые сделали имя Англии громким в мире, ждет рождения великих детей, подобных тем бессмертным, которых знают всюду на земле. Лондон, кажется мне, жаждет нового Шекспира, Байрона и Перси Биши Шелли, нового Гиббона, Макколея и Вальтер Скотта, трубадуров славы Англии. Что такое слава Англии? Прежде всего ее ненасытная жажда свободы духа... Ныне эта жажда угасает неутолимою. И потому пора снова возбудить ее в душе народа.

Великий город, мне чудится, думает:

— Скоро ли снова придут и зазвучат для всех народов мира колокола моего духа, запоют громкие трубы мои, разнося по земле мысли и надежды народа Англии?

Глухой и темный шум облекает город смутной тучей, он сливается с туманом, кружится, кружится над городом, в ропоте его много силы, но и усталости много.

В тумане я вижу лицо Лондона — это лицо великана старой чудесной сказки, мудрое и печальное...

Город думает и возбуждает думы о жизни...

Могучий, каменный, суровый город богато одет в пышно зеленый плащ садов и парков, он роскошно украшен драгоценными произведениями старого, безумно смелого искусства; в радостном изумлении стоишь перед воздушно улетающей в небо, кружевной громадой Вестминстерского аббатства и с глубоким почтением смотришь на тяжелый серый Тоуэр, вызывающий стройные ряды воспоминаний и великолепную Елизавету впереди всего. Много злого было сделано внутри этих серых камней, много призраков, облитых кровью, витает над башнями замка, но это не делает старый Тоуэр менее красивым. В каждой столице любого государства есть свой Тоуэр, в каждом из них люди выливали на землю кровь людей — я думаю, серый лондонский Тоуэр не грешнее других. И если люди позволяют убивать себя, в этом, отчасти, всегда виноваты сами они. Отчасти, я говорю. Ибо разве есть некто совершенно невинный в преступлениях, окружающих его, непричастный жестокости, наполняющей жизнь?

Но жемчужиной города, драгоценностью, которой нет цены, лучшим украшением Англии для меня явился Британский музей — панорама жизни всех народов земли, умное и великое создание сильных и длинных рук английского народа.

Этот большой, тяжелый дворец редкостей стоит на земле крепко, как сама Англия. Он является как бы каменным переплетом великой книги о культуре человечества, книги, которую надо читать годы, чтобы прочесть ее всю до конца.

И всюду видишь, как много в Лондоне ума, но думаешь — не слишком ли односторонне тратит нация огромный капитал своего духа за последние десятилетия?

Не слишком ли много увлечения задачами узкими, грубо материальными?

И не стесняет ли увлечение это развития духа свободы внутренней, истинно творческого духа, обогащающего мир ценностями вечными и нетленными?

Бросается в глаза обилие антикварных лавок... Это естественно в стране с такой старой культурой, и понятна любовь англичанина к вещам, напоминающим ему о великом прошлом. Старый фарфор и бронза так наивно и пышно красивы, ярки, созданы с горячей любовью, на каждой из них видишь печать работника-поэта.

Образцов современной художественной промышленности меньше. Все они указывают на стремление людей к простоте. Это благородное стремление, но почему-то оно делает вещи скучными, холодноватыми и невольно возбуждает грустную мысль об упадке творчества, о замене его ремеслом. Старые вещи лучше, они сделаны здоровым, веселым человеком.

Смотришь на Россетти, Берн Джонса.

Почему эти нежные и сильные таланты черпали свое вдохновение в прошлом, почему их так пленил Боттичелли, почему они не могли — или не хотели? — подойти ближе к жизни настоящего? Не потому ли, что жизнь культурного общества наших дней стала слишком тесной, бесцветной, скучной, что людьми всё более властно командуют темные страсти?

В этой жизни нет места поэтам, они ищут красивого на кладбищах прошлого. Для поэтов современности нет возбуждающего творческую мысль сегодня, нет у них светлого завтра, они живут отдаленным вчера. Грустная жизнь. Она обессиливает творчество...

Власть золота, железа и камня, власть зависти, жадности и злобы закрывают перед нами просветы в будущее тяжелой завесой унижающих нас мелочей жизни. Живая вера в возможность на земле счастья для всех не находит вдохновенных учеников среди общества, измученного нервной суетой дня, истощенного непрерывной борьбой за существование.

Это касается не только Англии, конечно,— всё так называемое культурное общество Европы смотрит назад, всё оно ищет красоты и радости в прошлом. Верный признак духовного старчества, несомненное указание на необходимость влить новую кровь в жилы дряхлого организма.

Много спорта — и мало оживления.

Люди играют скучно, как будто исполняя необходимую обязанность. Пока она еще не надоела, но уже скоро будет тяготить человека.

Тяжело поразила меня юность проституток, гуляющих по Пикадилли. В этом факте есть нечто грозное для общества. Видно, что девушки поступают на рынок разврата очень рано и очень быстро сходят с него в трущобы, где их ждет голод и смерть. Эта краткая жизнь ночной бабочки вызывает в душе ненависть к обществу, так быстро пожирающему своих беззащитных членов.

Почти не встречаешь солдат, это хорошо, милая, старая Англия! Этим можно гордиться. Зачем держать огромные армии убийц по ремеслу? Их роль прекрасно выполняет капитализм и нищета.

Нравится мне спокойный, корректный «Боби». Он стоит в сутолоке движения, как монумент, олицетворяющий законность, управляет сутолокой движения и удивительно резко подчеркивает механичность жизни.

Хороши старые дома — они напоминают о Диккенсе и Теккерее — двух англичанах, о которых всегда вспоминаешь с уважением и хорошей улыбкой в душе.

Уайтчапель не поразил меня, я видел Ист-Сайд в Нью-Йорке.

Славный древний город, задумчивый великан Лондон в конце концов оставляет на сердце грустный налет печали. Это большая красивая печаль, такая же, как и сам город. Лондонский туман можно полюбить, так же как и картины Тёрнера, за его мягкие прозрачные краски, сквозь дымку которых душа видит что-то неясное, но чудесное, красивое, смягчающее человека. Под этой пышной одеждой города чувствуешь его силу, его крепкий, огромный, способный к долгой жизни организм.

...Мне кажется, несчастие культурных людей — их одиночество, их оторванность от жизни. Их ведь всегда мало сравнительно с массой народа, и они стоят между ним и капиталом, как между молотом и наковальней, в постоянной возможности быть раздробленными.

Где исход из этой драматической позиции?

Привлекайте на свою сторону народ, зовите его к себе интересами духа, дайте ему возможность понять вас, быть таким же духовно богатым, как вы сами.

Тогда вы не будете одиноки — тогда вы будете сильны, и только тогда победит истинно человеческое, только тогда восторжествует истинная культура. Жизнь станет легка, радостна, и даже камни будут улыбаться.

Если читателю покажется, что я впал в тон учителя — читатель будет не прав.

Прежде всего я учу сам себя, но я хотел бы, конечно, чтобы все люди учились понимать друг друга.

Если мы, люди, хотим встать ближе друг к другу, если мы верим в возможность духовного родства всех со всеми — мы должны говорить друг с другом обо всем, что тревожит нас, обо всем, что нам непонятно в душе другого и отделяет нас от него.

Больше внимания к человеку — вот что я всегда говорю, больше внимания к человеку, люди!

Больше желания узнавать людей — вот что я горячо рекомендую человеку.

Знание да будет нашею страстью, и если мы обратим его в страсть — тогда мы создадим наконец истинную религию всемирного единства людей, мы достигнем духовного родства всех народов земли,— только тогда, говорю я, мы создадим религию, достойную человека и человечества!

III

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ АВТОРОМ. НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

ПУБЛИКА

<I>

Глубокий темный взгляд осенней ночи пристально смотрел в окно моей комнаты, за окном мятежно кружилась вьюга и пела гордые песни одиночества.

Пышно одетые инеем ветви деревьев, как белые тонкие руки, трепетно и робко стучали в стекло окна, и во тьме, над головой моей, печально плавал странный тихий звук, неуловимый, точно тень.

Я лежал на полу, перед печью, смотрел, как горели дрова, и думал о том, как много сделано в жизни лишнего, как мало в ней нужного.

Отражение яркого пламени колыхало тьму вокруг меня, и на полу под песни тоскующей вьюги в безмолвной пляске дрожали тени.

Я долго смотрел в правдивое лицо огня, в его буйный красный трепет,— и увидел в нем пламенное лицо Дьявола. Он смеялся в глаза мои мудрым смехом беспощадного знания, и сквозь этот жгучий, яркий смех я услышал его плавную речь.

— Я расскажу тебе, мой старый друг, веселую историю о человеке, который был во многом подобен тебе: он занимался тем же, чем и ты, он много видел, много испытал, и так же много думал он, как ты, и так же мало толку было в этом.

Умел он,— как ему казалось,— находить в сердцах людей те живые искры какого-то особого огня, которые — в его глазах — уравнивали нищих с королями; ему казалось, будто люди — все одинаково и жалки и

несчастны, но что они же сами творцы своих несчастий.

Он был уверен непоколебимо, что нет над ними сил, превыше силы их свободной мысли, которую они из пошлых интересов плоти сознательно уродуют, ревниво заключая ее в оковы предрассудков и всячески стесняя пугающую их покой свободу творчества ее.

Он ненавидел всем огнем своей души тупую неподвижность сытых, их пошлое самодовольство всегда в нем возбуждало отвращенье, как трупный запах; но в то же время он ясно видел, что все цветы его души и песни сердца — являются забавою для сытых, а те, которым он хотел бы влить в груди бодрость, далеко от него. И видел он, что люди принимают его ласки, но не слышат гнева, и что всегда, везде, во всем они предпочитают суровой правды крикам — слова красивой лжи.

И когда он увидал это — его охватил огонь отчаяния: в нем родились острые муки сознания, что бесплодно растрачена сила души его.

— Не надо утешать себя в своих ошибках надеждою на то, что их исправят за тебя другие! — сказал он сам себе и пошел, и встал пред теми, забавой для которых он служил невольно, не желая быть шутом,— он захотел сказать в лицо им правду и начал так:

— Сердце мое алчет правды, и пора мне насытить голод сердца моего!

Я поднялся из темных глубин жизни для того, чтобы свидетельствовать пред вами о позоре и ужасе ее,— я пришел к вам не затем, чтоб занятными рассказами отгонять от вас серых птиц скуки вашей!

Медленно и долго я поднимался с низу жизни к вам, на вершину ее, и на всё в пути моем я смотрел жадными глазами соглядатая, идущего в землю обетованную.

Шел я и видел по дороге моей множество несчастий, скорби и горя, кровью плакало сердце мое, глубокие, неизлечимые раны нанесла ему тяжелая рука суровой правды жизни, и ничто не уврачует этих ран, кроме острого яда мести.

Но среди ужаса, который видели глаза мои, было не-

сколько случаев, особенно памятных мне,— они наиболее ярко освещают гнусную жестокость и позор жизни, устроенной вами на земле.

И вот здесь я хочу рассказать вам о них, для того чтоб хоть краской стыда облагородить на время самодовольные лица ваши, я хочу посмотреть, не стряхнет ли хоть временно трепет ужаса грязь и пыль с полумертвых душ?

Не надеюсь на большее, ибо — узнал я вас!

<II>

...Пред ними стоял человек, поднявшийся из темных глубин жизни, чтобы свидетельствовать о позоре и ужасе ее,— он стоял пред ними и говорил им:

— Сердце мое алчет правды, и пора мне насытить голод сердца моего!

— Медленно и долго я поднимался с низу жизни к вам, на вершину ее, и на всё в пути моем я смотрел жадными глазами соглядатая, идущего в землю обетованную, где жизнь плодородна и богата красотой, где люди, сильные верою в себя, гордо и смело возделывают поля жизни, наслаждаясь творчеством вечно новых форм.

— Я ждал, что увижу людей владыками земли, для которых нет ничего выше сознания своей свободы, и — вижу вас рабами позорных заблуждений, которые, стесняя душу, дают вам только жалкую возможность внешней независимости, нищенское право охранять свою собственность от притязаний на нее со стороны соседа.

— Я ждал, что увижу бодрых и сильных работников, созидающих на земле жизнь для всех одинаково светлую, честную жизнь общего, дружного труда, красивую жизнь людей, свободных духом, и — вижу вас трусливыми искателями личного счастья, которое вы понимаете как полноту желудка и души, и вижу в вашем сердце боязнь друг перед другом и подлую готовность упасть во прах пред сильным, а слабого — поработить, и вижу ваши тщетные уловки скрыть от самих себя обидное сознание бессилья сделать вашу жизнь свободнее, красивее, честней.

— Я думал — нет над вами господина! — и вижу — тысячи господ пьют вашу кровь, владеют вашими сердцами, порабощают ум. А сколько идолов вы сотворили! и как сильна их власть над вами, и сколько пошлости влагаете вы в каждого из них!

— Я ждал увидеть вас владыками желаний ваших, я думал, что в грудях у вас свободно бьются гордые сердца, а вижу — небольшие куски мяса, пропитанные гнилью жалких вожделений, трусливой жаждою покоя и почета, желаньем сытости и жизненных удобств.

— Я ожидал услышать в шуме жизни могучий гимн людей, которые поют от полноты души, богатой творческою силой, а слышу — только ваши жалобы на скуку жизни, ваш погребальный вой над мечтами юности, ваши лживые вздохи о страданиях людей, задавленных трудом, который вы же сами на них взвалили, я слышу стоны испуга пред суровой правдой жизни, и во всем, что вы поете, ясно звучит противное лицемерие нищих.

— Я думал, что из ваших уст услышу суровой мудрости железные слова, той мудрости, что укрепляет душу, дает ей силу сопротивляться напору лжи,— но слышу я всегда из ваших уст глухое эхо размышлений тех своевременно усопших мудрецов, которые, для вашего удобства,— поведали вам тьмы высоких истин, из коих лучшие внушительно гласят, что выше головы — не вскочишь, что смертен человек, а дважды два — четыре, что без желудка — жить нельзя, с пустым желудком тоже невозможно, а потому — всем людям нужно есть, и — значит — кто-то должен накормить их.

— Я думал, что есть правда на земле помимо той мертвящей душу правды, которую я видел там, внизу. Я думал, что у вас, людей, вооруженных силой мысли, довольно было время на то, чтобы создать иную правду жизни и отношений человека к человеку. И вижу — я ошибся. Там, где я был,— ужасна правда, и там она не может быть иной, она всегда — проста и объяснима, как объясним нарыв на теле, истощенном трудом и голодом, и там она суровостью и ужасом своим всегда вас явно обвиняет в том, что вы — вы допустили в жизнь позор и грязь и ужас нищеты.

— Где ваша правда?

Спросив — он замолчал. И был ему ответом гром рукоплесканий.

Шатаясь, точно пьяный, с глазами, безумно устремленными в огромное и мертвое лицо толпы, он продолжал кричать свои упреки, а я стоял за ним и хохотал над этим Дон-Кихотом в сюртуке, затеявшим разбить словами твердыни пошлости людской.

— Во всех деяньях ваших я вижу только ложь и лицемерье, и плесень пошлости, и жадности налет. Вы даже в храмах ваших, где говорят вам о страданьях вашего Христа, сжигая воск и масло, не зажигаете свои сердца огнем молитвы за этот полный горем мир, а молитесь всегда о том, чтобы ваш бог кормил вас сытно, не поражал болезнями и отдалял от вас сухую руку смерти.

Жалея нищих на картинах или в книгах, при встрече с ними вы даете — грош — красную цену вашего сострадания! — и за грош возлагаете на них обязанность вас защищать пред богом. И бога создали вы себе только для того, чтобы его силой оправдать свое бессилие, его творчеством вашу лень, для того, чтобы его бытием объяснить себе сразу все тайны жизни и спрятаться за его властью от обязанности самим отвечать за себя, от страха пред вашим одиночеством во вселенной, от ужаса смерти прячетесь вы под покровы бога вашего,— но она найдет вас и там, всё равно!

Он задохнулся от гнева и волненья, опустил голову, и его бледное лицо с горящими глазами на минуту скрылось от глаз публики.

Она же вновь негромко заговорила:

— Вы замечаете,— сказал один знаток литературного стиля,— эта часть у него вышла гораздо хуже. Нет той ритмичности, которая была раньше.

— И грубовато несколько...

— Но интересно, право!

— Да, ничего, недурно!

Он слышал эти речи, бедняга, он сердцем слышал их. И его охватил ужас отчаяния, он закрыл глаза свои, чтобы не видеть людей, и чувствовал он, что сердце его разбивается о твердыни их равнодушия.

И тогда пред ним в холодном черном облаке одиночества встал я, Дьявол, неутомимый творец сомнений, а слева от меня стояло, буйно и радостно кривляясь,— пестро одетое Безумие.

Смеясь, я сказал ему:

— Ты хочешь быть подобным пророку? Высок полет честолюбья твоего! Но разве ты забыл, что у людей уже были пророки, вдохновенные и страстные, как Исаия, могучие люди! Слова их осыпали головы людей, как горящие угли, но никто не помнит слов их. И был Христос, он оставил людям Евангелие...

Мой знакомый ответил мне:

— Я знаю! Но пророки были выше людей! Как колокольни, высоки были они, и слова их звучали металлически крепко, но — слишком высоко над жизнью звучали они!

И знаю я — страницы Евангелия захватаны грязными руками насильников, правда его стерта лицемерами. Я — не выше людей, я стою на одной плоскости с ними и, быть может, так же глубоко в грязи, как и они,— потому-то я и надеюсь, что мой голос дойдет до сердца их...

— Восходит солнце и заходит,— сказал я, Дьявол,— а в сердцах людей — всегда сумерки!

— Когда вы говорите о любви — я знаю! — вы вашей лицемерной речью хотите заговорить все зубы ваших ближних, оскаленные голодом и злобой, вам кажется, что, силою любви смягчив сердца озлобленных и угнетенных вами, вы можете ослабить силу их справедливой мести.

Вы лицемерите, когда зовете братьями людей, которых вы поработили, вы лжете, проповедуя любовь тем людям, в чьих сердцах вы сами же посеяли и ненависть и злобу.

Я знаю — все вы искренни, когда советуете порабощенным вами ближним: любите нас! — ведь вы скры-

ваете за этими словами другие более правдивые слова: несите терпеливо и не возмущаясь тяжелый гнет труда и нищеты, возложенный на вас!

Но все вы нагло лжете, говоря своим рабам: и мы вас любим!

Рабов — нельзя любить! Их можно только презирать или бояться, и — повторяю! — вы учите рабов любви из страха перед ними.

В сердцах у вас нет места для любви — там тесно улеглись три стооких чудовища, оберегающие дремотный ваш покой от вторжения живого творческого чувства, в сердцах у вас живут три подлых Цербера — Ложь, Пошлость, Трусость.

И уваженья к человеку нет в ваших черепах — как можете вы уважать другого, когда не уважаете себя?

Он раскрыл глаза и с безумной тоскою стал смотреть на людей, а они громко и дружно рукоплескали в лицо ему, возбужденные его речью, как вином и пряностями.

Он слушал этот ликующий звук, подобный шуму крыльев стаи птиц, и чувствовал, как этот шум колеблет и разрушает в нем его уверенность в своей силе. И мой смех,— холодный смех Дьявола,— сливался с рукоплесканиями людей, а среди их была та женщина, на колени которой в часы усталости этот безумец клал свою голову и которая одна — думал он — ясно чувствует безмерность тоски его. Она тоже рукоплескала, искренно радуясь его успеху, и кивала головой ему так дружески нежно, так ласково. И тогда в довольном и радостном блеске ее глаз на гордом лице ее он прочел свой приговор, осуждавший его на одиночество *〈Не закончено.〉*

〈III〉

Перед публикой стоял человек, поднявшийся из темных глубин жизни для того, чтобы свидетельствовать о позоре и ужасе ее,— он стоял перед публикой и говорил ей:

— Сердце мое алчет правды, и пора мне насытить голод сердца моего!

— Медленно и долго я поднимался с низу жизни к вам на вершину ее, и на всё, в пути моем, я смотрел жадными глазами соглядатая, идущего в землю обетованную.

— Шел я и видел по дороге моей множество несчастий, скорби и горя, кровью плакало сердце мое, глубокие, неизлечимые раны нанесла ему тяжелая рука суровой правды жизни — и ничто не уврачует этих ран, кроме острого яда мести!

— Но среди ужаса, который видели глаза мои, было несколько случаев, особенно памятных мне; они-то наиболее решительно и ясно освещают гнусную жестокость и позор жизни, устроенной вами на земле, и вот о них я хочу рассказать вам здесь для того, чтоб хоть краской стыда облагородить на время самодовольные лица ваши, ибо — поистине! — узнал я вас и не могу надеяться на большее!

— В его дерзости есть что-то оригинальное! — сказала публика и начала рукоплескать интересному рассказчику, еще незнакомому ей.

<1>[1]

. . . . . .

<2>

В знойный полдень на окраине одного из южных городов, недалеко от тюремной стены, сидели четверо рабочих. Они были голодны и смотрели на всё вокруг злыми и жадными глазами, как четыре ворона, давно не видавшие падали.

Один из них был седой старик, должно быть, богомольный человек и, видимо, бездомный, отставной солдат; другой — высокий, чахоточный мужичок с рыжей острой бородкой; третий — хромал на левую ногу, и чет-

[1] Далее в рукописи следует рассказ, напечатанный автором под заглавием «Девочка» (см. в наст. томе, стр. 94).

вертый — молодой парень, весь в язвах, с большими глазами испуганного теленка,— все четверо — инвалиды великой и несчастной армии людей, руками которых создается всё на земле...

Стараясь не двигаться, чтобы не раздражать голода, который жег им внутренности, они сидели на груде камня и, задыхаясь от зноя, изредка медленно и ворчливо говорили что-то друг другу и все по очереди отрицательно кивали головами.

Я смотрел на них сквозь решетку тюремного окна, и в неподвижной знойной тишине мне были ясно слышны хриплые речи старика, сухой кашель чахоточного, краткие восклицания хромого, похожие на отрывистый бессильный лай старой собаки. Парень молчал, разглядывая неподвижным взглядом мертвеца мое лицо в окне тюрьмы.

— Хоть камень гложи,— сказал чахоточный и, взяв в руку камень, бессильно швырнул его прочь от себя.

— Вон — жид идет,— проговорил старик.

Недалеко от них быстро шагал высокий тонкий еврей, согнувшись и придерживая одною рукой отвисшую пазуху длинной черной одежды. Его другая рука странно болталась в воздухе, точно пытаясь схватить что-то никому, кроме ее хозяина, не видимое. Из-под его босых ног клубами вздымалась пыль, и весь он точно летел в ее сером горячем облаке.

— Эй! — крикнул хромой.

Товарищи молча посмотрели на него.

— Эй, милый! — громко повторил хромой, когда еврей поравнялся с ним.

Черная тонкая фигура сразу остановилась, точно в ней вдруг сломалось то, что приводило ее в движение.

— Н-ну? — раздался высокий, тонкий, тревожный голос.

— Слушай! — заговорил хромой,— не знаешь ли ты какой работы нам вот, а?

— Нет работы! — быстро качнув головой, ответил еврей.

— Нету?

— Нигде нет никакой работы!

— А — хлеба... никто не дает... не подают здесь?

Еврей помолчал, потом тем же высоким и тревожным голосом молвил:

— Не знаю... а! как всем нужно иметь хлеб!

— У тебя что за пазухой? — неожиданно спросил парень с телячьими глазами. Спросил и глупо, громко захохотал...

— Это — для моих детей... прощайте!

Еврей покачнулся, взмахнул рукой и пошел, увлекая за собою четыре пары жадных глаз.

Но тотчас же парень вскочил на ноги, оглянулся, прыгнул вслед за евреем и, сильно размахнувшись, ударил его сзади в ухо. Удар был тяжел и крепок,— еврей упал в пыль дороги без звука, как срубленное дерево.

— Вот!..— громко сказал парень и нагнулся над упавшим, а когда он выпрямился, в руках у него были два круглых хлеба. Четверо людей быстро слились в одну тесную кучу тела и лохмотьев и молча стали есть, изредка поглядывая на еврея, всё еще неподвижного.

Но вот он приподнял голову... потом вытянулся... и быстро сел на дороге, весь серый от пыли. По лицу у него текла кровь, он дотрагивался рукой до лица, подносил руку к глазам, смотрел на нее и снова стирал ею кровь. Всё это он делал молча и не глядя на четверых людей, которые тоже молча пожирали его хлеб.

Потом он встал на ноги, пошатнулся и пошел, опустив руки вдоль туловища.

— Дай ему еще! — сказал хромой парню. Лицо у хромого — я видел — было красное, довольное.

Послушно и не торопясь парень дважды шагнул, взял еврея сзади за шиворот, повернул его к себе лицом и ударил раз, два. Еврей снова упал. Но на этот раз он крикнул звонким, режущим сердце голосом:

— Что вы делаете?

Парень довольно усмехнулся.

— Едим твой хлеб,— ответил чахоточный.

— А ты — соси свою кровь,— громко добавил хромой.

Парень захохотал деревянным смехом идиота.

Тогда вмешался и старик.

— Соси кровь — верно! — сказал он.— Христову-то

кровь, небойсь, пили, жиды проклятые? То-то! Никогда вам не забудется! Идем, ребята!

Они пошли, и стена тюрьмы скрыла от меня их зловещие фигуры.

Еврей всё сидел на земле и вытирал рукой залитое кровью лицо. Он что-то бормотал — молитву или проклятия — мне не слышно было. Потом он поднялся и, бессильно качаясь на тонких ногах, стал смотреть в ту сторону, куда ушли ограбившие его. Одна его рука неподвижно висела вдоль туловища, а другая всё судорожно поднималась к лицу, стирая с него кровь и пыль. Вот он сунул руку за пазуху, вырвал ее оттуда, взмахнул головой вверх и — весь изломанный, спотыкаясь и размахивая руками, как большая раненая птица крыльями,— побежал снова в ту сторону, откуда пришел...

<3>

Был у меня товарищ — красивый, сильный, смелый юноша!

— Люблю жизнь и творца ее — человека! — говорил он, и на его ясном лице гордо сверкали славные, глубокие глаза — огни его чистой души.

У него было религиозное сердце существа, сильного духом, и когда он говорил о силе и величии человека, о неустанном движении жизни к совершенству,— в его словах звучало пламенное чувство живой непоколебимой веры, а голос его пел, как боевая труба.

Он не любил одевать свою мысль в потертое, засаленное платье старых истин,— в наследство своевременно умерших мудрецов,— его мозг всегда горел своим огнем, и кружок таких же юношей, как сам он, считал его своим учителем.

— Читайте! — говорил он.— Читайте откровения великих умов, человек должен чаще омывать душу свою в холодных источниках знания. Но пусть книги будут для вас только кирпичами, из них вы сложите подножие себе и, взойдя на него,— должны смотреть в жизнь своими глазами, освещать ее тьму и искать в ней смысл ее своим умом. Ошибетесь — ничего! Только умейте

просто и честно сознаваться в ошибках, если увидите их. Всё нужно для жизни, люди во всем найдут свою пользу, и даже ошибки ваши будут для них как огни во тьме.

А если встретите человека, который говорит так, как будто ему известны все тайны жизни, как будто он ответил на все вопросы ее,— не верьте ему, но и — не презирайте его. Дураки — должны возбуждать жалость, а не презрение, оставьте презрение лицемерам. Знайте, что и на светлом, величественном здании науки местами растет плесень — это суждения тупых голов.

Ищите всегда точку опоры для мысли своей вне пределов темного и тесного круга установившихся понятий, ибо если вы найдете ее в этом круге,— ваша мысль будет невольно вращаться вместе с ним, и бесплодна будет работа вашей мысли. Жизнь слишком тесно застроена старыми истинами, и для того, чтобы расширить ее пределы, нужно многие из них зарыть в землю, ибо они уже умерли. Будьте чутки и осторожны, когда дело идет о жизни ближнего,— будьте тверды и бесстрашны, когда опасность грозит только вам.

< . . . . . >

задерживало рост жизни...

Однажды мой юноша сказал мне:

— Пора! Иду требовать права на жизнь для всех людей, иду требовать свободы себе и для них!..

И, высоко подняв голову, он ушел, смелый, гордый, сильный...

В тот же день я видел, как двое торжествующих людей вели его под руки, точно пойманного вора, лицо его было разбито, запачкано грязью и залито кровью, нижняя челюсть бессильно отвисла, дрожала, и всё его сильное, стройное тело было подавлено, смято болью и страхом. В его глазах неподвижно застыл тупой и темный ужас животного, которое ведут на убой, и — ничего уже не было в них человеческого, ни одной искры, ничего, только животный ужас...

Он жив и теперь.

Когда при нем говорят о необходимости борьбы за права человека, он, вспоминая свое разбитое лицо, робко оглядывается и глухим голосом советует всем:

— Будьте благоразумны, господа! Будьте осторожны! Всё развивается постепенно, ничто не делается сразу...

И он лжет — душа его была убита сразу...

— Я спрашиваю вас, господа,— кто виноват в том, что человека безнаказанно превращают в животное, и кто отомстит насильникам за это преступление?

— Браво! — закричала публика. Она приняла этот рассказ за намек на злобу дня, и хотя многие усомнились в существовании героя рассказа, другие же, по обыкновению, остались недовольны формой изложения,— однако все рукоплескали рассказчику. Он недоумевая улыбнулся и — продолжал.

<4>

На окраине города, в грязной луже среди улицы, играли три мальчика. Высоко подобрав штаны, они ходили взад и вперед по грязи, гуськом один за другим, изображая пароход и баржи.

На бледном весеннем небе весело и ярко горело солнце, воздух был напоен густым запахом свежей листвы, теплая грязь мягко ласкала голые ноги мальчишек, и ребята были довольны — маленьким людям немного нужно грязи, чтобы быть довольными жизнью.

Пароход изображал крепкий мальчик лет десяти, он был одет лучше, чем его товарищи, в платье более крепкое и чистое, чем у них, и, видимо, был более сытым, чем они. Лицо у него было смуглое, здоровое, а глаза — матовые и круглые, как две медные монеты.

Сзади парохода, держась рукой за его пояс и качаясь с боку на бок, шагал колченогий рыжий человечек тоже лет десяти, с пестрым от веснушек лицом и плутоватыми голубыми глазами.

А третий мальчик — тонкий, черненький, проворный, как мышонок, с кривой, робкой улыбкой на тонких губах — третий был косой на оба глаза.

По морю, от земли
Пóплыли корабли

— громко пел мальчик, изображавший пароход, и, в такт песне, крепко бил ногами по грязной воде.

— Не брызгайся, Мишка! — предупредил его рыжий.

Поплыли корабли —
Рыжих к чёрту повезли!

— присочинил Мишка к своей песне, продолжая брызгать.

— Слесарев жиденок вышел! — сказал рыжий, и его большой рот растянулся широкой улыбкой.

Все трое остановились на месте, глядя вдоль улицы. Недалеко от них, у ворот старого маленького дома, стоял, весь испачканный сажей и маслом, мальчик-еврей. Он поднял голову кверху, прищурил глаза и улыбался, глубоко вздыхая всей грудью.

— Бориска! — тонким голосом крикнул косой.

— Давайте, окрестим его в луже? — тихо предложил Мишка.

— За что? — робко спросил косой.— Ведь он тебе ничего не сделал...

— Смешно будет! — уверенно ответил Мишка.

— И вправду — смешно! — согласился рыжий мальчик.— Как он барахтаться будет в лужице-то!

И рыжий громко захохотал.

— Ты, косой, — дурак! — заговорил Мишка твердо и убежденно.— Говоришь тоже — за что? А кто Христа распял? Ага? Жиды распяли... стало быть, их тоже надо мучить! Мой отец говорит — они всегда... хитрые! Они хотят со всего света деньги забрать и — больше ничего! И чтобы все русские на них работали — знаешь? Отец — знает, он читал... да!

Лицо у Мишки стало оживленно-злым, и в матовых его глазах сверкали зеленые искры...

— Давай! — согласился рыжий мальчик, торопливо толкая косого в бок.— Зови его, ты с ним дружишься... Как он будет... в грязи-то!

И рыжий снова захохотал.

Косой сконфуженно улыбнулся и тихо сказал:

— А простудится...

— Ничего! — уверенно возразил Мишка.— Тут —

близко, убежит домой... А то — больно нужно! Чего его, жиденка-то, жалеть? Их — много! Зови, кривой....

Мишка волновался, предвкушая забаву, рыжий тоже увлекся, его глаза задорно сверкали, он толкал косого мальчика в плечо и шептал ему:

— Ну, кисель, скорее...

— Бориска! — негромко позвал косой, опустив голову и не глядя на еврея.

— Ну? — равнодушно отозвался еврей.

— Иди сюда...

— Какую я штуку нашел! — нетерпеливо вскричал Мишка.

— Вот штука! — поддержал рыжий товарища, чмокая губами.

Еврей покачнулся на тонких ногах, склонил голову на плечо и странно, боком, пошел к луже. Но тотчас же нерешительно остановился, подумал о чем-то, глядя на троих мальчиков, и спросил их сиплым голосом усталого человека:

— Драться не будете?

— Иди, Бориска, не тронем! — громко и весело отозвался рыжий.

Двое мальчиков насторожились, как сычи ночью, и одновременно опустили головы, скрывая блеск своих глаз, а косой — медленно и робко подвинулся в сторону от них.

— Какая штука? Железная? — спросил еврей, тихо и серьезно.

Его угловатое, костлявое лицо, черное от сажи и грязного масла, лоснилось на солнце, а большие глаза были устало прикрыты длинными ресницами. Голову он склонил вниз и набок, длинные худые руки бессильно повисли вдоль тонкого тела,— видимо, он был замучен работой, непосильной ему.

— Штука? — крикнул Мишка.— Вот она какая!

Быстро взмахнув рукой, он ударил еврея в лицо и, когда тот пошатнулся,— ловко толкнул его в бок, а рыжий — подставил ногу и еще толкнул.

Еврей вытянул руки вперед и грузно упал в лужу, опираясь на них, но руки не выдержали тяжести тела, подогнулись, он ткнулся лицом в грязь и — молча,

жалко, как большая подстреленная птица,— затрепетал в ней.

— Ур-ра! — кричал рыжий мальчик, отскакивая в сторону.

— Окрестили жида! Окрестили жиденка!— радостно кричал Мишка, приплясывая. Косой мальчик тоже улыбался растерянной и робкой улыбкой.

Они все отбежали на панель улицы и оттуда смотрели на еврея.

А он медленно поднялся на ноги, весь мокрый и грязный, молча провел рукой по лицу, стирая с него грязь, и глухо, с невыразимой ненавистью, сказал:

— Сволочи!..

Потом он поднес руку к глазам и медленно опустил ее. Из носа у него текла кровь, и плевал он кровью,— должно быть, ему разбили губу.

— Что, жиденок? Попало? — кричал ему рыжий мальчик.

— Христа распял, пархатый жид! — раздельно и громко вторил Мишка.— Рожу-то разбили? Ага!

Косой мальчик прислонился к тумбе и смотрел на своих приятелей бегающими глазами, а на его тонких губах играла скверная, подобострастная улыбка. Качаясь на ногах и низко наклонив голову, еврей пошел прочь, оглядываясь на врагов, с его одежды ручьями текла вода, он всё вытирал дрожащей рукой грязь и кровь с лица и плевался кровью, а его глаза были широко открыты и полны крупными слезами боли, страха и ненависти...

Мишка, притопывая ногой, кричал вслед ему:

— Пососи-ка свою кровь, пархатый! Христа распял — ага!

...Я спрашиваю — кто виноват, что среди вас, господа, всё еще живет этот позорный предрассудок, порождающий ненависть даже в сердцах детей?

— Э, да он юдофил! — сказала публика. И хотя некоторые тотчас же подумали, что евреи заплатили рассказчику денег за такое отношение к ним, другие же просто нашли рассказ скверным,— но, однако, все твердо

знали, что внешнее сочувствие гонимому народу — необходимый признак порядочности и, были уверены, не налагает на них никаких обязанностей, а потому — все рукоплескали ему.

Он смущенно посмотрел на публику, подумал и продолжал.

<5>

Во дни моей юности — знавал я одного смешного парня.

Это был пытливый бродяга, неуклюжий сплач с длинными руками и круглым скуластым лицом.

Его бесцветные стыдливые глаза всегда смотрели как-то странно — дальше того, что было пред ними, они как будто бы всегда искали что-то необходимо нужное ему, не находили и растерянно, невесело улыбались.

Бесцельно шатаясь по земле, с места на место, он встретился со мною и заинтересовал меня не тем, что он говорил и делал в эту пору, а тем, что мог сказать и сделать со временем.

Было ему лет двадцать, он служил дворником в доме моего знакомого, старого, ученого человека,— это был маленький славный дом на окраине города; окруженный со всех сторон старыми липами и окутанный густыми волнами сирени, он смотрел из моря зелени гостеприимным тихим и чистым островом.

У хозяина дома была дочь, маленькая девица с голубыми глазками и звонким смехом, веселое, беспечное существо, игривое и чистенькое, как холеный поросенок.

Она умела играть на рояли, читала книжки и всегда носила белые платья,— они шли к ней, как идет к березке ее белая кора.

В сравнении с нею дворник был чудовищно нескладен и велик, и когда она проходила мимо его, его длинная рука подозрительно-торопливо взлетала к шапке, голова покорно склонялась пред нею, и весь он смешно, угловато сгибался, точно боясь испугать барышню своей длинной фигурой, подобной плохо выстроенной колокольне.

Глаза врага — всегда прекрасно видят, смешное в мужчине всего скорее доступно зрению женщины,— ве-

селая девушка обратила особенное внимание на своего дворника. Она ласково улыбалась ему, иногда дарила его парой незначительных слов, а однажды, когда он колол дрова,— даже спросила его — не устал ли он?

А когда человек — одинок и не избалован вниманием и когда у него нет другой подруги, кроме тоски о лучшей жизни,— он ценит слово ласки на вес крови сердца своего.

Прислуга дома считала дворника полуумным парнем: он не ухаживал за горничными, не любил в праздники сидеть у ворот, истребляя семена подсолнухов, в свободное время он всё читал какие-то книжки,— все его поступки были несвойственны дворнику, говорил он странно, непонятно, и речи его раздражали людей.

Девушке — ее звали Лидочка — стало известно всё это, и она усилила свое внимание к дворнику,— не потому, конечно, что ожидала открыть в нем переодетого принца сказки, а просто потому, что ей было любопытно послушать и посмотреть, как рассуждает и чувствует человек, созданный природой для того, чтобы колоть дрова и мести двор.

Однажды дворник пришел ко мне более растерянный, чем всегда, мы поговорили с ним о книгах, потом он вдруг устало вздохнул, помолчал и, взглянув блуждающими глазами куда-то через мою голову, глухо сказал:

— А... я, знаете, неважно чувствую себя. Как-то неловко мне... в этом доме... Такой хороший, чистый дом... и люди — умные, чуткие... добрые люди! Я думал — вот, мол, около них я поучусь кое-чему... приведу себя в порядок, да... Однако — это не выходит... Тоска какая-то... И я... стал писать стихи — право! Вам — смешно?

— Нет, мне не смешно, нисколько! — успокоил я его.

Он усмехнулся невеселыми глазами, отодвинул в сторону свой стакан чая, положил локти на стол, опустил на них большую лохматую голову и глухо, отрывисто заговорил:

Ночь пришла. Сижу я у окна.
Сад уснул. В нем тьма и тишина!
Я смотрю в немую ночи тьму,

И душа моя кричит невольно:
Почему мне тяжело и больно — почему?

От него пахло махоркой, от его сапог — дегтем, пестрая — черная с красным — шерстяная фуфайка была протерта на локтях, у ворота она не имела пуговиц, и я видел, как тяжело и сильно бились жилы на шее дворника.

Нет нигде душе моей ответа!
Душной тьмою всё кругом одето,
Спит земля, и влажный воздух нем.
Только мое сердце громко бьется,
О, зачем она всегда смеется, о, зачем?

Он замолчал, поднял голову, и брови его вопросительно поднялись.

— Неважно? — спросил он.

— Нехорошо! — сказал я.— Нужно, чтоб или оба — смеялись, или оба — плакали. Так будет лучше.

— Наверное, ей плакать столь же трудно, как мне — смеяться,— просто и негромко сказал он и тоном врача, спокойно определяющего болезнь, добавил:

— Ведь это — Лидия Сергеевна.

— Что же вы думаете делать? — спросил я.

— А — не знаю. Подожду.

— Чего?

Он улыбнулся покорно и безнадежно, и было ясно, что он сам знает — ждать ему нечего. И снова он стал читать стихи:

Прощай! Душа тоской полна...
Я вновь, как прежде, одинок,
И снова жизнь моя темна.
Прощай, мой ясный огонек!

Глухой голос его звучал монотонно и невольно напоминал о чтении псалтыря над усопшим.

Морская даль грозит бедой,
И червь тоски мне сердце гложет,
И грозно воет вал седой...
Но — море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может.
Прощай!

Потом он встал, сгорбился и ушел, крепко стиснув мне руку.

Вскоре я увидел Лидочку, как всегда, она была милая, красивая, веселая. Осторожно, чтобы не очень насмешить ее, я сказал ей, что, пожалуй, будет лучше, если она перестанет обращать внимание на своего дворника, и что именно первая любовь,— какова бы она ни была,— на всю жизнь формирует сердце мужчины.

Глазки у нее сделались круглые от удивления и такие прозрачные, что я через них вполне отчетливо увидел, как просторно и чисто в ее милой душе.

— Да не может быть! — вскричала Лидочка.— Он? Ах... но как я сама не догадалась? Вот смешной... о чудак! Нет — как же это я не понимала... он! Как это интересно!

Для господ жизни свободно думающий рабочий и до сего дня является чем-то вроде обезьяны, которая стремится подражать им, и если эти господа случайно заметят в новорожденном человеке чуткое человеческое сердце и ясный ум,— они всегда удивляются.

То, что произошло далее, было чрезвычайно занятно и смешно для всех жителей красивого дома, во главе с Лидочкой.

В два-три дня все знали, что дворник — влюблен в барышню, и это сразу подтвердило и упрочило за ним репутацию полуумного человека.

Происходили такие забавные сцены.

— Платон! — кричала Лидочка.

Он являлся.

— Вы любите меня? — с ласковым любопытством спрашивала девушка.

— Да! — твердо говорил дворник.

— Очень?

— Да! — еще тверже повторял он.

— И если б я вас попросила о чем-нибудь,— мечтательно рассматривая его скуластое лицо, тихо и таинственно говорила Лидочка,— ведь вы всё сделаете для меня, Платон?

— Всё! — с непоколебимой уверенностью подтверждал дворник.

— Ну, если так,— восторженно улыбаясь, говорила девушка,— если так, дорогой мой Платон,— лицо ее вдруг становилось печальным, и, глубоко вздыхая, она заканчивала:

— Поставьте... самоварчик!

А глаза ее сверкали веселой улыбкой.

Он шел, низко опустив голову, и ставил самовар, а скулы у него становились всё острее, и глаза уходили куда-то глубоко под лоб.

Иногда Лидочка, расспросив Платона о силе его любви к ней, заставляла его встряхнуть юбку или вымыть галоши, иногда посылала его с запиской к подруге, и ко всему, о чем она его просила, она всегда примешивала его любовь к ней, она всегда говорила с ним от имени его любви.

Ее отец был добрый старик, он прекрасно знал жизнь и характер всех насекомых и любил их любовью мудреца, он был сторонником безубойного питания, но не мог отказать себе в удовольствии слегка поиздеваться над человеком.

— Эй, послушайте, влюбленный! Убедительно прошу вас — не навалпвайте вы так много навоза на гряды со спаржей. Я не однажды говорил вам это... но я не сержусь, однако, я понимаю ваше положение! Вас всё влечет в Аркадию, любезнейший Платон,— что ж? Я это знаю — в детстве человек болеет корью и скарлатиной, в юности он влюбляется, мечтает о подвигах и пишет стихи,— трата времени не очень полезная для жизни и людей, но всё же это лучше, чем благоразумие зрелого возраста, когда сердце человека очень богато пошлостью, но в нем нет уже места для поэзии...

Этот добрый старик несколько длинно и скучно шутил, но ему очень нравилось свое искусство.

Шутила и прислуга, она, конечно, шутила проще, не так витиевато, как хозяева, но в цель попадали все очень метко, ибо цель была достаточно велика.

Но — всех изобретательнее и искуснее в этой забаве была Лидочка. Вечерами, при луне, она красиво и задумчиво сидела у открытого окна и громко говорила тем, кто был в комнатах, о своем сердце и о чувствах, наполняющих его, о том, что любовь не знает преград и

что для нее нет дворян, нет крестьян, а только человек, мужчина, любимый.

Она играла меланхолические пьесы, нежно трогавшие душу мягкими и ласковыми аккордами, подобными душистым цветам, она пела нежные, тихие песенки, в которых звучало ожидание ласки и тоска о милом, и она делала всё это так, чтобы дворник видел, слышал, чувствовал.

И он всё видел и всё чувствовал, ставил самовары, мыл галоши, приносил барышне надушенные платки, которые она часто теряла в саду, и — молчал.

Я только однажды видел его в этот забавный период его жизни. Лицо у него было серое, зубы крепко стиснуты, брови опустились и между ними выросла глубокая, угрюмая складка.

— Как живете? — спросил я его.

— Я — живу? — сказал он своим глухим голосом и так взглянул на меня, точно для него было крайне странной новостью слышать, что он все-таки — живет.

Вскоре после этой встречи он попробовал прекратить эту жизнь, но — неудачно: пуля не нашла сердца в груди его.

Был я у него в больнице. Он лежал на спине, желтый, бескровный, с морщинами на лице и темным, неподвижным гневом в глазах. Его длинная жилистая рука бессильно свешивалась с койки, касаясь пальцами пола...

Говорить ему было трудно, но всё же он сказал мне сквозь зубы каким-то скрипящим голосом:

— Вот... я работал на них для того, чтобы им жилось удобнее и чище... За что же они меня так изувечили... а?

Что мог я ответить ему?

Он кончил свой рассказ и замолчал и, бледный, вопросительно смотрел на публику, а она приятно улыбалась и оживленно рукоплескала ему.

Ей понравилась маленькая история, этот дворник-поэт был забавен, а веселая девица, вся в белом,— очень мила, но эта добрая публика не заметила в рассказе той

наивной простоты, с которой люди издеваются над человеком.

Те же, которым была понятна цель рассказа,— нашли, что пример взят неудачно: им были известны случаи более жестокой травли человека.

И как ни забавен был герой рассказа, он всё же многим показался сочиненным, и многие из публики находили, что было бы правдивее заменить его приказчиком,— они, видимо, находили, что торговля ближе к поэзии, чем простой мускульный труд.

Другие замечали, что не следовало автору заставлять своего героя стреляться: по их мнению, этот род самоубийства был не типичен для дворника и в интересах художественной правды было бы лучше, если б он повесился.

Одним рассказ казался длинен, другие утверждали, что он слишком краток, большинство же, как всегда, скромно молчало, ожидая, когда составится то мнение, к которому удобнее присоединиться.

Но все рукоплескали, ибо надо же выражать одобрение забавникам!

— Молчание! — вскричал автор.— Мои слова — серьезнее рукоплесканий, и говорю я их не для того, чтобы оставить память о себе, а для того, чтобы они вонзились в вашу память, подобно раскаленным иглам!

— Я был свидетелем неисчислимого множества ваших преступлений против человека, я видел поругание его и слышал стоны истерзанных сердец, и горечь его скорби отравила мне сердце, а память моя полна ужасов, и поэтому теперь я чувствую себя обвинителем, призванным из глубин жизни напомнить вам все ваши злые, грязные и скверные дела!

— Я хотел бы, чтоб голос мой был подобен трубе архангела, возвещающего миру час страшного суда, я хочу возбудить в сердцах ваших трепет ужаса и зажечь в них пламя отчаяния и воздвигнуть полумертвых к жизни, к борьбе со скверной внутри и вне вас, я хочу возбудить в людях уважение к человеку.

— Вот я расскажу вам еще один случай.

‹6›

Душная летняя ночь, без звезд и луны, властно окутала город, и, как большое утомленное животное, он глухо рычал, погружаясь в сон.

Медленно и зловеще двигались черные облака, опускаясь тяжелым покровом всё ниже и ниже к земле; покрытые пылью деревья городского сада стояли неподвижно, точно они задохнулись и умерли в душной тьме.

В темный, густо заросший угол сада, где я лежал, доносилась военная музыка — играли марш, в нем был слышен топот лошадей, плач женщин, чья-то прощальная песнь, и эти звуки, сливаясь с ними, заглушало тяжелое дыхание паровой машины на осветительной станции.

Я лежал на старой, расшатанной скамье, под кустами акации, прислушивался, как голод сосет мое тело, у меня кружилась голова от слабости, и острое чувство злобы на жизнь, еще недавно терзавшее меня так же мучительно, как голод теперь,— это чувство умирало во мне.

Где-то далеко, во тьме среди деревьев, тревожно сверкали огни, и казалось, что они хотят оторваться от земли и улететь в печальное, темное небо.

Из-за поворота аллеи показалась маленькая круглая фигурка женщины; неторопливо и качаясь с бока на бок, она подходила ко мне всё ближе, вполголоса напевая, и скоро я разобрал слова ее песни:

Просидела день без дела,
Капитал свой весь проела...

Мелодия звучала задумчиво и грустно, но, когда женщина заметила меня на скамье, она весело, заигрывающим тоном, проговорила:

— Батюшки, кто-то лежит... ай, страх какой!

Я не ответил, не пошевелился. И она прошла мимо, зорко присматриваясь ко мне, а пройдя, запела снова, но уже громче и с удальством:

Мил дерется, коль не сыт;
Милый сытый только спит...
Эх, я ушла бы от него,
Да нет на свете никого!

Мне показалось, что если я сяду и крепко сожму живот руками,— то не буду так сильно чувствовать сухую боль голода. Тяжело повернувшись, я сел. Скамья жалобно заскрипела, и этот стонущий, тонкий звук заставил женщину оглянуться. Ее песня оборвалась. Одинокая тяжелая капля дождя упала мне на руку, и я зачем-то слизал ее языком.

Женщина незаметно воротилась и встала против меня.

— Ты что тут сидишь? — спросила она.— Пьяный, что ли?

— Уйдите,— ответил я.— Я не пьян... и... вам не нужен...

— Да мне и никто не нужен,— спокойно и звонко сказала она.— Наплевать мне на всех вас...

Она подошла к скамье, села рядом со мной, зажгла спичку и, осветив мое лицо, протянула насмешливо:

— Н-ну и рожа...

Она закурила папиросу и стала раскачивать корпусом — скамейка от этого скрипела, а мне казалось, что этот жалобный скрип раздается в моем теле. Папироса, вспыхивая, освещала лицо моей соседки — это было миленькое, круглое русское девичье лицо, с голубыми ясными глазами и еще не погасшим румянцем на полных щеках.

— Больной, что ли? — спросила она.

— Да,— ответил я.

Я пошла бы к свому краю,
Да родилась где — не знаю...

— пропела девушка тихонько и в нос. Потом, не глядя на меня, спросила:

— Ночевать негде?

— Негде...

— Ну, вот. А я... всегда найду себе место... только захотеть... Ну, однако, не хочу...

И она, упрямо тряхнув головой, отшвырнула папиросу в кусты.

— Не хочу... Ты — голодный?

— Да,— тихо сказал я.

— А я — сытехонька... час назад — щи ела в трактире и котлеты... с луком... Горячие котлеты... вкусно! Чай — поел бы котлет?

Она засмеялась звонким смехом, похожим на холодный звук разбиваемого стекла.

Мне захотелось уйти, но, встав на ноги, я пошатнулся и понял, что лучше уж сидеть здесь, чем валяться где-нибудь на улице.

— Не держат ножки-то! — заметила моя соседка, и в ее голосе — мне показалось — прозвучала какая-то радость. С минуту она молчала. Музыка перестала играть, и теперь в воздухе было слышно только усталое, тяжелое дыхание машины.

— Слушай! — вдруг ласково и негромко заговорила девица, близко наклоняясь ко мне.— Хочешь я тебе дам... двугривенный?.. а? Хочешь, ну?

— Дайте...— тихо сказал я,— я вам отдам... потом...

От предвкушения возможности поесть я даже задрожал весь жадной дрожью голодного.

— Видишь? Вот он, двугривенный... вот! Сколько на него можно купить — ты подумай!.. Два дня сыт будешь! Ну, дать?

Я молча протянул руку.

— Значит, дать?

Вдруг она громко засмеялась, ударила меня по руке, широко размахнулась и кинула монету в кусты. Я слышал тихий металлический звон — это двугривенный задевал ветки, падая на землю, во тьму.

Не понимая ее поступка, я молча смотрел на нее.

А она, отступив на шаг от меня, наклонилась и злым громким голосом заговорила:

— Видал? Ты думал, и вправду — дам я тебе на хлеб? Как же, нашел дуру... И если б вас тут сотня с голоду издыхала — всё равно... Прощай...

Она цинично выругалась и пошла прочь от меня. Но шагах в пяти снова остановилась и дрожащим голосом, в котором мне почудились слезы, глухо заговорила:

— Может, ты и невинен... может, и хороший человек... а — на вот! Терпи... за товарищей терпи — понял?

А я буду знать, что и сама тоже... хоть один раз... одну собаку прищемила...

Голос ее обрывался и звучал всё глуше... А мне казалось, что в лицо мое бьют тяжелыми липкими комьями грязи, и я дрожал от боли оскорбления, болей голода... и оттого еще, что я понял боль и муку ее сердца, отравленного грязью жизни.

Она пошла дальше... и ее маленькая фигура растаяла во тьме. Но из дали, из густой тьмы, до меня еще раз донесся ее голос:

— Скажи им... подлецам... коли не издохнешь тут...

Вокруг меня стало мертвенно тихо, только машина всё вздыхала тяжелыми вздохами измученного животного, да огни вдали испуганно дрожали... И земля подо мной кружилась, качалась, как будто пытаясь сбросить меня куда-то с груди своей, загрязненной людьми.

Он снова замолчал, слезы скорби, гнева и стыда за людей блестели на его глазах, а глаза публики искали человека, который дал бы ей мнение, и уши ее готовы были выслушать его.

И вот нашелся этот человек: где много публики, там всегда достаточно пошлости.

— История — грязновата,— сказал он,— да, история — грязновата, и ее можно бы рассказать лучше — скромнее и красивее.

— Ах, это правда! — искренно вскричала одна дама.— Я не могу понять — зачем нам говорят о таких вещах? Поднимите нас выше, выше над землей, дайте отдохнуть глазам и сердцу на чем-нибудь светлом. Ведь в жизни каждого из нас — довольно мук и горя, а нас стараются ткнуть носом еще и в эту грязь.

— Но, всё же надо согласиться,— у него недурная манера рассказывать,— заметил некий объективный человек.

— О да, он интересен!

— Ах, если б он рассказал что-нибудь эдакое... возвышающее!

— Он, вероятно, может! Он ведь еще не стар...

И снова раздались рукоплесканья. Знакомый мой стоял средь них, и лицо его так горело, точно все эти люди одной огромной рукой били его по щекам, и в глазах его сверкал почти безумный гнев.

— Молчание! — вскричал он всей силой груди.— Не оскорбляйте похвалой вашей, ибо она для меня доказательство смерти вашего сердца. Не хвалить должны бы вы, а гордо закричать мне: «Ты лжешь! Жизнь эта выстроена нами, и в ней не может быть того, о чем ты говорил нам! Прочь, клеветник!» Вот чем должны бы вы ответить на мой рассказ! А вы им только забавляетесь, как дети — грязью, хотя бы эта грязь была увлажена горячей кровью человека! Люди вы или только удобрение земли для посевов будущего?

— Нет, о позоре жизни, который вы так пышно всюду развели, мне бесполезно говорить вам. Как [слезы], падая на камень, не заставляют его звучать, так и мои слова не будят в сердце вашем ни звука! Теперь я буду говорить вам о вас самих!

Он задохнулся от волнения, этот бедный рыцарь правды, а публика, пользуясь его молчанием, обменялась несколькими замечаниями — ведь нет слов, которые удивили бы ее новизною своей!

— Немного аффектировано, но недурно! — сказали одни.

— Но ведь это уже публицистика? — осведомились другие.

— Какой-то странный род искусства! — пожав плечами, сказали третьи.

И снова все стали рукоплескать ему. Он дождался, когда они утомились, и продолжал:

— Я — люблю вас!

— Я люблю вас голодной любовью отчаяния, как любят развратную, пошлую женщину, когда некого любить, кроме ее; я люблю вас с болью в сердце; моя любовь — огненная мука моя,— она дает мне неотъемлемое право быть беспощадным в ненависти к вам!

Он сделал последнее усилие и вскричал криком раненного насмерть:

— Проклинаю всех вас проклятием вечной неудовлетворенности, проклятием неукротимой тоски по лучшему, злыми муками бесчисленных желаний проклинаю всех вас!

Что мог он сделать еще? Он догадался и разбил себе голову, и погас огонь мысли его навсегда.

Попирая ногами неостывший мозг безумного, люди толпились около трупа и говорили друг другу:

— Он недурно рассказывал, но был романтик.

— Жаль, рано умер. Еще не стар и мог бы сделать кое-что!

— А в сущности — он был ненормальный человек!

Хоронили его с почестями и с сожалением, те же, которые были обрадованы его смертью, умело скрыли свою радость, и никто не узнал о ней, кроме Дьявола.

За окном моей комнаты вьюга гордо поет холодную песнь одиночества, тлеют угли в печи предо мной, и сверкает среди них красным пламенем мудрое лицо Дьявола, и дрожит над головой моей, как чей-то отдаленный смех и стон, какой-то странный звук, неуловимый, точно тень.

По небу желтому тащилась
На паре серых кляч луна,
Изобразить собою тщилась
Красотку нежную она.

У ней на роже, как экзема,
Клок тучи тестом жидким сел.
С ней встретившись у врат эдема,
Луну и тучу — всё я съел! [1]

[1] *Под текстом*: Анатолию Средину. В пример и подражание. М. Горький

Как медведь в железной клетке,
Дрыхнет в башне № 3-й
Государственный преступник
Алексей Максимов Пешков.
Спит и — видит: собралися
Триста семь клопов на сходку
И усердно рассуждают,
Как бы Пешкова сожрать.

Сердитый пес породы волкодавов,
Прикован на цепь я в красивой конуре...
Угрюмый, злой, стою, сцепивши зубы,
И думаю тоскливо о свободе...

Синими очами океанов
Смотришь ты, Земля моя родная,
На сестер твоих, златые звезды,
На златые звезды в небе синем.

Во небесном поле ходит время,
Облаком окутано прозрачным,
И тихонько темною рукою
Огненные звезды в небе гасит.

На земле, среди пустыни снежной,
Расцвело цветком кровавым сердце
И горит на серебре холодном,
Как звезда в далеком синем небе.

Далёко — безмерно далёко!—
В пустыне немой океана
Затерян неведомый остров,
    Бесплодный, безлюдный.
И только две жалкие пальмы,
Сожженные солнцем, вцепились корнями
В расщелины скал.
Две пальмы.
И только во дни ураганов
    Они на мгновение
Касаются <тайно?> друг друга
Иссохшими веерами ветвей.

<МЕЩАНИН>

Маяк, пылающий во мраке жизни, как некий огненный цветок, рожденный Мыслью, завоеватель мира — Человек — горит далеко впереди людей и освещает им дорогу к совершенству,— а в отдалении от него, рассчитывая каждый шаг и осторожно озираясь, следит за ним действительный хозяин всей земли, благоразумный и почтенный Мещанин.

Он далеко отстал от Человека и не может подойти ближе к нему, ему невыгодна эта близость, она — опасна, беспокойна и тяжела.

Его руки и ноги окованы цепями собственности, и он всегда заботливо увеличивает длину и тяжесть своих цепей, потому что — только под их гнетом он чувствует себя независимым.

Он — благоразумен. Гордое сознание внутренней свободы чуждо его серенькой и узкой душе, он понимает только независимость от своего соседа и хочет только ограждения своих личных и имущественных прав.

Его небольшое сердце тесно набито маленькими вожделениями — жаждой удобств, покоя, стремлением к сытости, почету, он хочет полноты желудка и души, и в этой полноте он видит— свое счастье.

Спокойно, не спеша, он следует за Человеком и всё, что тот открывает и находит на своем пути,— берет себе, рассматривает, ценит и — применяет к жизни.

И если Человек похитит огонь с небес — Мещанин освещает этим огнем свою спальню или пользуется им как средством передвижения, не бросая в то же время старого и удобного способа подвигаться к своему благополучию — езды верхом на шее ближнего.

Человек, в поисках души вещей, воздух превращает в жидкость — Мещанин лечит этой жидкостью свой катар, Человек исследует жизнь звука — Мещанин делает для своего развлечения граммофон, а таинственными лучами, которые пропикают сквозь тела вещей,— освещает карманы и пазухи рабочих, оберегая свою собственность от расхищения.

И во всем Мещанин делает существование Человека полезным или забавным для себя. Он любит, чтобы в доме у него стояла прочная, удобная мебель, а в голове были — крепкие, надежные истины, за которыми он мог бы хорошо укрыть себя от напора новых веяний Мысли. И потому он всегда торопится сделать из смелых догадок Человека что-нибудь полезное для своего обихода,— именно его работе жизнь обязана такой массой заблуждений и предрассудков, которые он считает истинами испытанной прочности. Ему гораздо удобнее веровать — он хочет жить спокойно — и он не любит мыслить, потому что Мысль неустанно ищет и творит, исследует созданное ею и — разрушает, и вновь творит *<Не закончено.>*

ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Меня зовут Яков Иванович Петров, мне 40 лет, я адвокат, домовладелец, член разных просветительных учреждений; одним словом, я — «один из видных представителей местной интеллигенции», как говорит репортер нашей газеты.

Я женат, имею троих детей, моя жена — славная, неглупая женщина, у меня хорошее здоровье; мои знакомые, видимо, считают меня интересным человеком, мой дом усердно посещается ими, и когда я говорю о чем-нибудь — я чувствую особенное, лестное мне внимание к моим словам.

Кратко говоря, у меня нет ясно сознанных причин быть недовольным моей личной жизнью, и до последнего времени я был доволен ею, мне часто приходилось испытывать приятное, здоровое чувство внутреннего равновесия, чувство уважения к себе, рожденное ясным сознанием моего умственного превосходства и моей порядочности над многими из людей, окружающих меня.

Но вот — что-то случилось со мною, что именно, я не понимаю, только мне как-то вдруг стало неловко, неприятно жить, и вдруг я почувствовал себя неизлечимо утомленным. Как будто бы долгое время я шел, не торопясь, в гору, шел в ясной уверенности, что иду правильным путем, добрался до вершины горы, взглянул и вижу, что я заплутался, попал в какое-то *<Не закончено.>*

Поутру штору поднимая,
Я вижу — под моим окном
Стремглав летит вагон трамвая,
Солидно мчатся немцы в нем...
О, если бы я был вагоном
Или хотя бы немцем в оном!
Умчался б я туда, где нет
Ни либералов, ни газет!

ЗРИТЕЛИ

Дружина героев сражалась на улице за свободу родины своей с темными сотнями врагов, а из окон на битву смотрели мирные жители; багровый отблеск пожара тускло отражался в широко открытых, полных тревоги глазах, покрывал трепетным румянцем бледные лица...

Сотрясая воздух, гулко ревели стальные голоса пушек, злобно взвизгивая, невидимо неслись сотни пуль, жадно щелкали сухие челюсти торжествующей смерти, из молодых грудей бойцов на землю обильно лились красные ручьи крови, и холодная серая земля, молчаливо наслаждаясь, пила кипящий, пьяный сок... Горячий свинец пуль безжалостно рвал чистый мозг юности, и куски его гневно дымились на грязных стенах домов и на земле, затоптанной насилием. Длинное жало штыка бесшумно вонзалось в грудь героя, падал человек в красное месиво крови и земли под ногами своими, падал, предсмертно вздыхая:

— Свобода!..

— Да здравствует свобода! — взывали десятки голосов.

И сотни отвечали им:

— Бей их!

Добрые мирные жители города смотрели сквозь стекла на этот бой...

— Да! — возбужденно сказал эстет своей подруге,— да, они воистину герои! Они бьются без надежды на победу, но сколько храбрости отчаяния в их сердцах!..

И, рискуя своей жизнью, он наклонился из окна, чтобы бросить борцам крик своего одобрения, а подруга его бросила им цветок...

— Их еще много там? — тоскливо спросил человек, жаждавший покоя, и, когда никто не ответил ему, он, раздраженный ожиданием, воскликнул:

— Побеждали бы скорее!

— Безумцы! — сказал, улыбаясь, домашний мудрец.— Уж если драться — сначала нужно привлечь войска на свою сторону... а вообще сила никогда не суть право... Отойди от окна дальше,— заметил он своей жене,— ибо не стоит рисковать жизнью ради зрелища безумий ее.

Тревожно трещали выстрелы ружей, глухо лязгало железо, скрипя ломалось дерево баррикад, пестрой тучей носились злые крики тупой злобы врагов, вспыхивали призывные возгласы неистощимого мужества, и над вихрем звуков боя, как орел, реяло, взлетая всё дальше к высоте, гордое слово:

— Свобода!

— Они погибают! Они погибнут! — с тоской сказала мать.— Молодые, смелые... о несчастные! У каждого всё впереди, и у каждого есть — мать... Как им не жалко матерей? О боже, благодарю тебя, что среди них нет моего сына!

— Люди — это вроде проволок, которые проводят в жизнь идеи и одухотворяют ее,— заявил идеалист.— Погибая, они оживляют идеи кровью своей — это всегда так... Однако пули летают довольно бестолково,— быстро отскочив от окна, сказал он.

— Скоро ли победа? — снова молвил тот, кому хотелось покоя.

— Да, да! Их скоро уничтожат! — торжествуя, воскликнул поклонник старины.— Теперь, когда они вылезли на улицу из своих нор, это легко сделать. Их славно выманили, а? Ловко?

Всё выше поднимались, всё отдаленнее звучали светлые возгласы героев, всё темнее и гуще становились злорадные вопли торжествующего зверя тьмы, земля жадно пила потоки крови, греясь ее живой влагой, плодотворным соком жизни. Горели дома, и огонь, весело обнимая старое, грязное дерево, ржавое железо, тяжелые скучные камни, буйно играл и пел красочную, жгучую песнь обновления жизни. Торжествуя, хохотала

смерть, в дикой пляске она кружилась над городом, и ее челюсти сухо щелкали, точно выстрелы.

— Вот остался только один! — сказал эстет.— На него бросаются десятки... Смотри!.. Смотри!.. Всё кончено! Да здравствуют герои!

И, уводя свою подругу от окна, он ей сказал:

— Мы счастливы, мы видели трагедию, не всякий скажет это про себя!

— Ну, наконец наступит мир! — вздохнув, сказал жаждавший покоя.

«Следовало бы идти перевязывать раненых,— подумал сердобольный,— но у меня, кажется, насморк...»

— Все погибли! — воскликнул домашний мудрец.— Этого нужно было ждать, ибо они, начиная свое дело, не справились со здравым смыслом. Они должны были погибнуть, я это говорил!

— Мы победили! Видите, как это просто? — молвил поклонник старины.

— Мама, а теперь нас будут убивать? — спросил ребенок мать свою.

— Может быть, нет,— тихо ответила мать-раба, не умея закрыть глаз, расширенных ужасом.

— Мир вам, о люди! — искренно сказал христианин, но он сказал это у себя в комнате, печально глядя из окна на залитую кровью улицу, и никто не слыхал его голоса. А на улице, в дыму пожара, среди обломков лежали трупы юных победителей, над ними стояли серые массы побежденных и смотрели на них, оскалив зубы, и не видели в убитых кровных братьев своих и защитников против насилия. На земле и на стенах домов ярко горели красные пятна крови лучших людей, а над городом колебалась багровая туча дыма и пылал, играя, огонь, истребитель отжившего, великолепное дитя солнца, царь красоты — огонь...

В домах за стеклами окон двигались робкие тени зрителей жизни, за ними снизу, с улицы, зорко и жадно следили глаза солдат — серые звери не знали, всех ли врагов истребили они, и, послушно ожидая приказа власти, смотрели в окна, где, им казалось, есть еще живые люди.

Но людей уже не было в этом городе, в нем осталась только власть и рабы, послушные орудия безумной, жалкой воли ее...

ПОП ГАПОН

ОЧЕРК

Человек этот, имя которого прогремело по всему свету как имя вождя русского народа, родился двадцать восемь лет тому назад на юге России, в маленьком городке Беликах, Полтавской губернии. Его отец — управляющий имением генерала Рындина, человек религиозный,— пожелал, чтобы сын служил церкви, и отдал его в семинарию. Там Георгий Гапон, юноша впечатлительный, как всякий южанин, подпал под влияние рационалистических и анархистских идей графа Л. Толстого. Однако это увлечение враждебными духу ортодоксальной церкви идеями не помешало ему кончить семинарию и принять священство.

В 1901 году Георгий Гапон получил место священника в церкви пересыльной тюрьмы Петербурга. Тюрьма стоит в местности, где группируется много фабрик, в том числе обширный казенный Путиловский завод. Здесь Гапон невольно должен был войти в соприкосновение с рабочими. Он — человек футов около шести, черноволосый, худой, с темными, тревожными глазами, быстрый в движениях. Черты его лица — мелкие и острые — не останавливают на себе внимания и запоминаются с трудом. Говорит он очень страстно, обнаруживая сильный темперамент и очевидный для интеллигентного человека недостаток эрудиции, широкого образования и политических знаний...

Чтобы понять его влияние на рабочих, необходимо рассказать следующее:

В 1900—1901 гг. правительство, испуганное развитием интереса к вопросам политики и ростом револю-

ционного настроения среди рабочих Москвы и Петербурга, задумало взять это движение в свои руки. С этой целью были ассигнованы крупные суммы и избраны лица, на которых департамент полиции возложил задачу перенести интересы рабочих к вопросам политики на вопросы экономические. В Москве за это принялся чиновник охранного отделения Зубатов, быстро доказавший, что департамент не ошибся, поручив ему [это дело]. В короткое сравнительно время агенты Зубатова успели убедить рабочих Москвы, что правительство ничего не имеет против экономического улучшения быта рабочего класса, но этому всеми силами препятствуют капиталисты. Рабочие должны бороться с капиталом, а не с правительством, правительство же готово всячески способствовать успешной борьбе рабочих. Бороться с фабрикантами необходимо на экономической почве, а потому правительство предлагает рабочим образовывать союзы для улучшения быта рабочих, общества взаимопомощи, кассы и т. д. Было обещано издание законов о фабричной инспекции, о стачках, страховании, была сказана туча ласковых слов; для тех рабочих, которые вошли в организацию Зубатова, дана свобода собраний. Рабочие пошли на эту удочку, революционное настроение среди них стало понижаться, образовалось «Общество рабочих механического производства». На собраниях этого общества всякий начинавший говорить на политические темы немедленно изгонялся рабочими вон из зала, а затем шпионы Зубатова тащили его в тюрьму.

Эта наивная и грубая политика правительства бездарных и жадных людей, озабоченных только сохранением своей власти, разумеется, не могла держаться долго. На первых же порах она возбудила тревогу среди капиталистов и сильно помогла росту их оппозиционного настроения, что вполне естественно. Затем — наиболее разумные рабочие скоро начали понимать, что их обманывают. Но раньше, чем дело Зубатова провалилось в Москве, оно нашло для себя почву и организаторов в Петербурге.

Поп Георгий Гапон явился на сцену как организатор петербургских рабочих в начале 1904 г. Его публичному

выступлению в этой роли предшествовало следующее весьма важное обстоятельство. В феврале 1904 г. он пришел к петербургскому митрополиту и просил главу церковных учреждений разрешить ему, Гапону, посвятить свои силы делу организации рабочих Петербурга для проповеди среди них религиозно-нравственных идей и противодействия росту идей революционных. Митрополит категорически запретил ему заниматься этим делом. Но несмотря на запрет непосредственного начальства, министр внутренних дел Плеве удовлетворил просьбу Гапона, что являлось со стороны министра явным нарушением прерогатив церкви, а со стороны Гапона — ослушанием, за которое, по церковным правилам, он подлежал духовному суду и строгому наказанию. Однако митрополит не протестовал против грубого вторжения Плеве в область, ему не подведомственную, и не предал суду Гапона. Последнее обстоятельство всех очень удивило, потому что русская церковь крайне строго следит за дисциплиной среди своих служителей и наказывает их весьма сурово. Такое мягкое отношение к Гапону могло бы быть объяснено нежеланием раздражать рабочих, но в то время Гапон еще не был популярен среди них.

Через несколько дней после визита к митрополиту Гапон публично открыл основанное с разрешения Плеве «Общество петербургских рабочих» и был выбран председателем этого общества. На открытии присутствовал петербургский градоначальник Фуллон, чиновники полиции и агенты охранного отделения, Гапон снялся вместе со всеми ими в одной группе. Общество основало в разных частях города Петербурга одиннадцать отделов, председателем каждого отдела был выбран рабочий, а во главе всех стоял сам Гапон...

Когда факт сношений Гапона с министром Плеве и охранным отделением был точно установлен — революционная интеллигенция и политически развитые рабочие решили не вступать в сношения с Гапоном, но вести революционную пропаганду на собраниях его легального общества.

На первых же митингах среди рабочих своей организации поп стал резко нападать на деятельность революционных партий и предостерегать рабочих от увлечения политикой. Его личная политическая программа была крайне неопределенна, можно, однако, характеризовать ее старой славянофильской формулой «Царь и народ», т. е.— непосредственное общение царя с народом. Но в своих речах он старался избегать вопросов политики. Критикуя весьма невежественно и пристрастно деятельность революционных партий, он не выдвигал, как я сказал уже, ясной программы. Такой же неопределенностью отличались и его экономические взгляды, в формулировке их он подчинялся практическим указаниям самих рабочих, творчество его личной мысли отсутствовало и в этой области.

Кратко говоря — он был только фонографом идей и настроения рабочей массы. Около него группировалась бессознательная, но всё более возбуждавшаяся под давлением действительности рабочая масса, он собирал в себе, как в фокусе, ее инстинктивное, всё возраставшее революционное настроение, и его сильный темперамент отражал это настроение обратно в массу, не вводя, однако, в ее духовный мир каких-либо своих идей. Пафос его речи, его страстные жесты, сверкающие глаза, сильный, хотя грубый язык показывал рабочим, как в зеркале, самих себя в образе, уже несколько облагороженном, в формулах, уже более ясных, чем их личные, полусознательные догадки о причинах бедствий рабочего класса в России. Он был типичный демагог очень дурного тона.

Вот чем объясняется его популярность и обаяние среди рабочих Петербурга, на мой взгляд. Он действовал среди рабочих всего один год и исключительно среди рабочих Петербурга. Народ узнал его имя лишь после «Красного воскресенья», когда о Гапоне заговорили все газеты. Его организация не успела завязать связи с рабочими других городов, крестьяне тоже не входили в сферу ее влияния, краткого во времени и лишенного ясных руководящих идей. Но рабочие Петербурга, силой своего революционного настроения, постепенно создавали из Гапона, сотрудника Плеве и Зубатова,— Гапона,

выразителя революционных стремлений русского рабочего. Человек не сильный, не образованный и впечатлительный, он сам не замечал, как, подчиняясь давлению чувства массы, становился революционером и изменял задачам министерства Плеве, которые взялся защищать. Но всё время он упорно и последовательно предостерегал рабочих от влияния их товарищей, сознательных революционеров и интеллигенции, которую он открыто обвинял в стремлении захватить политическую власть руками рабочих... Это обвинение характеризует Гапона в моих глазах не только как политического невежду, но и как человека внутренно непорядочного. Я не могу назвать себя поклонником русской интеллигенции вообще, но русская революционная интеллигенция, т. е. интеллигенция истинно революционных партий,— на мой взгляд, одно из интереснейших духовных явлений мира по своему идеализму, бескорыстию и самоотверженной деятельности в интересах не только своей нации, но всего человечества.

1904 год был годом моральной гибели русского правительства. Война открыла всему народу глаза на тех, кто руководит его судьбой, и они встали пред страной, раздетые Японией донага. Все увидали этих жадных паразитов, обессиливших страну и ограбивших ее, в их естественной величине. Всюду единодушно вспыхнуло чувство злобы и отвращения к Романовым и их слугам. Крах промышленности и торговли еще более революционизировал рабочий народ, и поп Гапон поднимался всё выше на волне революционного настроения. Я уже сказал, что он был зеркалом и фонографом чувств и мыслей рабочих масс, и, конечно, он роковым образом должен был соскочить с легального пути, с пути служения интересам правительства, задачам Плеве и Зубатова. В конце года настроение рабочих поднялось так высоко, обнаружило такую силу, что необходимо было сделать какой-то чисто практический, революционный шаг. Влияние широкой пропаганды революционных партий вносило в среду серой массы, окружавшей Гапона, сознательные требования. На собраниях, где ораторствовал Гапон, рабочие стали кричать ему:

— Довольно слов, батька! Укажи нам дело!

Тогда поп Гапон начал искать сближения с революционными партиями, он стал допускать на свои собрания агитаторов-революционеров, разрешая им излагать свои взгляды, но когда они уходили, он высказывался против них. Однако заметив, что такое двойственное поведение дурно действует на его рабочих, он должен был прекратить это. Революционеры становились популярны в массе, их жадно слушали. Гапон — честолюбив. Поэтому и потому, что отступать назад было уже поздно для него, он решил идти вперед.

Я думаю, впрочем, что он ни в каком случае не мог бы отступить, потому что в это время он был уже не вождем рабочих, а лишь орудием в их руках, древком знамени, которое они несли и на котором написали:

— Свобода!

«Красное воскресенье» было подготовлено силою рабочей массы, и роль Гапона в этот день мог с успехом выполнить любой из них. В этот день рабочие двинулись к Зимнему дворцу сразу из одиннадцати разных пунктов; во главе одной из этих волн шел Гапон... Была ли именно эта волна самой сильной?

В ней было около двадцати тысяч человек, всего же к Зимнему дворцу шло почти 200 000.

Рабочих, с которыми шел Гапон, расстреляли у Нарвской заставы в 12 часов, в 3 часа Гапон уже был у меня.

Переодетый в штатское платье, остриженный, обритый, он произвел на меня трогательное и жалкое впечатление ощипанной курицы. Его остановившиеся, полные ужаса глаза, охрипший голос, дрожащие руки, нервная разбитость, его слезы и возгласы: «Что делать? Что я буду делать теперь? Проклятые убийцы...» — всё это плохо рекомендовало его как народного вождя, но возбуждало симпатию и сострадание к нему как просто человеку, который был очевидцем бессмысленного и кровавого преступления. Вместе с ним ко мне явился один революционер, молодой, энергичный парень, имевший сильное влияние на Гапона в смысле революционном. Он сурово сказал попу:

— Довольно, батька! Довольно вздохов и стонов. Рабочие ждут от тебя дела... Иди, пиши им!

Гапон несколько оправился, и вскоре под его диктовку революционер написал сильное обращение к рабочим, в духе несколько анархистическом. Люди, читавшие воззвания Гапона, вероятно замечали, что они всегда имеют характер анархистический. Это может быть не результатом сознательного увлечения анархизмом, а просто признаком политического невежества, как, вероятно, и было это у Гапона. Я познакомил попа с людьми, которые взялись переправить его через границу, и с той поры не видал этого несчастного человека... «Красное воскресенье» было вершиной горы, на которую поднял Гапона революционный народ,— с этого дня поп начинает быстро скользить вниз...

За январь месяц русские газеты раздули фигуру Гапона до величины гиганта, но как только он удалился от источника той силы, которая питала его, он немедленно стал обыкновенным человеком среднего роста. В письме, которым он хочет защитить себя от обвинений в продажности, предъявленных к нему его же бывшими друзьями рабочими, и которое было напечатано месяц тому назад в газете «Русь», он рассказывает о своей жизни за границей следующее:

«Я бежал за границу, где посетил Женеву и другие центры русского революционного движения. Там я пришел в соприкосновение с партийными организациями и проводил время среди друзей русской свободы. Я был принят всеми, я был желанный гость, я мог вступить в ряды самых крайних партий и слить с ними свою деятельность; я отказался от этого сближения ввиду того, что, двигаясь в порядке своей тактики, я не хотел подчинять себя и наши рабочие организации чужим программам и велениям».

Здесь не всё точно. Конечно, он мог быть принят в революционные партии как рядовой революционер. Со временем,— если б он серьезно занялся самообразованием, необходимым для него,— он, может быть, благо-

даря силе своего темперамента, был бы очень полезным революционным деятелем, но, как человек честолюбивый и захваленный газетами, он хотел играть первую роль. Для этого у него не было способностей, и вскоре партии отказались от сношений с ним, находя его претензии невыносимыми, а его честолюбие смешным. Тогда он, обиженный, стал писать своим друзьям в Петербург письма, полные злых и несправедливых выходок против революционной интеллигенции, стараясь посеять у рабочих враждебное отношение к ней.

Это стремление оторвать голову от тела выразилось в его попытке создать «Всероссийский союз рабочих и неимущих крестьян». Он прислал из-за границы своим друзьям-рабочим составленную им программу союза, и когда рабочие показали мне эту программу,— я был очень смущен хаосом в голове Гапона. В программе, наряду с требованием созыва учредительного собрания, стоял, например, пункт, который требовал «обеспечения государством народа от голода». Но всё же это была очень радикальная программа, не без примеси грубо понятого социализма и со всеми признаками демагогии. Эта программа составлялась им в продолжение августа — сентября 1905 г., а в конце октября, как он пишет в своем письме, ему «было сообщено от имени графа Витте, что его государственный идеал, выразившийся в законе 17 октября, представляется совершенно совместимым с идеалами нашей рабочей партии; что он согласен открыть вновь наши организации и дать нам на это средства при сохранении нашими рабочими организациями полной моральной независимости от каких-либо видов правительства. Вместе с тем мне было сообщено, что граф Витте, относясь к моей деятельности как к деятельности созидающей, а не разрушающей, разрешает мне временно жить в Петербурге без амнистии, впредь до выяснения вопроса о наших организациях».

Трудно представить, чтобы «государственный идеал» Витте, расстрелявшего после Октябрьского манифеста тысячи людей, мог совпадать с программой Гапона, требовавшего созыва учредительного собрания,— Гапона, автора страстных воззваний, призывавших народ к всенародному восстанию против царя. Вообще, мно-

гое в истории попа очень темно. Лишь месяц тому назад эта история начала выясняться. Первым шагом к ее освещению послужило письмо одного из рабочих, ближайшего друга Гапона. Вот это письмо:

«М. Г. Хочу довести до сведения товарищей-рабочих и всего русского общества, почему я вышел из центрального комитета и отказался от председательства 7-го отдела Невского района собрания русско-фабрично-заводских рабочих и гапоновской организации. После 17 октября 1905 г. на первом заседании центрального комитета Гапон сказал нам, что он должен умереть, чтобы воскресить наше дело. Далее он сказал: «Товарищи, даю вам на открытие отделов — 1000 р. собственных денег, и у вас есть 4000 р., вот вы и работайте пока на эти деньги, а после найдутся еще. О деньгах, товарищи, не хлопочите, в них недостатка не будет». Вскоре было созвано общее собрание в Соляном Городке всех русско-фабрично-заводских рабочих города Петербурга, где казначеем А. Корелиным был дан отчет и сколько осталось у нас денег. Он говорил, что у нас собственных денег 4000 р. и 1000 р. дал нам о. Гапон своих. Товарищ Смирнов сказал речь о милости Гапона, что он заработал в Лондоне 40 000 рублей и из собственных трудов дал нам 1000 р. Во второй половине декабря 1905 г. председателем центрального комитета русско-фабрично-заводских рабочих Варнашовым дан был отчет о расходах по открытию отделов. Варнашов начал с того: „Товарищи! Вы знаете, что у нас денег было 4000 р. и 1000 р. дал Гапон, который получил от Витте“. Не буду описывать, что произошло при этом открытии между товарищами, но обнаружилось, что знали это только Гапон, Варнашов, Кузин и Корелин — рабочие — председатели отделов, интимные друзья Гапона.

После отчета Варнашова положение становилось нехорошим и слишком темным. Я и товарищ Черемохин стали сомневаться в честности Гапона. Сомневаться пришлось недолго. В начале января 1906 г. близкий друг Гапона Александр Матюшенский куда-то скрылся. После 9-го января 1906 г. я пришел в помещение центрального комитета, где встретил взволно-

ванного секретаря Кузина, который позвал меня в отдельную комнату и, волнуясь, говорил: „Ты знаешь, у нас беда случилась, нас обокрал Матюшенский, украл у нас деньги".—„Какие? У кого? Сколько?"— задавал я Кузину вопросы.—„Видишь, как это случилось. Председатель Варнашов поехал к министру Тимирязеву за деньгами".—„За какими?"— задавал я вопрос. Кузин сердился и перебивал меня: —„Ты слушай, что я говорю. Приехал Варнашов к министру Тимирязеву за деньгами, тот говорит, что Матюшенский давно уже получил, и показал Варнашову расписку в получении денег. Варнашов к Матюшенскому поехал, но того и след простыл".— „Но какие же деньги?"— я спрашивал.—„Видишь ли, как это было: Гапон не 1000 р. получил от Витте через Тимирязева, а 30 000 р. Тысячу рублей Гапон дал в октябре, когда уезжал, а остальные поручил Матюшенскому, вот он и получал от Тимирязева. Помнишь, он говорил, что дает ему деньги купец, а это были те деньги, которые дал Витте. Гапон дал 1000 р., Матюшенский в два раза 6000 р., а остальные 23 000 р. увез".

Через день я говорил с Гапоном об этих деньгах. Я спрашивал, как он мог взять один, и кто ему позволил, и зачем взял. Гапон отвечал, что он принужден был взять якобы потому, что не открывали собрания. Второй раз Гапон говорил мне, что ему предложено было Витте 30 000 р. за то, чтобы Гапон должен ехать за границу и не подымать бы шуму об иске за убытки, которые понесли рабочие при закрытии собраний после 9-го января 1905 г. Но на вопросы, кто ему позволил взять, он не отвечал, а ругал Матюшенского и, хлопая меня по плечу, говорил: „Ищи его, негодяя; получишь 5000 р.".

Положивши для этого дела 1 год 3 месяца жизни, я был предан этому делу душой и телом. Рапенный 9-го января, я принужден был скрываться за границей. Теперь, открывши все темные дела Гапона, моя честь и совесть не может спокойно выносить эту мерзость и темных дел Гапона. Я решил открыть эту загадочную личность для рабочих и всего русского народа. Обращаюсь ко всем товарищам-рабочим и прошу посмот-

реть, какой наш вождь, и на что он способен, и как он обманывает нас.

Товарищи-рабочие! Возьмите в свои руки наше дело и ведите его сами до конца. Не доверяйте его одной личности и той, которая ничего общего с нами не имела да и иметь не может. Гапон не может стать с нами за станок и плуг, и поэтому его цели другие и темные для нас, а раз темные, то он нам не нужен и вреден освободительному движению. Я к русскому народу обращаюсь и прошу посмотреть, на что наше правительство бросает деньги.

Председатель Невского района 7-го отдела собраний русско-фабрично-заводских рабочих Николай Петрович Петров».

Первым последствием этого письма было самоубийство рабочего Черемохина, тоже близкого друга Гапона. Когда этот честный парень прочитал письмо Петрова, он, хорошо знавший Гапона, сказал о нем одному из товарищей-рабочих:

— Я догадывался, кто такой Гапон, но мне трудно было поверить... Теперь я скажу: это человек, для которого ничего не значит погубить тысячу людей за коробку спичек...

И он тут же заявил, что покончит с собой. Товарищ стал отговаривать его. Но Черемохин ответил:

— Я не могу больше жить, потому что я не могу больше работать, потому что не могу больше верить никому... Никому я не верю! И жить мне больше не для чего! А Гапон вывернется из всей этой истории. Но я сделаю так, что ему некуда будет деваться. Моя смерть отделит его от рабочих. Он сейчас страшно растерян, и, может быть, после моей смерти — он тоже покончит с собой. Я сначала думал выстрелить в него, но теперь раздумал. И вы меня не отговаривайте. Вы не знаете: я уже две недели не сплю — всё думаю. Всё уже передумал и решил умереть. Отговаривать меня бесполезно.

Он пошел в заседание центрального комитета гапоновской организации, на глазах Гапона, не сказав ему ни слова, пустил себе пулю в череп и умер...

Русский человек плохо живет, но он твердо верует, а когда его вера разбита, он умирает.

Эти события вызвали со стороны Гапона письмо, которым он старается оправдать свой образ действий, но не умеет объяснить его. Части этого письма я цитировал, приводить его целиком — считаю излишним, но посылаю редактору газеты, может быть, он найдет нужным напечатать его. Газета «Русь», поместившая письмо на своих страницах, характеризует его буквально так:

«Документ прежде всего производит впечатление необыкновенной наглости».

Так же отнеслась к письму Гапона вся русская пресса, без различия направлений...

В американской прессе говорят, что Гапон повешен революционерами. Этого не может быть. Революционерам не было никакого дела до попа Гапона, они не состояли в сношениях с ним. Дело русской революции — чистое, честное и великое дело, в нем не могут играть никакой роли люди, подобные попу Гапону. Если попа повесили,— это должны были сделать его друзья, рабочие созданной им организации, они могли казнить его за попытку продать их правительству и за смерть Черемохина... Америку, где существует закон Линча, не должно удивлять такое явление в стране, где само правительство отрицает все законы.

Если Синод запер Гапона в тюрьму,— как говорит другая версия прессы,— это не удивительно, он давно должен был сделать так. Он сажает попов в церковные тюрьмы только за то, что они разъясняют крестьянам смысл манифеста 17-го октября. Было очень странно, что священник, призывавший народ к вооруженному восстанию, предавший анафеме армию и благословивший террор, священник, который назвал семейство Романовых убийцами и змеиным отродьем,— спокойно живет в Петербурге, на виду полиции и — его не аре-

стуют. Напротив, как оказывается, его даже принимает граф Витте. Таковы тайны той мусорной кучи, которая зовется «Зимним дворцом» и от которой по всей земле распространяется зараза разврата.

Кто же такой поп Георгий Гапон? Это — человек случая, выдвинутый вперед других бурей времени, не потому, что он — талант, а только потому, что у него развита впечатлительность, которая позволяет ему воспринимать и отражать настроение момента, у него есть честолюбие, которое толкает его вперед и — затем — губит.

Люди типа Гапона не могут быть вождями народа в том смысле, в каком являлись ими Уотт Тайлер или Томас Мюнцер, потому что они не вносят в сознание масс творческих идей.

Гапон — это неаполитанский рыбак Мазаниелло. Такого типа люди выскакивают вперед на одну минуту для того, чтобы в следующую уже напялить на свои плечи мантию герцога. Их значение в истории — ничтожно, их гибель — вполне естественна. Это — эфемериды в политической жизни...

М<АРК> Т<ВЕН>

У него на круглом черепе — великолепные волосы,— какие-то буйные языки белого холодного огня. Из-под тяжелых, всегда полуопущенных век редко виден умный и острый блеск серых глаз, но, когда они взглянут прямо в твое лицо, чувствуешь, что все морщины на нем измерены и останутся навсегда в памяти этого человека. Его сухие складные кости двигаются осторожно, каждая из них чувствует свою старость.

— Джентльмены! — говорит он, стоя и держась руками за спинку стула.— Я слишком стар, чтоб быть сентиментальным, но до сего дня был, очевидно, молод, чтоб понимать страну чудес и преступлений, мучеников и палачей, как мы ее знаем. Она удивляла меня и вас терпением своего народа — мы не однажды, как помню, усмехались, слушая подвиги терпения,— американец упрям, но он плохо знаком с терпением, как я, Твен,— с игрой в покер на Марсе.

Речь слушает кружок молодых литераторов и журналистов, они любят старого писателя и знают, когда надо смеяться.

— Потом мы стали кое-что понимать — баррикады в Москве, это понятно нам, хотя их строят, вообще, не ради долларов,— так я сказал?

Конечно, он сказал верно, это доказывается десятком одобрительных восклицаний, улыбками. Он кажется очень старым, однако ясно, что он играет роль старика, ибо часто его движения и жесты так сильны, ловки и так грациозны, что на минуту забываешь его седую голову.

⟨ОБ И. Е. РЕПИНЕ И КН. И. Р. ТАРХАНОВЕ⟩

У И. Е. Репина — гость, словоохотливый и ученый князь Тарханов. Выкатывая глаза изо лба, он рассматривает картины на стенах в кулак, трясет черной гривой и кричит:

— Гэниально! Нэподражаемо!

Илья Ефимович, простец-человек, сконфуженно ежится и возражает:

— Ну, что вы... Ах, где же мне...

— Нет, это превосходно! — распаляясь, кричит князь.— Позвольте — что это? Что за ребенок? О! Вот — искусство. Вот — самое лучшее ваше произведение. Боже мой! Какая удивительная вещь!

И⟨лья⟩ Е⟨фимович⟩ удивленным баском спрашивает:

— В самом деле?

— Как физиолог я говорю вам, что впервые вижу такое изображение дегенерации.

— Да разве? — удивляется ⟨Илья⟩ Еф⟨имович⟩.— Это очень интересно!

— Вы не можете, да, вы и сами не можете оценить, как это верно взято, как великолепно выражена вами здесь, на холсте, полная картина вырождения!

— Скажите пожалуйста! — удивляется ⟨Репин⟩.

— Как физиолог я говорю вам, что уже отец этого ребенка должен быть ненормален.

Илья Е⟨фимович⟩ внимательно смотрит на портрет, дергая себя за бородку, и тихо говорит, всё более удивленный:

— Замечательно! Нет, в самом деле.

— Ну да! — уверенно и горячо продолжает князь.—

Я, физиолог, говорю вам, что уже отец этого ребенка — дегенерат, полуидиот.

И он долго, подробно изъясняет признаки идиотизма отца, ясно отображенные художником на портрете сына. Наконец спрашивает:

— Но чей же это ребенок?

Илья Ефимович уверенно и серьезно мягким баском отв⟨ечает⟩:

— Мой сын Юрий.

⟨ЗАПИСНАЯ КНИЖКА⟩

Приезд в Берлин. Грязь. Стачка кучеров. Нес чемодан. Условия стачки. Углекопы: в кассе трехдневный заработок — стачка продолжается три дня. Стачка кучеров: на площадях, куда выходят несколько улиц, полиция запретила кучерам ездить, дабы они не мешали движению трамов — сделано в угоду акционерам трамваев. Кучера предлагают кондукторам поддержать их. Кондуктора отказывают, ибо стачка совпадает с днями торжеств — серебряная свадьба Вильгельма — моментом наибольшего движения — и свадьба принца Этель Фридрих⟨а⟩. Это нанесло бы ущерб акционерам и пошатнуло б положение кондукт⟨оров⟩, и без того близкое [к] краху ввиду скорого введения автомобилей, вместо электрических двигателей.

Дрессировка. Оратор начинает речь: я буду говорить, вероятно, не более десяти минут, ибо полицейск⟨ий⟩ остановит. Так и есть. Оратор улыбается, публика — тоже. Мирно расходятся.

Нищета. Нищих не пускают на улицы. Если увидят ребенка в рваном платье или босого, штрафуют, выселяют.

Сосны, как медные струны.

Старый орел — Бебель — фрау. Либкнехт. Каутский и фрау. Буржуазность театр⟨альной⟩ публики.

Склонность к сентиментализму. Обращение с животными. Дети на улицах.

Безвкусица построек, обстановки.

Кормилицы — естественный подбор. Как буржуа в своих удобствах обращают женщин в коров.

О проституции.

Не имеют права вступать в «тесные сношения». Не входить в частные жилища. Обязаны жить в известном квартале.

Ловкость в работе. Уменье строить леса.

Банкет с художниками.

Самые приличные люди — лакеи, которые служили в этот вечер. Мак⟨симилиан⟩ Гарден, Лу Андреас Саломе. Либерман — его ссора с В. Ф.— его спекуляция на это⟨м⟩.

[— М⟨илостивые⟩ г⟨осудари⟩ и м⟨илостивые⟩ г⟨осударыни⟩,

Вчера m-г Морфи сказал по моему адресу несколько любезных слов, и его слова были приняты вами со вниманием, очень лестным для меня. Я узнал об этом уже тогда, когда все разошлись из зала, и вот почему только сегодня приношу m-г Морфи и всем вам мою искренную благодарность за тост. Позвольте же и мне поднять за ваше здоровье и счастье полный бокал от полного сердца.

Несколько дней среди вас в пустыне океана навсегда останутся в памяти моей.

Жизнь моя очень разнообразна, тревожна, порою тяжела,— но всё, что я переживаю, только укрепляет в душе моей ее веру в человека, веру в людей.

М⟨илостивые⟩ г⟨осудари⟩,

Хороши люди! — вот что я говорю.]

Человек, который умеет внимательно слушать,— всегда услышит голос правды.

Ах, порой правда говорит так тихо, иногда она говорит так осторожно, что нужно иметь очень чуткое сердце для того, чтобы услыхать ее слова.

Новая правда, та, которая зовет весь мир к возрождению, говорит торопливо, грубовато, неуклюже, как молодой, крепкий деревенский парень, который впервые почувствовал любовь и жаждет ее, и стыдится чувства

своего, и знает в то же время, что это святое, великое творческое чувство!

Не мешайте вина с водой и политики с мошенничеством!

Европа — старая эстетика, усталая, болезненно-нервозная жизнь. Много острых мыслей, дряхлость чувства.

Америка — нет эстетики. Грубоватая бодрость молодой страны, здоровая нервность политической и социальной юности.

Евр⟨опа⟩ — отстрадала. Страдания духа сделали ее аристократически брезгливой. Движение пролетариата, несущего с собой новую религию, не возбуждает в ней ничего, кроме страха.

Ам⟨ерика⟩ — еще не болела муками духа неудовлетворенного. Со вниманием молодости слушает всё, о чем кричит жизнь, идет всюду, куда зовут ее голоса.

Примеры — Нойс, пастор известный,— объявил себя социалистом. Социал-миссионер. И т. д.

Мистер Нойс, пастор.

Миссионер.

Пр⟨офессор⟩ Хислоп, спиритуалист, философ. Горловая чахотка. Выкинули.

Miss Болч — 18 лет препод⟨авала⟩ пол⟨итическую⟩ экон⟨омию⟩. Объявила себя социалисткой. Письмо в коллегию. Ответ: «Очень хорошо. Надеемся, что вы останетесь в наш⟨ем⟩ универ⟨ситете⟩».

Джон Браун — герой освобож⟨дения⟩ негр⟨ов⟩.

Мери Беккер Эддп.

Miss Брукс, профессор физики Колумбия колледж. Выходит замуж за профессора Девидс того же универ⟨ситета⟩. Началь⟨ница⟩ колледжа, старая дева, заявила, чтобы после замуж⟨ества⟩ Брукс не смела явиться в колледж.

— Профессора-товари⟨щи⟩ не протестуют.

— Почему вы не протестуете?

— Невозможно. Никуда не примут. А—скаж⟨ут⟩— это та Брукс, о которой писали в газетах...

Вильшир.

Социализм восторжествует не ранее, чем будут выстроены все фабрики, все ж⟨елезные⟩ д⟨ороги⟩, все суда! Люди останутся без работы и тогда!..

Землетр⟨ясение⟩ в С.-Фриско вызвало у этого господина рассужден⟨ия⟩ о пользе землетрясений. Землетрясения дают людям работу и потому они полезны. Противоречие с основным взглядом.

Отражая на своем лице золотые грезы неба ночи.

Погиб талант...

Осталось сердце, и я зажег его огнем ненависти, пламенем презрения к вам, добрые, милые, сострадательны⟨е⟩ люди! Я буду теперь ходить вдоль и поперек по темной, грязной клетке, которую вы зовете вашей жизнью, и освещать ее углы и всех воров идей, убийц правды и всех темных людей.

И брызгать им в лица кровью и желчью сердца моего, в лица им, в эти лживые вывески публичных душ.

[Вся эта сволочь, сметенная скукой.
— Животное! Прости людей!]

[Чарли Форстер.
— Детей больше, чем медведей.]

Доктор, зарезавш⟨ий⟩ дядю, чтоб научиться операции аппендицита.

Гейша в монастыре.

[Обезьяна с ребенком на Куни Айланд.
«Луна Парк». Огонь.]

Обедня в Торонто.

Бумажка в воздухе среди огромных домов.
Великие слова.

[Mob. Моб.
Оттого, что не люди, а дроби, куски.]

«Collier's magazine».

Статья об анархистах.

Нитцше, Луиза Мишель, Андреев, Крапоткин, Брешковская, Горький и т. д.

«Америка является местом, куда Европа сметает свои отбросы».

Издатель — социалист.

Хёрст. История с барыней-филантропкой, обвиненной газетой в краже.

С художником. Со мной. Бризбен.

Жрецам и проповедникам.

Вам всем необходимо прогнать самих себя сквозь строй правдивой мысли, вы все должны омыть грязь ваших душ в горячих источниках правды.

Нет ничего печальнее искаженной мысли. Даже невинная девушка, изнасилованная животным, может надеяться, что ее поймут и полюбят, а изуродованный цветок мозга лишен этой надежды. Грубые люди ценят одежды выше тела, и слова для них дороже смысла, они не ищут душу слова, и, даже когда мысль неясно сказана, она уже игрушка для них, а когда ее умышленно искажают, люди только смеются грубо и пошло над нею.

Разве потускнели звезды от того, что сказал о них Лаплас?

[— Собрать немедленно всех рыжих!
— Рыжие готовы! В⟨аше⟩ б⟨лагоро⟩дие.]

Я думаю, что человек сказал — *я* после того, как произнес — мое, раньше он говорил — мы.

А⟨некдоты⟩.

— Сделайте бюст моей руки.
— Сожалею, но не могу, она не обладает нужными для бюста формами.
— Четыре сына и все мальчики.

Колумбус — Огио.

Наследство. Красное платье. Коньки. Билетер, доллар в день — на роль мужа.

Завещание Гульда:

Деньги — мои. Я имею право распор⟨яжаться⟩ ими. Или они не мои — зачем же вы не отняли их у меня, если считаете, что я их украл?

Я не думал, что бог теряет время на то, чтобы следить — две конфетки съел мальчик или одну?

Гостям.

Ведь вы — гости, а они платят!

Эксцентричная девушка.

Грес Джонс.

[В пустынном море далекого севера, под серым пологом холодного неба, у берегов черного острова — бесплодного камня, изрезанного морщинами, круто опустившего в свинцовые волны свои голые бока,— тихо качаясь, трутся о камень голубые льдины и печально звенят в мертвой тишине северного моря. Печально звенят. Усталые льдины — они долго носились по холодным волнам над бездонной глубиной, толкали друг друга и печально звенели.— Зачем?]

Надпись на книге.

[Суди людей строго — чем строже, тем лучше для них,— но не злись. Ты злобой не принесешь им ни пользы, ни вреда, но себе несомненный вред. Ищи во всем хорошего и, обличив, отталкивай дурное. В конце — увидишь, что в твоей душе больше хорошего, мало дурного.]

И да будет возможное необходимым!

В наше время только природные рабы не чувствуют насилия над собой.

В Монтреале, как и в Вятке, деревянные тротуары.

Но ведь это правда?

Не говорите ему правды, правда — для нас.

Выскочки — вчерашние нищие.

Обладая невежеством бедняков, они сразу получают огромную власть богачей и на всё налагают печать своей пошлости.

Встреча Алисы Рузвельт. 50 т⟨ысяч⟩ чел⟨овек⟩. Рвали платье.

Масса женщин в магазинах. Устройство их — комнаты для чая, отдыха, свиданий и т. д.

М-г Тульс.
— Не надо ругаться — это бесполезно и грешно, более чем воровство.

Огио. Колумбус.
Митинг газет⟨ных⟩ мальчиков. Рваные мальчики, фешенебель⟨ные⟩ дамы, судья, купивш⟨ий⟩ место на деньги местного трактир⟨щика⟩, которому необходимо «ломать закон», обвинен в краже 1000 д⟨олларов⟩, говорит о честности мальчикам.
Мальчики знают.

Буффало. Газета.
«Театральная революция».
Антуан в ст⟨аром⟩ Одеоне переделал места для публики. Отныне в его театре всё будет видно и слышно с каждой точки. Министерство искусств поражено энергией Антуана. Но он революционизирует и сцену — в сезон он ставит Юлия Цезаря в переделке мистера Граммона и пьесу Виньи.

Газета в Ниагаре.
«Литератор должен быть вежлив».

Французские жен⟨щины⟩, которые делают моду, [m-me] барон Анри Ротшильд, Эдуард Ротшильд, урожденная Ханьорес, m-me Вандербильт, m-me Форест, урож⟨денная⟩ Гольдштейн.

Волк Юрош-Ковальского — реклама о мехах.
Шекспир — соус.
Бисмарк —
Отсутствие уважения к личности.

Гонятся за большими деньгами — непрактичность — масса бумаги, дерева, леса пропадает.

Начало

«В интересах справедливости, которая, кстати сказать, относилась ко мне всегда скептически».

«Я оскорбил своим присутствием только Нью-Йорк».

Кливеланд — дым, никогда нет солнца, изумитель‹ные› машины.

Рокфеллер — великий человек, его дома.

Гарфильду памятник, вход 10 сен‹тов› — за каж‹дого› челов‹ека›, абсолютная тишина. Нельзя курить.

Funeral car — похорон‹ный› вагон.

Театр «Ночь в Париже» — Цинизм. Грубость увеселен‹ий›.

«All right».

«Великий» Вандербильт.

Ура — автомобилю.

Продолжительность путешествия измеряется количеством потерянных вещей.

История сенатора Платт в Нью-Йорке, о ней телеграммы в Буффало, Кливела‹нд›, Детройт.

Nobody — «Никто».

Crazy people — сумас‹шедшая› стран‹а›.

Крези пипл.

Монтреаль.

«Во всей истории строителями жизни были люди церкви, солдаты».

«Человек в стороне» среди итальянцев в «Кошмар».

Пение гимнов.

«Very fine»! Вери файн!

Кошмар.

«Томбола» — 24! —43!

Патер белый, жирный. «Тальянцы — прекрасный матерьял для религии, они очень моральн⟨ы⟩. Томб⟨ола⟩ спасает их силы от разрушения — все играют вместе, всей семьей».

Разговор о религии. Отрицательное отношение рабочих. Обедня — все молятся.

Мальчишки бросили в поющего итальянца корк⟨и⟩ апельсина.

— Они вас побьют!

— О нет, они добрые.

— Зачем же вы бросаете в них?

— Потому что они добрые.

Красивая американка.

— Все дамы из зажиточных семей на зиму едут в Евр⟨опу⟩, оставляя мужей.

— Ура! Я победила капитана.

Девицы.

— Ах! Мы всегда так счастливы, когда он обратит на нас внимание.

Патер.

— Народ еще скот, и потому необходимы две морали — одна для общества, другая для народа.

Везет в Рим нескольких семинаристов на поклон папе — попы за столом.

Дамы.

— Самое большое счастье для девушки выйти замуж за богатого человека. Иметь всё, чего хочешь,— что может быть лучше этого? Двое детей — мальчик и девочка.

— Дети — это хорошо, но уже после 30 лет.

— Она очень умна — все знают, что у нее есть любовник, но кто? Она удивительно тонко ведет свои дела.

Больные итальянск⟨ие⟩ дети.

— Нас держат, как свиней — мы будем держаться, как свиньи.

Обеды, костюмы, шутки.

Рвота. Завистливые взгляды на нее.

Серое небо. Азорские острова.

— Я была везде, кроме России, но там всегда или холера, или революция.

— Почему это нет обедни и в первом классе?

— Потому что капитан не женат.

— Но какое отношение?

— Женатые все религиозны.

Капитан.

— Какие у них могут быть огорчения? Это животные, которые всегда довольны, когда сыты.

Били матроса.

Девушка. Роды. Адвокат — телеграмма в эмиграционное бюро о ней. «Это проститутка».

Условия приема эмигрантов — осмотр женщин. Обеды чиновникам эмигр⟨ационного⟩ бюро, 8 франков с билет⟨а⟩ на обед.

1-й класс решает собрать 150 дол⟨ларов⟩ и предложить какому-нибудь итальянцу взять девушку замуж.

Ребенка бросили в океан.

Условия эмиграции. Комиссары, прием, обед чиновник⟨ам⟩ по 8 фр⟨анков⟩ с человека.

Страна подрост⟨ков⟩.

«Сатурналия» Бонди куплена Метрополитаном. Комитет музея бракует, ибо музей посещают молод⟨ые⟩ девушки. Статую прячут. Художник протестует. Вмешательство итальянского посла. Секретарь Сената Рут — председатель комитета музея. Столкновения с послом. Посол подал в отставку. Директор Метрополитана умер, убитый глупостью.

«Агрикультура» — гол⟨ый⟩ мужчина с лопатой на крыше биржи Нью-Йорка. Протест женщин — убрать голого! Решение — не ходить по улице Вольстрит. Похвальба пуритан:

— Ни одна порядочная женщина не ходит по Вольстрит.

Какое разнузданное и живое воображение нуж⟨но⟩ иметь, чтоб видеть неприличное даже на такой высоте!

Цинизм женщин. Любовь к золотым украшениям. Грубость их. Магазины-рестораны, кафе. Примерка корсетов.

День женщины-выскочки.
Театры. Слезы. Пудра.

Одетые белою пеной,
В безумном задумчивом танце,
Крутятся и плещутся волны
В пустыне немой океана.

«За нами — никого, все впереди».

Темная фигура его души, тень его как...

Старые ракиты над рекой тихо кача⟨ют⟩ ветвями, слушая отдаленный зов благовеста.

Сатана — инстинкт.
Не противься злому — не борись с инстинкт⟨ом⟩?

Знаю — не могу состязаться с вами в учености и не пытаюсь — владейте имуществом вашим — не отниму, хотя и сомневаюсь в ценности его.
Но есть у меня нечто, дающее мне право говорить с вами, как низшими против меня,— право это дано мне опытом моим, знанием жизни и людей, которое дороже книжного.

По сборнику.
26-го декабря написано Вер⟨есаеву⟩ с предложением:
переводов с итальянского, с польского,
статей Бржозовского, Ойетти,
переговоров с Лунач⟨арским⟩, со «Знанием»,
предложено выслать книги: Кардуччи, Раписарди, Чена.
Написано предупреждение К⟨онстантину⟩ П⟨етровичу⟩ в тот же день.

Келтуяла.
Сергиевская 60, 23.

Греки — Уран.
Индус⟨ы⟩ — Варуна.
Мы — Сварог.

Гаркави — «Сказания мусульманс〈ких〉 писат〈елей〉 о славянах», СПб., 1870.

Купить снимки:
Винчи — Голову Медузы,
Луки Синьорелли — Антихриста,
Бельтраффио — Портрет.

Пацци — Дант.

1459 г.— указ〈ан〉 исток Нила.

[Захер-Мазох — «Исповедь моей жизни».
Ибсен — «Импер〈атор〉 и галил〈еянин〉».]

У Юлия — шея длинная.
Лицо Давида, голова мала.

Из Сиены Monte-Oliveto.

Бемер — Искуш〈ение〉 св〈ятого〉 Ан〈тония〉.

Лаппи — via Tornabouoni.

В Риме.
[Дориа], Колонна.
[Корсини], Национальный.
Людовизи, Латеранский.

ПРИЛОЖЕНИЕ

THE CITY OF MAMMON

MY IMPRESSIONS OF AMERICA
BY MAXIM GORKY

A gray mist hung over land and sea, and a fine rain shivered down upon the somber buildings of the city and the turbid waters of the bay. The emigrants gathered to one side of the steamer. They looked about silently and seriously, with eager eyes in which gleamed hope and fear, terror and joy.

"Who is this?" asked a Polish girl in a tone of amazement, pointing to the Statue of Liberty. Some one from the crowd answered briefly: "The American Goddess".

I looked at this goddess with the feelings of an idolater, and recalled to mind the heroic times of the United States—the six years' War of Independence, and that bloody struggle between the North and the South which the Americans formerly used to call: "The War for the Abolition of Slavery." Before my memory flashed the brilliant names of Thomas Jefferson and of Grant. I seemed to hear again the song of John Brown, the hero, and see the faces of Bret Harte, Longfellow, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, and all the other stars on the proud American flag.

Here then is the land about which tens of millions of people of the Old World dream as of the Promised Land. "The land of liberty!" I repeated to myself, not noticing on that glorious day the green rust on the dark bronze.

I knew even then that "The War for the Abolition of Slavery" is now called in America "The War for the Preservation of the Union." But I did not know that in this change of words was hidden a deep meaning, that the passionate idealism of the young democracy had also become covered with rust, like the bronze statue, eating away the soul with the corrosive of commercialism. The senseless craving for money, and the shameful craving for the power that money gives, is a disease from which people suffer everywhere. But I did not realize that this dread disease had assumed such proportions in America.

The tempestuous turmoil of life on the water at the foot of the Statue of Liberty, and in the city on the shore, staggers the mind, and fills one with a sense of impotence. Everywhere, like antediluvian monsters, huge, heavy steamers plow the waters of the ocean, little boats and cutters scurry about like hungry birds of prey. The iron seems endowed with nerves, life, and consciousness. The sirens roar as if with the voices of the mythic giants, the angry mouths send forth their shrill whistles that lose themselves in the fog, anchor chains rattle, the waves splash.

And it seems as if all the iron, all the stones, the wood and water, and even the people themselves are full of protest against this life in the fog, this life devoid of sun, song, and joy, this life in the captivity of hard toil. Everywhere is toil, everything is caught up in its whirlwind, everybody obeys the will of some mysterious power hostile to man and to nature. A machine, a cold, unseen, unreasoning machine, in which man is but an insignificant screw!

I love energy. I adore it. But not when men expend this creative force of theirs for their own destruction. There is too much labor and effort, and no life in all this chaos, in all this bustle for the sake of a piece of bread. Everywhere we see around us the work of the mind which has made of human life a sort of hell, a senseless treadmill of labor, but nowhere do we feel the beauty of free creation, the disinterested work of the spirit which beautifies life with imperishable flowers of life-giving cheer.

Far out on the shore, silent and dark "skyscrapers" are outlined against the fog. Rectangular, with no desire to be beautiful, these dull, heavy piles rise up into the sky, stern, cheerless, and morose. In the windows of these prisons there are no flowers, and no children are anywhere seen. Straight, uniform, dead lines without grace of outline or harmony, only an air of cold and haughty presumption imparted to them by their prodigiousness, their monstrous height. But in this height no freedom dwells. These structures elevate the price of land to heights as lofty as their tops, but debase the taste to depths as low as their foundations. It is always so. In great houses dwell small people.

From afar the city looks like a huge jaw with black, uneven teeth. It belches forth clouds of smoke into the sky, and sniffs like a glutton suffering from overcorpulency. When you enter it you feel that you have fallen into a stomach of brick and iron which swallows up millions of people, and churns, grinds, and digests them. The streets seem like so many hungry throats, through which pass, into some unseen depth, black pieces of food—living human beings. Everywhere, over your head, under your feet, and at your sides is iron, living iron emitting horrible noises. Called to life by the power of gold, inspirited by it, it envelops man in its cobweb, deafening him, sucking his life blood, deadening his mind.

The horns and automobiles shout aloud like some giant ducks, the electricity sends forth its surly noises, and everywhere the stifling air of the streets is penetrated and soaked with thousands of deafening sounds, like a sponge with water. It trembles, wavers, and blows into one's nostrils its strong, greasy odors. It is a poisoned atmosphere. It suffers, and it groans with its suffering.

The people walk along the pavements. They push hurriedly forward, all hastily driven by the same force than enslaves them. But their faces are calm, their hearts do not feel the misfortune of being slaves; indeed, by a tragic self-conceit, they yet feel themselves its masters. In their eyes gleams a consciousness of independence, but they do not know it is but the sorry independence of the ax in the hands of the woodman, of the hammer

in the hands of the blacksmith. This liberty is the tool in the hands of the Yellow Devil—Gold. Inner freedom, freedom of the heart and soul, is not seen in their energetic countenances. This energy without liberty is like the glitter of a new knife which has not yet had time to be dulled, it is like the gloss of a new rope.

It is the first time that I have seen such a huge city monster; nowhere have the people appeared to me so unfortunate, so thoroughly enslaved to life, as in New York. And furthermore, nowhere have I seen them so tragicomically self-satisfied as in this huge phantasmagoria of stone, iron, and glass, this product of the sick and wasted imagination of Mercury and Pluto. And looking upon this life, I began to think that in the hand of the statue of Bartholdi there blazes not the torch of liberty, but the dollar.

The large number of monuments in the city parks testifies to the pride which its inhabitants take in their great men. But it would be well from time to time to clean up the dust and dirt from the faces of those heroes whose hearts and eyes burned so glowingly with love for their people. These statues covered with a veil of dirt involuntarily force one to put a low estimate upon the gratitude felt by the Americans toward all those who lived and died for the good of their country. And they lose themselves in the network of the many stoned buildings. The great men seem like dwarfs in front of the walls of the ten-story structures. The mammoth fortunes of Morgan and Rockefeller wipe off from memory the significance of the creators of liberty—Lincoln and Washington. Grant's tomb is the only monument of which New York can be proud, and that, too, only because it has not been placed in the dirty heart of the city.

"This is a new library they are building," said some one to me, pointing to an unfinished structure surrounded by a park. And he added importantly: "It will cost two million dollars! The shelves will measure one hundred and fifty miles!"

Up to that time I had thought that the value of a library is not in the building itself, but in the books, just as the worth of a man is in his soul, not in his clothes.

Nor did I ever go into raptures over the length of the shelves, preferring always the quality of books to their quantity. By quality I understand (I make this remark for the benefit of the Americans) not the price of the binding, nor the durability of the paper, but the value of the ideas, the beauty of the language, the strength of the imagination, and so forth.

Another gentleman told me, as he pointed out a painting to me: "It is worth five hundred dollars."

I had to listen very frequently to such sorry and superficial appraisement of objects, the price of which cannot be determined by the number of dollars. Productions of art are bought for money, just as bread, but their value is always higher than what is paid for them in coin. I meet here very few people who have a clear conception of the intrinsic worth of art, its religious significance, the power of its influence upon life, and its indispensableness to mankind.

To live means to live beautifully, bravely, and with all the power of the soul. To live means to embrace with our minds the whole universe, to mingle our thoughts with all the secrets of existence, and to do all that is possible in order to make life around us more beautiful, more varied, freer, and brighter.

It seems to me that what is superlatively lacking to America is a desire for beauty, a thirst for those pleasures which it alone can give to the mind and to the heart. Our earth is the heart of the universe, our art the heart of the earth. The stronger it beats, the more beautiful is life. In America the heart beats feebly.

I was both surprised and pained to find that in America the theaters were in the hands of a trust, and that the men of the trust, being the possessors, had also become the dictators in matters of the drama. This evidently explains the fact that a country which has excellent novelists has not produced a single eminent dramatist.

To turn art into a means of profit is, under all circumstances, a serious misdemeanor, but in this particular case it is positive crime, because it offers violence to the author's person and adulterates art. If the law provides punishments for the adulteration of food, it ought to

deal unmercifully with those who adulterate the people's spiritual food.

The theater is called the people's school; it teaches us to feel and to think. It has its origin in the same source as the church, but it has always served the people more sincerely and truly than the church. While the government has been able to make the church subserve its own interests, it has never been able to enslave the theater. "The Sunken Bell" of Hauptmann is a liturgy of beauty and of thought, as are many of the plays of Ibsen, Shakespeare, and Eschylus. The exploitation of the theater by capital ought not to be permitted by people who are interested in the development of the spiritual forces of the country.

But perhaps the Americans think that they are cultured enough? If so, they are easily in error. In Russia such an attitude is observed among the students in the fifth class of the gymnasium, who, having learned to smoke tobacco and read over two or three good books, imagine themselves to be Spinozas.

A twelve-story building and a Sunday newspaper weighing ten pounds are certainly great. It is but hollow grandeur, however, the vast number of people in the building and the large array of advertisements in the paper notwithstanding. Without ideas, there can be no culture.

The first evidence of the absence of culture in the American is the interest he takes in all stories and spectacles of cruelty. To a cultured man, a humanist, blood is loathsome. Murder by execution and other abominations of a like character arouse his disgust. In America such things call forth only curiosity. The newspapers are filled with detailed descriptions of murders and all kinds of horrors. The tone of the description is cold, the hard tone of an attentive observer. It is evident that the aim is to tickle the weary nerves of the reader with sharp, pungent details of crime, and no attempt is ever made to explain the social basis of the facts.

To no one seems to occur the simple thought that a nation is a family. And if some of its members are criminals, it only signifies that the system of bringing up

the people in that family is badly managed. Cruelty is a disease; the interest manifested in it is also an unhealthy symptom. The more that interest is developed, the more crime will develop.

I will not dwell on the question of the attitude of the white man toward the negro. But it is very characteristic of the American psychology that Booker T. Washington preaches the following sermon to his race:

"You ought to be as rich and as clean outwardly as the whites; only then will they recognize you as their equals." This, in fact, is the substance of his teachings to his people.

Having a dollar in one's pocket, wearing a frock coat, cleaning the teeth every day, and using soap—all this is still not quite sufficient to make a cultured man. Ideas are wanted also. Respect for one's neighbor is necessary, no matter what the color of his skin may be; and a whole lot of such trifles without which the difference between a human being in a frock coat and an animal with his woolly skin is difficult to discern. But in America they only think of how to make money. Poor country, whose people are occupied only with the thought of how to get rich!

I am never in the least dazzled by the amount of money a man possesses; but his lack of honor, of love for his country, and of concern for its welfare always fills me with sadness. A man milking his country like a cow, or battening on it like a parasite, is a sorry sort of inspiration. How pitiful that America, which they say has full political liberty, is utterly wanting in liberty of spirit! When you see with what profound interest and idolatry the millionaires are regarded here, you involuntarily begin to suspect the democracy of the country. Democracy—and so many kings. Democracy and a "Higher Society". All this is strange and incomprehensible.

All the numerous trusts and syndicates, developing with a rapidity and energy possible only in America, will ultimately call forth to life its enemy, revolutionary socialism, which, in turn, will develop as rapidly and as energetically. But while the process of swallowing up

individuals by capital, and of the organization of the masses is going on, capitalism will spoil many stomachs and heads, many hearts and minds.

Speaking of the national spirit, I must also speak of the morality of the nation. But on that subject I have nothing interesting to say. That side of life has always been a poser to me. I cannot understand it; and when people speak seriously about it I cannot help but smile. At best, a moralist to me is a man at whom I wink from the corner of my eye, and drawing him aside whisper in his ear:

"Ah, you rascal! It isn't that I am a skeptic, but I know the world, I know it to my sorrow."

The most desperate moralist I have come across was my grandfather. He knew all the roads to heaven, and constantly preached about them to everyone who fell into his hands. He alone knew the truth, and he zealously knocked it into the heads of the members of his family with whatever he happened to get hold of. He knew to a dot everything that God wanted, and he used to teach even the dogs and cats how to conduct themselves in order to attain eternal happiness. But, with all that, he was greedy and malicious, he lied constantly, was a usurer, and with the cruelty of a coward—a trait common to each and every moralist—he beat his domestics, on every spare and suitable occasion, with whatsoever and howsoever he desired.

I tried to influence my grandfather, wishing to make him milder. Once I threw the old man out of the window, another time I struck him with a looking-glass. The window and the looking-glass broke, but grandpa did not get any better. He died a moralist. Since that time I regard all discourses on morality as a useless waste of time. And, moreover, being from my youth up a professional sinner, like all honest writers, what can I say about morality?

Morality seems to me like a secret vessel tightly covered with a heavy lid of bias and prejudice. I think that in that vessel are concealed the best recipes for a pure and ethical life, the shortest and surest road to eternal happiness. But beside that vessel people always stand as

guardians of its purity, who do not inspire my confidence, although they arouse my envy by their flowery appearance. They are such smug, round, lardy creatures, so well satisfied with themselves, and standing so firmly on their feet, like veritable mileposts pointing the way to the salvation of the soul. However, there is nothing wooden about them except their hearts. They are as elastic as the springs in a sumptuous equipage, as the tires of a high-priced automobile.

I wish it to be understood that in thus speaking of moralists I do not mean those who think, but only those who judge. Emerson was a moralist, but I cannot imagine a man who, having read Emerson, will not have his mind cleared of the dust and dirt of worldly prejudices. Carlyle, Ruskin, Pascal—their names are many, and the books of each of these work upon the heart like a good brush. But there are people who, being born scoundrels, act as if they were the world's attorneys.

Man is by nature curious. I have more than once lifted the lid of the moral vessel, and every time there issued from it such a rank, stifling smell of lies and hypocrisy, cowardice and wickedness, as was quite beyond the power of my nostrils to endure.

I am willing to think that the Americans are the best moralists in the world, and that even my grandpa was a child in comparison. I admit that nowhere else in the world are there to be found such stern priests of ethics and morality, and, therefore, I leave them alone. But a word about the practical side. America prides itself on its morals, and occasionally constitutes itself as judge, evidently presuming that it has worked out in its social relations a system of conduct worthy of imitation. I believe this is a mistake.

The Americans run the risk of making themselves ridiculous if they begin to pride themselves on their society. There is nothing whatever original about it; the depravity of the "higher classes of society" is a common thing in Europe. If the Americans permit the development of a "higher society" in their country, there is nothing remarkable in the fact that depravity also grows space. And that no week passes without some loud scandal

in this "high society" is no cause for pride in the originality of American morals. You can find all these things in Europe also. There is perhaps less hypocrisy in these matters on the other side of the Atlantic, but the depravity exists all the same, and to scarcely a less degree. These are the common morals of the representatives of the "high society", a cosmopolitan race, which, with the same zeal, defiles the earth at all its points.

I must yet mention the fact that in America they steal money very frequently and lots of it. This, of course, is but natural. Where there is a great deal of money there are a great many thieves. To imagine a thief without money is as difficult as to imagine an honest man with money. But that again is a phenomenon common to all countries.

But enough! It is an unpleasant subject, and has not Edgar Allan Poe said once, "Keep telling a thief that he is an honest man, and he will justify your opinion about him."

I put Poe's statement to the test, by taking a man strongly persuaded of his honesty and convincing him of the opposite. Results proved that the great fact was always right. Hence I infer that we must treat people mildly and gently. It is not important how they treat me, but how I treat them. The individual elevates society, the individual corrupts it.

You think this is a paradox? No, it is the truth.

A magnificent Broadway, but a horrible East Side! What an irreconcilable contradiction, what a tragedy! The street of wealth must perforce give rise to harsh and stern laws devised by the financial arictocracy, by the slaves of the Yellow Devil, for a war upon poverty and the Whitechapel of New York. The poverty and the vice of the East Side must perforce breed anarchy. I do not speak of a theory; I speak of the development of envy, malice, and vengeance, of that, in a word, which degrades man to the level of an antisocial being. These two irreconcilable currents, the psychology of the rich and the feeling of the poor, threaten a clash which will lead to a whole series of tragedies and catastrophes.

America is possessed of a great store of energy, and therefore everything in it, the good and the bad, develops with greater rapidity than anywhere else. But the growth of that anarchism of which I am speaking precedes the development of socialism. Socialism is a stage of culture, a civilized tendency. It is the religion of the future which will free the whole world from poverty and from the gross rule of wealth. To be rightly understood, it requires the close application of the mind, and a general, harmonious development of all the spiritual forces in man. Anarchy is a social disease. It is the poison produced in the social organism by the abnormal life of the individual, and the lack of healthy nourishment for his body and soul. The growth of anarchism requires no intellectual basis; it is the work of the instinct, the soil on which it thrives is envy and revenge. It must needs have great success in America, where social contrasts are especially sharp and spiritual life especially feeble.

Impurities in the body come out on the surface as running sores. Falsehood and vice, now festering and spreading in society, will some day be thrown up like lava streams of dirt suffocating and drowning it if it betimes heed not the life of the masses corrupted by poverty.

But, methinks, I, too, am turning moralist. You see the corrupting influence of society.

The children in the streets of New York produce a profoundly sad impression. Playing ball amidst the crash and thunder of iron, amidst the chaos of the tumultuous city, they seem like flowers thrown by some rude and cruel hand into the dust and dirt of the pavements. The whole day long they inhale the vapors of the monstrous city, the metropolis of the Yellow Devil. Pity for their little lungs, pity for their eyes choked up with dust!

The care taken in the education of children is the clearest test of the degree of culture in any country. The conditions of life with which children are surrounded determines most certainly the measure of a nation's intellectual development. If the government and society employ every possible means to have their children grow up into strong, honest, good, and wise men and women,

then only is it a government and a society worthy of the name.

I have seen poverty aplenty, and know well her green, bloodless, haggard countenance. But the horror of East Side poverty is sadder than everything that I have known. Children pick out from the garbage boxes on the curbstones pieces of rotten bread, and devour it, together with the mold and the dirt, there in the street in the stinging dust and the choking air. They fight for it like little dogs. At midnight and later they are still rolling in the dust and the dirt of the street, these living rebukes to wealth, these melancholy blossoms of poverty. What sort of a fluid runs in their veins? What must be the chemical structure of their brains? Their lungs are like rags fed upon dirt; their little stomachs like the garbage boxes from which they obtain their food. What sort of men can grow up out of these children of hunger and penury? What citizens?

America, you who astound the world with your millionaires, look first to the children on the East Side, and consider the menace they hold out to you! The boast of riches when there is an East Side is a stupid boast.

However, "there is no evil without a good," as they say in Russia, country of optimists.

This life of gold accumulation, this idolatry of money, this horrible worship of the Golden Devil already begins to stir up protest in the country. The odious life, entangled in a network of iron and oppressing the soul with its dismal emptiness, arouses the disgust of healthy people, and they are beginning to seek for a means of rescue from spiritual death.

And so we see millionaires and clergymen declaring themselves socialists, and publishing newspapers and periodicals for the propaganda of socialism. The creation of "settlements" by the rich intellectuals, their abandonment of the luxury of their parental homes for the wilds of the East Side—all this is evidence of an awakening spirit; it heralds the gradual rise in America of the human life. Little by little people begin to understand that the slavery of gold and the slavery of poverty are both equally destructive.

The important thing is that the people have begun to think. A country in which such an excellent work as James's "Philosophy of Religion" was written can think. It is the country of Henry George, Bellamy, Jack London who gives his great talent to socialism. This is a good instance of the awakening of the spirit of "human life" in this young and vigorous country suffering with the gold fever. But the most irrefutable evidence of the spiritual awakening in America seems to me to be Walt Whitman. Granted that his verses are not exactly like verses; but the feeling of pagan love of life which speaks in them, the high estimate of man, energy of thought—all this is beautiful and sturdy. Whitman is a true democrat, philosopher; in his books he has perhaps laid the first foundation of a really democratic philosophy—the doctrine of freedom, beauty, and truth, and the harmony of their union in man. More and more interest in matters of the mind and the spirit, in science and art—this is what I wish the Americans with all my heart. And this, too, I wish them, the development of scorn for money.

After all that I have said, I am involuntarily drawn to make a parallel between Europe and America. On that side of the ocean there is much beauty, much liberty of the spirit, and a bold, vehement activity of the mind. There art always shines like the sky at night with the living sparkle of the imperishable stars. On this side there is no beauty. The rude vigor of political and social youth is fettered by the rusty chains of the old Puritan morality bound to the decayed fragments of dead prejudices.

Europe shows evidence of moral decrepitude, and, as a consequence of this, skepticism. She has suffered much. Her spiritual suffering has produced an aristocratic apathy, it has made her long for peace and quiet. The spiritual movement of the proletariat, carrying with it the possibility of new beauty and new joy, arouses in the cultured classes of European society nothing but dread for their peace and their old comfortable habits.

America has not yet suffered the pangs of the dissatisfied spirit, she has not yet felt the aches of the mind. Discontent has but just begun here. And it seems to me

that when America will turn her energy to the quest of liberty of the spirit, the world will witness the spectacle of a great conflagration, a conflagration which will cleanse this country from the dirt of gold, and from the dust of prejudice, and it will shine like a magnificent cut diamond, reflecting in its great heart all the thought of the world, all the beauty of life.

America is strong, America is healthy! And although even a sick Dostoyevsky is more needful to the world than rich, healthy shopkeepers, yet we will trust that the children of the shopkeepers will become true democrats; that is to say, aristocrats of the spirit. For it is much pleasanter to live if you treat people better than they deserve. Is it not?

ПЕРЕВОД

ГОРОД МАМОНЫ

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ АМЕРИКИ

Над землей и океаном висел серый туман, мелкий дождь падал на темные здания города и мутную воду залива.

Эмигранты собрались на борту парохода. Молча и серьезно смотрели они вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости.

— Это кто? — удивленно спросила девушка-полька, указывая на статую Свободы. Кто-то из толпы ответил коротко:

— Американская богиня...

Я смотрел на богиню с чувством идолопоклонника и вспоминал героические времена Соединенных Штатов — шестилетнюю войну за независимость и кровавую битву между Севером и Югом, которую американцы раньше называли «Войной за уничтожение рабства». В памяти моей пронеслись блестящие имена Томаса

Джефферсона и Гранта. Мне казалось, что я снова слышу песню о герое Джоне Брауне и вижу Брет Гарта, Лонгфелло, Эдгара Аллана По, Уолта Уитмена и другие звезды на гордом американском флаге.

Итак, это и есть страна, о которой десятки миллионов людей Старого Света мечтают, как о земле обетованной. «Страна Свободы!» — повторял я, не замечая в этот прекрасный день зеленой ржавчины на темной бронзе.

Я знал уже тогда, что война за уничтожение рабства называется теперь в Америке «войной за сохранение Единства», но я не знал, что за этим изменением названия кроется глубокий смысл, что страстный идеализм молодой демократии покрылся, подобно бронзовой статуе, ржавчиной, разъедающей душу коррозией торгашества. Бессмысленная и постыдная погоня за деньгами и за властью, которую дают деньги,— это болезнь, от которой люди страдают везде. Но я не знал, что эта ужасная болезнь достигла в Америке таких размеров.

Шумная суета жизни на воде, у подножья статуи Свободы, и на берегу, в городе, ошеломляет разум и вызывает чувство бессилия. Повсюду, как допотопные чудовища, бороздят воду океана огромные, тяжелые суда; мелькают, точно голодные хищные птицы, маленькие пароходы и катера. Кажется, что железо живет, что оно наделено нервами и разумом. Ревут сирены, подобно голосам сказочных гигантов, из сердитых уст раздаются пронзительные свистки, которые теряются в тумане, гремят цепи якорей, плещут волны.

И кажется, что всё — железо, камни, вода, дерево и даже сами люди — полно протеста против этой жизни в тумане, жизни без солнца, без песен и счастья, жизни в плену тяжелого труда. Везде — труд, всё охвачено его бурей, всё повинуется воле какой-то тайной силы, враждебной человеку и природе.

Машина, холодная, невидимая, нерассуждающая машина, в которой человек — только ничтожный винт!

Я люблю энергию, я преклоняюсь перед ней. Но не тогда, когда люди тратят свою созидательную силу на собственную погибель. В этом хаосе, в этой суете из-за куска хлеба слишком много труда и усилий и нет жизни. Повсюду мы видим вокруг себя работу разума, кото-

рый сделал из человеческой жизни своего рода ад, превратил ее в бессмысленный, однообразный, механический труд, и нигде не видишь красоты свободного созидания, бескорыстной работы духа, который украшает жизнь бессмертными цветами животворящей радости.

Вдали на берегу вырисовываются в тумане безмолвные и темные небоскребы. Квадратные, лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются к небу угрюмо и скучно. В окнах этих тюрем нет цветов и не видно детей. Прямые, однообразно мертвые линии лишены красоты очертаний и той красоты, которую дает гармония частей; в них лишь выражение холодной, надменной кичливости своими громадными размерами, своей чудовищной высотой. Но в этой высоте отсутствует свобода. Эти сооружения подымают цену на землю до таких же высот, каких достигают они сами, но вкусы они снижают настолько же, насколько глубоко уходят в землю их фундаменты. Так всегда бывает. В больших домах живут маленькие люди.

Издали город кажется огромной пастью с черными неровными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа, который проглатывает миллионы людей и перемалывает, растирает и переваривает их.

Улицы кажутся множеством голодных глоток, по которым куда-то вглубь плывут темные куски пищи — живые люди. Везде — над головой, под ногами и рядом с тобой — железо, живое железо, издающее ужасный грохот. Вызванное к жизни силою золота, одушевленное им, оно опутывает человека своей паутиной, оглушает его, сосет его кровь, умерщвляет разум.

Кричат, подобно гигантским уткам, рожки автомобилей, электричество всюду распространяет угрюмый шум, душный воздух улиц напоен, точно губка влагой, тысячами ревущих звуков. Он дрожит, колеблется, дышит в лицо тяжелыми, жирными запахами. Этот воздух отравлен. Он страдает и стонет, страдая.

По тротуарам идут люди. Они шагают быстро, торопливо, увлекаемые силой, поработившей их. Но их лица спокойны, их сердца не чувствуют несчастья быть

рабами; в печальном самомнении они считают себя хозяевами своей судьбы. В глазах у них светится сознание своей независимости, но им непонятно, что это только жалкая независимость топора в руке лесоруба, молотка в руке кузнеца. Эта свобода — орудие в руках Желтого Дьявола — золота. Свободы внутренней, свободы духа и сердца — не видно в их энергичных лицах. Эта энергия без свободы напоминает холодный блеск нового ножа, который еще не успели иступить, лоск новой веревки.

Я впервые увидел такой чудовищный город; и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так всецело порабощены образом жизни, как в Нью-Йорке. К тому же я нигде не видел их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этой огромной фантасмагории из камня, железа и стекла, в этом порождении больного, испорченного воображения Меркурия и Плутона. И, наблюдая эту жизнь, я начал думать, что в руке у статуи Бартольди сверкает не факел свободы, а доллар. Большое число памятников в парках города свидетельствует, что жители его гордятся своими великими людьми. Но хорошо было бы время от времени счищать пыль и грязь с лиц героев, чьи сердца и глаза так ярко горели любовью к своему народу. Эти статуи, покрытые коркой грязи, невольно побуждают невысоко ценить благодарность, испытываемую американцами ко всем тем, кто жил и умер во имя блага их страны. Кроме того, памятники эти теряются в сетях многоэтажных домов. Великие люди кажутся карликами у стен десятиэтажных сооружений. Гигантские состояния Моргана и Рокфеллера стирают в памяти людей значение творцов свободы — Линкольна и Вашингтона. Единственный памятник, которым Нью-Йорк может гордиться, это могила Гранта, да и то потому только, что его похоронили не в грязном сердце города.

— Вот строится новая библиотека,— сказал мне кто-то, указывая на незавершенное сооружение, окруженное парком. И с важностью добавил:

— Она будет стоить два миллиона долларов. Полки ее будут длиной в сто пятьдесят миль.

До того времени я думал, что ценность библиотеки

заключается не в здании ее, а в книгах, подобно тому как достоинство человека — в душе его, а не в одежде. Никогда также не впадал я в восторг по поводу длины полок, всегда предпочитая качество книг их количеству. Под качеством я понимаю (замечаю это ради американцев) не цену переплета и не прочность бумаги, а ценность идей, красоту языка, силу воображения и т. д.

Другой господин, показывая мне картину, сказал:

— Она стоит пятьсот долларов.

Мне очень часто приходилось слышать такие жалкие и поверхностные оценки вещей, цена которых не может быть определена количеством долларов. Произведения искусства покупаются за деньги, точно так же, как и хлеб, но ведь их стоимость всегда больше того, что платят за них звонкой монетой. Я встретил здесь очень немного людей, имеющих ясное представление о подлинной ценности искусства, духовном его значении, силе его влияния на жизнь и его необходимости для человечества.

Жить — значит жить красиво, смело и всеми силами души. Жить — значит объять разумом всю вселенную, проникать мыслью во все секреты бытия и приложить все силы к тому, чтобы сделать жизнь вокруг нас более красивой, разнообразной, свободной и яркой.

Мне кажется, то, чего в высшей степени недостает Америке,— это потребности красоты, жажды тех наслаждений, которые только она и может дать уму и сердцу.

Наша земля — сердце вселенной, наше искусство — сердце земли. Чем сильнее биение нашего сердца, тем прекраснее жизнь. В Америке сердце бьется слабо.

Я удивился и огорчился, узнав, что театры в Америке находятся в руках трестов и что хозяева треста, будучи владельцами театра, стали также диктаторами в вопросах драмы. Этим, очевидно, объясняется то, что страна, которая имеет прекрасных писателей-романистов, не дала ни одного выдающегося драматурга.

Превращение искусства в средство наживы — серьезный проступок при всех обстоятельствах, но в данном случае это положительно преступление, поскольку оно насилует личность автора и фальсифицирует искусство.

И если закон предусматривает наказание за подделку пищевых продуктов, он должен безжалостно поступать с теми, кто фальсифицирует духовную пищу народа.

Театр называют школой народа; он учит нас чувствовать и думать. Он ведет свое происхождение из того же источника, что и церковь, но он всегда служил народу более искренне и верно, чем церковь. Правительство смогло подчинить своим интересам церковь, поработить же театр оно так и не сумело.

«Потонувший колокол» Гауптмана — это гимн красоте и мысли, как и многие пьесы Ибсена, Шекспира и Эсхила. Люди, заинтересованные в развитии духовных сил страны, не могут допустить эксплуатации театра капиталом.

Но, может быть, американцы думают, что они достаточно культурны? Если так, то они просто ошибаются. В России такая позиция свойственна гимназистам пятого класса, которые, научившись курить и прочтя две или три хорошие книги, воображают себя Спинозами.

Двенадцатиэтажное здание и воскресная газета, весящая десять фунтов, конечно, замечательны. И все-таки это пустое великолепие, несмотря на множество людей в здании и внушительный ряд объявлений в газете. Без идей культуры быть не может.

Первым доказательством отсутствия культуры в американце является тот интерес, который он проявляет ко всяким жестоким рассказам и зрелищам. Для культурного человека, гуманиста, кровь отвратительна. Убийство посредством казни и другие подобные мерзости вызывают у него отвращение.

В Америке же такие вещи вызывают только любопытство. Газеты полны подробными описаниями убийств и всяческих ужасов. Тон этих описаний — холодный, спокойный тон внимательного наблюдателя. Очевидно, что цель их состоит в том, чтобы пощекотать утомленные нервы читателя острыми деталями преступления, при этом никогда не делается даже попытки объяснить социальную основу этих фактов.

Никому, кажется, не приходит в голову простая мысль о том, что нация — это семья. И если некоторые из членов ее — преступники, это означает только, что

система воспитания людей в этой семье устроена плохо. Жестокость — это болезнь; интерес, к ней проявляемый, также нездоровый симптом. Чем больше будет расти этот интерес, тем больше будет развиваться преступность.

Я не буду подробно останавливаться на вопросе об отношении белого человека к негру, но для американской психологии очень характерно, что Букер Т. Вашингтон проповедует своим соплеменникам следующее поучение:

— Вы должны быть так же богаты и так же опрятны внешне, как белые; только тогда они признают вас равными себе.

Это и есть по сути дела смысл того, чему он учит свой народ.

Наличие доллара в кармане, ношение сюртука, ежедневная чистка зубов и употребление мыла — всего этого не совсем еще достаточно, чтобы быть культурным человеком. Желательны также идеи. Необходимо уважение к соседу, какого бы цвета ни была его кожа, и множество таких мелочей, без которых трудно отличить человеческое существо в сюртуке от животного с мохнатой шкурой. Но в Америке думают только о том, как делать деньги. Бедная страна, народ которой занят одной мыслью: как разбогатеть.

Меня никогда ни в малейшей степени не ослепляло количество денег, которыми владеет человек, но отсутствие у него чести, любви к родине и заботы о ее благосостоянии всегда печалит меня. Человек, который доит свою страну, как корову, или откармливается, как паразит, на ее теле, плохой источник вдохновения. Как жалко, что Америка, которая, как говорят, обладает полной политической свободой, совершенно лишена свободы духа. Когда вы видите, с каким глубоким интересом и благоговением смотрят здесь на миллионеров, вы невольно начинаете с подозрением относиться к демократии этой страны. Демократия — и так много королей. Демократия и «высшее общество». Всё это странно и непостижимо.

Многочисленные тресты и синдикаты, развивающиеся с быстротой и энергией, возможными только в Аме-

рике, в конце концов вызовут к жизни своего врага революционный социализм, который в свою очередь развьется так же быстро и так же энергично.

Но пока будет идти процесс поглощения индивидуумов капиталом и организации масс, капитализм искалечит много голов и животов, много сердец и умов.

Говоря о духе нации, я должен сказать также о ее морали. Но об этом ничего интересного я сказать не могу. Эта сторона жизни всегда была для меня трудным вопросом. Она для меня непонятна, и когда люди серьезно говорят об этом, я могу только улыбаться. В лучшем случае моралист для меня — человек, которому я, подмигнув и отведя его в сторону, шепчу на ухо:

— Ах ты, мошенник этакий!

Я не скептик, но я знаю мир, я знаю его к собственному огорчению.

Самым отчаянным моралистом, которого я знал, был мой дед. Он ведал все пути в рай и постоянно толкал на них каждого, кто попадался ему под руку. Истина была известна только ему одному, и он усердно вколачивал ее чем попало в головы членов своего семейства. Он прекрасно знал всё, чего хочет бог от человека, и даже собак и кошек учил, как надо вести себя, чтобы достигнуть вечного блаженства. При всем этом он был жаден, зол, постоянно лгал, занимался ростовщичеством и, обладая жестокостью труса,— особенность души всех моралистов и каждого,— в свободное и удобное время бил своих домашних чем мог и как хотел... Я пробовал влиять на деда, желая сделать его мягче,— однажды выбросил старика из окна, другой раз ударил его зеркалом. Окно и зеркало разбились, но дед не стал от этого лучше. Он так и умер моралистом. С тех пор я считаю всякие рассуждения о морали бесполезной тратой времени. И, кроме того, будучи с молодых лет профессиональным грешником, как и все честные писатели, что могу я сказать о морали?

Мораль представляется мне тайным сосудом, плотно прикрытым тяжелой крышкой предубеждения и предрассудка. Я думаю, что в этом сосуде сокрыты лучшие рецепты чистой и нравственной жизни, кратчайшие и самые надежные пути к вечному блаженству. Но около

этого сосуда, как опекуны его непорочности, всегда стоят люди, которые не внушают мне доверия, хотя они и возбуждают мою зависть своим цветущим видом. Этакие самодовольные, круглые, жирные создания, стоящие на ногах так уверенно, что кажутся настоящими верстовыми столбами, указывающими дорогу к спасению души. В них нет, однако, ничего деревянного, кроме сердец. Они так же эластичны, как рессоры роскошного экипажа, как шины дорогого автомобиля.

Поясняю, что, говоря таким образом о моралистах, я имею в виду не думающих, а судящих. Эмерсон был моралистом, но я не представляю себе человека, который, прочитав Эмерсона, не очистил бы свой ум от пыли и грязи мирских предрассудков. Карлейль, Рескин, Паскаль — таких имен множество, и книги каждого из них действуют на душу, как хорошая щетка. Но есть наряду с этим люди, которые, будучи по природе подлецами, действуют так, как если бы они были вселенскими прокурорами.

Человек по природе своей любопытен. Я не раз приподнимал крышку сосуда морали, и всякий раз оттуда исходили такая вонь, такой удушающий запах лжи и лицемерия, трусости и безнравственности, что мои ноздри не могли его вынести.

Думается, что американцы — лучшие моралисты в мире и что даже мой дедушка был ребенок в сравнении с ними. Я допускаю, что нигде в мире не найти таких суровых жрецов этики и морали, и потому оставляю их в покое. Одно только слово о практической стороне дела. Америка гордится своей моралью и время от времени сама провозглашает себя судьей, считая, очевидно, доказанным, что она выработала в своих общественных отношениях систему, достойную подражания. Я полагаю, что это ошибка.

Американцы рискуют оказаться смешными, если они начнут гордиться своим обществом. В нем нет совсем ничего оригинального; развращенность «высших классов общества» в Европе — обычная вещь. Если американцы допускают у себя в стране развитие «высшего общества», нет ничего удивительного, что быстро растет и развращенность. То обстоятельство, что и недели не

проходит без какого-нибудь громкого скандала в этом «высшем обществе», не дает оснований гордиться оригинальностью американской морали. Вы можете найти всё это и в Европе. Разве что по ту сторону Атлантики меньше лицемерия в этих делах, но развращенность там та же, и она едва ли менее глубока. Это ведь общая мораль представителей «высшего общества», космополитической породы, которая с одинаковым усердием загрязняет землю во всех ее концах.

Должен отметить, однако, тот факт, что в Америке крадут деньги, крадут очень часто и помногу. И это, конечно, только естественно. Где много денег, там очень много и воров. Представить себе вора без денег так же трудно, как и честного человека при деньгах. Но это опять явление, общее для всех стран.

Но довольно! Это неприятная тема, и разве не сказал однажды Эдгар Аллен По:

— Непрестанно повторяйте вору, что он честный человек, и он оправдает ваше мнение о нем.

Я проверил утверждение По, взяв человека, крепко убежденного в своей честности, и убедив его в противоположном. Результаты показали, что великая истина всегда верна. Отсюда я заключаю, что мы должны обращаться с людьми мягко и осторожно. Важно не то, как они относятся ко мне, а как я отношусь к ним. Индивидуум возвышает общество, он же развращает его.

Вы думаете, это парадокс? Нет, это правда.

Великолепный Бродвей, но ужасный Ист-Сайд! Какое непримиримое противоречие, какая трагедия! Улица богатства неизбежно должна издавать суровые и жестокие законы, изобретаемые финансовой аристократией, рабами Желтого Дьявола, для войны с бедностью и Уайтчепелем Нью-Йорка. Бедность и пороки Ист-Сайда неизбежно должны порождать анархию. Я говорю не о теории; я говорю о развитии зависти, злобы и мести, одним словом, о том, что низводит человека до уровня антиобщественного существа. Эти два непримиримых течения, психология богатых и чувства бедных, угрожают таким столкновением, которое поведет к целой серии трагедий и катастроф.

Америка обладает большим запасом энергии, и поэтому в этой стране всё, хорошее и плохое, развивается с большей скоростью, чем где бы то ни было. Но рост анархизма, о котором я говорю, предшествует развитию социализма. Социализм — это стадия в развитии культуры, движение цивилизованное. Это религия будущего, которая освободит весь мир от нищеты и грубой власти богатства. Чтобы меня правильно поняли, скажу, что социализм требует усиленной работы ума и общего гармонического развития всех духовных сил человека. Анархия — это социальная болезнь. Это яд, возникающий в общественном организме под влиянием ненормальной жизни индивидуума и отсутствия здоровой пищи для его тела и души. Для роста анархизма не требуется интеллектуальной основы; он представляет собой порождение инстинкта; зависть и месть — вот почва, на которой он разрастается пышным цветом. Анархизм непременно должен иметь большой успех в Америке, где особенно остры социальные контрасты и особенно слаба духовная жизнь.

Грязь, находящаяся внутри тела, гнойными болячками выходит на его поверхность. Ложь и порок, которые, гноясь, распространяются теперь в обществе, в один прекрасный день будут извергнуты на поверхность подобным лаве потоком грязи, которая затопит и удушит общество, если оно не обратит своевременно внимания на жизнь масс, развращаемых нищетой.

Но, кажется, и я становлюсь моралистом. Вы видите развращающее влияние общества.

Глубоко печальное впечатление на улицах Нью-Йорка производят дети. Играющие в мяч посреди треска и железного грохота, посреди хаоса бурлящего города, они кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила в грязь мостовой. Целыми днями вдыхают они испарения этого чудовищного города, столицы Желтого Дьявола. Жаль их маленьких легких, жаль их засоренных пылью глаз!

Забота о воспитании детей — самый яркий показатель культурности любой страны. Условия жизни детей дают самое точное мерило интеллектуального развития нации. Правительство и общество тогда только оправ-

дывают свое название, когда они делают всё возможное, чтобы вырастить детей сильными, честными и мудрыми мужчинами и женщинами.

Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее зеленое, бескровное, костлявое лицо. Но ужас нищеты Ист-Сайда мрачнее всего, что я знаю. Дети выбирают из мусорных ящиков, стоящих у панелей, гнилые куски хлеба и жадно поедают их вместе с плесенью и грязью тут же на улице, в едкой пыли и духоте. Они дерутся за эти куски, как маленькие собачонки. В полночь и позже они всё еще вертятся в пыли и грязи улицы, эти живые упреки богатству, эти унылые цветы нищеты. Что за жидкость течет в их жилах? Какова должна быть химическая структура их мозгов? Их легкие подобны тряпью, пропитанному грязью, а их маленькие желудки — тем мусорным ящикам, в которых они добывают свою пищу. Какого сорта люди вырастут из этих детей голода и нужды? Что за граждане?

Америка, ты, которая изумляешь мир своими миллионерами, посмотри сначала на детей Ист-Сайда и подумай о том, какую угрозу представляют они для тебя. Хвастовство богатствами, когда существует Ист-Сайд,— это неразумное хвастовство.

Однако, как говорят в стране оптимистов — России, «нет худа без добра».

Эта жизнь, посвященная накоплению золота, это поклонение деньгам, этот ужасный культ Золотого Дьявола уже начинают вызывать в стране протест. Гнусная жизнь, опутанная железной сетью и гнетущая душу своей унылой пустотой, становится омерзительной для здоровых людей, и они начинают искать средства спасения от духовной смерти.

И вот мы видим миллионеров и священников, объявляющих себя социалистами и издающих газеты и журналы, пропагандирующие социализм. Создание поселений богатыми интеллигентами, отказ их от роскоши отчих домов ради дебрей Ист-Сайда — всё это свидетельствует о пробуждении духа, всё это возвещает постепенное развитие в Америке человеческого образа жизни. Мало-помалу люди начинают понимать, что быть рабами золота или рабами нищеты — одинаково пагубно.

Важно, что люди начали думать. Страна, в которой было написано такое превосходное произведение, как «Философия религии» Джеймса, может мыслить. Это страна Генри Джорджа, Беллами, Джека Лондона, который отдает свой великий талант социализму. Вот хороший пример пробуждения духа «человеческой жизни» в этой молодой и энергичной стране, страдающей от золотой лихорадки. Но самым неопровержимым доказательством духовного пробуждения Америки представляется мне Уолт Уитмен. Пусть стихи его не очень похожи на стихи, но чувство языческой любви к жизни, которое говорит в них, высокая оценка человека, сила мысли — всё это прекрасно и здорово. Уитмен — истинный демократ и философ. В своих книгах он заложил, быть может, первооснову подлинно демократической философии — доктрину свободы, красоты и правды и гармонического сочетания их в человеке.

Как можно больше интереса ко всему умственному и духовному, к науке и искусству — вот, чего я всем сердцем желаю американцам. И еще я желаю им, чтобы развилось у них презрение к деньгам.

После всего, что я сказал, меня невольно тянет провести параллель между Европой и Америкой. По ту сторону океана много красоты, много свободы духа, смелой и страстной деятельности ума. Искусство всегда сияет там, как ночное небо, живым блеском вечных звезд.

По эту сторону океана красоты нет. Грубая энергия, присущая политической и социальной юности, скована ржавыми цепями старой пуританской морали, связанной с разложившимися обрывками мертвых предрассудков.

Европа являет доказательства своей моральной дряхлости и как следствия этого — скептицизма. Она много претерпела. Ее духовные страдания породили аристократическую апатию, они заставили ее страстно желать мира и покоя. И поэтому духовное развитие пролетариата, несущее в себе возможность появления новой красоты и новой радости, вызывает в культурных слоях европейского общества лишь страх за свое спокойствие и за старые удобные привычки.

Америка же еще не испытывала страданий от духовной неудовлетворенности, она не перенесла еще болезней ума. Недовольство здесь только зарождается. И мне кажется, что, когда Америка обратит свою энергию на поиски свободы духа, мир станет свидетелем великого пожара, который очистит эту страну от грязи золота и от пыли предрассудков, и она засияет, как великолепный граненый бриллиант, отражая в своем большом сердце все думы мира, всю красоту жизни.

Америка сильна, Америка богата. И хотя даже больной Достоевский более необходим миру, чем богатые и здоровые лавочники, будем всё же верить, что дети этих лавочников станут настоящими демократами, т. е. аристократами духа. Потому что жить гораздо приятней, если вы относитесь к людям лучше, чем они того заслуживают. Не так ли?

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Аррен — Жюль Арреп. Вильгельм II. Что он говорит, что он думает. М., 1915.

Архив Г$_{1}$—XII — Архив А. М. Горького, т. I. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии. М., Гослитиздат, 1941; т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе, 1951; т. IV. Письма к К. П. Пятницкому, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1960; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., Изд-во АН СССР, кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки. М., «Наука», 1969.

Витте — С. Ю. Витте. Воспоминания, т. 3. М., 1960.

Воровский — В. В. Воровский. Литературно-критические статьи. М., ГИХЛ, 1956.

В С— М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.

Г и революция 1905 г.— М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. М., Изд-во АН СССР, 1957.

Г и Чехов — М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания. М.— Л., 1951.

Г, Материалы — М. Горький. Материалы и исследования, тт. I—IV. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1934—1951.

Гр$_{1-2}$ — М. Горький. Собрание сочинений. Ред. и комм. И. А. Груздева, тт. I—XXIII. М.—Л., ГИЗ, 1928—1930; тт. I—XXIII, 1930—1931; тт. I—XXVI, изд. 2, дополненное.

Гржс— М. Горький. Избранные рассказы. 1893—1915. Петербург, Берлин, Москва, изд. З. И. Гржебина, 1921.

Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

Г Чтения, 1940—1968 — Горьковские чтения, 1937-1938—1964-1965. М., Изд-во АН СССР, 1940—1968.

ДБЗ — Дешевая библиотека товарищества «Знание». СПб., 1906, №№ 1—35.

ДЧ$_{1-2}$ — М. Горький. Очерки и рассказы. СПб., изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, тт. I—II, 1898; т. III, 1899; тт. I—II, изд. 2, СПб., 1899.

ЖЗ — Сочинения М. Горького. СПб., «Жизнь и знание», тт. X—XII, 1914; тт. XIII, XVII—XX, 1915; тт. XIV, XVI, XVII, 1916; т. XV, 1917.

Зн$_{1-10}$ — М. Горький. Рассказы. СПб., изд. товарищества «Знание», тт. I—IV, 1900; т. V, 1901; тт. I—IV, изд. 2, 1901; т. VI («Пьесы»), 1902; т. V, изд. 2, 1903; тт. I—IV, изд. 3, 1901; тт. I—V, изд. 4, 1903; тт. I—VI, изд. 5, 1903; тт. I—V, изд. 6, 1903; тт. I—V, изд. 7, 1903; тт. I—IV, изд. 8, 1903; тт. I—VI, изд. 9, 1903; т. VII («Пьесы»), изд. 1, 1906; т. VIII («Пьесы»), изд. 1, 1908; т. I, изд. 10, 1908; т. II, изд. 10, 1911; т. IX, изд. 1, 1910; т. III, изд. 10, 1912; т. IV, изд. 10, 1910.

К — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

ЛБГ — личная библиотека М. Горького.

ЛЖТ$_{I-IV}$ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.

Лит Насл — Горький и Леонид Андреев. «Литературное наследство», т. 72. М., Изд-во АН СССР, 1965.

Луначарский — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.

Овчаренко — А. Овчаренко. Публицистика М. Горького. М., 1965.

Пр Зн$_{10}$ — текст *Зн*$_{10}$ с авторской правкой для издания *К*, хранящийся в Архиве А. М. Горького.

ПТ — первопечатный текст.

Рев путь Г — Революционный путь Горького. М.— Л., 1933.

Сб Зн — «Сборник товарищества „Знание“».

Чехов — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 20 томах. М., 1944—1951.

В шестой том настоящего издания вошли произведения, написанные Горьким в период с конца 1899 по июнь 1907 года. Из них «Песня о Буревестнике», «Человек», «Тюрьма», «Рассказ Фиппиппа Васильевича», «Букоёмов, Карп Иванович», начиная со *Зн*, а «Злодеи» и цикл «Солдаты», начиная с *ЖЗ*, включались самим автором в собрания сочинений. Все эти произведения, а также «Девочка», «А. П. Чехов», «Товарищ!», циклы «В Америке» и «Мои интервью» (кроме «Короля, который высоко держит свое знамя») вошли в *К*. «Песня о Буревестнике», «Человек», «Тюрьма», «Рассказ Филиппа Васильевича» были выпущены также отдельными изданиями в *ДБЗ*. «Песню о Буревестнике» и «Человека» автор включал в однотомник *Грж*.

32 произведения настоящего тома в собрания сочинений Горького не включались. Из них 19 были опубликованы (одно не полностью) при жизни автора. После первой публикации «Весенние мелодии», «Погром», ⟨«Легенда о Марко»⟩, «Старик» правились Горьким. ⟨«Легенда о Марко»⟩ печаталась в *ДБЗ* в одной книжке с «Песней о Буревестнике» и «Песней о Соколе». Остальные произведения после первой публикации автором не перепечатывались. Они вошли — наряду с ⟨«Легендой о Марко»⟩ — в собрание сочинений в 30-ти томах. 13 произведений («По небу желтому тащилась...», «Как медведь в железной клетке...», «Сердитый пес породы волкодавов...», «Синими очами океанов...», «Далёко — безмерно далёко...», ⟨«Мещанин»⟩, «Яков Иванович», «Поутру штору поднимая...», «Зрители», «Поп Гапон», «Об И. Е. Репине и кн. И. Р. Тарханове», «Публика», «Город Мамоны»), а также «Записная книжка» в собрание сочинений включаются впервые.

Основные принципы распределения произведений изложены в предисловии к изданию (см. т. I, стр. 5—10). Отсутствие специальной оговорки о рукописях и машинописях означает, что либо они не сохранились, либо редакция ими не располагала.

Тексты подготовили и примечания к ним составили: *М. М. Бондарюк* («Сан-Франциско», «Послание в пространство», «Лондон», ⟨«Джузеппе Гарибальди»⟩, «М⟨арк⟩ Т⟨вен⟩», «Об И. Е. Репине и кн. И. Р. Тарханове»); *Л. А. Евстигнеева* («Погром», ⟨«Легенда о Марко»⟩, «С натуры», «И еще о чёрте», «О Сером», «Письмо в редакцию», «Зрители», «Поп Гапон»); *В. А. Келдыш* («Мои интервью», «В Америке», «Чарли Мэн», «Город Мамоны»); *В. А. Максимова* («Злодеи»); *М. Г. Петрова* («А. П. Чехов»); *Ф. Н. Пицкель* («Человек», «Девочка», «Рассказ Филиппа Васильевича», «Букоёмов, Карп Иванович», «Товарищ!», «Солдаты», «Публика», ⟨«Мещанин»⟩, «По небу желтому тащилась...»); *И. А. Ревякина* («Песня о Буревестнике», «Весенние мелодии»); *А. А. Тарасова* («Тюрьма»); *В. Ю. Троицкий* («Мудрец», «Правила и изречения», «Изречения и правила», «Собака», «Афоризмы и максимы», «Старик», «Яков Иванович», «Как медведь в железной клетке...», «Сердитый пес породы волкодавов...», «Синими очами океанов...», «Далёко — безмерно далёко...», «Поутру штору поднимая...»). Историко-литературный комментарий к поэме «Человек» написан *А. И. Овчаренко*; раздел историко-литературного комментария, в котором рассказывается об отношении французской прессы к памфлету «Прекрасная Франция», написан французским литературоведом *Жаном Перюсом* (перевод *Н. Ф. Ржевской*); перевод «Города Мамоны» сделан *Р. Г'анелиным*, под редакцией *Д. М. Урнова*. Текст «Записной книжки» подготовила и прокомментировала *Р. П. Пантелеева*.

Тексты рассмотрены и утверждены специальной Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*.

В организационной работе, связанной с подготовкой тома к печати, участвовала *И. И. Соколова*.

I

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

(Стр. 7)

Первоначально печаталось нелегально в гектографированных изданиях «Весенних мелодий» в конце марта 1901 г. Как самостоятельное произведение впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1901, т. IV, стр. 322—323.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Автограф (ХПГ-5-2-1, в составе «Весенних мелодий»). 2. Гранки набора для газеты «Курьер» (ХПГ-5-2-3, в составе «Весенних мелодий»). 3. Текст «Песни о Буревестнике» в *Зп*$_8$, правленный автором для *К* (ХПГ-42-28-1).

Печатается по тексту, подготовленному автором для *К*.

«Песня о Буревестнике» написана в Нижнем Новгороде, после возвращения Горького 12 марта 1901 г. из поездки в Петербург и Москву. В письме от 28 марта 1928 г., адресованном редакции «Известий», Горький вспоминал: «„Буревестник“ написан мною в Нижнем и был послан в „Жизнь“ почтой» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1928, № 84, 8 апреля). Писатель в это время был связан с московской организацией «Искры», вел революционную пропаганду в Нижнем Новгороде среди студентов и рабочих, выступал инициатором широких общественных протестов против преследования студентов. «...в сердце у меня горят зори весенние, и дышу я во всю грудь»,— писал он весной 1901 г. Л. Андрееву (*Лит Насл*, т. 72, стр. 87). В этом же письме Горький упоминал о том, что недавно писал о буревестнике: «...написал и напечатаю» (там же).

«Песня о Буревестнике» первоначально являлась заключительной частью «Весенних мелодий», запрещенных к печати. По воспоминаниям В. А. Поссе, «„Буревестник“ был напечатан, пройдя через предварительную цензуру Елагина, который не усмотрел в нем ничего революционного» (В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М.— Л., 1929, стр. 243).

Выход журнала с «Песней о Буревестнике» вызвал переполох среди жандармов. В специальной справке департамента полиции о журнале «Жизнь» сообщалось: «В апрельской книжке „Жизни“ предназначался к напечатанию рассказ Пешкова „Весна“, в коем характеризуется современный момент — момент возрождения сознания в обществе ⟨...⟩ Представитель

молодого поколения — Чиж — поет крайне возбуждающую песнь „О Буревестнике". Самый рассказ был запрещен цензурой, но отдельно „Песнь о Буревестнике" напечатана в апрельском нумере текущего года журнала „Жизнь"». Далее приводилась полностью «Песня о Буревестнике» и говорилось о «сильном впечатлении», произведенном ею в литературных кругах. В заключение охранники констатировали: «Горького стали называть не только „буревестником", но и „б у р е г л а ш а т а е м", так как он не только возвещает о грядущей буре, н о з о в е т б у р ю з а с о б о ю» (*Рев путь Г*, стр. 49—51).

Здесь чиновники департамента полиции использовали перлюстрированное ими письмо Л. Андреева к Горькому, предположительно датируемое 25 марта 1901 г. Л. Андреев писал, что определение Горького как «буревестника» «поистине должно стать крылатым». «А еще бы вернее назвать „буреглашатаем" 〈...〉 Вы не только сообщаете о грядущей буре: вы бурю зовете за собой...» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 86).

Цензура вскоре поняла свою ошибку. «Песня» была одним из поводов к запрещению журнала,— номер, в котором она напечатана, оказался последним.

Цензурные препятствия встретило печатание «Песни о Буревестнике» в издании М. Малых. Петербургская цензура, как вспоминала издательница, разрешила напечатать произведение лишь «роскошным изданием с рисунками, по рублю за книжку», и запретила «десятикопеечную серию», которая «расходится по фабрикам и заводам». С таким же запретом М. Малых столкнулась в Москве и Нижнем Новгороде. Лишь в Риге дешевое массовое издание было разрешено (Архив А. М. Горького, МоГ-9-18-1).

Произведение было опубликовано в сборнике: М. Г о р ь к и й. «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе»; Н. Т а н. «Песня весны», «Песня о стали»; Р. К и п л и н г. «Песня мертвых» (Рига, изд. Марии Малых, 1902).

19 февраля 1903 г. цензура вырезала рецензию на пятый том произведений Горького в издании $Зн_2$ (в него входили роман «Трое», «Песня о Буревестнике») из февральской книжки журнала «Русская мысль» («Красный архив», 1936, т. 5, стр. 55; см. также $ЛЖТ_1$, стр. 431).

О цензурном запрете «Песни о Буревестнике» в 1904 г. Горький писал Е. П. Пешковой: «Вышла „Русская муза" П. Я. (Якубовича-Мельшина). „Песнь о Буревестнике" — вырезали и сообщили, что больше ее разрешать к печати — не будут» (*Архив $Г_V$*, стр. 112).

Распространению «Песни о Буревестнике» способствовало включение ее в сборники революционных стихов и песен, выходившие за границей.

В 1902 г. «Песня о Буревестнике» была опубликована в сборнике «Песни борьбы» (Женева, издание Союза русских социал-демократов) в разделе «Из весенних мотивов 1901 года», в который входили стихи и песни, написанные по следам недавних революционных событий в стране. Сборник пропагандировался

ленинской «Искрой» (1902, № 29, 1 декабря; см. издание: «Искра», №№ 1—52», вып. 4, Л., стр. 20).

«Песня о Буревестнике» вошла и в подготовленный В. Перовой (В. М. Бонч-Бруевич-Величкина) сборник революционных песен и стихотворений «Перед рассветом» (Женева, 1905).

В передовых кругах русского общества «Песня о Буревестнике» была принята как пламенная революционная прокламация; произведение широко распространялось через нелегальные издания. Ем. Ярославский в статье «Путь пролетарского писателя в подполье» писал: «...особенно большое значение имел „Буревестник" Горького — эта боевая песнь революции. Вряд ли в нашей литературе можно найти произведение, которое выдержало бы столько изданий, как „Буревестник" Горького. Его перепечатывали в каждом городе, он распространялся в экземплярах, отпечатанных на гектографе и на пишущей машинке, его переписывали от руки, его читали и перечитывали в рабочих кружках и в кружках учащихся. Вероятно, тираж „Буревестника" в те годы равнялся нескольким миллионам» (*Рев путь Г*, стр. 9).

М. И. Ульянова свидетельствует: «...мы зачитывались его произведением „Мать", заучивали наизусть бессмертную „Песнь о Буревестнике"» (*В С*, стр. 41). М. И. Калинин назвал горьковского «Буревестника» «предвестником» 1905 года (М. И. К а л и н и н. Об искусстве и литературе. Статьи, речи, беседы. М., 1957, стр. 113), произведением, в котором «прекрасно передано революционное стремление передовых людей старой России» (там же, стр. 205).

Слова «Буря! Скоро грянет буря!», «Пусть сильнее грянет буря!» стали крылатыми (см., в частности, сборники «Листовки петербургских большевиков. 1902—1917», т. 1, 1902—1907. М., 1939, стр. 82; «Листовки Кавказского союза РСДРП. 1903—1905 гг.» М., 1955, стр. 414).

Деятель латышской социал-демократии, критик Я. Янсон-Браун писал в 1904 г. в связи с появлением пьесы Горького «Дачники»: «Просветленными и сильными расстанутся многие-многие с новейшим произведением Горького, бодрость и бесстрашие в борьбе почерпнут они из него, вновь и вновь будут они вспоминать Горького — автора „Песни о Соколе" и „Буревестника", сильного и смелого человека будущего, поэта» (В. А. В а в е р е, Г. М. М а ц к о в. Латышско-русские литературные связи. Рига, 1965, стр. 229). Латышский поэт-революционер, участник революции 1905—1907 годов К. Дрикис-Шалконис вспоминал: «Впервые с произведениями Горького я познакомился в 1904 году. С большим восхищением читал его гениальное произведение „Песня о Буревестнике". Читали его в подпольных кружках. Это было великолепное средство агитации. „Буревестник" был для нас своего рода революционным гимном...» (там же, стр. 223). В 1902 г. «Песня о Буревестнике» была переведена на литовский язык, а в 1903, переведенная вторично, напечатана в органе социал-демократической партии Литвы «Голос рабочих» (*Г Чтения*, 1949, стр. 510).

О большой популярности «Буревестника» Горького в передовых кругах армянской общественности рассказывал А. Исаакян:

«...Мне первому выпала честь перевести на армянский язык „Песню о Буревестнике“, и факт этот я отмечаю с особой гордостью.

Это изумительное произведение нашло большой отклик в армянском обществе, я получал восторженные письма, на армянских литературных вечерах везде читали „Песню о Буревестнике“» («Литературная газета», 1946, № 25, 15 июня).

«Песня о Буревестнике», по словам Н. К. Крупской, ярко отразила «весь революционный настрой Горького; каждая строка песни выражает то, что переживал тогда рабочий класс, каждая строка дышит поэзией революционной борьбы рабочего класса. Кто прочтет эту песню, поймет, за что так полюбил Горького Ильич, за что полюбили его так рабочие массы. Не тогда пришел он к большевикам, когда они победили, а в разгар борьбы» (Н. К. Крупская. Об искусстве и литературе. Статьи, письма, высказывания. Л.— М., 1963, стр. 191). В статье «Ленин и Горький» Н. К. Крупская отмечала, что В. И. Ленину «нравились песни о Соколе и Буревестнике, их настрой» (там же, стр. 48).

Образы «Песни о Буревестнике» В. И. Ленин использовал в 1906 г. в статье «Перед бурей»: «Мы стоим, по всем признакам, накануне великой борьбы. Все силы должны быть направлены на то, чтобы сделать ее единовременной, сосредоточенной, полной того же героизма массы, которым ознаменованы все великие этапы великой российской революции. Пусть либералы трусливо кивают на эту грядущую борьбу исключительно для того, чтобы погрозить правительству, пусть эти ограниченные мещане всю силу „ума и чувства“ вкладывают в ожидание новых выборов,— пролетариат готовится к борьбе, дружно и бодро идет навстречу буре, рвется в самую гущу битвы. Довольно с нас гегемонии трусливых кадетов, этих „глупых пингвинов“, что „робко прячут тело жирное в утесах“.

„Пусть сильнее грянет буря!“» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 337—338).

Своеобразной формой революционной агитации являлись публичные чтения «Песни о Буревестнике». По свидетельству А. А. Белозерова, «Песню о Буревестнике», как и «Песню о Соколе», «сотни и тысячи пролетариев заучивали наизусть, они были обязательным номером в любой общественной вечеринке, их декламировали с рабочих сцен, в кружках, на собраниях и митингах. Этой песней М. Горький попал в центр пролетарского сердца, он сказал то, что таилось и безудержно назревало в глубинах пролетарских масс» (сб. «М. Горький в Н. Новгороде». Нижний Новгород, 1928, стр. 164). Именно поэтому исполнение «Песни» с эстрады преследовалось цензурой (см. Н. Н. Ходотов Близкое-далекое. Л.— М., 1962, стр. 167—168).

Участница революции 1905—1907 годов С. Смидович рассказывала, что летом 1901 г. в Пречистенском арестном доме

заключенные революционеры устроили литературный вечер, на котором исполнялась «Песня о Буревестнике» («Вечерняя красная газета», 1932, № 223, 25 сентября).

Впечатление о том, как была принята «Песня о Буревестнике», прочитанная со сцены в январе 1906 г. в Берлине, надолго сохранил В. И. Качалов: «...я читал „Буревестника“ и „Ярмарку в Голтве“. Помню, как горячо и шумно публика приветствовала Горького, встала при его появлении. Треск аплодисментов, крики „хох!“ В театре было много русских эмигрантов» («В. И. Качалов. Сборник статей, воспоминаний, писем». М., 1954, стр. 44).

Чтением «Песни о Буревестнике» нередко сопровождались выступления самого Горького в Петербурге, Москве, Финляндии, Германии, Америке. Сохранила она свое революционное значение и после первой русской революции. Показательны слова приветствия Горькому от рабочих-печатников Москвы в связи с возвращением писателя в Россию в 1914 г.: «Ваши песни о „Соколе“ и „Буревестнике“ всегда и в особенности в тяжелые минуты жизни ободряли нас и звали к борьбе за лучшую жизнь» («Раннее утро», 1914, № 33, 9 февраля).

Известны попытки музыкального истолкования «Песни о Буревестнике». Об одном из первых переложений ее на музыку (преподавателем Петербургской консерватории Евг. Вильбушевичем) Горький упоминал в письме к Е. П. Пешковой от 20 октября 1904 г. (*Архив Г*$_{V}$, стр. 130, 242). В 1904 г. кантату на текст «Песни о Буревестнике» написал композитор Я. В. Вейнберг, делившийся своим замыслом с Горьким и получивший его одобрение (см. *Г Чтения*, 1964, стр. 236).

Имя Буревестника закрепилось за самим создателем «Песни», вошло в критику и публицистику, а потом в поэзию и фольклор (см. *Г*, *Материалы*, т. III, стр. 272—273).

Противоположность оценок «Песни о Буревестнике» в различных общественных кругах России иллюстрируют воспоминания Ильи Колосова, партийного пропагандиста, одного из первых сотрудников «Правды». Он рассказывал о столкновении сторонников В. И. Ленина с интеллигентами-либералами в Киеве, в одном из «политических салонов»:

«От острых боевых политических тем постепенно перешли к творчеству Горького.

Один из студентов рассказал, как агитаторы и пропагандисты используют „Буревестник“ и „Песню о Соколе“ в борьбе с „экономизмом“, наряду с ленинским „Что делать?“.

Известный киевский адвокат Л. А. Куперник, защитник по политическим процессам, примыкавший к союзу либералов, так называемому „Союзу освобождения“, заметил:

— Видно, „искровцы“ решили за волосы притянуть Горького к своей борьбе с „экономизмом“ и „либерализмом“.

— Какой же вам Горький марксист,— обратился он к старому рабочему, из киевского арсенала, Василию Мартынову.

— Горький тип ярого бунтаря-анархиста, а не марксист; его герои крайние индивидуалисты, противники всякого общест-

венного уклада,— продолжал свою речь этот либерал, критикуя по-своему Горького.

— Мы Горького не отдадим,— волнуясь, возразил рабочий Мартынов.— И в „Буревестнике“ и в „Песне о Соколе“ Горький именно говорит о революционном пролетариате,— скромно промолвил Мартынов, немного смущаясь своим первым выступлением в непривычном ему „политическом салоне“ русской интеллигенции» («Удмуртская правда», 1937, № 138, 18 июня).

Став в годы первой русской революции боевым паролем, «Песня о Буревестнике» вызывала ненависть в лагере реакции.

Публицист из реакционного журнала «Русский вестник» Н. Я. Стечькин обвинял Горького в том, что он «в таких вещах своих, как „Буревестник“ и „Человек“, под ложно-поэтической формой скрыл призыв к восстанию против существующего уклада жизни» (Н. Я. Стечькин. Максим Горький. Его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского общества. СПб., 1904, стр. 258). Нововременец В. П. Буренин именовал «Песню о Буревестнике» «революционно-книжной „частушкой“», рассчитанной на «„заводские“ идеи о свободе, „заводские“ эстетические вкусы» («Новое время», 1906, № 10909, 28 июля).

Либеральная критика, как правило, проходила мимо революционного содержания «Песни». А. М. Скабичевский в кратком обзоре русской литературы за 1901 г. лишь упомянул «Песню о Буревестнике» («Новости и биржевая газета», 1902, № 1, 1 января). В другой своей статье он отнес ее к произведениям Горького, которые «не имеют ничего общего с натурализмом и всецело принадлежат к символической поэзии» (А. Скабичевский. Соч. в 2 томах, т. 2. СПб., 1903, стр. 936).

Эта характеристика «Песни» вызвала полемически острое замечание близкого к марксистам критика и ученого М. М. Филиппова: «Вообще теперь критика ищет „символов“. Г-н Скабичевский усмотрел „символ“ в „Буревестнике“ Горького. Да, г. Скабичевский, это „символ“, но совсем особого рода!» («Научное обозрение», 1901, № 12, стр. 253).

Критик «Русского богатства» В. Г. Подарский отметил высокие эстетические качества произведения Горького, характеризуя его как «великолепные белые стихи», воспевающие «размером „Калевалы“ и гейневского „Атта Тролля“ радость сильной и вольной птицы перед грозой» («Русское богатство», 1901, № 7, отд. II, стр. 82—83).

Для Н. К. Михайловского «Песня о Буревестнике», о которой он упомянул вскользь, явилась только добавочным подтверждением его мнения о неясности «философии» Горького («Русское богатство», 1902, № 2, отд. II, стр. 173).

Большая идейно-эстетическая ценность «Песни о Буревестнике» была несомненной для В. В. Стасова. В 1904 г., назвав ряд произведений Горького («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Коновалов», «Озорник», «Вывод»), Стасов писал: «...разве всё это не полные глубокой мысли творения, разве это всё не вечно живая, трепещущая, бьющаяся мысль о всем

нынешнем, существующем, являющаяся в формах великого, страстного поэтического таланта? Это ли еще не вечная мечта о счастье и несравненной великой будущности человечества?» («Новости и биржевая газета», 1904, № 272, 2 октября).

После революции 1905 года борьба мнений вокруг «Песни о Буревестнике» продолжалась.

Б. Тихомиров, сопоставляя «Песню о Буревестнике» с новыми произведениями писателя, пытался развенчать революционные идеи прошлого, доказать несостоятельность раннего творчества Горького (см. Б. Тихомиров. Кое-что о героях Максима Горького.— Сб. «Грядущий день», кн. II. СПб., 1907).

А. В. Амфитеатров увидел в «Песне о Буревестнике» «краткий, как фейерверк или пороховой взрыв, порыв пламенного чувства», «буйную лирику мысли» (А. Амфитеатров. Литературный альбом. СПб., изд. 2, 1907, стр. 66). В очерке 1907 г. «Новый Горький» Амфитеатров писал: «В громадном таланте Максима Горького самая сильная художественная сторона — эпическая: блестящие описания, быт и „марш во славу или на смерть героя“ — бессмертная „Песня о Соколе“, „Буревестник“ и т. п.» (А. Амфитеатров. Современники. М., стр. 92).

Характеристику художественного своеобразия «Песни о Буревестнике» дал впоследствии А. В. Луначарский. В 1931 г. в статье «М. Горький-художник» он писал, что Горький пользуется приемами «патетической романтики, то есть повышенных фантастических образов, которые концентрируют и прекрасное и высокое. Всем памятны и никогда не забудутся „Буревестник“, „Песня о Соколе“» (*Луначарский*, т. 2, стр. 133).

Сам Горький связывал романтизм «Песни о Буревестнике» с поисками социального идеала, стремлением осветить этим идеалом повседневную жизнь. В статье «О том, как я учился писать» он говорил: «Итак, на вопрос: почему я стал писать?— отвечаю: по силе давления на меня „томительно бедной жизни“ и потому, что у меня было так много впечатлений, что „не писать я не мог“. Первая причина заставила меня попытаться внести в „бедную“ жизнь такие вымыслы, „выдумки“, как „Сказка о соколе и уже“, „Легенда о горящем сердце“, „Буревестник“ ...» (*Г-30*, т. 24, стр. 473).

Вместе с тем автор отзывался и критически о своем произведении. В 1910 г. он писал художнику И. И. Бродскому:

«Вы хотите, чтоб я прислал Вам рукопись „Буревестника“,— могу и, конечно, сделаю это для Вас с удовольствием искренним.

Но — это вещь старая, тысячи ртов жевали ее, слова ее, когда-то налитые живым соком сердца, ныне омертвели, поблекли, и, скажу по совести,— „Буревестник“ уже не нравится мне. Как бы чужая вещь» (*Г-30*, т. 29, стр. 129).

Позднее, откликаясь на просьбу определить значение и место «Песни о Буревестнике» в своем творчестве, Горький писал 5 декабря 1935 г. учителю В. В. Мареку: «Авторы — плохие ценители своих произведений и опираться на их оценку—не следует, ибо она всегда будет субъективна ⟨...⟩ „Буревестник“—

вещица, которая „попала в настроение“ и в какой-то степени разогрела его еще более. И поскольку требуется моя субъективная оценка — я скажу, что эту вещицу не склонен ценить высоко» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-25-17-1).

Однако в 1927 г. Горький в письме тверской комсомольской газете «Смена», рекомендуя книги для воспитания молодежи, растущей, по его словам, «удивительно быстро», писал: «Может быть, подойдет „Человек“, „Песня о Соколе“, „Буревестник“?» («Смена», Тверь, 1927, № 7, 25 ноября; см. также: Б. П о л е в о й, Г. К у п р и я н о в. Письма из Сорренто. Калинин, 1936, стр. 11).

ЗЛОДЕИ

(Стр. 9)

Впервые, под заглавием «История одного преступления. Рассказ», напечатано в 1901 г. одновременно в газетах: «Нижегородский листок», №№ 311, 313, 316, 318; «Курьер» (Москва), №№ 314, 316, 318, 321 — с 13 по 20 ноября.

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 20, строка 14: «вспомнил» вместо «вспоминал» (по AM_1 и AM_2).

Стр. 30, строка 28: «точно замерзла» вместо «точно замерла» (по всем другим источникам).

Стр. 31, строка 25: «в котору сторону» вместо «в которую сторону» (по AM_1 и AM_2).

Рассказ написан в конце октября 1901 г. Горький сообщал 23—24 октября К. П. Пятницкому: «Теперь же пишу рассказ для „〈Нижегородского〉 листка“. Неважен будет он! Ибо, вдпите ли, теперь меня всё тянет на драму» (*Архив* $Г_{IV}$, стр. 48). И ему же 28—29 октября: «Я написал рассказ, размером большой и по содержанию неважный. Он появится сразу в трех газетах: „Ниж〈егородском〉 лист〈ке〉“, „Самарской газете и „Курьере“» (там же, стр. 51).

Несмотря на одновременность публикации, текст «Нижегородского листка» несколько отличается от текста «Курьера» (29 разночтений). Видимо, в «Нижегородском листке» Горький правил корректуру.

В конце 1901 или начале 1902 г., пересылая текст рассказа (газетные вырезки из «Нижегородского листка») для перевода на немецкий язык, писатель дал ему новое название: «Преступление. Рассказ» и сделал приписку, адресованную, видимо, Пятницкому: «Перешлите это г. Шольцу[1], если найдете, что ему рассказ этот понадобится. А. П.» (Архив А. М. Горького, ХПГ-31-2-4).

25 ноября 1901 г. Н. Д. Телешов сообщил Горькому о задуманном издании дешевого сборника рассказов для народа и просил разрешения включить в него «Историю одного преступле-

[1] А. К. Шольц — переводчик произведений Горького на немецкий язык.

ния» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 260). Горький ответил (2 декабря 1901 г.): «С искренним удовольствием отдаю рассказ, и — по совести должен сказать тебе — великолепное ты дело задумал! 〈...〉 Вот что: заголовок рассказа надо изменить так: „Преступники“» (там же, стр. 33). Однако издание сборника не состоялось (см. там же, стр. 260).

11 ноября 1903 г. некто Н. П. Ложкин из Вятки обратился в С.-Петербургский цензурный комитет за разрешением издать отдельной брошюрой рассказ «История одного преступления». 3 марта 1904 г. на основании доклада цензора С.-Петербургским цензурным комитетом было «определено»: «...рассказ к напечатанию отдельным изданием не разрешать» (Архив А. М. Горького, ЦД-3-22).

В 1914 г. Горький заново отредактировал рассказ для *ЖЗ* (значительно сократил его, внес ряд изменений стилистического характера) и озаглавил его «Злодеи». Под таким заглавием он вошел во 2-е издание X тома *ЖЗ* (1914 г.). В Архиве А. М. Горького хранится машинописный текст с правкой автора для *ЖЗ* (ХПГ-31-2-5). Характерно изменение концовки рассказа. В первых публикациях было: «Эки... дураки!..

Судили их, конечно. И осудили: Ванюшку в каторгу на шесть лет, а Салакина — на восемь...» В окончательной редакции эти слова сняты.

После первой публикации на рассказ Горького откликнулся лишь А. А. Измайлов. «...блестки знакомого таланта по-прежнему ярки в г. Горьком,— писал он,— но молодой беллетрист несравненно сильнее там, где он является во всеоружии и своей изобретательности, и своей фантазии, а не в сюжетах, разрабатывающих обыденно драматическое содержание жизни» («Биржевые ведомости», 1901, № 330, 3 декабря).

В 1903 г. в Париже С. М. Перский без разрешения Горького инсценировал рассказ. Инсценировка называлась: «Ваня. Сцены в 4-х картинах, переделка из рассказа М. Горького».

«Сочинение» Перского получило резко отрицательный отзыв в печати (см. «Московские ведомости», 1903, № 152, 5 июня; «Русские ведомости», 1903, № 154, 6 июня; «Русское слово», 1903, № 151, 3 июня).

В связи с инсценировкой рассказа корреспондент «Русского слова» писал:

«У Горького „История одного преступления“ — прекрасный рассказ, полный жизненности и психологического интереса.

У г. С. Перского получилась бульварная мелодрама».

Когда рассказ вошел в собрание сочинений писателя, в некоторых органах печати он был принят за новое произведение. Так, в 1915 г. «Волгарь» (№ 67, 10 марта), печатая отрывки из рассказа, сопроводил публикацию пометкой: «Новый рассказ М. Горького». Газета «Биржевые ведомости» в статье «Злодеи. Новый рассказ М. Горького» писала: «В портфеле М. Горького хранятся перлы, равные только лучшим произведениям писателя. Один такой рассказ, под названием „Злодеи“, находим в выходящем десятом томе полного собрания сочинений М. Горького,

выпускаемого издательством „Жизнь и знание". Рассказ этот появляется впервые» («Биржевые ведомости», 1915, № 14707, 4 марта).

Стр. 18: *Не-е-красива я, бед-дна...* — одна из вариаций популярной народной песни, возникшей на основе стихотворения И. З. Сурикова (1841—1880) «Сиротой я росла...» (1867). Текст восьмой строфы этого стихотворения:

Ох бедна я, бедна,
Плохо я одета,—
Никто замуж меня
И не взял за это!—

(И. З. Суриков и поэты-суриковцы. Библиотека поэта. Большая серия. М.—Л., 1966, стр. 104).

ЧЕЛОВЕК

(Стр. 35)

Впервые напечатано отдельным изданием: Максим Горький. Человек. Verlag Dr. J. Marchlewski. München, 1904, и одновременно в «Сборнике товарищества „Знание" за 1903 год», книга первая. СПб., 1904.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись с пометкой К. П. Пятницкого: «Первая версия, присланная в письме от 20 октября 1903 г.» (ХПГ-48-1-8). 2. Беловой автограф со вставками и исправлениями (ХПГ-48-1-1). 3. Беловой автограф с поправками и несколькими большими вставками (ХПГ-48-1-2). 4. Машинопись с автографа ХПГ-48-1-2 — с новыми авторскими исправлениями и дополнениями (ХПГ-48-1-4). 5. Последний лист из рукописной копии текста, сделанной А. Н. Тихоновым (ХПГ-48-1-7). 6. Письмо Горького Пятницкому от 12 или 13 декабря 1903 г. с двумя вставками в поэму (ПГ-рл-34-1-67). 7. Печатный текст поэмы в *Зн*, т. 9, с правкой автора (ХПГ-48-1-5).

Факсимиле небольшого отрывка из поэмы воспроизведено в книге: Hans Ostwald. Maxim Gorki, изданной в серии: Die Literatur. Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Georg Brandes, Band IV, Berlin, ⟨1904⟩ — вкладной лист между стр. 20 и 21. Как свидетельствует подпись, этот отрывок из автографа был специально переписан и прислан Горьким автору книги. Это же факсимиле из книги Оствальда воспроизведено в журнале «Новый мир», 1904, № 136, 16 августа, стр. 138. Горький выбрал отрывок, в котором наиболее остро выражена социальная позиция героя поэмы:

«— Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний — хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!

— Бессмысленна, позорна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь

уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом, и дарами духа».

Все печатные тексты поэмы, появившиеся после *Сб Зн*, в основном повторяют его текст. В сентябре 1909 г., при подготовке 9-го тома *Зн*, Горький перечитал поэму (см. письмо Пятницкого С. П. Боголюбову.— Архив А. М. Горького, № 65778), но исправлений не внес. Новый этап работы запечатлен на печатном тексте *Зн*, т. 9, правленном автором для *К* (*Пр Зн*). Этот текст не вошел в *К*, так как был потерян при подготовке этого издания.

Печатается по тексту *Пр Зн*, с исправлением (по всем архивным источникам и изд. Мархлевского): «ей, сотворившей множества богов» (*стр. 38, строки 22—23*) вместо «ей, сотворившей множество богов».

Идея произведения, в центре которого стоял бы обобщенный, философски осмысленный образ Человека, возникла у Горького еще в период арзамасской ссылки. 24 или 25 июля 1902 г. он сообщал Пятницкому: «Учусь играть на пианино, дабы научиться играть на фисгармонии, уверен, что научусь. Сие мне необходимо, ибо я задумал одноактную пьесу „Человек". Действующие лица — Человек, Природа, Чёрт, Ангел. Это — требует музыки, ибо должно быть написано стихами» (*Архив* $Г_{IV}$, стр. 95).

Замысел пьесы не был осуществлен, но, по-видимому, тема Человека продолжала созревать в творческом воображении писателя.

Некоторые детали произведения восходят к еще более раннему периоду. Так, слова, ставшие рефреном поэмы («вперед! и — выше!») содержатся в письме Горького Л. Андрееву от 16—18 августа 1900 г.: «Желаю вам от всего сердца успеха на новом, хорошем пути. Валяйте во всю мочь и вперед и выше, выше!» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 72).

Первое упоминание о работе над поэмой встречается в письме Горького А. Н. Алексину от конца апреля 1903 г.: «Берусь за литературу. Пишу „Человек!" — поэма» (*ЛЖТ*$_I$, стр. 437; *Г Чтения*, 1968, стр. 16). Но самый напряженный период работы падает на октябрь 1903 г. 7—8 октября Горький сообщал Пятницкому: «Пишу во все концы и свое дело делаю — начал писать „О Человеке и мещанине"» (так первоначально называл Горький свою поэму. *Архив* $Г_{IV}$, стр. 138). 11—12 октября он писал ему же: «Скоро я пришлю вам свое „сочинение" с покорной просьбой — прочитайте и скажите, не наврал ли я где?» (там же, стр. 139). А 12 октября — Е. П. Пешковой: «Я работаю, пишу большую, по значению, вещь,— удастся ли — не знаю. Это требует усиленного средоточия мысли и хорошего языка. Могу с треском провалиться и быть обруганным на всех наречиях. Очень нуждаюсь в абсолютном покое и т. д.» (*Архив* $Г_V$, стр. 88). 14—15 октября — снова Пятницкому: «Сейчас — мне положительно не хотелось бы отрываться от своей работы, которая сильно вцепилась в меня. Скоро пришлю вам начало, с моей большой просьбой — внимательно прочитать. Очень прошу о внимании вашем

к этой штуке» (*Архив* $Г_{IV}$, стр. 140). И, наконец, ему же 18 октября (это письмо Пятницкий датировал 20 октября):

«...посылаю вам моего „Человека" и очень прошу вас внимательно, не однажды, прочитать его. Затем сообщите мне, как это звучит и где я наврал.

На неровности ритма — не обращайте внимания, если они не очень уж резко режут слух. У меня не было намерения писать ритмической прозой, вышло это неожиданно, будучи, видимо, вызвано самим сюжетом.

Гладких и слащавых стихов — я не хочу и языка править не стану.

А вот — что тут лишнее и чего не хватает? Вообще — посмотрите. Потом возвратите рукопись вместе с теми примечаниями и указаниями, которые найдете нужным сделать.

Очень меня эта вещь смущает. Как всегда — я, кажется, испортил хорошую тему» (там же, стр. 141).

С этим письмом Горький послал Пятницкому машинопись, на которой последний написал «Первая версия...» (см. стр. 460). Кроме этой машинописи, вариантом, запечатлевшим один из первоначальных этапов работы Горького над поэмой, является неавторизованная рукопись, сделанная А. Н. Тихоновым. Она кончается обращением писателя к М. Ф. Андреевой:

«Вот Вам моя песня. В ней за громкими и грубыми словами скрыта великая мечта моей души, единственная моя вера, она-то именно давала и дает мне силу жить [хотя теперь]. Мною много было испытано. Часто Смерть смотрела в очи мне и дышала в лицо мое холодом и хотела убить сердце мое леденящим дыханием ужаса — но и Смерть не убила мечты моей. Не однажды крылатое Безумие над моею головою властно реяло, и я чувствовал пламя под черепом, но и в нем не сгорела мечта моя. И не раз слышал я злой смех Дьявола над убитыми грезами юности, но и острая сила сомнения не разрушила эту мечту мою, ибо с ней родилось мое сердце».

И далее приписка карандашом:

«Я кладу его к Вашим ногам. Оно крепкое. Вы можете сделать из него каблучок для своих туфель».

Горького волновал вопрос, удалась ли ему поэма, в которой он воплотил самые дорогие, выстраданные убеждения, дойдет ли суть ее до читателя. Это беспокойство сквозит в письмах Пятницкому после отсылки машинописи. 30 октября: «Умоляю— напишите мне о „Человеке". Очень жду и очень нужно» (*Архив* $Г_{IV}$, стр. 144). 3 ноября: «Телеграфируйте, как „Человек", стоит печатать этом виде или нет» (там же).

После того как машинопись была послана Пятницкому, Горький снова принялся за работу над поэмой. Об этом свидетельствует автограф (ХПГ-48-1-1), содержащий несколько пластов работы писателя. Именно с этого автографа была снята машинопись для Пятницкого, и, естественно, ранее вычеркнутые варианты не попали в машинопись, но остались в автографе.

А когда машинопись была уже отослана, Горький внес много новых исправлений в этот же автограф.

Но и эта работа не удовлетворила Горького. Уже 21 или 22 октября он сообщил Пятницкому: «„Человека“ переделаю сверху донизу, знаю как. Третью часть — вон». И ему же 26 октября: «Дорогой друг, с нетерпением жду вашего отзыва о „Человеке“. Переделал его иначе,— но, кажется, стало еще хуже. Вещь, однако, нужная и напечатать ее — придется» (там же, стр. 142 и 143).

Видимо, в конце октября — начале ноября появилась вторая редакция поэмы, состоящая — в отличие от первой, трехчастной — из двух частей. Она тоже имеет несколько следующих друг за другом источников. Прежде всего это — автограф (ХПГ-48-1-2), а затем — машинопись, сделанная с этого автографа и снова подвергнутая правке.

В переписке с Пятницким не сохранилось сведений о том, когда эта машинопись была доставлена ему Горьким. Возможно, он получил ее при личной встрече, во время пребывания Горького в Петербурге — с 20 ноября до 11 декабря. Вернувшись в Нижний Новгород, Горький чуть не на другой день шлет Пятницкому новые вставки в поэму. 12 или 13 декабря он пишет:

«Пожалуйста, вставьте в „Человека“ после слов — „Мое оружье — Мысль“ —

> „а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы“.

Затем —

> „Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений, я вижу, что всё ярче он горит, всё глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной вослед за ней, всё —выше! и — вперед!“» (там же, стр. 145).

В машинопись эти вставки вписаны рукой Пятницкого. Текст машинописи совпадает с первой публикацией поэмы— в издании Мархлевского (Мюнхен). Готовя текст для *Сб Зн*, Горький внес несколько новых исправлений.

Как уже говорилось, первая редакция состояла из трех частей. Во второй редакции поэмы — две части. Особенно значительным изменениям подверглась вторая часть первой редакции; эта часть *завершалась* образом Человека, который «теряет сам себя». Во второй редакции она начинается образом уставшего Человека, но вскоре этот образ заслоняется и отступает перед образом Человека-победителя, бойца, который вновь идет дальше, «величественный, гордый и свободный». Поэма завершается апофеозом Человека-победителя, причем во второй редакции автор дает слово самому Человеку, а не говорит за него, как это было в первой редакции.

В уже приведенном письме Пятницкому от 18 октября 1903 г., в котором Горький сообщал о посылке поэмы, он далее писал:

«Продолжать я буду — о мещанине, который идет — в отдалении — за Человеком и воздвигает сзади его всякую мерзость, которой потом присваивает имя всяческих законов и т. д. ...

Тут уже другой язык, конечно» [1].

Еще до того, как поэма была опубликована в *Сб Зн* (март 1904 г.), она начала распространяться в списках. 14 февраля 1904 г. Горький сообщал Е. П. Пешковой: «...в Питере по рукам ходят списки „Человека"...» (*Архив* $Г_V$, стр. 98).

Горький придавал большое значение поэме, считая, что в ней более непосредственно, чем в других его произведениях, отразилось его мировоззрение. 27 декабря 1903 г. он писал А. А. Богданову: «...того, что меня зачислят в идеалисты à la Булгаков — не боюсь. В феврале выйдет моя маленькая статейка, в коей я излагаю мое кредо. Она называется „Человек"» (см. *Овчаренко*, стр. 148). А по выходе поэмы писал А. А. Дивильковскому: «Высылаю сборник „Знания", где помещен мой „Человек" — мое credo». «...быть только художником — нельзя в наши дни» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-13-34-1 и 13-34-2).

Получив в 1906 г. изданную в переводе на испанский язык пьесу «На дне», Горький писал ее переводчикам: «Я был бы также рад, если бы на испанский язык было переведено другое мое произведение, под названием „Человек", в котором воплощена и развита главная мысль „На дне". В поэме „Человек" я стремлюсь показать незавидность человеческого разума. Я говорю: „Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа"» (*Архив*, $Г_{VIII}$, стр. 231).

Много позднее, в 1928 г., автор сказал: «Когда впервые я писал Человек с большой буквы, я еще не знал, что это за великий человек. Образ его не был мне ясен. В 1903 году я постиг, что Человек с большой буквы воплощается в большевиках во главе с Лениным, а в 1907 году я увидел воочию на Лондонском съезде...» («В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы». М., 1969, стр. 355).

Поэма «Человек» получила противоречивую оценку у писателей — современников Горького. Многие отнеслись к ней сдержанно или даже отрицательно. На чрезмерный дидактизм нового произведения указывал А. П. Чехов. 13 апреля 1904 г. он писал А. В. Амфитеатрову: «Сегодня читал „Сборник", изд. „Знания", между прочим горьковского „Человека", очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом на о...» (*Г и Чехов*, стр. 207).

15 июля 1904 г. корреспондент газеты «Русь» опубликовал отзыв Толстого о «Человеке». «Упадок это,— сказал корреспонденту Толстой о поэме,— самый настоящий упадок; начал учительствовать, и это смешно...» («Русь», 1904, № 212, 15 июля). В беседе с тем же корреспондентом Толстой говорил: «Человек

[1] Незавершенный набросок о мещанине см. в разделе III (стр. 383).

не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь; это бессмысленно — пытаться исправлять природу, бессмысленно...». Эти слова были сказаны по другому поводу, но они помогают понять и причины отрицательного отношения к поэме «Человек».

20 июля 1904 г. А. Б. Гольденвейзер записал в дневнике: «Говорили о Горьком и о его слабом „Человеке“. Л. Н. рассказал, что нынче, гуляя, встретил на шоссе〈...〉прохожего, оказавшегося довольно разбитым рабочим.

Л. Н. сказал:

— Его миросозерцание вполне совпадает с так называемым ницшеанством и культом личности Горького. Это, очевидно, такой дух времени...» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. 1. М., 1922, стр. 129). Значит, дело было не в дидактизме Горького, а в том, что Горький прославлял миропонимание, близкое «развитым рабочим», но не принимавшееся Толстым.

Много внимания уделил поэме «Человек» Короленко в рецензии на первый *Сб Зн.*

«Прежде всего, вероятно, большинство читателей открывают книгу на очерке М. Горького „Человек“,— писал он.— На этот раз, впрочем, это не художественный рассказ, а лирико-философский эскиз, в котором автор прославляет „Человека“ за его „мысль“. „В часы усталости духа“... так начинает автор свой очерк... И нужно сказать, что некоторая печать несомненной усталости духа лежит на всем произведении. Тем не менее, биографу Горького придется отметить основной мотив „Человека“: прославление мысли, и притом *одной мысли*, как двигателя человечества по пути „вперед и выше“. До сих пор, пожалуй, в произведениях г-на Горького можно было заметить скорее превознесение сильных непосредственных импульсов и темпераментов» (Журналист 〈В. Г. Короленко〉. О сборниках товарищества «Знание» за 1903 г.— «Русское богатство», 1904, № 8, отд. II, стр. 131). Короленко считает, что, несмотря на упоминание «гармонии», Горький всё же поддерживает старинную тяжбу между «умом и чувством», хотя это совершенно бесплодная тяжба. Главный же его упрек связан с тем, что в поэме, как показалось Короленко, сам образ Человека «не совсем ясен», в частности он не дан, говоря словами Гёте, «в совокупности человечества» и поэтому может быть связан с представлением о ницшеанском «сверхчеловеке». Подлинный Человек не противостоит человеку и человечеству, а состоит «из порывов мысли, из кипения чувства, из миллиардов стремлений, сливающихся в безграничный океан и создающих *в совокупности* представление о величии всё совершенствующейся человеческой природы». До сих пор Горький служил своим творчеством этому глубоко демократическому взгляду. В поэме же «Человек» он, как представляется автору рецензии, подпал под влияние Ницше. «Человек же Ницше, или, как его принято вульгаризировать, „Сверхчеловек“, есть понятие глубоко аристократическое и регрессивное. Он тоже участвовал в творчестве г-на Горького, искажая и извращая его образы. Теперь, в лирико-философском очерке нашего автора, он выступает без художественных прикрытий:

Человек" г-на Горького, насколько можно разглядеть его черты,—есть именно человек ницшеанский: он идет „свободный, гордый, *далеко впереди людей* (значит —не с ними?) и *выше жизни* (даже самой жизни?), *один*, среди загадок бытия..."

И мы чувствуем, что это „величание", но не величие. Великий человек Гёте, как Антей, почерпает силу в общении с родной стихией человечества; ницшеанский „Человек" г-на Горького презирает ее даже тогда, когда собирается облагодетельствовать. Первый — сама жизнь, второй — только фантом» (там же, стр. 131—132).

Односторонне понял «Человека» и художник М. В. Нестеров, в это время испытывавший сильные религиозные влияния. 19 апреля 1904 г. он писал своему другу А. А. Турыгину: «„Человек" предназначается для руководства грядущим поколениям, как „гимн" мысли. Вещь написана в патетическом стиле, красиво, довольно холодно, с определенным намерением принести к подножью мысли чувства всяческие — религиозные, чувство любви и проч. И это делает Горький, недавно проповедовавший преобладание чувства „над мыслью", всею жизнью доказавший, что он раб „Чувства"...» (М. В. Нестеров. Из писем. Л., 1968, стр. 172). И ему же — в письме от 24 апреля 1904 г.: «Дилетант-философ в восхвалении своем „мысли" позабыл, что всё лучшее, созданное им, создано при вдохновенном гармоническом сочетании *мысли и чувства*.

Всё самое великое на земле, созданное когда-либо человеком, создано им при равномерном участии этих *неразделенных* спутников творчества. Вот где коренная неправда, фальшь поэмы. Быть может, предвзятость, преднамеренность такая и делает новое произведение Максима столь *холодным*, хотя и красивым внешне» (там же).

Иначе воспринял поэму «Человек» Л. Андреев. «Прочел я „Человека",— писал он Горькому в апреле 1904 г.,— и вот что в нем поразило меня. Все мы пишем о „труде и о честности", ругаем сытое мещанство, гнушаемся подлыми мелочами жизни, и всё это называется „литературой". Написавши вещь, мы снимаем актерский костюм, в котором декламировали, и становимся всем тем, что так горячо ругали. И в твоем „Человеке" не художественная его сторона поразила меня — у тебя есть вещи сильнее— а то, что он при всей своей возвышенности передает только *обычное* состояние твоей души. *Обычное* — это страшно сказать. То, что в других устах было бы громким словом, пожеланием, надеждою,— у тебя лишь точное и прямое выражение обычно существующего. И это делает тебя таким особенным, таким единственным и загадочным...» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 208).

Большинство критиков встретило поэму «Человек» в штыки.

«Ну, вот и договорено наконец недоставшее в писаниях г. Максима Горького слово. Дан ключ к его „творениям"»,— так начал статью о поэме «Человек» критик А. Басаргин ⟨А. И. Введенский⟩,к этому времени занимавший реакционные позиции. Когда-то находивший в произведениях Горького немало положительного, этот критик вынужден был признать наличие орга-

нической связи между поэмой «Человек» и всем предшествующим творчеством писателя. По его мнению, поэма содержит призыв к революции; в ней находят обнаженное выражение ведущие тенденции творчества Горького, угрожающие обществу «социальной катастрофой», «исторпей Франции». Особенно возмущает А. Басаргина то, что в поэме развенчивается религия. Критик полностью разделяет мнение монархиста Н. Я. Стечькина, что конечный вывод, вытекающий из поэмы «Человек»,— утверждение неизбежности революции. «Да, логика, действительно, здесь неизбежная. Неизбежная и ужасающая»,— признается А. Басаргин и призывает «власти предержащие» обратить самое пристальное внимание на книгу Стечькина о Горьком. «Свою книгу,— пишет он о Стечькине,— автор оканчивает горячим обращением к обществу, которое призывает отнестись наконец критически-трезво к тому писателю, который возводит в идеал „отребье общества“ — этот „горючий материал“ возможного бунта; который, каждою строкой своих писаний, идет против основ нравственности, религии, общественности и государственности 〈...〉 который, под ложно-поэтическою формой,— в своих „Буревестнике“ и „Человеке“, —призывает к восстанию против существующего уклада жизни 〈...〉 под предлогом возбуждения чувств сострадания и жалости к обездоленным вливает в умы молодежи отраву всяческого противления...». И, заканчивая, призывал к прямому походу против Горького: «Пора!»— восклицал он и меланхолически добавлял: «Только не оказалось бы уж и теперь „слишком поздно“» (А. Басаргин. Мефистофелевская школа.— «Московские ведомости», 1904, № 321, 20 ноября).

Книга Стечькина «Максим Горький» (СПб., 1904) составилась из его шести статей о Горьком, печатавшихся первоначально в журнале «Русский вестник». Последняя статья появилась в июне 1904 г. Стечькин писал, что внимательно перечитал все произведения Горького, и перед ним «вырисовалась определенная фигура революционного проповедника, знающего, что и для чего он делает, действующего по определенному, заранее,— быть может, не им одним,— выработанному плану» (Н. Я. Стечькин. Максим Горький.— «Русский вестник», т. 291, 1904, июнь, стр. 758). Поэму «Человек» критик называет авторской «сводкой всего разбросанного по его рассказам, романам и драмам», а самого писателя — «отравителем чистых порывов молодежи, кощунственным ругателем всего, чем жило и сложилось общество, проповедником бунта, босяцким провозвестником революции!» (там же, стр. 759 и 761). Ужасаясь тому, что у Горького пять миллионов читателей, Стечькин призывает слуг царя и отечества «ниспровергнуть» писателя, пресечь начатый им «поход против общества, государства, нравственности и религии» (там же, стр. 769). Утверждение Горького, что его Человек призван разрушить, растоптать «всё старое», Стечькин расшифровывал следующим образом: «„Старая“ религия, „старая“ семья, „старое“ общество, „старое“ государство, „старая“ царская власть, „старая“ любовь к родине, „старая“ преданность верных подданных,

всё это —„*старое*“, и всё это Максим Горький желает „опрокинуть, разрушить, растоптать“» (там же, стр. 776).

«Полагаем, что далее идти уже некуда, далее от слова остается переходить к делу. Революционное воззвание, преступная прокламация налицо» (там же, стр. 778. См. также: Н. Я. Стечькин. Максим Горький. Его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского общества. СПб., 1904, стр. 223—257).

Почти одновременно со Стечькиным на Горького обрушились московские и петербургские монархические газеты и часть буржуазной прессы. С особой яростью нападали на автора поэмы «Человек» критики из декадентских журналов «Весы» и «Новый путь». В рецензии на первый сборник «Знания» М. Пант⟨юх⟩ов писал: «Совсем плохи страницы М. Горького. Его „Человек“ — нечто совершенно чудовищное по пошлости ⟨...⟩ Особенно смешон пафос, с которым высказываются такие избитые мысли» (М. Пант-ов. Сборник товарищества «Знание» за 1903 год.—«Весы», 1904, № 5, стр. 52—53). Четыре месяца спустя с аналогичным отзывом в том же журнале выступил В. Я. Брюсов. Характеризуя сборник «Знания», он писал: «Единственная новая вещь М. Горького „Человек“, как всё, где Горький перестает быть бытописателем, а пытается поучать,— очень слаба; это ряд довольно банальных и крикливо риторических восторгов перед могуществом человека» (В. Брюсов. Литература в 1904 г.— «Весы», 1904, № 9, стр. 49).

О «конце Горького» писала З. Гиппиус. Она утверждала, что Горького погубило социал-демократическое мировоззрение, называла произведение писателя «безмысленным и бессмысленным», потешалась над тем, что Горький «всю жизнь только и писал „Человека“,— только его и проповедовал, как достойный апостол». Между тем спасение не в Человеке, а в боге. «Я,— писала З. Гиппиус,— не вижу истины в заповеди „верь в человечество“» (Антон Крайний ⟨З. Гиппиус⟩. Летние размышления.—«Новый путь», 1904, июль, стр. 250—251).

Рецензент «Русских ведомостей» И. Н. Игнатов отзывался о поэме: «...это — холодная риторика на тему о шествии „мятежного человека“ „вперед! и — выше! всё — вперед! и — выше!“ ⟨...⟩ для философского произведения статья г. Горького слишком бедна мыслью, для поэтического сказания — слишком нагружена балластом необразных отвлеченностей». И еще: «Мы уже не говорим о той странной расправе, которую учиняет „трагически прекрасный Человек“ над „Любовью“, „Надеждой“, „Ненавистью“, „Верой“, забывая, что подобная же операция может быть произведена и над „Мыслью“» (И. ⟨И. Н. Игнатов⟩. Литературные отголоски.— «Русские ведомости», 1904, № 124, 5 мая).

В общей оценке поэмы Игнатов смыкался с критиками из «Биржевых ведомостей». А. А. Измайлов писал о «Человеке»: «...трюизмы, прописные истины, давно всосанные нами в плоть и кровь аксиоматические тезисы» (А. Измайлов. Литературные заметки. Философский гимн М. Горького — «Человек».— «Биржевые ведомости», 1904, № 231, 7 мая).

Излюбленным приемом «уничтожения» поэмы у реакционных и буржуазных критиков стало противопоставление ее раннему творчеству писателя. Так, усиленно расхваливая героев босяцкого цикла Горького, Г. Чулков восхищался их дикарством и особенно тем, что они «не вмешивались в политику»; причину же «неудачи» Горького критик видел в том, что писатель «поддался и отдался марксистам» (Г е о р г и й Ч у л к о в. Сборник товарищества «Знание» за 1903 год.— «Новый путь», 1904, июнь, стр. 218—219).

С обширной статьей «Завтрашнее мещанство» на страницах того же журнала выступил Д. Философов. Он назвал поэму «квинтэссенцией банальности», воспеванием «завтрашнего мещанства», воспеванием босяка, становящегося под влиянием культурного воспитания хамом. Рассуждая о том, что горьковский Человек не может быть идеалом, так как не владеет абсолютной истиной, отказывается признавать существование в мире непознаваемого, лишен страха смерти, критик не мог скрыть и далеко не философские причины своего отрицательного отношения к «Человеку». Они — в страхе за благополучие существующего строя, которому грозит Человек. Поэтому, так же, как А. Басаргин и Н. Стечькин, он бьет тревогу в связи с последними произведениями Горького: «...если с точки зрения эстетической последние его произведения заслуживают лишь добродушной усмешки, то с точки зрения общественной они явление отрицательное и с ними надо бороться» («Новый путь», 1904, ноябрь, стр. 322). В «Человеке» Философова особенно испугало то, что не существует разницы между героем поэмы и *массой*, поднимающейся на новую ступень развития. «Надо твердо помнить,— предупреждал критик,— что это не сверхчеловек, а просто Человек, правда, с большой буквы, но ничем существенно не отличающийся от окружающих его. Как генерал, он стоит выше и впереди других, но пути к генеральству никому не заказаны, и генералом может стать всякий офицер» (там же, стр. 326).

Нововременец В. П. Буренин писал: «Человек» Горького — не «услужающий» из трактира, а «человек до того особенный, что наш сочинитель воспевает его „размеренной прозой“»; создавая свою «курьезную пиесу», Горький руководствовался «образцами „словесности“, переданными ему его первым наставником в литературе, кажется, из поваров» (В. Б у р е н и н. «Человек» М. Горького.— «Новое время», 1904, № 10221, 15 августа).

«Гимназическим упражнением» назвал «Человека» Н. Бердяев, не сумевший, однако, скрыть того, что злобная оценка эта вызвана прежде всего революционным пафосом поэмы, присущим ей духом «безбожия» («Полярная звезда», 1905, № 2, 22 декабря, стр. 149—150).

Защищать Горького пытались А. В. Амфитеатров и М. П. Неведомский.

«Шиллеров идеал, о котором рыдал и стучал кулаком по столу Митя Карамазов, изливая душу перед братом Алешею, в беседке, в саду, Шиллеровыми же словами,— усыновлен русским чувством, переплавился в нем, как металл драгоцен-

ный, и загудел, в лице Максима Горького, согласным колокольным звоном — и благовест и набат вместе» (А б б а д о н н а 〈А. В. Амфитеатров〉. Отклики.— «Русь», 1904, № 146, 9 мая).

Неведомский считал, что произведение не удалось Горькому прежде всего потому, что не удался или не совсем удался символический образ Человека. Не удался же он потому, что художник, столь непосредственно одаренный, забирается в чуждую ему «область публицистики, этико-философской проповеди, в область *рассуждений* словом» (М. Н е в е д о м с к и й. О современном художестве (По поводу сборников «Знания»).— «Мир божий», 1904, № 10, отд. II, стр. 138). «Замысел г. Горького,— продолжал критик,— чудесный замысел, и только что приведенные формулы 〈„Всё — в человеке, всё — для человека", „Смысл жизни— вижу в творчестве" и т. п.〉 сводят воедино самые идеальные требования, самые возвышенные идеи, какими живет современность. По духу своему его „Человек" как бы дает нам прямо в руки резюме всех тех идей, во имя которых „хмуро" или „ожесточенно" *отрицают* все лучшие представители современного художества. И если бы не риторически-прозаическая, неудачная форма, вещь г. Горького давала бы хороший заключительный аккорд к обоим сборникам „Знания"» (там же, стр. 139). Вместе с тем Неведомский решительно оспаривал мнение Короленко, будто это ницшеанский Человек. Замечая, что г. Журналист рассуждает об «атомах» и «каплях» совсем как марксист и справедливо развенчивает Ницше, критик продолжал: «Дело, однако, не в этом, а в том, что всё это, на мой взгляд, совершенно не относится к „Человеку" М. Горького. Его „Человек", стоящий „выше людей", совсем не гений, не исключительно одаренная личность, а именно *идея человечества*, за которую ратует г. Журналист... Это именно образ, вмещающий в себя „величие всё совершенствующейся человеческой природы". Это символ человечества, его эмблема, „фантом", как выражается г. Журналист, и с „величанием" *гениев* ничего общего не имеет. Он призван „на этой исстрадавшейся земле 〈...〉 всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого" — ясно кажется, что антисоциальное аристократическое настроение Ницше совершенно чуждо „Человеку". Этот человек, несомненно,—„с ними", с людьми» (там же, стр. 140).

Оспаривает Неведомский и другие положения статьи Короленко. Он пишет: «Инкриминируется также та исключительная роль, которую, будто бы, отводит г. Горький „силе мысли". Говорят, что он как бы возобновляет давно покончен ный спор о примате мысли над чувством и т. д. Это опять удары, попадающие „не в то место", как любил выражаться покойный Михайловский. Быть может, неудачная „поэзия" дает известный повод к этому толкованию; но оно, несомненно, ошибочное. „Мысль" в произведении г. Горького — это, несомненно, синтетическая работа нашего *сознания*, обнимающая и формальную деятельность разума, и материальное содержание этой деятельности, поставляемое чувствами. Наше сознание, пока, очень часто идет вразрез с нашими чувствами, наши *идеи* постоянно противоречат нашим навыкам и инстинктам. В „Человеке" указана гармония,

имеющая заменить в этой области современный разлад ⟨...⟩ Стало быть, спора о „примате“ г. Горький не подымает; это даже единственная область, в которой его „мятежный“ „Человек“ жаждет мира и гармонии, а не „спорит“» (там же, стр. 141).

Решительный отпор тем, кто извращал произведение Горького, дал В. В. Стасов. В ответ на выступление Буренина он напечатал статью под заголовком «Непзлечимый». Стасов показал, что автор «Человека» является продолжателем славных национальных традиций русской литературы. «„Человек“,— писал он,— одно из капитальнейших и глубочайших творений Горького. Какая ширина и объем мысли, какая красота и сила, какая поэзия картин, какая сжатость и скульптурность выражений! Эта вещь — одно из наиважнейших и оригинальнейших созданий всей русской литературы. В нем, как и во всех значительнейших творениях Горького, веет тот самый глубокий, великий и поэтический дух, который присутствует в совершеннейших произведениях Байрона и Виктора Гюго» («Новости и биржевая газета», 1904, № 272, 2 октября).

Одобрительно о поэме отозвался социал-демократический журнал «Правда»: «Грандиозным и величаво-торжествующим образом вырастает фигура „Человека“ под пером г. Горького ⟨...⟩ Это аллегорическая схема всего человеческого пути, всей человеческой природы, всего победно шествующего в вечности человеческого гения...» («Правда», 1904, июнь, стр. 274).

Поэма имела колоссальный успех у революционно настроенных читателей. С. Г. Дурасов, вошедший в ряды большевиков еще до первой русской революции и лично знавший Горького с 1903 года, позднее вспоминал: «Мы воспринимали поэму как прославление социалистического Человека, революционера, пролетария, вступающего в решительную схватку с эксплуататорским обществом. Навсегда врезался в память текст ее. Мы воспринимали „Человека“ как нашу поэму, как песню о самом сокровенном, чем жили, о чем мечтали, к чему стремились, за что боролись *мы*» (цит. по кн.: А. Овчаренко. О положительном герое в творчестве М. Горького. М., 1956, стр. 309—310).

Горький любил поэму «Человек», охотно читал ее в кругу друзей, на вечерах. Одно из таких чтений состоялось в период его пребывания в Петербурге в конце ноября — начале декабря 1903 г. О нем вспоминала Е. Д. Стасова: «Горький всемерно помогал партии большевиков, и помощь эта оказывалась в разнообразных формах. Практиковались, например, литературные вечера, сборы с которых поступали в кассу нашей партии. Так, я прекрасно помню вечер, устроенный в 1903 г. на квартире известного петербургского адвоката О. О. Грузенберга, где писатель читал только что написанную им поэму „Человек“. Поэма, прозвучавшая как гимн человеку, произвела огромное впечатление на слушателей, и ее вторичное чтение встретило еще больший восторг. Этот вечер принес в кассу партии немалую сумму денег» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 69).

26 июля 1904 г. Горький читал поэму в Старой Руссе на вечере в пользу семейств солдат, мобилизованных на русско-япон-

скую войну. В. В. Смирнов, присутствовавший на концерте, рассказывал:

«Алексей Максимович прочел на концерте свою поэму „Человек“ ⟨...⟩ Чтение ее перед солидной публикой пристоличного курорта звучало, как вызов.

Недаром сидевшие в первом ряду местный исправник и жандармский генерал после выступления Горького — возбужденные — покинули концертный зал ⟨...⟩; слушатели бурно приветствовали любимого писателя, на эстраду летели букеты цветов, но Горький не вышел на вызовы бушующего зала» (В. В. Смирнов. М. Горький в Старой Руссе. Новгород, 1956, стр. 14).

30 июля 1905 г. Горький читал поэму на литературно-музыкальном вечере в Териоках. В донесении Финляндского жандармского управления и Петербургского охранного отделения в департамент полиции говорилось: «После вечера особенно чествовали Горького, который на вечере прочел свое произведение „Человек“. Часть сбора поступила в пользу Петербургского комитета РСДРП. Во время антракта шли сборы: 1) в пользу семейств сестрорецких рабочих, 2) социал-демократического комитета, 3) „на активное действие“ и пр.» («Красный архив», 1936, № 5, стр. 66—67).

2(15) марта 1906 г. Горький читал поэму в Берлине, на вечере, организованном «Verein für Kunst» в зале «Secession» (*ЛЖТ*$_{I}$, стр. 589).

В письме И. А. Груздеву от 10 марта 1926 г., определяя свое отношение к человеку, Горький писал: «...человек должен усложнять, а не упрощать себя. Героизм ⟨...⟩ в силе воли человека, ведущей его „вперед и выше“. Вы знаете, что это мое старое п, может быть, только это и есть у меня» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 41).

Стр. 41. *...предрассудки — обломки старых истин...* — Перефразировка начальных строк стихотворения Е. А. Баратынского:

Предрассудок! он обломок
Давней правды ⟨...⟩

(см. Е. А. Баратынский. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Л., «Советский писатель», 1957, стр. 175).

А. П. ЧЕХОВ

(Стр. 43)

Первая часть произведения (до слов: «Пятый день повышена температура...»), под названием «А. П. Чехов. Отрывки из воспоминаний», впервые напечатана в «Нижегородском сборнике», изд. т-ва «Знание», СПб., 1905[1], и несколько ранее — отдельной книжкой в Берлине, Verlag «Snanije» ⟨б. г.⟩ с указанием: «Печатается с рукописи» (*Зн Б*). Вторая часть — в жур-

[1] «Нижегородский сборник» (изд. 1) вышел в марте 1905 г. (*И Сб*).

нале «Беседа», 1923, № 2, ⟨август⟩, в цикле «Из дневника», куда входили также воспоминания о Блоке и другие заметки. Обе части воспоминаний, объединенные в очерк «А. П. Чехов», появились в книге: М. Горький. Воспоминания. Berlin, Verlag «Kniga», 1923.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись первой части воспоминаний с правкой и подписью Горького, относящаяся к 1904 г.,— *АМ* (ХПГ-48-2-2). 2. Фотокопия автографа второй части воспоминаний, хранящегося в Австрийской национальной библиотеке и относящегося к 1923 г.,— *ФА* (ХПГ-48-2-3). 3. Наборный текст для *К*, составленный из правленных автором листов *Зн Б* и машинописи второй части, также правленной Горьким,— $АМ_2$ (ХПГ-48-2-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 49, строка 17: «я гарантирую общество» вместо «я гарантирую обществу» (по *АМ*, *Зн Б*, *Н Сб*, $АМ_2$).

Стр. 51, строка 1: «Пишет всегда так благородно» вместо «Пишет всегда так благодарно» (по *АМ* и *Н Сб*).

Стр. 57, строка 15: «они возбуждали волю» вместо «они побуждали волю» (по *ФА* и «*Беседа*»).

Стр. 58, строка 12: «Церквы» вместо «Церкви» (по *ФА*).

Горький и Чехов впервые встретились весной 1899 г. в Ялте. Но их знакомство произошло заочно в октябре—ноябре 1898 г., когда Горький послал Чехову письмо и два тома своих «Очерков и рассказов» $ДЧ_1$. «Собственно говоря,— писал Горький,— я хотел бы объясниться Вам в искреннейшей горячей любви, коею безответно питаю к Вам со времен младых ногтей моих, я хотел бы выразить мой восторг пред удивительным талантом Вашим, тоскливым и за душу хватающим, трагическим и нежным, всегда таким красивым, тонким ⟨...⟩ Сколько дивных минут прожил я над Вашими книгами, сколько раз плакал над ними и злился, как волк в капкане, и грустно смеялся подолгу» (*Г-30*, т. 28, стр. 41).

В 1900 г. Горький в письмах неоднократно упоминал о своем намерении написать о творчестве Чехова большую статью. 26 августа 1900 г. он писал Л. В. Средину: «Чехова ругают? Это ничего! Я берусь раздавить всех его хулителей разом, пусть только выйдет собрание его сочинений ⟨...⟩ У меня готов план статьи о Чехове» (*Г и Чехов*, стр. 147—148).

О преждевременной смерти Чехова, умершего 2 июля 1904 г. от туберкулеза легких, Горький писал Е. П. Пешковой 7 июля: «Кажется, что я никогда еще не чувствовал ни одной смерти так глубоко, как чувствую эту» (*Архив* $Г_V$, стр. 118).

Похороны Чехова 9 июля 1904 г., для участия в которых Горький приехал из Петербурга в Москву, произвели на него тягостное впечатление: «Я так подавлен этими похоронами,— сообщал он Е. П. Пешковой 11—12 июля,— что едва ли сумею толково написать тебе о них ⟨...⟩ Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь боровшийся с пошлостью, всюду находя ее, всюду освещая ее гнилые пятна мягким,

укоризненным светом, подобным свету луны, Антон Павлович, которого коробило всё пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне „для перевозки свежих устриц“ 〈...〉 В этом вагоне — именно та пошлость русской жизни, та некультурность ее, которая всегда так возмущала покойного 〈...〉 Я предпочел бы на похоронах такого писателя, как Антон Чехов, видеть десяток искренно любивших его людей — я видел толпу „публики“, ее было, может быть, 3—5 тысяч, и — вся она для меня слилась в одну густую, жирную тучу торжествующей пошлости 〈...〉 Я буду писать о похоронах статью „Чудовище“ 〈...〉 Мы думаем издать книгу памяти Антона Павловича, пока это еще секрет. В этой книге напишут только я, Куприн, Бунин и Андреев» (*Архив Г*$_{V}$, стр. 119—220).

О «гнусной церемонии торжества пошлости», разыгравшейся над могилой Чехова, Горький писал тогда же и Л. Андрееву, приглашая его участвовать в издании «книги в память Антона Павловича»: «Каждый из нас напишет что-нибудь лично об Антоне Павловиче — встречи с ним, какой-нибудь разговор, впечатление от его рассказов и — даст еще рассказ 〈...〉 Я дам какой-то рассказ и статью „Чудовище“ — о пошлости» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 217). Подобное же предложение было отослано 11 июля 1904 г. И. А. Бунину: «Очень прошу Вас принять участие в этом деле, на мой взгляд, и важном и нужном. Нужно же создать противовес пошлости газетных „воспоминаний“, нужно по мере сил постараться показать Чехова без фольги — чистого, ясного, милого, умного» (*Г Чтения*, 1961, стр. 29).

Таким образом, Горький предполагал писать не столько воспоминания, сколько статью «Чудовище», полемические цели которой были очевидны. Однако в конце июля статья, обличающая пошлость, уже перестала казаться ему уместной в «книге памяти Антона Павловича». Рассказывая Бунину о ходе работы над книгой, он сообщал: Куприн «начал было писать воспоминания и — сразу же впал в полемический тон. Бросил, нужно подождать. То же случилось и со мной — впечатления похорон еще не улеглись, и пишется больше о людях, оскорбивших Чехова своим присутствием над его могилой, чем о нем, о его светлой душе, полной любви, нежности, грусти, о его уме, тонком и остром» (там же, стр. 30).

Во второй половине сентября, приехав в Ялту, место своих встреч с Чеховым, Горький сообщает Л. Андрееву: «Приехал я сюда — неведомо зачем и спжу. Пробовал писать о Чехове и — кажется — это не моя специальность — не умею я писать об усопших. А о литераторе Чехове надо писать долго, подробно, кропотливо,— времени на это нет» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 221).

21 ноября 1904 г. Горький выступил с публичным чтением своих воспоминаний на благотворительном литературном вечере в Тенишевском училище в Петербурге. Многочисленная аудитория, состоявшая преимущественно из учащейся молодежи, восторженно встретила писателя: «Максим Горький выступил в этот вечер 〈...〉 с необыкновенно яркими, задушевными, полными юмора и крупного общественного интереса воспоми-

наниями из своих встреч с Чеховым 〈...〉 Перед публикой, как живой, вставал образ Чехова, при одном имени которого в голосе чтеца являлось выражение какой-то особой нежности и симпатии 〈...〉 Ноты глубокого презрения и негодования зазвучали в голосе Горького, когда он вспомнил, как 〈...〉 пошлая среда чеховских героев отнеслась к своему художнику после его смерти 〈...〉 Неудержимыми, долго не умолкавшими аплодисментами ответила М. Горькому публика, горячо благодаря его за истинно художественный рассказ о Чехове, представляющий собою лучшее, что было сказано о Чехове после его смерти..., («Новости и биржевая газета», 1904, № 324, 23 ноября).

К этому времени существовал уже полный текст первой части воспоминаний, о чем свидетельствует корреспонденция Ирины Дэ (псевдоним З. Л. Шадурской) «Горький о Чехове», близко воспроизводящая текст горьковских воспоминаний, видимо, по стенографической записи («Новости дня», 1904, № 7716, 25 ноября).

Как явствует из самого очерка («Серенький финский дождь кропит землю 〈...〉 не дает забыть о дьявольском наваждении — войне»), работу над второй его частью Горький начал во время первой мировой войны, вероятно, осенью 1914 г. («умер десять лет тому назад»). Известно также, что писатель перерабатывал и расширял воспоминания для *К.* 22 ноября 1922 г. Р. Роллан в письме Горькому выразил восхищение очерками о Толстом, Чехове, Короленко и Л. Андрееве, переведенными на французский язык, и предлагал издать их отдельной книгой во Франции (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 430). В ответном письме от 7 декабря 1922 г. Горький принимает предложение и сообщает: «Воспоминания о Чехове я бы несколько изменил и кое-что добавил к ним» (Архив А. М. Горького, ПГ-пн-ф-60-6-75). Именно в это время Горький мог просить И. П. Ладыжникова прислать ему издание воспоминаний о Чехове (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 244). По-видимому, книги этой у Ладыжникова не нашлось; 25 декабря 1922 г. Горький написал Е. П. Пешковой: «Нет ли у тебя моих воспоминаний о Чехове? Пожалуйста, пришли мне на адрес „Книги“ И. П. Ладыжникова 〈...〉 Сии воспоминания очень нужны мне» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 223).

Получив берлинское издание 1905 г., Горький по печатной основе провел незначительную стилистическую правку, вычеркнув отдельные слова и фразы. Титульный лист с подзаголовком «Отрывки из воспоминаний» был убран, а в конце текста поставлена дата написания первой части — 1904 г.

Работая над второй частью очерка, Горький использовал свою запись 1914 г.: об этом говорит и содержание начала второй части, имеющее характер дневниковой записи, и авторская дата «1914 г.», стоящая на первом листе рукописи, и внешний вид этого первого рукописного листа, склеенного из разных рукописных и машинописных кусков. Остальные семь отрывков второй части, вероятнее всего, были написаны в первой половине 1923 г. В письме к П. П. Крючкову, предположительно датированном январем — февралем 1923 г., Горький сообщает о по-

сылке добавлений к воспоминаниям о Чехове, Каронине-Петропавловском, Толстом, Л. Андрееве (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 314).

Текст воспоминаний, появившийся в *К*, печатался без изменений во всех прижизненных собраниях сочинений Горького. 25 октября 1928 г. А. В. Луначарский и А. Б. Халатов обратились к Горькому с просьбой написать статью о «Чехове-человеке» для Полного собрания сочинений Чехова, подготовляемого ГИЗом. Горький, занятый работой над «Жизнью Клима Самгина», ответил: «Писать статью о Чехове — не могу, нет времени» (*Архив Г*$_{Х}$, кн. 1, стр. 120, 122). Однако тут же сделал следующую запись, которая позволяет предполагать, что мысль дополнить портрет Чехова новыми деталями не оставляла его:

«Мне предложили:

„Напишите о «Чехове-человеке»".—„Нет, не могу, мне это не подходит. Для меня Чехов прежде всего писатель, а писатель — это человек с минусом или с плюсом". Антон Павлович был человек с плюсом. Был, остался таким и всё растет в моих глазах. Не знаю мерки, которой определяется талантливость и величие писателя, но думаю, что Чехов несомненно должен быть поставлен в ряд великих наших писателей» (*Г и Чехов*, стр. 172—173).

В 1933 г., прочитав рукопись воспоминаний А. Н. Тихонова о Чехове, Горький послал автору свои замечания, содержащие новые штрихи портрета Чехова: «...у него были эдакие вялые кисти, и часто казалось, что дотрагиваются они до вещей не то — брезгливо, не то — нерешительно. Тоже и походка: ходил, как врач по больнице, больных в ней — много, а лекарств — нет. Да и врач-то не совсем уверен, что лечить — надо» (*Г-30*, т. 30, стр. 294).

После выхода в свет «Нижегородского сборника» в русской печати появились отклики на воспоминания Горького.

«Мягкими, нежными красками рисует М. Горький облик незабвенного писателя. Без определенного плана, без определенной системы набрасывает автор свои отрывки, но конечное впечатление получается сильное и полное...» (С. П. ⟨С. Ф. Плевако⟩. М. Горький о Чехове.— «Новости дня», 1905, № 7831, 23 марта). Н. И. Коробка в рецензии на «Нижегородский сборник» назвал воспоминания о Чехове «яркими, но, может быть, слишком субъективными» («Сын отечества», 1905, № 53, 17 апреля). Были и отрицательные отзывы. Так, Б. А. Садовской упрекал Горького за то, что Чехов будто бы «изъясняется в стиле почти Васьки Пепла» («Весы», 1906, № 2, стр. 76—77). В. П. Буренин заявил, что Горький «выставляет личность Чехова в фальшивом и пошловатом свете» («Новое время», 1905, № 10450, 8 апреля). Рецензент «Русского богатства» с неудовольствием отмечал, что Горький «переводит» Чехова «на язык своих собственных воззрений, симпатий и отношений к людям» («Русское богатство», 1905, № 7, отд. II, стр. 59—61).

С подобным же упреком еще при жизни Чехова выступал В. А. Гольцев, писавший в связи со статьей Горького «По по-

воду нового рассказа А. П. Чехова „В овраге“», что Чехов никогда «не скажет и не подумает того, что навязывает ему г. Горький» («Курьер», 1900, № 45, 14 февраля). Сам Чехов, однако, с благодарностью писал Горькому 15 февраля 1900 г.: «Ваш фельетон в „Нижегородском листке“ был бальзамом для моей души. Какой Вы талантливый! 〈...〉 Я думал сначала, что фельетон мне очень нравится, потому что Вы меня хвалите, потом же оказалось, что и Средин, и его семья, и Ярцев — все от него в восторге» (*Г и Чехов*, стр. 69).

В 1931 г. А. В. Луначарский в статье «В зеркале Горького» писал: «...портреты Горького, отражая порою только известные моменты, и даже мимолетные моменты, жизни того или иного писателя, подчеркивая только те или иные отдельные стороны его личности,— обладают свойством неизмеримо сбогащать и углублять то представление о данной фигуре, какое мы можем получить хотя бы из целой библиотеки трактатов о ней 〈...〉 когда мы рассматриваем милый облик Чехова в зеркало Горького, мы соглашаемся с ним, что при воспоминании о нем чувствуешь бодрость, видишь в жизни ясный смысл...» (*Луначарский*, т. 2, стр. 88 и 102).

Стр. 43. *...в деревню Кучук-Кой...*— Небольшой участок (3 десятины земли) с домиком, находящийся около деревни Кучук-Кой, в 35 километрах от Ялты, Чехов купил в декабре 1898 г., когда строительство его дома в Аутке, на окраине Ялты, еще только начиналось.

Стр. 48. *Но кто же победит? Греки или турки?* — Война между Грецией и Турцией происходила в 1897 году, т. е. за два года до знакомства Горького с Чеховым.

Стр. 50. *...издатель популярного журнала...*— Возможно, речь идет о В. С. Миролюбове. В. И. Качалов в воспоминаниях о Чехове приводит следующий отзыв его: «Миролюбов же хороший человек, хороший,— только попович... Любит церковное пение, колокола... На кондукторов очень кричит...» («Чехов в воспоминаниях современников». М., 1960, стр. 444).

Стр. 52. *...Скабичевский ↄ написал, что я умру в пьяном виде под забором...*— Речь идет о неподписанной рецензии А. М. Скабичевского на книжку Чехова «Пестрые рассказы» (СПб., 1886): «Книга Чехова, как ни весело ее читать, представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства». Критик рисует обычную судьбу газетного фельетониста, который «обращается в выжатый лимон» и «ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором» («Северный вестник», 1886, № 6, отд. II, стр. 125—126).

Стр. 52. «*Новости терапии*» — ежемесячный журнал, издававшийся в Москве в 1886—1897 гг. К. В. Скурховичем.

Стр. 54. *...вагон для перевозки «устриц»*.— В корреспонденции Вс. Суходреева «У гроба А. П. Чехова» отмечалось: «У края платформы приходящих поездов, под открытым небом, стоит грязный-грязный вагон зеленого цвета 〈...〉 На вагоне над-

пись: „Вагон для перевозки свежих устриц" 〈...〉 При виде этого вагона — негодование закрадывается в душу» («Биржевые ведомости» (веч. вып.), 1904, № 346, 8 июля). Впоследствии С. А. Венгеров, первым встретивший гроб Чехова на Варшавском вокзале, в воспоминаниях, озаглавленных «Вагон для устриц», с горькой иронией отмечал, что надпись на вагоне, в котором стоял гроб с телом А. П. Чехова, стала «знаменитой» («Солнце России», 1914, № 25).

Стр. 54. *...бесчисленные «воспоминания» уличных газет...* — Сразу после известия о кончине Чехова газетные страницы были затоплены разного рода воспоминаниями и статьями о Чехове. «Разыгрывается истинная вакханалия»,— восклицал И. Василевский (Не-Буква) по поводу обилия заметок, начинающихся словами «Когда мы с Антоном Павловичем...» («С-Петербургские ведомости», 1904, № 197, 21 июля). Слово-Глаголь (С. С. Гусев) в фельетоне «Поминальщики» писал: «...ни в одном из воспоминаний, явившихся за это время в печати,— ни в одном Чехов не возвышается над уровнем 〈...〉 дрязг и мелочей. Ни одного мало-мальски серьезного разговора, ничего касающегося интересов выше счетов с критиками и редакторами» (там же, № 201, 25 июля).

Стр. 56. *Серенький финский дождь ∽ На форте Инно...* — В 1914 г. Горький жил в Финляндии, в Мустомяках. Форт Ино находится в нескольких километрах от Мустомяк на мысе Инониэми, расположенном на Северном побережье Финского залива, напротив Кронштадта.

Стр. 56. *...так «нежно любимого» Москвою...* — Горький иронизирует над тоном некоторых московских газет, противопоставлявших встречу гроба Чехова в Петербурге московским похоронам: «Москва любила А. П. Чехова какой-то особенной любовью, в которой было так много нежности, ласковости и какой-то особенной интимности» (В. Викторов. Десять лет назад.— «Голос Москвы», 1914, № 151, 2 июля; то же в статье «Как Москва хоронила Чехова» — «Утро России», 1914, № 151, 2 июля).

Стр. 56. *...за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера...* — Генерал-лейтенант Ф. Э. Келлер был убит 18 июля («Новое время», 1904, № 10195, 20 июля). Запомнившаяся Горькому путаница вполне могла иметь место, так как 8 июля, в день прибытия в Петербург гроба Чехова, на Варшавский вокзал было доставлено из Парижа тело генерала Н. Н. Обручева, и происходила официальная церемония перенесения гроба в церковь Главного штаба.

Стр. 56. *За гробом Чехова шагало человек сто, не более...* — В памяти Горького смешались картины встречи гроба в Петербурге и в Москве. На Варшавском и Николаевском вокзалах Петербурга во время панихид действительно присутствовало мало народу, об этом писали газеты. В Москве же за гробом Чехова шла многотысячная толпа, что отмечал и сам Горький в вышеприведенном письме к Е. П. Пешковой от 11—12 июля 1904 г.

Стр. 56. *...В. А. Маклаков, говорит об уме собак...* — В. А. Маклаков (1870—1959), известный адвокат, кадет, член Государственной думы. Горький в письме к И. А. Груздеву от 18—19 февраля 1930 г. причислял Маклакова к интеллигентам самгинского типа: «Я знал Маклакова, когда он был одним из „славных" в свое время политических защитников, и наблюдал его на похоронах А. П. Чехова, с которым он был, кажется, хорошо знаком...» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 218). В 1909 г. в передаче В. Е. Ермилова были опубликованы воспоминания Маклакова о Чехове, в которых рассказано об увлечении Маклакова собаководством. В мае 1903 г. Чехов приезжал в подмосковное имение Маклакова Дергайково, где предполагал провести лето, но, увидев у хозяина пятнадцать собак, он, по словам мемуариста, «испугался» и уехал «молча, не сказав причины» («Раннее утро», 1909, № 201, 2 сентября).

Стр. 57. *В одном из писем к старику А. С. Суворину...* — См. письмо Чехова к Суворину от 11 июля 1894 г. (*Чехов*, т. XVI, стр. 155).

Стр. 58. *Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев»...* — Замысел пьесы о Василии Буслаеве возник у Горького в 90-е годы в связи с рисунками А. П. Рябушкина (альбом «Русские былинные богатыри», изданный журналом «Всемирная иллюстрация» в 1893 г., и его же иллюстрации к былине в журнале «Шут», 1898, №№ 15—18, 20—22). Позднее, в 1912 г., живя на Капри, писатель предполагал создать либретто оперы на ту же тему. В Архиве А. М. Горького сохранился ряд стихотворных набросков к «Василию Буслаеву» (см. *Архив Г*$_{VI}$). Монолога, который приведен в очерке «А. П. Чехов», среди них нет. Этот монолог был записан Горьким в 1919 г., с небольшими стилистическими разночтениями, в альбом К. И. Чуковского (К. Чуковский. Горький в «Чукоккале».— «Литература и жизнь», 1958, № 1, 6 апреля, см. т. XIII наст. изд.).

Стр. 58. *...«смысл философии всей».* — Из стихотворения Г. Гейне «Теория» (1842).

Стр. 59. *...напишу об учительнице, она атеистка и есть такая косточка...* — В одной из записных книжек Чехова намечен аналогичный сюжет: «Радикалка, крестящаяся ночью, втайне набитая предрассудками, втайне суеверная, слышит, что для того, чтобы быть счастливой, надо ночью сварить черного кота. Крадет кота, и ночью пытается сварить» (*Чехов*, т. XII, стр. 248).

Стр. 59. *...рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера...* — Б. А. Лазаревский (1871—1919), литератор; в одном из писем Горького к В. С. Миролюбову охарактеризован как бесталанный эпигон Чехова (*Г-30*, т. 29, стр. 215). Н. Ф. Олигер (1882—1919), литератор.

Стр. 60. *...Сулер живет у него.* — Л. А. Сулержицкий (1872—1916) жил у Горького в Олеизе, на даче «Нюра», с конца 1901 г. до начала апреля 1902 г. (*ЛЖТ*$_1$, стр. 369, 379). Он помогал поддерживать непрерывную связь с Гаспрой, где в то время жил Л. Н. Толстой, с которым Сулержицкий был связан и лич-

ным близким знакомством и своей деятельностью по оказанию помощи духоборам (Т. Л. Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны. М., 1923).

Стр. 60. *...Ханаанскую землю...* — В Библии так называются земли в Палестине, населенные ханаанскими племенами.

Стр. 61. *...около Толстого нет Эккермана...* — И. П. Эккерман (1792—1854) — литературный секретарь Гёте; вел дневник, который издал в 1837 г.

Стр. 61. *...Толстой восхищался ‹кажется—«Душенькой».* — О восхищении Толстого рассказом «Душечка» писали Чехову в 1899 г. Т. Л. Толстая и И. И. Горбунов-Посадов. «„Душечка" останется также в нашей литературе,— передавал Горбунов-Посадов суждение Толстого,— как гоголевские типы, ставшие нарицательными ‹...› Он всё говорит, что это перл, что Чехов это большой-большой писатель. Он читал ее уже чуть ли не 4 раза вслух и каждый раз с новым увлечением» (Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., 1955, стр. 545). Толстой включил «Душечку» в «Круг чтения» (издававшиеся «Посредником» сборники — «Чтение на все дни года»), но вычеркнул или переделал в чеховском тексте ряд мест, где проявлялось ироническое отношение автора к героине. В послесловии к рассказу, написанном в 1905 году, Толстой отмечал: «...но не смешна, а свята, удивительна душа „Душечки" с своей способностью отдаваться всем существом своим тому, кого она любит» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 41. М., 1957, стр. 375).

Стр. 61. *Там — опечатки...* — Рассказ «Душечка» был опубликован в журнале «Семья», 1899, № 1, 3 января.

ТЮРЬМА

(Стр. 63)

Впервые напечатано отдельной книжкой: М. Горький. Тюрьма. Verlag «Snanije». Berlin, ‹1905›, и одновременно в «Сборнике товарищества „Знание" за 1904 год», книга четвертая, СПб., 1905.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Черновой автограф (ХПГ-47-1-1). 2. Беловой автограф (ХПГ-47-1-2). 3. Текст *Зн*, т. 9, правленный автором для *К* (ХПГ-47-1-3) — *Пр Зн*.

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 68, строки 1—2: «написал» вместо «надписал» (по *БА*, *Зн Б*, *Сб* $Зн_4$).

Стр. 71, строка 24: «мпно» вместо «стине» (по *ЧА* и *БА*).

Стр. 71, строка 35: «Тохда» вместо «Тогда» (по *БА*, *Зн Б*, *Сб* $Зн_4$).

Стр. 75, строка 1: «печали и любопытства» вместо «печали, любопытства» (по *Пр Зн*).

Стр. 83, строка 8: «лпцо этого человека» вместо: «лпцо этого» (по *Зн Б*).

Стр. 87, строка 27: «на минуту» вместо «на минутку» (по *БА, Зн Б, Сб* $Зн_4$).

Стр. 93, строка 20: «Наступал» вместо «Наступил» (по тем же источникам).

В рассказе воссоздана политическая атмосфера накануне русской революции 1905 года. Возможно, в основу первой сцены легли события, связанные со студенческой демонстрацией, которая состоялась на Невском в Петербурге 28 ноября 1904 г. (см. *ЛЖТ*$_1$, стр. 492, 496). Вскоре после этой демонстрации Горький писал Е. П. Пешковой: «Я собрал очень много интересных фактов из истории демонстрации на Невском. Чудацкая была демонстрация, между прочим. Били зверски, особенно старались шпионы и полиция ⟨...⟩ Демонстр⟨ация⟩ была дрянная, но всё же дули настолько жестко, что в глазах обывателя она приняла размеры события грандиозного» (*Г-30*, т. 28, стр. 343).

Художественную трансформацию в рассказе получили и личные наблюдения писателя в тюрьмах Тифлиса и Нижнего.

Рассказ «Тюрьма» Горький писал в конце ноября — начале декабря 1904 г. в Риге. М. Ф. Андреева в письме к К. П. Пятницкому от 26 ноября 1904 г. сообщала: «Сейчас он пишет рассказ, работает почти не отрываясь и говорит, что надеется „успеть кончить" до поездки» в Гомель, куда он собирался 1 декабря (Архив А. М. Горького, ПТЛ-3-7-56). Сам Горький сообщал Пятницкому 29 ноября: «...я не кончил рассказа для второго сборника ⟨второй за 1904 год, четвертый — по общему счету⟩, а рассказ я считаю очень важным» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 170). Завершить рассказ помешала болезнь, оторвавшая писателя от работы на несколько дней. 4 декабря М. Ф. Андреева сообщала Пятницкому: «Вчера и сегодня он усердно пишет, кончает рассказ, сейчас переписывает». Горький сделал к письму приписку: «Рассказ вышлю с кондуктором. Андреев своего еще не прислал, в моем будет, пожалуй, 2 листа. Для третьего сборника — готовлю» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-3-7-23). Но на следующий день, 5 декабря, писатель уведомил своего издателя: «...я задержу свой рассказ, и Вы его получите в четверг утром из рук кондуктора...» (*Г-30*, т. 28, стр. 340—341).

Посылая Пятницкому рукопись рассказа, Горький писал: «Корректуры — не нужно. Но — очень хотелось бы мне иметь напечатанный на реминггоне экземпляр, а другой — послать Шольцу, пускай он переведет и продаст перевод» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 171).

После первых изданий рассказа автор включил его в собрание своих сочинений. По этому поводу он писал Пятницкому из Италии: «Напоминаю Вам, не забудьте прислать материал для VIII тома — „Тюрьму" и прочее,— я обязательно должен просмотреть всё это» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 220). Редакторские поправки Горького носили преимущественно стилистический характер. Рассказ появился в *Зн*, т. 9, 1910.

Более основательным было редактирование при подготовке «Тюрьмы» для *К.* Сокращены сцены с «уголовными», так как они не были связаны непосредственно с развитием основного конфликта и главной темой, снят эпизод встречи политического заключенного с уголовным. Исключил Горький из рассказа и целую главу (VIII — во всех предшествующих изданиях). Кроме того, устранены подробности в описаниях эпизодических лиц, бытовые, портретные детали и другие излишне конкретизирующие штрихи, нарушающие стилевое единство рассказа; психологическая характеристика центрального героя была уточнена, и весь образ его освобожден от «романтических» преувеличений и сугубо пессимистической окрашенности (см. варианты).

Д. П. Маковицкий в своих «Яснополянских записках» приводит высказывание Л. Н. Толстого о «Тюрьме»: «Начало хорошее, но где рассуждения — слабо. Если рассуждения не вполне ясны, то они неуместны в художественном произведении... Изобразительность почти такая же, как у Чехова, но чувства меры у него нет и неверен психологически» (Н. Н. Г у с е в. «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910». М., 1960, стр. 519).

Положительно оценил рассказ Л. Андреев. «Милый мой друг! — писал он Горькому в марте 1905 г.— С каким наслаждением прочел я вчера „Тюрьму". Как это хорошо, как это приятно, как это особенно — *по-горьковски* 〈...〉 у твоих писаний совсем особенный, очаровательный вкус, благородный, сильный, единственный. И прежде всего: *вкус свободы*, чего-то вольного, широкого, смелого...» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 258).

В критике были высказаны противоречивые мнения. И. Смирнов в рецензии на IV *Сб Зн* утверждал, что Горький «давно не идет вперед. Вернее сказать о нем — и давно уже пора произнести это слово — Г о р ь к и й и с п и с а л с я»; «„Тюрьму" читать просто скучно; раздражает неряшливость стиля, растянутость, узость кругозора и смешная тенденциозность» («Весы», 1905, № 4, стр. 48). Г. Чулков писал о «Тюрьме»: «Желанный крик о свободе сменяется неглубокой философией среднего человека; романтическая смелость босяцкой фантазии уступает место обычному резонерству сотрудника „Знания"» («Вопросы жизни», 1905, № 3, стр. 291).

Но были и отзывы другого характера. Е. А. Ляцкий назвал рассказ «Тюрьма» «одним из лучших произведений последнего времени» (Е в г. Л〈я ц к и й〉. Литературное обозрение.— «Вестник Европы», 1905, № 6, стр. 808). А. Е. Редько писал: «Люди, в которых верит автор „Тюрьмы", от которых ждет выпрямления жизни, в рассказе появляются только мельком и поодаль 〈...〉 Это — арестованные рабочие 〈...〉 И этим людям, появляющимся в „Тюрьме" только мимоходом, принадлежат в рассказе самые поэтичные и самые приподнятые (к сожалению, также и слегка риторичные — в стиле В. Гюго) страницы рассказа 〈...〉 Нет сомнения, что автор „Тюрьмы" хорошо знает ту среду, из которой вышли стойкие люди его „Тюрьмы", в реформаторскую роль которых он так горячо верит» (А. Е. Р е д ь к о. Максим Горький и его

последние рассказы.— «Русское богатство», 1905, № 9, отд. II, стр. 4, 8, 9).

Либерально-буржуазная критика стремилась трактовать рассказ в отвлеченном моралистическом плане. Тот же Ляцкий утверждал, что рассказ «весь проникнут мягким и грустным лиризмом», «сочувствием всякому страданию», что автор его «в каждом человеке толпы старается угадать разумное божье творенье» и что «глубокая примирительная нота проходит по всему рассказу» («Вестник Европы», 1905, № 6, стр. 808). А. А. Измайлов пытался убедить читателя в том, что новое произведение Горького — «о человеческом взаимонепонимании», «взаимостеснении», о «разброде человеческих чувств» («Биржевые ведомости», 1905, № 8739, 25 марта). Ф. Белявский обнаруживал в «этюде» Горького «пессимистические нотки». «На сцену выступает призрак человека-раба, всеми силами души стремящегося на волю, но крепко прикованного к пыльной и грязной земле» («Слово», 1905, № 89, 9 марта). И только очень немногие критики осмелились сказать о том, что «...тюрьма выработала из Миши демократа-борца» (А. Россов. «Тюрьма».— «Русское слово», 1905, № 75, 19 марта). Н. И. Коробка отмечал, что Горький изобразил в рассказе «непреклонный пролетариат», что автор, «вдумчиво анализируя жизнь» и ясно определяя ее зло, «твердо, сознательно» направил свой удар на это зло (Н. Коробка. Последние рассказы М. Горького.— «Русская жизнь», 1905, № 2, апрель, стр. 155, 161).

Стр. 81. *Море синее, море бурное* — См. «Песенник, или Собрание избранных песен, романсов и водевильных куплетов в 3-х томах», т. I. СПб., 1855, стр. 164.

Стр. 82. *...со штундой связался...*— Штундисты — название некоторых религиозных сект, возникавших в России в 60—90-х годах XIX века.

Стр. 87. *Жил когда-то человек...* — В письме к Л. Андрееву от 5—6 декабря 1904 г. Горький цитирует эти стихи, предпосылая им фразу: «Могу сообщить и еще стихи, очень серьезного содержания». После стихотворения, отличающегося незначительными разночтениями от текста, использованного в рассказе, следует: «Стихи тюремного надзирателя из рассказа М. Горького, написанные сим последним в момент инфлюдный,— недурные стихи, между прочим» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 248).

Стр. 92. *Он вспомнил худое, тонкое тело...*— Эти слова относились к персонажу (Василий Никитич), устраненному автором из рассказа при редактировании его в 1922 г.

ДЕВОЧКА

(Стр. 94)

Впервые напечатано в «Нижегородском сборнике», изд. т-ва «Знание». СПб., 1905 (изд. 2, 1905; изд. 3, 1906), и в книжке: М. Горький. Букоёмов, Карп Иванович. Девочка. Verlag «Snanije». Berlin, ⟨1905⟩.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Черновой автограф без заглавия с большой правкой (ХПГ-44-1-12). 2. Беловой автограф без заглавия, перед текстом — римская цифра I (ХПГ-9-1-1).

Печатается по тексту *К.*

Первоначально рассказ входил в цикл «Публика» (примечания к циклу см. ниже) в качестве его первой вставной новеллы. Черновой текст рассказа содержится в одной рукописи с вступительной главкой «Перед публикой стоял человек ∽ еще незнакомому ей» (см. стр. 355—356) и расположен непосредственно после нее. Рассказ имеет здесь характерное для цикла завершение — гневный вопрос к «публике»: «И теперь я спрашиваю вас — кто виновен в убийстве души этой девочки и на ком лежит долг отомстить за нее?»

Текст белового автографа почти не отличается от печатного.

Осенью 1904 г. издательство «Знание» готовило «Нижегородский сборник», деятельным организатором и редактором которого был Горький. Среди произведений, включавшихся в сборник, был рассказ А. С. Пустынниковой «Дунька» — о 8-летней девочке, изнасилованной лавочником. Этот рассказ напомнил Горькому о созданном им ранее произведении. 26 ноября он написал К. П. Пятницкому: «...пожалуйста, возьмите из среднего ящика моего стола лист бумаги — на нем написан рассказ о девочке — и передайте его Семену Павловичу[1] ⟨...⟩

И еще — наклейте сверху листа прилагаемое при сем добавление».

В «добавлении» говорилось: «Рассказ г-жи А. Пустынниковой напомнил мне один эпизод из впечатлений моей юности, и мне захотелось сообщить его здесь же, рядом с рассказом Пустынниковой» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 169).

В «Нижегородском сборнике» «Девочка» напечатана после рассказа А. С. Пустынниковой и снабжена подстрочным примечанием, в котором воспроизводится текст «добавления».

О впечатлении, произведенном рассказом на читателей, говорит факт его перепечатки различными газетами: «Одесские новости», 1905, № 6592, 17 марта; «Двинский листок», 1905, № 511, 23 марта; «Асхабад», 1905, № 69, 27 марта.

Трагическим содержанием рассказ обратил на себя внимание критики. В-ий ⟨А. С. Глинка⟩ в рецензии на «Нижегородский сборник» писал: «Горьким дан сильный и страшный... не рассказ, а живая быль — факт детской проституции ⟨...⟩ Пусть читатель прочтет и подумает, потому что мимо этого пройти нельзя, слишком много немого укора здесь, много волнуют и ко многому обязывают эти несколько страничек, требуют большой совести» («Вопросы жизни», 1905, № 3, стр. 300).

«Двинский листок» перепечатал рассказ со следующим редакционным комментарием: «Рассказ этот должен на всех

---

[1] Боголюбову, сотруднику конторы «Знания».

нас производить тяжелый ужас, невольно должен заставить нашу мысль углубиться в причины эпизода с девочкой-ребенком. Жестокость факта особенно должна заставить задуматься так называемых моралистов и разных идеалистов 〈...〉 Может ли общество ожидать что-либо хорошее для себя, когда „печальный взгляд детских ясных глаз“ и самый факт могут вселять в сердце каждого лишь „тяжелый ужас“! Откуда сие и где корень причины? Подумайте, читатель! и не обязаны ли мы, сознав и почувствовав этот *ужас*, не обязаны ли мы вносить в жизнь нечто такое, чтобы не испытывать этих „ужасов“, вызываемых подобного рода явлениями» («Двинский листок», 1905, № 511, 23 марта).

РАССКАЗ ФИЛИППА ВАСИЛЬЕВИЧА

(Стр. 97)

Впервые напечатано отдельной книжкой: М. Горький. Рассказ Филиппа Васильевича. Verlag «Snanije», Berlin, 〈1905〉, и одновременно в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1904 год», книга пятая. СПб., 1905.

В Архиве А. М. Горького хранятся четыре автографа рассказа, два из которых представляют собой варианты первой редакции, значительно отличающейся от окончательной; в это время произведение было частью цикла «Публика» (см. вставную новеллу цикла 〈5〉. Об автографах этой поры см. в примечаниях к этой новелле). Два следующих автографа относятся ко второй редакции, когда рассказ выделился из цикла и получил самостоятельное значение. Это: 1. Черновой автограф (ХПГ-44-10-1), под заглавием «Рассказ интеллигентного человека», содержащий большую правку. 2. Беловой автограф «Рассказ Филиппа Васильевича» (ХПГ-44-10-2), с небольшой правкой. Кроме того, имеется: 3. Печатный текст рассказа в *Зн*, т. 9 с авторской правкой для *К* (*Пр Зн*).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 101, строки 16—17: «с голубыми глазками» вместо «с голубыми глазами» (по автографам).

Стр. 108, строка 6: «и во всем» вместо «и ко всему» (по смыслу: в *Пр Зн* — незаконченная авторская правка).

Стр. 109, строка 5: «Платон слышал это» вместо «А Платон слышал это» (по *Пр Зн*).

Рассказ был закончен в ноябре — декабре 1904 г. 29 ноября Горький писал К. П. Пятницкому: «Если вы мне телеграфируете срок, когда я должен представить рассказ,— буду очень благодарен! Для третьего сборника [1] я доставлю материал одновременно» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 170).

---

[1] *Сб Зн*, в котором напечатан «Рассказ Филиппа Васильевича», был пятым по общей нумерации, но третьим за 1904 год.

Работа над третьим сборником велась почти одновременно со вторым (т. е. четвертым по общей нумерации), вышедшим всего на 3 дня раньше (пятый сборник вышел 10 марта 1905 г.). В письмах Пятницкому Горький сообщает о ходе работы над двумя своими произведениями: во втором сборнике шла «Тюрьма». «Для третьего сборника — готовлю»,— говорится в сделанной им приписке к письму М. Ф. Андреевой Пятницкому от 4 декабря (Архив А. М. Горького, ПТЛ-3-7-23). И через несколько дней: «15-го обязательно приеду и, вероятно, привезу рассказ для третьего сборника» (*Архив Г* I v., стр. 171). Эту дату, по-видимому, и нужно считать датой завершения работы над рассказом.

Замысел и первая редакция рассказа относятся ко времени работы Горького над циклом «Публика», т. е. к 1899—1901 гг.

Рассказ о дворнике Платоне, пока он не выделился в самостоятельное произведение (см. стр. 365), не имел, как и другие произведения цикла, самостоятельного названия. В нем не было образа Филиппа Васильевича; повествование велось от лица рассказчика, вместе с автором возмущенного происходящим.

Прервав работу над циклом «Публика», Горький, видимо, некоторое время к рассказу не возвращался. К работе над ним он вернулся, по всей вероятности, только в период подготовки V *Сб Зн.* В это время и создается вторая редакция рассказа. Рассказ получает самостоятельное значение и заглавие.

В первом варианте второй редакции (черновой автограф ХПГ-44-10-1) произведение названо: «Рассказ интеллигентного человека». Под этим заглавием можно прочесть зачеркнутое: «Соперники. Из воспоминаний интеллигентного человека». Здесь рассказ в основном принимает свои окончательные контуры. Рассказчик приобретает имя и активную роль в сюжете. Автор находит в этом варианте и новый финал рассказа, получивший более трагическое, чем в первой редакции, звучание: герой погибает. Здесь также появляются строки: «Медленно и долго поднимался я с низу жизни к вам...» (стр. 111), имеющие принципиальное значение для рассказа в целом. Они перенесены сюда из пролога к циклу «Публика» (стр. 350. См. также стр. 351 и 356).

Черновой автограф носит следы напряженной творческой работы. Видно, например, как постепенно формировалась во всех своих деталях сцена чтения стихов. Сначала она была значительно короче, потом, на полях, появляются всё новые и новые дополнения, уточнения, новые строки стихов.

Беловой автограф не имеет существенных отличий от первых публикаций рассказа. В дальнейшем текст правился автором дважды: при подготовке т. 9 *Зн* и *К*. Последняя правка, довольно существенная, носила в основном стилистический характер. Было сделано много сокращений (см. варианты).

«Рассказ Филиппа Васильевича» в значительной мере автобиографичен. В письме к И. Б. Галанту от 28 декабря 1925 г. Горький писал: «17-ти лет был влюблен в девушку старше меня лет на пять, но — это я рассматриваю как случай обычной „роман-

тической" влюбленности юноши, у которого воображение доминирует над эмоциями 〈...〉 очень грустный мой „роман" слегка очерчен мною в „Рассказе Филиппа Васильевича"» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-10-3-6).

В биографии Платона много черт, общих с биографией писателя. В рассказе отразились впечатления казанского периода. «Прощай. Я поднял паруса...» и «Даль моря мне грозит бедой...» — стихи молодого Горького. Это — две строфы (несколько измененные) из стихотворения «Прощай!», напечатанного в «Самарской газете», 1895, № 50, 5 марта (см. т. II наст. изд., стр. 238).

Возможно, что стихотворение «Ночь пришла. Сижу я у окна...» тоже было сочинено писателем задолго до «Рассказа Филиппа Васильевича».

Вводя в рассказ свои юношеские стихи, Горький настойчиво работал над ними. В автографах первой и второй редакций имеется множество вариантов стихотворных строк (см. варианты).

Реакционные критики встретили «Рассказ Филиппа Васильевича» в штыки. А. Басаргин 〈А. И. Введенский〉 в статье «Они не дремлют» так «интерпретировал» содержание рассказа: «Казалось бы, что может быть свободнее сердечных влечений людей разного пола друг к другу?.. Но насильники, постоянно кричащие о свободе всех и каждого, хотели бы и в этой сфере отношений всё подогнать под один ранжир все, мол, люди равны, а потому... „влюбленный демократ" имеет полное право на взаимность, пусть и не разделяющей его чувств, аристократки, и если этого не случается, то... „плохо устроена жизнь"... Плохо, ибо на пути к счастию влюбленного демократа „стоят сословные предрассудки". Итак — долой эти ненавистные предрассудки!» («Московские ведомости», 1905, № 110, 23 апреля).

А. Е. Редько увидел в рассказе проявление враждебного отношения автора к интеллигенции («Русское богатство», 1905, № 9, отд. II, стр. 16—17).

Ранним рассказам Горького критика неоднократно приписывала «культ силы», прославление жестокости. С подобных позиций подошел К. И. Чуковский и к «Рассказу Филиппа Васильевича»: «Всё простит Горький человеку, только не слабость; всё простит Горький человеку за силу, всё — даже жестокость... Барышня, хозяйская дочка, узнав о чувстве дворника, о его покорном, тихом чувстве — отнеслась к нему жестоко, мучительски, издевательски, но Горький не может изменить себе и осудить ее: он весь против робкого, покорного, тихого Платона» («Одесские новости», 1905, № 6592, 17 марта).

А. А. Измайлов, наоборот, трактовал новое произведение писателя как апологию «маленького человека»: «Это настоящее слово за маленького человека, за право его возжигать в душе святейшую святыню любви 〈...〉 Это святой завет — нежно блюсти и холить и в маленьком человеке хрупкий цветок божественного чувства и щадить его даже тогда, когда он

растет аномально...» («Биржевые ведомости», 1905, № 8739, 25 марта).

Н. И. Коробка писал, что в рассказе «рисуется ложное отношение интеллигенции из командующих классов к новой, нарождающейся интеллигенции из народа. Рассказ полон глубокого социального смысла» («Сын отечества», 1905, № 77, 17 мая).

В этом же плане трактовал рассказ В. Ф. Боцяновский: «Горький осветил этим рассказом одну, продолжающую еще, увы, существовать, черту характера даже людей, мнящих себя истинными интеллигентами, это — презрение к человеку, даже непризнание человека, раз он только поднимается со дна жизни...» («Русь», 1905, № 70, 19 марта).

Александр Блок в рецензии на V *Сб Зн* говорил о новых нотах в творчестве Горького:

«Что-то грустное, осеннее, как „сырой холод", в котором „последние листья уносятся под гору к широкой мутной реке". Какая-то истинная грусть, а может быть, большая радость, более совершенная, чем в обычном, немного абстрактном, пафосе Горького,— особенно за последние годы. Есть что-то благородное, прощальное в полуинтеллигентном неудачнике,—дворнике, влюбленном в барышню. Все смеются над ним, и он убивает себя.— Бог весть почему: не от неразделенной любви и не от насмешек барышни и прислуги. А просто оттого, что он —нищий и оборванный — пришел совсем неслышно и „шум деревьев заглушил его шаги". И на „багровой полосе зарп, среди тяжелых туч", на „огненном потоке в теснинах гор" он мог прочесть свое — такое простое, тихое, разрешительное будущее:

„О, зачем она всегда смеется?
О, зачем?"

Знает ли Горький, что это не вопрос, а ответ? Может быть, он узнает это теперь, и это — новое, задумчивое, грустное,— чего не было прежде» («Вопросы жизни», 1905, № 3, стр. 299—300).

С т р. 108. *Аркадия* — в древнегреческой поэзии — страна блаженного пастушеского существования.

С т р. 111. *...соглядатая, идущего в землю обетованную...* — Использование библейского сюжета («4-я Книга Моисеева», гл. 13).

БУКОЁМОВ, КАРП ИВАНОВИЧ

(Стр. 112)

Впервые напечатано в книге: М. Г о р ь к и й. Букоёмов, Карп Иванович. Девочка. Verlag «Snanije». Berlin, ⟨1905⟩, и одновременно в «Сборнике товарищества „Знание" за 1905 год», книга шестая. СПб., 1905.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Черновой автограф без заглавия с большой правкой (ХПГ-1-10-2). 2. Беловой автограф с поправками под заглавием «Букоёмов, Карп Иванович»

(ХПГ-1-10-1). 3. Машинопись без правки — перепечатка белового автографа (ХПГ-1-10-4). 4. Печатный текст рассказа в *Зн*, т. 9, правленный автором для *К* (ХПГ-1-10-3).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 114, строки 30—31: «на Сахалин, где его ждала бессрочная каторга» вместо «на каторгу, где его ждала бессрочная каторга» (по *ЧА*, *БА*, *Зн Б*, *Сб Зн*).

Стр. 114, строка 38: «Готово!» вместо «Готова!» (по *ЧА* и *БА*).

Стр. 120, строка 26: «девку пьяную» вместо «девочку пьяную» (по *ЧА* и *БА*).

Стр. 124, строки 26—27: «плюнув в потолок» вместо «сплюнув в потолок» (согласно поправке в *БА*).

Работа над рассказом протекала, вероятно, в конце 1904—начале 1905 г. (первопечатный текст появился до 3 мая 1905 г.) и прошла несколько стадий.

Текст черновой редакции значительно отличается от окончательного.

В черновом варианте повествование велось от первого лица одним из заключенных —Михаилом, и именно с ним (а не с Хромым) вел Букоёмов свой спор о жалости. Анализ чернового автографа позволяет утверждать, что мысль устранить образ рассказчика возникла у писателя еще в процессе работы над первой редакцией. Однако правка, свидетельствующая об этом, внесена в черновой автограф уже после того, как рассказ был написан. Правка ведется другими чернилами. Появляется она не с начала рассказа и пока еще не очень последовательна. Интересен случай ее первого появления (ср. стр. 116, строка 28 и далее): «Вот, [Михайло] *Хромой*,— обращается ко мне Букоёмов, не взглянув на юношу,— ты всё говоришь — все люди одинаковы... Ну, разве они люди, однако? И разве я похож на них? Не похож я... [и ты тоже не похож... Ты свое дело сделал чисто — убил ее и его убил, пошел и сказал — бери меня, вот он я! Это просто... аккуратно и] с характером».

Сделав второй вычерк синим карандашом, автор им же подчеркнул слова «с характером». Судя по появившейся затем записи на полях черными чернилами, этот эпитет натолкнул автора на мысль связать его с Хромым и передать ему ту роль, которую выполнял в рассказе Михаил. На полях появилось: «И ты не похож... Ты хоть без ног, а с характером, в тебе сопротивление есть... Тебе приказывают — живи в Сибири! А ты не хочешь, ты — уходишь... это хорошо, Хромой!» Тем же черными чернилами сделано исправление: «Хромой» над зачеркнутым «Михайло».

Некоторые из эпизодов, о которых рассказывает Букоёмов, в черновом варианте отсутствуют (например, эпизод с Венькой), и наоборот, в черновике есть эпизоды, вычеркнутые здесь же или впоследствии. Среди вычеркнутых — рассказ Букоёмова о том, за что его отец забил насмерть мать (см. варианты).

Беловой автограф от первопечатных текстов отличается не сильно.

После публикации рассказа в *Сб Зн* Горький дважды правил его: первый раз при подготовке *Зн*, т. 9, второй — для *К*. Правка заключалась главным образом в сокращении отдельных сцен и характеристик.

Рассказ вызвал разноречивые отзывы в печати.

Социальный смысл рассказа был отмечен в рецензии на VI *Сб Зн*, появившейся за подписью С. К.: «От каждого томика в зеленоватой обложке веет чем-то значительным и бодрым. Видно, что писатели „Знания" близки к жизни, не уходят от современности в заоблачные высоты и не забывают серых будней действительности. Но серый фон не заставляет их меланхолически задумываться — он толкает к борьбе, вызывает стремление к новому, светлому строю 〈...〉 Букоёмов негодует не на мучителей, а на самих людей, позволяющих себя бить» («Нижегородский листок», 1905, № 135, 23 мая).

Призыв к «ниспровержению основ» уловил в рассказе и реакционный критик А. Басаргин 〈А. И. Введенский〉. В статье, озаглавленной «Истомились мы», он возмущенно утверждал, что Горький в «Букоёмове» проповедует «радикализм захвата, доходящий до оправдания,— ну, уж конечно, нашими общественными условиями! — до оправдания даже... убийства!» («Московские ведомости», 1905, № 151, 4 июня).

Многие критики сопоставляли рассказ с произведениями раннего Горького и приходили к самым противоречивым выводам. В рецензии на *Сб Зн* Арский 〈Н. Я. Абрамович〉 писал: «...в последние годы в М. Горьком всё заметнее обнаруживается известный перелом, который разделяет его литературную деятельность как бы на две половины: в первой Горький — автор „босяцких" рассказов, проникнутых идеей свободы, силы, отваги, в противовес мещанскому покою и благополучию окружающих; во второй половине 〈...〉 прежнее ницшеанское преклонение перед силой 〈...〉 сменилось *интересом к психологии вялого и страдающего*. И вот этот-то последний характерный признак слышится и в „Букоёмове" 〈...〉 Перелом, который совершился в Горьком и так далеко отвел его от первоначальной дороги творчества, конечно, вполне естественен, но, тем не менее, нельзя не видеть того, что собственно Горький как художник, как своеобразная творческая индивидуальность был — там, в прежних, проникнутых силою и свежестью страницах» («Новости дня», 1905, № 7884, 17 мая).

Противоположное мнение выразил некий А. Г.: «Это рассказ,— заявлял он,— в духе старых рассказов Горького, и затруднительно решить, новый ли он или написан очень давно 〈...〉 Это всё те же босяцкие мотивы, мощные в разрушении, бессильные в творчестве...» («Вопросы жизни», 1905, № 7, стр. 228—229).

Ничего нового не нашел в рассказе Горького Пентаур 〈В. Я. Брюсов〉: «Действующие лица — всё старые знакомые по другим вещам Горького» («Весы», 1905, № 5, стр. 46).

По-разному трактовался в критике образ Букоёмова. А. А. Измайлов в «Литературных заметках» писал: «Каторжник го-

ворит жестокие слова и сам хотел бы им верить, но на самом деле вопрос, который он берется так категорически решать, очевидно, для него самого еще вопрос, и остатки совести еще заявляют себя смутною тревогой в его душе 〈...〉 И когда, затем, с улыбкой каторжник рассказывает, как у него на поселенье был кутенок, которого он не имел силы прогнать с своих нар, молодой арестант уже не хочет верить в его хваленую жестокость. Не верит ей и читатель, видя в этом только своеобразное арестантское кокетничанье» («Биржевые ведомости», 1905, № 8832, 20 мая).

Напротив, А. Е. Редько в статье «Максим Горький и его последние рассказы» утверждал: «Рассказ кончается вместе со спором о „жалости". Букоёмов пока торжествует: как он выражается, его оппоненту не удалось „поймать ежа зубами". Мироотношение старого каторжника оказалось достаточно согласованным с жизнью, где „человек дешевле скота ценится", и спор не обнаруживает в этом мпроотношенип никаких изъянов и протпворечий...» («Русское богатство», 1905, № 9, отд. II, стр. 3).

А. Е. Редько отметил очень важную черту рассказа — выраженное в нем отношение автора к современной социальной действительности: «Горячее чувство протеста против несправедливости и морального уродства окружающей жизни, сознание, что выпрямить эти уродства, конечно, не в состоянии те, что идут за жизнью, куда бы она их ни повела, и собственный душевный склад художника-автора делают его, естественно, певцом людей, которые смеют жить наперекор. Он верит, что только эти люди сильной воли, не поддающиеся насильственной формовке со стороны жизни, сумеют переделать ее и освободить от уродующих нелепостей и несправедливости 〈...〉 В „Букоёмове" автор — в своей художественной стихии. Его изуродованный жизнью человек понятен ему, близок его настроению; он почти любит человека — „Карпа Ивановича Букоёмова", которого он так явно открыл в ожесточенной душе полузверя, и жалеет в нем пропавшую силу, в которой было много желанного художнику и читателю „сопротивления"» (там же, стр. 1, 3).

Стр. 114. *...в Сибири он «сменился»...* — т. е. поменялся именем с другим человеком, в данном случае — осужденным на поселение. Обычно «смена» производилась с находящимся при смерти или только что умершим.

Стр. 115. *Славное море — широкий Байкал...* — Первые строки известной сибирской песни на слова Д. П. Давыдова «Думы беглеца на Байкале» (у Давыдова — «привольный Байкал»).

Стр. 119. *Пбгиб я, мальчишка...* — тюремная песня. Вариант ее приведен В. И. Чернышевым в «Материалах для изучения говоров и быта Мещовского уезда». — «Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук», т. 70, № 7. СПб., 1902, стр. 98—99.

Стр. 122. *«Всякое дыхание да хвалит господа...»* — «Псалтирь», псалом 150, стих 6.

ТОВАРИЩ!

(Стр. 125)

Впервые напечатано на трех языках — русском, финском и шведском—в книге: М. Горький. «Товарищ!», «Toveri!», «Kamrat!». Aktieb. F. Tilgmanns Bok-och Stentryckeri. Helsingfors, 1906. На русском языке вышло отдельным изданием в Verlag von J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart, 1906. Печаталось в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1906 год», книга тринадцатая. СПб., 1906 (без подзаголовка), а также: «В борьбе. Сборник», вып. 3. СПб., 1906; «Молодая жизнь». СПб., 1906, № 1; «Наше дело», 1906, № 3 (последние три публикации с подзаголовком «рассказ»). В переводе на немецкий язык напечатано в газете «Vorwärts», 1906, № 53, 4 März. Перепечатывалось многими газетами России.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись — оригинал набора для *Сб Зн* с правкой и пометками К. П. Пятницкого (ХПГ-46-15-3). 2. Печатный текст издания *Дтц* с правкой автора (для XVI тома *ЖЗ*, СПб., 1915) и цензорскими отчеркиваниями на полях (ХПГ-46-15-2). 3. Машинопись — перепечатка с текста издания *Дтц* без авторской правки, послужившая оригиналом набора для *К* (ХПГ-46-15-1).

Произведение должно было войти в XVI том *ЖЗ*, о чем говорит хранящееся в Архиве оглавление тома — машинопись с исправлениями Горького (ХПГ-42-33-1), однако не было пропущено цензурой. Цензор отчеркнул на полях издания *Дтц* следующие места текста:

Стр. 128, строки 1—3: «Страх обнял ∽ перед силой их».

Стр. 128, строки 13—40: «Дни были ∽ отдаляют пришествие ее».

Стр. 130, строки 7—41: «Собираться не дозволено ∽ Товарищ!».

Особенно жирно отчеркнута фраза (стр. 130, строки 17—20): «Уже где-то против них собирались серые, слепые толпы вооруженных людей и безмолвно строились в ровные линии,— это злоба насильников готовилась отразить волну справедливости».

Для этой неосуществившейся публикации Горьким был заново прочитан и отредактирован текст произведения.

Печатается по тексту, подготовленному автором для *ЖЗ*, со следующими исправлениями:

Стр. 125, строки 11—12: «бессильно опускались к земле, бессильно исчезали» вместо «бессильно исчезали» (по *ПТ*, $М_1$, $Сб\ Зн_{13}$).

Стр. 127, строка 6: «больное сердце» вместо «большое сердце» (по $М_1$, $Сб\ Зн_{13}$).

Стр. 130, строка 11: «выносили это слово» вместо «носили это слово» (по *ПТ*, $М_1$, $Сб\ Зн_{13}$).

Стр. 130, строка 16: «неистребима, непобедима, неиссякаема» вместо «неистребима, неизлекаема» (по тем же источникам).

Необходимость этих исправлений подтверждается и публикацией в газете «Vorwärts».

Сказка написана Горьким в середине января 1906 г., в Финляндии. Между 5 и 15 (18 и 28) января Горький сообщал И. П. Ладыжникову из Иматры: «На днях вышлю Вам небольшой рассказик, Вы его напечатайте в партийных газетах и — если можно — не берите с них гонорара. Пусть это будет Вашим ответом за их любезную помощь Вам, хорошо?» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 135).

19 января (1 февраля) Горький читал сказку «Товарищ!» на литературно-музыкальном вечере в Гельсингфорсе, организованном по случаю его приезда в Финском национальном театре в пользу социал-демократической партии. Отдельное издание сказки на русском, финском и шведском языках продавалось в театре. 22 января (4 февраля) Горький читал сказку на вечере, организованном финскими социал-демократами и Красной гвардией. В. М. Смирнов, присутствовавший на этих вечерах, писал в своих воспоминаниях: «Официальным устроителем первого из упомянутых вечеров являлся известный финляндский художник Аксель Галлен, фактическим же устроителем был тов. Н. Е. Буренин. Тогдашние горячие симпатии финляндской буржуазной интеллигенции к революционному движению в России ярко сказались как на этом вечере, так и на блестящем банкете, устроенном в честь Горького после концерта 〈...〉 Если на концерте в Финском театре Горький был встречен восторженными овациями со стороны финляндской интеллигенции, то революционное настроение пролетарской публики на вечере Красной гвардии буквально не знало пределов 〈...〉 Публика махала платками, кричала „Элякеен“ („ура“), многие в зале от волнения плакали. Он обратился к своей аудитории с небольшой речью; он подчеркивал, что он принимает такое чествование лишь как солдат в великой русской революционной армии 〈...〉 Это было празднество подлинной солидарности русских и финских трудящихся» (В. М. Смирнов. Максим Горький в Гельсингфорсе.— Архив А. М. Горького, МоГ-12-7-1).

О выступлении Горького Финляндское жандармское управление доносило департаменту полиции: «Максим Горький прочел сказку под заглавием „Товарищ“, посвященную последним событиям в Москве 〈...〉 Все главные участники были встречены громкими криками восторга, но особенные овации оказаны были Максиму Горькому, которого встретили громкими криками „Ура“ 〈...〉 Публика провожала Максима Горького по улицам города, в сопровождении полицейских, во главе с полицеймейстером ротмистром Мальм, до гостиницы „Société“ по всему городу с пением марсельезы» (*Рев путь Г*, стр. 103—104).

Сам Горький впоследствии очень строго отнесся к своему произведению. В. Л. Львову-Рогачевскому он писал: «„Товарищ“ — нечто вроде речи, однажды сказанной мною в Финляндии; печатана эта плохая лирика помимо моего желания. Если б я был критиком — то сказал бы автору такой штуки: „Друг,

о таком *новом* понятии, как «товарищ», так писать — недопустимо“» (*Г-30*, т. 29, стр. 25).

Проникшее на страницы русской печати в 1906 г., произведение затем подвергается строжайшему цензурному запрету. 16 октября 1907 г. Центральный комитет иностранной цензуры запретил распространение в России сказки в издании *Дтц*. Цензор А. А. Горяинов в своем донесении писал: «В этой брошюре совершенно ясно пристрастие автора к забастовкам, уличным беспорядкам и иным проявлениям эпохи освободительного движения, ввиду чего имею честь представить ее Комитету к запрещению».

Резолюция: «Запретить согласно докладу» (*Г*, *Материалы*, т. III, стр. 422).

15 сентября 1908 г. цензура запретила распространение в России сборника рассказов Горького на французском языке «Esclaves» («Невольники»), куда вошла и сказка «Товарищ!» (там же, стр. 426).

19 мая 1909 г. Варшавский комитет по делам печати слушал доклад цензора С. Е. Ходака о книге Горького на разговорном еврейском языке — «Interwius» (New York, 1908), включавшей и сказку «Товарищ!», и постановил: «Сочинение это запретить» (там же, стр. 429).

Демократическая критика отметила живую связь сказки «Товарищ!» с революционными событиями в стране. М. Абардов (М. И. Ивинский) в связи с произведением Горького писал: «Невидимые общие интересы охватывают людей 〈...〉 родят общую волю, могучее несокрушимое решение, страстный порыв.

Толпа трудящихся сознательных людей — это великая общественная сила» («Вестник знания», 1906, № 5, стр. 94).

Буржуазная критика приняла сказку в штыки, кричала о художественном спаде в творчестве писателя: «Горький — певец жизни, избытка жизни,— писал П. Иванов.— Он именно и ценен тем, что всегда показывал, как много еще солнечной жизни в человечестве,— огромный запас 〈...〉 Горький последнего времени очень хочет говорить о боли и страданиях человечества 〈...〉 Слабые, страдающие, к которым он хочет вызвать сострадание, ничего не вызывают» («Перевал», 1907, № 3, январь, стр. 59).

Д. В. Философов иронизировал:

«Он 〈Горький〉 рассказывает нам, как магическое слово „товарищ“ преобразило русскую жизнь 〈...〉 Откуда появилось это новое слово? Горький утверждает, что это „простое светлое слово“ было брошено „одинокими мечтателями“, „полными веры в человека“ 〈...〉

Что же, на Западе нет и не было таких „одиноких мечтателей“? Отчего слово „товарищ“ не сияет там „яркой веселой звездой, путеводным огнем в будущее“? Отчего там, где, казалось бы, это благодатное слово должно было звучать с особой силой, по улицам „молча и угрюмо идут разрозненные люди“?

Или это удел русских — воплотить то, что невоплотимо на Западе? Но тогда с другого конца мы приходим всё к тому же народу-богоносцу, потому что, повторяю, нет никаких научных, строго обоснованных данных, которые указывали бы, что торжество социализма более возможно в России, чем на Западе. Социалистическая наука, как мы знаем, доказывает как раз обратное» («Русская мысль», 1907, № 4, отд. II, стр. 138).

СОЛДАТЫ

(Стр. 131)

Первое произведение цикла «Солдаты» — «Патруль» —под заголовком «Солдаты» напечатано в журнале «Красное знамя», Париж, 1906, № 3, июнь, и перепечатано в нелегальной большевистской газете «Пролетарий», 1906, № 2, 29 августа. Второе — «Из повести» — впервые напечатано в журнале «Радуга», Женева, 1908, № 4, февраль; под заглавием «Омут» вошло в I сборник т-ва «Прогресс». М., 1911. Цикл впервые вышел отдельной книгой: Максим Горький. Солдаты. Очерки. Verlag J. Ladyschnikow. Berlin, 1908.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись первого произведения с правкой и подписью автора — оригинал набора для *Л*; Ладыжниковым проставлена дата: «10.3.07» (ХПГ-46-6-1). 2. Под тем же шифром машинопись второго произведения с правкой и подписью автора — оригинал набора для того же издания. 3. Машинопись первого рассказа с правкой и подписью автора — дубликат машинописи, посланной Ладыжникову, но с несколькими случаями иной правки (ХПГ-46-6-2). 4. Под тем же шифром машинопись второго произведения с правкой и подписью автора — дубликат машинописи, посланной Ладыжникову, но содержит небольшие различия в правке. Как и предыдущая, была, видимо, передана Пятницкому. 5. Текст обоих произведений в издании *Л* со значительной правкой Горького для *К* (ХПГ-46-6-3).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 136, строка 5: «глядя в лицо рыжего солдата» вместо «глядя в рыжего солдата» (по *ПТ* и $АМ_{1-2}$).

Стр. 137, строка 6: «а он там крушит» вместо «он там крушит» (по тем же источникам).

Стр. 142, строка 24: «—Эк!» вместо «—Эх!» (согласно правке в $АМ_{1-2}$).

Стр. 162, строка 3: «она уже не могла» вместо «уже не могла» (по всем другим источникам).

Стр. 165, строка 10: «на черной воде» вместо «на темной воде» (по $АМ_{1-2}$, *ПТ*, *сб. «Прогресс»*).

«Патруль», отражающий впечатления Горького, связанные с событиями декабрьского вооруженного восстания в Москве, написан, по-видимому, не позднее весны 1906 г. А. В. Амфитеатров, предпринявший в апреле 1906 г. издание политического

и литературного русского журнала за границей, обратился к Горькому с просьбой дать для журнала очерк о Франции. В мае—июне 1906 г. Горький ему ответил: «„Франция“, как Вы, вероятно, знаете, уже напечатана на трех языках, посему я посылаю Вам набросок, записанный мною со слов одного московского офицера, который подслушал эту беседу из форточки и в которого солдатики стреляли. „Патруль“ это неверно названо, надо, пожалуй, сказать просто „Ночь“, „Солдаты“ — как хотите» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-16).

Горький хотел напечатать рассказ и в России, в сборнике «Знания». В письме К. П. Пятницкому, написанном не позднее 24 августа (6 сентября) 1906 г., он рекомендовал поместить «Патруль» в одном сборнике с произведениями «Город Желтого Дьявола» и «Mob» (*Архив Г* IV, стр. 204). В письме И. П. Ладыжникову от 22 или 23 февраля (7 или 8 марта) 1907 г., высказав предположение, что рассказ «вероятно будет напечатан в одном из ближайших сборников», Горький уведомлял: «Посылаю „Патруль“, несколько исправленный мною» (*Архив Г* VII, стр. 157). По цензурным условиям произведение в сборниках «Знания» не появилось.

Работа над рассказом «Из повести» относится к октябрю 1907 г. Не позднее 6(19) октября 1907 г. Горький писал с о. Капри Ладыжникову: «Пишу рассказ. Хороший» (*Архив Г* VII, стр. 167). 13(26) октября рассказ был закончен, автор читал его в домашнем кругу. В дневнике Пятницкого, гостившего у Горького, сделана в этот день запись: «На вилле Горького — чай. Горький читает новый рассказ „Вера и солдаты“» (Архив А. М. Горького, Д-Пят., 1907, л. 120). 18(31) октября рассказ был послан Ладыжникову. «Дорогой Иван Павлович! — писал Горький. — Прилагаемую вещицу я написал по просьбе товарищей Алексинского и других для журнала „Радуга“, — посылаю его Вам на тот случай, буде Вы захотите извлечь из него еще какую-либо пользу» (*Архив Г* VII, стр. 167—168). Первоначально Горький хотел поместить рассказ также в журнале «Новые идеалы» (Флоренция), но затем отменил это решение (см. там же, стр. 168).

Видимо, вскоре после этого у Ладыжникова возникла мысль об издании цикла «Солдаты», состоящего из двух произведений. «Хотите издавать „Солдат“? — спрашивал его в конце января 1908 г. Горький. — Если можно — подождите с месяц времени, — у меня начат еще небольшой рассказец на эту тему <...> Не настаиваю, делайте, как Вам удобнее» (там же, стр. 175). Вероятно, имелся в виду рассказ «Федор Дядин». О том, что Горьким был задуман ряд произведений о солдатах, сообщала в письме Ладыжникову и М. Ф. Андреева: «Получили ли рассказ „Солдаты“ и нравится ли Вам? Мне досадно, что так спешно набросан; он хочет выпустить целую серию солдатских эскизов, очень интересно задуманных» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-2-1-2).

«Солдаты» в издании *Л* вышли в свет не позднее лета 1908 г. Газета «Речь» в разделе «Литературная летопись» сообщала: «В Берлине в издании И. Ладыжникова вышла новая книжка М. Горького „Солдаты“» (1908, № 178, 27 июля).

Следующий этап работы над произведением «Из повести» связан с участием Горького в работе «Международного комитета помощи безработным рабочим России», основанного в Лозанне. Во главе Комитета одно время стоял Н. А. Герцен, внук знаменитого писателя, а потом — французский коммунист Густав Брошэ. Секретарем Комитета был К. П. Злинченко.

В 1907 г. Комитет решил издавать литературно-художественные сборники. Злинченко вспоминал: «Когда было собрано достаточно литературного материала от крупных, в большинстве социалистических, писателей Европы и Америки, Комитет обратился к Горькому с просьбой принять участие в этих сборниках и взять на себя редакцию русского сборника». Горький ответил в августе 1907 г.: «Укажите крайний срок выхода сборника — я пришлю рассказ. Взять на себя редакцию не могу, не имею времени и — главное — опыта» («Красная новь», 1928, № 6, стр. 171). А в сентябре 1907 г. напоминает ему же: «Вы забыли известить меня о сроке выхода сборника вашего. Состав его сотрудников кажется мне очень пестрым и разнолицым. Какой системы держитесь вы в подборе материала, какова будет главная идея сборника?

Об этом следовало бы известить меня» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-16-18-3).

Но дело с организацией сборников, вероятно, затянулось, и необходимость в срочной присылке рассказов отпала. Летом 1908 г. с просьбой об участии в сборниках Комитета обратился к Горькому Г. Брошэ. Горький запросил Ладыжникова: «Сообщите, могу ли я разрешить Лозаннскому комитету безработных перепечатать „Солдат“ в сборнике, издаваемом Комитетом?

Сборник этот выходит на русском, француз⟨ском⟩, немецком и английском языках осенью сего года.

Отвечайте поскорее. Редактирует президент Комитета Брошэ. Среди сотрудников — их около 300 человек — есть видные имена. Думаю, что мне надо участвовать, ибо дело пойдет под надзором интернационального бюро и выручка — в кассу бюро» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 183).

Профессору Брошэ 7(20) июля 1908 г. было отправлено письмо, написанное на французском языке М. Ф. Андреевой и подписанное Горьким. «Так как я, к сожалению, занят очень большой работой,— сообщал Горький,— то совершенно лишен возможности написать что-нибудь специально для издания, предпринятого Комитетом помощи безработным. Позвольте предложить Вам для перепечатки два моих наброска: „Солдаты“. Эти два наброска не появлялись в свет ни в России, ни в переводе на французский язык, но были уже опубликованы на немецком языке. Если мое предложение Вас устраивает, то будьте любезны сообщить мне об этом» (Архив А. М. Горького, ПГ-нн-59-6-1).

Брошэ 12(25) июля направил Горькому благодарственное письмо (автограф на французском языке). «Международный комитет,— писал он,— весьма благодарен Вам за предложение прислать ему Ваше произведение „Солдаты“. Это произведение, вне

всякого сомнения, будет одной из главных приманок того сборника, который Комитет подготовляет и который выйдет в свет, по всей вероятности, в конце сентября. Я приложу все старания, чтобы хорошо перевести на французский язык, и посвящу этому всё свое свободное от иных профессиональных и литературных занятий время» (там же, КГ-ин-ф-2-7-1).

Однако были ли посланы в это время Брошэ «Солдаты» — неизвестно. Скорее всего Горький изменил свое первоначальное решение и выслал вместо очерков, напечатанных Ладыжниковым, неопубликованное произведение «Федор Дядин», которое и вошло в изданный Комитетом «Литературно-художественный сборник», кн. 1, изд. «Непогасшие огни». Екатеринослав, 1910 (вышел в конце 1909 г.).

Вскоре Комитет приступил к работе над новым сборником. В 1910 г. Горький ответил В. И. Язвицкому, обратившемуся к нему от Комитета: «„Из повести“ — можете взять для Вашего сборника. В России эта вещь целиком не появлялась; теперь, когда „Дядин“ благополучно напечатан,— полагаю, что „Из повести“ пройдет без придирок цензуры.

Измените название рассказа, пусть будет назван по имени героини, что ли» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 94).

В конце 1910 г. (на титуле обозначен 1911 г.) вышел I сборник т-ва «Прогресс» с рассказом Горького в новой редакции, с измененным именем героини и новым названием — «Омут». Как позднее рассказывал Язвицкий, названный сборник был организован в Москве при помощи А. А. Богданова и И. И. Степанова-Скворцова, с которыми Злинченко и Язвицкий вели по этому поводу переписку (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-13-20).

Несмотря на то, что рассказ в сборнике вышел с пропуском ряда политически острых мест, Московский комитет по делам печати наложил на книгу арест и возбудил против нее уголовное преследование. Прокурор Московского окружного суда 28 марта 1911 г. утвердил арест на книгу. В отношении, направленном Московским комитетом по делам печати 18 июня 1913 г. за № 2340 в Главное управление по делам печати, говорилось: «Прокурор Московского окружного суда отношением от 13 июня 1913 г. за № 30/11 уведомил Комитет, что приговором Московской судебной палаты от 8 января сего года по делу об издании книги „Сборник товарищества «Прогресс». Том I. Типография «Печатное дело»“ постановлено: издание помещенных в означенной книге рассказов: на страницах от 127 до 152 включительно „Кирилл Злинченко. Штрейкбрехер“ и на страницах от 225 до 254 включительно „Максим Горький. Омут“ уничтожить...» (там же, ЦД-5-35).

Газета «Правда» в заметке «За Максима Горького» сообщила: «Сегодня в судебной палате с участием сословных представителей слушалось дело Солнцева, Клемберга по обвинению их в издании сборника „Прогресс“, где была помещена статья Горького „Омут“, в которой прокуратура усмотрела призыв к возбуждению воинских чинов. Солнцев приговорен к двум месяцам крепости, Клемберг на две недели» («Правда», 1913, № 7, 9 января).

Рассказы «Патруль» и «Из повести» подвергались запрету и в заграничных изданиях. Центральный комитет иностранной цензуры 15 сентября 1908 г. запретил распространение в России сборника на французском языке «Esclaves» («Невольники»), включавшего, в частности, рассказ «Патруль», а 22 июня 1911 г. — книжки на французском языке с произведениями «Лето» и «Из повести» (см. *Г*, *Материалы*, т. III, стр. 425—426 и 432—433).

При подготовке тома XVI собрания сочинений Горького в издании *ЖЗ* предполагалось включить в него оба рассказа— «Патруль» и «Из повести». В проспектах, прилагавшихся к предыдущим томам этого издания, среди других произведений тома значатся «Патруль» и «Вера». Однако последний рассказ по цензурным причинам в том не вошел, а «Патруль» появился с большими цензурными исключениями и без указания в оглавлении тома. Изъяты следующие места:

Стр. 133, строки 1—2: ладно, будет вам, попили нашей крови, теперь — уходите... Да.

Стр. 133, строки 25—29: Он с голоду издыхает ∽ наставительно продолжал.

Стр. 133, строки 33—41: Ну, конечно ∽ В солдаты гонят!— пробормотал скуластый солдат.

Стр. 134, строки 12—16: Взбросил ружье на плечо ∽ Ежели бы господ всех... как-нибудь эдак... Всех...

Стр. 134, строка 37: убивать врагов...

Стр. 136, строки 30—39: Может ее господа послали ∽ Что есть солдат?

Стр. 137, строки 2—4: Хороший солдат ∽ спросил Яковлев.

Стр. 137, строки 8—18: А ты — сожрешь? ∽ Малов! Скорей...

Стр. 137—138, строки 33—6: Яковлев вдруг поднялся ∽ ноздри у него дрожали.

Стр. 138, строки 20—33: Мы все пропали! ∽ А ты?

Стр. 138, строки 35—36: И я! ∽ как же ты можешь...

Стр. 139, строка 13: Имеют право! — глухо сказал Яковлев.

Стр. 140, строки 4—5: Но сейчас же обернулся ∽ ей-богу!

Кроме того, на стр. 140 во фразе «А может, и нет бога...» — слово «бога» исправлено на «ничего» и, в соответствии с этим, вычеркнуто: «и осторожно, тихонько, но упрямо заявил:— Однако другие говорят — нет его... Рыжий не ответил» (*строки 34—37*).

Фрагменты «Патруль» и «Из повести» были малодоступны русской критике, в печать просачивались лишь очень краткие или косвенные сведения о них.

Так, в «Литературной летописи» газеты «Речь» промелькнула заметка: «М. Горький только что закончил новую вещь, под заглавием „Солдаты“〈...〉 В основу повести легла действительность. Она появится отдельной книгой за границей. Через некоторое время Горький переделает свою повесть в пьесу, полагая, что в драматической форме этот сюжет должен производить более

глубокое впечатление» («Речь», 1908, № 155, 1 июля). Заметка была перепечатана «Нижегородским листком», 1908, № 156, 4 июля, и «Волгарем», 1908, № 160, 8 июля.

В другой газетной заметке, озаглавленной «Новое произведение Максима Горького», говорилось: «В парижской „Siècle“ появилась небольшая критическая заметка о новом произведении Горького, неизвестном у нас, но уже переведенном на французский язык. Это — довольно длинная повесть, озаглавленная „Солдаты“. Общее содержание ее, как можно судить по беглому изложению французского критика, заключается в соприкосновении солдат с революционной проповедью, которую ведет среди них молодая, горячо верующая в свои идеи революционерка...» («Русские ведомости», 1909, № 264, 17 ноября).

Стр. 141. *Молодые сосны —точно медные струны исполинской арфы...*— В «Записной книжке» Горького имеется запись, сделанная в Германии в 1906 г.: «Сосны, как медные струны» (см. стр. 406). Этот образ использован также в повести «На реке раздался...» (см. наст. изд., т. XI).

МОИ ИНТЕРВЬЮ

(Стр. 166)

К работе над циклом Горький приступил вскоре после приезда в США, в апреле 1906 г. В первой декаде мая Ладыжникову в Германию (и через него — К. П. Пятницкому в Россию) были посланы: «Король, который высоко держит свое знамя» и «Прекрасная Франция» — «начало 〈...〉 книги, которая должна носить название „Мои интервью“» (*Г-30*, т. 28, стр. 420). «Следующие интервью,— уведомлял Горький Ладыжникова,— будут с Миллиардером, Николаем II, Мертвецом, Грешником, Прометеем, Агасфером, с самим собой и т. д.— не более десяти» (там же). «Таких штук я напишу 10...»,— сообщил он одновременно Пятницкому (там же, стр. 422). О тех же произведениях Горький писал в первой половине мая и А. В. Амфитеатрову, называя задуманное им сочинение «Книгой интервью» (там же, стр. 423). 15(28) мая он сообщил Е. П. Пешковой, что уже «написал книгу „Мои интервью“» (там же, стр. 424), имея в виду шесть произведений.

В начале июня последние из них были отправлены Ладыжникову и Пятницкому (см. там же, стр. 425—426). Летом 1906 г. «интервью» стали выходить отдельными выпусками в издании *Дтц*, а также печатались — в переводе — во многих газетах и журналах европейских стран. В конце июня 1906 г. в русской прессе появилось сообщение: «Максим Горький успел написать книгу в совершенно новом роде: это — ряд сатирических фельетонов в форме интервью с главнейшими силами политической реакции в России, Европе и Соединенных Штатах 〈...〉 „Ин-

тервью" Горького были прочитаны на днях на одном из вечеров парижской эмиграционной колонии. Как сообщают из Парижа, хохот в зале царил неудержимый» («Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф», 1906, № 23, 29 июня, стр. 180).

Писатель вступил в договорные отношения с рядом иностранных журналов (*Г-30*, т. 28, стр. 431). В августе он сообщил Е. П. Пешковой, что интервью «вышли на всех языках» (*Архив* $Г_V$, стр. 181).

Уже после публикаций в Европе «Моих интервью» писатель хотел продолжить работу над ними. Остались ненаписанными интервью с Прометеем, Агасфером, с «самим собой», а также «Интервью с мухой», которое Горький еще в июле обещал прислать М. Хилквиту для публикации в США (*Г Чтения*, 1962, стр. 7), а позднее — Амфитеатрову для редактируемого им журнала «Красное знамя» (письмо Амфитеатрову от начала ноября ст. ст. 1906 г., Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-20). «Как только вы пришлете нам *последние* интервью,— писал Горькому Ладыжников 2(15) августа 1906 г.,— немедленно же выпустим всё одной книгой ⟨...⟩ По всем видимостям, книга будет иметь большой успех» (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-56). В ответном письме Горький подтверждает свое намерение: «Подождите, если можно, печатать „Интервью" отдельной книгой, я пришлю еще несколько вещей» (*Г-30*, т. 28, стр. 428). Но продолжения цикла не последовало.

В феврале 1907 г. Горький написал Ладыжникову: «Не печатайте на обложке о моих „Интервью" и об „Америке",— я отвлекся сильно в сторону от этих задач и — не знаю теперь, когда выполню их?» (*Г-30*, т. 29, стр. 14).

И, видимо, тогда же — Амфитеатрову по поводу «Интервью с мухой»: «„Муха" — спит, ибо теперь зима» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-22).

Задуманное Ладыжниковым издание «Моих интервью» в «одной книге» не состоялось. Между тем писатель всегда мыслил их как единое целое. Идея цикла частично осуществилась в XIII (вышел 15/28 ноября 1906 г.) и XV (вышел 15/28 марта 1907 г.) *Сб Зн* (в соответствии с пожеланиями Горького «Мои интервью» печатались вслед за очерками «В Америке». В августе 1906 г. он писал Пятницкому: «В один ⟨сборник „Знания"⟩ я рекомендую „Город", „Mob" ⟨...⟩ в другой — „Интервью" с Францией, с Вильгельмом и миллиардером...»— *Архив* $Г_{IV}$, стр. 204). Цикл открывался предисловием, написанным в том же стилевом ключе, что и вся книга. Перед началом публикации (в сборнике XIII) приводился состав всего цикла в последовательности, намеченной автором:

«Предисловие.
I. Король, который высоко держит свое знамя.
II. Прекрасная Франция.
III. Царь.
IV. Один из королей республики.
V. Жрец морали.
VI. Хозяева жизни».

Помимо предисловия, в XIII *Сб Зн* были опубликованы I, II и IV интервью, в XV сборнике — V.

Вопреки первоначальным намерениям писателя, знаньевская публикация «Моих интервью» оказалась неполной. За пределами ее остались «Русский царь» (по цензурным соображениям) и «Хозяева жизни». Возможность цензурных затруднений Горький предвидел задолго до публикации. В конце мая 1906 г. он писал Пятницкому: «„Царя", вероятно, нельзя печатать. Печатайте три, сохраняя нумерацию, т. е. I, II—IV» (*Г-30*, т. 28, стр. 425).

Появление в России «Моих интервью» сразу же вслед за очерками «В Америке» вызвало большую прессу, в которой оба цикла чаще всего оценивались однородно. Общий обзор критической литературы о двух циклах дан в комментариях к очеркам «В Америке» (см. ниже).

В 1923 г. цикл был включен под названием «Интервью» в том XIII *К*, но не целиком (без «Короля, который высоко держит свое знамя» и без предисловия). В Архиве А. М. Горького имеются машинописи 4 произведений из 5, опубликованных в издании *К* (машинопись «Жреца морали» не сохранилась), являвшиеся оригиналом набора для этого издания. Они представляют собой перепечатку текста *Дтц* 1906 г. с некоторыми частными изменениями, которые учтены в тексте *К*. Машинописные экземпляры не содержат правки Горького. Разночтений с *Дтц* — около 60. Часть их является прямым искажением (пропуск слов, опечатки и пр.). Другие разночтения — преимущественно изменение окончаний, перестановка слов внутри фразы, в единичных случаях — замена слов (вместо: «в мои глаза», «комнаты», «тоже» — «мне в глаза», «квартиры», «также»). Изменений, указывающих на смысловую правку, нет. Это позволяет утверждать, что машинописные экземпляры не авторизованы и что изменения, появившиеся в них, не являются авторскими. Поэтому авторизованные машинописные и первопечатные тексты 1906 г. следует считать более точными и достоверными, чем текст *К*.

Заключительный этап истории текста «Моих интервью» связан с собранием сочинений $Гр_1$. В томе VII этого издания, вышедшем в 1929 г., цикл «Мои интервью» впервые представлен в полном виде (исключая «Предисловие»). Восстановлено горьковское название цикла.

18 декабря 1928 г. Груздев писал Горькому по поводу предстоящей публикации «Моих интервью»: «...„Интервью" печатались одновременно в „Сборниках Знание" и за границей в Штутгарте. В „Знании" они шли серией под названием „Мои интервью", и первым шел „Король, который высоко держит знамя". За границей очерки эти печатались отдельными брошюрами, и упомянутого „Короля" среди них нет.

А Ив⟨ан⟩ Павл⟨ович⟩ Ладыжников как-то мне говорил, что *интервью с Вильгельмом они считали утерянным.* Если это не умышленное Ваше изъятие „Короля" из собрания, а случайность (собр. 1923 г. печаталось с заграничных брошюр), то,

м. б., разрешите включить его теперь. Его определенно не хватает, т. к. в „Русском царе“ *упоминается интервью с Вильгельмом, а самого интервью в книге нет.* Кроме того, так как „Книга“ печатала с изд⟨ания⟩ Штутгарта, то общего названия очерков там нет. Не будете возражать против названия, стоящего в „Знании“, —„Мои интервью“? Если Вас не затруднит, то очень просил бы относительно „Короля“ дать телеграмму» (*Архив Г* XI, стр. 185—186).

Горький ответил телеграммой: «„Короля“ включайте» (там же, стр. 186) и вслед за этим послал Груздеву письмо, в котором неодобрительно высказался о всем цикле, объясняя его возникновение требованиями общественной обстановки: «...„довлеет дневи злоба его“ — что поделаешь? Я всегда чувствовал себя человеком *сего дня*» (там же, стр. 187).

ПРЕДИСЛОВИЕ

(Стр. 166)

Впервые напечатано в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1906 год», книга тринадцатая. СПб., 1906.

В Архиве А. М. Горького хранится авторизованная машинопись текста (*АМ*) — оригинал набора для *Сб Зн.*

Печатается по *АМ.*

Текст XIII *Сб Зн* является единственной авторизованной публикацией предисловия. В изданиях *Дтц* 1906 г. его не было, поскольку «интервью» Горького выходили здесь не в составе единого цикла, а отдельными выпусками.

В издание *К* предисловие не вошло — видимо, по тем же случайным причинам, что и «Король, который высоко держит свое знамя». И. П. Ладыжников, готовивший тексты цикла по изданиям *Дтц* 1906 г., упустил из виду знаньевскую публикацию. Сам же автор, как явствует из сказанного, был мало причастен к изданию «Моих интервью» в *К.*

В томе VII собрания сочинений *Гр*$_1$, где печатались «Мои интервью», «Предисловие» также не вошло в основной текст, но было приведено в примечаниях к циклу.

КОРОЛЬ, КОТОРЫЙ ВЫСОКО ДЕРЖИТ СВОЕ ЗНАМЯ

(Стр. 166)

Впервые напечатано (на русском языке) в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1906 год», книга тринадцатая. СПб., 1906.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись с правкой и подписью Горького (*АМ*) — оригинал набора для *Сб Зн* (ХПГ-38-2-1).

Печатается по *АМ.*

Произведение представляет собой памфлет против германского императора и прусского короля Вильгельма II (1859—1941). О нем Горький писал не раз и до создания этого памфлета и позднее. 10—11 (23—24) июля 1905 г. произошла встреча Вильгельма II с Николаем II в Бьорке (Финляндия), закончившаяся подписанием негласного русско-германского военного договора. Горький (как и большевистская пресса того времени) увидел в этом определенную опасность для русской революции: «...дело идет о призвании варяга для внедрения порядка в нашей стране»,— писал он Е. П. Пешковой (*Г-30*, т. 28, стр. 376).

4(17) февраля 1907 г. Горький закончил статью «Тираны», опубликованную в венгерской газете «Független Magyarország» («Независимая Венгрия») 2(15) марта. «В данное время, — писал он,— над Европой царит другой маниак — двойник по духу Николая I, я говорю об императоре Германии. Вот субъект, от которого всегда можно ждать самых безумных выходок!» (*Архив* $Г_{XII}$, стр. 81).

Горький имел возможность наблюдать немецкую действительность того времени: он пробыл в Германии — проездом в США — с 15(28) февраля по 7(20) марта 1906 г. Впечатления писателя, высказанные в письмах, резко отрицательны: «Пруссия — скверная страна, судя по ее либералам, домам, улицам...» (*Г-30*, т. 28, стр. 412); «...в Пруссии полное торжество законности. Там закон — фетиш, религия» (*Архив* $Г_{V}$, стр. 176). В письме Л. Андрееву из Берлина от 2...5 (15...18) марта 1906 г. Горький рассказывал об одном из своих публичных чтений, на котором присутствовали сын императора и рейхсканцлер Бюлов: «Читал я тут в театре — был принц и аплодировал мне. И Бюлов аплодировал. Сие приемлю с удовольствием и отплачу — прежестоко» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 265).

Памфлет был написан в конце апреля — начале мая 1906 г. В первых числах мая машинописные тексты произведения были отосланы Ладыжникову и Пятницкому (*Г-30*, т. 28, стр. 420, 422). Дальнейшая судьба его оказалась нелегкой. К огорчению Горького, памфлет по цензурным причинам не мог увидеть света в Германии. «В Германии — пишет Ив⟨ан⟩ Пав⟨лович⟩ — нельзя напечатать Василия Федоровича[1]. Грустно»,— сообщал Горький Пятницкому в начале июня (там же, стр. 426). 2(15) августа 1906 г. Ладыжников информировал Горького: «Ваши пять интервью напечатаны были в Италии в газете „La Vita“ полностью, а Василий Федорович немного там был урезан в тех местах, где касалось названий и т. п. Во Франции даже „L'Humanité“ отказалась печатать интервью с Вас. Федоровичем...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-56). По этому поводу Горький писал Е. П. Пешковой: «Интервью с Вильгельмом „Король, который высоко держит свое знамя“ — отказались напечатать не только в Германии и Австрии, но даже Жорес в своей „Гуманности“ — не

---

[1] Распространенное в русской печати прозвище императора Вильгельма II, сына Фридриха III.

посмел! „La Vita" в Риме напечатала с пропусками. Вот тебе и свобода печати! и европейская культура! А между тем это по содержанию очень незначительная вещь» (*Г-30*, т. 28, стр. 436).

Стр. 168. *Только Бог понимает Короля, только он может контролировать Его.*— Вариация многочисленных рассуждений Вильгельма II на эти темы. В одной из своих речей 1894 г. он, например, заявил: «...дом Гогенцоллернов обладает чувством долга, чувством, исходящим из сознания, что бог поставил их на тот пост, который они занимают, и что одному только богу, да еще своей совести, они обязаны отчетом в том, что делают для блага страны» (цит. по кн.: *Аррен*, стр. 12).

Стр. 168. *И мой дед...*— Вильгельм I (1797—1888), король Пруссии, при котором произошло объединение Германии и образована Германская империя. В январе 1871 г. он был провозглашен германским императором. Вильгельм II создавал культ деда, присвоил ему титул «великий», называл его «святым».

Стр. 169. *Король — первый солдат страны...*— Вильгельм II — автор «афоризма»: «Я принадлежу армии, армия принадлежит мне, и мы составляем одно неразрывное целое» (цит. по кн.: И. Ф. Василевский (Буква). Вильгельм II. Кн-во «Прометей», 1914, стр. 11).

Стр. 170. *Красный призрак социализма ∽ Короли объединяют всех и всё для борьбы с этим чудовищем...*— В речи 26 февраля 1897 г. Вильгельм II, например, заявил: «Нам предстоит великая задача, всякому из нас, кто бы он ни был ⟨...⟩ это — борьба с революцией всеми средствами, какие только имеются в нашем распоряжении...» (*Аррен*, стр. 31).

Стр. 170. *...и становятся во главе, как древние вожди.*— Вильгельм II проповедовал культ средневековья, произносил напыщенные сентенции о прошлом германского народа и его древних вождях, о Нибелунгах, скальдах и пр.

Стр. 170. *Я овладел всеми искусствами ∽ Вы видели мою «Аллею Победы»*? — По замыслу Вильгельма II был выполнен ряд скульптур в честь Гогенцоллернов для Аллеи побед в Берлине. 18 декабря 1901 г., когда работы над монументами были закончены, Вильгельм II произнес речь. Обращаясь к скульпторам и художникам, он говорил о «монархах, друзьях искусства, вдохновлявших жрецов искусства в их работе», о миссии искусства служить монаршим идеалам и «воспитывать народ» в этом духе: «Искусство, которое уклоняется от принципов, высказанных мною, уже не искусство...» (*Аррен*, стр. 107, 111, 112).

Стр. 170. *...на земле Габсбургов и Гогенцоллернов.*— Габсбурги — императорская династия в так называемой «Священной римской империи германской нации» (1273—1806), Австрийской империи (с 1804) и Австро-Венгрии (1867—1918). Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов (1415—1701), прусских королей (1701—1918) и германских императоров (1871—1918). Заслугу свою перед германским искусством Вильгельм II видел и в том, что ему «удалось за 30 лет ⟨...⟩ правления» вос-

становить «замки и дворцы» его предков (В и л ь г е л ь м Г о г е н ц о л л е р н. Мемуары. Петроград, 1923, стр. 100).

С т р. 170. *Скульптура полезна людям, но я первый показал это с такой силой!* — В речи 18 декабря 1901 г. Вильгельм II высказался о памятниках Аллеи побед следующим образом: «...берлинская скульптура достигла такого совершенства, которое не уступит и ренессансу». В Европе же да и в самой Германии отношение к этим созданиям «искусства» было весьма ироническим; народ окрестил «это авеню» — «аллеей кукол» (*Аррен*, стр. 107, 104). В письме К. П. Пятницкому от 13(26) апреля 1906 г. Горький заметил: «Какую он ⟨Вильгельм II⟩ идиотскую штуку выстроил в Берлине! Она называется „Аллея поражения искусства глупым королем“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-35-1-57).

С т р. 170. *А вы слышали мою музыку?* — Автор книги о Вильгельме II свидетельствует: «Музыкальные влечения и затеи ⟨...⟩ императора создали ⟨...⟩ даже целую оперу, хотя и прикрытую псевдонимом. Она оказалась, впрочем, недолговечною» (И. Ф. В а с и л е в с к и й (Буква). Указ. соч., стр. 7).

С т р. 172. *На огромном полотне ярко-красной краской было написано чудовище без головы...* — Известно, что в своей «живописи» кайзер тяготел к тенденциозным и примитивным аллегориям подобного рода. Такова, например, его картина «Желтая опасность» («Желтая опасность. Картина императора Вильгельма II и объяснение к ней». Изд. III. СПб., 1904, стр. 7).

ПРЕКРАСНАЯ ФРАНЦИЯ

(Стр. 174)

Впервые напечатано отдельной книгой: М а к с и м Г о р ь к и й. Прекрасная Франция. Интервью. Verlag von J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart, 1906; в переводе на немецкий язык — в газете «Vorwärts», 1906, № 198, 26(13) августа; на французский (фрагменты) — в газетах «Le Siècle», 1906, № 25832, 14(1) сентября, «La Dépêche de Toulouse», 1906, № 13964, 23(10) сентября.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись с правкой и подписью Горького — оригинал набора для *Сб Зн* (*АМ*). Под текстом авторская пометка: «Нью-Йорк. Май 1906»; вычерки и замены текста рукой К. П. Пятницкого (ХПГ-38-2-1). 2. Машинопись без правки Горького — оригинал набора для *К* (ХПГ-38-2-2).

Печатается по тексту издания *Дтц* со следующими исправлениями:

Стр. 180, строка 20: «смыть своей кровью» вместо «омыть своей кровью» (по смыслу).

Стр. 182, строка 11: «для целой страны» вместо «целой страны» (по *АМ* и *Сб* $Зн_{13}$).

Поводом для написания памфлета явилось предоставление буржуазной Францией займа русскому царизму, подавлявше-

му революцию в России. В статье «Европейский капитал и самодержавие», написанной в 1905 г., В. И. Ленин указывал: «...европейский капитал спасает русское самодержавие. Без иностранных займов оно не могло бы держаться» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, стр. 372). Революционная агитация против иностранных займов стала одной из основных задач всей общественно-политической деятельности Горького в 1906 и — частично — 1907 годах. Начало было положено воззванием «Не давайте денег русскому правительству!» и «Письмом Анатолю Франсу», написанными в марте 1906 г. и опубликованными в европейских журналах и газетах. С приездом Горького в США деятельность такого рода усиливается, становится содержанием ряда общественных акций, устных и письменных его выступлений. Призывы писателя были поддержаны передовыми кругами и организациями стран Европы, в том числе французским «Обществом друзей русского народа» (во главе с Франсом).

Вопреки протестам общественности, соглашение о займе, распределенном в ряде стран (львиная доля его предоставлялась французскими банкирами — 1200 млн. франков), состоялось: в начале апреля был подписан контракт на заем, 13(26) апреля он был санкционирован правительством Франции. «Заем этот был самый большой, который когда-либо заключался в иностранных государствах в истории жизни народов 〈...〉 Заем этот дал императорскому правительству возможность пережить все перипетии 1906—1910 годов, дав правительству запас денег, которые 〈...〉 восстановили порядок и самоуверенность в действиях власти»,— свидетельствовал С. Ю. Витте (*Витте*, стр. 249—250).

6(19) мая, выступая в Нью-Йорке на митинге в Карнегихолл с докладом «Царь, Дума и народ», Горький назвал заем «продажей России в розницу» (*ЛЖТ*$_1$, стр. 610). К тому времени памфлет был уже написан. Посылая в первых числах мая Ладыжникову «начало книги» «Мои интервью», Горький писал: «„Прекрасная Франция“, как вещь, имеющая характер злободневный, должна быть, на мой взгляд, издана отдельной брошюрой немедленно. Если Вы не найдете этого возможным — продайте ее газетам теперь же. Она может иметь некоторое практическое значение» (*Г-30*, т. 28, стр. 420). Тогда же он писал Пятницкому: «...похлопочите, чтоб „Прекрасная Франция“ была напечатана в какой-либо порядочной газете за приличный гонорар. Вещь эта имеет, как Вы увидите, характер злободневный 〈...〉 Если существует журнал „Адская почта“, где сотрудничают Билибин и Гржебин, передайте „Францию“ им и в этом случае о вознаграждении, т. е. о гонораре, не говорите» (там же, стр. 422).

Отвечая на предложение А. В. Амфитеатрова приехать в Париж, Горький писал ему в первой половине мая 1906 г. из Нью-Йорка: «Ехать же теперь во Францию — сомнительное удовольствие и едва ли большая польза. Видимо, у француза не только денежная единица, но и душа — мелка. К тому же я написал некое „Интервью с Францией“, и у меня нет надежды, что после

того, как оно явится в печати, мое лицо будет приятно для французов» (там же, стр. 423).

Памфлет вышел отдельной брошюрой в издании *Дтц*, по всей вероятности, в начале (середине) июня, о чем свидетельствует письмо Ладыжникова Пятницкому от 23 мая (5 июня): «„Прекрасная Франция“ — будет напечатана и закреплена здесь без всякого изменения не позже 20 июня по нов. ст.» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-10-79-22).

Но широкую известность в Европе произведение получило после опубликования его в немецкой и французской печати.

Французы сначала познакомились лишь с выдержками из памфлета, среди которых отсутствовала та часть произведения, где разграничиваются Франция рабочая и Франция буржуазная. С 27 августа 1906 г. в ежедневной прессе началась кампания против Горького. Она длилась до 7 сентября. По крайней мере 10 из 30 ежедневных парижских газет приняли участие в «обличении» автора «Прекрасной Франции»: консервативные, либеральные, «прогрессистские», или так называемые информационные. Наиболее резкую позицию заняла газета «L'Aurore» Клемансо, выступившая 28 августа с «протестом», озаглавленным «Статья М. Горького против Франции». В этот же день были опубликованы статьи и информации: «М. Горький и Франция» («Le Radical»), «Статья Горького» («Le Progrès de Lyon»), «Статья М. Горького против Франции» («Le Siècle»). За день до этого в газете «L'Echo de Paris» появилась «информация»: «Германия. Что могут сделать Франции плевки М. Горького?». 29 августа газета «Le Figaro» выступила со статьей «Признательность Максима Горького»; через день в газете «L'Aurore» Жеро-Ришар напечатал статью «Предмет экспорта», а Жюль Кларети в газете «Le Temps» статью «Жизнь в Парпже». 1 сентября газета «Le Figaro» напечатала сообщение «Горький в оценке г-на Жеро-Ришара», а «La Dépêche de Toulouse» — статью Грифф «Проклятья Горького». 7 сентября в «La Dépêche de Toulouse» выступил французский историк А. Олар со статьей «Горький и Франция».

Сообщая о кампании, поднятой французской прессой против Горького, корреспондент «Биржевых ведомостей» в сочувственном тоне рассказывал о выступлениях «обиженных» Горьким: «Академик Кларети, например, жалуется в „Temps“, что Горький забыл, как в Париже горячо приняли его книги и его пьесы и как усердно за него хлопотали, когда после „красного воскресенья“ (9-го января) его посадили в тюрьму 〈...〉 социалистский депутат Жеро-Ришар в ряде статей читает Горькому ядовитую, но заслуженную нотацию». Вместе с тем находятся публицисты, которые извиняют его и стараются объяснить читателям его озлобление против Франции. „Ничего не поделаешь,— пишет, например, известный хроникер „Radical“ Лермина.— В глазах иностранцев мы солидарны и все ответственны за ошибки, совершаемые нашим правительством или нашими финансистами. Горький нас жестоко оскорбил, но, памятуя, какое значение имел последний заем, я ему прощаю. Он

плюнул на нас всех со злости, и этот плевок задевает и меня лично, хотя, с своей стороны, я довольно протестовал против займа. Но я вытираюсь — я извиняюсь в том, что во Франции имеются еще буржуа, спекулирующие всем ради прибылей» (Е. Дмитриев. «Описка» М. Горького и французские протесты.— «Биржевые ведомости», 1906, № 9452, 22 августа/4 сентября).

Во многих выступлениях против Горького затрагивалась проблема займа, предоставленного французскими банкирами русскому царизму. Большинство пыталось так или иначе оправдать эту акцию.

Жеро-Ришар лицемерно спрашивал: «Если финансовые учреждения послали деньги царю, то как же республиканская и социалистическая Франция может считаться ответственной за операции, к которым она не имеет никакого отношения и на которые она никакого влияния оказать не может?» («L'Aurore», 1906, 31 août). Жюль Кларети удивлялся: «Горький упрекает французов за то, что они предоставили русскому правительству деньги на покупку пуль и кнутов. И здесь он преувеличивает. Простые люди, которые подписались на последний заем, желали и желают лишь счастливого разрешения грозной московитской проблемы: счастья, мира и свободы русскому народу» («Le Temps», 1906, 31 août). Леон Бейби говорил более резко: «Горький ошибается, если думает, что французы высыпали содержимое своих шерстяных чулок в русскую кассу для того, чтобы задушить революцию < ... > Пусть Горький прибережет свои восклицания, свои олицетворения и весь свой риторический багаж для наших правителей. Они одни виновны перед русской революцией» («L'Intransigeant», 1906, 3 sept.).

А. Олару казалось «несправедливым, чудовищно и по-детски несправедливым делать всю Францию ответственной за этот заем, предоставленный царю».

На самом же деле, полагал А. Олар, правительство соглашалось на этот заем вопреки мнению республиканской элиты. Более того — правительство, уверял А. Олар, «не считало себя вправе отклонить русский заем». Вместе с тем А. Олар проводил различие между демократами «интеллигентами», «почти всеми», кто во Франции мыслит независимо, «французскими социалистами» и «невежественной массой», которая «в этом ничего не поняла: она продолжала верить, что царь — это отец русских, что русские и царь составляют единое целое, и подписалась на заем». В конце статьи он писал: «Что бы ни говорил Горький < ... > настоящая Франция, Франция 1789 года, есть и будет другом русского народа» («La Dépêche de Toulouse», 1906, № 13948, 7 sept.).

Э. Эррио, видный общественный деятель, позднее говорил о своем отношении к «Прекрасной Франции»: «Писатель негодует, но в то же время он вызывает образ той Франции, которую так любил <...> В этом памфлете <...> отражается прежде всего гнев обманутой любви» (Э. Эррио. Восток. М., 1935, стр. 247).

Обличения Горького, задевающие буржуазию, но не «славный народ» Франции, поддержал выдающийся венгерский поэт и публицист Эндре Ади в статье «Нехорошие люди», написанной в 1906 г.: «Французскими деньгами подавили русскую революцию. И Франция негодует. Мало того, что приходится дрожать за судьбу этих денег. За свои денежки нужно еще и грубости класть в карман? Как ни фривольно это звучит, Франция воспринимает обвинения с удивленным видом девицы легкого поведения, которую стыдят за способ зарабатывать на хлеб. А для чего же тогда существуют деньги?» (цит. по ст.: О. К. Россиянов. М. Горький и венгерская литература.— *Г Чтения*, 1959, стр. 458).

Горький публично ответил своим критикам в «Открытом письме господину А. Олару» и «Открытом письме господам Ж. Ришару, Жюлю Кларети, Рене Вивиани и другим журналистам Франции», опубликованных 28 ноября (11 декабря) 1906 г. в газете «Юманите» под общим заглавием «Моим клеветникам!» В письме к Олару он заявлял: «Зачем считать меня наивным? Я знаю, что народ никогда не ответствен за политику командующих классов и правительства 〈...〉 Я, в частности, знаю французский народ, знаю, как он сеял в Европе свободу 〈...〉 Я говорил в лицо Франции банков и финансистов, Франции полицейского участка и министерств, я плюнул в лицо той Франции, которая плевала на Э. Золя, той, которая утопила в страхе пред королем Пруссии и жрецом всяческой глупости все свои рыцарские чувства и ныне живет только трепетом за свой покой и целость франков» (*Г-30*, т. 23, стр. 407).

В той же газете «Юманите» 21 августа (3 сентября) 1906 г. было опубликовано горьковское «Воззвание к французским рабочим», в котором писатель призывал французский пролетариат прийти на помощь русскому пролетариату (см. там же, стр. 395).

Много позднее, вспоминая о той «помощи, которую банкиры и политики Франции оказали бездарному и преступному царизму», Горький писал Р. Роллану (16 декабря 1924 г.): «Тогда я написал грубый и резкий памфлет, заключив его плевком крови и желчи в лицо официальной Франции. Гг. Катюль Мендес, Вивиани и другие поняли мой выпад как оскорбление нации, и только профессор А. Олар, кажется, почувствовал законность моего возмущения. А. Франс, зная в чем дело, чем вызван мой памфлет и куда он направлен, ничего не возразил Вивиани и другим, извратившим суть дела. Я никогда никому не говорил об этом, говорю первому Вам» (Архив А. М. Горького, ПГ-ин-60-6-93; цит. в ст.: Ж. Перюс. М. Горький и Р. Роллан об Анатоле Франсе.— «Русская литература», 1958, № 3, стр. 177).

Русской художественной интеллигенции памфлет Горького стал известен до публикации его в России. В сентябре 1906 г. в Петербурге Ф. И. Шаляпин читал «Город Желтого Дьявола» и «Прекрасную Францию», что вызвало восторг у В. В. Стасова (подробнее об этом см. в комментариях к циклу «В Америке»). С большим одобрением был воспринят памфлет Горького в революционной среде (см.: О. Матюшина. Впечатления и

встречи.— *В С*, стр. 292). Выступление Горького против «Прекрасной Франции» Л. Андреев назвал «прекрасным и великим делом» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 276). В письме к Андрееву (июль—август 1906 г.) Горький варьировал некоторые мотивы своего памфлета:

«Теперь мы, русские, потащим мир вперед, а старая сводня Франция будет говорить:

— Ах, когда я была молодая, то я тоже однажды отколола у короля голову...

И, подумав, прибавит, стерва:

— Но не помню — зачем я это сделала...

И немец, за которого она выйдет замуж, скажет ей философски:

— Ты была молода — и потому делала глупости. Я никогда не был молод и потому люблю своего кайзера, хотя у него одна рука сухая и из уха что-то течет» (там же, стр. 272).

В ноябре 1906 г. «Прекрасная Франция» была напечатана в XIII *Сб Зн* (как второе произведение цикла «Мои интервью»), но в искаженном виде. Пятницкий еще в машинописи, присланной Горьким, вынужден был «приспособить» произведение к цензурным условиям, изъяв из текста упоминания о русском самодержавии или соответственно выправив их. Например, из фразы «Кровавая игра солдат с народом — любимый спорт царя России, вашего друга» (стр. 178) исключены слова: «царя России, вашего друга». Изъята фраза: «Ведь трудно найти руки короля, чистые от крови народа» (там же) и т. п. Эта правленная Пятницким машинопись и воспроизведена в *Сб Зн*.

Издание *Дтц* было запрещено в 1907 г. русской цензурой, увидевшей в «бранных словах против государя императора и России» основную «цель рассказа» (см. *Г*, *Материалы*, т. III, стр. 418). Такой же участи подвергались в последующие годы и другие иностранные издания «Прекрасной Франции» (там же, стр. 428—429). Подлинный текст горьковского памфлета мог появиться в России лишь после Октябрьской революции.

После опубликования «Прекрасной Франции» Горький продолжает вести борьбу против иностранных займов.

Через несколько лет, в статье Горького 〈«О Бальзаке»〉, предназначенной для французского читателя (опубликована 2(15) июля 1911 г. в парижском журнале «La Revue»), снова упомянуто о событиях 1906 г.: «Ее 〈Францию〉 позорят банкиры, о чем мне однажды пришлось говорить и что вызвало в стране, любимой мною, непонятное и не тронувшее меня возмущение, но — антикультурная, античеловеческая деятельность французской биржи, подставившей ногу русскому народу на его пути к свободе,— эта деятельность, я знаю, никогда не затемнит чистого сияния таких имен, как имена Гюго, Бальзака, Флобера — истинных детей Франции, страны великих дел и великих имен» (*Г-30*. т. 24, стр. 139—140).

В четвертой части «Жизни Клима Самгина» снова возникает образ «прекрасной» Франции — «страны, откуда вешателям дают деньги...» (*Г-30*, т. 22, стр. 51, 54).

Стр. 174. *Всюду на площадях — пушки и солдаты, везде на улицах — рабочие.*— В 1906 г. в Париже происходили первомайские выступления пролетариата, закончившиеся столкновениями с войсками. 27 апреля в Париж было введено более 100 000 солдат.

Стр. 175. *«Сво... ра... б...а...»* — «Свобода, равенство, братство» (девиз Великой Французской революции).

Стр. 175. *«Декларация прав человека»* — «Декларация прав человека и гражданина», политический манифест Великой Французской революции, принятый 26 августа 1789 г. Учредительным собранием.

Стр. 175. *...договором о союзе с русским царем.*— Франко-русский военно-дипломатический союз, заключенный в 1891 г. как ответ на военную коалицию Германии, Австро-Венгрии и Италии (Тройственный союз), сложившуюся в 1879—1882 гг. В годы первой русской революции французская передовая общественность решительно требовала расторжения союза с Россией, помогавшего царизму бороться с освободительным движением.

Стр. 176. *Фригийская шапка* — головной убор освобожденных рабов в древней Греции и Риме. Во время Великой Французской революции его носили как символ свободы.

Стр. 176. *Один министр был даже социалистом...*— Французский правый социалист Александр Мильеран (1859—1943) 21 июня 1899 г. вошел в правительство Вальдека-Руссо в качестве министра торговли и промышленности. Это был первый случай участия социалиста в буржуазном правительстве. «Мильеран дал прекрасный образец < ... > практического бернштейнианства» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 8).

Стр. 178. *Ведь вот он дал же вам свободу?.. — Мы взяли у него ее ценою тысяч жизней...*— Подразумевается царский манифест 17 октября 1905 г., провозгласивший гражданские свободы и законодательную думу. Большевики рассматривали манифест как политический маневр самодержавия и разоблачали лицемерный характер обещаний Николая II. «Уступка царя,— писал В. И. Ленин,— есть действительно величайшая победа революции, но эта победа далеко еще не решает судьбы всего дела свободы» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 27).

Стр. 178. *...он требует в уплату за нее еще и еще крови.*— После опубликования манифеста усилились репрессии против революционного движения. Менее чем за месяц, прошедший после 17 октября, было убито до 4000, ранено и изувечено более 10 тысяч человек (см. кн.: В. Обнинский. Полгода русской революции. Вып. 1. М., 1906, стр. 42).

Стр. 178. *Он, этот Николай, единственный, кто может мне помочь, когда вот этот рот вахочет откусить мою голову.*— Вероятно, намек на резкое обострение франко-германских противоречий в 1905—1906 гг. из-за господства в Марокко, грозивших войной. С 15 января по 7 апреля 1906 г. в Альхесирасе (Испания) происходила конференция для урегулирования марокканских

ского кризиса, на которой Россия, заинтересованная в скорейшем получении французского займа, поддержала Францию.

С т р. 179. *Они содрали с вашего царя процент...* — «Российский государственный заем 1906 г.» был пятипроцентным.

С т р. 180. *...сводни царя с банкирами.* — Имеется в виду постыдная роль правительства Франции в установлении связей между царским самодержавием и банкирами.

РУССКИЙ ЦАРЬ

(Стр. 182)

Впервые напечатано в журнале «Красное знамя» (Париж), 1906, № 3, июнь, и отдельной книгой: М а к с и м Г о р ь к и й. Русский царь. Интервью. Verlag von J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart, 1906; в переводе на немецкий язык — в газете «Vorwärts», 1906, № 186, 12 августа, и № 187, 14 августа.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись с правкой и подписью Горького — оригинал набора для издания *Дтц* (*АМ*); под текстом авторская пометка: «Мая 10/23 1906» (ХПГ-44-14-1). 2. Второй, идентичный, экземпляр этой машинописи, видимо, предназначавшийся для *Сб Зн* (ХПГ-44-14-2). 3. Машинопись без правки Горького — оригинал набора для *К* (ХПГ-38-2-2). 4. Гектографированное издание произведения (ХПГ-44-14-3).

Печатается по *АМ*.

Как явствует из авторской пометки, памфлет закончен 10(23) мая 1906 г.

Первое упоминание об «интервью с Николаем II» содержится в письме Горького к И. П. Ладыжникову от начала мая (см. *Г-30*, т. 28, стр. 420). Завершив произведение, автор тотчас (до 12/25 мая 1906 г.) отправил его А. В. Амфитеатрову, издававшему в Париже журнал «Красное знамя». Об этом можно судить по тому факту, что высланный Ладыжникову 12(25) мая машинописный экземпляр «Русского царя» содержит позднейшую авторскую правку, не вошедшую в печатный текст «Красного знамени». Горький писал Ладыжникову: «Второй экземпляр „Русского царя" пошлите Пятницкому. Эту вещь, вероятно, неудобно посылать почтой? Может быть, найдется оказия?» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 140).

Отдельное издание «Русского царя» у *Дтц* вышло летом 1906 г. Среди переводов очерка, вышедших тогда же, следует отметить венгерскую социал-демократическую листовку «Безымянные герои революции» (издана в Будапеште 13/26 августа), в которую включен текст горьковского произведения под названием «Посещение русского царя».

В России памфлет не мог быть напечатан по цензурным причинам. В XIII *Сб Зн* (вышел 15/28 ноября 1906 г.), где началась публикация «Моих интервью», «Русский царь» был объявлен как третье произведение цикла под названием «Царь». В соот-

ветствии с пожеланиями автора (см. *Г-30*, т. 28, стр. 425) после «Прекрасной Франции» в тексте сборника следовала цифра «III» и несколько строк многоточий; а в оглавлении было указано: «Этот очерк переделывается автором и будет помещен впоследствии». Но переработанного, применительно к цензуре, варианта «Русского царя» не последовало. В 1906—07 г. русской цензурой был запрещен «возмутительный рассказ» Горького в издании *Дтц* и в календаре «Веселка», изданном украинской социал-демократической партией (*Г*, *Материалы*, т. III, стр. 416—418). Распространялось лишь гектографированное издание, в котором воспроизведен текст «Красного знамени». «Русский царь» был опубликован в России лишь после Октябрьской революции.

Стр. 184. *...с сонеткой на конце...* — Сонетка — комнатный звонок, приводимый в движение шнурком.

Стр. 185. *...интервью с Василием Федоровичем...* — См. очерк «Король, который высоко держит свое знамя».

Стр. 186. *Подданные швыряют в ноги Царей всякую дрянь...* — Подразумеваются террористические акты против царя и членов царской фамилии.

Стр. 187. *...неправда это, как всё, что напечатано в газетах и десять лет тому назад...* — Намек на «Ходынку» — гибель в давке около 2 тысяч людей на Ходынском поле в Москве 18 мая 1896 г., во время массового гуляния по поводу коронации императора Николая II.

Стр. 187. *Европа Нас считает деспотом, тираном, злым гением России, чудовищем...* — Подразумеваются многочисленные в те годы выступления европейской общественности в печати и на митингах против самодержавного русского режима. А. Франс, например, в своих речах и статьях 1905—1906 гг. говорил о «ненавистном и жалком призраке 〈...〉 в Царскосельском дворце, стены которого дышат злодейством и ужасом», о царизме — «чудовище», его «исступленных зверствах», о «власти, чью тупую жестокость и опустошительную алчность ничто не в силах превзойти», о «народах-страдальцах, истекающих кровью под кнутом палача» (Анатоль Франс. Собр. соч., т. 8. М., 1960, стр. 668, 698, 701, 665, 664).

Стр. 187. *Могу я узнать ∽ кто автор этой поэмы?.. ∽ Один жандармский офицер...* — Изображение царя, произносящего погромные речи, сочиненные жандармами, косвенно ассоциируется с некоторыми реальными фактами. Депутат I Государственной думы В. П. Обнинский вспоминал: «...Николай весьма близко стоял к организации погромов. Еще с ноября 1905 г. стали распространяться в войсках и среди городских мелких ремесленников погромные прокламации 〈...〉 вскоре было обнаружено, что прокламации печатаются в одной из комнат департамента полиции, что печатает прокламации жандармский офицер Комиссаров 〈...〉 что тексты прокламаций поступают из Царского Села за подписями, по-видимому, Трепова» («Николай II. Материалы для характеристики личности и царствования». М., 1917, стр. 80). Позднее участники этой полицейской

«операции» были поощрены: Комиссарову, например, «дали орден Владимира» (там же, стр. 81).

С т р. 187—188. *...члены Думы — народ покуда еще дикий ∽ глядят, как волки...* — В I Государственной думе, открывшейся 27 апреля 1906 г., преобладали кадеты, второй по численности фракцией были трудовики (большевики бойкотировали выборы в Думу). Тем не менее, царь и правительство были напуганы и таким составом Думы. Николай II писал Витте уже 15 апреля, что «Дума получилась 〈...〉 крайняя...» (*Витте*, стр. 357). После речи царя в Зимнем дворце, обращенной к депутатам Думы (см. следующий комментарий), последние «ответили Николаю хмурым молчанием. С высоты трона оно было особенно заметно, и ни усердие клаки на хорах, ни офицерские глотки, кричавшие „ура" по обязанности 〈...〉 не могли скрасить или скрыть неожиданного скандала» («Николай II. Материалы для характеристики личности и царствования», стр. 79).

С т р. 188. *Мы все-таки сказали им речь, написанную кратко и доступно для их ума одним лакеем Нашим...* — На приеме депутатов Думы в Зимнем дворце Николай II произнес очень короткую речь, обращаясь к «тем лучшим людям», которых он «повелел избрать своим возлюбленным подданным». Обещая «сохранить непоколебимыми установления», дарованные им народу, он тут же предупреждал, что «для духовного возрождения нужна не одна свобода, но и порядок на основе права» (цит. по приложению к газете «Русское слово», 1906, № 113, 27 апреля). Проект речи был составлен В. И. Ковалевским «при участии столпов партии народной свободы», т. е. кадетов (*Витте*, стр. 360). В. И. Ковалевский — товарищ министра финансов (1900—1902), председатель «Русского технического общества», председатель правления Общества вагоностроительных заводов «Братья Бромлей».

С т р. 188. *Потом хотели Мы их разогнать из Думы, но Нам министры отсоветовали...* — У царя и правительства, напуганных дебатами по крестьянскому вопросу в Думе, уже к июню 1906 г. возникла мысль разогнать ее. Но этому воспротивился тогда министр внутренних дел П. А. Столыпин, «боясь крайних революционных эксцессов» (*Витте*, стр. 364).

С т р. 188. *Наш Трепов ∽ рекомендует расстрелять их...* — Имеется в виду генерал Д. Ф. Трепов, занимавший тогда пост дворцового коменданта.

С т р. 189. *Нас в Италию социалисты не пустили...* — Речь идет о несостоявшемся визите Николая II к итальянскому королю Виктору Эммануилу осенью 1903 г. «Различные произвольные меры, которые у нас принимались как в отношении России, так и ее окраин... служили предметом неблагоприятного обсуждения в Италии, в партиях левых социалистических... Поэтому, когда появились в прессе сведения, что наш император поедет в Италию, то большинство итальянских газет начало протестовать против такого визита, называя нашего императора „деспотом"... В Риме все газеты прямо говорили, что если император приедет, то против него будет сделана демон-

страция» (*Витте*, стр. 284). В своем обращении «К итальянцам», написанном 27 ноября (10 декабря) 1906 г., Горький говорил: «Тот факт, что вы, граждане, не позволили запятнать землю вашу приемом Николая Романова — царя крови и ужаса, царя насилия и цинизма,— этот факт навеки останется в истории вашей прекрасной страны доказательством высоко развитого в ней чувства нравственной брезгливости...» (*Г-30*, т. 23, стр. 399).

Стр. 189. *...играли роль доброго Царя и Миротворца почти пять лет?*— В 1900—1904 гг. царизм предпринимал различные политические маневры, стараясь свести на нет революционный подъем. Это — и «зубатовщина» (организация рабочих союзов под главенством полиции — «полицейский социализм»), и царский манифест 26 февраля 1903 г. с обещаниями политики веротерпимости, пересмотра законов о крестьянстве, отмены круговой поруки, и политика заигрывания с либералами и земствами министра внутренних дел П. Д. Святополка-Мирского («земская кампания» осени 1904 г.), и царский указ декабря 1904 г. с обещаниями государственного страхования рабочих, уравнения прав крестьян с правами других сословий, расширения функций земских и городских управлений, и т. п.

Стр. 189. *Армяне на Кавказе перебиты руками верноподданных татар?* — Речь идет об инспирированной царскими властями армяно-татарской резне, происходившей 6—9 февраля 1905 г. в Баку, 21 февраля 1905 г. в Эривани. Этим «кровавым трагедиям» посвящена статья Горького «О кавказских событиях» (впервые напечатана отдельной брошюрой в изд-ве «Demos», Женева, 1905; см. *Г-30*, т. 23, стр. 337—340).

Стр. 189. *Когда султан турецкий заставил курдов и своих солдат уничтожать армян...*— Султан Абдул-Хамид II (1842—1918), заслуживший прозвище «кровавого султана» и названный В. И. Лениным «турецким Николаем II» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 177). В политических целях устраивал в 1894—1896 гг. армянские погромы в Турции, чтобы возбудить вражду между мусульманами (турки, курды) и христианами (армяне).

Стр. 189. *Евреев перебили?* — После издания манифеста 17 октября 1905 г. черносотенцы устраивали многочисленные еврейские погромы.

Стр. 192. *Вы о японской шишке вспомнили...*— Двойной намек: на поражение царизма в русско-японской войне 1904—1905 гг. и на эпизод из биографии Николая II. Во время поездки молодого наследника по Японии в 1891 г. его ударил саблей по голове японский полицейский (в г. Отсу). Этот инцидент нашел отражение в популярном экспромте В. А. Гиляровского:

Приключением в Отсу
Опечален царь с царицею.
Тяжело читать отцу,
Что сынок побит полицьею.
Цесаревич Николай,
Если царствовать придется,

Никогда не забывай,
Что полиция дерется.

(Вл. Гиляровский. Соч. в 4-х томах, т. 4. М., 1967, стр. 441). В сатирической журналистике 1905—1906 гг. «знаменитая шишка была... канонизирована» (В. Боцяновский и Э. Голлербах. Русская сатира первой революции 1905—06 гг. Л., 1925, стр. 75), стала излюбленным приемом изображения Николая II.

Стр. 192. *Татары уже испорчены влиянием враждебных Нам веяний... но у Нас есть калмыки, башкиры и киргизы...* — В статье «О кавказских событиях» (1905) Горький писал: «И может быть так: если завтра татары потребуют признания за ними человеческих прав на самоопределение — против них пошлют киргиз и мордву, чтобы перебить их чужими руками» (*Г-30*, т. 23, стр. 338—339).

Стр. 193. *Мамаша и Победоносцев — они Нас прекрасно обучили думать по-царски!..* — Мать царя, императрица Мария Федоровна, и обер-прокурор Синода, крайний реакционер К. П. Победоносцев (1827—1907), имели большое влияние на Николая II. Факт этот был широко известен и нашел отражение в сатирической литературе эпохи первой русской революции — например, в анонимных стихотворных «Письмах Николая II к Вильгельму II»:

Секретно уверяю вас,
Где надо думать, там я пас,
И всё решают пополам
Победоносцев и маман.

(«Пролетарские поэты», т. I, 1935, стр. 165).

Стр. 193. *Деньги достанет Дума.* — Европейские финансовые круги, опасаясь за судьбу своих капиталов в России, требовали от царского правительства водворения «порядка» и «законности» в качестве условия предоставления займов. В обращении «Не давайте денег русскому правительству!» (март 1906 г.) Горький писал по этому поводу: «Под давлением необходимости иметь деньги русские власти устраивают гнуснейшую комедию народного представительства 〈...〉 Народ понял эту грубую комедию, он ясно видит, что Дума — декорация, которою хотят обмануть Европу, чтобы достать из ее карманов денег на борьбу же с ним» (*Г-30*, т. 23, стр. 382—383).

ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

(Стр. 194)

Впервые напечатано отдельной книгой: Максим Горький. Один из королей республики. Интервью. Verlag von J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart, 1906; в переводе на немецкий язык под заголовком «Миллиардер» — в газетах «Sächsische Arbeiter-Zeitung», 1906, 28 августа, и «Der freie Arbeiter», 1906, № 39, 29 сентября.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись с правкой и подписью Горького (*АМ*) — оригинал набора для XIII *Сб Зн* (ХПГ-38-2-1). 2. Машинопись без правки Горького — оригинал набора для издания *К* (ХПГ-38-2-2).

Печатается по *АМ*.

Написано в первой половине мая 1906 г. Письма Горького И. П. Ладыжникову отражают поиски названия произведения. В письме от начала мая 1906 г. говорится об интервью с «Миллиардером» (*Г-30*, т. 28, стр. 420). 12(25) мая Горький сообщает: «Четвертую главу, „Миллионер", получите со следующей почтой» (*Архив Г* $_{VII}$, стр. 140). Окончательное заглавие появляется в машинописных текстах произведения, отправленных 18—19 мая (31 мая — 1 июня) 1906 г. Ладыжникову и Пятницкому (там же, стр. 140—141). Отдельное издание «Одного из королей республики» в *Дтц* вышло летом 1906 г.; осенью того же года напечатано как четвертое произведение цикла в XIII *Сб Зн* (вышел 15/28 ноября). В конце августа Горький писал Е. П. Пешковой: «Заранее уверен, что интервью с миллиардером —„Один из королей республики" — навлечет на меня грозы и бури» (*Г-30*, т. 28, стр. 436).

В сентябре 1907 г. Центральный комитет иностранной цензуры запретил распространение издания *Дтц* (см. *Г*, *Материалы*, т. III, стр. 419). Последующие иностранные издания этого произведения постигла в России та же судьба.

Стр. 201. ...*апостол Иаков, брат апостола Иуды.* — По Евангелию, Иаков Алфеев или Иаков меньший — один из 12 апостолов, учеников Христа. Иуда Фаддей или Леввей, брат Иакова меньшего,— также один из апостолов.

ЖРЕЦ МОРАЛИ

(Стр. 209)

Впервые напечатано отдельной книгой: Максим Горький. Жрец морали. Интервью. Verlag von J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart, 1906.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись (1-й экз.) с правкой и подписью Горького ($АМ_1$) — оригинал набора для *Сб Зн* (ХПГ-38-2-1). 2. Машинопись (2-й экз.) с правкой и подписью Горького ($АМ_2$) — оригинал набора для издания *Дтц* (ХПГ-29-3-1).

Печатается по $АМ_1$ с исправлением по смыслу: «процесс выжимания золота» (*стр. 217*, *строки 20—21*) вместо «процесс вынимания золота».

В основе памфлета — реальные факты, поданные в форме гротеска. В позднейшей статье Горького ⟨«О буржуазной прессе»⟩ (1930) рассказан, например, такой, явно ассоциирующийся со «Жрецом морали», типично «американский» эпизод, о котором

узнал писатель в 1906 г. в США: «Одна из газет уличила богатую и влиятельную филантропку в том, что она содержит несколько домов терпимости,— это была весьма хорошая сенсация. Но через два дня та же газета, поместив на своих страницах портреты двадцати пяти полицейских, сообщила, что это они организаторы тайной проституции, а не почтенная, всеми уважаемая мистрис.

— А как же полицейские?

— Их уволили, предварительно обеспечив. Они найдут работу в других штатах» (*Г-30*, т. 25, стр. 289—290).

Следует учитывать также инцидент травли Горького и М. Ф. Андреевой в США, когда выяснилось, что их отношения не скреплены церковным обрядом. Эта беспрецедентная кампания имела политическую подоплеку, но велась под флагом защиты «высокой» морали. Американские буржуазные газеты соревновались в оскорбительных выражениях по поводу «аморальности» Горького. Один из таких пассажей привел писатель в письме к Е. П. Пешковой: «...страна никогда не испытывала такого позора и унижения, каким награждает ее этот безумный русский анархист, лишенный от природы морального чувства...» (*Г-30*, т. 28, стр. 435). Эптон Синклер позднее вспоминал: «Горький защищал революцию от объединенного мирового капитализма, а сенатор Кнут Нельсон, старый слуга капитала из Миннезотты, прислал, когда разыгралась эта позорная история (упомянутый инцидент.— *Ред.*), следующую телеграмму „Ассоциации Прессы", распространенную последней по всей Америке: „Это ужаснейшее созданье — Максим Горький. Он настолько безнравственен, насколько это возможно для человека"» (Уптон Синклер. Медная марка. Харьков, 1924, стр. 11).

Сам Горький воспринял этот инцидент не в личном, а в более широком плане. В неотправленном «Письме в редакцию» газеты «XX век» он иронически высказывался в связи с происшедшим: «...во всех странах мещане — люди единственно праведные и 〈...〉 именно они всюду являются наиболее строгими жрецами морали. Мещанин невозможен без морали, как удавленник без петли» (*Г-30*, т. 23, стр. 392). И по тому же поводу писал Е. П. Пешковой в начале апреля: «Вопрос не в самолюбии, а в борьбе с моралью мещан», борьбе, которая является тоже «революцией, революцией в головах» (*Архив* $Г_V$, стр. 177).

Первое упоминание о замысле произведения («интервью с Грешником») содержится в письме Ладыжникову, относящемся к началу мая 1906 г. (*Г-30*, т. 28, стр. 420). Первоначальный заголовок — «Профессиональный грешник» (там же, стр. 425). Памфлет писался, по-видимому, в одно время со статьей «Город Мамоны». Помимо близости отдельных мотивов, связанных с темой морали, эти произведения соприкасаются и текстуально: и в то и в другое включен отрывок о деде писателя: «Самым отчаянным моралистом ∽ Он так и умер моралистом» (см. стр. 438 наст. тома). И там и здесь фигурируют выражения «жрец морали» и «профессиональный грешник».

Произведение было завершено в конце мая. «На днях вышлю Вам 5—6-ю главы книги 〈„Жрец морали“ и „Хозяева жизни“〉»— сообщал Горький Ладыжникову 30 мая/12 июня (*Г-30*, т. 28, стр. 424). В самом начале июня машинописные тексты памфлета, имеющие уже новое заглавие — «Жрец морали», были отправлены Ладыжникову и Пятницкому (там же, стр. 425—426).

Отдельное издание «Жреца морали» у *Дтц* вышло летом 1906 г. В России «Жрец морали» был напечатан как пятое произведение цикла «Мои интервью» в XV *Сб Зн*, который вышел 15(28) марта 1907 г.

ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ

(Стр. 222)

Впервые напечатано отдельной книгой: Максим Горький. Хозяева жизни. Интервью. Verlag von J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart, 1906.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись с правкой и подписью Горького (*АМ*) — оригинал набора для издания *Дтц* (ХПГ-47-13-1). 2. Машинопись без правки Горького — оригинал набора для *К* (ХПГ-38-2-2).

Печатается по *АМ* с исправлением по смыслу: «мозоли ваших душ» (*стр. 231, строки 13—14*) вместо «мозоли душ».

Среди черновых вариантов цикла «Публика» есть набросок, в котором намечена тема памфлета (см. стр. 349 наст. тома).

Первое упоминание об «интервью с Мертвецом» содержится в письме Горького Ладыжникову от начала мая 1906 г. (*Г-30*, т. 28, стр. 420). 30 мая (12 июня) Горький обещал Ладыжникову «на днях» выслать 6-ю «главу книги» (там же, стр. 424); в начале июня Ладыжникову и Пятницкому были отправлены машинописные тексты произведения (там же, стр. 425—426). Отдельное издание «Хозяев жизни» у *Дтц* вышло не позднее первой половины июля, о чем свидетельствует письмо Горького Ладыжникову от второй половины июля (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 143).

Писатель остался недоволен своим произведением. Уже в середине августа 1906 г., имея в виду предполагаемое издание «интервью» в одной книге, он писал Ладыжникову: «Необходимо выкинуть вон „Хозяев жизни“ — это слабо. Может быть, я переделаю эту вещь» (*Г-30*, т. 28, стр. 428).

В XIII *Сб Зн* (вышел 15/28 ноября 1906 г.) было объявлено о предстоящей публикации «Хозяев жизни» как шестого, заключительного произведения серии «Мои интервью»: вместе со «Жрецом морали» оно, по-видимому, предназначалось для XV Сборника. Но 7(20) декабря Горький телеграфировал Пятницкому с о. Капри: «Не печатайте „Хозяев“» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 207). Памфлет предполагалось перенести в XVI *Сб Зн*, о чем свидетельствует запись Пятницкого, сделанная на наборном экземпляре «Жреца морали» (Архив А. М. Горького, ХПГ-38-2-1).

Лишь в ноябре — декабре 1911 г. вопрос о «Хозяевах жизни» возник снова. Пятницкий предложил Горькому включить памфлет в XXVIII *Сб Зн*: «Алексей Максимович сначала согласился. Но потом сказал, что своего рассказа не даст» (письмо Пятницкого В. С. Миролюбову 17/30 декабря 1911 г.— *Г, Материалы*, т. III, стр. 81). Публикация «Хозяев жизни» в знаньевских сборниках так и не состоялась.

С т р. 223. *...идею преимущества белой расы над цветной...*— Эту идею, так же как идею неравенства народов и людей, всесилия наследственности и «предков» проповедовали многие реакционные философы. Горький еще в конце XIX века читал книгу французского философа и антрополога Густава Лебона (1841—1931) «Психология толпы» (1895), в которой развиваются эти идеи. Французский востоковед И. А. Гобино (1812—1882) упорно доказывал, что народы отличаются не только по цвету кожи, но и духовно, что к культурному развитию способна только «арийская раса» («Essai sur l'inégalité des races humaines»).

С т р. 225. *Компрачикосы* (исп.— «покупщики детей») — в старину — люди, покупавшие или похищавшие детей и уродовавшие их для продажи в качестве шутов.

С т р. 226. *...женщина не человек.*— Комментарием к этому месту служит следующая выдержка из позднейшей статьи Горького «О женщине» (1930): «В Швейцарии некий профессор, имя которого я забыл, напечатал в середине девяностых годов весьма толстую книгу и в ней доказал, что женщина как биологическая особь во всех отношениях ниже мужчины и хуже его. В то же время объявил войну женщинам Фридрих Ницше, человек, который хотел реставрировать несколько ожиревший „дух нации". Вильгельм Второй должен был напомнить с высоты своего трона, что у немецкой женщины только три обязанности пред ее страной: дети, кухня, церковь. Было и еще много сделано различных попыток доказать женщине, что она „человек второго сорта". Наиболее резким выражением буржуазной „женофобии" следует признать напечатанную в 1902 году в Австрии книгу Отто Вейнингера „Пол и характер"» (*Г-30*, т. 25, стр. 160—161).

С т р. 228. *...прах мудреца, который учил, что общество есть организм, подобный... обезьяне или свинье...*— Вероятно, намек на известного английского философа-позитивиста Герберта Спенсера (1820—1903) и его так называемую «органическую теорию общества», уподоблявшую человеческое общество животному организму и переносившую на общественную жизнь биологические законы.

С т р. 228. *А здесь лежит прах человека, который звал людей назад...*— Б. В. Михайловский связывал это место с намеком на Ницше (*Г Чтения*, 1949, стр. 216).

С т р. 228. *А этот ∽ доказывал — преступники не люди, они — больная воля, особый, антисоциальный тип.* — Подразумевается итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломбро́зо (1836—1909), развивавший теорию биологически обусловленной, «врожденной» преступности.

С т р. 232. *Я изобрел электрический стул! Он убивает людей без страданий.*— Казнь на электрическом стуле была введена в США 1 января 1889 г. по предложению сенатора Джерри как наиболее «человечный и наиболее удобный способ казни».

С т р. 233. *Свобода может существовать только как анархия...*— Возможно, намек на философское учение Макса Штирнера (псевдоним Каспара Шмидта, 1806—1856), проповедовавшего в своей книге «Единственный и его собственность» (1845) самые крайние формы индивидуализма. К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» подвергли философию Штирнера сокрушающей критике.

В АМЕРИКЕ

(Стр. 237)

Впервые напечатано отдельной книгой: М а к с и м Г о р ь к и й. В Америке. Очерки. Часть первая. Verlag von J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart, 〈1906〉; в книгу вошли: «Город Желтого Дьявола», «Царство скуки», «Mob», «Чарли Мэн». Одновременно — в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1906 год», книга одиннадцатая. СПб., 1906 («Город Желтого Дьявола») и книга двенадцатая. СПб., 1906 («Царство скуки», «Mob», «Чарли Мэн»). При подготовке очерков для *К* «Чарли Мэн» из цикла был исключен.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Авторизованная машинопись всех четырех очерков, служившая оригиналом набора для отдельного издания *Дтц* — $АМ_1$ (ХПГ-4-1-3). 2. Дубликат той же машинописи, правленный автором и послуживший оригиналом набора для *Сб Зн* — $АМ_2$ (ХПГ-4-1-2). 3. Печатный текст отдельного издания *Л* (Берлин, 1913), правленный автором и послуживший оригиналом набора для *К* (ХПГ-4-1-1).

Печатается по тексту, подготовленному автором для *К* со следующими исправлениями:

Стр. 238, строка 7: «щепами, стружками» вместо «щепами и стружками» (по $АМ_2$ и $Сб\ Зн_{11}$).

Стр. 253, строки 3—4: «Прозрачный ∽ город» вместо «Призрачный ∽ город» (по $АМ_{1-2}$ и $Сб\ Зн_{12}$).

Стр. 264, строка 16: «яд, отравляющий им души» вместо «яд, отравляющий их души» (по $АМ_{1-2}$ и $Сб\ Зн_{12}$).

Цикл «В Америке» написан в 1906 г. в США, куда Горький приехал 28 марта (10 апреля) 1906 г. в целях пропаганды идей русской революции и сбора средств для помощи освободительному движению России. Поездка была организована партией большевиков. Как вспоминал М. Хилквит, один из лидеров американских социалистов, Горький привез с собою «рекомендательное письмо от Исполнительного комитета Российской социал-демократической рабочей партии и личную записку

от Николая Ленина» (Morris Hillquit. Loose leaves from a busy life. New York, The Macmillan company, 1934, pp. 112—113). Писатель провел в США полгода, заполненные напряженной общественной деятельностью, а также интенсивной творческой работой.

Сатирический цикл своеобразно концентрирует многие наблюдения писателя над капиталистической Америкой. Уже на следующий день по приезде Горький сообщил Леониду Андрееву: «А в рабочих тут стреляют, как во всяком благоустроенном государстве...» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 267). В августе 1906 г. он писал И. П. Ладыжникову: «Знаете, что я Вам скажу? Мы далеко впереди этой свободной Америки, при всех наших несчастиях! Это особенно ясно видно, когда сравниваешь здешнего фермера или рабочего с нашими мужиками и рабочими» (*Г-30*, т. 28, стр. 429).

В начале мая 1906 г. Горький сообщал К. П. Пятницкому: «На днях Вам вышлют из Берлина „Город Желтого Дьявола“ (Нью-Йорк). Это листа полтора печатных. Можно отдать в „Образование“. Вещь — не имеющая художественной ценности. Печатать раньше августа — нельзя, продана здесь. За нее меня американцы будут бить» (*Г-30*, т. 28, стр. 422). Речь здесь шла, видимо, не об очерке, открывающем цикл «В Америке», а о другом произведении, связанном с очерком близостью замысла и общностью темы, а местами имеющем и текстуальные совпадения. Произведение это в России опубликовано не было, но в июне 1906 г. появилось в американской печати под названием «Город Мамоны. Мои впечатления об Америке» (см. «Приложение», стр. 431 наст. тома). Работа же над очерками началась, по всей вероятности, позднее. 15(28) мая 1906 г. Горький, уведомляя Е. П. Пешкову о том, что «написал книгу „Мои интервью“», сообщал: «Затеял также небольшую книгу очерков из здешней жизни» (*Г-30*, т. 28, стр. 424).

Рукописи этих произведений не сохранились. В горьковской записной книжке того времени (см. в этом томе, стр. 409) есть лишь несколько связанных с ними записей, позже зачеркнутых (так иногда делал писатель, использовав тот или иной текст). Это — наметки отдельных эпизодов, мотивов, развернутые затем в очерках. Две записи относятся к «Царству скуки», одна — к «Mob».

Очерки «В Америке» были написаны в очень короткий срок. В начале июня 1906 г. (до 10-го) Горький уведомил Пятницкого, что вышлет ему «„Город Желтого Дьявола“ (Нью-Йорк), „Царство скуки“, потом „Mob“ — толпа — и „Чарли Форстер“. Это вещи другого типа ⟨в отличие от очерков „Мои интервью“⟩, они пойдут с отдельной нумерацией» (*Г-30*, т. 28, стр. 426). 14(27) июня тексты названных произведений были отправлены Пятницкому вместе с письмом, в котором говорилось: «...сии четыре очерка будут напечатаны в августовских книжках американских журналов. Особенного значения они не имеют, включать их в сборники, на мой взгляд, нет резона,—м. б., Вы их продадите в какой-либо журнал? „Образование“, напр., или

„Божий мир"? Впрочем — Ваше дело» (там же, стр. 426—427). Тогда же, 14(27) июня, очерки «В Америке» были отосланы Ладыжникову, которому Горький советовал предложить их «в журналы Германии или Франции» (*Г-30*, т. 28, стр. 427).

Тексты, отправленные Ладыжникову в Германию и Пятницкому в Россию, в основном идентичны («Пятницкому посланы вторые экземпляры» — там же) и отличаются лишь частными разночтениями, преимущественно пунктуационными и значительно реже — словесными.

Книга «В Америке» в издании *Дтц* вышла в свет 8(21) августа 1906 г. (письмо Ладыжникова Пятницкому от 19 сентября/2 октября 1906 г.— Архив А. М. Горького, ПТЛ-10-79-25); 19 августа (1 сентября) вышел XI *Сб Зн*, а 9(22) октября — XII.

Очерки «В Америке» не исчерпали американских впечатлений Горького. О некоторых из его замыслов, возникших уже после окончания этих очерков, мы узнаем из переписки. В письме к А. В. Амфитеатрову от августа 1906 г., обещая выслать ему небольшой рассказ «из американской жизни», Горький сообщал: «Уже теперь чувствую себя в силах написать об Америке нечто такое, за что они меня выгонят» (*Г-30*, т. 28, стр. 432). И приблизительно в это же время — Пятницкому: «Я скоро напечатаю статью „Страна подростков", в которой буду доказывать, что американцы, даже когда они лысы, седы и жуют вставными зубами, даже когда они профессора, сенаторы и миллионеры, имеют не более 13—15 лет от роду. Вероятно, меня задавят возражениями» (*Архив Г* $_{IV}$, стр. 204). Перед самым отъездом из США Горький информировал Е. П. Пешкову: «...необходимо много писать — между прочим, об Америке» (*Г-30*, т. 28, стр. 438).

Посылая 14(27) июня очерки «В Америке» Ладыжникову для издания, Горький писал: «Об Америке будут и еще очерки» (там же, стр. 428). В отдельном, штутгартском, издании очерков название «В Америке» сопровождалось подзаголовком — «Часть первая»; вторая часть была объявлена в каталогах издательства *Дтц*. Работу над нею писатель надеялся завершить в Италии, куда он прибыл в середине октября 1906 г. 31 октября (13 ноября) 1906 г. русский посол в Риме Н. В. Муравьев, сообщая министру иностранных дел А. П. Извольскому о приезде Горького в Италию, писал: «...Горький 〈...〉 будет, согласно газетным сообщениям, заканчивать свою книгу о впечатлениях путешествия в Америку» (Архив А. М. Горького, ЖД-9-56-1). Но вторая часть американских очерков так и не была написана, что подтверждается ответом писателя на запрос Груздева (1929 г.): «Второй части „Американских очерков" не было. Я был бы рад, если б и первой тоже не было» (*Архив Г* $_{XI}$, стр. 187).

Резкость этой оценки связана, по-видимому, с возраставшей требовательностью писателя к самому себе.

При подготовке очерков «В Америке» для издания *К* Горький изъял из цикла очерк «Чарли Мэн» и отредактировал остальные произведения. Правка носила в основном стилистический характер.

Появление в сборниках «Знания» очерков «В Америке» и вслед за ними «Моих интервью» вызвало много откликов в печати. Реакционные органы типа «Московских ведомостей» и «Нового времени» и ряд либерально-буржуазных газет и журналов заговорили о падении таланта Горького. Отзывы о его новых произведениях пестрят аттестациями: «напыщенное проповедничество», «безвкусный пафос», «ритор в стиле Марлинского», «грубость вместо юмора», «безжизненные, вялые краски». В основном одинаково объясняются и причины «кризиса»: Горький наказан творческим бессилием за приверженность к политике, к революционно-классовой идеологии, за свои партийные пристрастия. Ослепленный «шаблонным радикализмом» писатель поддался «скверному стремлению превратить искусство в орудие... партийной мести» (С. Б. Художественная ложь.— «Россия», 1906, № 239, 15 сентября); «...мораль проповедника затмила свободную кисть художника-беллетриста» (С. В. Мирской. Сборник «Знания» XII.— «Речь», 1906, № 206, 2 ноября); он стал жертвой «самой деспотической религии мира — социализма» (П. А. Тверской. Максим Горький в Америке.— «Слово», 1907, № 141, 6 мая) и т. п.

Ф. Батюшков, сочувственно отозвавшийся о публицистических тенденциях новых горьковских произведений («Литература и политика».— «Речь», 1906, № 233, 3 декабря), оказался почти одиноким среди критиков, которые, отвергая «нового» Горького, порой сочувственно противопоставляли ему превратно истолкованного «прежнего» Горького, чей герой «был всегда свободен, равенства не понимал, а братства терпеть не мог» (П. Иванов. Рецензия на XIII и XIV Сборники «Знания».— «Перевал», 1907, № 3, январь, стр. 59), жаждал «простора и вольной волюшки» (А. В. 〈Тыркова〉. Горький.— «Речь» 1906, № 252, 25 декабря).

Горький и в последних своих вещах явился анархическим индивидуалистом, певцом босяка,— считали другие рецензенты. Потому, будто бы, и не смог он понять Америки, что остался «исключительно на коноваловской точке зрения»; «жители американского города представляются Горькому такими же, если не больше жалкими рабами, какими в глазах Коновалова были жители и русских городов» (Вл. Кранихфельд. М. Горький и его американские очерки.— «Современный мир», 1906, № 2, ноябрь, стр. 110). «Мечтательному Максиму», томящемуся по «босоногой воле под ясным и ласковым небом», естественно, претит «благоустроенный город» с его «культурой и промышленной техникой» (Ergo. Литературные заметки.— «Россия», 1906, № 285, 2 ноября).

Важнейший идейный мотив двух горьковских циклов — развенчание либеральных иллюзий насчет цивилизации и демократии Запада — вызывает протест у оппонентов писателя, стремящихся «встать за Европу горою». «Картины чуждой 〈...〉 жизни, написанные пером, напитанным исключительно горечью и ненавистью», представляются им «односторонними и вызывают 〈...〉 глухое чувство протеста против искажения правды» («XII

сборник товарищества „Знание" за 1906 г.» — «Русская мысль», 1906, № 12, отд. III, стр. 327). Они обижены за Америку с ее «кипящей жизнью свободной страны» (А я к с. 〈А. А. Измайлов〉. В литературном мирке.— «Биржевые ведомости», 1906, № 9456, 24 августа), с ее «демократизмом и профессиональными рабочими союзами» (E r g o. Литературные заметки.— «Россия», 1906, № 285, 2 ноября), с ее «железной энергией в труде» и «колоссальной волей» (С. Б. Художественная ложь.— «Россия», 1906, № 239, 15 сентября).

В апрельском номере «Русской мысли» за 1907 г. появилась нашумевшая статья Д. В. Философова «Конец Горького», посвященная, главным образом, двум очерковым циклам Горького: «Как художник, он бессознательный анархист, но как гражданин земли русской — он убежденный социал-демократ. И чем больше рос в нем гражданин, тем более умалялся художник, вся сила которого была в протесте против всякой гражданственности» («Русская мысль», 1907, № 4, отд. II, стр. 127). В результате «всё, что было в нем, как в художнике, яркого и сильного, исчезло» и «как это ни страшно сказать — Горький-художник вряд ли возродится» (там же, стр. 140—141).

Статья Философова вызвала многочисленные отклики, в части которых целиком поддерживается версия об «исчерпанности» Горького,— «что бы он ни писал 〈...〉 уже не воскреснет» (Б э н 〈Б. В. Назаревский〉. Конец Горького.— «Московские ведомости», 1907, № 99, 1 мая). Но отдельные критики, разделяя отрицательный взгляд на последние горьковские произведения, всё же были не согласны с «решающей формулой» о «конце» (см., например, статью: А. Г. Горнфельд. Кончился ли Горький? — «Товарищ», 1907, № 252, 27 апреля).

Против мрачных прогнозов Философова решительно восстал А. А. Блок в известной статье «О реалистах». Блок также не принял новых сочинений писателя (в статье фигурируют «Мои интервью», «Товарищ» и «Мать»), полагая, что «Горький больше того, чем он хочет быть...» («Золотое руно», 1907, № 5, стр. 64). Но он писал: «Я утверждаю 〈...〉 что если и есть реальное понятие „Россия", или, лучше,— *Русь*,— помимо территории, государственной власти, государственной церкви, сословий и пр., то есть если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем *Руси*,— то выразителем его приходится считать в громадной степени — Горького» (там же).

Л. Андреев, вступивший тогда уже в полосу духовного кризиса, тем не менее, писал Горькому 13(26) августа 1907 г. из Петербурга: «И то, что здесь считается твоим падением („социал-демократ, увлекается политикой и оттого талант падает"), один только я верно оцениваю как новый подъем на новую огромную, небывалую высоту» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 289). О самих же произведениях Горького, их литературных достоинствах он высказался в письме к Пятницкому от 5(18) сентября 1906 г.: «Прочел 〈...〉 все вещи Максимыча. От американских очерков в восторге: сильно, красиво, жестоко. Хорошо! Интервью же — в общем

слабы. Хороша „Франция“, недурно „Король республики“ („Вильгельма“ не читал) и совсем плохо „Хозяева жизни“, „Жрец морали“ и „Русский царь“» (там же, стр. 520).

Восторженно встретил новые горьковские произведения В. В. Стасов. В письме к брату он рассказывал о музыкальном собрании у него в Петербурге 3(16) сентября 1906 г.: «...а вчера после многого пения Шаляпин объявил, что хочет нам прочитать кое-что. И прочитал: „Город Желтого Дьявола“ и „Прекрасная Франция“ 〈...〉 оба истинные chefs d'oeuvr'ы! Настоящий Байрон нашего времени. Какая сила! Какая красота! Какая картинность языка! Можно только удивляться краскам Максима Горького. Для меня эти две вещи — наравне с „Человеком“ — лучшие его создания» (В л а д. К а р е н и н 〈В. Д. Комарова〉, Владимир Стасов. Очерк его жизни и деятельности, ч. II. Л., 1927, стр. 681).

А. В. Луначарский писал в 1908 году: «Только мещанское злопыхательство и филистерская тупость в этом кризисе роста, где сквозь несовершенства, а иногда именно благодаря им, чувствовалась исполинская сила и семимильный шаг вперед — в этом кризисе перехода к новому, высшему миросозерцанию могли увидеть болезнь, даже — смешно — смерть Горького» (А. Л у н а ч а р с к и й. Критические этюды. Л., 1925, стр. 108).

Г. В. Плеханов, оценивая горьковские произведения 1906—1907 гг. с меньшевистских позиций, в письме к И. И. Аксельрод от 24 июля 1907 г., отрицательно отзываясь о повести «Мать», заметил: «Впрочем, уже американские очерки заставляли опасаться того, что Горький собьется „с голоса“» (ЦПА ИМЛ, ф. 264, оп. 2, ед. хр. 74. См. также: Г. П. С е м е н о в а. Г. В. Плеханов и М. Горький.— «Русская литература», 1967, № 3, стр. 57). Вместе с тем Плеханов осудил тех критиков писателя, которые, «кажется, совсем его похоронили, что, разумеется, ошибочно» (письмо к И. И. Аксельрод от 2 апреля 1908 г., см. там же).

Вопреки уверениям недоброжелательной критики, что Запад якобы не заметил новых произведений писателя, они вызвали живой интерес у зарубежной общественности. Например, известный американский философ У. Джеймс писал Горькому 7(20) августа 1906 г. о международной роли его «великолепных маленьких шедевров» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-а-1-73-1).

Оба сатирических цикла писателя привлекли, естественно, особое внимание в социалистических кругах. Среди переводчиков циклов «В Америке» и «Мои интервью» — известный болгарский критик-марксист Г. Бакалов (его переводы появились в 1907 г.), испанский социалист Х. Мелиа (его переводы изданы в 1909 г.). «Будучи одним из самых преданных и искренних Ваших поклонников,— писал Горькому Х. Мелиа 6(19) сентября 1909 г.,— я испытываю глубокую радость, переводя Ваши произведения» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 229). Вскоре же после первых публикаций с новыми сочинениями Горького познакомились и читатели стран Азии.

С т р. 237. *...статую Свободы.*— Статуя Свободы работы французского скульптора Бартольди, подаренная Францией, была водружена в октябре 1886 г. на островке Либерти (теперь— Бедло), расположенном у входа в гавань Нью-Йорка.

С т р. 252. *Куни Айланд* — Кони Айленд — островок, являющийся южной оконечностью Нью-Йорка; расположен у выхода в Атлантический океан.

С т р. 252. *...по Бруклину...*— городской округ Нью-Йорка, расположенный на острове Лонг Айленд.

II

ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ

(Стр. 277)

Печаталось нелегально, как гектографированное издание, революционными кружками в Нижнем Новгороде и Москве, по-видимому, в конце марта 1901 г., в Петербурге — после апреля: Фантазия М. Горького. Весенние мелодии ⟨Н. Новгород, 1901⟩; Весенние мелодии (Фантазия) ⟨Н. Новгород, 1901⟩; Весенние мелодии ⟨Н. Новгород, 1901⟩; М. Горький. Весенние мелодии. Фантазия ⟨Москва, 1901⟩; М. Горький. Весенние мелодии. Фантазия. С.-Петербург, 1901. Экземпляры этих, а также и других гектографированных изданий произведения хранятся в Архиве А. М. Горького (ХПГ-5-2-5, 6, 9, 10, 14, 16, 17).

«Весенние мелодии» неоднократно перепечатывались за границей: впервые в журнале русских социал-демократов («экономистов») «Рабочее дело» (Женева), 1901, № 9, май, отд. II, стр. 39—42; с 1902 г.— в сборниках запрещенных царской цензурой произведений, например: М. Горький. Запрещенное. Изд. 1, Берлин, 1902; изд. 2, Берлин, 1905; М. Горький. Три рассказа (Воспрещены русской цензурой). Берлин, 1902; М. Горький, Л. Н. Толстой, Н. Щедрин. Три революционные сатиры. Берлин, 1904.

В Архиве А. М. Горького, кроме гектографированных изданий произведения, хранятся: 1. Автограф «Весенних мелодий» (ХПГ-5-2-1). 2. Гранки набора для газеты «Курьер» (ХПГ-5-2-3); в Центральном государственном архиве города Москвы находятся две полосы (из 4-х) этих гранок с цензорскими вычерками. 3. Машинописная копия под заглавием «„Весенняя мелодия". Фантазия М. Горького» (ХПГ-5-2-11), правленная автором.

Печатается по автографу.

Последний раз к тексту «Весенних мелодий» Горький обратился в 1931 г. 2 июля 1931 г. саратовский художник Ф. В. Белоусов передал Нижне-Волжскому краевому архиву рукопись: «„Весенняя мелодия". Фантазия М. Горького» — с подписью «М. Горький» и датой: «Москва. 24 марта 1901 г.». Белоусов сообщил, что рукопись — дар Горького литератору Сидорову. Архив переслал Горькому машинописную копию с рукописи и фотокопию ее заключительной страницы, прося разрешения на опубликование. 15 июля 1931 г. Горький ответил на письмо Нижне-Волжского архива:

«Литератора Сидорова — не помню.

Едва ли мог я дарить кому-либо экземпляры „Весенней мелодии", ибо черновик ее был передан мною кружку московских студентов, высланных в Н. Новгород; они и занимались размножением и распространением ее.

Фотоснимок с рукописи принадлежит одному из них; кажется, это почерк Бориса Морковина.

Рукопись переписана небрежно, текст ее — плохо помню, а насколько мог вспомнить, кое-что исправил.

На тему: „Ко-ко-ко-кон" позднее — в 904 г.— была сделана открытка-карикатура Вильямом Каррпком. Я Вам пришлю ее» (*Г-30*, т. 30, стр. 219—220).

На обороте присланной ему фотокопии с рукописи Горький написал: «Это не мой почерк, подпись тоже не моя. М. Горький. 15 VII—31. Москва» (сб. «А. М. Горький. Статьи и документы». Саратов, 1937, стр. 19).

Горький исправил в тексте машинописной копии произведения многочисленные искажения, возникшие как раньше, так и во время позднейшей перепечатки. В заключительной части машинописи это сделано менее тщательно, чем в начале. Автор внес в текст ряд стилистических и смысловых уточнений. Работая над произведением в 1931 г., Горький не ставил задачи его идейно-стилистического обновления, а тем более подготовки к переизданию. Он пытался лишь восстановить в прежнем виде искаженный текст, но правку его не довел до конца, о чем свидетельствуют слова в письме: «насколько мог вспомнить, кое-что исправил». Вновь исправленный текст произведения так и не был издан при жизни писателя. Ввиду всего этого машинописную копию следует считать лишь боковым вариантом произведения, хотя она и содержит последнюю прижизненную правку автора.

Произведение написано в марте 1901 г., не раньше 12 и не позднее 24 (см. примечания к «Песне о Буревестнике», стр. 451). На одном из гектографированных изданий рассказа в конце текста — помета: «Москва. 24 марта 1901 г.». Такая же помета и на рукописи рассказа, полученной в дар Нижне-Волжским краевым архивом (ХПГ-5-2-12 — фотокопия ее заключительной страницы с примечанием Горького). И дата и указание места в этих пометах явно не авторские (Горького в то время в Москве не было), а принадлежат, по-видимому, переписчикам, что подтверждает завершенность к этому времени творческой работы над произведением.

«Весенние мелодии» создавались в обстановке начавшегося в России нового революционного подъема. «Каждый день,— писал Горький в конце марта 1901 г. Чехову,— напряженно ждешь чего-нибудь нового, каждый день слышишь невероятные разговоры и сообщения, нервы всё время туго натянуты, и каждый день видишь десяток, а то и больше, людей, столь же возбужденных, как и сам ты ⟨...⟩ Жизнь приняла характер напряженный, жуткий. Кажется, что где-то около тебя, в сумраке событий, притаился огромный черный зверь и ждет, и соображает — кого пож-

рать. А студентики — милые люди, славные люди! Лучшие люди в эти дни, ибо бесстрашно идут, дабы победить или погибнуть. Погибнут или победят — неважно, важна драка, ибо драка — жизнь. Хорошо живется!» (*Г-30*, т. 28, стр. 157, 159).

Насыщая «Весенние мелодии» злободневным общественным содержанием, Горький предназначал произведению, созданному в кипучей атмосфере революционной борьбы, роль художественно-политической прокламации. Как он позднее вспоминал, черновая рукопись «Весенних мелодий» была передана им для распространения революционному кружку студентов, высланных в Нижний Новгород (см. выше).

Член этого кружка Б. Морковин писал в Москву 6 апреля Л. Г. Булкиной (письмо было перлюстрировано полицией):

«У нас своя компания, человек 15 ...; у нас бывают нередко Горький, Скиталец 〈...〉 Из Горького вырабатывается теперь общественный деятель новой молодой России. Он представитель демократии свободного русского народа, который начинает просыпаться 〈...〉 Читал нам Горький свои новейшие произведения, не пропущенные цензурой — „О писателе, который зазнался", „Весна" 〈...〉 Вторая вещь привела нас всех в восторг. „Весна" характеризует современный момент возрождения 〈...〉 Хороша песнь буревестника, которую поет чиж» («Каторга и ссылка», кн. 35. М., 1927, стр. 69—70).

Широкое использование в то время «Весенних мелодий» в целях революционной агитации отмечал Ем. Ярославский. В статье «Путь пролетарского писателя в подполье» он писал: «Появляется рассказ Горького „Весна", который печатался и переписывался от руки» (*Рев путь Г*, стр. 8—9).

«Весенние мелодии» расходились в гектографированных изданиях, в машинописных и рукописных копиях. В Архиве А. М. Горького хранится экземпляр машинописи (ХПГ-5-2-15) на папиросной бумаге в виде листовки. Характер листовки имеет и одно из гектографированных изданий рассказа (ХПГ-5-2-5); всё произведение уместилось на единственном листе, сложенном пополам. Этот лист заполнен до предела, от краев до сгиба, четко и энергично написанными от руки печатными буквами. Один из рукописных списков фантазии, дошедший до нас, имеет надпись: «Вещественные доказательства обвиняемого Николая Столыпина. Протокол № 47, пункт 16». Рукопись сброшюрована и скреплена сургучной печатью Московского губернского жандармского управления (ХПГ-5-2-13). Та же печать и «разъяснение»: «Вещественные доказательства Марии Зворыкиной. Протокол № 36, пункт 3»,— на экземпляре одного из гектографированных изданий «Весенних мелодий» (ХПГ-5-2-10).

Петербургское подпольное издание «Весенних мелодий» снабжено послесловием от редакции: «Предлагая читателям последнее произведение М. Горького, Редакция имела целью познакомить русскую публику с „Весенними мелодиями" в полном виде, так как в печати имеется только отрывок этой фантазии, напечатанный „по недосмотру отечественной цензуры", в журнале „Жизнь" за 1901 г. При полном отсутствии в России свободы сло-

ва, даже такая грациозная вещь, милая шутка, как „Весенние мелодии", в глазах аргусов-цензоров является чем-то „зловредным" и „потрясающим" устои; наша цель — борьба с давящим гнетом цензуры, и страстное желание наше — это знакомить сограждан со всем тем светлым, молодым и сильным, что правительственный карандаш вымарывает, как якобы опасное и вредное, заражающее „ядом свободы" умы русских рабов» (М. Горький. Весенние мелодии. Фантазия. СПб., 1901, стр. 8).

О том, что это издание было известно не только в Петербурге, но и в других городах России, свидетельствует донесение казанского губернатора от 9 ноября 1901 г. В нем сообщалось, что произведение Горького распространялось среди рабочих завода Алафузова в Казани «„без цензурных сокращений" с добавлением от редакции о том, что правительственная цензура вымарывает такое произведение, как опасное и вредное, заражающее „ядом свободы умы русских рабов"» («Красный архив», 1936, № 5, стр. 48; см. также стр. 49).

Гектографированные издания послужили основой для публикаций «Весенних мелодий» за границей. Печатая рассказ в майском номере «Рабочего дела» (Женева, 1901, № 9, май, отд. II, стр. 39), редакция сделала примечание: «Рукопись этой „фантазии" циркулировала в России в гектографированном виде».

Горький пытался напечатать фантазию в легальной прессе: сначала в московской газете «Курьер», затем в петербургском журнале «Жизнь». На сохранившемся цензорском экземпляре гранок «Весенних мелодий» для газеты «Курьер» написано: «Запрещено в заседании 11 апреля 1901 года по докладу и. д. цензора А. И. Генца». Цензор вычеркнул конец фразы: «и каждую зиму устраивает что-нибудь благотворительное для бедных галок и старых голубей» (стр. 277, строки 21—23),— очевидно, настороживший его внимание как первый в рассказе политический намек. Текст обеих сохранившихся полос (остальные утеряны) после слов: «Но тут из-за трубы на крыше...» (стр. 278)— перечеркнут цензором (см. *Лит Насл*, т. 72, стр. 95). На заседании Московского цензурного комитета цензор А. И. Генц докладывал: «Для газеты „Курьер" представлена фантазия „Весенние мелодии". В этой фантазии под формой щебетания между птицами характеризуются различные настроения в русском обществе в настоящую минуту, вызванные последними студенческими волнениями и следовавшим за ними высочайшим рескриптом генералу Ванновскому.

Беседа птиц представляет, во всяком случае, пример несоответствия между серьезностью предмета и формой изложения: песня же о буревестнике есть прямое подстрекательство продолжать борьбу с будто бы начинающим заметно уставать правительством. Я полагаю „Весенние мелодии" к печати не дозволять» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 88).

После первого цензурного запрещения «Весенних мелодий» Горький получил предложение от издателя журнала «Русская мысль» В. М. Лаврова напечатать их. Горький ответил на это в письме В. А. Гольцеву (1901 г., после 12 апреля): «Мелодии

посланы мною в „Жизнь" тотчас же, как только стало известно, что „Кур⟨ьер⟩" не печатает» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-11-5; см. также: *Лит Насл*, т. 72, стр. 88). Но публикацию «Весенних мелодий» в журнале «Жизнь» цензура также запретила. Разрешено было (видимо, по недосмотру) напечатать лишь конец произведения, который и появился в журнале «Жизнь», 1901, т. IV, под заглавием «Песня о Буревестнике».

В докладе особого отдела С.-Петербургского департамента полиции, обосновывавшего необходимость прекращения «Жизни» как легализованного издания революционного кружка, особое внимание уделялось произведению «Весенние мелодии» (см. примечания к «Песне о Буревестнике»).

«Весенние мелодии» (без «Песни о Буревестнике») появились в легальной прессе только в 1904 г.— их опубликовала социал-демократическая газета «Самарканд» (1904, 30 октября).

Первая русская революция открыла произведению Горького дорогу к широкому читателю. В 1905 г. оно вошло в сб. «Песни свободы» (Библиотека для всех. СПб., 1905, стр. 149—157), откуда было перепечатано многими газетами: «Самарский курьер» (1905, № 326, 16 июля), «Киевские отклики» (1905, № 199, 21 июля), «Верхнеудинский листок» (1905, № 99, 2 сентября), «Уральская жизнь» (1905, № 224, 1 октября).

В 1906 г. был запрещен сборник «Стихотворения М. Горького». В него входили «Весенние мелодии». Запрет мотивировался ст. 129 уголовного уложения, предусматривавшей наказание за возбуждение «„к учинению бунтовщического или изменнического деяния", к ниспровержению существующего в государстве общественного строя, а также к неповиновению или противодействию закону» (см. *Г*, *Материалы*, т. III, стр. 265).

Упоминания о «Весенних мелодиях» в критике, несомненно, бросали вызов цензуре. Так, довольно подробно о «Весенних мелодиях» сообщалось в обзоре В. Г. Подарского «Наша текущая жизнь»: «„Песня о Буревестнике",— писал критик,—лишь конец „фантазии", которую г. Горький приготовил, насколько известно, к печати под заглавием „Весенние мелодии" ⟨...⟩ Отсутствие введения уменьшает если не художественную прелесть, то полноту впечатления, производимого грациозной „фантазией" г. Горького. Скоро ли появится она целиком?» («Русское богатство», 1901, № 7, отд. II, стр. 83).

В 1902 г. о появлении «Весенних мелодий» извещал «Нижегородский листок» (1902, № 60, 3 марта).

Об устойчивом интересе передовой общественности к «Весенним мелодиям» говорит их инсценировка молодым Е. Б. Вахтанговым (совместно с Н. В. Петровым — учеником режиссерского класса МХТ) силами учеников драматических курсов актера МХТ А. И. Адашева в Москве в ноябре 1910 г. Представление состоялось в школе Адашева 13, 14, 20 и 21 ноября 1910 г. и в Армянском кружке 15 и 16 февраля 1911 г. Оно отмечено в печати краткой рецензией: «Прекрасное впечатление

оставила инсценированная „Весенняя мелодия" Горького, на постановку которой, по заявлению остроумного conferancier, получено специальное разрешение ездившей на Капри депутацией» («Рампа и жизнь», 1910, № 48, стр. 790).

ПОГРОМ

(Стр. 284)

Впервые напечатано в книге: «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая. Литературно-художественный сборник». СПб., 1901, стр. 426—431 (изд. 2. СПб., 1903, стр. 439—444).

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись рассказа, относящаяся к 1901 г., с правкой автора синим карандашом (ХПГ-42-16-2). 2. Оттиск из сборника «Помощь евреям...», который послужил наборным экземпляром для издания книги: М. Горький. Погром. Петроград, 1919, изд. С. Нонина (ХПГ-42-16-3). 3. Машинопись со значительной правкой Горького красным карандашом и черными чернилами, сделанная для неосуществленного издания сборника произведений Горького о евреях (1932—1933 год) (ХПГ-42-16-4). 4. Машинопись с правкой Горького для журнала «Колхозник» в 1935 г., когда писатель существенно переработал конец рассказа (ХПГ-42-16-1).

Печатается по тексту журнала «Колхозник» с исправлениями по *АМ*:

Стр. 286, строка 1: «широкорожий» вместо «широкоплечий».

Стр. 286, строка 8: «явился» вместо «появился».

Еврейский погром, описанный в рассказе, был одним из множества погромов, прокатившихся по всей России после 1881 года и организованных по прямому указанию министра внутренних дел Н. П. Игнатьева.

Событие, свидетелем которого был Горький, произошло в ночь с 7 на 8 июня 1884 г. в Нижнем Новгороде, в Канавине. По сообщению нижегородских газет, толчком к погрому послужил следующий случай: дочь крестьянки Федосьи Рогожиной, выйдя на улицу, завязла в уличной грязи; еврейские дети вытащили ее и отвели к матери, но та подняла шум и заявила в полицию, что ребенка «похитили» евреи. Горький в письме к И. А. Груздеву рассказал о случае с девочкой несколько иначе: «...собирая щепу на стройке, она упала, разбила себе лицо — вероятно, нос,— заплакала, еврейка повела ее во двор мыть, а бабы, тоже собиравшие щепки, подняли шум, мимо шли на работу грузчики, они и начали громить» (*Архив ГХ*I, стр. 347). В следствии по этому делу, опубликованном в «Нижегородских губернских новостях», говорится о подсудимых: «...большая часть обвиняется в том, что в ночь с 7 на 8 июня, взволнованные ложными слухами, что евреи убили христианского ребенка, они в числе других, не открытых по делу лиц, желая отмстить проживавшим в городе евреям, ворвались в дом Бабушкина, в котором по-

мещалась еврейская молельня, затем в д. Трунова, Серебрякова и др., занимаемые еврейскими семействами, начали насильственно завладевать имуществом евреев, разрушая двери, окна, мебель и расхищая всё более ценное и что можно было унести; причем тогда же, без обдуманного хотя намерения, но однако ж умышленно, лишили жизни евреев, нанося побои досками, поленьями, кулаками и ногами по головам и прочим частям тела...» («Нижегородские губернские ведомости», 1884, № 41, 10 октября). 9 октября 1884 г. состоялось решение суда: из 72 обвиняемых 11 были оправданы, остальные сосланы на каторгу или поселение.

Шестнадцатилетний Горький был свидетелем этого погрома и описал его много лет спустя. Рассказ, по-видимому, написан в 1900 г., так как составители сборника «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая» обратились к авторам с просьбой участвовать в нем весной этого года. В предисловии к сборнику говорится: «Обилие материала, переписка с авторами, печатание в разных городах (в Петербурге и Москве) задержали выход сборника в свет, и вместо обещанного срока его удалось выпустить лишь к лету 1901 года» («Помощь евреям, пострадавшим от неурожая». СПб., 1901, стр. V).

Горький был доволен сборником. В начале октября 1901 г. он писал В. А. Поссе из Нижнего Новгорода: «Видел ты сборник в пользу голодающих евреев — „Помощь"? Недурная вещь» (*Г-30*, т. 28, стр. 183).

Рассказ «Погром» Горький предполагал включить в 7-й том *Зн* (*Архив* $Г_{IV}$, стр. 138), но впоследствии отказался от этого намерения — возможно, по цензурным соображениям. Рассказ дважды запрещался цензурой. В 1903 г. он был помещен в газете «Illustrierte Gericht's Zeitung», Hamburg, 1903, № 660, в переводе Стефании Гольденринг.

Номер названной газеты поступил в цензуру. Пересказав содержание рассказа, цензор В. И. Росковшенко сделал вывод: «Ввиду изложенного, я полагал бы упомянаемый 660 нумер „Illustrierte Gericht's Zeitung" запретить к обращению в публике...» (*Г*, *Материалы*, т. III, стр. 409—410). Резолюцией Главного управления издание запрещено «за враждебное отношение 〈...〉 к России» (там же).

4 мая 1905 г. «Погром» был запрещен цензурой в составе сборника «Буревестник. Перевод и введение, посвященное М. Горькому, его жизни и творчеству, Е. Семенова». Изд. 2. Париж, 1905 (на французском языке) (там же, стр. 447, рапорт № 3176 за 1905 г.).

Горький вспомнил о рассказе в 1918 г. и дал его текст для отдельного издания С. Нонина. В начале 1930-х годов он вновь вернулся к рассказу, значительно переработав его для сборника рассказов и статей о евреях, а в 1935 г. выправил текст специально для журнала «Колхозник». В. Я. Зазубрин, редактор журнала, писал Горькому 20 марта 1935 г.: «Дорогой Алексей Максимович, посылаю Вам очередную порцию материала для „Колхозника" 〈...〉 Из материалов о еврейских погромах, по-моему,

следует пустить только Ваш рассказ» (*Архив ГХ*, кн. 2, стр. 413).

«Погром» был переработан, по-видимому, в феврале 1935 г. Об этом свидетельствует письмо Завубрина Горькому от 25 февраля 1935 г. (там же, стр. 411). Судя по письму Горького в редакцию «Колхозника» в конце мая — начале июня, корректуры рассказа автор не держал (там же, стр. 337).

Стр. 284. *...На Елизаветинской дерутся...* — Елизаветинская — одна из улиц старого Канавина.

Стр. 284. *Крючники* — грузчики.

Стр. 289. *...в июне 1885 г.*— Ошибка памяти Горького. Как указано выше, описанный им погром происходил 7—8 июня 1884 г.

〈ЛЕГЕНДА О МАРКО〉

(Стр. 290)

Впервые напечатано при нотах «Рыбак и фея. Баллада для баса с сопровождением оркестра на слова Максима Горького», сочинение А. Спендиарова. Лейпциг, 1903. Первая редакция легенды печаталась в составе сказки «О маленькой фее и молодом чабане» (см. т. I наст. издания, стр. 162—163). Под заглавием «Легенда о Марко» — в *ДБЗ* (№ 1), 1906.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф без заглавия, относящийся к 1901—1902 годам (ХПГ-51-47-1). Текст — на одной стороне листа, вырванного из большой тетради в линейку.

Печатается по автографу с исправлением по всем печатным источникам: «в рыбацкие сети» (*стр 290, строка 5*) вместо «в рыбацкие песни».

В основу произведения положен фольклорный материал: возможно, Горький слышал легенду от старой народной певицы в валашской деревне в 1891 г.

Ознакомившись летом 1894 г. со сказкой «О маленькой фее...», В. Г. Короленко сказал автору: «Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатаю» (*Г-30*, т. 15, стр. 37).

Зимой 1901—02 г., находясь в Олеизе, Горький существенно переработал эти стихи. Е. П. Пешкова вспоминала впоследствии:

«Первоначальная редакция стихов изменена Алексеем Максимовичем 〈...〉 Должна также отметить, что последнее четверостишие:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!—

написано Скитальцем. Алексею Максимовичу эти строки очень

понравились, и он просил Скитальца подарить их ему для заключения этих стихов. [1]

Эти стихи неоднократно читал доктор Балабан во время концертов 1902 года в Ялте.

Композитор Спендиаров положил их на музыку, тогда же» (Архив А. М. Горького, ХПГ-51-47-1).

В 1902 г. «Легенду о Марко» действительно часто читал друг Горького доктор И. А. Балабан на разных литературных вечерах. В Архиве А. М. Горького хранится письмо Балабана от 15 июля 1928 г., подтверждающее этот факт. Горький подарил Балабану для исполнения «Песню о Фее» с надписью: «Талантливому исполнителю „Песни о Соколе" — песня о Фее» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-45-1).

Композитор А. Спендиаров в 1902 г. написал к «Легенде о Марко» музыку. Впоследствии он вспоминал о встречах с писателем в Олизе: «Однажды с виноватой улыбкой Горький говорит мне: „Вот, знаете... не пишу я стихов 〈...〉 И все-таки согрешил я стихом... Написал поэмку «Рыбак и фея»... Может, вам для музыки пригодится...". Я взял. Понравилось. И в 1903 году в Павловске уже исполнялась моя баллада „Рыбак и фея" для баса с оркестром. Я имел в виду Шаляпина» («Музыка и революция», 1928, № 4, стр. 9).

Произведение стало широко известно в различных списках и в устном исполнении. В 1904 г. под названием «Валашская легенда» оно было напечатано в антологии «Русская муза», подготовленной П. Я. Якубовичем-Мельшиным (издание «Русского богатства»). Рядом с «Валашской легендой» Якубович-Мельшин поместил «Песню о Соколе».

В 1905 г. «Легенда о Марко» была включена в революционный нелегальный сборник «Песни свободы», вышедший в двух разных изданиях (СПб., 1905). Тексты почти идентичны нотному изданию «Рыбак и фея» с музыкой Спендиарова.

В 1932 г. издательство «Academia» выпустило юбилейный сборник «Стихи и легенды М. Горького». Произведение напечатано в этом сборнике под заглавием «Валашская легенда».

Легенда пользовалась большой популярностью среди революционно настроенной молодежи. Особенно привлекали ее последние строки, направленные против бесцельного мещанского существования.

В восприятии современников «Легенда о Марко» была связана с «Песней о Соколе» и «Песней о Буревестнике». Дм. Семеновский рассказывал о встрече с Горьким в Мустамяках в 1915 г.: «Я спросил Алексея Максимовича, как написались у него такие вещи, как стихотворение о рыбаке и фее, „Песня о Буревестнике". Почему в этом же стиле писал и Скиталец?

— Время было такое,— объяснил Горький» (*В С*, стр. 397).

Социальную направленность легенды определил В. В. Воровский. Он писал, что герои типа Марко, Чабана, Радды и

[1] Документальными материалами, подтверждающими это свидетельство, редакция не располагает.

Зобара пробуждали «те смелые, сильные, свободные чувства и мысли, которые неизбежно сопутствуют всякому революционному перевороту, без которых психологически немыслима сама революция» (*Воровский*, стр. 257—258).

О СЕРОМ

(Стр. 292)

Впервые напечатано в журнале «Жало» (Москва), 1905, № 1, 29 ноября, стр. 2.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись произведения с незначительной авторской правкой синими чернилами (ХПГ-41-4-1).

Печатается по тексту журнала.

Написано в ноябре 1905 г., по-видимому, для сатирического журнала «Жупел», издававшегося З. И. Гржебиным.

Замысел произведения возник у Горького в начале ноября 1905 г. 9 или 10 ноября писатель сообщил А. А. Дивильковскому, имея в виду «Жупел»: «В этом журнале я хотел бы устроить публичные еженедельные порки Серого человека — главного врага жизни, того, который мечется между Черным и Красным и пускает слюни 〈...〉 Ненавижу мещан 〈...〉 Люблю веселый, яркий красный цвет» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 58). Однако, узнав о создании сатирического журнала социал-демократов— «Жало», Горький передал рукопись его издателю М. Я. Имханицкому.

«Очерк Горького „О Сером“ сразу показался мне естественной передовицей первого номера»,— вспоминал редактор журнала И. И. Власов (Архив А. М. Горького, МоГ-2-25-1). Пригласив Власова к себе на квартиру, Горький в беседе «кратко, но настойчиво» подчеркивал, что «основной установкой журнала, по его мнению, нужно взять не столько политическую, сколько социальную сатиру», характеризовал роль разных классовых групп в революционной борьбе и подчеркивал ведущую роль пролетариата. «Главный упор нужно делать на высмеивание трусливой позиции либеральной буржуазии, на предательскую сущность этой позиции, несмотря на заверения либералов разных мастей, что они стоят за народ, за народную свободу, за народное благо» (там же).

«О Сером» непосредственно примыкает к «Заметкам о мещанстве», печатавшимся в октябре—ноябре 1905 г. в газете «Новая жизнь». Горький писал о мещанине: «...он, серый, суетливый и жадный, жутко мечется между черным представителем гнета и красным борцом за свободу, стараясь скорее понять — кто из этих двух победит?» (*Г-30*, т. 23, стр. 366).

В журнале «Жало» произведение Горького иллюстрировано заставкой художника А. Б. Кайранского, на которой Красный изображен в виде рабочего, борющегося с Черным — драконом. В крыльях дракона робко прячется Серый — мещанин.

Произведение пользовалось популярностью среди революционно настроенных рабочих. И. Ф. Жига (И. Ф. Смирнов) в воспоминаниях о Горьком писал о восприятии памфлета «О Сером» в 1913 г.: «...читая эту маленькую книжечку Горького, я горел, волновался, то вспыхивая ненавистью к Черным и Серым, то восторженно, как музыку, воспринимая слово о свободе, о красоте жизни, о счастье для всех, готовый вместе с Красным идти в бой!» (И. Жига. А. М. Горький. Воспоминания. М., 1955, стр. 13).

С НАТУРЫ

(Стр. 295)

Впервые напечатано в журнале «Жало» (Москва), 1905, № 1, 29 ноября, стр. 7. Подпись: Г.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф наброска, с которого набирался текст первой публикации. Текст на одной стороне листа, бумага из тетради в одну линейку. Лист имеет следы типографской краски (ХПГ-45-17-1).

Печатается по тексту журнала с исправлением по автографу: «А как ён?» (*стр. 295, строка 10*) вместо «Как ён?»

«С натуры» написано 20 ноября 1905 г. Историю создания произведения рассказал И. И. Власов в воспоминаниях «Максим Горький и журнал „Жало“». 20 ноября 1905 г. на квартире Горького состоялась беседа о направлении и облике нового сатирического органа, издателем которого был молодой юрист М. Я. Имханицкий, а редактором — И. И. Власов. Во время беседы Горький развивал мысль о том, что «Жало» должно делать упор на разоблачение либеральной буржуазии. «Конечно, не только либералов, черносотенцев, но и Николая II не надо упускать из вида,— сказал между прочим Горький.— Русский царь вполне заслуживает этого. Его нужно бить смелей, неустанно» (Архив А. М. Горького, МоГ-2-25-1). После этих слов разгорелся спор между Власовым и Л. А. Сулержицким, присутствовавшим на беседе.

«Во время одной из пикировок Сулержицкого со мною,— продолжал Власов, — Горький незаметно ушел из столовой. Вернувшись через некоторое время, он передал мне лист линованой бумаги, видимо, свежезаписанный.

— Вот,— сказал он, протягивая мне этот листок.— Может быть, эта маленькая штучка пригодится вам для журнала. Поместите где-нибудь в конце, если годна. Я не подписал ее — очень мала. Можно и напечатать так, без подписи. А потом я напишу о „нем“ подробнее 〈...〉 Это оказался крайне интересный набросок „С натуры“,— талантливая юмореска великого писателя, пропитанная ярко-республиканским настроением. Она была помещена мною в „Жале“ с краткой подписью „Г“, так как неудобно было печатать материал без всякой подписи автора» (там же).

Не успев снять копию с горьковской рукописи, Власов сразу же передал ее в типографию, где печатался журнал «Жало». «Наборщик производил набор юморески непосредственно с оригинала,— пишет он,— и несколько запачкал его пальцами, покрытыми свинцовой пылью. Но ночью, следя сам за версткой „Жала", я взял автограф обратно и сохранил его...» (там же).

Первый номер «Жала» оказался единственным, так как был арестован вскоре после выхода, а Власова приговорили затем к году тюремного заключения в крепости. Вспоминая об этом, он писал: «...я был вызван на допрос к старшему следователю московской судебной палаты. Помню, что при этом допросе, кроме записанного в протокол, следователь спросил меня, кто является автором заметки „С натуры". Она показалась ему особенно „дерзкой". Я отозвался незнанием, объяснив, что получил эту заметку по почте, без подписи автора» (там же).

Сатирические выпады против «царствующей особы» в ту пору карались по специальной судебной статье. Намек на Николая II довольно легко расшифровывался, тем более, что под юмореской в журнале была помещена «загадка» Н. А. Фольбаума (Каина) под названием «Кто он?» В ней шла речь о пропавшем адресате, который «недавно из столицы выбыл в Царское Село»: Кто же он? Его жена?/Где дрожат, свой облик пряча? — спрашивал поэт. Подобные «загадки» были очень распространены в сатирической журналистике 1905—1906 годов.

24 июля 1905 г. Горький сделал подпись в альбоме И. Е. Репина под шаржем В. Б. Каррика на царя Николая II: «Кто сей урод?» (И. А. Бродский и Ш. Н. Меламуд. Репин в «Пенатах». Л.— М., 1940, стр. 28).

Более подробно Горький написал о «нем» в памфлете «Русский царь» (см. в этом томе стр. 182).

И ЕЩЕ О ЧЁРТЕ

(Стр. 297)

Впервые напечатано в газете «Борьба», 1905, № 1, 27 ноября (10 декабря).

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись с правкой и подписью автора. Заглавие написано рукой Горького, карандашом (ХПГ-33-1-1).

Печатается по тексту газеты.

В конце ноября 1905 г. на квартире Горького состоялось совещание большевиков при участии В. И. Ленина. Обсуждался вопрос об издании нового органа ЦК РСДРП — газеты «Борьба». По свидетельству В. А. Десницкого, «Владимир Ильич настаивал, чтобы Горький, член редакции, принял возможно более активное участие в новой газете» (В. Десницкий. А. М. Горький. М., 1959, стр. 194). Ленинская «Новая жизнь» приветствовала появление «Борьбы», отметив, что ее первый

номер «весьма богат содержанием и украшен рассказом М. Горького „И еще о чёрте“» («Новая жизнь», 1905, № 24, 29 ноября).

Памфлет Горького, связанный с написанными ранее памфлетами «О чёрте» и «Еще о чёрте» (см. т. IV наст. издания), направлен против российского либерализма, который всё более откровенно смыкался с контрреволюцией. Иван Иванович — собирательный образ либерального интеллигента. В нем воплощены отдельные черты таких известных деятелей, как П. Б. Струве, М. М. Ковалевский, П. Н. Милюков, П. Г. Виноградов, И. И. Петрункевич. Говоря об октябрьской всеобщей забастовке, Иван Иванович почти дословно повторяет слова Струве: «Сегодня спасительная и достославная, завтра забастовка может явиться губительной и преступной» («Русские ведомости», 1905, № 299, 13 ноября).

Герой Горького в разговоре с чёртом всё время цитирует либеральные издания — «Слово» и «Русские ведомости». Оценивая революционную ситуацию 1905 года, московский профессор П. Г. Виноградов писал в «Русских ведомостях»: «Я не знаю, удастся ли еще России пройти к новому строю дорогой, близкой к тому пути, которым прошла Германия в 1848 году, но не сомневаюсь, что надо употребить все усилия, чтобы выйти на эту дорогу, а не на путь, избранный Францией в 1789 году» («Русские ведомости», 1905, № 210, 5 августа).

Комментируя «Политические письма» Виноградова в статье «Чего хотят и чего боятся наши либеральные буржуа?», В. И. Ленин воскликнул: «Вот о чем думает больше всего русский буржуа: о неслыханных опасностях „пути“ 1789 года!» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 11, стр. 226). Герой рассказа «И еще о чёрте» Иван Иванович рассуждает, как типичный либеральный буржуа: он готов «играть» только «до 48».

В конце мая 1905 г. Горький писал Е. П. Пешковой по поводу назначения Д. Ф. Трепова московским генерал-губернатором: «Теперь наши „командующие классы“ пропустили время для повторения 48-го года и волей-неволей — вызывают к жизни 89-й. Вот смысл происходящего, как я его понимаю» (*Г-30*, т. 28, стр. 369). Возможно, уже в это время у писателя возник замысел памфлета «И еще о чёрте».

С т р. 298. *Я был на вашем съезде...* — Намек на учредительный съезд партии кадетов, состоявшийся 12—18 октября 1905 г. Съезд утвердил программу кадетской партии.

С т р. 299. *...я не учил рабочих ∞ анархии!* — Намек на октябрьскую всеобщую забастовку.

С т р. 300. *Женщина равна мужчине...* — Пародируется выступление лидера кадетской партии П. Н. Милюкова на учредительном съезде 13 октября 1905 г. (см. «Русские ведомости», 1905, № 268, 13 октября и № 269, 14 октября).

С т р. 300. *...ее необходимо совершить мирным путем...* — См. речи М. М. Ковалевского, П. А. Гейдена, А. И. Гучкова на съезде земских и городских деятелей в ноябре 1905 г. В частности, на заседании 9 ноября А. И. Гучков сказал: «Блага

свободы нам должна дать эволюция, а не революция» («Слово», 1905, № 296, 10 ноября).

С т р. 300. *...революционер в области права...* — Намек на речь М. М. Ковалевского на съезде земских и городских деятелей 9 ноября 1905 г. (см. «Русские ведомости», 1905, № 296, 10 ноября).

С т р. 301. *...я скромно поднимал бокал свой «за нее!..»* — Горький высмеивает высокопарные речи кадетских деятелей о конституции. В письме к Е. П. Пешковой в октябре 1904 г. он иронизировал: «...ночи напролет всё говорим о „ней“,— о той, за которую старый Гольцев одеколон из мыльницы пил» (*Г-30*, т. 28, стр. 327).

С т р. 302. *Он устроил одну забастовку...* — Речь идет об октябрьской всеобщей забастовке 1905 г.

С т р. 302. *Зачем создавать излишек революции?* — Мысль об «излишке революции» содержится во многих статьях октябристской газеты «Слово», в частности, см. обращение «Социал-демократам» («Слово», 1905, № 293, 2 ноября) и статью «Долой насилие, откуда бы оно ни шло!» (там же, № 288, 27 октября).

С т р. 302. *...«мы все — дети» со одним моим другом...* — Горький цитирует письмо Н. Львова в редакцию газеты «Русские ведомости», опубликованное под заглавием «К миру». В нем говорилось: «...мы—дети одной России»; «Нужно любить всем что-нибудь одно, найти спасительное единство среди междоусобий» («Русские ведомости», 1905, № 305, 19 ноября).

С т р. 302. *Мы на границе краха...* — См. статью П. Б. Струве «Скорее за дело!» («Русские ведомости», 1905, № 299, 13 ноября); см. также речь И. И. Петрункевича на съезде земских и городских деятелей, в которой он сказал: «Правительство потеряло всякую силу, финансовые ресурсы истощаются. Положение ужасающее» («Русские ведомости», 1905, № 295, 9 ноября).

СОБАКА

(Стр. 304)

Впервые напечатано в журнале «Жупел», 1906, № 3, январь, стр. 3. Подпись: Иегудиил Хламида. Принадлежность этого псевдонима Горькому засвидетельствована им самим в очерке «В. Г. Короленко» (*Г-30*, т. 15, стр. 43).

В Архиве А. М. Горького хранится машинописная копия произведения (ХПГ-46-4-1).

Печатается по тексту журнала.

Организованный по инициативе художника З. И. Гржебина, революционно-сатирический журнал «Жупел» объединял видных художников, таких, как В. А. Серов, Д. Н. Кардовский, Б. М. Кустодиев, В. и М. Чемберс, И. Я. Билибин, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, а также известных литераторов, среди которых были М. Горький, Л. Андреев, А. Куприн, С. Гусев-Орен-

бургский. Первый номер журнала вышел, вероятно, 2 декабря 1905 г.; 3 декабря он был конфискован. Однако часть тиража к тому времени оказалась распроданной, с матриц же удалось отпечатать второе издание номера журнала, тоже подвергшееся репрессии. Конфискован был и второй номер журнала, вышедший 24 декабря 1905 г., в ряде иллюстраций которого министр внутренних дел И. Н. Дурново усмотрел свидетельство открытого политического выступления и предложил возбудить против редактора уголовное дело, а издание прекратить. Третий и последний из допущенных к печати номеров журнала (он появился между 6 и 15 января 1906 г.), несмотря на цензурные репрессии, включил в себя ряд острых политических произведений, содержащих разоблачение произвола властей и обличение антинародной сущности буржуазно-помещичьего строя. 8 февраля журнал был закрыт.

Все произведения, предназначавшиеся Горьким для журнала «Жупел», были подчинены единому замыслу, который сам автор выразил в письме к А. А. Дивильковскому от 9 или 10 ноября 1905 г. (см. выше примечания к произведению «О Сером»).

Этюд «Собака» явился как бы художественным развитием мыслей, выраженных писателем в открытом письме В. В. Розанову от 4 ноября 1905 г. Горький писал: «Знаете, чего я желаю Вам и всем Вам подобным талантливым, но далеким и чуждым народу людям? Красиво погибнуть на его глазах» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 57). Мотив этот впервые возникает в очерке «А. П. Чехов», написанном Горьким в конце 1904 г., где говорится о людях, которые «опоздали вовремя умереть» (*Г-30*, т. 5, стр. 429).

По высказанному в печати предположению, отказавшись опубликовать письмо Розанову, Горький попросил А. Н. Тихонова написать на тему письма специальный фельетон (см. *Овчаренко*, стр. 189). Такой фельетон был написан и под заголовком «Умрите вовремя!» напечатан в газете «Новая жизнь» (см. «Новая жизнь», 1905, № 15, 17 ноября). Вслед за появлением фельетона Тихонова Горький направил в журнал «Жупел» написанную на ту же тему аллегорию «Собака».

АФОРИЗМЫ И МАКСИМЫ

(Стр. 306)

Впервые напечатано в журнале «Жупел», 1906, № 3, стр. 7. Подпись: Иегудиил Хламида (см. примечания к произведениям «Собака», «Мудрец», «Старик»).

Печатается по тексту журнала.

Опубликованные в первой половине января (между 6 и 15) 1906 г., «Афоризмы и максимы» явились непосредственным откликом на события дня: революционное движение 1905 г. и политическую борьбу периода I (Булыгинской) думы. Буржуазные деятели, превратившие Булыгинскую думу в «настоящий базар,

на котором буржуазия проторговывает интересы русских рабочих и русских крестьян» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 10, стр. 352—353), как правило, пытались прикрыть свои реакционные действия фразами о защите народных интересов.

Стр. 306. *Будучи подлецом...*— Намек на многочисленные «покаянные» письма либералов в редакции некоторых газет,— письма, в которых авторы после поражения декабрьского вооруженного восстания отмежевывались от революции, доказывали свое алиби и т. п.

Стр. 306. *Речи правителей о желаниях народа...*— Имеются в виду заявления С. Ю. Витте и министра внутренних дел И. Н. Дурново в период революционных событий 1905 г., а также манифест 17 октября, в котором заявлялось, что «благо Российского государя неразрывно с благом народным» (см. Ф. И. Калинычев. Государственная Дума в России. Сборник документов. М., 1957, стр. 90).

Стр. 306. *И благо ти будет, но долголетен ли будеши на земле.*—Перефразировка части 5-й заповеди, данной, по библейской легенде, Моисею богом: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли» (Библия, «Исход», гл. 20, стих 12).

Стр. 306. *Если на похоронах играет музыка...*— Полицейских и жандармов в дни революционных боев 1905 г. хоронили с почетом; официальная пресса обычно пыталась представить их смерть, как героическую, говорила о счастье «принять смерть» за царя и отечество.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

(Стр. 307)

Впервые напечатано в книге: М. Горький. Материалы и исследования, т. I. М.— Л., 1934, стр. 38—40.

В Архиве А. М. Горького хранится список, сделанный рукой М. Ф. Андреевой, с незначительной правкой Горького (ХПГ-42-13-1).

Печатается по тексту рукописи.

По свидетельству редактора журнала «Жало» И. И. Власова, «Письмо в редакцию» было написано Горьким для второго номера этого журнала (Архив А. М. Горького, МоГ-2-25-1). Первый номер «Жала» вышел 29 ноября 1905 г. и был сразу же арестован. В декабре 1905 и в начале 1906 г. Власов собирал материалы для второго номера, надеясь, что журнал всё же удастся издать. Он вспоминал: «А. М. Горький прислал для него новую сатирическую вещицу. Это было оригинальное „Письмо в редакцию“ статского советника Антинома Исходящего, члена ППП» (там же).

Однако редактор предстал перед судом (см. стр. 539), и второй номер «Жала» так и не вышел в свет. «Письмо в редакцию» осталось неопубликованным.

Произведение, по-видимому, написано в начале января 1906 г. Поводом для его создания послужил обыск на квартире у поэта-символиста Вячеслава Иванова, произведенный полицией 30 декабря 1905 г. Среди гостей Иванова были известные писатели и поэты из декадентских кругов, в том числе Д. С. Мережковский. После обыска некоторые обнаружили, что исчезли их меховые шапки. Протестуя против насилия полиции «над духом» интеллигенции, Мережковский написал письмо в редакцию газеты «Народное хозяйство» — «Куда девалась моя шапка?» с подзаголовком «Новогоднее письмо к Витте» («Народное хозяйство», 1906, № 15, 1(14) января). Несмотря на саркастическую манеру изложения, это обращение к премьер-министру С. Ю. Витте носило подобострастный характер и, в сущности, преследовало цель убедить правительство в полной благонадежности декадентов. 3 января 1906 г. на письмо Мережковского откликнулся А. С. Суворин, заверяя, что писатели, подвергшиеся обыску на квартире Иванова, очень далеки от революционных убеждений. Оправдывая действия полиции, Суворин писал: «Обыск сам по себе есть только полицейский акт, существующий во всех государствах...» (А. Суворин. Маленькие письма.— «Новое время», 1906, № 10706, 3(16) января).

3 января 1906 г. Горький присутствовал на литературном утре у Иванова, где обсуждался вопрос о создании театра политической сатиры «Жупел». Вероятно, под свежим впечатлением от встречи с декадентами у него возник замысел «Письма в редакцию», представляющего собой злую и меткую пародию на письмо Мережковского, а также на многочисленные обращения русских либералов к правительству. Горький поставил под обращением Антинома Исходящего то же число, которым помечен фельетон Суворина.

Стр. 308. *Аристон* — механический музыкальный ящик.

Стр. 308. *...наш гимн.*— Монархический гимн «Боже, царя храни...»

Стр. 308. *Каминные щипцы привлекли особенное внимание...*— По преданию, император Павел I (1754—1801) был удушен каминными щипцами.

Стр. 309. *П. П. П.*— партия правового порядка, состоявшая из монархистов и черносотенцев; образовалась в конце 1905 г.

МУДРЕЦ

(Стр. 310)

Впервые напечатано в журнале «Адская почта», 1906, № 1, май.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф произведения с незначительной правкой (ХПГ-38-6-1).

Печатается по тексту журнала с исправлением по автографу: «помавая» (*стр. 310, строка 10*) вместо «покачивая».

С сатирическим журналом «Адская почта» Горький непосредственно связан не был. Об этом свидетельствует его письмо К. П. Пятницкому (середина мая 1906 г.), в котором он просил передать «Францию» («Прекрасная Франция». — *Ред.*) в редакцию «Адской почты», если таковая существует (*Г-30*, т. 28, стр. 422). Его произведения, в том числе и рассказ «Мудрец», видимо, поступили в «Адскую почту» из портфеля «Жупела». Издание журнала «Адская почта» было приостановлено решением Главного управления по делам печати от 6 июля 1906 г.; четвертый номер был уничтожен. В это время Горький находился за границей.

Написанный и опубликованный впервые в 1906 г., «Мудрец» в том же году был перепечатан в журнале «Маляр» (№ 1), а в переводе на немецкий язык — в газете «Vorwärts», 1906, № 127, 3 июня (21 мая).

15 сентября 1908 г. произведение это в зарубежных изданиях было запрещено для распространения в России Центральным комитетом иностранной цензуры (см. *Г*, *Материалы*, т. III, стр. 425—426).

ПРАВИЛА И ИЗРЕЧЕНИЯ

(Стр. 314)

Впервые напечатано в журнале «Адская почта», 1906, № 8, стр. 10. Подпись: Иегудиил Хламида.

Печатается по тексту журнала.

«Правила и изречения» продолжали серию афоризмов на злобу дня, начатую в журнале «Жупел».

С т р. 314. *...в кресле, которое стоит пятьдесят семь рублей...* — В январе 1906 г. Горький писал И. П. Ладыжникову: «С Думой — слабо, избиратели совсем не торопятся заявить о себе, лишь партии правового порядка да 17 октября стараются найти точку опоры и сесть в Думу, на 57-рублевые кресла представителей народа. Сядут они в лужу, как видно» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 132—133).

ИЗРЕЧЕНИЯ И ПРАВИЛА

(Стр. 315)

Впервые напечатано в журнале «Адская почта», 1906, № 8, стр. 12. Подпись: Иегудиил Хламида.

Печатается по тексту журнала.

«Изречения и правила» продолжали серию афоризмов на злобу дня, печатавшихся в журналах «Жупел» и «Адская почта».

СТАРИК

(Стр. 316)

Впервые, в переводе на французский язык, под заголовком «La vie» («Жизнь»), напечатано в книге: M. G o r k y. Esclaves. Nouvelles récentes. Traduites d'après le manuscript par S. Persky (без указания даты). Вступительная статья С. Перского к этому изданию помечена августом 1908 г., и в ней указано, что произведения, собранные в сборнике, написаны Горьким в течение 1906—1907 годов. По-русски впервые напечатано в журнале «Адская почта», в четвертом (конфискованном и уничтоженном) номере, где миниатюра «Старик» была помещена без названия, под тремя звездочками; затем опубликована в «Новом журнале для всех», 1911, № 37, ноябрь, стлб. 3—8, с примечанием от редакции: «По просьбе автора отмечаем, что миниатюра „Старик" написана М. Горьким в 1906 г. (появляется в печати впервые)». Последнее замечание верно лишь в отношении к русским изданиям.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись с авторской правкой — *АМ* (ХПГ-46-9-1). 2. Рукописная копия, сделанная рукой М. Ф. Андреевой — *РК* (ХПГ-46-9-2), текст которой предшествует *АМ*.

Печатается по тексту «Нового журнала для всех» с исправлением по *АМ* и *РК*: «ты — нищая!..» (*стр. 316, строки 27—28*) вместо «ты как нищая!..».

Горький не раз правил текст миниатюры. Основная правка была осуществлена в *АМ*, текст которой, по сравнению с *РК*, дает в ряде случаев новые варианты отдельных фраз.

В 1910 г. автор правил текст произведения специально для публикации его в «Новом журнале для всех». Об этом свидетельствует письмо Горькому редактора этого журнала П. А. Берлина: «В последней наб⟨ранной⟩ кн⟨ижке⟩ „Нов⟨ого⟩ журнала для всех" помещен Ваш очерк, переделанный Вами из „Люди окружили жизнь". Согласно Вашего желания там помещено, что очерк написан в 1906 г. ...» («30 дней», 1937, № 9, стр. 92). Вероятно, в это время и было изменено название миниатюры.

САН-ФРАНЦИСКО

(Стр. 321)

Впервые, в переводе на английский язык, напечатано в американских газетах, в частности, в газетах: «New York American», «Journal», 1906, 20 апреля. На русском языке напечатано после смерти автора в журнале «За рубежом», 1936, № 18, 25 июня, стр. 414. В предваряющей очерк редакционной заметке сказано, что неопубликованную рукопись передал журналу полномочный представитель СССР в США А. А. Трояновский. На следующей странице журнала дано факсимильное воспроизведение рукописи.

Печатается по этому факсимильному снимку.

Очерк написан в 1906 г. в США после землетрясения 18 и 19 апреля, в результате которого в городе вспыхнул пожар огромной разрушительной силы, унесший сотни человеческих жизней.

Стр. 321. ...*несчастия, подобные тем, которые поразили Неаполь*...— В 1906 г. с 6 по 14 апреля происходило сильнейшее извержение Везувия. Катастрофу, вызванную потоками лавы и тучами пепла, устремившимися на город, усилили ураган и наводнение.

ПОСЛАНИЕ В ПРОСТРАНСТВО

(Стр. 323)

Впервые напечатано в журнале «Красное знамя» (Париж), 1906, № 3, июнь, стр. 86—87.

В Архиве А. М. Горького хранится список произведения, сделанный М. Ф. Андреевой, с подписью и одной собственноручной вставкой Горького (ХПГ-42-18-1).

«Послание в пространство» написано Горьким в США, вероятно, в мае—июне 1906 г. (ПГ-рл-1-25-16); текст «Послания» был отправлен в Париж А. В. Амфитеатрову (редакция настоящего издания этим автографом не располагает), а в следующем письме к тому же адресату Горький писал:

«В „Послании" есть слова:

„Они мелькали, как огни над болотами, и — кто пошел за ними — заблудился в цепкой тине противоречий, и уже погибли все они в грязи жалких вожделений своих".

Будьте добры посмотреть — так ли это напечатано в присланном мною экземпляре?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-17). Приведенная фраза полностью совпадает с текстом, опубликованным в журнале. Однако в журнальной публикации имеются разночтения с сохранившимся списком, не оговоренные Горьким. Существенное из них — появившееся в заключительной фразе печатного текста слово «товарищ», которое способствует расшифровке адресата «Послания».

Видимо, без разрешения автора «Послание в пространство» было переведено на французский язык и, наряду с очерком «9-е января», рассказами «Собака» и «О Сером», помещено в сборнике M. Gorky. Esclaves. Nouvelles récentes. Traduites d'après le manuscript par S. Persky. Paris. Это сборник был запрещен в России Центральным комитетом иностранной цензуры «за симпатии автора к революционному движению» (*Г*, *Материалы*, т. III, стр. 426).

Печатается по тексту «Красного знамени» с исправлениями по авторизованному списку:

Стр. 323, строка 29: «Ты есть сила» вместо «Ты — сила».

Стр. 324, строки 21—22: «Ты есть неиссякаемый источник творчества, неистощимая сила, созидающая всё» вместо «Ты есть

неистощимая сила, созидающая всё, неиссякаемый источник творчества».

Стр. 324, строка 25: «не вползли» вместо «не проникли».

Стр. 324, строка 34: «Иди!» вместо «Иди, товарищ!»

ЧАРЛИ МЭН

(Стр. 325)

Впервые напечатано в книге: М а к с и м Г о р ь к и й. В Америке. Очерки. Часть первая. Verlag von J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart, ⟨1906⟩.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Машинопись с правкой Горького (AM_1) — оригинал набора для издания *Дтц*. 2. Машинопись с правкой Горького (AM_2) — оригинал набора для XII *Сб Зн*.

Печатается по AM_1.

«Чарли Мэн» написан одновременно с другими американскими очерками, в мае — начале июня 1906 г. Первоначальное название — «Чарли Форстер». Об этом свидетельствует запись (позже зачеркнутая) в горьковской записной книжке того времени:

«Чарли Форстер.
Детей больше, чем медведей».

То же название фигурирует и в письме к К. П. Пятницкому (начало июня), где Горький определяет место этого произведения как четвертого, заключительного очерка в цикле «В Америке» (*Г-30*, т. 28, стр. 426). Но машинописные тексты очерка с небольшой правкой Горького, посланные 14(27) июня И. П. Ладыжникову в Германию и Пятницкому в Россию (там же, т. 28, стр. 426—427), имеют уже новое заглавие — «Чарли Мэн».

При подготовке цикла «В Америке» для *К* автор исключил из него «Чарли Мэн». На то, что очерк стоял особняком в горьковском цикле, обратили внимание отдельные критики еще в 1906—1907 годах. Правда, это отличие истолковано было в духе господствовавшего тогда взгляда на последние горьковские произведения (подробнее об этом см. в комментариях к циклу «В Америке»). «Чарли Мэн» понравился некоторым рецензентам именно тем, что он написан «в здоровом реальном тоне», далеком от якобы тенденциозного «проповедничества», присущего «новому» Горькому (А. И з м а й л о в. Литературные заметки.— «Биржевые ведомости», 1906, № 9560, 25 октября); тем, что он напоминает о «старом ценном Горьком», чуждавшемся политики (А. В. ⟨А. В. Тыркова⟩. Горький.— «Речь», 1906, № 252, 25 декабря), зовет уйти из города и слиться с природой (Э р м и й ⟨С. В. Киспн⟩. XII сборник т-ва «Знание», «Перевал», 1906, № 2, стр. 66).

‹ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ›

(Стр. 338, 339)

Впервые, в переводе на итальянский язык, напечатано в книге: Garibaldi. Roma, Comitato universitario per le onoranze a Garibaldi, ‹1907›. Под очерком — помета (видимо, автора): «Capri, 8 febbraio, 1907»; подпись — М. Горький — воспроизведена факсимильно. В переводе с итальянского с сокращениями и, видимо, цензурными изъятиями напечатано в газете «Биржевые ведомости» (веч. вып.), 1907, № 9977, 3 июля; там же (утр. вып.), № 9978, 4 июля, под редакционным заглавием — «Максим Горький о Гарибальди». Под этим же заголовком в переводе на немецкий язык — в газете «Berliner Tageblatt», 1907, № 347, 11 июля (28 июня). Под заглавием «Как я первый раз услышал о Гарибальди» — в газете «Vorwärts», 1907, № 134, 13 июля (30 июня).

Печатается перевод первой публикации.

Очерк написан специально для юбилейного сборника, изданного римскими студентами к столетию со дня рождения Джузеппе Гарибальди.

Личность и деятельность вождя освободительного движения Италии вызывали у Горького интерес и глубокое уважение. Находясь в 1907 г. на Капри, Горький отправился на несколько дней в Неаполь, чтобы принять участие в празднествах, посвященных юбилею Гарибальди (*ЛЖТ*$_{1}$, стр. 669). Привлекая в 1916 г. Г. Уэллса к участию в издании биографий великих людей для детского чтения, Горький сообщал, что сам намерен писать книгу о Гарибальди (*Г-30*, т. 29, стр. 372). Этот замысел остался неосуществленным.

С т р. 339. *...мне было тринадцать лет ∽ служил на кухне пассажирского парохода...* — В мае 1881 г. А. Пешков поступил «посудником» на буксирно-пассажирский пароход «Добрый» (*ЛЖТ*$_{1}$, стр. 28).

ЛОНДОН

(Стр. 341)

Впервые, в переводе на немецкий язык, напечатано в газете «Berliner Tageblatt», 1907, № 319, 13 (26) июля. В переводе с немецкого на русский напечатано в газете «Киевская мысль», 1907, № 151, 22 июня, с подзаголовком «Очерк М. Горького» и ссылкой на источник первой публикации. В этом же переводе очерк перепечатан газетой «Новости дня и вечера», 1907, № 79, 26 июня.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись с правкой и подписью: «М. Горький. Capri, 907. Июнь 6», перенесенными рукой И. П. Ладыжникова с первого экземпляра, правленного самим Горьким (ХПГ-36-6-1; см. *Г-30*, т. 29, стр. 20—21).

Печатается по тексту этой машинописи.

Очерк написан вскоре после возвращения писателя из Лондона, где он принимал участие в работе V съезда РСДРП как делегат с совещательным голосом. «Съезд,— писал Горький,— был страшно интересен для меня, я не заметил, как промелькнуло три недели времени, и очень много взял за эти дни здоровых, бодрых впечатлений» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 28).

За время пребывания в Лондоне Горький прочел делегатам съезда в Гайд-парке лекцию о русской литературе, присутствовал на обеде у литератора Хегберта Чарльза Райта, где «познакомился с Бернардом Шоу, виделся с Г. Уэллсом, с которым встречался еще в бытность свою в Америке, и с другими менее известными писателями...» (М. А н д р е е в а. Встречи с Лениным.— *В С*, стр. 46). Горький побывал также в Британском музее; вместе с В. И. Лениным ходил в театр (см. *Г-30*, т. 17, стр. 16). В письме к Е. П. Пешковой Горький писал: «Лондон, как город, я почти не видел, с утра до вечера сидел на заседаниях съезда, но всё же ясно для меня, что это чудесный и чудовищный город. Его жемчужина — Британский музей, изумительно богатый и умно устроенный. Был в картинных галереях, интересно. Буду писать статью о городе по просьбе одного журнала, т. е. собственно говоря— по поводу города, о внешнем впечатлении» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 29).

Вернувшись на Капри, Горький принялся за работу над очерком и закончил его 24 мая (6 июня). Тотчас же произведение было отправлено И. П. Ладыжникову с письмом, в котором говорилось: «Посылаю Вам, дорогие друзья, порцию гороха, предназначенного поколебать стену английских предрассудков» (*Г-30*, т. 29, стр. 20).

С т р. 342. ...*великолепную Елизавету*...— Английская королева Елизавета (1558—1603).

С т р. 343. ...*Смотришь на Россетти, Берн Джонса.*— Дантэ Габриэль Россетти (настоящее имя — Габриэль Чарльз, 1828—1882), английский художник и поэт, один из основателей братства «прерафаэлитов». В противоположность условно-размеренным законам классицизма, «прерафаэлиты» провозгласили своим идеалом искусство раннего Возрождения, возвращение к всестороннему изображению жизни, к передаче чувств и настроения. Особенностью картин Россетти и его продолжателя Берна Джонса (1833—1900) является реалистическая манера живописи в своеобразном сочетании с религиозно-экстатической идеей произведения.

С т р. 343. *Боттичелли* Сандро Филиппепи (ок. 1445—1510)— итальянский живописец эпохи Возрождения.

С т р. 344. *Пикадилли* — улица в фешенебельном районе Лондона.

С т р. 344. «*Боби*» — полисмен.

С т р. 344. *Уайтчапель* — квартал в неблагоустроенном и перенаселенном районе Лондона.

III

ПУБЛИКА

(Стр. 349)

Цикл «Публика» остался незавершенным и полностью не печатался. В 1905 г. Горький опубликовал первую из вставных новелл цикла, озаглавив ее «Девочка», а также «Рассказ Филиппа Васильевича», возникший из переработки пятой новеллы (см. их в наст. томе).

После смерти автора были напечатаны новеллы ⟨2⟩, ⟨4⟩, ⟨6⟩, а также отрывки из пролога и эпилога к циклу — в журнале «Октябрь», 1937, № 6, стр. 79—87 (новелла ⟨6⟩ также — в «Литературной газете», 1937, № 33, 18 июня).

В Архиве А. М. Горького хранятся 18 рукописей произведения, которые по своему содержанию распадаются на три группы, представляющие собой три составные части незавершенного и не сведенного полностью воедино замысла. Эти составные части цикла в настоящем томе условно обозначаются римскими цифрами ⟨I⟩, ⟨II⟩, ⟨III⟩.

⟨I⟩ — своеобразный пролог к циклу; ⟨II⟩ и ⟨III⟩ — два параллельных решения основной темы — темы «публики», которая рукоплещет писателю, воспринимая его речь, его рассказы только «эстетически» и как забаву, оставаясь равнодушной к содержащемуся в них обличению ужасов жизни, к крику боли и негодования. В варианте ⟨II⟩ тема «публики» развивается в лирико-публицистической форме, патетическая речь героя, непосредственно обличающая публику, переходит в ритмическую прозу. В варианте ⟨III⟩ эта же тема развивается в эпико-новеллистической форме, непосредственное обличение уступает место новеллам, рассказывающим о конкретных случаях людской жестокости. По-видимому, ни тот, ни другой варианты не удовлетворили автора.

«Публика» не датирована. Тематика произведения, характер постановки социальных проблем, стиль связывают «Публику» с произведениями 1899—1901 гг. («О чёрте», «Еще о чёрте», «Мужик», «О беспокойной книге», «О писателе, который зазнался...» и др.). Особенно очевидна связь цикла с памфлетом «О писателе, который зазнался...», где та же проблема «публики», аплодирующей писателю в ответ на его обличения, решается в аналогичной сюжетной ситуации. Как известно, памфлет опубликован самим автором не был. В письме Б. В. Морковина, относящемся к марту 1901 г., сообщалось: «Читал нам Горький свои новейшие произведения, не пропущенные цензурой,—

„О писателе, который зазнался“ и „Весна“. Первая вещь ему не нравится самому, и он летом напишет новую, где гораздо полнее охарактеризует наше общество» (*ЛЖТ*$_1$, стр. 307). Возможно, что под «новой вещью» имелась в виду «Публика», над которой писатель продолжал работать.

Многие мысли, отдельные выражения и образы, даже эпизоды и ситуации, встречающиеся в цикле, были использованы Горьким, кроме «Писателя, который зазнался...», также в произведениях «О чёрте», «Еще о чёрте», «Мужик», «Человек», «Хозяева жизни». Особенно много совпадений (главным образом в ритмической части цикла — ⟨I⟩ и ⟨II⟩) с поэмой «Человек».

⟨I⟩

(Стр. 349)

Полностью печатается впервые, по беловому автографу (ХПГ-44-1-1), представляющему собой наиболее широкий вариант пролога. Впоследствии автор, переписывая этот текст, внес в новую рукопись небольшие изменения, однако работа над новым автографом (ХПГ-44-1-9) была прервана на 8-м абзаце текста. Внесенные изменения — см. в томе вариантов.

В Архиве А. М. Горького хранятся и более ранние варианты пролога: черновые автографы (ХПГ-44-1-7 и ХПГ-44-1-8) и небольшая заметка (ХПГ-44-1-15). Заметка содержит текст, впоследствии использованный в «Хозяевах жизни».

В черновом автографе ХПГ-44-1-8 имеется рассказ Дьявола, исключенный в последующих вариантах пролога.

Название «Публика» впервые появляется на обложке белового автографа (ХПГ-44-1-1).

С т р. 350. *Я поднялся из темных глубин жизни* ..— Эта тема, видимо, очень волновавшая писателя, варьируется им во всех трех частях цикла, она использована также в произведениях «Мужик» и «Рассказ Филиппа Васильевича».

⟨II⟩

(Стр. 351)

Печатается впервые по двум беловым автографам. Первая часть — по автографу ХПГ-44-1-11, вторая — по автографу ХПГ-44-1-13 (граница между ними помечена в тексте интервалом — см. стр. 353, после строки 26). Автограф ХПГ-44-1-11 озаглавлен «Люди». Видимо, это было «проходное» название, от которого автор отказался, закрепив за циклом название «Публика».

С т р. 354. *Исаия* — библейский пророк, которому приписывается одна из книг Ветхого завета.

С т р. 354. *Когда вы говорите о любви...* — Перед этими словами в автографе зачеркнут большой абзац и вместе с ним, может быть, случайно, следующая фраза: «А все-таки я буду говорить,— ответил он и снова начал».

⟨III⟩

(Стр. 355)

Текст «Перед публикой стоял человек ∽ еще незнакомому ей» печатается по беловому автографу (ХПГ-44-1-12).

⟨1⟩ Стр. 356. Первый вставной рассказ цикла — о девочке-проститутке; см. выше примечания к рассказу «Девочка» (стр. 483—484).

⟨2⟩ Стр. 356. Печатается по черновому автографу (ХПГ-44-1-4), помеченному цифрой II.

⟨3⟩ Стр. 359. Печатается впервые по беловому автографу (ХПГ-44-1-3). На стр. 360 точками обозначен не сохранившийся в автографе текст. Рассказ, как и предыдущий, помечен цифрой II. Имеется также черновой автограф (ХПГ-44-1-10), записанный в одной рукописи со следующим рассказом (см. ⟨4⟩). Кроме того, набросок начала рассказа (видимо, самый ранний) записан вверху 4-й страницы автографа ХПГ-44-1-12 (см. варианты).

С т р. 360. *...и на светлом, величественном здании науки местами растет плесень...* — Ср. в «Заметках о мещанстве» развитие этой мысли: «Каждый раз, когда на светлом и величественном храме науки появляется какая-то темная, подозрительная плесень,— так и знайте! — это мещанин коснулся храма истины своей пахальной, нечистой рукой...» (*Г-30*, т. 23, стр. 343).

С т р. 360. *...задерживало рост живни...* — Отсутствующее в рукописи начало фразы в черновом автографе читается: «В нашей стране, бедной людьми, и посредственные хороши, а хороших мы называем прекрасными,— это роковое заблуждение нищих всегда...».

⟨4⟩ Стр. 361. Печатается по беловому автографу (ХПГ-44-1-5), помеченному автором цифрой III. Сохранился и черновой автограф (ХПГ-44-1-10, см. выше), в котором рассказ следует за предыдущим (они помечены цифрами II и III).

⟨5⟩ Стр. 365. Текст до слов «Что я мог ответить ему» включительно (стр. 370, строка 33) печатается впервые по беловому автографу (ХПГ-44-10-3). Сохранилась также последняя страница более раннего, чернового автографа этого текста (ХПГ-44-10-5).

Этот и следующий (последний) рассказ—см. ⟨6⟩— автором не нумерованы. Однако расположение их в цикле не вызывает сомнений, поскольку повествование о дворнике-поэте кончается фразой: «Вот я расскажу вам еще один случай» (см. стр. 371).

В 1904 г. Горький вернулся к рассказу, переработал его и напечатал в качестве самостоятельного произведения (см. «Рассказ Филиппа Васильевича» и примечания к нему).

Текст от слов: «Он кончил свой рассказ и замолчал...» (стр. 370) печатается по черновому автографу (ХПГ-44-10-6).

〈6〉 Стр. 372. Печатается по черновому автографу (ХПГ-44-1-2).

Эпилог цикла (от слов «Он снова замолчал...» (стр. 375) печатается по черновому автографу (ХПГ-44-1-6). На стр. 376, в строке 16 восстановлено зачеркнутое автором, но ничем не замененное слово «[слезы]».

Черновой набросок эпилога сделан автором на полях первой страницы автографа ХПГ-44-1-11 (см. его в вариантах).

«ПО НЕБУ ЖЕЛТОМУ ТАЩИЛАСЬ...»

(Стр. 378)

Впервые напечатано после смерти автора в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 170—171.

Печатается по автографу (беловая рукопись, без помарок), хранящемуся в Архиве А. М. Горького (ХПГ-52-3).

Стихотворение предположительно датируется 1899—1901 гг. Адресовано Анатолию Средину (1884—1947), сыну доктора Л. В. Средина, с которым Горький познакомился в Крыму в 1899 г. С семьей Средина у Горького установились дружеские отношения. Толя Средин гостил у Пешковых летом 1900 г. в Мануйловке (Полтавская губ.).

«КАК МЕДВЕДЬ В ЖЕЛЕЗНОЙ КЛЕТКЕ...»

(Стр. 379)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. V. Письма к Е. П. Пешковой. М., 1955, стр. 79.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф — письмо к Е. П. Пешковой, в которое и включено это стихотворение. Датируется 18 или 19 апреля 1901 г. по содержанию письма.

Печатается по автографу.

Вариант последнего стиха: «Как бы Пешкова [им съесть] сожрать». Стихотворение написано Горьким в Нижегородской тюрьме, куда он был заключен 17 апреля 1901 г. по обвинению в революционной деятельности распоряжением из Петербурга.

«СЕРДИТЫЙ ПЕС ПОРОДЫ ВОЛКОДАВОВ...»

(Стр. 380)

Надпись на фотографии. Впервые напечатано в книге: Архив А. М.Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 170. В Архиве А. М. Горького хранится автограф (ДНГ-фи-1-23-2)— фотопортрет с дарственной надписью К. П. Пятницкому (1864—1938).

Датируется концом 1901 — началом 1902 г.; снимок сделан в Крыму.

Печатается по автографу.

Пребывание Горького в Крыму в то время было не совсем добровольным (ему было разрешено выехать лишь в Крым из Нижнего Новгорода для лечения). Не случайны слова стихотворения «Прикован на цепь я». Это выражение Горький не раз повторял в письмах. «Настроение у меня — как у злого пса, избитого, посаженного на цепь»,— писал он 4 или 5 февраля 1901 г. В. Я. Брюсову (*Г-30*, т. 28, стр. 152). В письме А. В. Амфитеатрову от 24 февраля 1902 г.: «Я — северянин, волгарь, и среди здешней декоративной природы мне — неудобно, как волкодаву в красивой конуре, на цепи» (там же, стр. 235).

«СИНИМИ ОЧАМИ ОКЕАНОВ...»

(Стр. 381)

Впервые частично напечатано в «Рассказе об одном романе» (1924), куда 1-я строфа вошла в качестве стихов героя-рассказчика.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф (ХПГ-39-1-17); запись сделана в конторской книге, сохранившей также черновые наброски пьесы «Без солнца» («На дне»), работа над которой началась в конце 1901 — начале 1902 гг. Это позволяет датировать стихотворение концом 1901 — началом 1902 г. В начале 20-х годов Горький собирался использовать эти стихи в работе над сценарием «Василиса Премудрая». «Он написал только одну сцену и рассказывал ее. Это приблизительно так: „Сидит на полянке Василиса Премудрая и поет, и всё кругом,— зверушки, травушки, все радуются, все сияют.— „Синими очами океанов смотришь ты, земля моя родная, на сестер своих — родные звезды". Потом вышел из леса Илья Муромец и увел к себе Василису Премудрую и всё кругом — и зверушки и травушки,— всё померкло, загрустило. А затем выбежала из леса Василиса Премудрая, проклинает она Илью Муромца и решается отомстить эму, но в то же время в глубине души она чувствует, что он — отец будущего ребенка. И в этом есть какая-то особая сила".

Это он рассказал, а потом я видела отрывки. Эти отрывки были написаны на мелких листках бумаги, на которых обычно

писал Алексей Максимович. Целого сценария он так и не дал» (стенограмма беседы экскурсоводов Музея А. М. Горького с М. Ф. Андреевой, МоГ-1-8-1, стр. 6). Среди упоминаемых отрывков сохранился, например, следующий: «Я тебе, господи, ангела рожу!/Я несчастная пленница/ Василиса Премудрая...» (*Архив* $Г_{XII}$, стр. 57).

Печатается по автографу со вставкой двух слов («моя родная»), по тексту стихов из «Рассказа об одном романе».

«ДАЛЁКО — БЕЗМЕРНО ДАЛЁКО!..»

(Стр. 382)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке М., 1957, стр. 171.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф (ХПГ-39-1-17) на листе тетради, включающей еще стихотворение «Синими очами океанов...» и ранний набросок начала пьесы «Без солнца» («На дне»). Датируется 1902—1905 гг. Записанное в тетради, которой Горький начал пользоваться в 1901—02 гг., стихотворение это, судя по почерку и цвету чернил, было внесено в тетрадь позднее наброска пьесы.

Печатается по автографу.

⟨МЕЩАНИН⟩

(Стр. 383)

Впервые напечатано в книге: Горьковские чтения 1938 и 1939 гг. М.—Л., 1940, стр. 42—43.

Печатается по автографу, хранящемуся в Архиве А. М. Горького (ХПГ-48-1-3).

Автограф содержит значительную правку (см. варианты); вместо заглавия поставлена римская цифра I.

Произведение является неоконченным продолжением поэмы «Человек».

Работая над поэмой «Человек», Горький первоначально предполагал противопоставить в ней два образа — Человека и Мещанина. До завершения поэмы он называл ее «О Человеке и мещанине». Так названа она в письмах К. П. Пятницкому от 7—8 и 10—11 октября 1903 г. (см. примечания к поэме «Человек», стр. 461, а также *Архив* $Г_{IV}$, стр. 138). Но первоначальный замысел затем изменился. В поэме автор дал апофеоз Человека. Образу же мещанина он решил посвятить самостоятельное произведение, связанное с поэмой «Человек» и продолжающее ее: «Продолжать я буду—о мещанине, который идет — в отдалении—за Человеком и воздвигает сзади его всякую мерзость, которой потом присваивает имя всяческих законов и т. д.» (там же, стр. 141). Однако произведение осталось незавершенным.

ЯКОВ ИВАНОВИЧ

(Стр. 385)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 27—28.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф этого неоконченного произведения со значительной правкой (ХПГ-49-4).

Печатается по автографу.

Датируется предположительно 1904 г. по почерку и бумаге, которой Горький пользовался до поездки за границу (1906 г.). В письме Горького к Е. П. Пешковой от начала июня 1904 г., видимо, идет речь об этом произведении: «Пишу повесть, и, кажется, она будет очень велика» (*Архив Г*$_{V}$, стр. 115). В середине июня того же года Горький вновь пишет ей же: «Повесть будет иметь характер дневника или записок: в ней я хотел бы изобразить психологию современного интеллигента, человека демократического происхождения, постепенно отравляемого мещанством» (там же, стр. 116; см. также *Г-30*, т. 28, стр. 308).

Замысел произведения, началом которого является отрывок, согласуется с замыслом романа «Жизнь г. Платона Ильича Пенкина», относящимся к концу 1890-х — началу 1900-х годов: «Герой — интеллигент-разночинец. Средних способностей. Происхождение и воспитание внушают ему высокое мнение о силе и оригинальности своего интеллекта и, совершенно скрывая его дилетантство, развивают в нем честолюбивые желания быть чем-либо в жизни, резко выставить несоответствие сил с желаниями.

Радикальство — народничество — оппортунизм, консерваторство — декадентство. Полный моральный крах.
Сознание. Раскаяние. Смерть» (*Г Чтения*, 1951, стр. 32).

Многое в нем перекликается с более поздней неоконченной повестью «Записки доктора Ряхина» (*Архив Г*$_{VI}$, стр. 30—58).

«ПОУТРУ ШТОРУ ПОДНИМАЯ...»

(Стр. 386)

При жизни автора не печаталось. Впервые напечатано: М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 28, стр. 342.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Автограф письма Л. Н. Андрееву от 5—6 декабря 1904 г., в котором среди многих других стихотворений приведено и публикуемое (см. также *Лит Насл*, т. 72, стр. 248—249). 2. Письмо А. А. Дивильковскому от 11 декабря того же года (ПГ-рл-13-34-3), часть текста которого составляет это же стихотворение.

Печатается по автографу письма Дивильковскому.

Письмо было послано Горьким из Риги. В нем содержится и высказывание, проливающее свет на смысл стихотворения.

Возмущаясь поведением прибалтийской немецкой буржуазии, Горький пишет: «Всего хуже — Прибалтийский,— вот уж именно край! Такая непоколебимо идиотская лояльность у этих чёртовых немцев — прямо беда! Но латыши — великолепный народ во всех отношениях...» (*Г-30*, т. 28, стр. 341—342).

ЗРИТЕЛИ

(Стр. 387)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 11—13.

В Архиве А. М. Горького хранится список произведения, сделанный М. Ф. Андреевой, с подписью и незначительной правкой Горького (ХПГ-32-1-1). Заглавие произведения и нумерация листов — рукой Горького.

Печатается по рукописи.

«Зрители» — первый отклик Горького на декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Произведение написано, по-видимому, во второй половине декабря 1905 или в начале 1906 г.

В дни московского восстания Горький жил на углу Воздвиженки и Моховой. Во время баррикадных боев квартира Горького была боевым центром, писатель принимал участие в снабжении восставших оружием. «На квартиру Горького,— вспоминала Ф. И. Драбкина,—приходили со всех концов Москвы по различным партийным делам. Квартира стала как бы центром связи и информации для работников Московской большевистской организации» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 93; см. также В. Десницкий. М. Горький. М., 1959, стр. 96).

ПОП ГАПОН

(Стр. 390)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 14—24.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф (7 листов) с печатными вклейками и вставкой, сделанной рукой М. Ф. Андреевой (2 листа) (ХПГ-42-31-1). Правка Горького очень значительная. Нумерация рукой Горького: 1—4. На полях пометы синим и простым карандашами. На 5 и 7 листах наклеены три вырезки из газеты «Русь» за 1906 г.

Печатается по автографу с исправлениями по смыслу и по газете «Русь», 1906, № 23, 8(21) февраля:

Стр. 397, строка 21: «со всеми признаками демагогии» вместо «со всеми признаками демагогий в его голове».

Стр. 398, строка 7: «от председательства» вместо «от председателя».

Стр. 398, строки 8—9: «русско-фабрично-заводских» вместо «русско-фабричных».

Стр. 398, строка 18: «русско-фабрично-заводских» вместо «русских фабрично-заводских».

Очерк написан в Нью-Йорке в апреле 1906 г. Датируется по содержанию: цитируя письмо Гапона, опубликованное в газете «Русь» 13(26) марта 1906 г. (№ 55), Горький указывает, что оно «напечатано месяц тому назад». В конце произведения он высказывает несколько предположений о судьбе Гапона, которая в момент написания очерка была ему неизвестна. Между тем 28 марта (10 апреля) Гапон был повешен по решению ЦК партии эсеров. В течение долгого времени полиция искала Гапона, труп был обнаружен лишь 30 апреля (13 мая).

Выступления Горького в американской прессе подтверждают, что произведение было написано в апреле 1906 г. В них содержится оценка деятельности Гапона, которая текстуально близка ко многим страницам очерка (см.: *Г и революция 1905 г.*, стр. 391—392).

Очерк «Поп Гапон», как видно из его текста, написан для одной из американских газет и рассчитан на читателя США, проявившего большой интерес к событиям 9 января в России и личности Гапона. Горький дает в очерке политическую оценку деятельности Гапона и высказывает свое отношение к политике царизма.

«Кровавое воскресенье» произвело неизгладимое впечатление на Горького. Вечером 9 января 1905 г. он написал письмо Е. П. Пешковой с подробным рассказом о расстреле рабочих. «Итак,— сообщал он,— началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренно и серьезно поздравляю. Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новые цвета только кровью. Завтра ждем событий более ярких и героизма борцов, хотя, конечно, с голыми руками — не много сделаешь.

Вот *буквальная* копия письма Гапона к рабочим:

„Родные товарищи рабочие!

Итак — царя нет! Между им и народом легла неповинная кровь наших друзей. Да здравствует же начало народной борьбы за свободу! Благословляю вас всех. Сегодня же буду у вас. Сейчас занят делом.

Отец Георгий“» (*Г-30*, т. 28, стр. 348).

Воззвание Гапона к народу было написано на квартире у Горького, где поп скрывался после расстрела демонстрации. В том же письме к Е. П. Пешковой Горький сообщил: «Гапон каким-то чудом остался жив, лежит у меня и спит. Он теперь говорит, что царя больше нет, нет бога и церкви, в этом смысле он говорил только сейчас в одном собрании публично и — так же пишет. Это человек страшной власти среди путил⟨овских⟩ рабочих, у него под рукой свыше 10 т⟨ысяч⟩ людей, верующих в него, как в святого» (там же, стр. 347).

Тот же факт более подробно Горький изложил в очерке «Савва Морозов» и в романе «Жизнь Клима Самгина». Когда растерянный, испуганный Гапон явился на квартиру Горького, Савва Морозов остриг и переодел его. Вскоре пришел П. М. Рутенберг, «учитель и друг попа, принужденный через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать от лица Гапона воззвание к рабочим,— это воззвание начиналось словами:

„Братья, спаянные кровью"» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 33). Гапона загримировали, и Горький отвез его на собрание интеллигенции в Вольно-экономическое общество, «где заявил с хор, что Гапон — жив, вот он!» (там же). Вскоре с помощью Горького Гапона отправили в Финляндию.

Горький всегда относился к Гапону настороженно. Накануне 9 января, по свидетельству В. А. Десницкого, писатель созвал у себя на квартире совещание представителей левой печати и революционных партий. На этом собрании Горький «говорил, что „поп" подозрителен, что нельзя его оставлять во главе нарастающего движения, что нужно, пока не поздно, идти к рабочим, бороться с попом и провокаторами» (В. Десницкий. А. М. Горький. М., 1959, стр. 95).

Летом 1905 г. Гапон, пытаясь воздействовать на петербургских рабочих, присылал из-за границы письма, полные нападок на революционную интеллигенцию. В соответствии с планом царской охранки Гапон пытался отколоть рабочую массу от революционеров и ослабить влияние социал-демократии в рабочей среде.

В это время Гапон еще не был разоблачен как провокатор, и Горький, пытаясь переубедить его, в августе 1905 г. отправил ему большое письмо. Упрекая Гапона в стремлении изолировать рабочих от социал-демократов, Горький писал: «До сей поры организацией рабочего класса в нашей стране занималась социал-демократическая интеллигенция, только она бескорыстно несла в рабочую среду свои знания, только она развивала истинно пролетарское миропонимание в трудящихся классах, только она социалистична, а Вы знаете, что освобождение рабочего достижимо лишь в социализме, только социализм обновит жизнь мира...» (цит. по кн.: *Овчаренко*, стр. 182).

Вскоре после этого стало известно о связи Гапона с департаментом полиции. 8(21) февраля 1906 г. в газете «Русь» было напечатано письмо гапоновца Н. П. Петрова, а в ночь на 19 февраля покончил с собой рабочий П. П. Черемухин. Гапон пытался оправдаться, но его ответ, опубликованный в той же газете 13(26) марта, лишь убедил общественность в провокаторской деятельности попа.

При жизни автора очерк «Поп Гапон» не был опубликован. Рукопись осталась в США. В 1910 г. она была приобретена у русского эмигранта, по-видимому, переводчика, японцем Ота, который передал ее в Архив А. М. Горького 12 ноября 1948 г. (см. *Архив Г*$_{VI}$, стр. 222—223).

С т р. 390. *...родился двадцать восемь лет тому назад...* — Точной даты рождения Гапона (1870) Горький не знал. Вариант — «32 года тому назад».

С т р. 390. *Его отец...* — В «Открытом письме к социалистическим партиям России» Гапон называл себя сыном крестьянина (см. сб. «Священник Гапон». Изд. Гуго Штейница. Берлин, 1906, стр. 47).

С т р. 390. *В 1901 году Георгий Гапон получил место священника...* — В церкви пересыльной тюрьмы Гапон служил в 1904 г., до этого он был священником в петербургском детском приюте Синего Креста.

С т р. 391. *Зубатов* — С. В. Зубатов (1864—1917), в 1890-х годах — начальник Московского охранного отделения, в 1902 г.— начальник особого отдела департамента полиции. По его инициативе в 1901—1903 годах были организованы полицейские рабочие союзы с целью отвлечения рабочих от революционной борьбы.

С т р. 391. *...«Общество рабочих механического производства»...* — Точное название первой зубатовской организации в Москве — «Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве».

С т р. 392. *Плеве* — В. К. Плеве (1846—1904), с апреля 1902 г.— министр внутренних дел. Убит эсером Е. С. Сазоновым 15 июля 1904 г.

С т р. 392. *«Общество петербургских рабочих»...* — Точное название общества Гапона — «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга».

С т р. 395. *...Гапон уже был у меня.* — Горький жил в то время на Знаменской ул., д. 20, кв. 29.

С т р. 395. *...один революционер...* — Петр Моисеевич Рутенберг (партийная кличка — Мартын), эсер, один из организаторов убийства Гапона; после 1917 г.— эмигрант.

С т р. 396. *Я познакомил попа с людьми, которые взялись переправить его через границу...* — В воспоминаниях «Савва Морозов» Горький указывает, что из его квартиры Гапон ушел с Ф. Д. Батюшковым, который отправил его в Финляндию.

С т р. 396. *В письме ∞ было напечатано месяц тому назад...* — Письмо Гапона помещено в газете «Русь», 1906, № 55, 13(26) марта. Гапон апеллирует «к суду общественных партий», чтобы снять с себя обвинения рабочих-гапоновцев в провокаторстве.

С т р. 397. *...против революционной интеллигенции, стараясь посеять у рабочих враждебное отношение к ней.* — Отвечая Гапону в августе 1905 г., Горький призывал к объединению рабочих с социал-демократией «в одну семью, в одну дружину борцов за свои человеческие права» (цит. по кн. *Овчаренко*, стр. 182).

С т р. 397. *Октябрьский манифест* — царский манифест от 17 октября 1905 г.

С т р. 398. *Вот это письмо.* — Имеется в виду письмо рабочего-гапоновца Н. П. Петрова, напечатанное в газете «Русь», 1906, № 23, 8(21) февраля. Горький цитирует его не полностью.

С т р. 398. *А. Корелин* — А. Е. Карелин (Кармин), рабочий-гапоновец.

С т р. 398. *Смирнов* — Василий Смирнов, член Оргкомитета гапоновского общества. В статье «Дело Г. А. Гапона» газета «Русь» писала о самоубийстве Черемухина. Утром 18 февраля П. Черемухин с В. Смирновым и К. Левиным был у Н. Петрова и сказал ему: «Я заварю сегодня кашу, а ты, Петров, бери самую большую ложку и расхлебывайся» («Русь», 1906, № 35, 21 февраля/6 марта).

С т р. 398. *Кузин* — Д. В. Кузин, рабочий-гапоновец. Сопровождал Горького в поездке к В. К. Плеве и другим министрам в составе депутации, избранной радикальной и либеральной интеллигенцией накануне 9 января. Горький писал о нем в воспоминаниях о Савве Морозове: «Кузин, оказавшийся впоследствии агентом охраны, убеждал меня в необходимости для рабочих идти с красными флагами и революционными лозунгами...» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 27).

С т р. 398. *Черемохин* — П. П. Черемухин (И. Ф. Сычев) (1882—1906). Покончил жизнь самоубийством в ночь на 19 февраля 1906 г. Пытаясь реабилитировать себя, Гапон опубликовал ложную версию о смерти Черемухина, обвиняя во всем Н. П. Петрова («Русь», 1906, № 35, 21 февраля/6 марта).

С т р. 398. *Александр Матюшенский* — журналист, замешанный в деле Гапона. В письме Гапон сообщал о нем: «...в бытность мою за границей граф Витте предложил рабочим организациям получить от правительственной кассы 30 000 руб. для восстановления 11 отделов. Эти 30 000 руб. были переданы бывшим министром Тимирязевым журналисту Матюшенскому, принадлежавшему в то время к крайним общественным партиям. Г. Матюшенский, передав из этих денег 7000 руб. рабочим, остальные деньги увез с собою в Саратов» («Русь», 1906, № 55, 13(26) марта).

С т р. 399. *Тимирязев* — В. И. Тимирязев (1849—1919), промышленный и финансовый деятель, в 1905 г.— министр торговли и промышленности.

С т р. 401. *В американской прессе говорят...* — 27 апреля 1906 г. газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Гапон, бежавший в Финляндию, был схвачен и повешен. 30 апреля 1906 г. там же помещена корреспонденция из С.-Петербурга. Ссылаясь на «Новое время», газета подтвердила версию об убийстве Гапона, заметив, в частности: «Гапон уехал в Озерки, маленькое место на финляндской границе, чтобы встретиться с Рутенбергом для консультации. С тех пор его не видели». Наконец, 3 мая в «Нью-Йорк Таймс» появилось следующее сообщение: «Революционный рабочий трибунал казнил Гапона как предателя, шпиона, провокатора, вора денег, принадлежащих рабочим...» (сведения получены от американского литературоведа Э. Дж. Симмонса).

С т р. 401. *Если попа повесили...* — Гапон был повешен 28 марта (10 апреля) 1906 г. рабочими-гапоновцами по постановлению ЦК партии эсеров.

С т р. 401. *...священник, призывавший народ...* — Имеется в виду обращение Г. Гапона к рабочим, написанное 9 января 1905 г. в 12 часов вечера, в котором говорилось: «Так отомстим же, братья, проклятому народом царю, всему его змеинному царскому отродью, его министрам и всем грабителям несчастной русской земли! Смерть им всем!» (сб. «Священник Гапон», стр. 33—34). Резкие выпады против царя и царского семейства, призывы к борьбе с ними содержатся также в трех посланиях Гапона: «Письмо к Николаю Романову, бывшему царю и настоящему душегубцу Российской империи», «Воззвание к петербургским рабочим и ко всему российскому пролетариату» и «Открытое письмо к социалистическим партиям России» (там же, стр. 38—47).

С т р. 402. *Уотт Тайлер* (ум. 1381) — вождь крестьянского восстания 1381 г. в Англии.

С т р. 402. *Томас Мюнцер* (ок. 1490—1525) — руководитель крестьянско-плебейских масс во время Реформации и Крестьянской войны в Германии 1525 г.

С т р. 402. *Мазаниелло*—Томазо Аньелло (1623—1647), неаполитанский рыбак, руководивший народным восстанием 1647 г. против испанского владычества и неаполитанской знати. Став правителем Неаполя, Мазаниелло вынужден был облачиться в роскошную мантию, чтобы принять капитуляцию вице-короля. Погиб от руки убийцы.

М〈АРК〉 Т〈ВЕН〉

(Стр. 403)

Впервые напечатано в книге: Описание рукописей М. Горького, вып. 1. М.— Л., 1936, стр. 125.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф произведения (ХПГ-41-1-1).

Печатается по автографу.

Судя по содержанию, набросок сделан в 1906 г. в США. Знакомство Горького с Марком Твеном состоялось на обеде, устроенном в честь русского писателя 11 апреля 1906 г. в литературном клубе «А». Отвечая на приветственную речь, произнесенную Марком Твеном на этом обеде, Горький сказал: «День, в который я удостоился встретиться с Марком Твеном,— счастливый день для меня. Марк Твен известен во всем мире, но в России он известен больше всех американских писателей. Его произведения печатались в сотнях изданий, и ни один культурный человек не считал себя вполне образованным человеком, пока он не прочитает Марка Твена» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 102—103). На одном из приемов Горького спросили, кто является его любимым американским писателем. Он незамедлительно ответил:

«Марк Твен ⟨...⟩ Из всех я больше всего люблю его; я читал его в ту пору моей жизни, когда за чтение меня били. Это было тогда, когда я был бродягой и брался за любую работу ⟨...⟩ В те времена побои выпадали на долю людей из народа в большом количестве, но, несмотря на них, я читал Марка Твена и так же поступил бы и теперь, ибо в сравнении с удовольствием, которое я получил от прекрасных книг, наказание кажется мне довольно легким» (там же, стр. 103).

Марк Твен доброжелательно отнесся к Горькому; он принял деятельное участие в создании фонда в помощь революционному движению в России. Но существа кампании, поднятой в США реакционной прессой против Горького, он не понял. Горький не считал себя вправе осуждать за это Марка Твена. Когда в русской печати появились выступления, в которых наряду с возмущением по поводу позорной кампании содержались необоснованные нападки на Марка Твена и его творчество, Горький вступился за американского писателя. В открытом письме в редакцию газеты «XX век» он замечал: «Не следует также нападать на почтенного Марка Твена. Это превосходный человек, но — он стар, а старики очень часто неясно понимают значение фактов...» (*Г-30*, т. 23, стр. 393).

⟨ОБ И. Е. РЕПИНЕ и кн. И. Р. ТАРХАНОВЕ⟩

(Стр. 404)

Впервые напечатано в «Литературной газете», 1946, № 23, 1 июня.

В Архиве А. М. Горького хранится беловая рукопись без заглавия и даты, правленная автором (ХПГ-41-1-1). Судя по тому, что набросок написан одними чернилами и тем же почерком, что и «Марк Твен», помещенный на обороте листа, можно предположительно датировать произведение 1906 годом.

Печатается по рукописи.

Стр. 404. *И. Р. Тарханов* (Тархан-Моуравов, 1846—1909) — академик, автор трудов по вопросам биологии, физиологии, гипнотизма. Находился в дружеских отношениях с И. Е. Репиным; в течение многих лет поддерживал с ним переписку. Горький, живя в 1905 г. на даче в Куоккале, часто посещал репинские «Пенаты», где и встречался с Тархановым.

Стр. 405. *Мой сын Юрий.*— Портреты сына Юрия были написаны Репиным в 1882 г. (закончен в 1893) и в 1905 г. (см. К. Д. Эристави и Е. М. Семенская. И. Р. Тарханишвили. Жизнь, научная и общественная деятельность. Тбилиси, 1951; см. также И. Е. Репин. Письма Е. И. Тархановой-Антокольской к И. Р. Тарханову. Л.— М., 1937).

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

(Стр. 406)

Впервые опубликована в журнале «Вопросы литературы», 1968, № 3, стр. 99—120.

Печатается по подлиннику, хранящемуся в Архиве А. М. Горького (ГЗ-17-2).

Книжка связана с пребыванием Горького в Берлине — 15 (28) февраля — 7(20) марта 1906 г., с поездкой в Америку и возвращением в Европу — март—апрель — октябрь 1906 г. Последние итальянские записи были сделаны писателем во время поездки с Капри во Флоренцию и Рим и после возвращения из Рима в конце 1907 — начале 1908 г.

Подавляющую часть текстов в книжке составляют «творческие заготовки». Многие из них были в дальнейшем реализованы автором в произведениях: «Мать», «Враги», «В Америке», «Разрушение личности», «Жизнь Клима Самгина» и др.

Особый интерес представляют заметки «американского периода». Здесь в первоначальных набросках и эскизах, в записях диалогов, коротких фраз и отдельных слов сквозит мысль художника-революционера, постигшего истинный смысл «американской свободы» уже в начале века. В Америке Горького поразило вопиющее противоречие между трудом и капиталом, лицемерие буржуазной морали, цинизм «сильных мира сего», дикие нравы печати, враждебное отношение капитала к искусству, творчеству. Обращают на себя внимание материалы, связанные с замыслом неосуществленной статьи об Америке, озаглавленной Горьким в письме к Пятницкому «Страна подростков» (*Архив ГIV*, стр. 204).

В книжке много ценных биографических сведений. Наиболее интересны в этом плане записи Горького о приезде в Берлин, о его встречах с вождями германской социал-демократии, литераторами, художниками.

Последние, очень лаконичные, заметки рассказывают о знакомстве писателя с искусством и культурой Италии.

Есть в книжке и чисто деловые записи или заметки для памяти, библиографические сведения о книгах, заметки об отправленных письмах, записи английских слов (в Америке Горький изучал английский язык) и т. п.

По оставшимся корешкам ясно, что часть записей в свое время была изъята Горьким,— вырвано и вырезано 13 густо исписанных листов,— в каждом случае это оговаривается в комментариях.

Тексты печатаются в том порядке, в каком они находятся в книжке.

Зачеркнутые Горьким тексты печатаются в прямых скобках. В большинстве случаев это означает, что данная запись в дальнейшем была использована автором.

Стр. 406. *Приезд в Берлин.*— Существует мнение, что Горький приехал в Берлин из Копенгагена 16 февраля (1 марта) 1906 г. (*ЛЖТ*$_1$, стр. 586). Материалы, приведенные в статье немецкого исследователя Э. Чиковского («Zur Reise Maksim Gorkijs nach Westeuropa und den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1906». Gorkij-Lesung 1964. Humboldt-Universität zu Berlin, 1965, Heft 2), а также содержание настоящей записи дают основание считать, что Горький приехал в Берлин 15(28) февраля 1906 г. 28 февраля (н. ст.) в заметке «Горький в Германии?» сообщалось, что, по-видимому, Горький 27 февраля прибыл в Гамбург (Gorki in Deutschland? «Berliner Tageblatt», 1906, № 108, 28 февраля). В следующем номере 1 марта 1906 г. в разделе «Маленькие сообщения» «Berliner Tageblatt» писала: «Максим Горький, как мы слышали, вчера прибыл в Берлин». 2 марта «Berliner Tageblatt» и ряд других газет, в том числе и русских, сообщали уже об обстоятельствах прибытия Горького: «В связи со стачкой берлинских кучеров к моменту приезда писателя на вокзале не оказалось ни одного носильщика, ни кучера, и поэтому он поднял на плечо свой чемодан, сел в автобус и таким образом въехал в Берлин» (1906, № 112, 2 марта).

Стр. 406. *Стачка кучеров.*— Началась 13(26) февраля (сообщение в газете «Русское слово» 14(27) февраля 1906 г.). 28 февраля было третьим и последним днем стачки (см. сообщение в «Berliner Volkszeitung», 1906, 15(28) февраля, приведенное в статье Э. Чиковского).

Стр. 406. *...серебряная свадьба Вильгельма ∽ свадьба принца...* — Венчание принца Эйтель Фридриха (1883—1942) состоялось 27 февраля 1906 г. (н. ст.). Одновременно праздновалась и серебряная свадьба Вильгельма II (сообщения венской газеты «Neue Freie Presse», №№ 14909, 14913, 1906, 11(24) и 15(28) февраля).

Впечатления от приезда Горького в Берлин отразились в начале IV ч. «Жизни Клима Самгина».

Стр. 406. *Сосны, как медные струны.*— Запись сделана в Германии между 15(28) февраля и 1—3 марта 1906 г. Использовалась Горьким неоднократно. См. «Из повести» (стр. 141 наст. тома), рассказ ‹«На реке раздался плеск»› (т. XI наст. изд.).

Стр. 406. *Старый орел — Бебель — фрау.*— Запись сделана 18—19 февраля (3—4 марта) 1906 г. в Берлине после встречи с вождями германской социал-демократии. В Архиве А. М. Горького сохранилась недатированная записка А. Бебеля Горькому и М. Ф. Андреевой на визитной карточке:

«Многоуважаемые господин и госпожа Горькие!

Я забыл оставить Вам вчера наш адрес и исправляю сейчас эту ошибку, чтобы Вы завтра, в субботу вечером, в 8 часов или раньше, пришли к нам, чему мы заранее радуемся.

Дружеский привет, преданные А. Бебель и супруга.

Schöneberg—Berlin, Hauptstrasse 84» (перевод с немецк. Архив А. М. Горького, КГ-ин-г-1-15-1). Первая суббота после прибытия Горького в Берлин приходилась на 18 февраля

(3 марта). Таким образом, первая встреча Горького с Бебелем состоялась 16 февраля (1 марта), вторая была назначена на 18 февраля (3 марта). Горький, очевидно, воспользовался приглашением Бебеля. 19 февраля (4 марта) 1906 г. он сообщал Е. П. Пешковой: «Видел, конечно, Бебеля, Каутского и т. д. Первый — орел, великолепный старый орел, крепкий, сильный, смелый...» (*Архив* $Г_V$, стр. 174).

Горький продолжал встречаться с Бебелем и его друзьями и позднее. 10 марта он выступал в «Deutsches Theater» и после выступления вновь виделся с Бебелем, как это следует из материалов немецкого полицейского архива, приведенных в статье Э. Чиковского.

За несколько дней до отъезда из Берлина около 7(20) марта он писал Е. П. Пешковой: «Бываю лишь у Бебеля, Каутского, Либкнехта...» (там же, стр. 175). Позднее о своих встречах с лидерами немецкой социал-демократии Горький рассказал в очерке «В. И. Ленин» (*Г-30*, т. 17, стр. 8). О посещении Горьким Бебеля вспоминала и М. Ф. Андреева (*Андреева*, стр. 122).

С т р. 407. *Банкет с художниками.*— Запись сделана в Берлине 5(18) марта 1906 г. после вечера в честь Горького в связи с отъездом его в Швейцарию, организованного немецкой художественной интеллигенцией в клубе «Secession» (дата вечера установлена Э. Чиковским на основании полицейских материалов и сообщения газеты «Lokalanzeiger» от 6(19) марта 1906 г.). В ответ на приветствия Горький выступил с речью, в которой говорил о задачах искусства и призывал помочь России в ее борьбе с самодержавием (*ЛЖТ*$_I$, стр. 589—590).

С т р. 407. *Мак⟨симилиан⟩ Гарден* — псевдоним Исидора Витковского (1861—1927), германского буржуазного публициста, который приобрел популярность главным образом своей борьбой с кликой, окружавшей Вильгельма II.

С т р. 407. *Лу Андреас Саломе* (1861—1937) — немецкая поэтесса, друг Ф. Ницше.

С т р. 407. *Либерман* — Макс Либерман (1847—1935), немецкий художник, крупнейший представитель импрессионизма. В течение многих лет был председателем берлинского «Secession», членом Прусской академии художеств, а с 1921 г.— ее президентом. В 1933 г. демонстративно покинул Академию в знак протеста против фашизма.

С т р. 407. *В. Ф.* ⟨Василий Федорович⟩ — Вильгельм II (см. в наст. томе памфлет «Русский царь»).

С т р. 407. *Мг. и мг.* — запись сделана между 23—28 марта (5—10 апреля) 1906 г. и представляет собой, видимо, конспект речи, произнесенной Горьким на пароходе «Фридрих Вильгельм Великий» на пути в Нью-Йорк. Переводивший эту речь слушателям на английский язык И. А. Каспэ вспоминал: «За обеденным столом ежедневно то одним, то другим из пассажиров поднимались тосты, на которые к концу обеда Горький обыкновенно откликался небольшой речью, а в одном случае он даже сам, по своему почину, выступил с приветственным словом по предварительно набросанному им карандашом для меня конспекту.

К сожалению, ни конспекта, ни копии его у меня сейчас не осталось...» (И. А. К а с п э. Воспоминания. Архив А. М. Горького, МоГ-6-17-1).

С т р. 407—408. *Человек, который умеет внимательно слушать ∽ Не мешайте вина с водой...* — Обе записи сделаны в различное время в апреле 1906 г. в Америке.

С т р. 408. *Европа — старая эстетика...* — Запись сделана не позднее 14—15 (27—28) апреля 1906 г. Аналогичное сравнение Америки и Европы находим в письме Горького Пешковой от 14—15 (27—28) апреля 1906 г.: «Америка, я тебе скажу, это нечто изумительное по энергии, по темпу жизни〈...〉 В сравнении с Нью-Йорком города Европы — так себе что-то. В них много красивой старины, да. В них — эстетика живет, так. Но, увидав Нью-Йорк, невольно говоришь: в Европе есть что-то дряхлое, усталое, болезненно-нервозное. Здесь — мало эстетики, пожалуй,— ее нет. Здесь грубоватая бодрость молодой страны, здоровая нервность политической и социальной юности» (*Архив $Г_V$*, стр. 178). Эта мысль развита Горьким в статье «Город Мамоны» (стр. 431 наст. тома).

С т р. 408. *Примеры — Нойс...* — Знакомство Горького с миссионером Нойзом, незадолго до того вернувшимся из Японии, и его женой произошло в доме супругов Мартин. Н. Е. Буренин в своих воспоминаниях так характеризовал пастора Нойза: «...Он — человек лет шестидесяти, необычайно высокого роста, худой до невероятности, плешивый, большерукий, казалось, кости вот-вот проткнут его серый костюм. Жена была немного моложе, маленькая, щупленькая, быстрая в движениях. По вечерам, развеселившись, они устраивали своего рода варьете, как будто и не совсем подходящее для миссионера» (Н. Е. Б у р е н и н. Памятные годы. Л., 1961, стр. 99).

С т р. 408. *Мери Беккер Эдди* — Mary Baker Glover Eddi (1821—1910), публицистка, активная участница христианского движения в Америке (christian science). Запись сделана значительно позднее предыдущих, одновременно со следующей, возможно, осенью 1906 г. или даже в начале 1907 г.

С т р. 408. *Брукс* — Гариет Брукс, ассистентка профессора Э. Резерфорда. Горький и М. Ф. Андреева познакомились с Брукс весной 1906 г. в доме супругов Мартин на Статен-Айланд, затем часто встречались в имении Мартин Соммер-Брук (Адирондак). Осенью 1906 г. вместе с Горьким, Андреевой и Бурениным Брукс приехала из Америки в Италию. Позднее неоднократно посещала семью Горького на Капри.

С т р. 409. *Вильшир.*— Заметка сделана в апреле—мае 1906 г. в Америке. Генри Гейлорд *Вильшайр* (1861—1927) — крупный американский финансист, пайщик золотопромышленного предприятия, издатель мнимо-социалистического журнала «Wilshir's magazine» в Нью-Йорке. Горький познакомился с Вильшайром в Нью-Йорке в 1906 г. через З. А. Пешкова, в то время служившего у Вильшайра (М. Ф. А н д р е е в а. Беседа с работниками музея А. М. Горького 19.IX 1937 г. Архив А. М. Горького, МоГ-1-8-1). 11 апреля (29 марта) 1906 г. после банкета

в клубе «А» Вильшайр устроил официальный прием в честь Горького у себя. На этом приеме Горький познакомился с Г. Уэллсом (*ЛЖТ*$_1$, стр. 597). В августе 1906 г. М. Ф. Андреева писала Пятницкому, что для Горького после знакомства с некоторыми американскими общественными деятелями слово «социалист» перестало быть патентом на порядочность: «Здесь такой социализм процветает, который у нас в России показался бы просто жульничеством — например, только сегодня принесли социалистический журнал Wilshir'a, это где прежде работал Зиновий, и вот г-н Wilshire, миллионер-социалист, между прочим, ни гроша не давший А. М. на наше дело, рекомендует своим подписчикам-рабочим брать акции нового золотопромышленного общества, обещая 250 долларов за каждый доллар...» (*Андреева*, стр. 137—138).

С т р. 409. *Землетр⟨ясение⟩ в С.-Фриско...* — Огромной силы землетрясение в Сан-Франциско произошло 5—6 (18—19) апреля 1906 г. В связи с этим на следующий день после катастрофы, 7(20) апреля, Горьким был опубликован в «New York American» очерк «Сан-Франциско» (см. примечания к «Сан-Франциско», стр. 547 наст. тома).

С т р. 409. [*Вся эта сволочь...*] — Настоящая заметка, а также следующие за ней связаны с циклом очерков Горького «В Америке». Сделаны не позднее 10(23) июня 1906 г. Знак вычерка указывает на то, что они уже использованы автором. См. очерк «Царство скуки» (стр. 263 наст. тома).

С т р. 409. [*—Животное! Прости людей!*] — См. там же.

С т р. 409. [*Чарли Форстер. Детей больше, чем медведей.*] — Использовано в очерке «Чарли Мэн» (см. стр. 328 наст. тома).

С т р. 409. [*Обезьяна с ребенком...*] — Горький использовал эту заметку в очерке «Царство скуки» (см. стр. 262—263 наст. тома).

С т р. 409. [*Mob. Моб. Оттого, что не люди, а дроби, куски.*] — Использовано в очерках «Mob» и «Хозяева жизни» (см. стр. 264 и 226 наст. тома).

С т р. 410. «Collier's magazine». — Запись сделана не ранее 23 июня 1906 г. в Америке. «Collier's magazine» — реакционный американский иллюстрированный еженедельник, основанный в 1888 году Питером Кольером.

С т р. 410. *Статья об анархистах.* — Имеется в виду статья Б. Бранденбурга (Broughton Brandenburg) «Анархисты в Америке», опубликованная в журнале «Collier's magazine» 23 июня 1906 г. (стр. 16—17, 26). В связи с этим Горький писал Пятницкому, что американская буржуазная пресса обвиняет его в анархизме: «Российское посольство усердствует, требуя, чтобы меня отсюда выгнали; буржуазная пресса печатает статьи, в которых уверяет публику, что я анархист и меня надо в шею через океан» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 201—202).

С т р. 410. *Хёрст* — Уильям Рандольф Хёрст (1863—1951), американский издатель, газетный магнат.

С т р. 410. *Бризбен* — Артур Брисбен (1864—1936), американский журналист, редактор газет Хёрста.

В черновых набросках к статье ⟨«О буржуазной прессе»⟩ Горьким дан следующий портрет Брисбена: «В 906 году, в Нью-Йорке, я часто встречался с мистером Брисбен, главным редактором газет Хёрста. Это был человечек неопределенного возр⟨аста⟩, спокойный, с его серого лица голубоватые выпуклые глаза смотрели на всё вокруг снисходительно» (Архив А. М. Горького, ЛСГ-5-16-1).

Стр. 410. *История с барыней-филантропкой...* — В несколько измененном виде использована Горьким в статье ⟨«О буржуазной прессе»⟩. По поводу этой истории Горький имел беседу с А. Брисбеном.

«— Это стоило ей больших денег,— сказал Брисбен, главный редактор хёрстовых газет.

— А полицейские?

— Они обеспечены, конечно» (Архив А. М. Горького, ЛСГ-5-16-1).

Стр. 410. *Жрецам и проповедникам.*— Настоящая заметка и две следующие за ней сделаны летом 1906 г. в Америке.

[— *Собрать немедленно...*]— Эта и следующая фразы зачеркнуты Горьким, после того как были использованы (см. «Враги», наст. изд., т. VII).

Стр. 410. *Я думаю, что человек...*— Датируется по содержанию 1906 или 1907 г. Ср. в статье «Разрушение личности»:— «По мере размножения людей возникает борьба родов, рядом с коллективом „мы" встает коллектив „они" — и в борьбе между ними возникает „я"» (*Г-30*, т. 24, стр. 29).

Стр. 411. *Завещание Гульда...*— Запись сделана летом 1906 г. в Америке. Джей *Гулд* (1836—1892) — американский банкир и железнодорожный магнат, нажил свое состояние на спекуляциях железнодорожными акциями и путем разного рода мошеннических сделок. Высказывание Гулда Горький привел в статье «Разрушение личности» (там же, т. 24, стр. 45).

Стр. 411. *Эксцентричная девушка.*— Начало записи (чернилами) сделано летом 1906 г. в Америке. *Грес Джонс* — учительница из Чикаго. Горький познакомился с ней в доме супругов Мартин в 1906 г. Позднее Джонс приезжала на Капри.

Стр. 411. *В пустынном море...*— Настоящая заметка и две следующие за ней сделаны летом 1906 г. в Америке. Текст использован в американском издании повести «Мать».

Стр. 411. *Надпись на книге.*— Возможно, текст дарственной надписи на книге неустановленному лицу. Заглавие и последняя строка приписаны карандашом позднее. Весь текст перечеркнут крест-накрест карандашом, видимо, после того, как он был использован автором.

Стр. 411. *В Монтреале, как и в Вятке...*— На основании упоминания городов: Монреаля, Буффало, Ниагары и Кливленда, настоящая и следующие за ней записи могут быть датированы сентябрем 1906 г. Горький посетил эти города после отъезда из Соммер-Брук незадолго до того, как покинул Америку.

Стр. 411—412. Записи карандашом, сделаны в различное время осенью 1906 г.

С т р. 412. *Встреча Алисы Рузвельт.*— По контексту запись датируется сентябрем 1906 г. Алиса Ли Рузвельт (рожд. 1884), дочь президента США Теодора Рузвельта, в 1906 г. вышла замуж за конгрессмена Николаса Лонгворт.

С т р. 412. *Буффало. Газета.*— Заметка сделана, по-видимому, во время пребывания Горького в Буффало в сентябре 1906 г.

С т р. 412. *Антуан* — Андре Антуан (1858—1943), один из крупнейших французских сценических деятелей. На сцене своего театра Антуан имел намерение поставить пьесы Горького: «На дне» в 1903 г. и «Дети солнца» в 1905 г. (см. телеграмму Горького Пятницкому 27 марта 1903 г. *Архив Г*$_{IV}$, стр. 126; письмо И. Д. Гальперина-Каминского Пятницкому 16 ноября 1905 г.; письмо В. Д. Бонч-Бруевича А. М. Аничковой 18 октября 1905 г. и др.—Архив А. М. Горького, П-ка «Зн.» 14-9-2, КГ-изд-16-3-2а). В конце мая 1906 г. Антуан был назначен директором театра «Одеон». «Мне нужно подготовить репертуар для второго французского театра,— писал Антуан в своем дневнике,— начать обширные работы по реконструкции зрительного зала, подготовить постановку „Юлия Цезаря", которую я намерен показать в качестве яркого программного спектакля после того, как я обоснуюсь там...» (А. А н т у а н. Дневники директора театра 1887—1906. М.—Л., «Искусство», 1939, стр. 492).

С т р. 413. *Кливеланд — дым...*— Запись произведена не ранее 21 сентября (4 октября) 1906 г. во время пребывания Горького в Кливленде. О приезде Горького в Кливленд писали американские газеты 5 октября (н. ст.) 1906 г.

С т р. 413. *Гарфильду памятник...*— Джемс Гарфильд (1831—1881), северо-американский политический деятель, 20-й президент США.

С т р. 413. *История сенатора Платт...*— Использована Горьким в качестве одного из примеров нравов американской буржуазной печати в незаконченной статье ‹«О буржуазной прессе»› (см. *Г-30*, т. 25, стр. 290). Подробнее эту историю Горький рассказал в 1927 г. в Сорренто гостившим у него А. И. Цветаевой и Б. М. Зубакину:

«Об американской прессе: заметка в газете о том, что сенатор такой-то разводится со своей женой. Его опровержение. Опровержение опровержения,— как же, у него взрослые сыновья и они ненавидят мачеху (она в это время в отъезде). Ее на вокзале встречают репортеры и спрашивают, плоха ли ее семейная жизнь. Она замахивается зонтиком на дерзкого незнакомца. В это время щелкает аппарат — снимок в газету: характер мачехи. Сыновья идут в редакцию, не в силах больше терпеть эту историю, и колотят виновников. Их снимают, снимок в газету: характер сыновей сенатора. Сенатор бросает деятельность, сыновья — университет, уезжают в другой город» (А. И. Ц в е т а е в а. Тень погибшей книги.— Архив А. М. Горького, МоГ-13-4-1).

С т р. 413. *Монтреаль.*— Датируется осенью 1906 г. незадолго до отъезда из Америки. Правка чернилами (вставлены слова: жизни, люди церкви) нанесена значительно позднее.

С т р. 413. *Человек в стороне...* — Датируется осенью 1906 г. после отъезда из Америки; последние два слова приписаны карандашом позднее.

С т р. 413. *Кошмар.* — Записано в пути из Нью-Йорка в Неаполь на пароходе «Принцесса Ирен» между 30 сентября (13 октября) и 12(25) октября 1906 г. Датируется по письму Горького Е. П. Пешковой 12(25) октября 1906 г. (*Архив* $Г_V$, стр. 186). В письме Горький сообщал: «Десять дней непрерывной качки в океане— наконец, завтра буду в Гибралтаре. Очень интересно ехал, но похоже на кошмар. Едет 1000 итальянцев из Калифорнии — народ, удивительно похожий на русских» (там же).

С т р. 413. *Томбола* (итал.) — лото, игра в лото.

С т р. 414. *Обедня — все молятся.* — Е. П. Пешковой Горький писал: «Пассажиры первого класса — американцы — страшно много жрут и прескверно молятся богу. Поют гимны — жирными голосами и облизываются. Бога, очевидно, считают идиотом, полагая, что он услышит их гнусный вой» (там же, стр. 186).

С т р. 414. *Я была везде, кроме России...* — В очерке «В. И. Ленин» Горьким была использована эта фраза в таком контексте: «В Америке ⟨...⟩ видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к „частному случаю европейской жизни" и обычному явлению в стране, где „всегда или холера или революция", по словам одной „генсом леди", которая „сочувствовала социализму"» (*Г-30*, т. 17, стр. 9). Эти же слова Горький процитировал в статье «О русском крестьянстве» (М. Горький. О русском крестьянстве. Изд. Ладыжникова. Берлин, 1922, стр. 37).

С т р. 415. *Девушка. Роды.* — Горький писал об этом Е. П. Пешковой: «Была история — одна девица родила мальчонку 7 месяцев, он умер и его бросили в воду — это неописуемо тяжелая картина. По приезде в Неаполь я устрою скандал по поводу этой девицы» (*Архив* $Г_V$, стр. 186).

О случае с итальянской девушкой Кристиной Аттанезе сообщала в интервью с Горьким неаполитанская газета «Пунголо» 14(27) октября 1906 г. (Архив А. М. Горького. Коллекция П. Цветеремича).

С т р. 415. *Условия приема эмигрантов...* — В этой же заметке в газете «Пунголо» сообщалось, со слов Горького, что во время путешествия из Нью-Йорка в Неаполь он «коротал долгие часы пути, находясь среди эмигрантов... Из разговоров с этими бедняками, покорившимися судьбе, я,— сказал Горький,— вынес много полезного».

С т р. 415. *Страна подрост⟨ков⟩.* — Заметки к неосуществленной статье. Сделаны осенью 1906 г. после отъезда из Америки. О замысле статьи «Страна подростков» см. выше в примечаниях к циклу «В Америке».

С т р. 415. *«Сатурналия»* — бронзовая статуя итальянского скульптора Эрнесто Бионди (р. 1855), хранится в национальной галерее современного искусства в Риме.

Стр. 415. *«Агрикультура».*— В 1927 г. Горький привел этот пример в беседе с А. И. Цветаевой и Зубакиным: «Лицемерие: статуя на доме, голый мужчина. Негодование. И в прессе— слова: „Ни одна уважающая себя женщина не будет, конечно, ходить по этой улице". Прочтя это, не ходит ни одна женщина. А на неприлично разрисованную каким-то смельчаком, влезшим на высоту, рекламу женщины в прозрачном одеянии все смотрят, ничего» (А. И. Цветаева. Тень погибшей книги.— Архив А. М. Горького, МоГ-13-42-1).

Стр. 416. *Одетые белою пеной...*— По почерку и цвету чернил примыкает к предыдущей заметке. Далее вырваны 2 листа (следы на корешках, листы не сохранились).

Стр. 416. *За нами — никого...*— Настоящую запись и две следующие за ней по расположению их в книжке можно датировать не ранее осени 1906 г. Перед ними вырваны 10 листов, густо исписанных карандашом (листы также не сохранились).

Стр. 416. *Знаю — не могу...*— По почерку и оттенку карандаша заметка резко отличается от предыдущих. Датируется 1906—1907 гг.

Стр. 416. *По сборнику.*— Запись сделана в Риме после 13(26) декабря 1907 г., когда были написаны письма В. В. Вересаеву и Пятницкому (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 61—63, и *Г*$_{IV}$, стр. 221). Речь идет о проекте литературно-публицистического сборника, одним из организаторов которого была Е. К. Малиновская. Редактирование публицистического отдела намечалось предложить И. И. Скворцову-Степанову, литературный отдел должен был редактировать Вересаев. В число сотрудников должны были входить В. И. Ленин, А. В. Луначарский и др. Сборник не был осуществлен.

Стр. 416. *...Бржозовского со Чена.*— Станислав Леопольд *Бржозовский* (1876—1911), польский критик. Уго *Ойэтти* (1871—1946) — итальянский художественный и литературный критик. Джозуэ *Кардуччи* (1835—1907) — итальянский поэт. Марио *Рапизарди* (1844—1912) — итальянский писатель. Джованни *Чена* (1870—1917) — итальянский поэт (см. А. Я. Тараараев. Связи А. М. Горького с итальянскими писателями. *Г Чтения*, 1959, стр. 588—615).

Стр. 416. *Келтуяла.*— Запись сделана до 26 декабря 1907 г. (8 января 1908 г.) на Капри. Датируется по письму Горького Келтуяле. Василий Афанасьевич *Келтуяла* (1867—1942) в 1906 г. опубликовал первую часть книги «Курс истории русской литературы». Горький дал ей высокую оценку. 26 декабря 1907 г. (8 января 1908 г.) он обратился к автору с просьбой выслать ему вторую часть (см. публикацию писем Горького Келтуяле, «Русская литература», 1966, № 4). Келтуяла отвечал, что книга задерживается, так как бо́льшую часть рабочего дня ему приходится трудиться для заработка (Архив А. М. Горького, КГ-уч-6-21-3). В связи с этим Горький просил Пятницкого помочь материально Келтуяле и сообщал его адрес (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 226—227).

Стр. 416. *Греки — Уран.*— Датируется началом 1908 г.

С т р. 417. *Гаркави...* — Запись произведена на Капри не позднее 16(29) марта 1908 г. Датируется по письму Горького Пятницкому (там же, стр. 240). Авраам Яковлевич *Гаркави* (1839—1919), историк-востоковед. Книгу «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских» Горький просил Пятницкого прислать ему на Капри (там же, стр. 240).

С т р. 417. *Купить снимки...* — Заметка сделана во Флоренции, по-видимому, в связи с посещением галереи Уффици в конце октября (начале ноября) 1907 г.

С т р. 417. «*Голова Медузы*» — картина Леонардо да Винчи; хранится в Уффици.

С т р. 417. «*Антихрист*» — фреска «Падение Антихриста» Луки Синьорелли в Орвиетском соборе, одно из четырех знаменитых монументальных произведений художника на тему Страшного суда. Горький очень высоко ценил Синьорелли и неоднократно советовал русским художникам познакомиться с его творчеством. В 1911 г. М. В. Добужинский писал Горькому: «Между прочим, я был в Орвието (помню наш разговор) и в совершеннейшем восторге от Синьорелли, который, пожалуй, одно из самых прекрасных впечатлений Италии» (письмо 31 августа (13 сентября) 1911 г. Архив А. М. Горького, КГ-ди-4-2-1).

С т р. 417. *Бельтрафио* — Джованни Антонио *Больтраффио* (1467—1516), миланский художник, ученик Леонардо да Винчи. Возможно, имеется в виду «Портрет молодого человека» Больтраффио, хранящийся в Уффици.

С т р. 417. *Пацци — Дант.* — Заметка сделана на ходу во время прогулки по Флоренции в октябре—ноябре 1907 г. Имеется в виду статуя Данте работы Пацци на площади Санта Кроче, воздвигнутая в 1865 г. в связи с 600-летием со дня рождения поэта.

С т р. 417. *1459 г. ...* — Записано, вероятно, в конце октября—начале ноября, после посещения флорентийской библиотеки Лаурентиана, директор которой показывал Горькому древние карты Африки (см. письмо Пятницкому 4(17) ноября 1907 г., *Архив Г*$_{IV}$, стр. 210).

С т р. 417. *Захер-Мазох...* — Заметка сделана во Флоренции не позднее 23 или 24 октября (5 или 6 ноября) 1907 г. Затем, возможно, после получения книг, зачеркнута синим карандашом. Датируется по письму Пятницкому 23 или 24 (5 или 6 ноября) 1907 г. (там же, стр. 209), в котором Горький просил прислать «Императора и галилеянина» Ибсена в издании С. Скирмунта (соч. Ибсена в 8 томах выходили в Москве с 1903 по 1907) и «Исповедь моей жизни» Ванды Захер-Мазох (издание журнала «Тайны жизни», СПб., ⟨1907⟩, перевод М. А. Потапенко).

С т р. 417. *У Юлия — шея длинная.* — Записано во Флоренции в октябре — ноябре, до 4(17) ноября 1907 г. Датируется по письму Горького Пятницкому (там же, стр. 210). По-видимому, Горький имел в виду скульптурный портрет Джулиано Медичи Микеланджело в капелле Медичи (церковь Сан-Лоренцо).

С т р. 417. *Лицо Давида...*— О «Давиде» Микеланджело (Флорентийская академия художеств) Горький писал Пятницкому: «Извещаю Вас, что Давид мне не нравится. Не ругайтесь!» (там же, стр. 210).

С т р. 417. *Из Сиены Monte-Oliveto.*— Датируется октябрем — ноябрем 1907 г. Горький имел намерение, будучи во Флоренции осенью 1907 г., посетить Сиену и монастырь Монте-Оливето близ Сиены. В церкви монастыря Л. Синьорелли в 1497 г. написал восемь сцен из жизни св. Бенедикта. Поездка не состоялась из-за болезни Горького. 4(17) ноября 1907 г. М. Ф. Андреева писала Пятницкому: «Вряд ли удобно ему ехать на Монте-Оливето в Сиену и вообще куда-либо в окрестности, погода стоит свежая, и я так боюсь, чтобы он не простудился еще сильнее» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-3-7-77).

С т р. 417. *Бемер...*— Запись читается с большим трудом, так как густо зачеркнута; сделана во Флоренции в октябре—ноябре 1907 г. Возможно, имеется в виду немецкий филолог и богослов Эдуард Бемер (1827—1906).

С т р. 417. *Лапни...*— Флоренция, октябрь — ноябрь 1907 г. Возможно, имеется в виду художник Эмилио Лапи (1815—1890), автор картин «Битва итальянцев с австрийцами при Палестро» и «Любовь побеждает силу» (галерея современных мастеров Флорентийской академии).

С т р. 417. *Via Tornabouoni* (итал.) — улица Торнабуони, одна из живописнейших во Флоренции.

С т р. 417. *В Риме ↔ Латеранский.*— По содержанию запись связана с поездкой Горького в Рим, продолжавшейся с 20 ноября (3 декабря) 1907 г. по 23 декабря (5 января 1908 г.). Вычерки карандашом более темного оттенка сделаны позднее. [*Дориа.*] — картинная галерея во дворце Дориа в Риме. *Колонна*— картинная галерея во дворце того же имени. [*Корсини*] — Национальная галерея античного искусства и национальный кабинет эстампов во дворце Корсини. *Национальный* — Национальный римский музей при термах Диоклетиана. *Людовизи* — коллекция древностей, собранная кардиналом Людовизи в начале XVII в. В 1900 г. присоединена к Национальному римскому музею при термах Диоклетиана. *Латеранский* — Музей Gregorianum Lateraneus, в состав которого наряду с отделами языческим и христианским входит картинная галерея.

ГОРОД МАМОНЫ.

(Стр. 418, 431)

Впервые напечатано в журнале «Appleton's Magazine», 1906, т. 8; в переводе на немецкий язык — в газете «Sächsische Arbeiter-Zeitung», 1906, №№ 189—191, 17—20 июня; при жизни автора не перепечатывалось. Автограф «Города Мамоны» не найден.

Печатается по тексту названного журнала.

«Город Мамоны» связан с очерком «Город Желтого Дьявола» (см. примечания, стр. 522). Название «Город Мамоны» не фигурирует в переписке Горького даже в тех случаях, когда речь идет заведомо об этом произведении. Так, в конце августа Горький писал А. В. Амфитеатрову: «...я напечатал в одном здешнем журнале статью о Нью-Йорке, озаглавив ее „Город Желтого Дьявола“» (*Г-30*, т. 28, стр. 433). Можно предполагать, что первоначальное заглавие «Город Желтого Дьявола» было заменено на «Город Мамоны» для того, чтобы отделить это произведение от очерка. В тексте же выражение «Желтый Дьявол» встречается неоднократно.

«Город Мамоны» написан раньше очерка. Здесь, в частности, отразились некоторые первоначальные представления Горького об Америке, от которых позднее писатель отказался и которым не нашлось места в очерке. Таков мотив «политической и социальной юности» Америки, в противоположность «дряхлой» Европе. Подобная же мысль высказана в письмах от апреля 1906 г. к Е. П. Пешковой (см. *Архив* $Г_V$, стр. 178), К. П. Пятницкому (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-35-1-57).

«Город Мамоны» и «Город Желтого Дьявола» связаны общностью основного замысла, самим материалом (жизнь большого капиталистического города — Нью-Йорка) и некоторыми текстуальными соответствиями. Однако текстуальные соответствия относятся, главным образом, к началу произведения (прибытие в Америку парохода с эмигрантами, статуя Свободы, описания внешнего облика города), а также к фрагменту о детях Ист-Сайда.

Отдельные мотивы и текстуальные соответствия связывают «Город Мамоны» и с очерком «Жрец морали» из цикла «Мои интервью» (см. комментарии к «Жрецу морали»).

«Город Мамоны», опубликованный в июне 1906 г., перепечатали — в отрывках — многие периодические издания США (иногда со ссылкой на «Appleton's Magazine»): нью-йоркские газеты «New World», «Evening Sun», «Commercial», чикагская газета «Inter Ocean», еженедельник «Weekly People» и др. Русскому читателю о «Городе Мамоны» рассказал тогда же нью-йоркский корреспондент газеты «Русское слово» (№ 170, 4 июля).

Появление «Города Мамоны» вызвало в США бурную реакцию и «почти сенсационный интерес», как выразилась газета «Globe» (15/28 июля 1906 г.). «На мою статью в „Аппельтоне“ — 1200 возражений с лишком! — сообщал Горький Е. П. Пешковой около 20 августа (2 сентября) 1906 г.— Сколько я могу рассказать об этой страпе, отвратительной и интересной, нищенской и баснословно богатой!» (*Архив* $Г_V$, стр. 181). И в следующем письме: «Писал я тебе, что статья о Нью-Йорке вызвала более 1200 возражений мне? Возражали сенаторы даже. Представляю, что будет, когда явятся мои интервью и другие статьи об Америке!» (*Г-30*, т. 28, стр. 436). Об отношении к «Городу Мамоны» различных слоев американского общества Горький писал Амфитеатрову в августе 1906 г.: «Теперь они снова начали ругать меня в газетах ⟨...⟩ Не понравилось. Сенаторы пишут возражения, рабочие хохочут. Некто публично выразил свое недоумение:

раньше американцев всегда ругали, уже уехав из Америки, а теперь, даже оставаясь в ней, не хвалят,— как это понять? Вероятно, меня выгонят отсюда, наконец» (там же, стр. 433).

С протестом против «Города Мамоны» выступил исполнявший обязанности мэра Нью-Йорка Макгоуен («Русская литература», 1958, № 1, стр. 211). Грубой бранью по адресу «русского социалиста» Горького разразился 16(29) июля епископ Макфоул в речи на съезде Американской католической федерации в Буффало. С «разоблачениями» выступил некий следователь Харбургер, заявивший по поводу сказанного Горьким об Ист-Сайде: «Это — откровенная ложь, созданная живым воображением революционного мозга. Статья измышлена ради золота, которое он 〈Горький〉 так профессионально обличает. Написанная змеиным пером 〈...〉 она исполнена ненависти к величайшему свободному строю Земли». Следователь призывал «наше республиканское правительство дать отпор бредням иностранцев» («Mail», 1906, 5/18 июля). Харбургера поддержала буржуазная пресса. «Злобная клевета на Ист-Сайд» — названа заметка в нью-йоркской газете «Times», 1906, 7(20) июля. Америка «отказалась принять Горького, проповедника и пророка новой морали и новой свободы»,— сказано здесь; отсюда якобы — его клевета на Америку. Газета «Pioner Press», выходящая в Сент-Поле, 3(16) июля поместила подборку высказываний обитателей Ист-Сайда, «довольных» своей жизнью, своей страной и опровергающих Горького.

В защиту автора «Города Мамоны» выступила демократическая Америка. Так, еженедельник «Weekly People» писал о полной достоверности горьковской статьи («Русская литература», 1958, № 1, стр. 211). «Всё написанное Горьким в этом очерке — правда»,— заявил автор письма, помещенного в газете «World» (1906, 7/20 июля) за подписью «Австралиец» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 407). В газете «Truth» (Скрентон, 1906, 8(21) июля) было сказано: «Что бы мы ни думали о нравственности Максима Горького, нарисованная им картина жалкого положения детей Ист-Сайда в Нью-Йорке сделана рукою мастера. И ее неотразимая сила — в ее правдивости. Случайному наблюдателю кажется невероятным, что такие вещи возможны в столице Соединенных Штатов, но такова жестокая действительность, и знаменитый писатель запечатлел ее с точностью фотографической камеры» (там же, стр. 408). Газета «Globe» (1906, 15/28 июля) назвала статью Горького, «бичующего американские пороки семихвостой плетью», «высоко ценной».

7(20) августа известный американский философ У. Джеймс писал Горькому:

«Вы нанесли удар нашему патриотизму крайне откровенной статьей о своих американских впечатлениях 〈...〉 Эти впечатления слишком общи, и я думаю, что Вы не написали бы то же самое, если бы пробыли с нами в течение года. Вы лучше поняли бы тогда сложную борьбу сил, в результате которой на поверхности американской жизни и возникли те уродливые явления, которые так хорошо Вами изображены.

Но для среднего американского читателя, который восторгается именно этой неприглядной внешностью, Ваша реакция ⟨...⟩ должна послужить поучительным и благотворным уроком. Во всяком случае, это хороший ответ на бесчестное обращение с Вами и миссис Горькой ⟨М. Ф. Андреевой⟩ в Нью-Йорке, которое ляжет позором на нашу цивилизацию!» (Архив А. М. Горького, КГ-пн-а-1-73-1).

В ноябре 1906 г. М. Ф. Андреева свидетельствовала в письме к Амфитеатрову, что в Америке Горького «стала... читать большая публика, а не только избранные, как это было до появления там так сильно взбаламутившего американцев „Города Желтого Дьявола"...»[1]. И далее: «Жаль, что этого не знали те французы, которые, обидевшись на него за „Прекрасную Францию", разливались на ту тему, что, мол, писал он эту „Францию", чтобы „угодить" американцам, а Алексей-то Максимович писал в это время самые горькие и жестокие истины своим гостеприимным хозяевам» (*Андреева*, стр. 117).

С т р. 431. *Мамона* — бог наживы и богатства у древних сирийцев; в христианской литературе — символ стяжательства, алчности.

С т р. 431. *Шестилетняя война за независимость* — война североамериканских колоний с Англией за освобождение от колониального ига (1775—1783), окончившаяся признанием независимости США.

С т р. 431. ... *битву между Севером и Югом*... — Гражданская война в США между капиталистическим Севером и рабовладельческим Югом (1861—1865), окончившаяся победой Севера и отменой рабства в южных штатах.

С т р. 432. *Грант* — Улисс Симпсон Грант (1822—1885), генерал, главнокомандующий армией северных штатов во время гражданской войны в США, позднее президент США.

С т р. 432. *Браун* — Джон Браун (1800—1859), герой борьбы за освобождение негров в США.

С т р. 437. *Букер Т. Вашингтон* (1856—1915) — негритянский буржуазный просветитель, автор автобиографической книги «Из рабства — к благам жизни», переводившейся на русский язык.

С т р. 443. *Джеймс* — Уильям Джеймс (1842—1910), американский психолог и философ-позитивист, автор книги «Многообразие религиозного опыта» (1902), которую и имеет в виду Горький.

---

[1] Имеется в виду «Город Мамоны».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

М. Горький. Нижний Новгород, 1901—02 г. Фото М. Дмитриева. Фронтиспис

М. Горький. Америка. Филадельфия, 1906 г. Фото Э. Гольденской. 32

«Человек». Первая страница белового автографа первой редакции поэмы. 37

«В Америке». Первая страница очерка с правкой М. Горького для издания «Книга». 239

«Весенние мелодии». Обложка одного из гектографированных изданий. 279

«Весенние мелодии». Конец восьмой страницы и девятая страница автографа. 281

«С натуры». Автограф. 296

СОДЕРЖАНИЕ

I	Текст	Примечания
Песня о Буревестнике	7	451
Злодеи	9	458
Человек	35	460
А. П. Чехов	43	472
Тюрьма	63	480
Девочка	94	483
Рассказ Филиппа Васильевича	97	485
Букоёмов, Карп Иванович	112	488
Товарищ!	125	492
Солдаты	131	495
Патруль	131	
Из повести	141	
Мои интервью	166	500
Предисловие	166	503
Король, который высоко держит свое знамя	166	503
Прекрасная Франция	174	506
Русский царь	182	513
Один из королей республики	194	517
Жрец морали	209	518
Хозяева жизни	222	520
В Америке	237	522
Город Желтого Дьявола	237	
Царство скуки	250	
«Mob»	264	

II		
Весенние мелодии	277	529
Погром	284	534
⟨Легенда о Марко⟩	290	536
О Сером	292	538
С натуры	295	539
И еще о чёрте	297	540

	Текст	Примечания
Собака	304	542
Афоризмы и максимы	306	543
Письмо в редакцию	307	544
Мудрец	310	545
Правила и изречения	314	546
Изречения и правила	315	546
Старик. *Миниатюра*	316	547
Сан-Франциско	321	547
Послание в пространство	323	548
Чарли Мэн	325	549
Giuseppe Garibaldi	338	
⟨Джузеппе Гарибальди⟩	339	550
Лондон	341	550
III		
Публика	349	552
«По небу желтому тащилась...»	378	555
«Как медведь в железной клетке...»	379	555
«Сердитый пес породы волкодавов...»	380	556
«Синими очами океанов...»	381	556
«Далёко — безмерно далёко...»	382	557
⟨Мещанин⟩	383	557
Яков Иванович	385	558
«Поутру штору поднимая...»	386	558
Зрители	387	559
Поп Гапон. *Очерк*	390	559
М⟨арк⟩ Т⟨вен⟩	403	564
⟨Об И. Е. Репине и кн. И. Р. Тарханове⟩	404	565
Записная книжка	406	566
Приложение.		
The City of Mammon. *My Impressions of America*	418	
Город Мамоны. *Мои впечатления об Америке*	431	576
ПРИМЕЧАНИЯ	445—579	
Условные сокращения	447	
Вступительная заметка	449	
Список иллюстраций	580	

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили:
М. М. Бондарюк, Л. А. Евстигнеева, В. А. Келдыш,
В. А. Максимова, А. И. Овчаренко, Р. П. Пантелеева,
М. Г. Петрова, Ф. Н. Пицкель, И. А. Ревякина,
А. А. Тарасова, В. Ю. Троицкий

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор шестого тома *Я. Е. Эльсберг*

*

Редакторы издательства *А. И. Корчагин* и *М. Б. Покровская*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *О. М. Гуськова*
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 3/VII 1969 г. Подписано к печати 25/XII 1969 г.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Усл. печ. л. 30,555.
Уч.-изд. л. 29,0. Тираж 299 300 экз.
Тип. зак. № 144. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука»
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28